ЮРИЙ БОНДАРЕВ

2

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

ПОВЕСТЬ

ГОРЯЧИЙ СНЕГ

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Р2
Б81

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

Б $\frac{4702010200\text{-}221}{028(01)\text{-}84}$ подписное

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

ПОВЕСТЬ

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть...

А. Твардовский

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В двенадцатом часу ночи капитан Новиков проверял посты.

Он шел по высоте в черной осенней тьме — над головой густо шумели вершины сосен.

Острым северным холодом дуло с Карпат, и вся высота гудела, гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом.

Редкие ракеты, сносимые ветром, извивались над немецкой передовой, догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Ка́сно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы.

Молчали пулеметы.

Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, ветер неистово трепал полы шинели,— и странное чувство глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз — и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что четыре дня назад, при взятии Касно, батарея Новикова впервые потеряла девять человек сразу, в том числе командира взвода управления, и Новиков не мог простить себе этого.

— Часовой! — строго окликнул Новиков, останавливаясь и угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.

Ответа не было.

— Часовой! — повторил он громче.

— А? Кто тут?

— Что это за «а»? Черт бы драл! — выругался Новиков.— В прятки играете?

— Стой! Кто идет! — преувеличенно грозно выкрикнул из потемок часовой и щелкнул затвором автомата.

— Проснулись? Что там за колготня в землянке? — спросил Новиков недовольным тоном.— Что за шум?

— Овчинников чегой-то шумит, товарищ капитан,— робко кашлянув, забормотал часовой.— И чего они разоряются?

Новиков толкнул дверь в землянку.

Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами, среди дыма плавали фиолетовые огни немецких плошек, мутно проступали за столом красно-багровые лица солдат — все говорили разом, нещадно курили. Командир первого взвода лейтенант Овчинников, усмехаясь тонким ртом, поднялся и, небрежно оттолкнув на бедре кобуру пистолета, скомандовал с веселой властностью:

— Прекратить галдеж и слушай тост! За Леночку! А, братцы? Пить всем.

Радостный рев голосов ответил ему и стих: все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова, который медленно обвел взглядом лица солдат.

— Значит, пыль столбом? — произнес он строго.— И санинструктор здесь?

То, что непонятное это празднество происходило в пятистах метрах от немецкой передовой и люди, зная об этом, не сдерживали веселья, не удивило его. Странно было то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого нетрезвого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова, сидела, охватив руками колени, и, разговаривая с умиленно расплывшимся замко́вым Лягаловым, смеялась тихим, грудным, ласковым смехом.

«Смеется каким-то жемчужным смехом,— не без раздражения подумал Новиков.— Она пьяна или хочет понравиться лейтенанту Овчинникову. Зачем ей это?» И, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро посмотрел на Овчинникова, спросил:

— Что у вас тут? Свадьба?..

Он произнес это, должно быть, грубо — все замолчали. Лена вопросительно прищурилась и вдруг легко и гибко

спрыгнула с нар, подошла к Новикову, блестя яркими, улыбающимися глазами.

— Да, именно,— сказала, откидывая голову,— здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова. Лейтенант Овчинников! — приказала она. — Дайте водки капитану!

Что это с ней? Она не была пьяна, кажется, и дерзко, смело глядела снизу вверх,— тонкая нежная шея окаймлена воротом, узкие плечи, маленькая грудь обтянута суконной гимнастеркой, сжатой в талии широким ремнем.

Не раз ловил себя Новиков на том, что его непривычно смущала постоянная вызывающая смелость санинструктора,— он почувствовал, что покраснел на виду притихших солдат, и, раздосадованный, сухо сказал:

— Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор! — И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: — Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!

Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светлые глаза, спросил:

— За что, товарищ капитан? Мой день рождения. Не признаете? Двадцать шесть стукнуло. Лягалов, налей комбату! Ломанем, товарищ капитан?.. Чтоб пыль на всю Европу, а?..

Замковый Лягалов, солдат некрасивый, низкорослый, обросший золотистой щетиной, помигал конфузливо на Овчинникова, неуверенно налил из фляги полную кружку, протянул ее комбату:

— Товарищ капитан, не побрезгуйте, стало быть... Чистая-а!

Считался Лягалов непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он сказал резко:

— Поздравляю, Овчинников.— И, нахмурясь, шагнул к выходу.

Но уже на пороге услышал позади неловкую тишину, и стало неприятно оттого, что он только что внес в землянку, к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и недовольство. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием,— это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря

вынуждены были молчать. Был слух, что она в порыве гнева едва не застрелила адъютанта командира полка, однако Новиков мало верил этому. Походили на правду иные слухи: говорили о ее особенной близости с разведчиками. И Новиков, видя ее маленькую, порочно аккуратную грудь, обрисованную гимнастеркой, лучисто-теплый свет ее глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который тоже был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности. Оттого, что она, казалось, была доступна всем, она была недоступной для него. В первые дни пребывания нового санинструктора в батарее был он нестеснителен, полунасмешлив, иногда в присутствии ее не сдерживался в сильных выражениях,— не божий одуванчик, не то видела! — а после, лежа в своей землянке, он, мучаясь, вспоминал то чувство, какое испытывал, когда ругался, словно не замечая ее, и не находил оправдания. Его стесняла, ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем.

Выйдя из землянки, Новиков один стоял в выстуженной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от расчетов его батареи осталось двадцать человек, когда он должен быть добрей с людьми, угнетала его.

Ветер свистел в ушах, и в тягучем скрипе сосен слышался ему пьяный гул голосов; и потому, что в землянке бездумно пили спирт и смеялись, словно забыв о тех, кого похоронили вчера, Новиков чувствовал знакомое посасыванье тоски. Он потер небритые щеки, посмотрел в потемки, туда, где за высотой, в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касно, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина — второй в батарее взвод, который он, Новиков, особо берег. Там лежала мгла, не взлетали ракеты.

— Я пошла! — раздался женский голос в нескольких шагах от него.

Из землянки вырвался неясный говор — желтая полоса света упала на кусты, легкие шаги послышались рядом, и по голосу, по смутному очертанию фигуры он узнал Лену. Она остановилась, не видя Новикова, долго глядела на прижатые к горам близкие вспышки ракет — среди шумящих деревьев появлялось ее бледное лицо с

дерзким выражением. Сквозь гудение сосен хлопнула дверь землянки, и выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым баском:

— Ты куда ж, Леночка?.. Постой!

— Я стою. Ну, а вы зачем? — спросила она негромко.— Я и сама дойду!

Он проговорил требовательно:

— Куда?

— К разведчикам. Они здесь недалеко,— ответила она насмешливо.— Не привыкла я к вашей батарее. Непохожи вы на разведчиков, лейтенант...

Овчинников придвинулся к ней, сказал тяжелым голосом:

— Непохожи? Хочешь, я ради тебя вон там под пули встану? Хочешь? Не знаешь ты меня еще!..

— Ну, этого не надо! — Она засмеялась.— Глупость это!

Тогда он сказал с отчаянием:

— Так, да? Все равно не отпущу! Ты наших не знаешь!

Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»:

— Уйди-и, не справишься ты со мной... Губы у тебя мокрые, лейтенант...

Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, постой!» — и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в неуверенном крике было что-то молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков, поморщась, пошел к своему блиндажу.

Блиндаж был полуосвещен сонным мерцанием коптилки. Воздух здесь тепел, плотен, пахло шинелями, лежалой соломой. Дежурный телеграфист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал — устало подергивались брови, потухшая цигарка прилипла к оттопыренной губе, другая — свернутая — заложена за ухо. Перед ним на снарядном ящике котелок, из недоеденной пшенной каши торчала деревянная ложка. Возле котелка огрызок обмусоленного чернильного карандаша, измятый листок, вырванный из тетради, ровные аккуратные строчки усыпаны хлебными крошками: видимо, ел и

писал письмо. Новиков взглянул на листок, невольно усмехнулся этому аккуратному школьному почерку: «Ты меня не ревнуй, потому что у нас тут женщин нет, только одна сестра, да и то больно некрасивая...»

Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздевшись, лег на спину, сбоку нар, на обычное свое место, закрыл глаза и мигом погрузился в горячий, парной воздух, полный разлетающихся искр, в хаос несвязных людских голосов; перед ним зыбко заколыхались лица Лены, лейтенанта Овчинникова — непонятный мгновенный сон.

Он проснулся от сильного гула, давящего на голову, вскочил, озираясь.

— Позывные? — спросил отрывисто.— К телефону?..

— Дальнобойная высоту накрыла...— ответил кто-то.

Вся землянка была наполнена вонью тола, желтоватой мутью дыма. В нем вздрагивающими тенями копошились вскочившие солдаты — все глядели отяжелевшими от сна глазами на трясущийся потолок землянки. Сухо трещали бревна накатов, шевелились, перемещались над головой. А там, сверху, что-то гигантски огромное, душащее, тяжкое, с хрустом разламываясь грохотом, рушилось на высоту, и не стало слышно стонущего шума ветра, задавленного железной толщей разрывов.

— Дальнобойная... накрыла,— шепотом выдавил связист Гусев.— Воронки... с дом...

Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву:

— Спишь, тютя! А ну, что на передовой? Узнай!..— И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном: — Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха!

И тут же повысил сочный, зазвеневший командными переливами голос:

— По места-ам! Вылетай к орудию!

— Отставить,— остановил Новиков, шагнул к Гусеву, надсадно кричавшему позывные в трубку, и громко спросил: — Команда была от «Резеды»?

— Никак нет,— бормотал Гусев, обеими руками прижимая трубку к уху, и тотчас пригнулся. Куски земли оторвались от потолка, ударили по аппарату.— Никак

нет,— повторил он невнятным шевелением губ, испуганно клоня круглую стриженую голову.

— Дайте трубку! Связист вы или нет? Вы должны всё знать! — сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота, нагретую трубку.— «Резеда»! «Резеда»! Какого дьявола! «Резеда»! Питания, что ли, у вас нет? — Он обернулся к связисту.— Проверяли связь?

— Я «Резеда», я «Резеда»,— внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: — Кто у телефона? Шестого к аппарату, шестого к аппарату! Шестого немедленно к «Резеде», немедленно к «Резеде»!..

— Я шестой,— объявил недовольно Новиков, глядя в стоявший на снарядном ящике котелок, полный бурой жижи.— Что там? Иду!

Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета; потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, вынул из кобуры ТТ и резким щелчком выбросил, проверил магазин и вновь втолкнул в рукоятку пистолета. Он сделал это молча, без спешки, и солдаты, так же молча, смотрели то на капитана, то на вибрирующий потолок землянки, прислушиваясь к нарастающему реву снарядов. Новиков ни разу не взглянул вверх, все хмурясь отчего-то, и тем своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, приказал:

— Ремешков, пойдете со мной!

Подносчик снарядов Ремешков, парень лет двадцати пяти, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший по причине ранения в шестимесячном отпуске дома, на Рязани, обратил к Новикову свое крепкое белобровое лицо — в расширенных глазах его росла мольба. Проговорил еле слышным шепотом:

— Нога у меня...— и, дрожаще кривя губы, потер колено.— По горам ведь... нога у меня, товарищ капитан. Другого бы кого...

— Другого? — переспросил Новиков, заученным движением сунув пистолет в кобуру.

Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот шесть месяцев отлеживался дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что

считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.

— Другого, говорите?

Блиндаж сотрясало крупной дрожью, пол туго ходил под ногами, в промежутки между разрывами, как из-под воды, вливался отдаленный пулеметный треск. И теперь уже было ясно, что это не обычный артналет, не обычная перестрелка дежурных орудий и пулеметов после недавних боев при взятии города Касно на границе Чехословакии.

И то, что Ремешков робко отказывался идти на передовую, в то время как за неделю погибло девять человек старых солдат, а Ремешков прибыл в батарею отъевшийся, раздобревший, со здоровым, молочным цветом лица от домашнего хлеба и сала, особенно было неприятно Новикову.

— У нас в батарее приказание два раза не повторяют! — проговорил он жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.

— Товарищ капитан!..

Ремешков просительно напряг голос и, вдруг нагнувшись так, что стала видна красная, гладкая шея, со стоном и страданием прошептал:

— Товарищ капитан, разве я... Жалости нет?

— Нет,— сказал Новиков и вышел.

Дверь открылась, впустив грохот разрывов, и захлопнулась. Ремешков, искательно оглядываясь на солдат, съеживаясь, повторил умоляющим шепотом:

— Что ж у вас жалости нет?..

— Жалости? Тютя пшенная! Он еще думает, калган рязанский! — звонким голосом воскликнул старший сержант Ладья, надвигая пилотку на выпуклый лоб.— Морду нажевал в тылу и думает, все в порядке! Еще ему приказ повторять! Воевать приехал или сало жрать?

Было командиру орудия Ладье лет двадцать. Сильный, светловолосый, он по-особому лихо носил пилотку, сдвигая ее на самые брови. Весь подогнанный, в немецких, не по уставу, новых сапожках, с немецким тесаком на немецком ремне, он казался мальчишкой, ради игры носившим военную форму, трофейное оружие.

— Ну? — крикнул он.— Думать потом будешь!

— Звери вы, звери...— жалко и затравленно бормотал Ремешков.— Человек ведь я...

Командир второго орудия сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, двигая непомерно квадратными плечами, в тесной, облитой по круглой спине гимнастерке, старательно кряхтя, наматывал портянку. Подмигнул Ремешкову своими ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно:

— А ты лучше бери, землячок, автомат да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то воевал? Понял или нет? Вот автомат возьми.— И, обращаясь к Ладье, прибавил ворчливо: — Оно верно, после теплой печки да жены под боком умирать неохота. Сам небось так бы, Ладья?

— А я бы и в отпуск не поехал! На кой леший он мне! — сказал Ладья решительно и, взяв лежавший на нарах крепко набитый вещмешок Ремешкова, взвесил его с язвительной улыбкой, говоря: — Давай, давай катись колбасой, тютя!

И подтолкнул Ремешкова к выходу.

Оглушенные грохотом снарядов, рвущихся по высоте, они некоторое время стояли в ходе сообщения. С острым звоном полосовали воздух осколки, бритвенно срезали землю на брустверах, пыль сыпалась на фуражку Новикова. Отплевывая хрустевшую на зубах землю, он ощупью нашел телефонный провод, ведущий от орудий на передовую, и, не выпуская его, посмотрел в сторону города Касно. Все пространство за высотой — километра на два — было освещено, как днем... Гроздья ракет повисали там, пышно иллюминируя низкие облака. В них взвивались наискось трассы. Небо за высотой все время меняло окраску, наливалось густой багровостью — что-то горело в городе.

— Пойдете по проводу! Я за вами! — приказал Новиков Ремешкову.— Берите провод, он в моей руке!

— Провод? — глухо переспросил Ремешков.

Но когда Новиков почувствовал прикосновение чужих пальцев к своей руке, возник рев над головой — огненный шар, ослепив, разорвался в небе,— сверху ударило жарким воздухом, бросило обоих на землю: снаряд лопнул, задев о ствол сосны.

«Разобьет орудия»,— беспокойно подумал Новиков и тут же услышал стонущие вскрики Ремешкова:

— Ударило... по голове ударило... товарищ капитан. Всего ударило.

— Э, черт! — с досадой сказал Новиков, подымаясь. — Ранило? Где вы... ползаете?

В бледном отблеске расцвеченного ракетами неба он увидел у стены траншеи скорчившуюся фигуру Ремешкова. Охватив руками голову, он глядел вверх рыскающим взглядом, и это выражение успокоило Новикова, — раненые смотрели иначе.

— Крови нет? — спросил он и добавил насмешливо: — Еще до передовой не дошли, а вы... Как воевать будете? Ну, пошли, берите провод.

Ремешков поднес к глазам белые ладони, облегченно всхлипывая носом.

— Взрывной волной меня...

— Не взрывной волной, а страхом.

И Новиков пошел вперед по ходу сообщения к орудиям.

В трех шагах от землянки Овчинникова он почти натолкнулся на высокую фигуру, стоявшую в рост.

— Кто? Эй! — с угрозой рявкнул человек, и автомат тупо уперся Новикову в грудь. По голосу узнал часового первого орудия Порохонько; отведя ствол автомата, сказал:

— Свои. Близко подпускаете! — И, сразу же заметив возле Порохонько освещенную заревом неясную фигуру Лены (стояла, прислонясь спиной к траншее), спросил ненужно! — И вы здесь? Вы же к разведчикам хотели идти?

— Хотела... — неохотно ответила она и спросила с вызовом: — А вы откуда знаете?

Новикову стало жарко, он не рассчитал неожиданность вопроса и, увидев в больших вопросительных глазах на ее лице горячие отблески ракет, повернулся к Порохонько.

— Орудия целы?

Порохонько лениво поскреб узкий подбородок, тихонько хихикнул.

— Ось кладет, ось кладет снаряды, як пишет... И кидает и кидает, сказывся, чи що, фриц треклятый! А орудия дышат. Куда же вы, товарищ капитан?

Не ответив, Новиков двинулся дальше по траншее, а Ремешков, поправляя на спине вещмешок, выкрикнул глуховато:

— Фрицам в зубы, куда еще!..— И голос его покрыло разрывом.

Он нырнул головой в траншею, побежал, горбато согнувшись.

— Товарищ капитан! — безразличным голосом окликнула Лена.— Подождите.

Он приостановился.

— Я с вами на передовую,— сказала она, подойдя.— Мне нечего здесь делать. Видите, что там? А я ведь в разведке привыкла к передовой.

— Привыкли?

И это напоминание о разведке, о той непонятной легкой жизни Лены в полку вновь ревниво толкнуло Новикова на грубость.

— Что вы мешаетесь тут, товарищ санинструктор, со своими дамскими штучками! — сказал он, хотя сам не мог вложить точного понятия в эти «дамские штучки».— Что, спрашивается, я теряю с вами время?

А она как будто вздрогнула, некрасиво искривив рот, сказала страстно и тихо:

— Может быть, солдаты вас любят, товарищ капитан, может быть. А я вас терпеть не могу! Терпеть не могу! Другое бы сказала, да Ремешков здесь!..

— Спасибо,— произнес он, силясь говорить вежливо.— А я думал, что сейчас можно не терпеть только немцев.

И по тому, что она говорила с ним грубо и он увидел ее ставшее некрасивым лицо, Новиков понял, что никакие другие отношения, кроме уставных, не могут связывать их, и почувствовал какое-то тоскливое облегчение, похожее на медленно проходящую боль.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Весь центр этого польского города с его острой готической высотой костела, прочно стоявшего посреди каменной площади, на которой возле чугунной ограды мертво чернели обуглившиеся немецкие танки, и пустынные улицы, отблескивающие красными черепичными кровлями, опущенными металлическими жалюзи, с тенями обнаженных осенних садов за заборами, булыжными мостовыми — все было залито недалеким заревом, пылавшим над западной окраиной.

Врезаясь в зарево, искрами рассыпáлись над крышами очереди пуль, захлебывающийся треск пулеметов не заглушал тонкого шитья автоматов, тявкающего звона мин. Тяжелые снаряды тугим громом раскалывались на мостовых, знойный ветер вздымал, швырял ворохи сухих листьев, корябая лицо, как накаленным наждаком. Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом, с крыш ссыпалась на тротуар черепица.

Новиков и Ремешков упали рядом около закрытого подъезда, дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к дрожащему плечу Ремешкова, и жаркий, разбухший от ужаса голос зашептал в лицо ему:

— Побрился я... Зачем я побрился, а?..

— Чушь! — не понял Новиков.— Что вы бормочете?

А Ремешков, втянув голову в плечи, выговорил с придыханием, как если бы из ледяной воды вынырнул:

— Побрился я, побрился... С Днепра примета... перед боем... Побреешься, или чистое белье наденешь, или в баню... У меня дружка так... под Киевом.

— Молчите! — неприязненно оборвал его Новиков.— У меня в батарее будете бриться. И в баню ходить.— И добавил тоном, не допускающим шуток: — Умрете, так хоть выбритым. А борода растет и у мертвецов. Не видали? — И злым рывком встал.— Встать! Вперед!

Ремешков поднялся, разогнувшись, по-бабьи расставив полусогнутые ноги, стоял близ наглухо запертого подъезда особняка, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, бормотал:

— Куда идти? Где ж передовая? С тыла, никак, бьют... Окружают?

В конце улицы взлетали конусы разрывов. Едкий дым несло вдоль оград, мимо сгоревших на мостовых немецких танков. Город обстреливали дальнобойные батареи с запада и юга, однако Новиков не испытывал пока большого беспокойства,— вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат: немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам.

— Окружили, отрезали, обошли! Сорок первый год вспомнили? — сказал Новиков.— Вперед! И не на полусогнутых!

И побежал в глубину улицы.

Когда достигли западной окраины города, близкие пожары ослепили их, и оба горлом ощутили неисто-

вый, горячий ветер. Он, как в воронке, крутил по окраине огромные метели огня, искр, пепла: впереди буйно горели дачные коттеджи на берегу длинного озера. Красный отблеск воды висел в воздухе. Над озером, в дыму, перекрещивались, мелькали огненные нити пулеметных очередей; и частые вспышки орудийных зарниц в горах, мерцающие сполохи танковых выстрелов, малиново-круглые разрывы мин на берегу, звуки непрекращающейся автоматной стрельбы,— все это бросал и рвал над окраиной опаляющий до сухости в горле ветер.

— За мной, бего-ом!

Новиков первый вбежал в красный туман, ползущий над берегом, заметил впереди ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. Сразу зазвенели под ногами стреляные гильзы. Два солдата молча сидели здесь подле патронных ящиков, не шевелясь, курили в рукава и не подняли головы, только утомленно подобрали ноги в обмотках.

— Артиллеристов не видели из артполка? Почему здесь сидите?

Один из солдат, лет сорока, посмотрел снизу серьезными слезящимися глазами, неожиданно закашлялся, сделал нелепый жест оттопыренными локтями и ничего не объяснил,— видимо, наглотался гари и дыма, пока нес до траншеи патронные ящики. Другой, помоложе, точно оправдываясь в том, что сидели здесь и курили, прокричал на ухо Новикову:

— Пехота мы, товарищ капитан! Вон какое дело-то! Патроны носили... из боепитания... А артиллеристы там, во-он — на высотке...

До высоты — метров сто — шли по траншее, пригнувшись так, что тяжестью налилась шея. Над головой звенели, проносились косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали в рвущемся грохоте. С хриплой руганью отряхивая землю с шинелей, солдаты вдруг выныривали головами из траншей, ложась грудью на бруствер, стреляли за озеро. Кто-то басил сорванным командами голосом:

— По домику! Вон они у забора легли!..

Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей — человек за пулеметом отшатнулся вбок, крикнул злобно: «Ленту!» — и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа, в розовую от зарева полутень. Отстегнув флягу и запрокинув голову, он стал пить

жадными глотками. Как только Новиков подошел, человек этот перевел на него узкие горячие глаза, и тот увидел потное лицо, прилипшие ко лбу мокрые кругляшки волос — это был командир отделения разведки Горбачев.

— Вы что это? Пулеметчиков не хватает? — удивился Новиков.— Где командир дивизиона?

Горбачев бедово отбросил в окоп пустую флягу.

— Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас... Начальство. И Алешин здесь. А пулеметчиков угробило. Пока суд да дело, дай, думаю... шкуры фрицам посчитаю! — И спросил с хохотком: — Разрешите, а? Пока суд да дело!..

В просторной землянке командира дивизиона, на роскошном лакированном столике, принесенном из города, в полный огонь горела, освещая низкий потолок, лица офицеров, вычищенная трехлинейная лампа. Двое связистов, натянув на уши воротники шинелей, спали на соломе в углу.

Командир дивизиона майор Гулько сидел в расстегнутой гимнастерке, без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. Худощавое лицо с грустными, армянского типа глазами было, по обыкновению, едко, широкие брови, сросшиеся на переносице, брезгливо подымались. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, всегда веселого без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Алешин старательно сдувал пепел с карты, смуглые пятна волнения шли по чистому лбу, по стройной шее гимнаста. Говорил он и все оглядывался оживленно на спящих связистов, на стены землянки, задерживал взгляд на огне лампы и только не смотрел в сторону майора, опасаясь внезапно и некстати рассмеяться. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс; рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным выражением он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу: Гулько страдал радикулитом. Он ерзал, сопя носом, пригибался под нажимами ладоней ординарца и в то же время был, казалось, всецело занят Алешиным.

Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно:

— А, Новиков! — и тускло улыбнулся. Но даже и эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, майор тотчас стер ироническими морщинами на лысеющем лбу и показал на свои ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья.

— Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения? Французское шампанское распиваете? Трофеи? Или с прекрасными паненками романы крутите? Под гитарку... Мм? Или санитарочка там у вас?

Был Гулько разведен еще задолго до войны, о женщинах не говорил всерьез и, быть может, поэтому постоянно подозревал подчиненных офицеров в вольности и легкомыслии, что, по его убеждению, свойственно нерасчетливой молодости.

— Прибыл по вашему приказанию,— сухо доложил Новиков и подумал: «Обычное радикулитное настроение».

— Веселенькое дело,— продолжал Гулько, обращаясь не к Новикову, а к сигарете, которую с отвращением вертел в тонких прокуренных пальцах, и вдруг, сопнув носом, спросил отрезвляюще внятно, повернувшись к ординарцу: — Ошалел? Мозолями кожу снимаешь! Рашпиль! Кактус мексиканский! Genug[1]. Побереги водку.

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на столик, прижав кулак ко рту, смотрел на Новикова покрасневшими в напряжении, плещущими весельем глазами,— он давился от смеха. Гулько почесал спину и, кряхтя, застегивая гимнастерку, покосился на Алешина с брезгливым удивлением.

— Что, милый Алешин? Смешинка в рот попала? Прошу, товарищи офицеры, набраться серьезности.— И пригласил Новикова: — Садитесь как можете. К столу. Куда смотрите? На шнапс? Вызвал вас не водку пить.

— Я не просил водки, товарищ майор,— сказал Новиков, садясь возле Алешина.

— Совсем приятно,— скептически проворчал Гулько.— Консервы, пожалуйста, поковыряйте вилкой. Хорошие датские консервы. Свиные. Но, как ни странно, и нам годятся.

Новиков нетерпеливо нахмурился, глядя на карту. Он

---

[1] Достаточно. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, переводы с немецкого языка. — *Ред.*)

знал странность Гулько: чем сложнее складывалась обстановка, тем подчеркнуто болтливее и вроде бы придирчивее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. В самые опасные минуты боя его неизменно можно было видеть около стереотрубы, откуда он бесстрастно подавал команды, сморщив лицо застывшей гримасой неудовольствия, зажав вечную сигарету в зубах. В период обороны шлепал по блиндажу в мягких комнатных тапочках, постоянно лежал на нарах, читал затрепанный томик Гете, с недоверчивым видом и, словно подчеркивая эту недоверчивость, шевелил пальцами в носках. Было похоже: хотел он жить по-холостяцки удобно, скептически презирая строевую подтянутость, однако большой вольности подчиненным офицерам не давал и притом слыл за домашнего, штатского человека. Новиков же считал его чудаком, не живущим реальностью, и был с ним чрезмерно сух.

— Слушаю вас, товарищ майор,— сказал Новиков официальным тоном.

— М-да... Дело вот какого рода.— Гулько прикурил от сигареты сигарету, длинно выпустил струю дыма через нос и ядовито покривился.— Фу, пакость! Солома, а не табак! — И концом сигареты обвел круг на карте, заключая в него Касно.— Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев к границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада, основательно жмут. Хотят вернуть Касно. А почему? Понятно. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город — узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, вот на это шоссе, вдоль озера... Вся петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в двадцати на север от Касно. Знаете, что здесь происходит? Соседние дивизии замкнули под Ривнами немецкую группировку. Очень сильную... Много танков и прочая петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касно в Чехословакию. А там, надо сказать, события грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тисо.— Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту.— Два дня город Марице блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касно на Марице и вместе с немецким гарнизоном подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада — захватить Кас-

но, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такова обстановочка. Таковы делишки.— Гулько затянулся сигаретой.— Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, в Венгрии... Слышите музыку с запада? Мм?..

Майор Гулько невозмутимо посмотрел на дрожащие от разрывов накаты. От глухих ударов сыпалась со стуком земля на стол, звенело стекло лампы, непрерывные сильные токи проходили по земле. И Новикову почему-то хотелось сейчас придержать лампу — жалобное дребезжание раздражало его.

Младший лейтенант Алешин, напряженно и серьезно глядевший на карту, снова заулыбался, встал и начал счищать пыль с козырька фуражки, вытирать шею, весело встряхнулся, притопывая сапогами.

— Ну вот,— сказал он,— за шиворот насыпалось! Просто чудесная баня.

Никто не ответил ему. Гулько пососал сигарету, досадливо сплюнул табак, ворчливым голосом продолжал:

— Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь. На живописном берегу озера. Направление стрельбы — ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас: танки пятого корпуса — справа. Плюс иптаповский полк и гаубичные батареи. Слева — чехословаки генерала Свобóды. Воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин! — слегка поднял голос Гулько.— Покажите своему комбату местостояние батареи.

— Слушаюсь! — живо ответил Алешин.

— Пе-етин! Горячей воды, бриться! — крикнул Гулько, густо выпустив через ноздри дым, лениво договорил: — Я буду на местности через полтора часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность!

«Черт его возьми со всей этой чистоплотностью,— подумал Новиков, подымаясь, оглядывая прибранную землянку со слабым запахом одеколона и водки, с круглым туалетным немецким зеркальцем на столике, на котором сверкал никелем трофейный прибор, забитый ножичками и щеточками для чистки ногтей и расчесывания волос.— Устроился, как дома!» И, не скрывая презрения к этой женственно опрятной обстановке, к этой

потуге удобности быта, от которой как бы веяло прежними холостяцкими привычками майора, Новиков спросил все так же официально:

— Разрешите идти?

И первый вышел из землянки в траншею.

Горьковато-сырой, пропитанный гарью ветер гулко рвал звуки выстрелов, дробь пулеметов, дальнее и тупое уханье тяжелых мин, комкал все это над траншеей и нес гигантское неумолкающее эхо. Красный туман мрачно клубился над берегом, лица солдат в траншее казались сизо-лиловыми. Пулеметы длинно стреляли за озеро, в пролеты меж ярко горящих домов, где были немцы, и Новиков сверху видел это бесконечно вытянутое озеро, налитое огнем пожаров.

Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и Новиков тут же схватился за фуражку, ее как ветром толкнуло. Он надвинул козырек на глаза и выругался.

— Пуля? — крикнул Ремешков за спиной.

— Земля,— ответил Новиков.

— А-а...

Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за капитаном. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило, хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера; тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И оттого, что не случилось этого и теперь обязательно надо было идти, он почувствовал, как живот сжало холодом и ноги обмякли. А Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова:

— Скоро, Алешин?

— Готов, товарищ капитан! Идем! — послышался голос младшего лейтенанта.

Дверь землянки на миг выпустила свет лампы, обжитое тепло, где было, чудилось, по-домашнему покойно, то тепло, которое так не хотел покидать Ремешков.

«Эх, взял бы майор меня в ординарцы, разве таким, как Петин, был!» — пожалел завистливо Ремешков и, услышав веселый голос Алешина, подумал с отчаянием: «Фальшивят они, играют, веселость создают. Не от души это все. Кому война, а кому мать родна!»

— Э, кого сюда занесло? Кто здесь на карачках ползает? — сказал Алешин и засмеялся непринужденным молодым смехом, споткнувшись о ноги Ремешкова.

И Новиков окликнул строго:

— Где вы, Ремешков?

С трудом и тоской он встал, оторвав свинцовое тело от земли, хромая, подковылял к Новикову, тот пристально, сожалеюще глядел на него прямым взглядом.

— Ну?

— Нога...— Ремешков застонал, потирая колено; плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной бугром.

— На кой... прислали вас ко мне? — не выдержал Новиков.— Вы что, воевать приехали или задницу греть возле печки? Шесть месяцев торчали дома и ногу не вылечили. А если не вылечили — терпите! Не то терпят! Запомните, я ничего не хочу знать, кроме того, что вы солдат! Перестаньте стонать! Лучше сидор скиньте, пуда два за спиной носите!

Новиков понимал, что говорил жестоко, но не сдерживал себя. Три раза сам он после ранений лежал в госпиталях, и там, и потом в части ему не раз приходилось скрывать на людях свои страдания, стыдиться их. Новиков повторил:

— Перестаньте стонать!

Ремешков перестал стонать — неудержимо стучали только зубы,— но вещмешок не снял, потрогал лямку трясущимися пальцами и сгорбился.

— Да оставьте его здесь, товарищ капитан! — беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески согнутую фигуру Ремешкова.— Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой.

— Он пойдет с нами.

И Новиков, упершись носком сапога в нишу для гранат, с решительностью вылез из окопа.

Ремешков оставался в траншее последним. Снизу он увидел, как пули пунктирами пронеслись над головами офицеров. Ладони сразу вспотели, влажно прилипли к ложе автомата. Обмирая, часто-часто задышал он ртом, будто ему воздуха не хватало. «Если я оглянусь сначала направо, а потом налево, то меня не убьют, если не оглянусь...» — подумал он и оглянулся сначала направо, потом налево и, как в пелене, заметил розовые под светом зарева лица ближних солдат в траншее. С коротким диким вскриком он выскочил на бруствер, на резкий порыв ветра; спотыкаясь о свежие воронки, чувствуя вокруг острые, разбросанные по земле осколки, он побежал за

Новиковым, готовый закричать от ожидаемого удара в спину...

«Там вещмешок за спиной, вещмешок! Пулями не пробить! — мелькало в его голове.— Нет, нет, сразу не убьет, ранит только...»

Он догнал офицеров возле крайних домов и, прислонясь вещмешком к забору, никак не мог отдышаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В два часа ночи, после рекогносцировки, Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудия Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города, на новой высоте, правее озера.

Ожидая орудия, он сидел на земле в пяти шагах впереди позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат в темноте — копали расчеты Алешина. Озеро мерцало алыми тихими отблесками, и на той стороне, где была Чехословакия, молчали немцы.

Здесь, в четырех километрах на север от основного боя, смутное чувство тревоги охватывало Новикова. Казалось ему, что он непоправимо в чем-то ошибся, однако не мог найти, уловить точные причины того, что беспокоило его, как пристальный взгляд в затылок. Озеро уходило вперед, дымно тускнея, северная оконечность упиралась в черный кряж Карпат, далеко справа розоватой стрелой уносилось из Касно на Ривны шоссе, терялось в ущелье, оно сумрачно клубилось сизо-лиловым туманом.

— Товарищ капитан! Хотите великолепные сигареты? Польские! «Монополия»! О, черт, смотрите, что в городе!

Подошел Алешин. Молча Новиков отогнул рукав шинели, взглянул на часы, на фосфоресцирующие цифры, потом посмотрел назад — на отдаленный город, залитый заревом. Там беспрестанно возникали косматые звезды разрывов, вспышки танковых выстрелов вылетали навстречу друг другу, но ветер дул с севера и приглушал звуки боя.

— А здесь молчат,— сказал Новиков и вдруг, увидев над огневой слабый отсвет, спросил: — Кто курит? Прекратить! Богатенков терпеть не может?

В ответ — тишина.

Слабое свечение над окопом исчезло, там кто-то надсадно закашлялся, поперхнувшись. Младший лейтенант Алешин вынул из кармана шинели длинную коробку трофейных сигарет, залихватски толкнул коробкой козырек фуражки, сдвинув ее на затылок, отчего юное лицо стало наивно-детским, сказал добродушно:

— Черти!..— И, помолчав немного для приличия, заговорил веселым голосом: — Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь! Роскошь! Пойдемте, рядом он. Вон внизу...

— Пустой особняк?

— Совершенно.

Особняк этот, двухэтажный дом, стоял метрах в ста пятидесяти от высоты в липовом полуоблетевшем парке за чугунной оградой с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов.

Они вошли в парк, угрюмо-темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. Сапоги с мягким хрустом уходили в плотный увядающий настил, отовсюду из засыпанных листопадом аллей веяло безлюдьем, грустно-горьковатым, дымным запахом поздней осени.

В глубине парка перед домом гладко блестел за разросшимися кустами бассейн, в густой воде мирно плавали листья, собравшись плотами, и Новиков впервые за много дней увидел здесь, между этими плотами-листьями, острый блеск звезд в черноте неподвижного водоема. Лягушка, испуганная шагами, звучно шлепнулась в воду, и звезды у берега закачались, заструились.

Новиков любил только лето, привык в годы войны ненавидеть осень за раскисшие от дождей дороги и внезапно подумал, что стал забывать неповторимые приметы того довоенного мира, ради которого ненавидел и осень, и немцев, и самого себя за тоску по прошлому. Услышав голос Алешина, Новиков остановился.

— Вот чепуховина, что это? Что за насекомое?

Младший лейтенант Алешин с детски озорным любопытством посветил в воду карманным фонариком, и Новиков проговорил, неожиданно улыбнувшись:

— Бросьте, обыкновенная лягушка!

— Вот дура! — восторженно воскликнул Алешин.

— Дайте фонарь.

Новиков взошел по ступеням застекленной террасы, зажег фонарик.

Первый этаж дома был пуст. В нем не жили, вероятно, уже несколько дней, пахло пыльными коврами, сладковатой духотой чужого, незнакомого жилья. На полированной мебели, на сиденьях кресел — серый слой пыли со следами пальцев. Везде признаки торопливого бегства: в углу холла был заметен толстый ковер, свернутый в рулон; настежь распахнутый сервант искрился, сверкал стеклом посуды, хрустальными рюмками; ящики, заваленные столовым серебром, наполовину выдвинуты. Всюду валялись осколки фарфоровых чашек. Видимо, в поспешности искали самое ценное, что можно увезти, в злобе ломали, били то, что попадалось под руки и мешало. Зеркало трельяжа,— очевидно, прикладом,— расколото посредине, рядом на полу невинно розовела женская сорочка с кружевами.

— Балбесы! — сказал Алешин гневно.— Что наделали, идиоты дурацкие!

— Кто там? Танцуют, что ли? — Новиков указал фонариком на потолок, где дробно громыхали шаги, заглушенно проникали в нижний этаж голоса.

— Там один разведчик, старшина Горбачев,— ответил Алешин, пожав плечами.

Светя фонариком, Новиков по пружинящему ковру лестницы поднялся на второй этаж. Смешанным теплым запахом духов, едкой терпкостью нафталина пахнуло оттуда. Зеленый полумрак дымом стоял в этой пахучей комнате, вероятно спальне, с тщательно задернутыми на окнах шторами. Трое людей были здесь. Двое незнакомых — офицер и солдат — с сопением возились подле шкафов, суетливо выкидывали на пол шелковое женское белье, выбирая мужское, набивали им вещмешки, а разведчик Горбачев сидел верхом на кресле, пожевывая сигарету, презрительно цедил сквозь дымок:

— Барахольщики вы, интенданты, на передовую бы вас...— И, увидев вошедших офицеров, не без достоинства встал и несколько небрежно, снисходительно произнес: — Интенданты из медсанбата. Подштанники для солдат добывают... Да кружева все. Ха!

— Кто приказал? — спросил Новиков, подходя к интендантам.— Я спрашиваю, кто приказал?

Один из интендантов шумно повернулся,— был он потен, красен, коротконог, квадратные щеки выбрито лоснились, виски седые — капитан интендантской службы. Разгоряченный, он начальственно выкрикнул низким прокуренным баритоном:

— А вы кто такой? Что угодно? А?

— Я вас спрашиваю, кто приказал рыться здесь? — повторил Новиков, казалось, спокойным голосом и вскинул на капитана глаза, вспыхнувшие опасным огоньком.— А ну, вытряхивайте из мешков всё до последней нитки! И марш отсюда! Ко всем чертям!

Интендант зло смерил подбородком невысокую фигуру Новикова, заговорил с угрожающей самоуверенностью:

— Прошу потише, капитан! Не берите на себя много! Не для себя стараюсь, для вас же, солдат и офицеров, для медсанбата белье! Главное — спокойно, артиллерия... Васечкин! Бери и пошли! — скомандовал капитан солдату с унылой спиной.— Быстро, Васечкин!

Солдат этот растерянно топтался возле раскрытой дверцы бельевого шкафа, затем нерешительно подхватил до тесемок набитые вещмешки, и тучный интендант, предупреждающе поведя рукой в сторону Новикова, двинулся к выходу.

В то же мгновение Новиков шагнул навстречу, сказал гневно:

— Первую же сволочь, которая с барахлом переступит порог... Назад!

Сутулый солдат робко попятился, путаясь сапогами в кучах разбросанного женского белья, и тут интендант по-бычьи заревел с закипающей слюной в уголках рта:

— С дороги! Не лезь не в свое дело! Мальчишка!..

И, издав горлом сиплый звук, рванул на боку кобуру нагана.

— Младший лейтенант, отберите у него эту игрушку! — быстро и жестко сказал Новиков.

Младший лейтенант Алешин и следом Горбачев, пригнувшись, ринулись на капитана, и тотчас в углу послышалась тяжелая возня, злое сопение капитана, умоляющие вскрики сутулого солдата: «Не надо, товарищ капитан!..» И когда интенданта, грузного, с злобно налитыми кровью щеками, выводили из комнаты, он упирался, отпихиваясь, придушенно кричал:

— Наган отдайте! Личное оружие... Не имеете права! Не для себя белье, для медсанбата! Медсанбат разбомбило, ни хрена ты не понимаешь! Молокосос!

Его вывели; шаги, крики капитана удалялись, стихали на нижнем этаже. Новиков подошел к столу, налил себе полстакана воды и залпом выпил.

— Ну и мордач! Обалдел, просто обалдел! — почти восхищенно воскликнул Алешин, входя вместе с Горбачевым и оправляя ремень.— Вот игрушку взяли.— Он, возбужденный, зачем-то обтер о шинель наган, положил его перед Новиковым и, вроде бы ничего не случилось, сел к столу, независимо пощурился на свет лампы под зеленым абажуром. Затем потянулся к ящичку, набитому плитками шоколада. С удивлением увидел рисунок обертки: женская головка с опрятно расчесанными волосами, долька шоколада у полуоткрытых губ, чужие буквы на фоне башни, на железных пролетах. Сдвинув фуражку на затылок, прочитал, растягивая слова:

— Па-ри-ис,— и поднял заинтересованные глаза на Новикова.— Что такое? Что за «Парис»?

— Это по-французски — Париж. Немцы еще жрут французский шоколад,— ответил Новиков.— А это Эйфелева башня. Конструкция инженера Эйфеля. Кажется, триста метров высоты. А впрочем, может быть, и вру. Забыл...

И, отодвинув наган к консервным банкам, внимательно оглядел комнату, повсюду разбросанное белье на ковре, двуспальную, с развороченной периной кровать, мягкие кресла. Потом достал из ниши над широкой тахтой запыленную книгу, полистал, швырнул ее на пол, сунул руки в карманы,— прошелся по глушащему шаги ковру.

— Немцы,— сказал он.— Здесь жили немцы, а не поляки. Отдыхали немецкие офицеры... Курортный городок.

— Да шут с ними, товарищ капитан,— успокоительно сказал Горбачев.— Садитесь, закусим, щоб дома не журились! Здесь продуктов — подвал! На год хватит. Товарищ младший лейтенант, вам, может, винца? А шоколад-то, разве это закуска? Плюньте. Ерунда!.. В подвале его штабеля...

— Вина? Пожалуйста.

Алешин отложил развернутую плитку шоколада, вопросительно посмотрел на Новикова, внезапно жарко по-

краснел, взял рюмку, наполненную ромом, и торопливо, неумело, давясь, выпил, после чего долго мигал, вбирая воздух ртом, наконец выговорил:

— За победу!..— Он засмеялся, наклонясь к полу, украдкой смахнув с ресниц выжатые ромом слезы, и уже с наигранным выражением лихости откусил половину шоколадной плитки.

Горбачев выпил рюмку одним глотком, понюхал корочку хлеба, стал тыкать вилкой в банку свиных консервов, подвинул их к Алешину. Однако тот, жуя шоколад, замотал протестующе головой, говоря смело:

— Так привык. Спирт в Трамбовле котелками дули и даже ничем не закусывали! Помните, товарищ капитан? Ух и рванули!

Новикову нравился этот синеглазый младший лейтенант с веселыми конопушками на носу, нравилось, как он скрывал юную свою чистоту наигранной беспечностью бывалого человека. Нет, младший лейтенант ни разу не пил котелками спирт в Трамбовле, а когда разведчики принесли канистру этого трофейного спирта, он, сославшись на дурацки болевший живот, пить вовсе отказался, но сейчас Новиков сказал:

— Помню. Вы здорово тогда...

И чуть улыбнулся, наблюдая, как Алешин, красный, довольный, блестя глазами, разворачивал хрустящую серебристую обертку второй плитки шоколада.

— Очень здорово и лихо вы тогда! Ну, пошли! Батарея должна прибыть. Горбачев, вы останетесь здесь. Вернутся эти — гоните! Ясно?

— Как божий день.

Новиков встал, застегнул шинель; Алешин с видом разочарования рассовал по карманам четыре плитки шоколада, толкнул козырек фуражки со лба, строго сказал Горбачеву:

— Чтоб все как в аптеке, ясно? — и последовал за Новиковым старательно прочной походкой.

Когда шли по глухой аллее парка, уже заметно посветлел воздух, проступили среди неба верхушки оголенных лип, и Новиков шагал по шелестящим ворохам листьев, глядя сквозь узорчатые очертания ветвей на высоту. Он прислушался — и тут же по знакомому перезвону вальков, по отдаленным голосам команд, по крутой ругани ездовых понял, что орудия прибыли.

«С ума спятил Овчинников? — подумал Новиков,

ускоряя шаги.— Что галдят под носом у немцев?» — и приказал Алешину:

— Бегом! Базар устроили!

— Не может быть! — ответил Алешин.

Бегом они поднялись по пологому скату на высоту, и Новиков различил пятна орудий, повозок, лошадей, двигающиеся силуэты солдат, приглушенно скомандовал:

— Тихо-о! Что у вас? Командир взвода, ко мне!

Ругань и голоса стихли, неясные силуэты застыли подле орудий, и, шумно дыша, подбежал к Новикову весь пахнущий горячим потом лейтенант Овчинников. Он доложил о прибытии.

— Вы что, Овчинников? — тихо, сдерживая себя, спросил Новиков.— Батарею без единого выстрела хотите угробить? Впереди нейтралка, немцы рядом, вам это не ясно?

— Ничего не ясно! — прошептал Овчинников возбужденным от недавних команд голосом.— Хреновина! Что, орудия на нейтралке мне ставить? Не перепутал Ремешков, товарищ капитан?

— Нет. А в чем дело?

— Минное поле тут немецкое за высотой, вот что! Орудия проскочили, а вот повозку на мину нанесло! Лошадь — вдребезги, хвоста не найдешь! Повозочного тяжело ранило. Ленка с ним возится! Значит, мне на нейтралке стоять? Без пехоты? — спросил он, еще не веря.

— Без пехоты. Алешин здесь на высоте. А за высотой на нейтралке вы, Овчинников. Почему я должен повторять приказ?

— Думал, ошибся Ремешков,— странно потухнув, ответил Овчинников.

— Никто не ошибся. Занимайте позицию, и без шума,— повторил Новиков.— Где раненый? — И, не услышав, что ответил Овчинников, пошел по высоте, в сторону нейтральной полосы.

— Куда? На мины? — крикнул Овчинников и рванулся к Новикову.— Жизнь осточертела, товарищ капитан? Ленка там, и вы еще... Надо саперов вызвать...

— Саперы вызваны. Только они не разминируют, а минируют...

Новиков недоговорил, голос Овчинникова срезало на крик: «Ло-жи-ись!» — и тотчас раздался отчетливый хлопок, все нарастающее шипение. Новиков спиной почувст-

вовал, что случилось что-то позади, и, обернувшись, увидел: в небе стремительно взвивалась мерцающая, разгорающаяся звезда, и такая же звезда неслась из глубины озера за высотой. Верхняя звезда рассыпалась над озером зеленым огнем, осветив высоту, орудия, повозки, лошадей, фигуры солдат. И в те же секунды, пока ракета горела в небе, с конца озера, где должны были стоять орудия Овчинникова, красными стрелами посыпались на высоту трассы. Очень близко — за нейтральной полосой — четко заработал пулемет. И снова взлетела ракета, немного правее, и оттуда тоже брызнули цепочки очередей по высоте.

— Повозки — в укрытие! — скомандовал Новиков, уже не сомневаясь, что немецкое боевое охранение обнаружило батарею.

Подбежав к сгрудившимся повозкам боепитания, он увидал, как солдаты суматошно сгружали снарядные ящики, а орудийные упряжки, грохоча передками, вскачь понеслись по высоте.

— Я приказал — в укрытие! — громко повторил команду Новиков, встретясь с лихорадочными глазами первого повозочного, который со стоном нетерпения кидал ящики на землю, и договорил тише: — Батарея как на ладони! Вы это еще не поняли?

Над головой хлестнула очередь. Новиков нагнулся, повозочный упал животом на ящик, прохрипел:

— Товарищ капитан... Немцы совсем рядом... Целоваться можно. Мы ж не знали...

— Ма-арш! — приказал Новиков.

Эта последняя команда оторвала повозочного от земли. Он рванул вожжи, повозка покатилась по скату высоты. Вокруг, озаренные ракетами, на рысях мчались мимо другие повозки, вслед им хлестали огненные струи пулеметных очередей. Беспрерывно омываемая светом высота опустела и точно вымерла вся. Два пулемета вперекрест с перемещением били по ней — прочесывали каждую травинку острыми зубьями гигантского гребня. И Новиков, слыша приближающиеся тюканья пуль в землю, подумал, что немцы теперь не выпустят высоту из виду, будут прочесывать ее целую ночь — все это вдвойне осложняло дело, злило его. «Засечь батарею еще до боя!»

Пулеметы внезапно смолкли, и наконец ракеты сникли. Темнота упала на высоту. Новиков выпрямился и позвал вполголоса:

— Младший лейтенант Алешин!

— Я, товарищ капитан.

Возле зашуршала трава, быстро подошел Алешин, сказал возбужденно:

— Вот джаз устроили!.. Два пулемета я засек. Под самым носом стоят. Дать по ним огонь? Чтоб заткнулись!

— Не говорите чепухи,— оборвал его Новиков.— Батарею не демаскировать. Окапываться в полнейшей тишине. Все ясно? Раненые есть?

— Только один повозочный. Сужиков. На мину нарвался. Лена с ним.

— Знаю. Я сейчас туда. За меня остаетесь.

— Слушаюсь оставаться.— Алешин с сожалением задержал вздох, нарочито бодрым голосом добавил: — Возьмите это, товарищ капитан, Леночке,— и неловко протянул Новикову две плитки шоколада.— Подкрепиться... А то они тут в карманах понатыканы, плюнуть негде!

Новиков молча сунул шоколад в карман, как бы не обратив внимания на неловкость Алешина. Он никогда раньше не замечал между младшим лейтенантом и Леной каких-то особых отношений, какие, казалось ему, были между ней и Овчинниковым. И то, что Алешин смутился, говоря «Леночке», было Новикову неприятно. Он не хотел, чтобы этот чистый мальчик, напускавший на себя взрослость, попал под колдовство этой обманчиво непорочной Лены, знающей все, что можно только познать на войне, в окружении огрубевших от военных неудобств мужчин.

Спускаясь по высоте в район нейтральной полосы, Новиков смотрел под ноги, стараясь угадать, где начиналось неизвестное минное поле. «Наскочили на немецкую мину?» — соображал он и тут, сойдя в котловину, услышал предостерегающий голос:

— Кто идет? Осторожней! — и сейчас же заметил справа, вблизи кустов, темнеющее пятно.

Он подошел... Темное пятно справа оказалось разбитой, без передних колес повозкой, рядом возвышался труп убитой лошади. Лена стояла на коленях, перевязывала тихо стонущего Сужикова, торопливо накладывала бинт.

— Сейчас, сейчас,— говорила Лена убеждающим шепотом.— Ну, еще немножко...

— Сильно его? — спросил Новиков, наклоняясь.

Она сказала злым голосом:

— Зачем вы здесь? Одного мало, да?

— Сужиков! — позвал Новиков и опустился на корточки около раненого.— Что же ты, а? В конце войны... С Киева вместе шли...

Сужиков, пожилой солдат, воевавший в его батарее с форсирования Днепра, лежал, запрокинув голову, напряженно округленные глаза глядели в небо; обросшее лицо было серо, узко, он с усилием перевел взгляд, узнал Новикова, губы беспомощно зашевелились:

— Случайно... Разве знал?.. Вот обидно,— и крупные слезы медленно потекли по его щекам.— Обидно, обидно,— сквозь клокочущий звук в горле повторял он.

Нет, Сужиков не говорил о смерти, но Новиков понял, что война для него кончилась раньше, чем должна была кончиться, и горько кольнуло ощущение несправедливости.

— Не отчаивайтесь, Сужиков, не надо,— заговорила Лена поспешно и ласково, промокая бинтом слезы, застрявшие в щетине его щек.— Вы будете жить, Сужиков... Боль пройдет, еще немножко...

Новиков терпеть не мог тех ложных слов, какие говорят медсестры умирающим, и, испытывая неловкость огрубевшего к горю человека, подумал, что он не хотел бы, чтобы его ласково обманывали перед смертью, если суждено умереть: от этой последней ласки жизни не становилось легче.

— Не стоит его успокаивать. Он все понимает. Прощай, Сужиков. Я тебя не забуду,— сказал он и легонько сжал худое плечо солдата. Встал и, уловив снизу слабый голос Сужикова: «Спасибо, товарищ капитан»,— почувствовал острое неудобство этой необъяснимой благодарности. «Вот еще один...»

Минут через десять прибыла санитарная повозка из медсанбата, и Сужикова увезли.

Они шли рядом, Новиков и Лена, молчали. Она повернулась к нему, почти касаясь его грудью, быстро заговорила:

— Я бы одна отправила его! Зачем пришли? Хотите геройски погибнуть на мине? Кто вас звал? Это мое дело!

— Это мой солдат,— ответил Новиков.— Идемте к Овчинникову. Только осторожней, не петляйте по минам,

шагайте рядом со мной. У меня, кажется, больше опыта.— И добавил: — Кстати, вам шоколад от Алешина.

— Какой шоколад? О чем вы? Здесь не детский сад.

Влажный блеск засветился в ее глазах, и он увидел, как то ли презрительно и ненавидяще, то ли жалко и беспомощно, как сейчас у Сужикова, задрожали ее губы. И она резко пошла вперед, по котловине, к озеру.

Новиков догнал и остановил ее.

— Я сказал вам: идите рядом со мной. Недоставало мне еще одного раненого. Слышите?

Она не ответила.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Два орудия — взвод лейтенанта Овчинникова — были выдвинуты в сторону ничьей земли на двести метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина.

Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании — команды отдавались шепотом, люди работали, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами.

При сильных порывах ветра, налетавшего с озера, доносились тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Расчеты, замирая, не выпуская лопат из рук, ожидали взлета ракет, близкого стука пулемета,— порой, казалось, слышно было, как немцем-пулеметчиком продергивалась железная лента.

Лейтенант Овчинников, еще не остывший после слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом:

— А ну, шевелись, шевелись! Лягалов, не спать! С лопатой обнимаетесь? Или жинку вспомнили?

Он видел, как маслянисто светились во тьме белые спины раздевшихся до пояса солдат, запах крепкого пота доходил до него.

— О чем задумались, Лягалов? — опять спросил он, зорким кошачьим зрением следя за работой, и нетерпеливо приподнялся на бруствере.— Чего размечтались? Жить надоело? Действуйте, говорят!

Замковый Лягалов, солдат уже в годах, с некрасивыми толстыми губами, в постоянно сбитой поперек головы

пилотке, стоял, обняв лопату, держась за оттянутый подсумком ремень, бормотал усталым голосом:

— Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе. После немецких консервов... Я маленько...

— Вот, хрен его расчеши! — захихикал насмешливо злой наводчик Порохонько, светлея в потемках тонким безволосым телом.— Графиню он польскую вспомнил, любовницу. Тут в замке одном... Як на марше зашли напиться в замок, бачим: графиня, руки белые, в кольцах... Шмяк на колени перед Лягаловым: «Я такая-сякая, капиталистка, туда-сюда, и от любви умираю, возьмите в жены, советской жолнеж, ум-мираю от сердца...»

— Отчепись,— смущенно и протяжно попросил Лягалов, по-прежнему держась за ремень.— Знобит меня, товарищ лейтенант... Разрешите? — И, потоптавшись неловко, полез с неуклюжестью пожилого человека наверх, осыпая ботинками землю, оглядываясь в сторону боевого охранения немцев.

— Насовсем убьет, гляди,— заметил Порохонько язвительно и поплевал на ладони.— Графиню сиротой оставишь!

Сержант Сапрыкин, тяжко посапывая, ожесточенно долбя грунт, с укором сказал:

— Ну, чего прилип к человеку? Изводишь дружка ни с того ни с сего. Язык у тебя, Порохонько, болтает, а голова не соображает.— И миролюбиво вздохнул: — Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов. Это бывает.

— У плохого солдата перед боем всегда понос! — беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель.— До рассвета не окопаемся — все мертвецы. До всех дошло?

Сапрыкин негромко сказал:

— Отсель недалеко чехи, соседи наши, окапываются. Ребята хорошие. Давеча с одним разговаривал. Партизаны, говорит, восстание в Чехословакии подняли, наших ждут. Веселое время идет, ребятки! А ну нажимай, пота не жалей, все окупится!

— Это что — для агитации, парторг? Или так, для приподнятия духа? — едко засмеялся Порохонько.

— Мне тебя агитировать — дороже чихнуть, орудийный банник ты! — ответил Сапрыкин добродушно.— У тебя свой ум есть: раскидывай да уши востри куда полагается.

— Нажима-ай! — хрипло скомандовал Овчинников.— Разговоры прекратить! Жми!

Оставшись в гимнастерке, Овчинников с хеканьем вдавил сапогом лезвие лопаты в твердый грунт, сильным рывком отбросил землю на бруствер. Солдаты замолчали. То, что лейтенант взялся сам за работу, вдруг вызвало у всех обостренно-тревожное чувство. Все копали в напряженном безмолвии, обливаясь разъедавшим тело потом.

Раз Сапрыкин, не рассчитав силу, со звоном ударил киркой по камню, и тут же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, залили обнажающим светом край озера, поле вокруг. И люди на огневой позиции увидели друг друга, повернутые в одну сторону головы, розовые отблески в зрачках.

— Ложи-ись! — неистовым шепотом скомандовал Овчинников.

Пульсирующее пламя вырвалось на том берегу озера, и люди упали на огневой, прижимаясь разгоряченными телами к холодной земле,— раскаленные вихри трасс бушевали над ними. В тот же миг на огневую суматошно скатился, придерживая галифе, Лягалов, бросился ничком, головой в бок лежавшему Порохонько, удушливо икая, давясь словами:

— Ка-ак он хлестанет, как хлестанет, хосподи...

— Эх ты, поно-ос,— зашептал Порохонько.— О графине подумал, икота началась на нервной почве...

Ракета упала и горела костром за бруствером, дымя, ослепляя, и хотелось горстями земли забросать ее брызгающий мертвенный свет. Казалось, бруствер не прикрывал никого и все лежали на ровном месте, как голые.

— Теперь житья не дадут,— сказал Сапрыкин.

— Заметили, фрицево отродье! Точно подзасекли,— мрачно проговорил Овчинников и выматерился от удивления: разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов. Он вскочил на ноги, подал команду: — За лопаты, наж-жимай! Душу из всех вон!

Первым поднялся неуклюжий Лягалов,— виновато поддергивая галифе, кинулся искать лопату, наткнулся на вставшего с земли деловитого Сапрыкина, тот остановил его рассудительно:

— Потихоньку. С какой стати расшумелся, как трактор? С какой стати? Голову гусеницей отдавишь! — и взялся за кирку.

— Это он герой, колгоспный бухгалтер,— отозвался Порохонько.— Одно дело: то понос, то графиню прижимает, то головы отдавливает, ловка-ач! У него и фамилия такая — лягает по головам. Залез в кусты демаскировать.

— Зачем так, разве я виноват? — тихо, конфузливо спросил Лягалов.— Измываешься... Легче тебе так?

— Я ж люблю тебя за ловкость.

— Прекратить разговоры! — скомандовал Овчинников вполголоса, и мгновенно стихло на огневой.

Подождав, лейтенант выпрямился, всматриваясь в темноту.

— Идет кто-то,— произнес он и, придвинувшись к краю огневой, окликнул: — Кто идет?

— Двое идут,— сказал Сапрыкин.— Может, чехи? И по минному полю... Вот славяне! Постой, кажись, комбат с санинструктором.

Овчинников досадливо выругался. Он не скрывал своего расположения к санинструктору, никто из солдат, уважавших Овчинникова за откровенность, простоту взаимоотношений, не мог осудить его. Однако то, что Лена была не одна, не понравилось ему, хотя точно знал, что между ней и комбатом не было той, с большим намерением игры, которую умело, легко, почти удачливо начал он после появления нового санинструктора в батарее.

Подошли Лена и капитан Новиков, их фигуры проступили над бруствером среди звездной темени ночи.

— Леночка, дайте руку. Упасть можно,— приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер.— Прошу вас, Леночка. Спасибо, что пришли.

Она протянула руку, и он особо значительно стиснул ее узкую, влажную кисть своими грубо-сильными, в мозолях пальцами, помог сойти на позицию. Когда сходила она, вес ее тела, ее движения доверчиво передались на руку Овчинникова, и, внезапно задохнувшись, он почувствовал в этом прикосновении иной, обещающий смысл.

— Связь с Ладьей проложил? — спросил Новиков.

Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:

— Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена... Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Лягалов.

Новиков не удивился тому, что сам командир взвода вместе с расчетом копал огневую,— хорошо знал самолюбивого лейтенанта, тот не привык сидеть и ждать:

окапывался всегда первым и первым докладывал о готовности огня.

Когда влезли в свежевырытый блиндаж, крепко пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, Новиков, чиркая зажигалкой, прикуривая, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал:

— К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтобы тебя в упор не было видно.

— Знаю,— отрезал Овчинников, тоже прикуривая.

Помолчали.

— Скажите, разве в дивизионе не знали, что здесь минное поле? — спросила Лена сердито, улавливая от загоравшихся огоньков папирос пристальный взгляд Овчинникова.

— Дайте папиросу, заснули, товарищ лейтенант? — сказала она, обращаясь к нему,— этот устремленный его взгляд беспокоил ее.

Овчинников встрепенулся, папироса осветила его крючковатый нос, край худощавой щеки, он вдруг заговорил игривым голосом:

— Разведчики научили? Не идет курить вам. Я лично курящих девушек не уважаю. Духи, одеколон — другое дело. Для вас обещаю. После первого боя.

И, ревниво покосившись в сторону молчавшего Новикова, протянул ей папиросу, зажег спичку. Лена не без насмешливого вызова задула огонь, сказала:

— Спасибо. У меня есть прекрасные французские духи. Разведчики подарили. Но лучше бы вместо них побольше соломы в блиндаж. Разрешите, я распоряжусь, товарищ лейтенант? — И, отдернув плащ-палатку, вышла.

— Чего это она? — Овчинников уязвленно хмыкнул.— Хитрый, скажи, орешек! Эх, после войны жена бы была, королева в постели! — проговорил он преувеличенно откровенно и добавил снисходительно: — Хороша, капитан!

Разговором этим, видимо, он хотел показать Новикову, что дела его с Леной зашли далеко, достигли того естественного положения сблизившихся людей, когда он может уже таким тоном говорить о ней.

Однако Новиков сказал не то, что ожидал от него Овчинников:

— Запомни, твои орудия примут первый удар. Шоссе — на твою ответственность. Но рассчитывай на круговой сектор обстрела.

— Знаю.

— Минные поля саперы разминировать не будут. Наоборот, саперы минируют котловину перед твоими орудиями. Вокруг тебя везде мины: и наши и немецкие. Если немцы двинут на тебя, они застрянут на этих полях. Ясно?

— Знаю.

— Что знаешь?

— Ловушка, значит? — недоверчиво произнес Овчинников.

— Какая? — Новиков усмехнулся.— Просто воюем на нейтральной полосе. Пусть твои связисты свяжутся с саперами, те отметят проход к высоте в минных полях.

— Знаю! — снова отсек Овчинников.

Это резкое «знаю» говорилось им обычно из тяжелого самолюбия, говорилось потому, что Новиков по годам был гораздо моложе его и, казалось, жизненно неопытнее, и лишь стечением обстоятельств, невезением объяснял Овчинников то, что не он, Овчинников, лейтенант в двадцать шесть лет, а слишком молодой Новиков командовал батареей.

— Что «знаю»? — миролюбиво спросил Новиков, и по этому тону Овчинников почувствовал его превосходство над собой.— Действуй. И немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым!

Новиков поднялся, откинул висевшую над входом плащ-палатку.

Звездная, неестественно тихая ночь, со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав, влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.

— Молчат и ждут,— проговорил Новиков задумчиво. И спросил не оборачиваясь: — У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится? В Венгрии Второй Украинский вышел на Тису. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец...

Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа, там разгорался и гас, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы.

— Нет, капитан.

Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и порой в часы затишья испытывал томительное состояние некой растерянности, невнятного беспокойства о чем-то

словно бы недоделанном им на войне, что успели сделать другие.

— Нет! Не думал,— хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно:

— Ну и дурак! Ладно. Пошел.

В ходе сообщения, еще не отрытом полностью, он столкнулся с наводчиком Порохонько. Тот, взмокший, в телогрейке, надетой на голое тело, нес ворох соломы, стянутой в узел плащ-палаткой. Спросил, крякнув, подбрасывая зашуршавший ворох на лопатках:

— Вы чи не вы приказали, товарищ капитан? Может, разведка?..

Новиков сделал вид, что не понял намека.

— Приказ отдал я. Пора научиться жить на войне с относительным удобством.— И пошутил без улыбки: — Скоро будем спать на чистых простынях, я вам обещаю.

Порохонько протиснулся к землянке, свалил со спины ворох и понимающе, сурово даже, уставился в темноту, поглотившую комбата. Первым признаком надвигавшегося боя (он знал это) была странная спокойная веселость Новикова.

Была полная предрассветная тишина. Немцы молчали.

За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово.

Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной, а когда сел, заболели мускулы поясницы, спросил не окрепшим после сна голосом:

— А второе орудие? Доложили о готовности?

— Нет еще.

В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Дымились котелки, стояла огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженую голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь, на ложку.

Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, не соразмеряя силу, так нажимал на

нож,— казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящике, посоветовал с домовитым покоем в голосе:

— Поужинайте, товарищ лейтенант. С вином. Капитан Новиков прислал. Садитесь, ребятки.

— Есть не хочу.

Овчинников налил из бутылки полную кружку вязкого на вид вина, жадно выпил терпкую спиртовую жидкость, брезгливо передернулся:

— Фу, дьявол, дрянь какая! Повидло прислал! А ну, Гусев, командира второго орудия старшего сержанта Ладью!

Гусев вытер поспешно губы — он, будто ребенок, измазал их пшенной кашей,— сорвал трубку с аппарата, подул в нее, как на ложку, заговорил баском:

— Ладью, давайте Ладью... Спите? А нам неясно, что вы делаете.— И, недоуменно пожав плечами, протянул трубку Овчинникову.— Он... музыку какую-то слушает... С ума посошли.

— Какая еще музыка у тебя, Ладья? — лениво спросил Овчинников, услышав по проводу близкий голос командира второго орудия.— Трофеи, может, виноваты? Как у вас? А если все в порядке, докладывать надо. Что за музыка? Какая? Где?

Он ловко застегнул шинель на плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа:

— Лена у орудия? — И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа.

Был тот кристально тихий час ночи, когда переместились звезды в позеленевшем небе, прозрачно поредел воздух над безмолвной землей и особой, острой зябкостью влажного рассвета несло от темной травы на бруствере, от стен ходов сообщения, от мокро блестевших лопат в ровике.

Поеживаясь на сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию, оттуда донесся негромкий разговор, у станины неясно чернел силуэт часового: по неуклюжей позе он узнал Лягалова. Рядом на снарядном ящике сидела Лена, на ее плечи была накинута плащ-палатка. Лягалов говорил, вздыхая, голос звучал сонно, ласково:

— Не женское это дело — война. Какое там! Мужчину убьют — это туда-сюда, его дело. А женщина — у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь,

Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка... Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу! Нет, не могу! Двести бы раз вместо нее согласился воевать! А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница небось?

— Я из Ленинграда, училась в медицинском институте. Вы сказали — фыркальщица? — спросила Лена.— А что это значит?

— Да такая, если что — фырк. И пошла... Я не говорю про вас.

Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Лягалов, поглаживая на коленях большой крестьянской рукой автомат, точно лаская его, спросил:

— А родители как у вас?

— Я одна,— сказала Лена.— Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз и навсегда! Иначе нельзя жить.

Замолчали.

— Лягалов! — строго позвал Овчинников и бесшумно подошел к ним.— Идите отдыхайте! Я побуду здесь. Леночка, мне поговорить с вами необходимо.

Лягалов в нерешительности потоптался, с неуклюжей покорностью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на недвижную фигуру Лены, затем исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь ее плеча, вынул из кармана кожаный трофейный портсигар, предложил, игриво улыбаясь:

— Покурим, а, Леночка? В рукав...

— Не курю.

— Та-ак... Значит, мило шутили надо мной? Что ж, очень приятно, можно сказать,— проговорил он по-прежнему игриво-простодушно, однако, казалось, не без усилия владея голосом, и спросил еще: — Может, перед комбатом форсили?

Она сидела невнимательная, едва заметно хмуря брови, сказала:

— Ничего не слышите? — И повернулась к озерцу.— Послушайте. Что там у них?

— А именно? — не понял Овчинников.

Низко и свинцово, подступая из темноты, блестел край озера. Серая, застывшая по-осеннему, затянутая

туманцем вода не отражала высоких звезд, кусты на берегу, откуда всю ночь стреляли пулеметы, стояли затаенно. Тишина рассвета осторожно прижалась к холодеющей воде озера. И тотчас Овчинников с тревогой и недоверием услышал, как сквозь узкую щель, нежные, звенящие звуки саксофонов, дробный грохот барабанных палочек, сентиментально-сладкий женский голос пел о чем-то томительно-незнакомом. Внезапно появилось такое чувство, будто там, за озером, приемник немцев поймал случайную, с другой планеты, музыку (которую слышали и возле орудия старшего сержанта Ладьи). И сразу возникшее у Овчинникова подозрение о том, что у немцев в эти самые крепкие часы сна не спали, неспокойно настороживо его.

Он сидел несколько минут, прислушиваясь. Слева, очень далеко, за ущельем, в горах, слабо тронули тишину пулеметные очереди, витиеватым узором вплелись автоматные строчки, кругло ударили танковые выстрелы, и все смолкло. В той стороне четвертые сутки шел бой в районе Ривн. Здесь смолк и патефон у немцев. Безмолвие лежало везде.

— Что вы, Леночка? — сказал Овчинников небрежно.— Обыкновенная обстановка. Вам-то что за забота? Серьезно обещаю вам — прекрасные духи достану. Встречались — не брал. А вот эту штучку взял. Хороша? Хотите, подарю?

Он вынул из кармана нагретый теплом тела, игрушечно отливающий перламутром рукоятки маленький, изящный пистолет, подбросил его, поймал в воздухе.

— Немка военная какая-то носила. Даже себя убить, должно быть, невозможно. И ранить нельзя, а так вещь, вроде игрушки. У вас оружия нет, возьмите...

— Ну-ка покажите.

Лена легко скинула зашуршавшую плащ-палатку, чтобы не сковывала движения, и будто разделась перед ним. Он увидел четко вырезанные среди свинцового свечения озера ее узкие плечи, тонкую шею; миндальный запах волос, словно бы обещающий сокровенную близость, коснулся Овчинникова при повороте ее головы.

— Дамский «вальтер»,— услышал он голос Лены.— Это действительно игрушка.

Он смутно слышал ее голос, как сквозь воду, и только остро и ревниво мелькнувшая в его сознании мысль о том, что она хорошо знала то, чего не знали другие

женщины, что она холодна и недоступна из-за его нерешительности, отозвалась в нем нетерпеливой дрожью, в прерывистом шепоте его.

— Как гвоздь вошли в сердце, Леночка! Клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам!..

И сильно, по-мужски опытно обнял ее, рука его, лаская, скользнула от плеч к тайно теплым, сжатым бедрам. Он так резко повернул ее к себе, так плотно прижал грудью, что она откинула голову, замотала головой. Он начал порывисто, колюче-жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о стиснутые ее зубы.

— Леночка, Леночка...

Она упруго вырвалась, вскочила с перекошенным лицом, ударила изо всей силы его по виску, сказала страстно и зло:

— Дурак, глупец! Убирайся к черту! Иначе я не знаю что сделаю!..

Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую щеку, потом неожиданно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа.

— Еще... ударь... еще!.. Сильней ударь!

Она шагнула к нему.

— Да, ударю!

— Товарищ лейтенант, к телефону вас. Немедленно! — послышался робкий голос Лягалова, и оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт его головы над ровиком.

— Кто там? Лягалов? Подсматривали? — гневно спросил Овчинников.— Я спрашиваю, подсматривали?

— Никак нет,— сдерживая зевоту, ответил Лягалов.— Живот у меня. По нужде вышел. Комбат вас... А я на пост встану.

Овчинников до странности быстро потух, лишь колючий подозрительный блеск горел в зрачках. Он косо взглянул на белеющее лицо Лены и, ссутулив плечи, сказал:

— Можешь идти спать к разведчикам. Иди. Мы им в подметки не годимся. Покажи им класс.

И мягкими, щупающими шагами двинулся к ровику мимо Лягалова, вошел в душный, наполненный упоенным храпом блиндаж. Телефонист Гусев дремал в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на его коленях. Овчин-

ников схватил трубку, еще не вполне остыв, возбужденно проговорил:

— Второй у телефона!

— Почему не докладываете о проходе? — спросил голос Новикова.— С саперами связался?

— За мою жизнь беспокоишься? — произнес Овчинников, беспричинно злясь на этот спокойный голос Новикова (сидит себе в коттедже и водку пьет!).— Я приказ выполню! Отсюда драпать не собираюсь! За меня не беспокойся! Именно за меня!

— Если прохода не будет, отдам под суд! — тихо и внятно сказал Новиков.— Именно за тебя я не беспокоюсь.

— А-а, куда угодно! Хоть под суд, хоть к дьяволу!

Он сидел на нарах, сухолицый, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав губы,— был похож на взъерошенную хищную птицу.

— Да для чего порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант, я потопаю потихоньку...

Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку: крупное лицо, мягкое, задумчиво-домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки.

— Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается, и никаких! От сырости или поту? В какой карман класть? Вот шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?

Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, степенно взвешивая слова:

— Пошел я, товарищ лейтенант. А вам бы отдохнуть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова к четвертому часу ночи.

Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию; звеня шпорами, прошелся перед орудиями, здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро левее

нейтральной полосы, где в двухстах метрах от немцев были поставлены на огневые позиции орудия Овчинникова.

— Позиция дурная. Орудия как на ладони. Но лучшей нет. Как полагаете, капитан Новиков?

— Я полагаю, что немцы рядом, я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговариваете громко, как на свадьбе,— нестеснительно и прямо сказал Новиков.— Пулеметы уже пристреляли позицию.

Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батареи он обычно приезжал по-уставному подтянутый, тщательно, до синевы выбритый, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом, с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо хлестнул кнутом по голенищу, сказал:

— Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески. Пока спокойно. В этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье.

— Я отдал уже приказ,— ответил Новиков.— Прошу в особняк.

...В их распоряжении было несколько часов. Сколько — они не знали.

Офицерам не спалось. Сидели на втором этаже особняка, плотно задернув шторы, из тонких хрустальных рюмок пили пахучий французский коньяк, много курили, мало закусывали — и не пьянели.

Дым слоями шевелился над зеленым абажуром керосиновой лампы. Тепло было. На кожаных диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты; в кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал, скошенный усталостью, связист Колокольчиков, сладко чмокал губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне:

— А ты к колодцу сходи... к колодцу...

Заряжающий Богатенков, недавно сменившийся с поста у орудий, полулежа на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков темноволос,

атлетически сложен, движения больших его рук уверенны, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.

— Бывает же, товарищ капитан,— сказал он, обращаясь к Новикову.— В госпитале два месяца лежал — бомбежки снились, здесь, на передовой,— полынь, степь на зорьке, терриконики снятся, лампочки в забое. Проснешься — будто гудок на шахту. А к Колокольчикову вон... колодцы привязались.

— Ложитесь,— сказал Новиков.— Не теряйте минуты.

Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщаясь от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил:

— Разгул цинизма в степени эн плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил. Разрушение. «Фотографии России»... Книга для немецких офицеров. Петин! — позвал он.— Эту сволочь — в уборную, в сортир! В сортир! — заключил он и, сердясь, швырнул книгу сонно разомлевшему в кресле ординарцу.

Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу и во всю ширину лица заулыбался:

— Куда ее, товарищ майор? Наждак!

Гулько зло фыркнул волосатым носом.

— Я, с позволения сказать, инженер, всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия,— отчетливо заговорил он.— И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятия на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с исступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал. Вы что так смотрите, Новиков?

— Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами,— ответил Новиков.

— О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины! — проговорил Гулько и насупился.

— Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому,— сказал Новиков.— От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.

— Вон как? Весьма любопытно,— ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина.— А вы, младший лейтенант? Что вы полагаете, мм?

Новиков отодвинул рюмку, вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой.

— Он непосредственно подчиняется мне, значит, согласен со мной.

Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана заалел пятнами и неожиданно засмеялся тем естественным веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лене.

— Россия,— задумчиво проговорил Новиков.— Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете, Витя, что такое Россия?

Оттого, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел почти влюбленно на лицо Новикова с заметной щербинкой под левой бровью. И тогда Гулько заинтересованно взглянул в серые, мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого-полумальчика, спросил:

— Что же? Выкладывайте...

Новиков не ответил.

— До России не достанешь. За Польшей она. Эх, километры! — проговорил Богатенков, укрываясь шинелью, натягивая ее на голову.

Новиков встал, привычным жестом передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:

— Ты к колодцу иди, к колодцу... Вода хо-олодная...

— Вот она, Россия,— тихо и серьезно сказал Новиков.

Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудия Овчинникова. Подождал немного, стоя против Колокольчикова, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони, заговорил вполголоса о минном поле, но закончил твердо:

— Если прохода не будет, отдам под суд,— и положил трубку.

— Слушайте, Новиков,— проговорил майор Гулько, поцарапав ногтем по стопке немецких журналов.— Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны — школьник, студент?

— Какое это имеет значение? — ответил Новиков.— Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона.

— Ну, время истекло, мне пора,— сказал Гулько.— Петин, лошадей! — Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково

погрустневших глаз от ручных часов, заговорил: — Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь.

— Не надеюсь, товарищ майор,— ответил Новиков и замолчал: Гулько явно знал то, чего не знал он.

— И прошу вас как можно меньше пить эту трофейную дрянь,— посоветовал Гулько и тихонько и нежно взял капитана под локоть, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова, сказал совсем шепотом, чтобы не слышал Алешин: — В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится. Всё у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь...

И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, вроде бы из низкой землянки выходил. С ненужным щегольством протренькали шпоры на лестнице, стихли внизу.

Новиков сунул руки в карманы, прошелся по комнате, испытывая беспокойство, похожее на досаду: никто прежде так прямо не напоминал о его молодости, которую он скрывал, как слабость, и которой стеснялся на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека и давно уже свыкся с этим.

— Что это? — спросил Новиков, увидя под ногами чужие вещмешки.— Откуда тряпки?

— А это того... из медсанбата... мордача,— ответил Алешин.

— А-а,— неопределенно сказал Новиков и повторил вполголоса: — Что ж, и на войне есть добро. Добро и зло. Вы не изучали философию, Витя?

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые, по-летнему синие глаза его; они казались молодо и отчаянно прозрачны.

— Ну и везет вам, товарищ капитан! — весело, даже восхищенно воскликнул Алешин.— Просто чертовски везет!

Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал:

— Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?

Алешин отодвинул кресло, с наслаждением потянулся и, разбежавшись, словно ныряя в воду, бросился на свободную, туго заскрипевшую пружинами тахту и, лежа, стал расстегивать гимнастерку и одновременно — носком о каблук — стаскивать сапоги.

Затем, кулаком подбивая пухлую, пахнущую свежей наволочкой подушку, сказал с ноткой мечтательности в голосе:

— Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет! Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием... Вас в академию. А я, черт!..— Он вздохнул, приподнялся, по-детски подпер кулаком подбородок, белела юная шея, каштановые волосы наивно-трогательно спадали на лоб.— А я просто черт знает что, товарищ капитан. Серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль «За отвагу» — никак.— И договорил смущенно и доверительно: — А для меня самое дорогое из всех наград солдатская медаль «За отвагу». Серьезно! Вы не смейтесь!

— Добудете и медаль. Это не так сложно,— ответил Новиков и спросил: — Вас кто-нибудь ждет?.. Ну, мать, сестра, невеста?

— Мама... и Вика... ее звать Виктория,— не сразу ответил Алешин, и Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.

— Очень хорошо,— сказал Новиков и после молчания снова спросил: — Скучаете по России, Витя?

За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия, как бы овеянная каким-то чувством радостной непроходящей боли.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Новиков стремительно, рывком скинул с груди шинель: в затуманенное сном сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клекот снарядов, проносившихся над крышей. Треск и грохот за стенами, зыбкие толчки пола, испуганное лицо Ремешкова, наклоненное к нему, мгновенно подняли его на ноги.

— Что, Ремешков?
— Товарищ капитан... Товарищ капитан!
— Что, спрашиваю?
— Товарищ капитан... к орудиям! — захлебываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул.— Началось!.. Света не видать...
— Чего не видать? — Новиков раздраженно схватил ремень и кобуру с кресла.— Этот не видать, так, может, тот видно? Где Алешин?
— Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить... Все у орудий...
— Эти мне сосунки! Командовать начали! — выругался Новиков.
Он уже не слушал, что говорил Ремешков; затягивая на шинели ремень, перекидывая через плечо планшетку, окинул взглядом невыспавшихся глаз эту опустевшую, с разбросанными постелями комнату. Сквозь щели штор розово дымились полосы зари. На столе, среди дребезжащих пустых бутылок, консервных банок, бессильно дергаясь пламенем, чадила лампа. Атласные карты, съезжая от толчков по скатерти, ссыпáлись на ковер. Никого не было. Лишь в темном углу связист Колокольчиков, встретив взгляд Новикова, проговорил тонким голосом:
— Вас... Алешин к орудиям! А мне... куда?
— Туда, к орудиям!
На ходу надевая фуражку, Новиков ударом ноги распахнул дверь, сбежал по лестнице в нижний этаж, весь холодно освещенный зарей. Полувыбитые стекла янтарно горели в рамах, утренний ветер заходил по этажу, хлопая дверями, надувая портьеры. Путаясь в них, бегали тут двое пожилых заспанных ездовых из хозвзвода, бестолково искали что-то; увидев Новикова, затоптались, поворачиваясь к нему, застыли, по-нестроевому потянули руки к пилоткам.
— Что за беготня? — спросил Новиков.— Всем по местам! — И выбежал через террасу по скрипящему стеклу в мокрый от росы парк.
Повозки хозвзвода, покрытые брезентом, стояли под оголенными липами. Сверкала в складках брезента влага, желтели вороха листьев, занесенные на повозки взрывной волной. Лиловый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, висел над дорожкой аллеи, над багровой гладью водоема.
Новиков быстро шел, почти бежал по главной аллее

к воротам, смотрел меж ветвей на высоту; трассы танковых болванок пролетали там, частые вспышки мин усеивали скаты.

Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева, в стороне города, и волнами сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа.

И Новиков понял — началось...

Странная мысль о том, что началось слишком рано, что он не успел что-то продумать, доделать, скользнула в его сознании, но он никак не мог вспомнить, что̀ именно не доделал.

Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, он взбегал по скату, над плечом взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди. Новиков, удивленный, посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья, в красных полосах соснового леса, черные тела трех танков, будто горевших в низком дыму.

«Что они, из ущелья вышли?» — мелькнуло у Новикова.

Ремешков упал, с одышкой пополз, припадая лицом к земле, вещевой мешок неуклюжим горбом колыхался на спине, и не то, что Ремешков упал и полз, а этот до отказа набитый его мешок внезапно вызвал в Новикове злость.

— Опять с землей целуетесь? Опять дурацкий мешок?

Ремешков, бледный, невнятно бормоча что-то, оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на вершину высоты. Здесь, на открытом месте, он почувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя лишь на огневой позиции, сел прямо на землю, как в пелене различая лица людей, станины орудий, между станинами открытые в ящиках снаряды, фигуру Новикова.

— Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу! — услышал он громкий голос Новикова и заметил рядом с ним виновато-растерянное лицо младшего лейтенанта Алешина.

— Товарищ капитан! Овчинников у телефона, ждет команды! — крикнул кто-то.

— Передать орудиям: приготовиться, но огня не открывать! — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик.

Все, кто был в ровике — непроспавшиеся, с помятыми лицами разведчики и связисты,— сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, нехотя жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, начали отряхивать крошки с шинелей; кто-то сказал:

— Кончай дурачиться, Богатенков!

Заряжающий первого орудия Богатенков устроился по-турецки на бруствере, спиной к Новикову, откусывал галету и, не оборачиваясь, говорил со спокойной дерзостью:

— Меня, Горбачев, ни одна пуля не возьмет. Я ж шахтер. Земля меня защищает. Это ты рыбачок, так тебе вода... Всю войну на передовой, в конце не убьет! Понял?

— А ну, слазь! Капитан пришел, слышишь, шахтер?

Командир отделения разведки старшина Горбачев, подбрасывая ладонью великолепный финский нож, блестя черно-золотистыми глазами, приветливо улыбнулся как бы одними густыми ресницами, вторично приказал Богатенкову:

— А ну слазь! — и весело заговорил: — Смотрите, товарищ капитан, что фрицы делают... Крепкую заваривают кашу. Пожрать не дали. Да еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан. Впереди нас окапываются... Видали?

В расстегнутой на груди гимнастерке, небрежный, гибкий, стоял он на пустом снарядном ящике, доски которого глубоко были исколоты финкой,— видимо, перед приходом Новикова показывал мастерство каспийского рыбака: положив на ящик руку, быстро втыкал финку меж раздвинутых пальцев.

— Цирк устроили? — строго спросил Новиков, хорошо зная хвастливый нрав Горбачева.— Богатенков, вы что? Судьбу испытываете? А ну вниз! Еще увижу — обоим не поздоровится!

Богатенков повернул молодое, кареглазое, красивое ровной смуглотой лицо, при виде Новикова оробело крякнул, поспешно сполз в ровик и, одергивая гимнастерку на выпуклой груди, забормотал:

— Да вот разговор всякий был... Разрешите к орудию, товарищ капитан?

— Идите!

Старшина Горбачев, втолкнув нож в чехол на ремне, вразвалку подошел к двум ручным пулеметам на брует-

вере, смахнул землю с дисков, сказал сожалеющим голосом:

— Эх, товарищ капитан, как же это Овчинников пулеметик забыл? Переправить бы надо.

— По места-ам! — скомандовал Новиков.

То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего толком не объяснило ему. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов; неслись над полем, перекрещиваясь, трассы; пулеметы, не смолкая, дробили воздух. Со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки.

Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в двухстах за огневыми позициями Овчинникова. Стреляли они правее высоты, туда, где были врыты в обороне наши танки пятого корпуса — правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось, что наши танки не отвечали немецким пушкам огнем — бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова три немецких танка. И теперь Новиков до подробной отчетливости разглядел главное. Левее леса из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, муравьиной чернотой валил по шоссе, двигался плотно слитый поток танков, колонна длинных тупорылых грузовиков, лилово посверкивающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров; растекаясь, поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли три передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в трехстах метрах за разбитым мостом, в минном поле, стояли орудия Овчинникова.

То, что левая колонна, вырываясь из ущелья, неудержимым валом валила по шоссе, стиснутая, прикрытая бронированной стеной танков, расчищающих проход к озеру, было понятно Новикову: навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но удивило то, что правая колонна скатывалась из ущелья прямо по долине к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому были заняты нашими танками и истребительной артиллерией,— этого он не ожидал.

Новиков на секунду оторвался от стереотрубы. Дым сплошь застилал и западную окраину Касно, ничего не

видно было, только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда — немцы атаковали и там.

И Новиков понял: немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая облегчить этим прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировке к границе Чехословакии.

«Ах, так вот оно что!» — с чувством понятого им положения и даже с каким-то сладким облегчением подумал Новиков и подал команду:

— Приготовиться! Овчинникова к телефону!

С гулом, точно остановившись над высотой, треснул дальнобойный бризантный; из черного облака, возникшего над орудием, ринулись осколки, зашлепали впереди ровика.

А старшина Горбачев, следя за продвижением левой колонны, за танками, вроде бы улыбнулся одними трепещущими ресницами.

— Кончай ночевать! — И ногой задвинул мешок из-под галет в нишу, посмотрел на Новикова выжидательно. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись к аппарату, беспрерывно, осиплым тенорком вызывал орудия Овчинникова. Орудия не отвечали.

— Ну? Что? — поторопил телефониста Новиков.— Связь!

Он глядел на бурые навалы позиции Овчинникова, на кусты возле нее, густо усеянные разрывами. От кустов этих бежала зигзагами человеческая фигурка, падала, ползла, вставала и вновь бежала сюда, к высоте. Колонна, вытекая из ущелья на шоссе, толстым потоком неудержимо катилась на орудия Овчинникова. И, тускло отсвечивая красным, первые танки в голове колонны ударили из пулеметов по этой одиноко бегущей фигурке, трассы веером метнулись вокруг.

— Ну? — Новиков резко оторвался от стереотрубы.— Что у Овчинникова там, Колокольчиков? Быстрей!..

Тот моргнул растерянными глазами, сказал шепотом:

— Не отвечают... Связь порвана... Перебили. Я сейчас, я сейчас... по связи,— и, опустив трубку, начал медленно подыматься в окопе, зачем-то старательно отряхивая землю с рукавов шинели.

— Бросьте свою чистоплотность! — крикнул Новиков и, теряя терпение, показал в поле: — Вон там идут по

связи от Овчинникова! Видите? Давайте навстречу, по линии! Чего ждете?

— Разрешите, товарищ капитан! Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу.— Покачивая плечами, пододвинулся к нему Горбачев, жгуче-золотистые глаза его спокойно и никак не прекословя блестели Новикову в лицо.— Оставайся у аппарата, парнишка.— Он оттолкнул связиста в ровик.— Куда он в мины полезет? Я здесь всё как свои пять пальцев...

— Возьмите с собой Ремешкова,— приказал Новиков.— Возьмите его...

Колокольчиков, как если бы ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было: он только что — в одну секунду — мысленно пережил весь путь от высоты до орудий Овчинникова.

Новиков, соразмеряя расстояния между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора... Он думал: после того как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минное поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты вторым взводом Алешина — во фланг им, сбоку.

Не слышал он за спиной невнятного бормотания Ремешкова, вызванного разведчиком Горбачевым. Гибко изогнувшись, неся ручной пулемет, Горбачев выпрыгнул из окопа, и вслед за ним выполз на животе Ремешков, елозя по брустверу ботинками, онемело раскрыв рот, и исчез, скатился по краю высоты вниз. Новиков поискал глазами человека, что бежал от Овчинникова,— маленькая фигурка распластанно лежала на поле, ткнувшись головой, разводя ногами: чудилось, плыла, а струи пуль всё неслись к ней, выбивая из земли пыль.

«Ну, огонь, огонь! Пора! Открывай огонь, Овчинников!» — хотелось крикнуть Новикову, теперь уже не понимавшему, почему тот медлит. Это был предел, после которого была гибель.

Почти в ту же минуту рваное пламя вырвалось из земли, где темнели огневые позиции Овчинникова, мелькнули синие точки трасс, впились в черную массу колонны. Будто короткие вспышки магния чиркнули там.

Одновременно с орудиями Овчинникова справа загремели иптаповские батареи, врытые в землю танки.

— Начал!..— крикнул кто-то в окопе за спиной.— Начал! Овчинников начал, товарищ капитан! Соседи начали!..

«Теперь ни секунды промедления! Ни секунды! Давай, Овчинников!» — с отчаянным чувством азарта и облегчения подумал Новиков. Он увидел, как низко над землей остро вылетало пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и привычно ощутил сладкие уколы в горле — знакомое возбуждение начавшегося боя.

— Товарищ капитан! Начинать? Товарищ капитан, начинать? — услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся на крик.

Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудия Овчинникова, замедлила движение, прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись позади колонны, переваливаясь через шоссе, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, увеличивая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал на броне огонь.

С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, издали засекли орудия Овчинникова. Высокие столбы земли выросли вокруг позиций. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально выскакивали из черноты: нет, Овчинников вел огонь.

Две приземистые, глянцевито-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда непрерывно вытекала колонна.

В середине колонны из крытых брезентом машин стали поспешно спрыгивать фигурки немцев, бросились в разные стороны, скачками побежали за танками, вся котловина засветилась автоматными трассами.

И Новиков, со злой досадой увидев, как умело ушли из-под огня офицерские легковые машины, видя, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно атаковали позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно... пора!..» — и лишь тогда посмотрел в сторону орудий Алешина, на сутуло замершие фигуры солдат.

— Внимание-е! — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом.— По головным танкам — бронебойным, прицел постоянный.— Он сделал короткую паузу и выдохнул: — Ого-онь!

Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, Новиков не расслышал команд Алешина на огневой — стремительные огни бронебойных снарядов мчались от высоты туда, в плотный жирный дым, затянувший орудия Овчинникова, танки в котловине. Дым сносило к тускло-багровому озеру, он недвижно встал, скопился меж кустов. В просветах возникали черные, низкие туловища танков: они как бы ускользали от бронебойных трасс, и Новиков с решимостью, с незавершенной злостью, которая горела в нем сейчас к тем, кто защищенно сидел в недрах танков, готовый убить его, и кого обязательно должен был убить он, крикнул:

— Наводить точнее! Точнее! Куда, к дьяволу, стреляете? — И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции.

Он увидел снующего возле орудия Алешина; напряженно оттопыренные локти наводчика Степанова; широкие разводы снарядной смазки на скулах Богатенкова; бросились в глаза влажные пятна у него под мышками, огромные, дрожащие в ярой спешке руки рывком кидали снаряд в дымящийся казенник. Орудие при выстрелах откатывалось, брусья выбивало из-под сошников.

— Сто-ой! — скомандовал Новиков, переводя дыхание.— Младший лейтенант Алешин! Бегом ко второму орудию! Быть там! Самому следить за наводкой! Бегом! А ну от панорамы, Степанов! — властно крикнул он наводчику, непонимающе вскинувшему вверх мокрое, тревожное лицо.— Быстро! — И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов.

Перекрестие прицела стремительно ползло по наволочи дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из мглы. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.

— О-го-онь! — И надавил ручкой спуск.

Трасса скользнула наклонной молнией к танку, как бы уменьшаясь в дыму, врезалась в землю левее гусеницы. Он ясно увидел этот впившийся в землю огонек,

довернул маховик — пот сразу облил лицо, едко ожег глаза,— поднял перекрестие.

— Огонь!

Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек — скорее не увидел, а почти физически ощутил Новиков. И, не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще-торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете мути живое, шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте, башня косо развернулась, тоже выискивая, длинный ствол орудия вздрогнул, застыл наведенно. Черный, пустокруглый глаз дула зорко целился, казалось, впился через панораму в зрачок Новикова, и в то же мгновение, считая секунды, он нажал спуск. Трасса досиня раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тотчас тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита. И оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в четырех метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков быстро глянул на расчет — все целы?

Заряжающий Богатенков со снарядом наготове стоял в рост среди стреляных гильз, тяжко дыша, с упорной пристальностью смотрел на танки, точно как тогда, на бруствере, испытывал судьбу.

— Что стоишь? На коленях заряжать! — крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнул зубами: сквозь перекрестие четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового орудия. «Он или я?..— мелькнуло у него в сознании.— Он или я?.. Не может быть, чтобы он! Он или...»

Новиков надавил спуск, и, слившись с его выстрелом, танковый снаряд громом рванул землю впереди бруствера, на Новикова дохнуло волной тола, он чуть отшатнулся, пытаясь не потерять потного наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения: в мире уже ничего не существовало, кроме этого танка, этого немца, с зорко-быстрыми упреждениями крутящего маховик, наводящего послушное ему орудие... «Он или я?.. Он или?..»

Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени; одновременно с ним Новиков выстрелил два раза подряд;

смутно унеслись две трассы, фиолетово блеснули внизу, и опять Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, отирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось в одном глазке панорамы.

— Товарищ капитан, товарищ капитан! — бился позади чей-то крик.— Товарищ капитан...

— Ложи-и-ись!..

Крик этот, выделившийся из других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет; грубый, воющий скрежет шестиствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту, и чем-то огромным, душным накрыло задергавшееся орудие.

Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков оглянулся на расчет — люди лежали в дыму между станинами, лицом вниз. И в первую минуту перехватило горло,— показалось, что на огневую прямое попадание. Темная, неподвижная фигура Богатенкова, прижатая спиной к брустверу, выплыла из дымной пелены в метре от Новикова, глаза заряжающего были закрыты, брови недоуменно нахмурены, рука забыто придерживала на коленях снаряд.

— Богатенков!..

Богатенков приоткрыл глаза, особенно ясные, карие, изумленные, словно не веря чему-то. Не ответив на зов Новикова, он медленно убрал руку со снаряда, потом недоверчиво, наклоняя голову, пощупал живот и, со спокойно-хмурым удивлением глядя на измазанную кровью ладонь, сказал тихо, сожалеюще и просто:

— Напрасно это меня...

И с тем же изумленным лицом, будто прислушиваясь к тому, что теперь не могли слышать другие, повалился на бок, успокоенно и тихо приник щекой к земле. Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, и Новиков очнулся.

«Что это? Я не заметил, как его ранило? Это он звал меня «товарищ капитан»? Его был голос? Как это могло убить именно его?» И странно было, что уже нет живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова, а то, что называлось Богатенковым, было не им — нечто непонятное, чужое лежало возле бруствера, при-

жимаясь к земле, и это чужое, казалось, мгновенно отдалилось от всех, но никто еще не хотел верить этому. «Зачем он стоял в рост? Верил, что его не убьют?»

— Перевязку! Быстро!..

Новиков крикнул это, понимая ненужность перевязки, и затем сквозь зубы подал другую команду: «К орудию!» — но скрежет, удары и треск, вновь накрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять припали к земле, но сейчас же вскочили, поднятые вторичной командой Новикова,— он стоял на огневой, не пригибаясь, он знал: так надо...

— К орудию! Степанов, заряжай!

И только тогда все поняли, почему Степанов должен заряжать. Наводчик Степанов, дрожа широким, конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно озирался на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова, схватив снаряд, ожесточенно втолкнул его в казенник, выговорил грудью:

— Насмерть! Товарищ капитан, «ванюши» по нас бьют! Это они!..

«Товарищ капитан... Это был его голос, Богатенкова... Что он хотел мне сказать?»

— А-а!..— продохнул Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня: прямо из колонны шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту, на берег озера, где затерялись в пепельной метели орудия Овчинникова.

— Осколочными! По колонне!..

Он выпустил более пятидесяти снарядов по колонне. Там закрутился смерч — разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов, несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались па обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали по шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов грузовиков, беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда,— видимо, рвались боеприпасы.

— Снаряды! Снаряды!..— раздался где-то в стороне, за спиной Новикова, крик, но этот крик скользнул мимо сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над темной завесой в той стороне, где были орудия Овчинникова.

«Что это там? Это он?»

Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудия Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудия, морозным холодом облило влажную спину. «Неужели он сделал это?» Но, не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбило орудия, он вдруг уловил в сумеречном тумане близ позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся, нетерпеливый, черный, крича:

— Снаряд! Заряжай!

Степанов, грязно-потный, в размазанной по лбу гари, засучив по локоть рукава, один стоял на коленях среди груды гильз — широкое лицо растерянно, спекшийся, в порохе, рот дергался судорожно.

— Товарищ капитан!.. Снаряды...— прохрипел Степанов.— Снаряды кончились. К передку расчет послал... За энзэ! И заодно Богатенкова взяли.

— Кой дьявол... помогут передки! Там двадцать снарядов! — выругался Новиков.— Во взвод боепитания! Передайте мой приказ: все снаряды сюда! Немедленно! Подождите! Вода есть у вас?

И, рванув скользкий от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы — жажда жгла его сухим огнем.

Степанов, торопясь, отцепил с ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову.

— Теплая только...— И, удержав дыхание, осторожно попросил: — Разрешите закурить на дорожку?

— Давай!

Тогда Степанов, вмиг обмякший, налитый усталостью — все время бросал снаряды в казенник орудия,— с красными после недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы между станин, одубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. Однако свернуть не смог — пальцы не подчинялись. И тихим, застенчивым было у него лицо сейчас, когда смотрел он, как Новиков, запрокинув голову, жадно пил.

Он так и не слепил самокрутку. Танковые снаряды вздыбили бруствер, и Степанов просыпал табак.

— Пойду я!..— подымаясь, прокричал он, беспокойно глядя на озеро, буйно взлохмаченное фонтанами мин,—

Эх, рыбы-то попортили — ужас! — И, взяв карабин, пригнулся и побежал по высоте в круглую тьму разрывов.

Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды; она лилась на шею, на грудь, не охлаждая его, не могла утолить жажду.

«Были взрывы... Овчинников подорвал орудия? Окружили танки? — думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи.— Но люди, как с людьми там?.. Не верю, что погибли все! Где Горбачев? Где Ремешков?»

— Когда будет связь? Почему так долго?

— Товарищ капитан, к телефону!

— Связь с Овчинниковым?

Новиков резким скачком перемахнул через бруствер, спрыгнул в ровик, вырвал трубку из рук связиста.

— Овчинников? — с надеждой спросил он, забыв в этот момент про номерное обозначение офицеров, и произнес живую фамилию. Но тотчас, в потрескиванье линии поймав голос майора Гулько, спрашивающего о потерях в батарее, он заговорил иным, преувеличенно спокойным, сухим тоном: — Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу.

— Пришлю сколько есть. Дам огурцов,— выделяя слова, ответил Гулько и необычно, будто родственно был связан с Новиковым, добавил: — Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание.

Он снова ненамеренно задел Новикова своей ненужной интеллигентской нежностью.

Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудия Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полной вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки: железный, замирающий рев их, прерывистое завывание грузовых машин рождали у Новикова впечатление, что там сконцентрировалась ударная сила колонны. Остальная ее часть, не достигшая района озера,— отдельные разбросанные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей — обтекала пылавшие обломки грузовиков на дороге, горящие танки, стремительно уходила, разворачивалась назад, к ущелью в лесу, откуда — очевидно, по

внезапному приказу — перестал вытекать первый поток колонны. (Видно было, как горели справа наши танки, врытые в землю.) И только двигался левый рукав колонны к озеру, по направлению молчавших орудий Овчинникова.

«Прорвались к озеру? Смяли Овчинникова?» — мелькнуло у Новикова, и он, чувствуя горячее нетерпение, повернулся к орудию:

— Где снаряды? Скоро снаряды?

Почти слитный троекратный взрыв опять потряс высоту, аспидные шапки дыма упруго всплыли из месива огня вокруг позиции Овчинникова. И вслед мигнул горизонтальный всплеск выстрела. И тогда Новиков понял: танки, продвигаясь к озеру, вошли в минное поле, подрывались там, и там живой взвод Овчинникова еще вел огонь по ним...

«Молодец Овчинников! Молодчина! — хотелось отчаянно крикнуть Новикову.— Молодец!..»

В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, в просветах блеснула вода, и Новиков отчетливо увидел: озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали около стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов. И стало ясно теперь: немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру.

— Второе орудие! Алешина! — не скомандовал, а скорее глазами приказал Новиков, и когда связист Колокольчиков вызвал второе орудие и когда зазвенел в трубке возбужденный голос Алешина: «Товарищ капитан! Три танка мои!» — Новиков оборвал его:

— Сколько на орудие снарядов?

— Одиннадцать! Сейчас подвезут еще!

— Посмотри внимательней на озеро. Видишь переправу?

— Вижу, товарищ капитан! — ответил Алешин и спросил быстро: — А как Овчинников?

— Наводить точнее, все одиннадцать снарядов по переправе, давай!

Снаряды Алешина вздыбили озеро вблизи понтонов, что-то смутное и длинное косо взвилось в воздух, упало в воду. Но две низкие грузовые машины не попятились, не отъехали от берега, и фигуры немцев продолжали

возиться подле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона.

«У них один выход — будут прорываться до последнего! Другого у них нет выхода!» — подумал Новиков и крикнул связисту:

— Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда?

Телефонист Колокольчиков, весь хрупкий, беловолосый, светились капли пота на кончике вздернутого носа, дул в трубку, дергал с бессильным негодованием стержень заземления — делал все, что может делать связист в присутствии начальника, когда нет связи.

— Вот что! Делайте что угодно, хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через пять минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист! — сказал Новиков жестко.— Мне необходима связь! Зачем вы нужны, если там люди гибнут, а вы здесь стержень щупаете?

Жизнь человека на войне была для него тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала, и хотя молоденький Колокольчиков не хитрил, а, лишь слабо надеясь, ждал, что проложат связь телефонисты Овчинникова, жизнь его потеряла свою истинную цену для Новикова, и тот сознавал это. Не сказав ни слова, Колокольчиков приподнялся у аппарата, провел рукой по потному носу, расширяя вопросительные ясно-зеленые глаза, с детства и навсегда вобравшие в себя мягкую зелень северных лесов, нестерпимую синь озер и весеннего неба.

Сразу с нескольких сторон ударили по высоте танки. Вслед за этим короткие слепящие всполохи вертикально выметнулись откуда-то из лесу, правее ущелья: отрывисто, преодолевая железную одышку, заскрипели шестиствольные минометы.

Все будто расплавилось в треске, в грохоте, высота стонала, ломалась, дрожала, выгибалась, как живое тело, ровик сдвинуло в сторону. Чернота с ревом падала на него. Новиков и связист упали рядом на дно окопа, дно ныряло под ними, уши забило жаркой ватой, голову тяжко налило огнем. Раскаленный осколками воздух проносился над ними, опаляя волосы на затылке. И навязчиво, неотступно билась мысль о непрочности человеческой жизни: «Сейчас, вот сейчас...»

3*

— Неужто конец, товарищ капитан? А?..— не услышал, а угадал Новиков по серым губам Колокольчикова и увидел перед собой полные тоски и ужаса мальчишеские глаза. Этот ужас мерцал — мигали белые, в пыли, ресницы паренька.

И Новиков, оглушенный, туманно вспомнил ночь в роскошном особняке, майора Гулько, спящих солдат, Богатенкова, пришивающего крючок, и этого молоденького Колокольчикова, с неумелой нежностью обнимающего аппарат, и сонное бормотание о каком-то колодце: ему снились колодцы в конце войны...

И, подавляя жалость к той ночи, Новиков взял связиста за плечо, с силой потряс его, прокричал в хаосе грохота, накрывавшего ровик:

— Мне нужна связь с Овчинниковым! Понимаешь? Связь! Иначе нельзя! Понимаешь? Мне нужно знать обстановку!

— Я сейчас... я сейчас... глаза вот запорошило...— зашевелились губы связиста, мальчишеское лицо было серым от пыли, худеньким, незащищенным, он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, стал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-детски виновато сказал:— А матери у меня совсем нету... сестра у меня... Адрес в кармашке вот тут...

И, худенький, юный, неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя впечатление чего-то чистого, весенне-зеленого (глаза, что ли?), легко и невесомо выпрыгнувшего из ровика.

И спустя минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, чудилось, живого существа — призывно зазуммерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку, в ухо его пробился лихорадочно частивший голос:

— Я от третьего, я от четвертого,— и, мгновенно поняв, что это от третьего и четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного — остановить Колокольчикова, рванулся к стене окопа.

— Колокольчиков! Наза-ад!.. Наза-ад!..

Но команду его заглушило пронзительно брызгающим визгом осколков, огненно скачущими разрывами мин,— ничего не было видно перед высотой, да и задавленный голос его не мог вернуть связиста. Новиков с мгновенной тяжестью в ногах присел подле аппарата, выдыхая в трубку:

— Овчинников? Овчинников? Да что же вы замолчали, дьяволы? Что замолчали? Отвечайте!

— Овчинникова нет, товарищ второй,— зашелестел в мембране незнакомый голос.— Четвертое орудие погибло, и все там убитые. Нас окружили. У нас Сапрыкин раненый. Я, связист Гусев, раненый. Еще Лягалов раненый. А с нами санинструктор. Я связист Гусев...

— Где Овчинников? — закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса.— Овчинникова мне!..

— Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые — связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Лягалов. И еще санинструктор с нами,— однотонно шелестел бредовый, слабеющий голос,— а снарядов, говорят, ничего нету.. Пулемет один... Кончаю говорить... Я связист Гусев...

«Овчинникова нет, к вам пробивается!» Он ко мне пробивается? Один? Кто приказал ему оставить орудия?— соображал Новиков.— Где Овчинников?»

— Вы посмотрите, посмотрите, товарищ капитан, что творится перед пехотными траншеями... Наши бегут, никак?

«Кто это сказал? Разведчик, дежуривший у ручного пулемета? Да, это он — стоит в конце ровика, расставив локти на бруствере, смотрит туда...»

— Товарищ капитан, видите? Наши?..

И все же Новиков не верил, не мог поверить, что Овчинников отходил.

— Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли! — прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице.— Мы снаряды несли, так они по нас чесанули! Эх, жаль стереотрубу,— сказал он, поднял пробитую осколками, упавшую на землю стереотрубу и, бережно положив ее на бруствер, спросил: — Как вы без нее?

— К орудию снаряды! — скомандовал Новиков.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!..— метнулся за спиной испуганный крик.

В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей, без шинелей и пилоток, держа автоматы наперевес, они бежали, карабкались слепыми толчками на высоту,— наверно, ни у кого уже не было сил. И Новиков увидел Овчинникова: в измазанной землей распахнутой телогрейке, с темным, искаженным лицом, волосы слиплись на лбу, он зло махал пистолетом, кричал задушенным голосом:

— Бего-ом! За мной!

И ненужная команда эта в нескольких метрах от орудия, и этот ненужно приказывающий голос Овчинникова остро и жарко опалили Новикова металлической горечью.

Они перескочили через бруствер, лейтенант Овчинников, Порохонько и Ремешков, задыхаясь, кашляя, ничего не могли выговорить, только поводили мутными глазами. Порохонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел:

— Пи-ить, братцы, воды!..— и все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было на нем вещмешка, плечи ходили вверх, вниз, и он исступленно прижимал что-то под насквозь потной гимнастеркой, на выпукло-крепкой скуле кровоточила широкая ссадина, как от свежего удара железным. Он бормотал взахлеб:

— А Горбачев, Горбачев где? За нами шел он... прикрывал нас... Где он?

Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, нетвердо стоял, пошатываясь на нетвердых ногах, обросшие за несколько часов щеки глубоко ввалились, сильная, мускулистая фигура его ссутулилась, и сухим, диким блеском горели глаза.

— Прицелы,— прохрипел он и, ткнув в грудь Ремешкова зажатым в пальцах пистолетом, подрубленно опустился на станину орудия, охватил голову руками.

— Орудие Ладьи с расчетом погибло. Танки...— негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами.— Туча танков, бронетранспортеров... шли напролом, стеной... окружили нас... Расчет Сапрыкина стрелял до последнего... четверо уби-

тых, трое раненых... там они... там,— повторил он и, зажмурясь так, что оттененные синевой веки его нервически задергались, выкрикнул с неистовством:

— Прицелы! Прицелы сюда, Ремешков!

Новиков шагнул к Овчинникову, взял его за подбородок, очень медленно сказал:

— Мне прицелы твои не нужны,— и спросил без жалости: — Контужен?

— Вот здесь,— выговорил Овчинников, пистолетом потирая под изодранной пулями телогрейкой левую часть груди.— Вот здесь крыса грызет, лапками копошится, раздирает... много крови, крови... Я все сделал, все... Понимаешь, Дима?

Он назвал Новикова по имени.

— Нет,— неверяще ответил Новиков— Не понимаю. Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?

Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе; то, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру: до последней минуты не мог он согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив людей, которые жили еще...

— Так вон ка-ак,— опадающим голосом вдруг произнес Овчинников и вскинул глаза, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова.— Вон ка-ак? Арестуешь? Под суд отдашь? На, бери! Я готов! Я на все готов! Я восемь танков сжег... а это не в счет! Не в сче-ет?..

С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себе офицерский пояс, пытаясь расстегнуть его, выкрикнул:

— Отдавай под суд!.. Отдавай!..

— Прекрати истерику! Встань! — тихо приказал Новиков, и, когда Овчинников, весь ослабнув, встал, растерянный, опустошенный бессмысленным взрывом ярости, он опять приказал: — Подыми пистолет. Вон за тем ровиком землянка. Даю тебе час. Приди в себя. Марш!

— Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они? А? — послышался сзади голос Степанова.

— Что там?

Нежаркое осеннее солнце поднялось в скопившейся хмари над грядой Карпат. Жидкие, косые полосы лились в котловину, гремевшую боем. Она светилась автоматными трассами, вспышками выстрелов, густым пламенем

горевших танков. Столбы разрывов сплошной стеной вырастали и там, где была позиция Овчинникова, и там, на берегах озера, где наводили переправу немцы: вела огонь наша артиллерия из города. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, в ущелье. Они отходили, это было ясно Новикову: может быть, утро мешало им. И внезапно внизу, со стороны орудий Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков, и Новиков с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло какое-то еще живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова — землистая серость покрыла изуродованное тиком лицо лейтенанта.

— Горба-ачев?! — прошептал Овчинников.— Вернулся?

Он дикими глазами взглянул на Новикова и, тогда окончательно поняв все, гибко, по-кошачьи перескочил через бруствер, огромными, нечеловеческими скачками ринулся вниз по скату в сторону орудий; неистовыми крыльями бились по ветру, мотались прожженные полы его распахнутой телогрейки.

— Наза-ад! Наза-ад! — закричал Новиков, бросаясь к брустверу.— Наза-ад! Овчинников!

Овчинников, не обернувшись, в рост бежал уже по полю, правее пехотных траншей, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям.

Низкая автоматная очередь огненной струей полоснула по нему сбоку, затем спереди и слева, но он не изменил направления, даже головы не пригнул — видно было, как, цепляясь за кусты, карабкался по скату котловины к возвышенности, там в коричневом тумане темнели силуэты танков.

Он выбежал на возвышенность, на миг отчетливо видимый на голом месте, и тотчас из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь, другой огонь взорвался под ногами Овчинникова.

Он, сделав еще два шага, заваливаясь назад, упал на колени, замедленным жестом провел пистолетом по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, вытянул руки вперед. И неожиданно для Новикова, до физической боли стиснувшего зубы, распластанное тело Овчинникова задвигалось, извиваясь, поползло по возвы-

шенности к кустам, к тому невидимому орудию, которое только что стреляло.

Двое людей в зеленом вышли на возвышенность, огляделись и, пригибаясь, зашагали к Овчинникову. Потом огненная точка коротко сверкнула в траве — это был выстрел из пистолета. Двое в зеленом одновременно легли. Один из них привстал, неприцельно послал очередь над головой Овчинникова, и тот снова бегло выстрелил три раза.

— У пулемета! — Новиков с бешенством спрыгнул в ровик, кинулся к ручному пулемету, за которым, горбато согнув спину, ждал разведчик, сжимая ложу.

Рванувшись к брустверу, упав на него грудью сбоку разведчика, Новиков крикнул:

— Видишь фрицев? Отсекай их! Кор-роткими! Давай!

— Живым хотят взять. Ясно...— сквозь зубы сказал разведчик, и плечо его задрожало, сотрясаемое очередями пулемета.

Фонтанчики пыли взбились, замельтешили левее и выше немцев, перешли, заплясали на узком пространстве, отделявшем Овчинникова от них. Крупные капли пота выступили, выдавились на медно-красном напрягшемся лице разведчика, диск кончился. Ударом выщелкнув его из зажимов, разведчик поспешно схватил новый диск, завозился с ним, никак не мог вставить в пулемет — потом с придыханием выговорил:

— А если убью лейтенанта?.. Товарищ капитан, если убью...

— А ну прочь,— шепотом крикнул Новиков, ударил по диску, припал к пулеметной ложе, почему-то горячей, мокрой, и выпустил две короткие очереди по отползавшим в кусты немцам и не поверил тому, что увидел.

Овчинников медленно, живуче встал, опираясь стволом пистолета о землю; встал, пошатываясь, в распахнутой телогрейке и, клоня голову, с пистолетом в опущенной руке, толчками пошел влево, к кустам, где было орудие. Двое немцев выскочили из травы наперерез ему. И телом своим, тяжело ступая, он загородил их. Немцы по нему не стреляли.

«Что с ним? Где он?» — скользнуло с обжигающей болью в сознании Новикова, сдернувшего палец со спускового крючка. И в ту минуту, поняв, почему не стреляли по Овчинникову немцы («Да, да, хотели взять живым, им нужен «язык»!»), он, еще не веря, что делает («За-

чем? Я не имею права! Не имею!..»), нажал спусковой крючок — весь диск вылетел одной длинной строчкой.

Когда же он, придя в себя и как бы все видя через желтый песок, отпрянул от пулемета, ни немцев, ни Овчинникова около кустов не было. Никого не было...

Он неизвестно зачем посмотрел на ручные часы и так, глядя на них, опустился на дно окопа, возле безмолвно раскрывавшего рот связиста. Потом туманно увидел что-то отвратительно длинное, белесое, ползущее по рукаву связиста, никак не мог вспомнить, что это: «Мокрица?» — и хотел сказать, чтобы тот стряхнул ее, вызвал орудие Овчинникова, но лишь странный, захлебнувшийся звук вырвался из его горла.

Тогда он встал, шагнул к землянке, вырытой вплотную с огневой, перед входом обернулся ненужно, незащищенно, сказал с трудом:

— В горле что-то застряло... Воды бы... Орудие вызовите.

Когда минуты через две Новиков вышел из землянки, он казался спокойным, умытое лицо было бледным, заметно осунулось, снова сел к аппарату, взял трубку, которую, чудилось, испуганно протягивал ему связист, сказал хрипло:

— Гусев? Доложите обстановку...

— Ошибочка, я на связи, товарищ второй...

Ему отвечал не Гусев, а старшина Горбачев, и обычен был его голос, как всегда, самоуверенный, и, как всегда, слегка небрежно звучали его усмешливые нотки. Да, он тут, Горбачев, цел и невредим, даже с ногами и руками, да, рядом сидит красивенький санинструктор, а остальные тут без пяти минут от бога, и вообще людей ноль целых хрен десятых, танки покалечили, вроде бог черепаху, снарядов негусто, пять штук, но целиться через ствол и лупасить по фрицам можно, передайте Овчинникову, что можно...

Он докладывал, посмеиваясь над тем, над чем нельзя было смеяться, и Новиков в эту минуту не осудил его, а наоборот, оттого что Горбачев был там, около орудия, жил и смеялся, волна горькой нежности толкнулась в его сердце. Знал: в том состоянии, в котором находился Горбачев, позволено многое, как глоток воды перед смертью.

— Держитесь до вечера,— негромко проговорил Новиков, ничего не сказав об Овчинникове.— Потерпите. Вечером мы придем.

«Убил я его или не убил? — опять мучительно подумал Новиков.— Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто мне дал это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня? Да, дал бы... Но можно ли по себе мерить всех людей?»

Солдаты смотрели на него и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета. И Новиков понял: то, что он сделал сейчас, как будто ото всех опасно отделило его, хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди знали — он распоряжается их жизнью, судьбой во имя общего, неизмеримо огромного, того, что чувствовал сам Новиков и все они.

Новиков молча прошел к орудию.

Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом; сворачивая цигарку, просыпал табак на колени, стал неловко смахивать крошки локтем.

Порохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело, на гимнастерке белой солью проступал пот под мышками. Он вспоминающе рассматривал забытый здесь истертый планшет Овчинникова, колючие выгоревшие брови изгибались, точно глаза слепило.

— Вот оно...— произнес он.— До Карпат дошел...

Ремешков сидел на снарядном ящике, где поблескивали две принесенные им от орудий панорамы, грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на крепкой скуле, говорил с недоумением и тоской:

— А я бегу и вижу перед высотой — лежит Колокольчиков, на боку, колени поджаты калачиком. Ну спит —и все. Тронул я его. А он— мертвый. В руках провод зажат. Ребятенок совсем... а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил глаза-то его... Не поймешь — одних убило уж, а мы живы...

— И у Лягалова глаза зеленые,— шепотом проговорил Порохонько.

— Встаньте с земли,— тихо сказал Новиков, обращаясь к Порохонько.— Простудитесь, В госпиталь попадете.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Его вели по полю, изрытому воронками, мимо догоравших танков; он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу, боль морозила его, обжигала, расползалась от предплечья к онемевшим пальцам. Он придерживал кисть левой руки, при каждом шаге чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой, и сплевывал жидкую кровь. Он не понимал, куда его ведут и почему торопят его.

И понимал одно: непоправимое случилось. Жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного — выход в смерть...

Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая к бокам автоматы, вышли навстречу, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда сзади и впереди была своя земля со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его: была боль в голове, во всем теле, была его, а не чужая кровь, которую он сплевывал и видел.

— Halt.. рус, Еван! Ha-alt! [1]

Ствол автомата остро и грубо ткнул его в лопатку, эта новая боль обожгла его, и он, еще лихорадочно цепляясь за надежду, еще сопротивляясь этой боли, подумал: «В рану целит, в рану..» Но тотчас, осознав, что теперь он не был хозяином собственного тела, боли, страданий, подумал другое: «Жалости хочу? Какой жалости?..»

— Ha-alt!

Дуло автомата твердо уперлось в его левое предплечье, раскаленным сверлом ввернулось в кость. Овчинников стиснул онемевшую кисть, остановился, пошатываясь, кривя усмешкой окровавленные, распухшие губы, оглянулся на конвоира. Был это молодой высокий немец, желтоволосый, лет двадцати, с худощавым бледным лицом, желваки играли на его втянутых щеках. На немце этом был зеленый пятнистый маскхалат, штаны заправлены в сапоги, из раструбов голенищ рогами торчали автоматные магазины. Через плечо висела сумка Овчинникова. Лицо немца передернулось; опустив автомат, он

---

[1] Стой... Стой!

поднял свободную руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова.

Повернулся чуть боком, расставил ноги, искоса следя за Овчинниковым, расстегнул маскхалат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги. Он непроизвольно качнулся вперед, надавил на раненую ногу и тут же подумал: «Для чего? А не все равно?»

— Halt! — И услышал сзади громкий молодой смех.

Застегивая маскхалат, немец подошел, лицо уже не было злым, посмотрел на забрызганные сапоги Овчинникова, махнул рукой, провел пальцем по здоровой своей шее.

— Кап-пут, лейтенант! Капут!

И оттого, что он говорил эти слова не злым, а равнодушным человеческим голосом, оттого, что он, оправляясь, не стеснялся Овчинникова, как мертвеца, и рассмеялся, видя его стеснение,— все подтвердило то, что думал Овчинников.

«Не может быть, чтобы я через час или два умер. Чтобы меня не стало совсем. Так просто? Конец?» — отчаянно соображал, весь охолонутый этой мыслью, Овчинников и, опять ощутив боль в ноге, вдруг с обнажающей ясностью почувствовал, что это последние его шаги по земле, последние мысли, последняя боль, последняя кровь во рту, и почему-то подумал еще, что двадцать шесть лет никогда не сменятся двадцатью семью годами, что не будет именно его, Овчинникова, когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать...

И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не станет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски, изжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысячи других судеб оставшихся там, за этим дымом людей. Неужели именно он, Овчинников, должен был умереть?

— Schneller! [1]

Ствол автомата сверлом врезался в раненое предплечье. От боли, от этой команды он застонал, понял, что это «schneller» все убыстряло его путь к смерти, и, сопротивляясь себе, своей послушности чужому голосу, он загорелся огнем бешенства — оглянулся резко, хищно, как бы готовый броситься мигом, выбить

[1] Быстрей!

автомат у этого немца... «Кто взял меня? Птенец!..» Но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Выплюнул кровь. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу; тело его потеряло гибкую, мускулистую тяжесть, невесомым каким-то стало.

«Неужели не могу? Неужто? — как в бреду, спрашивал себя Овчинников и зло замычал, скрипнув зубами.— Неужто? Значит, конец?»

Он смотрел на немца глазами, налитыми сухим, болезненным блеском, сплевывая одеревеневшими губами тягучую кровь; и ему хотелось сесть, в смертельной усталости отдышаться.

Ствол автомата подтолкнул его, и снова за спиной крик:

— Schneller, schneller!

Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге, потом вошли в лес. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес — не тот лес, солнечный, летний, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой — умирающий, осенний, заваленный поблекшими листьями, с ободранными осколками стволами сосен, зияющий черными воронками на опушке; такой лес он тоже видел сотни раз, но такой почему-то не оставался в его памяти.

Немцы в расстегнутых френчах повсюду окапывались на опушке, шлепала выбрасываемая из окопов земля, раздавались незнакомые команды. Танки, тяжело лязгая гусеницами, пятясь, вползали в кусты, под тень деревьев; открывались башни, из люков машин, утомленно переговариваясь, вылезали танкисты, стягивали шлемы. Мимо — вдоль опушки — прошел тупоносый бронетранспортер, вдавливая листья в колеи. Солдаты в касках — у всех изможденные, небритые лица воскового оттенка — злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один, пожилой, с мясистым подбородком, до сизости набрякший багровостью, жадно сосавший сигарету, вдруг перегнулся через борт толстым телом, швырнул недокуренную сигарету в Овчинникова, крикнул ломано:

— Рус Еван, плен нихт! — и издал звук языком, точно кость ломал.

Мокрый окурок попал в щеку Овчинникова, но не

обжег его. Он вздрогнул, вытер щеку, его затрясло от бессилия и унижения, он вскинул голову, затравленно озираясь. Жизнь его, имевшая ценность еще час назад, стоила теперь не дороже втоптанного в землю листа. Видел он, немцы отходили в лес, бой затихал, а он, в эти минуты единственный пленный,— не солдат, а офицер,— лейтенант Овчинников, которого они, вероятно, боялись, когда командовал он около орудий, сейчас шел здесь по чужому лесу, под этими чужими унижающими его или равнодушными взглядами, шел, утратив силу и ценность в глазах тех, кого он ненавидел...

— Куда идем?

Он приостановился, ссутулясь, покачнулся к немцу, упрямо нагнув шею. И тот, встретив глаза его, поднял белесые брови, произнес удивленно: «О!» Худощавое, мальчишески узкое книзу лицо его стало беспощадным, готовым на все. На голову выше Овчинникова, он шагнул к нему, с точной силой ткнул дулом автомата в щеку. Этим ударом поворачивая его голову, скомандовал ожесточенно:

— Vorwärts! [1]

А он стоял, дрожа в бессилии, не двигаясь, не выплюнул, а трудно сглотнул наполнившую рот кровь, сипло выговорил:

— Если бы не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал... если бы не рука...— и выругался страшным, диким ругательством.

— Was ist das [2] твою матку? — крикнул немец, выкатив молодые, в коровьих ресницах глаза, и, напрягая вену на бледной, с острым кадыком шее, звонко крикнул в лицо ему: — Vorwärts! — и озлобленно замахнулся автоматом.

— Что ж... пойдем, сволочь,— как-то согласно проговорил Овчинников и, спотыкаясь, зашагал быстрее по этой земле, по осенним листьям, к своему концу.

Его привели на поляну в глубине леса.

Бронетранспортеры, крытые штабные машины камуфляжной окраски стояли под соснами, в пятнистой тени. Люди в черном бесшумно ходили там. Посреди поляны

---

[1] Вперед!
[2] Что такое?

зеленым лаком поблескивала приземистая легковая машина с запыленными стеклами. Вокруг нее солнечные косяки лежали на желтой траве, все здесь было обогрето теплым днем: и эта трава, и машины, и сосны, но от этого непривычно мирного тепла и покоя нервный озноб все сильнее охватывал Овчинникова.

Маленький, сухонький человек в черном плаще, в высокой фуражке, крутой козырек знойно сиял на солнце — лицо в тени,— сидел близ легковой машины на раскладном стуле перед низким раскладным столом. Закинув ногу на ногу, он рассеянно слушал женственно-стройного немца, почтительно склонившегося к нему тонким, красивым лицом.

На краю поляны немца-разведчика, как определил Овчинников, окликнули люди в черном. Немец, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, очень четко доложил, и он разобрал выделенное им слово — «лейтенант». Один из людей в черном, этот самый, красивый, с женственной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, скомандовал Овчинникову знакомое «форвертс», и после этой команды немец-разведчик сделал непроницаемым лицо, щелкнул каблуками, повернулся круто, зашагал по дороге в лес, откуда пришли они, и Овчинников угадал, что его передали другой власти — власти людей в черном.

Двое немцев подвели его к легковой машине. Теперь знал он, зачем привели его сюда и почему прежде не убил его разведчик.

Он остановился, вызывающе расставив ноги, с кривой усмешкой, уже не придерживая раненую руку, не сплевывая заполнявшую рот кровь.

Он готов был к тому, что его станут унижать, причинять боль, страдания, и единственное, чем мог защититься он, была эта деревянная усмешка. Немец с женственной талией начал что-то говорить, слегка кивая в сторону Овчинникова. Сухонький, в черном плаще, медлительно зашевелился, и Овчинников увидел под крутым козырьком узкое лицо, глубокие прямые морщины у краев рта, по-стариковски выцветшие глаза. Немец смотрел внимательно, устало, смотрел на стыло усмехающиеся губы Овчинникова, не отводя взгляда, и Овчинников чувствовал, как холодный пот обливает тело.

Тотчас этот сухонький утомленно, скрипуче сказал что-то красивому, стройному немцу, что держал нагото-

ве сумку Овчинникова. И тот, покорно кивнув, расстегнул сумку и по-прежнему брезгливо, точно прикасался к вещам покойника, начал вынимать то, что было в ней, и Овчинников испытывал в эти секунды такое чувство, как если бы раздевали его догола.

«Там карта, карта с огневыми!»

Красивый немец вынул карту, истертую по краям, вежливо отодвинул на столе бутылку с фарфоровой пробкой, переставил металлический стакан, разложил карту на столе. Затем выложил, держа кончиками пальцев, насквозь пропотевшую, выгоревшую на солнце летнюю пилотку («Там в ней иголка с ниткой»,— почему-то вспомнил Овчинников), и немец жестом гадливости смахнул ее на землю. Оттопырив мизинцы, развязал узелок — несвежий носовой платок, в котором были парадные, сделанные из фольги лейтенантские погоны, запасные никелированные звездочки (в госпитале лежал и сам отникелировал их Овчинников в соседней часовой мастерской). Немец бросил и это на землю. Порылся в сумке, достал офицерское удостоверение, замызганные треугольники (письма матери из Свердловска), оставил это на столе. Потом вынул испорченную зажигалку-пистолетик, немецкую зажигалку («К чему он взял ее, зачем?»), с интересом осмотрел ее, ища метку фирмы, и, насмешливо улыбаясь, что-то сказал сухонькому немцу в черном плаще. Немец этот, не убрав старческую холеную кисть со стола, бесстрастно смотрел на разложенную карту Овчинникова, и Овчинников чувствовал, что может упасть — болезненные удары в сердце, в голове оглушали его. Не мог вспомнить, почему, почему положил он карту не в планшет, а в сумку. «Я не хотел этого, я не хотел! Что делать? Броситься, разорвать карту, успеть те места с отметками затолкать в рот... Спокойно, спокойно, не так... поближе к столу! Спокойно!..»

Глухой от шума крови в висках, он сделал шаг к столу, но тут кто-то цепко рванул его за плечи назад, а сухонький немец вновь перевел глаза на его губы, пузырящиеся кровью.

Невысокий, атлетически сложенный человек в зеленом френче, одергивая френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел по поляне. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова,

кратко и утомленно приказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова. У этого человека были тонкие усики на матовом лице, косые бачки вдоль вжатых, как у боксера, ушей, неизвестный Овчинникову немецкий орден мерцал эмалью, колыхаясь на его груди, выпукло обтянутой френчем.

Подвижные черные глаза ощупали Овчинникова, засветились настороженно-приветливо, и он, бросив удостоверение на стол, заговорил по-русски, чуть раздвинув губы улыбкой под опрятными усиками:

— Лейтенант Овчинников, Сергей Михайлович, командир огневого взвода первой батареи первого дивизона двести девяносто пятого артполка?

Как от толчка, Овчинников дернулся головой, услышав это чисто русское произношение, каким не мог владеть немец, и, удивленно впиваясь зрачками в матовое, выбритое лицо человека, понял, кто этот переводчик.

И сквозь кривую, застывшую усмешку, с клокотом крови в горле спросил:

— Русский? Ты — русский?

— Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это поняли?..

Послышался звук над вершинами сосен — тяжелое шуршание приближалось издалека,— дальнобойный снаряд летел, тяжко посапывал, дышал, расталкивая воздух. И ударил по лесу оглушительным грохотом — разорвался в чаще, за поляной. А Овчинников, поглядев в ту сторону, охваченный дрожью, злобной радостью, бившей его, подумал с последней надеждой: «Сюда, сюда, братцы родные, прицел бы снизить на два деления. Давай, давай, братцы! Сюда!»

Все вопросительно повернули головы к сухонькому немцу в плаще, тот не выразил старческим лицом тревоги, слабо провел белым платком по гладким седым волосам, не без недовольства сказал переводчику какую-то фразу и холодно кивнул женственно-красивому немцу — адъютанту, по-видимому. Тот услужливо откинул фарфоровую пробку горлышка бутылки, налил в металлический стакан сельтерской воды, и сухонький немец отпил несколько глотков, устремил раздраженный взгляд на переводчика. Тот, искательно играя глазами, заторопился, заговорил резче, но Овчинников не слушал его. При-

стально, не мигая, смотрел он на бутылку с фарфоровой пробкой.

И он вдруг поразительно отчетливо вспомнил, как в Польше освободили концлагерь. Полусожженные трупы мужчин и женщин лежали на плацу штабелями, с дырками в затылках: женщины в одном месте, мужчины — в другом. Оставшиеся живыми рассказывали, что немцы расстреливали их перед уходом, приказывали ложиться лицом вниз, и люди покорно ложились, живые на мертвых: женщины в одном месте, мужчины — в другом. Немецкая мораль не позволяла класть мужчин и женщин вместе. И каждый академический час — сорок пять минут, устав от выстрелов, вспотев, немцы, не забывая пунктуальную точность, садились на траву, пили сельтерскую воду. Соломенные корзины с пустыми бутылками остались там же, около штабелей трупов, и эти корзины видел Овчинников. Тогда поразило его, почему люди покорно ложились под пули? Устали от мучений? Хотели покончить с этими страданиями? Люди ждали, а они пили сельтерскую воду...

Он стоял, смутно видя смуглое лицо переводчика, тонкие усики, белые зубы под ними, и уже не усмехался — не было сил усмехаться. Он кусал губы в кровь — огромное, плотное росло, душило, захлестывало его, и нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь. «Что он спрашивает? Что они все спрашивают? О минных полях? Об орудиях? Карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец... Конец?.. Неужели уйдут в Чехословакию? Карта на столе... Все время чего-то мне не хватало... Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?..»

— Я все скажу, все скажу, вы не расстреляете меня... Я все...

Он не услышал свой голос, хрип выталкивался из его горла. Он ступил к столу, увидел: переводчик с заигравшей под усиками улыбкой поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув ногу на ногу, выгнул брови. И охранная чужая сила не задержала Овчинникова, как прежде, не остановила его. Он видел одно — зеленый приближающийся квадрат карты на столе и повторял:

— Я все скажу... я все скажу...

Он ринулся к столу, протянул руку, с мгновенной радостью почувствовал глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. Что-то тяжело навалилось на него, сцепило горло, чьи-то голоса, как вспышки в черной мгле: «Вилли! Вилли!» — и на голову полилось жидкое, холодное. Его перевернули на спину. Он застонал, черная мгла исчезла, раскрылось небо — тоскливый, синий океан и среди синевы наклонившееся, заостренное лицо женоподобного адъютанта, его прищуренные веки. Он лил ему на голову воду из сельтерской бутылки и, торопя, звал кого-то: «Вилли! Вилли!»

«Я жив? — вихрем пронеслось в мозгу у Овчинникова.— Я еще жив...»

Кто-то сильно рванул его с земли, его подняли на ноги, заломив раненую руку, и от этой боли он пришел в ясное сознание, облизнул губы, судорожно усмехнулся. Он еле стоял на ногах, шатаясь,— живучая ненависть и унижение подпирали его бессилие. И вплотную придвинулась темная глубина стоячих, немигающих глаз переводчика, вонзилась острыми иголочками ему в зрачки, ноздри прямого носа раздувались.

— Последний раз спрашиваю, лейтенант Овчинников, последний раз... Слышите вы?

Потом вблизи лица переводчика появилось другое лицо, мясистое, багровое и вроде бы потное и сытое, как после плотного обеда. Оно сочувственно морщилось, покачивалось, толстые складки шеи наплывали на воротник с черной окантовкой. И новое лицо это зачем-то подмигнуло Овчинникову, рыхлые губы расползлись в улыбке, показывая золотые, тусклые от еды зубы, и на мягкой, крупной ладони его взлетел парабеллум — сытый человек играл им. «Вот этот новый убьет меня,— подумал Овчинников.— Это тот, кого звали Вилли...»

— В последний раз задаю вопрос... Слышишь?

«Теперь все, вот оно»,— подумал Овчинников и засмеялся диким клокочущим смехом.

— Курва ты, сволочь! Родину за три сигареты продал! — крикнул он, оборвав смех, и правой рукой ударил переводчика в подбородок.— Проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу! Ни слова! Врешь...— и снова засмеялся хрипло и страшно, шагнув к немцам.— Думаете, в Чехословакию прорветесь? Не-ет! Вам коне-ец! Все-ем вам конец! Ни одна сволочь не уйдет!

Ни одна... Вас, как крыс, душить надо, как крыс!.. Я сам восемь танков ваших сжег! Вот они, в котловине горят! И если б...

Он задохнулся — не хватило дыхания, увидел: переводчик, вытирая платком щеку, быстро, подобострастно кланялся нахмурившемуся сухонькому немцу, словно просил и оправдывался, и в то же время вынимал из кобуры пистолет.

А толстое, мясистое лицо тоже нахмурилось и ждало. Спуская предохранитель, переводчик подошел к Овчинникову, глянул мерцающими щелками глаз, затем жалко, просительно закивал двум немцам, державшим Овчинникова сзади, и его повели.

— Выслужиться хочешь, сволочь? — крикнул Овчинников.— Так ты увидишь, курва, как умрет лейтенант Овчинников!

Короткий возглас на немецком языке услышал он за спиной, невесомо-легко стало ему, никто не сжимал раненую руку, и он, все-таки силясь повернуться, чтобы увидеть то, что ожидало его, прохрипел:

— Стреляй в лицо, курва предательская!..

И не успел повернуться, сзади с треском толкнуло, ударило его в бок, в грудь, и он почувствовал жесткий удар земли в щеку, а почувствовав это, хотел в последний раз вспомнить что-то ясное, чистое, синее, что было в его жизни, что должно было быть, но не мог вспомнить...

Он не знал и не мог уже видеть и чувствовать, что в эту секунду к нему, улыбаясь золотой улыбкой, вразвалку подошел тот самый вызванный Вилли, презрительно поморщась, взглянул на переводчика и спокойно расчетливо выстрелил три раза в лицо Овчинникову, который в эти секунды еще жил...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Бой постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел с ходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу атаки под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Подожженные танки перед

высотой, бронетранспортеры, разбитые машины на шоссе неохотно горели до полудня. И как только начал затихать здесь бой, стала особенно слышна канонада западнее Касно. Грифельная мгла косо шла над городом, занимая полнеба. Во мгле этой через каждые полчаса приходили с востока большие партии наших штурмовиков; разворачиваясь, подолгу обстреливали и бомбили окраины города.

Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, истомленные боем, вповалку лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить, кислая горечь была во рту.

В полдень принесли в термосах завтрак. Солдаты задвигались: нервно зевая, загремели котелками, ложками выскребывали из них землю. Но ели пшенную кашу нежадно, запивая терпким трофейным вином, всё косились на горевший город, недоверчиво взглядывали на удивительно чистый, синий край неба над Карпатами.

В кристально-студеной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие, по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело, поблескивая, озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. Туманный круг его висел над вершинами лесов, над острыми пиками Карпат.

И в молчании мирно тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного тепла, установившегося за высотой. Непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство упорно нацеленного в спину острия.

В течение пяти часов батарея потеряла двенадцать человек и два орудия, и Новиков чувствовал, что в зависимости от успеха боя западнее Касно немцы повторят удар с севера, решающий удар для прорыва и соединения со своими частями в городе. Он думал об этом — и не повторение боя нервировало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было, и понемногу возникло тревожное предположение: немцы прорвались в город, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.

— Что ж... всем завтракать. Да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему! — сказал Новиков, сам чув-

ствуя в своих словах фальшивую веселость.— Наминать кашу так, будто на три года в оборону здесь встали!

Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно, долго вытирал ложку чистой паклей. Новиков, сидя на станине, взял ложку, зачерпнул из котелка и, поднеся к губам, сказал насмешливо:

— Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только скатерти не хватает. Верно? И на кой... нарезали аристократическими ломтиками хлеб? Себе вон кусищи какие навалили! Вы за кого меня — за красную девицу принимаете? А как у вас аппетит, младший лейтенант?

И, сказав это, потянулся к большим ломтям хлеба, которые Ремешков положил отдельно для себя на расстеленную плащ-палатку.

Младший лейтенант Алешин ел не без аппетита; он вдруг смешливо посмотрел яркими глазами на замкнутое лицо Ремешкова, черенком ложки сдвинул на затылок фуражку, хотел спросить: «А где ваш вещмешок?» — но поперхнулся, закашлялся и, прикрывая смущение, спросил, обращаясь к Новикову:

— Дернем, товарищ капитан? Я захватил ром,— и с видом беспечного человека отстегнул фляжку на ремне.

— Пожалуй, дергать воздержусь,— ответил Новиков.— Нет никакого смысла.

— Вот уж напрасно,— притворно-озадаченно вздохнул Алешин, разглядывая фляжку.— После такого боя стоило бы! А то каша в горло не идет! Нет, а я все же выпью! Можно? За подбитые танки, товарищ капитан! — И запрокинул голову, отхлебнул из горлышка глоток, затем дружески, взволнованно сияя глазами, предложил фляжку солдатам: — Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? За подбитые танки! Всем по глотку!

Никто не поддержал его. Все лениво жевали, глядя в котелки.

— Эх вы, чудаки, за танки надо! Что, плакать будем, что ли? — сказал Алешин, заалев пятнами, и так поскреб ложкой в котелке, что Новиков чуть улыбнулся.

Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам, его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которые он пережил

сегодня. Однако солдаты не были расположены к разговору.

Порохонько не ел, даже не притронулся к котелку, лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо воспаленными глазами; подбородок его грязно оброс, галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом:

— Лопатками аж чую — земля гудить. Танки по городу идуть, прорвались они...— И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикове.— Погибать не дома — все одно що мордой вышню давить. Двинуть они — и хана хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, та помаленьку на хребтине — раненых сюда. А, товарищ капитан?

Новиков не ответил. Порохонько снова лег, губы его подрагивали.

— Если бы знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. Да и тот вещмешок... Сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло...

И угрюмо, исподлобья покосился на молчавшего Новикова.

Ремешков сидел над пустым котелком, отламывал, бросал в рот кусочки хлеба, жевал осторожно.

Хотя приказ оставить орудия исходил от Овчинникова и они не могли не исполнить его, люди эти, бросившие раненых, понимали и чувствовали, что потеряли свою человеческую ценность и для Новикова, и для солдат: никто всерьез не замечал обоих.

Наводчик Порохонько воевал в батарее ровно год, пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно тихим, исполнительным,— держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никому. Стрелял Порохонько выверенно и точно; постоянно возил в передке банку белил; после каждого подбитого танка тщательно выводил кольцо на стволе орудия, потом, расставив циркулем ноги, подолгу любовался этим знаком и сообщал всем: «Ось так. Ясно, славно! Ось где нужна арифметика! За Петро, хлопчика-цыганка! Его медаль!»

Кто был, однако, этот Петро-цыганок — в батарее не знали, но, уже дважды награжденный, Порохонько ордена не надевал, а, деловито завернув их в тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане, как самую большую ценность.

— Нет, не можу ждать! — повторил Порохонько и с силой постучал щепоткой в неширокую грудь.— Я ж не можу ждать, товарищ капитан. Терпежу нет. Лягалов там. Я ползком... Ремешкова возьму...

— Помолчите, Порохонько! — прервал Новиков.— Ешьте лучше кашу! Я не верю в это.

Порохонько побледнел, щетина зачернела на его щеках, спросил нащупывающим голосом:

— Не верите? Что ж, может, и ордена напрасно дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный!.. Може, так?

И он зло достал из кармана гимнастерки узелок с орденами, длинное мрачное лицо его стало решительным.

— Тогда возьмите ж, товарищ капитан!

— Давай ордена,— сказал Новиков спокойно и протянул руку.— Значит, я ошибся...

Он много видел отчаяния на войне и знал: не надо жалеть людей в минуту слабости, и, хотя сейчас заметил в глазах младшего лейтенанта Алешина растерянность и осуждение, сухо повторил:

— Давайте ордена. А так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую батарею. Ремешков, вы что хотите сказать?

Ремешков, безмолвно собиравший котелки, чтобы помыть их, с выражением застывшего недоумения обернулся к Новикову белобровым лицом своим, произнес тихо:

— А когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне: если хлопнет меня, доложи, мол, капитану, что восемь танков подбили. Порохонько, мол, четыре.— Ремешков, сглотнув, глянул в его сторону.— И прицелы, мол, отдай капитану.

— Це же не мои танки, це Петро, хлопчика-цыганка,— шепотом проговорил Порохонько, стискивая в горсти узелок с орденами, и заморгал обожженными ресницами.— И ордена его... не мои...

— Спрячьте ордена, пока я не раздумал,— сказал Новиков холодно.— Батарея за несколько часов потеряла двенадцать человек. Я не хочу, чтобы было двадцать. Младший лейтенант Алешин, зайдите в землянку.

Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей, Новиков посмотрел во взволнованные глаза Алешина, спросил:

— По лицу видел: все время хотел что-то сказать. Ну, слушаю.

— Почему вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его... Замечательный же наводчик! — горячо заговорил Алешин.— Я за него ручаюсь! Товарищ капитан, он прав! Разве можно ждать? Да что же это такое: мы оставили раненых?

Новиков сказал:

— Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют, такие штуки, как с Порохонько,— это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог вытерпеть, когда это нужно было. Ты понял, Витя?

— Вы убили его? — полуутвердительно сказал Алешин.— Я видел...

— Этого я не видел,— покачал головой Новиков.— Я чувствовал, они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.

— Не верите ему?

— Не в этом дело.

— Вы вместо наводчика сами стреляете! Тоже не верите?

— Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда многое надо делать самому.

Алешин замялся, его каштановые волосы наивно лежали на беззащитно чистом лбу, открытом сдвинутым назад козырьком фуражки. Но вид его не был беспечно лихим, как давеча, когда после боя пришел он от орудия весь налитый радостью молодого тщеславия,— расчет его подбил три танка. И Новиков подумал: они недалеки друг от друга по годам, но что-то резко отделяло их, просто он чувствовал себя гораздо старше Алешина, и странная, похожая на горечь нежность толкнулась в нем. «Он сохранил то, что потерял я,— способность жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому, что он год был рядом со мной и смог сохранить то, что я терял? — подумал Новиков.— Неужели это так?»

— У них ведь снарядов нет, товарищ капитан! — заговорил, помолчав, Алешин.— Пять снарядов — почти ничего. А Лена там... С ранеными. Нажмут фрицы из ущелья — и не успеем! Страшно подумать, что они

сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру... Почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?

Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина и не прерывал его.

«В отличие от меня он понимает только добро в чистом виде,— подумал Новиков, вспоминая недавний разговор с Гулько.— Он не умеет скрывать то, что надо иногда скрывать в себе, не научился ждать, терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять: порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще два года назад я думал иначе».

— Надо понять,— проговорил Новиков,— надо понять: нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди — значит, орудия существуют. Пять снарядов — не один снаряд. Это пять выстрелов. По переправе. По танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на два, на три часа, на сутки продлится дольше. Все ясно? Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.

Он расстегнул пуговичку на воротнике гимнастерки, сбросил ремень, лег на солому, слыша, как в замешательстве вышел из землянки Алешин. И только сейчас почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения болели до рези глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться, с наслаждением скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза — блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом, неясно возник чей-то голос: «Там раненые у орудий.. Где Овчинников? Он убит? Богатенков убит, Колокольчиков убит... Убит? А Лена? Она убита? Не может быть...»

Сквозь этот хаос вспышек, сквозь этот незнакомый голос он с чувством мучительного преодоления дремоты пытался вспомнить, представить ее лицо, какое было оно у живой. Что это? Для чего она здесь? Он кого-то ждал в тишине под фонарем у забора, падал снег, а она смело, готовая на все, шла к нему узкими шагами, стройно покачиваясь, и в такт шагам колыхалась ее шинель. Но когда это было? В детстве? Что за чепуха! Вот ее

последнее письмо, которое он все время носил с собой. «Тебя уже не было в живых, ты был убит, а мы сидели с ним три года за одним столом в пятой аудитории, помнишь? Вместе готовились к зачетам, и я привыкла к нему. Дима, об этом надо было сказать сразу, ведь ты верил, что я...»

«Молодец! В первый раз сказала прямо, лучше всего — ясность... Спасибо, милая Лена... Она убита? Не может быть! Кто это сказал? Младший лейтенант Алешин? Но он не знал никогда ту Лену, тот фонарь, тот снег... Я не говорил об этом. Откуда он знал?»

Вспышки исчезли, темное, глухое, вязкое душило его, навалясь на грудь, и Новиков, задыхаясь, чувствовал во сне это душное беспокойство, тупую, непроходящую тоску. Весь в испарине, он застонал, точно сдавленный в накаленном солнцем мешке, и с томлением физического неудобства, очнувшись от липкой дремоты, смутно понял, что́ физически беспокоило его,— жали тесно, колюче сапоги. Стараясь восстановить в памяти бредовую путаницу забытья, он, упираясь носком одного сапога в каблук другого, хотел стащить их с ног, чтобы освободиться из этой горячей тесноты и наконец испытать ощущение отдыха. Но неясные отблески беспокойства оставались в его сознании.

Громкие голоса, топот ног вблизи землянки заставили Новикова разомкнуть глаза.

Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары судорогами проходили по землянке.

— Кто там? — крикнул он, уже машинально стягивая ремень и оправляя кобуру. И, вскочив, шагнул к выходу, завешенному плащ-палаткой, отдернул ее, тревожно охваченный предчувствием.

На пороге стоял младший лейтенант Алешин, трудно переводя дыхание: он, видимо, бежал от огневой.

— Что случилось? Орудия? Лена? — тотчас спросил Новиков, по неспокойной внутренней связи соединяя все в одно.

Алешин, подавляя возбуждение, доложил:

— Петин, товарищ капитан. От Гулько... В городе черт-те что... Танки прорвались. В центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.

— Какие машины?

— Там Петин на огневой, товарищ капитан... Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней — автоматчики и

снайперы появились. Бьют по орудию, откуда — непонятно! Вот гады!

— Пошли!

Новиков вышел из полутьмы землянки в прозрачную чистоту осеннего воздуха, в ход сообщения, залитый солнцем, и здесь Алешин остановил его.

— Пригнитесь, товарищ капитан! Это место они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите!

И указал на выщербленные белые отметинки — следы пуль на выступавших из земли торцах наката.

— Откуда обстреляли?

— Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан!

Но прежде чем пригнуться, Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков, мирно желтели на солнце сосновый лес, бугры позиций Овчинникова,— настороженный, обогретый, странный покой был здесь. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя. В мрачно ползущей стене копоти над городом с рокотом мелькала партия наших штурмовиков, высекая пушечные вспышки; скачкообразные глухие разрывы бомб потрясали землю.

— Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же...— Алешин не успел договорить: сухой щелчок выбил брызнувший осколок дерева из торца наката над головой Новикова. Оглянулся — пуля легла в пулю — и посмотрел туда, где в голубой солнечной тишине мягко лопнул выстрел. Звук выстрела растаял бесследно, но показалось: стреляли недалеко.

— Надо бы выследить эту сволочь,— сказал Новиков и, все-таки нагнув голову, пошел по ходу сообщения.— Возьми на себя, Витя. А то перещелкает людей поодиночке.

— Здесь не один,— ответил Алешин, вглядываясь в торцы наката.— Расползлись, как клещи!

На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалясь спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкий, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вдыхая через ноздри. Вода текла на его разорванную гимнастерку, на грязные колодки медалей. Увидев Новикова, поставил на землю

котелок, расплескивая воду, попытался встать, заелозил ногами. Новиков сказал:

— Сидите! Что в городе? Рассказывайте. Подробнее... А это что у вас с глазом?

Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами, один глаз, сплошь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин здоровым, удивительно светлым вопросительным глазом нерешительно обводил солдат, и Новиков поторопил его:

— Говорите при них. Они всё должны знать. Что, танки в городе?

— Прорвались... В центр,— рокотнул Петин и громкими глотками отпил из котелка, рукавом вытер губы.— Связь перерезали... Майор Гулько в боепитание послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали в центр на площадь, глядь, а у костела танки какие-то. Думал, наши, а они как махнут по нас из орудий! Я с шофером сидел, осколки — по стеклу, что-то в глаз отлетело...

Петин замолчал, неловко потрогал кровавый глаз, с досадой ощупал разорванную гимнастерку.

— А это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската враз села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам — от майора. Вот. Ответ пропишите.

Петин вынул из кармана кисет, из него — аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, прочитал несколько фраз, написанных ровным, мелким почерком: «Посылаю с Петиным обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам — будет легче. Майор Гулько».

«Кому нужны сейчас эти сантименты?» — подумал Новиков и, хмурясь, сунул записку в карман. Сказал:

— Письма писать некогда. Передайте — батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?

— А внизу, под высотой,— обиженно мигнул заплывшей краснотой глаза Петин и спросил потерянно: — А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется...

Новиков не смотрел на него.

— Всем — к машине, от огневой ползком, перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям! — негромко скомандовал он, оглядев встрепенувшихся солдат.— А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам...

И после этих слов совсем ненужно вспомнил близкие теплые зрачки в темной, втягивающей глубине Лениных глаз, вздрагивающие от смеха ресницы, легкое, прохладное прикосновение пальцев ко лбу. «Не смотрите на губы, там ничего нет, смотрите мне в глаза! Ну?»

Как-то месяц назад в глаз ему попала соринка во время стрельбы, и Лена вытаскивала ее. Она хорошо это сделала, но и тогда раздражила Новикова своей вызывающей нестеснительностью.

— Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка. Снимите пилотку,— приказал он Петину.

И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный, в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на грубо выдубленном ветром лице солдата. Тот наклонял голову, вспотев, сопя, единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова.

— Да какой же госпиталь, товарищ капитан? — пытаясь улыбнуться, бормотал он.— Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы? Мне к майору надо... Спасибо, товарищ капитан! Некстати это...

— Смерть и ранение всегда некстати,— сказал Новиков, завязал узел и легонько оттолкнул Петина.— Теперь двигайте к майору. Да только пригибаться и бегом.— И чуть усмехнулся: — Для снайперов вы мишень огромная. Ну, бегом марш!

— Счастливо вам...

Петин грузно встал, старательно одернул гимнастерку, перешагнул бруствер и вдруг, неудобно пригнувшись, придерживая растопыренными пальцами медали на груди, тяжело порысил по высоте к скату, за которым скрылись посланные за снарядами солдаты.

— Ползком! — крикнул Новиков.— Гимнастерку жалеете? Ложись!

В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел, синий огонек разрыв-

ной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень недовольный, выпрямился всей огромной фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел, и неуклюже сбежал, скатился по скату.

«Задело его? Нет, не должно быть, не задело!» — подумал Новиков, давно уверенный, что на войне подряд два раза не ранят, второй раз — убивают.

И тогда звонкий, отчетливый голос младшего лейтенанта Алешина заставил его обернуться.

— Товарищ капитан, вроде из-под того танка подбитого снайпер лупит! Не видите?

Алешин без фуражки — каштановые волосы светились на солнце — лежал под бруствером, смотрел куда-то в белесую дымку, плавающую в котловине.

— Пошли к пулемету, покажешь!— сказал Новиков.

В ровике НП, переступив через дремлющих связистов, Новиков спросил у дежурившего около пулемета разведчика:

— Заметили, откуда бьют снайперы? — И, не дослушав его полусонного бормотания: «Да тут солнце в глаза бьет»,— снял с бруствера ручной пулемет, перенес его, меняя позицию, в дальний конец хода сообщения, установил на бровке.

Алешин лег грудью на край окопа, прошептал:

— Правее орудий Овчинникова, на минном поле — подбитый танк. Пушка к нам развернута, видите? Оттуда выстрелы.

Это было то место, где ранило Овчинникова.

— Прощупаем,— сказал Новиков.

И выпустил две короткие очереди, стремительно запылившие перед гусеницами подбитого танка. Тотчас он уловил двойной ослабленный звук выстрелов из-под днища танка. Он быстро взглянул назад, на высоту, где обстреляли Петина, и увидел человека, низкого, плотного, коротконогого,— рыхло забирая ногами, он бежал, заметный как в бинокль, к огневой позиции. Стреляли по нему. Новиков, не сняв пальца со спускового крючка, крикнул Алешину:

— Какого... там шляются? Кто это такой? А ну, наведи порядок! Может, опять от Гулько!

Он поставил удобнее локоть, прижал к плечу ложу пулемета, снова выпустил две короткие очереди под днище танка, неясно услышал позади крики Алешина: «Ложитесь, ползите! Откуда вы?» Затем тонко, мститель-

но взвизгнуло над ухом несколько пуль. Понял: теперь стреляли из-под танка по пулемету, и, загораясь знакомым огоньком азарта, он вторично прицелился. Весь диск вылетел туда, откуда стрелял немецкий снайпер, и только после этого Новиков сорвал пулемет с бровки окопа, переставил на другое место, бросил разведчику:

— Новый диск! Быстро!

От орудий по ходу сообщения в сопровождении младшего лейтенанта Алешина шел, будто бодаясь, налитой и даже в талии толстый человек, квадратное лицо багрово, брови упрямо сдвинуты; и по этим бровям, по тучности Новиков, удивленный, узнал того капитана-интенданта, с которым у него произошло столкновение в особняке.

— А-а, интендант! — воскликнул Новиков.— Это за каким же лешим на огневую вас занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились? — И улыбнулся нахмуренному Алешину.— Чуете, Витя?

Интендант подошел, спотыкаясь в поспешности и волнении, едва выговорил:

— Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Я прошу оружие, оно записано под номером,— повторил он, глядя Новикову в грудь.

— Присядьте,— предложил Новиков.

Интендант присел, отпыхиваясь, вытер платком толстую шею, пылавшее багровостью лицо; делая это, поднимал и опускал руку, было видно, как тесный китель жестко давил ему под мышки. Новиков сказал полусерьезно:

— Ну вот что, если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсанбата: простыни, белье, вино, продукты,— и счастливого вам пути! От орудий, советую, ползком, иначе не вам нас, а нам вас придется отправлять в медсанбат. Кажется, все. Желаю удачи.

Интендант справлялся с одышкой, пот струями катился по его лицу, подворотничок врезался в шею, веки набрякли.

— У вас мое... оружие. Системы «наган»,— сказал он упорно.— Прошу вас, мое оружие. Офицеру без оружия нельзя... Оно записано под номером. В документе...

— Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие,— сказал Новиков.— Наган! Достали бы пистолет или парабеллум, наконец. Алешин, что вы медлите? Отдайте оружие...

Алешин, с неприязнью вперив взгляд в интенданта, нехотя вынул из сумки массивный наган, повертел его и, краснея, сказал презрительно:

— Товарищ капитан, если каждый тыловик...

— Отдайте,— оборвал его Новиков.

— Спасибо. Я сам погорячился,— сдерживая одышку, выговорил интендант. — Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...

— Я не умею говорить любезности,— вежливо ответил Новиков.

— Ладно, пусть так. Может, еще увидимся...

Вталкивая наган в кобуру, интендант сгорбил тучную спину, зашагал по окопу, косясь влево на поле, где вились дымки под танками.

— А по высоте — ползком! Ползком! — гневным голосом крикнул Алешин.— Быстро!.. Приласкали, товарищ капитан дикобраза какого-то! — возмущенно сказал он.— Тыловой комод эдакий!

А Новиков в это время, сильным ударом вщелкнув полный диск в зажимы пулемета, внимательно глядел в сторону города. Там, пульсируя тяжким громом, росла зловещая, кипящая чернота, надвигалась, заслоняя небо, краем повисла над высотой. И то, что было несколько минут назад, казалось ничтожно маленьким, ненужно пустячным, мелким по сравнению с тем, что приближалось оттуда и что сознавал, чувствовал сейчас Новиков.

— Товарищ капитан, чеха ранило. В пехоту шел с термосом! Вон смотрите, в грудь его снайпер саданул!

— Где он?

— На огневой.

— Пошли.

Возле орудия сидел молоденький чех в новом, вроде еще хрустящем от свежести обмундировании, влажные, испуганные глаза старались улыбнуться Новикову, белый пушок на верхней пухлой губе в капельках пота; юношески худые пальцы сведены на груди. Рядом у ног стоял термос. Ремешков, присев подле на корточках, разрывал индивидуальный пакет, жалостливо вглядывался в ребячье лицо чеха, вздыхая по-бабьи, спрашивал скороговоркой:

— Куда ж это тебя, куда? Эх, милый человек, неосторожно ты, они туточки всё пристреляли. В пехоту шел, землячок, к своим? Понимаешь, понимаешь по-русски?

— Добрый ден...— прошептал чех и закивал быстро-быстро.— Рота... обед... Я — тр-р, катушка, связист... Шеста рота...

Он смущенно смотрел Ремешкову в лицо, взглядом умоляя понять его. Темное пятно расплывалось на гимнастерке, окрашивало молитвенно сложенные пальцы связиста.

— Снимайте с него гимнастерку! Перевязку! — приказал Новиков Ремешкову и повернулся к молча глядевшему на чеха Степанову.— Отнесите термос в шестую роту чехов. И передайте — ранен связист.

— Марице, Марице, повстани,— серыми губами шептал чех, когда Ремешков начал перебинтовывать его, и все взглядывал туда, за озеро, где лежала Чехословакия.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои, связь была прервана, и телефонисты, раз восемь пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с опустошенными глазами, сообщили, что нарвались на немецкие танки, всюду пожары, ничего понять нельзя и нет возможности восстановить линию — она перерезана. Два часа спустя из парка, где стоял хозвзвод, прибежал, дрожа в возбуждении, ездовой, доложил, что неизвестно откуда особняк и парк обстреляли автоматчики, лошадь убита, двое повозочных ранены. А доложив это, спросил подавленно: «Может, место сменить куда подальше?» Новиков знал, что такого неопасного места, куда можно было передвинуть тыл, сейчас нет, и отдал приказ окопаться хозвзводу — всем, от повозочного до повара — на юго-западной окраине парка.

Мохнатое зарево, прорезав небо километра на два, раздвинулось над городом. Там, в накаленном тумане, светясь, проносились цепочки автоматных очередей, с длинным, воющим гулом били по окраине танковые болванки. Порой все эти звуки покрывали обвальные разрывы бомб — где-то в поднебесных этажах гудели наши тяжелые бомбардировщики. Ненужные осветительные «фонари» желтыми медузами покойно и плавно опускались с темных высот к горящему городу.

Отблеск зарева, как и в прошлую ночь, лежал на высоте, где стояли орудия, и на озере, на прибрежной полосе кустов, на обугленных остовах танков, сгоревших в котловине. Впереди из пехотных траншей чехословаков беспрестанно взлетали ракеты, освещая за котловиной минное поле,— за ним в лесу затаенно молчали немцы. Рассыпчатый свет ракет тускло мерк в отблесках зарева, и мерк в дыму далекий блеск раскаленно-красного месяца, восходившего над вершинами Лесистых Карпат. Горьким запахом пепла, нагретым воздухом несло от пожаров города, и Новиков, мнилось, чувствовал на губах привкус горелого железа.

В девятом часу вечера он собрал людей на огневой позиции, сел на станину. Курить здесь никому не позволил — снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные в зареве лица солдат, настороженные, неподвижные в ожидании приказа, потом сказал:

— Что ж, пора идти.— Помедлил и повторил: — Идти к орудиям Овчинникова и вынести раненых. Там их трое: один ходячий — сержант Сапрыкин, двоих надо нести.— Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы.— Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью или на рассвете, это ясно. Всем это ясно? — Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат.— Поэтому на всю операцию — час. Взять побольше запасных дисков. У тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Порохонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но, какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать! Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все.— Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: — Сержант, дайте-ка мне ваш автомат!

Молчаливый Степанов оборотил очень уж поспешно свое круглое, как блин, задумчиво-доброе лицо, затем, насупясь, положил автомат на колени, тщательно проверил ход затвора и, не сказав ничего, подал его Новикову.

Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле.

Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Порохонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом.

Порохонько, пристегивая к ремню автоматные диски в чехлах, подошел к Новикову, в зрачках играли красноватые хмельные огоньки, произнес вдруг отчаянно-бесшабашно:

— Ну, покурим на дорожку, чтоб дома не журылись. Кто, хлопцы, даст на закрутку, тому жменю табаку дам! — И спросил чрезмерно серьезно Новикова: — Разрешите, товарищ капитан? Я замаскируюсь.

Новиков разрешил. Кто-то из разведчиков сунул Порохонько тайно обсосанный в рукаве шинели недокурок. Порохонько, крякнув, спрятался за бруствером, торопливо, наслаждаясь, сделал несколько глубоких затяжек и сейчас же растоптал, растер окурок каблуком, выпрямился, говоря:

— Ось полегчало, аж продрало,— и, покончив с этим простым житейским удовольствием, зыркнул взглядом по фигуре Ремешкова.— А ты що ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Ты-то некурящий?

— Я не... Я не курю, я ведь некурящий,— забормотал Ремешков заикающимся голосом.

Он суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись, и Новиков, вспомнив его вещмешок — горб на спине, недавний ужас в глазах, его унизительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за шесть тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков. И, подавляя в себе чувство жалости, Новиков спросил, готовый на мягкость:

— Нога болит?

Ремешков не ответил, спеша повесил автомат на шею, скачущими пальцами застегивал шинель, озираясь на город, на близко фыркающие звуки танковых болванок. Он теперь знал, что никакая болезнь ноги в этой обстановке уже не поможет, как не помогла прежде, и онемело торопился, обрывая все, к тому страшному, что ждало его, что в течение суток видел, пережил не раз.

Новиков скомандовал вполголоса:

— Все по местам! Порохонько и Ремешков за мной,— и двинулся по ходу сообщения.

— Товарищ капитан!..

Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте светлеющее лицо младшего лейтенанта, голос его зазвучал преувеличенно равнодушно:

— Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так... от всех. Передайте...— Он сунул Новикову три плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: — Ни пуха ни пера,— и замер, опершись о стенку окопа.

— Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь. Остаешься за меня.

«Я второй раз передаю от него шоколад Лене,— думал Новиков, шагая по ходу сообщения и с твердой для себя определенностью чувствуя какую-то тайну их взаимоотношений, которую не замечал.— Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что, я считал, что на войне не может быть этого?»

Они с осторожной очередностью спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.

— Я в пехоту, к чехам, ждать здесь,— сказал он шепотом и пропал в темноте.

Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда, и теперь Порохонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Одновременно взглянули на озеро и высоту. Озеро все — до низкого противоположного берега — теплело лиловым отсветом; высота за спиной кругло и темно выгибалась среди кровавого зарева и так ясно была вычерчена, что четко вырисовывались острые стрелки травы над бруствером огневой. Канонада из города доносилась сюда приглушенно.

Справа, в стороне пехотных траншей, оглушила трескучим выстрелом, с дрожащим визгом взмыла ракета. Повисла, распалась зеленым оголяющим светом. Ремешков вздрогнул, съежился, сдерживая стук зубов, заговорил прыгающим шепотом:

— Там... рядом... за кустами... Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит...

— Ты що это зубами стукаешь? Злякався?—спросил Пороховенько, подозрительно-зорко вглядываясь в Ремешкова.—Чего тогда пошел? Для мебели? А ну замолчь! Идет кто-то...

Зрачки его зло вспыхнули, и Ремешков втянул шею, с покорностью замолк, наблюдая вдоль ската высоты. Там едва слышно зашелестела трава, к ним шел, приближался человек. Ремешков не выдержал, позвал сдавленным вскриком:

— Товарищ капитан!..— И, не получив ответа, шепотом выдавил: — Смотри, на связиста наткнулся... на него...

— Цыть! Какие тут тебе капитаны! Молчи! — зашипел Пороховенько, стискивая трясущееся колено Ремешкова.

...Когда Новиков спрыгнул в ход сообщения чехословацкой пехоты, его остановил голос из полутьмы:

— Гдо там? [1]

— Русский капитан. Это шестая рота?

Месяц вставал над Лесистыми Карпатами; в тени, падавшей на южную сторону траншей, двое чехов дежурили у пулемета — курили на патронных ящиках спиной друг к другу, заученно при каждой затяжке нагибаясь ко дну окопа, у ног поблескивали металлические груды стреляных гильз. Увидев Новикова, оба вскочили, улыбаясь ему, как давнему знакомому. Они узнали его — Новиков был здесь полчаса назад. Оба, с любопытством глядя на Новикова, заговорили вместе обрадованно, выделяя слова заметным акцентом:

— Товарищ кап-питанэ... О, русове... Хорошо! Разумитэ?

— Разумею,— сказал Новиков.— Здесь командир батальона!

— Ано, ано [2], просим... товарищ... товарищ капитанэ. Просим...

Они проводили его до землянки, услужливо распахнули дверь, и Новиков вошел.

Командир батальона, сухощавый, узколицый чех в накинутом на плечи френче, сидел за столом, освещенным

---

[1] Кто идет? (*чеш.*)
[2] Да, да (*чеш.*).

«летучей мышью», задумчиво черкал по карте отточенным карандашом. Двое других офицеров, прикрыв ноги шинелями, спали на нарах — лиц не было видно в полусумраке. Фуражки, полевые сумки, ручные фонарики, новые ремни лежали на пустых патронных ящиках.

— Капитанэ? — вполголоса воскликнул командир батальона и с выправкой строевого офицера встал, надевая френч, запахивая его на груди.— Капитанэ, сосед, ано? Так по-русски? Сосед!..

Он протянул руку Новикову и, сильно сжав его пальцы, потянул книзу, этим движением приглашая сесть к столу. Лицо чеха не было молодым, однако не казалось старым,— он выглядел человеком неопределенного возраста: морщины прорезáли выбритые щеки, старили высокий лоб, но из-под рыжеватых бровей живо светились глаза. Он усадил Новикова на ящик и, садясь напротив, предлагая сигареты, заговорил по-прежнему негромко, чтобы не разбудить спящих офицеров:

— Просим! Я хотел... очень сказать... кто жив... из пушек?.. Вы имеете связь? Сигареты, просим...

— Спасибо,— ответил Новиков, закуривая сигарету.— Я бы хотел еще раз предупредить, что мы выходим на нейтральную полосу. К орудиям. Будем там около часа. Можно вашу карту?

— Да, да, очень просим.— Чех пододвинул карту.

— Мы пойдем вот сюда. За ранеными. Вы знаете эту позицию. Что бы с нами там ни случилось, прошу вас огня не открывать. И в течение часа не надо освещать минное поле ракетами.

— Разумитэ. Очень понимаю,— подтвердил чех, кивая.— Мы можем помочь... Много раненых вояку? Я дам вам чехов...

— Пока не надо,— сказал Новиков.

Говоря это, он увидел на карте Карпатский кряж, озеро, извилистую границу Чехословакии, за ней в долине, на черной нити шоссе Ривны — Касно жирно обведенный красным карандашом город Марице, возле — кружочки других городов, где партизаны начали восстание, ожидая наступления с востока. Чех заметил его взгляд, разгладил изгибы карты, мизинцем провел от ущелья по шоссе Ривны — Касно — Марице, сказал:

— Марице! Огромная война, капитанэ! Словацкие партизаны ждут русских. Боюеме сполу за свóбоду! [1]

[1] Вместе боремся за свободу! (*чеш.*)

— Немцы вряд ли отсюда пройдут к Марице,— сказал Новиков, отодвигая карту.— Мы пройдем к Марице.— И пошутил: — Это, как говорят, не за горами! Ну, до встречи!

Он погасил сигарету в консервной банке, заменявшей пепельницу, прощаясь, улыбнулся.

— Желаю счастья,— сказал чех.— Вам стоит сказать йедно слово — и мы прийдем на помощь. Мы будем наблюдать.

— Спасибо. Значит, час без огня и ракет.

— Все будет так.

Командир батальона проводил его до конца траншеи.

После разговора с чехом Новиков, возвращаясь, метрах в двадцати от траншей наткнулся на тело убитого.

Убитый лежал на боку, в неудобной позе, застигнутый смертью, тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте, голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. Сбитая смертью выгоревшая пилотка валялась тут же, облитая блестевшей ночной росой. Ноги его были поджаты к животу, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его так, сохраняя последнее тепло. И вдруг Новиков узнал своего связиста — не по лицу, а по худенькой руке и позе (тогда ночью, в особняке, он спал, так же подогнув голову). Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово́-бледным, мальчишески удивленным («Зачем? Откуда по мне стреляли?»). Оно запрокинулось на слабой, тонкой шее, тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.

Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет, в нем были документы — кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали «За отвагу», те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году... и, почувствовав мертвохолодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны.

Он вспомнил: «А матери у меня совсем нету... сестра у меня... Адрес в кармашке вот тут...» И обжигающая мысль о том, что, если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, тот бы не погиб. Сколько

раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался! Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне.

...Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красного зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат и мгновенным толчком вернулся к действительности. Он, нахмуренный, подошел к солдатам, скомандовал:

— Вперед!

Порохонько, придерживая автомат на груди, вскинулся первым, за ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановил глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что неожиданно изменится что-то в пехоте и идти не нужно будет туда, вперед — в неизвестное, опасное. А поняв это, спросил дружелюбно:

— Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?

— Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? — ответил Ремешков слабым криком.— Разве я не понимаю?.. А совладать с собой не могу.

— Этого не хватило и Овчинникову,— сказал Новиков.— Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной.

— Цыть ты, цуцик несуразный! — злобно и сильно дернул Ремешкова за хлястик Порохонько.— О смерти залопотал! Про себя соображай, цуцик!

Сразу же ступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным прелым сумраком. Будто дымящийся, месяц мертво обливал синевой пожухлые листья; немое движение месяца и это матовое сверкание листьев создавали острое чувство затерянности, неизбывного одиночества. Ракеты больше не взлетали над пехотными траншеями, затаенная глухота распростерлась перед высотой, и, отдаленные, проникали сюда раскаты боя в городе.

Новиков шел впереди, раздвигая студено-скользкие ветви, возникал и спадал шорох листвы над головой. Срываясь с ветвей, роса брызгала в лицо, слепила глаза, овлажняла рукава шинели; упруго цеплялся за ветви ствол автомата. Новикову не было известно, тщательно ли разминировано здесь, только наверняка знал он, что наше и немецкое минное поле начиналось вплотную за кустами. Однако он шел, не останавливаясь, не изменяя

направления, упорно и заведенно продираясь в мокрой чаще. Он не считал себя, вернее, приучил не быть преувеличенно осторожным, но случайная смерть от зарытой мины, на которую можно наступить лишь потому, что человеку свойственно ходить по земле, казалась ему унизительной, бесцельно-глупой, и это ожидание взрыва под ногами раздражало его.

«Где начинаются и кончаются не случайные немецкие мины? — думал он.— Кто знает, где их граница?»

Здесь, под прикрытием кустов, они двигались в рост по ничьей земле, и Новиков напряженно всматривался в холодный сумрак, в подстерегающе-металлический блеск росы на траве, на листьях, чувствовал в ногах, в мускулах знакомую настороженность, готовый мгновенно вскинуть автомат в тот последний момент, который решает все,— кто выстрелит первым. Он спешил и на ходу часто взглядывал на часы — отраженный месяц кошачьим глазом вспыхивал на стекле.

И все время, не угасая, его мучила мысль о том, что немецкая атака повторится не на рассвете, а этой ночью — через два часа, через час, через тридцать минут, но, что бы ни произошло, чтобы ни случилось, они должны были успеть к орудиям до начала новой атаки, должны были успеть...

— Шире шаг, не отставать! — поторопил шепотом Новиков.— Идти точно за мной. Ни на метр в сторону.

И, подав команду, остановился внезапно, отводя и с осторожностью удерживая рукой отогнутые ветви, и сзади идущим стало слышно, как зашлепала роса по палым листьям. Тишина — и лишь громкий стук капель.

Порохонько, втягивая воздух ртом, едва не натолкнулся на Новикова, зло обернулся к Ремешкову, шагавшему с низко нагнутой головой.

— Стой и не шурши! — прошипел он неприязненно.

И Ремешков дрогнул бледно-зеленым лицом, замер, часто задышал, вытягивая губы,— хотел спросить что-то, но не спросил, только сглотнул, задохнувшись.

Новиков и Порохонько неподвижно стояли в кустах.

По тому, как лунно и пустынно засинело впереди, по тому, как тихие чмокающие звуки донеслись, по-видимому, с озера, Ремешков понял, что кусты кончились и за ними голое чистое поле до самой возвышенности, где оставались орудия Овчинникова, откуда давеча бежали... Утром здесь были немцы.

Ремешков с морозящим его ужасом, с ожиданием смотрел на зашевелившиеся в кустах спины Новикова и Порохонько — они молча глядели из-за ветвей на синеющее впереди поле. И оттого, что его прерывистое, шумное дыхание, казалось, заглушало все и поэтому он плохо слышал, и оттого, что они непонятно молчали, а он не видел и боялся увидеть то, что видели они, Ремешков, сдерживая стук зубов, ощущая ознобное дрожание под ложечкой, ожидал сейчас одного — резкой, беспощадной команды Новикова: «Вперед!» («Неужто он не боится умереть?») Вот сейчас, сейчас «вперед!» — и оглушительный встречный треск пулеметных очередей, трассирующие пули, летящие в грудь... Они здесь были. Ведь здесь были немцы, танками окружили со всех сторон орудия, он сам видел их, когда отходили с Овчинниковым.

«Маманя, помоги, маманя, помоги, может, и не вернусь отсюда! Может, погибну. Маманя, спаси...» И хотя Ремешков никогда не верил в бога, ему хотелось страстно, горячо, исступленно молиться кому-то, кто распоряжался человеческой жизнью и его жизнью и судьбой. «Если ты есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать, рано мне! Колокольчикова убили, так спаси меня...»

— Тихо! — еле различимым шепотом приказал Новиков.— Вы что, Ремешков? Тихо! Приготовиться! Прорываться будем.

И Ремешков, не замечая того, что делал, повалился, сел на землю, хватаясь за кусты,— ноги ослабли.

Но в эту минуту ни Новиков, ни Порохонько не заметили этого. Они следили за чем-то, отгибая ветви.

Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля, оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, протянувшейся к ало-голубой глади озера, возникали и пропадали глухие отрывистые металлические звуки, а справа среди обугленных силуэтов сожженных танков тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая призывно отвечала ей из минного поля.

— Что за черт! Слышите? И птицы... на кой здесь? — шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины; не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц.

— Побачьте-ка,— сжав, как клещами, локоть комбата, прошептал Порохонько, обдавая табачным перегаром.— Видите? Во-он двое пошли... Видение? Не?

Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в сорока за кустами, один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли; и тут же увидел Новиков еще троих. Вернее, сначала уловил справа неопределенное приближающееся позвякивание, и выдвинулись из синего сумрака в котловине эти трое, остановились, поджидая. И как бы оторвавшись от земли, на которой лежал, присоединился к ним еще один: встал на минуту против месяца, высокий, без каски, длинноголовый, на груди мотался автомат,— Новиков хорошо различил его,— и, постояв, припал к земле, слился с ней.

«Разминируют поле? Значит, это саперы, немцы,— подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться.— Так вот почему они прекратили атаку!»

— Що будем делать? — опять, обжигая табачным дыханием, прошептал Порохонько.— А, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а? Не?

Новиков сказал, отступив на шаг, продолжая глядеть в котловину:

— Ждать нельзя, будем прорываться к орудиям! Броском вперед, больше огня — прорвемся!

И дернул с плеча автомат, беззвучно перевел рычажок на очереди, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, точно земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямился перед Новиковым, шатаясь на ватных ногах.

«Вот оно, в конце войны, вот она, судьба! Да как же это? — мелькнуло у Ремешкова.— Господи, как же это?»

Рвущий воздух треск распорол и громом оттолкнул к небу тишину, слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и, зажмурясь, затем разомкнув веки, увидел он, как сквозь синее стекло, впереди себя Новикова. Стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, что-то кричал не оглядываясь, а в нескольких метрах от него вроде бы прыгала над землей длинная спина Порохонько, а из-за этой спины рвалось нечто обжигающе-огненное. Спина на мгновение близко повернулась к Ремешкову, появился раскрытый криком рот. Тотчас мимо него наискось промчался сноп пулеметных трасс, другой, прерывистый вихрь сверкнул мимо плеч Новикова — и все впереди,

справа и слева заклокотало, опрокинулось, забилось, крутясь и качаясь в раскаленной карусели. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за кругло-мягкое, живое, и вдруг острое, мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за живое, мягкое, услышал рядом хрип, свистящее дыхание: разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта.

Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, вцепились в горло, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом:

— А-а-а, га-ад! — Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги («Автомат, автомат скорей!»), и, торопясь, сумасшедше дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это по-заячьи вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.

«Я убил его,— мутно пронеслось в сознании.— Сволочь, к горлу тянулся! Сволочь паршивая! К горлу...»

Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, оглянулся, ища глазами Новикова: «Где капитан? Где он?..»

Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины, и Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди вазубренное клокочущее пламя, оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату, и он, охваченный бешенством, обливаясь пóтом при воспоминании о тех руках, о перекошенном лице, которое хрипело в траве, суетливо вскинул автомат, полоснул мстительной очередью. С наслаждением, со злобной радостью дергая спусковой крючок, заметил, как оборвался клекот там, в траве. «Задушить, сволочь паршивая, хотел, задушить!..»

А ноги несли его туда, на скат, где, перемещаясь, дробилось пламя, сталкивались, взвивались нити трасс. И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знако-

мые громкие окрики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его.

— Ремешков! Сюда! Ко мне!

«Это капитан Новиков, его голос, он кричит! Да что же я молчу? Ранен он, может?..» И он выдавил из себя шепотом:

— Здесь я...

Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова — он почему-то не бежал вверх по скату, а спускался, пьяно покачиваясь, в котловину; отчетливо бросилось в глаза — до фиолетового свечения накаленный ствол автомата и то, что на капитане не было фуражки; трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину.

— Ремешков? Вы это? Быстрей! — крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом.— За мной! За мной!.. Ремешков!..

И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то вправо очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, спросил резко:

— Вы ранены?,

— Нет,— просипел Ремешков.

— Впере-ед! К Порохонько! Вверх, впере-ед!..

«Это он за мной вернулся, за мной?» — скользнуло в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову, навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его:

— Товарищ капитан... бегите... Я здесь, я... вас прикрою... товарищ капитан... бегите...

Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова.

— Вперед!..

— Товарищ капитан!..

— Вперед! — крикнул Новиков и круто выругался.

И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тишина, душная, неспокойная, распростершаяся от ущелья и леса, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. А они не могли уже называться

позициями. Там не раздавались голоса, не вспыхивал огонек зажигалки, прикрытый полой шинели, не звучали шаги в ходах сообщения, не сменялись часовые. Там, в пятидесяти метрах за блиндажом, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, ходил по ходу сообщения, наполняя позиции живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли.

А в блиндаже еще были живые.

В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей — тянулись вертикально, фитили в плошках горели слабым огнем.

Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от стрельбы,— понимали: это вздрагивание плошек будет последним перед тем, как войдут сюда немцы.

Все знали: лишь один человек был там, наверху — в четырех шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил (слышно было, как кресал зажигалкой), звучно сплевывал, ругаясь («Гады, что задумали? Куда расползлись все?»), иногда, громко кусая, принимался жевать галету, беззлобно ворча («Обман серый, солому прессуют!»), порой, постукивая каблуком, вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывавшее у Лены чувство тоски:

Ты не стой, не стой
На горе крутой,
Не целуй меня,
Хулиган такой.
Рыбачок милой,
Дурачок ты мой,
Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би...

И когда, оборвав нелепую эту песню, перестав курить, ругаться и сплевывать, он замолкал, сырая гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненный в бедро связист Гусев и удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Лягалов, метаясь на нарах.

— Что это он, Лена?

Сержант Сапрыкин, с перебинтованной грудью и животом, от этого неузнаваемо белый, без кровинки в ли-

це, пытался приподняться на руках, переводил взгляд с огоньков плошек на Лену, сидевшую на снарядном ящике, вслушивался в безмолвие наверху.

— Заснул? И петь перестал... Заснет он, возьмут нас тут фрицы ровно кур... Вот парнишку жалко,— и сожалеюще кивал в сторону Гусева.

— Вам не нужно беспокоиться, милый, не думайте об этом,— говорила Лена ласково-успокаивающим шепотом.— Все будет хорошо...

Но она не верила в то, что говорила. Она слишком серьезно понимала, что орудия отрезаны, окружены, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь вдвоем. И эти наплывы тишины на блиндаж почему-то связывались с бесшумно, как из земли, возникшими фигурами немцев на бруствере. Горбачев не успеет дать очередь, крикнуть...

Маленький пистолет, вынутый из кобуры, лежал, поблескивая, на столе — либо оставленный с целью, либо забытый лейтенантом Овчинниковым. То, что было сделано лейтенантом Овчинниковым, что произошло после его ухода, виделось будто через серую, знойную пыль. Не было сил восстановить в памяти все: были бесконечные пороховые удары в уши, чесночно-ядовитый запах гильз, запах пота, крови, влажных, теплых бинтов. И невыносимо хотелось пить, а потом назойливо, липко, желанием вспомнить что-то, преследовало ощущение вязкой тишины, чувство неясного, незавершенного, тягостной необлегченности.

— Водицы бы, Леночка, глоточек бы... Жжет все...

Лена встала, подошла к нарам.

Лягалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл глаза, почти белые от боли; некрасивое, сразу обросшее лицо его было синей бледности, обметанные, тронутые смертью губы почернели, выделялись четко. Он шептал просительно:

— Водицы бы, Леночка... холодной.— И сморщился виновато и жалко.— Или кваску бы... со льда...

— Потерпите немножко... нельзя вам, нельзя. Немножко потерпеть, несколько минут. Пожалуйста... Скоро в медсанбат, там врачи, всё,— убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель.— Нельзя вам воды, нельзя.

Лягалов облизывал губы, непонимающе остановив белые глаза на наклоненном лице ее: пересиливая себя,

он особо внимательно слушал ее голос и нечто другое, что было слышно только ему за этим голосом. И уж очень покорно он перевалил на шинели голову вправо и влево и, глядя в потолок блиндажа, сказал с осмысленной горечью:

— До медсанбата... силов нет...

— Вы будете жить, вам только нужно потерпеть... Потерпеть...

Она зашептала эти вынужденные и нежно-обманчивые слова, что всегда говорят умирающим с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя — эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе.

Он был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Она, перевязывая его, видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни врачи не помогут. А он, не видя раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимое, надвигающееся, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой...

И она поняла это.

Лягалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, чего ни она, ни, может быть, все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать, но ничего этого не объяснил, лишь жалко, умоляюще задрожали веки.

— Воды, Леночка... Холодной бы... Поспешать мне... не дотерплю...

— Хорошо,— беззвучным шепотом проговорила Лена.— Хорошо.

И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Некоторое время с закрытыми глазами, не шевелясь, она стояла спиной к Лягалову возле снарядного ящика, чувствовала, что он терпеливо ждет, потом неуверенно достала чайную ложечку из сумки. То, что она делала, преодолевая сопротивление разума, не было жестоким обманом себя. Это было последнее, что она могла сделать для него.

«Кажется, это он сказал, что готов воевать двести раз, чтоб только не было женщин на войне,— почему-то вспомнила она, отвинчивая пробку фляжки.— Да, это он сказал тогда ночью».

— Пожалуйста, не двигайтесь, глотайте,— заговорила Лена ласково чужим голосом, садясь у изголовья Ляга-

лова, и налила в ложечку воды.— Сейчас не будет жечь, пройдет... не будет жечь...

Лягалов пил из ложечки, глотая и всхлипывая, тянулся к ней, как ребенок, и она, тихо гладя его покрывшийся испариной лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливали в него глотки смерти. Но все же наполнила последнюю ложечку, зная, что жажда при ранении в живот страшна, люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно.

Она дала ему четыре ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, а Лягалов застонал, глаза были закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу.

— Знал я,— прошептал он.

— Что? — спросила Лена.— Что?

— Как будто знал я.— Он слабо поднял безжизненную руку на грудь, обессиленно выдохнул:— Здесь вот... В сердце было...

— Что было?

— Приснилось... вчера...— выговорил Лягалов, открывая глаза, полные слез.— Вернулся я... После войны... Ребятишки вокруг. А жена отвернулась, поцеловать... не захотела... А я в ней души не чаял. Красивая... а за меня, урода, пошла... И ребятишки, четверо... Как же это, а? Разве я виноват, что меня... убило? Разве виноват?..

И вдруг беззвучные рыдания искривили некрасивое лицо Лягалова, сотрясли его тело, и он, замычав, отвернулся к стене, захлебываясь внутренними слезами, шепча:

— Это я так... это ничего... Ты меня не слушай, Леночка... Пройдет... Мне бы Порохонько еще увидеть... Я ведь его... уважал...

Лена молчала.

— Вот тебе и герцогиня польская, шут ее возьми,— закряхтев, произнес Сапрыкин.

Он слушал Лягалова, приподнявшись на локтях, свет падал на седые виски; когда же донеслись звуки, похожие на сдавленные стоны, проговорил успокоительно:

— Порохонько тоже любил тебя, Лягалов... Конечно, остер на язык... А так добрый он человек.— И хмуро покосился в сторону Гусева.— Вон и Гусев чего-то заговариваться стал. Плохо, что ль, ему, Елена? Лопочет чегой-то мальчонка.

Гусев лежал, укрытый шинелью до подбородка, моloденькое, почти ребячье лицо его заострилось, моталось из стороны в сторону. Он бормотал, задыхаясь:

— Я связист Гусев, а остальные... убитые... Овчинникова нет, одни убитые... Снарядов пять штук... А мне постели на диване, мама... В шкафу простыни-то... в шкафу...

Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена отогнула воротник шинели, корябавший Гусеву подбородок, выжидая, посмотрела на пожилого, спокойного, все понимающего Сапрыкина, а тот глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в его глазах.

Было тихо. Давящее безмолвие висело над блиндажом. И сквозь это безмолвие вполз в блиндаж зовущий шепот сверху:

— Лена, ко мне! Сюда!..

Лена вздрогнула, решительно схватила пистолет на столе, сказала:

— Это меня. Поглядите здесь.

Сапрыкин сел.

— Сперва подала бы мне автоматик,— медлительно сказал он.— Вот сюда, под руку мне.— И заговорил, хмурясь на огни плошек: — Я свое пожил. И в ту войну Советскую власть защищал, и в эту пошел. Два сына взрослые у меня, оболтусы здоровые.— Усмехнулся глазами.— Недаром прожил. Так вот что...— Он передохнул, глянул на дверь — из тишины вторично и громче донесся голос Горбачева:

— Лена, сюда!..

И Лена, пряча игрушечно-маленький лакированный пистолет в карман гимнастерки, внезапно вспомнила недавние слова Овчинникова: «Убить из него нельзя, а так, поранить можно»,— и, быстро застегнув пуговички, чувствуя неудобное прикосновение к груди, она обернулась к Сапрыкину, поторопила его взглядом: «Говорите, я слушаю».

А он с трудом сидел на нарах, опираясь руками, неглубоким дыханием подымал всю в бинтах грудь; густая седина светилась в его волосах.

— Так вот что, Елена... Запомни и с своей совести это возьми... Меня и их,— проговорил твердо Сапрыкин и моргнул в сторону Гусева и Лягалова,— на себя возьму. Мои солдаты, мне и отвечать. На том свете разбе-

ремся... Живьем не отдам — не-ет! Только когда невтерпеж станет там, наверху, ты сообщи: мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света... Ну, иди, иди!.. Да больше о себе помни да о Горбачеве, вам жить да жить. А война-то вся к концу... Детей еще народишь...

Лег он, постепенно опускаясь на дрожавших, напряженных руках, влажно заблестело немолодое грубоватое лицо, неожиданно улыбнулся, обнажая щербинку в передних зубах. Никогда не видела Лена его улыбку и никогда не замечала эту щербинку у сержанта.

— Детей еще народишь,— повторил он и, ослабев, тихонько лег на солому.— Иди, не перечь мне, ради бога... Иди!..

И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. В разведке она давно привыкла к тому, что тяжелораненые на нейтральной полосе не попадали в плен. За два года она и себя приучила к этому, но ни Сапрыкин, ни Лягалов, ни Гусев не были разведчиками. И, поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же задержалась около выхода, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать:

— У нас осталось пять снарядов. И пулемет. Я тоже умею стрелять.

И вышла в лунную свежесть ночи.

Горбачев лежал на брезенте правее орудия; расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то, и, не поворачивая головы, позвал шепотом:

— Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось.— Отодвинул диски, освобождая рядом место.— Ложись, не стесняйся...

Она легла рядом на холодный сыроватый брезент, взглянула на лицо Горбачева, в упор освещенное месяцем.

— Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку,— сказала она и смело коснулась его руки, охватившей спусковую скобу.

Он не пошевелился и руку свою со скобы не убрал, только подмигнул утомленно, лицо было неестественно зеленым, щеки втянулись, из широко расстегнутого ворота виднелась сильная ключица. Прошептал полушутливо:

— Мне эти санитарные жалости до феньки! Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал, а сними их. Чуешь — обалдел? В глазах кровавые танки мерещатся. Зрение у тебя хорошее? Слух?

— Подите к черту,— сердито сказала Лена, не принимая полушутливого тона его.

— Ясно. Посмотри-ка сюда, вперед,— зашептал Горбачев,— вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее...

Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивого жесткого плеча Горбачева. И это беспокоило ее, как и огненный зрачок месяца над высотами Карпат, светивший навстречу, в глаза. Поле вокруг огневой сумрачно чернело кривыми силуэтами танков. Тошнотворно пахло горелой броней. Метрах в пятидесяти впереди мутно серебрились редкие кустики, справа застывшими глыбами обрисовывались два сожженных танка. Косые тени густо падали перед ними. А между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света. И что-то еле заметно, осторожно передвигалось там, пересекая этот светлый коридор. Одинокий крик птицы донесся оттуда, прозвучал в осеннем воздухе, смолк, и скоро другой крик прерывисто, громко отозвался с минного поля, позади танков, и тоже умолк. Неясно различимое движение в светлой полосе возникло отчетливее. Двое людей привстали с земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь, несколько метров по скату и растаяли в сумраке котловины.

— Это немцы,— сказала Лена и откинула волосы со щеки.— А эти птичьи крики — сигналы. Я знаю по разведке. Что ж вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? — спросила она насмешливо.— Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход... Разве вы не видите?

Горбачев прислонился переносицей к прикладу пулемета и молчал долго, потом, вмиг очнувшись, сбоку прищурился на тонкий профиль Лены — она чувствовала его взгляд,— сказал:

— Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки

играют! Вот гадюки! Значит, или разведка, или поле разминируют? Так? Готовятся? — И, ожесточаясь разом, подтвердил: — Или разведка! Или саперы!

— И то и другое может быть,— ответила Лена, стараясь говорить спокойно.— Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, поздно будет. Тогда будет поздно!

— Эх и умна ты, девка, ох умна-а! — с восхищенным вздохом произнес Горбачев, посовываясь к пулемету.— Эх, не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть! Рядом с тобой умирать страшно: кто тебя целовать будет — наши или чужие?

— Не беспокойтесь. Никто.

— А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то не пойму...

Сказал это уже серьезно, удобнее раздвинув локти и прижимая к ключице приклад пулемета; он ждал длительную минуту, остро прицеливаясь. Она успела заметить бесшумное перемещение теней в лунном коридоре, и вдруг над ухом разорвалась тишина, эхо гулкой волной ударило по котловине. Возле самого лица забилось, дробясь, пламя пулемета. Во всплесках его мелькали стиснутые зубы Горбачева, капли пота на лбу. И все смолкло так же неожиданно. Горбачев, не спуская черно-золотистых глаз с лунного коридора, крикнул Лене, еще полностью не ощутив после стрельбы тишину:

— Давай в блиндаж! Сейчас начнут! — И добавил непредвиденно злобно: — Не могу я видеть рядом женщину, тебя не могу! Матерюсь я, как зверь! Слышь!

Она не встала, не ушла, улыбнулась ему понимающе-мягко, взглянула из-за косой пряди, упавшей на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила:

— Полный диск? — И отвела прядь со щеки.— Я ведь тоже умею стрелять.

Она выпустила две длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. И больше ничего не сказала, лишь по-прежнему улыбнулась мягко.

Он глянул на нее сбоку, снизу вверх, скользнул черными прищуренными дерзкими глазами по ее нежно округлой шее, подбородку, по ее губам и, пододвигаясь вплотную, сказал уверенным шепотом:

— Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь!

— Глупый,— сказала она снисходительно-ласково.— Тогда я сама поцелую тебя...

Они замолчали. Смотрели оба на залитый месяцем проем между танками. Молчали и немцы. И было непонятно: почему не отвечали они ни одним выстрелом, будто их не было там. Отдаленный крик птицы донесся теперь снизу, с минного поля, никто не ответил ему. Все стихло. Но было в этом затишье что-то необычное, подозрительно-тайное, тревожно хрупкое.

— Слышите? — шепотом спросила Лена.

Едва уловимые тонкие звуки возникали за спиной на той стороне озера, они плыли над водой прозрачным облачком, зыбко стонали в синеве ночи. Они пели, эти звуки, о самом сокровенном, несбыточном. Саксофон звучал целлулоидной вибрацией, перламутровая россыпь аккордеона, женский голос на чужом языке томительно и бесстыдно убеждал кого-то, что мир прекрасен, влюблен, что где-то за тридевять земель есть электрические огни, блеск зеркал, люстр, рестораны, хорошее вино, незабытый запах женских духов, чистое белье, запретные наслаждения: «Потерпи, солдат, пройди сквозь грязь, нечистое белье, кровь, и ты обретешь все это».

— Успокаивают себя,— сказала Лена тихо.— И нас...

— Вроде бы. На психику нажимают,— ответил Горбачев и почесал переносицу о приклад пулемета.— Патефон крутят. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку, на всю железку! — Горбачев шумно вздохнул.— Рестораны любил, музыку, девушек, жизнь любил до невероятия! Да и она любила меня! У нас, у рыбаков, деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали: Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чёсу нагоняли, а сейчас приятно вспомнить! А у меня бригада была — орлы парни, девчатки — красавицы. По две, по три нормы давали. Портреты, слава! Потом война — и земля на опрокид! Поняла юмор этого дела? Знаешь песню?

Стели, мать, постелюшку
Последнюю неделюшку,
А на той неделюшке
Расстелем мы шинелюшки.

Лежа с автоматом, Лена улыбнулась задумчиво. Патефон в немецких окопах стих — исчезло над озером плавающее звуковое облачко, этот далекий раздражающий

отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился — лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина. Только со стороны зарева, вставшего справа за высотой, долетали перекаты боя. Лена сказала полувопросительно:

— Если они нашли проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?

— Нет.

— Тогда не надо беречь патроны...

Она не договорила, плотнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями по тихо-светлой щели меж танков. Ответного огня не было. Она оттолкнула волосы со щеки, возбужденно сказала Горбачеву:

— Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.

Немцы молчали. Вновь поплыло звуковое облачко с той стороны озера, сосредоточенно и исступленно выбивал синкопы барабан, китайскими колокольчиками звенели тарелки...

И тут порывистый треск автоматных очередей неистово распорол, затряс воздух справа от орудия. Потом грубый вскрик команды на немецком языке донесся спереди, и сейчас же заливисто зашили немецкие автоматы — на слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в направлении высоты.

— Немцы рядом! — сказала Лена.— Это они...

Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул:

— Диски неси! Быстрее!..

И, упав на колени подле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в темноте, на спутанные трассы, изо всей силы втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс, они рождались вблизи огневой, резали по тому скату котловины. Это стреляли по кустам немцы.

— А, гады!

И внезапно он понял, что от орудий Новикова прорывались сюда, что немцы прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное злобой лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленное красными выплесками пулемета.

— А, гады! Прошли-таки, прошли! — И, быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавшей над бруствером ствол автомата: — В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!

И почти ударил ее по плечу, пригнув ее, припал к пулемету. А она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством слегка отодвинулась, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила бесконечно длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, но они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала, удерживая дрожь в голосе:

— Нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это помни,— и пошла к блиндажу.

Она остановилась в ходе сообщения, стараясь делать все расчетливо-спокойно, и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала: что-то горькое, острое стоит в горле и трудно дышать. Она вспомнила: «... звоночек с того света»,— и торопливо вошла в нагретый полусумрак блиндажа, ощупью спустилась по земляным ступеням. Запахло теплыми бинтами.

Слабо стонал, всхлипывая, Гусев, неподвижно-плоско лежал Лягалов лицом к стене. Огоньки плошек приседали, змеились. И Сапрыкин сидел на нарах, держа автомат на коленях, с напряжением устремив на Лену взгляд, догадливый, умный; судорога, похожая на улыбку, выказывала щербинку меж зубов. Спросил:

— Началось?

— Все скоро решится,— ответила Лена.— Ложитесь. Сапрыкин, поставьте автомат. Что Лягалов? Ничего не просил?

— Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.

— Бедный,— сказала она шепотом.

Она наклонилась над Лягаловым, посмотрела и быстро выпрямилась, подошла к выходу из блиндажа, затем к столу, где покойно, напоминая о мирном уюте, блестела в свете колеблющихся плошек чайная серебряная ложечка, и снова вернулась к выходу и снова к столу. Глядя сухими темными глазами, присела на ящик.

— Что? — спросил Сапрыкин обеспокоенно.— Спит? Что молчишь, Елена?

А она, закрыв глаза — синие тени легли под ними,— отрицательно покачала головой с выражением страдания.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На ходу повесив горячий автомат на грудь, он стремительно сбежал по земляным ступеням в блиндаж, вытирая рукавом пот с лица. Тонкое шитье автоматов не смолкало наверху. Горела одна плошка, тускло освещала нары, и он окликнул хриплым, сорванным голосом:

— Лена!..

Она сразу не узнала его голоса, не увидела лица — и стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом, она не могла понять, почему он сам здесь.

— Все живы? Здесь раненые? — спросил он громко, и это был голос Новикова.

Он шагнул из тени на свет, к столу, прямо к ней, и тут она близко увидела его лицо: незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота, темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее — ремень автомата; непривычно распахнутая шинель открывала вольно расстегнутый воротник гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это неузнаваемо меняло его, приближало к ней сокровенно, родственно. Она молча глядела на него взглядом, готовым к ужасу.

— Лена! Ну что это вы? — Он взял ее за плечи, легонько встряхнул.— Что с вами?

Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько задрожали брови, и бледное лицо стало некрасиво беспомощным. И, не сдерживая себя, она потянулась к нему со страхом, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее. Она сказала наконец:

— Лягалов умер... Гусева немедленно в госпиталь. Немедленно...

Он, хмурясь, со смущенной неловкостью, неудобством отстранил ее, спросил:

— Только зачем слезы?

— Нет, это не слезы, я не умею плакать! — зло, ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо.

И, вся вытянувшись на цыпочках, отвела мокрые, слипшиеся волосы с его виска, поспешно отошла к столу, выдергивая вату из сумки.

— Ранило, да? Я посмотрю...

— Царапнуло. Сбоку,— ответил он, бегло оглядывая блиндаж.— Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Порохонько и Ремешков уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы — пять минут. Перевязку потом. Сапрыкин! — непривычно тихо позвал он, разглядев его на соломе.— А вы чего же, сержант, как вы? Дойдете — или на носилках? Вытерпите? — И добавил серьезно-грустно: — Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе.

Сапрыкин, вконец ослабленный, лежал, не поднимая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело; посмотрел на Новикова через силу спокойным взглядом, ответил шепотом:

— Что было — не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.

Новиков сказал:

— Я сейчас. Собирайтесь.

— Куда вы? Зачем? — спросила Лена, смачивая вату из пузырька со спиртом.

— К орудию Ладьи. Мне надо посмотреть.

— Там все убиты, товарищ капитан,— остановила его Лена.— Я была утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?

— Мне надо увидеть самому,— ответил Новиков.— Я сам должен...

Он вышел. Было тихо. Автоматная стрельба прекратилась. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым — месяц набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Карпат.

На огневой, переругиваясь наспех, задевая сапогами за станины, громко дыша, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Порохонько и Ремешкова. Горбачев дежурил у пулемета; звучно сплевывая за бруствер, спросил Новикова безразличным тоном:

— Этим же путем прорываться будем? Расползлись

они по всей котловине, как скорпионы, и притихли...

Новиков надел фуражку, которую засунул в карман, когда прорывались к орудиям, ответил:

— Этим же путем. Вы вот что: в крайнем случае прикройте меня огнем. Пойду к четвертому орудию.

Орудие старшего сержанта Ладьи стояло в сорока метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он полусметенный осколками бруствер — ужасающая, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Орудие косо чернело в этой яме, щит пробит, накатник снесен. Затвор открыт, повис, круглое отверстие казенника зияло, как кричащий о помощи рот. Запах немецкого тола еще не выветрился за день и ночь, сгущенно держался здесь, будто в чаше.

Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия, но не нашел того, что было людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно, и он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись всюду, мешаясь с клочками шинелей, обмоток, разбросанными, втиснутыми в землю гильзами, а он все искал среди этих обломков ящиков, среди гильз, отбрасывая их в стороны, искал то, что объяснило бы ему, как погибли его люди.

Он не нашел ни одного целого снаряда даже в нишах, и стало ясно: они расстреляли боезапас. Потом шагнул к сошникам: там что-то холодно переливалось под месяцем, отблескивало в воронке. Он нагнулся, поднял влажный от росы кусок гимнастерки, на нем колючий, исковерканный, без эмали орден Красной Звезды. Он никак не мог вспомнить, чей это был орден, и, не вспомнив, сунул его в карман шинели.

Он знал, что надо уходить, но не было сил уйти отсюда, горькая неудовлетворенность притягивала его к разбитой огневой — он должен был понять, как случилось всё...

Он обошел вокруг бруствера огневой позиции, рассматривая воронки перед орудием, и здесь, в трех шагах, увидел левее позиции, в командирском ровике, нечто круглое, неподвижное, темнеющее у бруствера. Он спрыгнул в мелкий ровик и только теперь близко различил

человека, грудью лежащего на бруствере. Лежал он в одной гимнастерке, сгорбившийся, лицом вниз, уткнув лоб в накрепко сжатые кулаки, словно думал; полуоторванный замасленный погон вертикально торчал, на нем слабо светились вырезанные из консервной банки орудийные стволы, аккуратной полоской белел подворотничок, который, вероятно, был пришит перед боем. Бинокль валялся рядом.

Это был старший сержант Ладья.

Новиков осторожно опустил Ладью в ровик — плечи сержанта сузились, голова откинулась назад, странное выражение торопливости, невысказанного отчаяния застыло на лице его. Все шесть орденов справа и слева на его неширокой груди были залиты чем-то темным. Видимо, в последнюю минуту подавал он последнюю команду, но она не достигла орудия,— может быть, не было уже никого там в живых.

Он погиб в отчаянии, уткнувшись лицом в руки.

И тогда понял Новиков, как погиб Ладья, весь расчет. Очевидно, в тот момент, когда кончились снаряды, три танка зашли слева, расстреливая орудие прямой наводкой. Они и сейчас чернели, эти танки. Но кто подбил, сжег их — сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин,— ни Ладья и никто из расчета рассказать не могли.

С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия Ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных, неприютных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.

— Кто идет? — шепотом окликнули из темноты.

— Свои.

На огневой позиции все было готово к отходу, ждали его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Порохонько. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо, спина его тряслась, он мычал, давился, а Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях.

— Что? — спросил Новиков.

— Не надо его,— ответил негромкий, успокаивающий голос Лены.— Он Лягалова похоронил.

Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывал Гусев на плащ-палатке; Лена что-то бесшумно делала

около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его обнимкой Горбачев; ласково похлопывая Сапрыкина по локтю, он говорил убеждающим тоном:

— Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся, как к буксиру, понял? Ты, папаша, тяжел, а я тяжелее тебя. Все будет в порядке. Понял?

— Эх, графиня польская, полюбовница... не уберег друга,— проговорил сквозь стон Сапрыкин.— Чего ж надрываться, Порохонько? Мертвых не воскресишь...

— Приготовиться! — скомандовал Новиков и спросил: — Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?

— Пять.— Сапрыкин с выдохом подался вперед, силясь встать.— Пять. Два бронебойных. Три осколочных. Сам считал.

— Порохонько и Ремешков, ко мне! — позвал Новиков.— Готовы снаряды? Зарядить! И слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена.— Он впервые назвал ее при солдатах по имени.— Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. Вам достаточно ручного пулемета. За ними Порохонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я... Направление не терять. Прорываться через котловину к кустам — на высоту!

...В звенящей пустоте после пяти выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом перескочил через бруствер — последний взрыв гранаты волной толкнул его сзади. Люди отходили по скату, спускались в котловину, удаляясь в черноту после слепящих выстрелов орудия. Вскоре впереди затемнели, заколыхались согнутые спины Порохонько и Ремешкова. Он увидел их среди сплошной огненной полосы — она неслась вдоль котловины: дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера. Пули летели в двух метрах над землей, не повышаясь, не понижаясь.

— По котловине — ползком! — крикнул Новиков.— Лене и Горбачеву вперед!

Он упал на скате, головой к озеру, ему хорошо был заметен этот клокочущий пулемет. «А,— сообразил он,— ждали, значит? Догадывались?» И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца.

Шагах в трех позади него кто-то вел огонь короткими, экономичными очередями, и он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся на миг: там появлялось и пропадало в оранжевых сполохах близкое лицо Лены, она на коленях, целясь из автомата, стреляла туда по берегу озера, куда стрелял и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже приникла лбом к его шее и тогда неожиданно смутился он,— может быть, оттого, что крепко пахло от него потом и порохом, а вспомнив, даже задохнулся от несдержанной ее нежности, от того, что она сейчас стреляла рядом, эта женщина, которая неспокойно, колюче жила в нем, как он ни сопротивлялся этому. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом:

— Ползком вперед! Вперед, слышите, Лена?

Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась по скату ко дну котловины — светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку в мелькании трасс. «Ее могут убить, могут убить! — пронеслось в сознании Новикова.— Нет, нет, ее — нет!»

Не перебегая, он уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету, в секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, бежали и шли Порохонько и Ремешков, неся на плащ-палатке. Гусева Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины.

Впереди с противоположного ската ответно и отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева и тоже смолк. Синие огоньки разрывных пуль искристо лопались в траве, в том месте, где захлебнулся пулемет Горбачева,— пули резали по скату.

«Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Лена?» — подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз, в котловину. Он пробежал по дну ее, стал взбираться на противоположный скат, в это время химический, желтый свет с шипением взвился над берегом, озарил весь скат до отчетливой выпуклости бугорков, рыхлую пахоту глубоких старых воронок. Над головой широко распалась ракета. Одновременно внизу, на земле, засверкал другой свет — остро резанула по скату рябящая полоса пуль. Снова четко заработал крупнокалиберный пулемет на берегу озера. Вслед за ним звенящей квадратной россыпью распустились тяжелые мины впереди.

При опадающем огне ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева; Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил кулаком по диску пулемета.

— Что у вас? Почему остановились? — крикнул Новиков, подбегая.— Почему остановились?

— Заело, сволочь! — разгоряченно выругался Горбачев и изо всех сил ударил по диску.— Перекос, как на счастье! Сволочь!

— Вперед! К кустам! — скомандовал Новиков.— Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина, вперед! К кустам!

Лепа отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно:

— Он умер.

— Я говорю — вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять,— повторил Новиков и махнул автоматом.— К кустам! Ну?..

Горбачев с матерной руганью далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился к Сапрыкину, говоря с решимостью:

— Дай-ка я его возьму, папашу. Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон губы в крови. Губы кусал...

— Я помогу,— сказала Лена прежним, непротестующим голосом.

И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала — и в новой вспышке ракеты появилось ее лицо, фигура, обтянутая шинелью. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста и не сразу понял, что рядом разорвались мины, только как бы из-за тридевяти земель пробился к нему тихий, удивленный, неузнаваемый голос: «Ой!» — и сквозь дым увидел, как Лепа осторожно села на землю, свесив голову, слабо потирая грудь.

— Лена! Что? — с тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней, и, встав на колени, взял ее за плечи, почему-то чувствуя, что вот оно случилось все-таки, случилось то страшное, невозможное, чего он не хотел, что не должно было случиться, но что случилось.

— Лена! Что? Ну говори!.. Ранило? Куда?..

Он не говорил, а кричал и исступленно, нежно, требовательно встряхивал ее за плечи, впервые с ужасом перед случившимся видел, как моталась ее голова, ее упавшие на лицо волосы.

— Куда? Куда ранило?..

— Кажется... кажется... нога.

Он разобрал ее невнятный шепот, выдавленный белыми при свете ракеты, виновато улыбающимися губами, и с жарким облегчением, окатившим его пòтом,— вмиг гимнастерка прилипла к спине — рывком поднял ее на руки, сказал незнакомым себе, чужим голосом: «Держись за шею»,— и понес ее, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела.

Охватив его шею, она говорила покорно:

— Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть...

В кустах он собрал людей — Порохонько, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе. А город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.

— Дорога на восток уже перерезана. А впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.

— Завтра. Ранение совсем не страшное. Ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?

Он присел возле нар на снарядный ящик, долго и молча искал по карманам папиросы. Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами, земля с мышиным шорохом осыпалась в углах.

— Совсем прекрасно,— сказал Новиков,— кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.

Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся,— она редко видела его таким,— затем полез в планшет, достал остатки старой махорки. И тут же,

сгоняя с усталого лица эту мальчишески досадливую улыбку, озадаченно хмурясь, вынул три плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин.

— Ну вот, окончательно забыл,— пробормотал он.— Для тебя. Алешин передал. Все время помнил — и забыл. Вылетело из головы. Со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.

— Алешин? — полуудивленно спросила она.— Мне? Шоколад?

— Да. Хороший он малый. И, наверно, в тебя влюблен. Это очень похоже,— сказал Новиков спокойно, как умел говорить.

— В меня? — Лена села на нары, тряхнула волосами и засмеялась серебристым, легким смехом.— Он ребенок,— договорила она.— Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи, губную помаду, черт знает что!

Посмотрела на Новикова пристально внимательными глазами, в них теплился смех, потом попросила мягко:

— Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, вон руки дрожат. Устал ведь?

Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему; и он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.

— Послюни здесь. И все будет готово,— попросила она шепотом.

— Ты сама,— сказал Новиков.— Это у тебя лучше получится.

Он чувствовал: что-то нежное и горькое овеивало его, это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее, после того разрыва мины, когда она осторожно села на траву, слабо потирая грудь, и эта горькая незнакомая нежность необоримо подымалась в нем к ее ласковому смеху, к этой маленькой цигарке, умело свернутой для него, к ее светлым коротким волосам,— они, падая, мешали ей, заслоняли щеку.

Все три года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык и

не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. А она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и отстранила ее от губ, проговорила решительно:

— Нет, ты сам.

И когда он взял папиросу, по его руке пробежали ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно-ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко:

— Ты что, Лена?

— Свертываю тебе папиросу... Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило.— И заговорила быстро, глядя, как он прикуривает, по привычке загородив ладонями огонек зажигалки: — Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Зачем же? Опыта у них, осторожности меньше? А вот ты неосторожен, я замечала... Ты действительно не дорожишь жизнью?

— По-настоящему я не жил,— откровенно сказал Новиков.— Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. В настоящем — одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, поэтому так кажется? — И тотчас поправил себя с прежней и неожиданной для нее откровенностью: — А может быть, и по-другому...

— Почему «другому»?

— В сорок первом году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском, согнали на шоссе тысяч десять. Были с нами, мальчишками-студентами, и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость немцев, даже в последнюю минуту рассуждали о великой культуре, о Бахе, о Гете... А немцы подтянули танки на шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах. Аккуратно выстроили нас. И расстреляли, наверно, половину. Остальных — тысяч пять — сбили в колонну, погнали на запад, мимо Смоленска.

— И что?

— В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. Но всю войну до сих пор помню об этой «гуманности».

— Я знаю их,— сказала Лена, ненавидяще сузив глаза.— Я знаю, как и ты! Но ты береги себя... Разве нельзя как-нибудь... беречь себя?

— Но я берегу,— проговорил он и улыбнулся.

За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он; улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на его лице пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим; и проглядывал внезапно тот Новиков, который был незнаком ей, которого она не знала и никогда не узнает,— было в этой короткой улыбке то прошлое, довоенное, школьное, неизвестное ей.

Двойной разрыв около блиндажа тяжело сдвинул, колыхнул нагретый воздух. В углах посыпались комья земли, со звоном упала гильза на столе, дребезжа, скатилась на пол и там погасла, точно ее придушило. Стало очень темно. Шуршала земля. Было слышно, как за высотой рассыпалась длинная дробь пулемета.

— Это танки,— сказал Новиков и встал.

— Новиков! — замирающим шепотом позвала Лена.— Только не зажигай гильзу, скажи... Я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею. И знаю, что ты думал. Слушай... ты, конечно, знаешь адъютанта Спиькова из восемьдесят пятого. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его. И ушла из разведки. А потом обо мне стали распространяться слухи...

Он молчал.

— Ты верил этим слухам? — спросила она не шевелясь.

В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот; часто, с щемящей сладкой болью, оглушавшей его, сдваивало сердце. Он ощупью приблизился, наклонился к ней — она лежала,— руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, ее влажные пальцы скользили по его шее, по погонам, воротнику шинели, дыхание ветерком ожгло щеку Новикова. Она крепко, исступленно обняла его, и по этому дыханию, по ее шепоту он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.

Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам и опять

вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову.

— Мне надо посты проверить, посмотреть,— тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее груди, рук и, не находя в этой полублизости, что сказать ей, договорил с хрипотцой: — Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку... Зажечь лампу?..

— Нет,— ответила она и заплакала...— Не зажигай, не надо. Иди... Я жду...

После плотной тьмы землянки было в ходе сообщения почти светло. Зарево высоко и огромно, километра на три в ширину, лохмато полыхало за высотой над городом; и показалось Новикову, что горели все кварталы его и окраины. Слитные звуки боя гремели оттуда приближеннее, тяжеловеснее,— придвинулись с запада вплотную. Выгибаясь фантастическими рыбами, то и дело появлялись среди огненного моря красные хвосты реактивных мин; нагоняющие один другой разрывы землетрясением отдавались на высоте.

Новиков долго смотрел туда — на яркое мигание сигнальных ракет, на низкие траектории танковых снарядов, улавливал скрежет, отдаленное гудение моторов; и то, что испытывал он сейчас в землянке, обнимая покорные плечи Лены, еще ощутимо, пьяно жило в нем: близость ее тела, влажные пальцы на шее, ее податливые, отдающиеся губы. И не верил, что только что по-мужски впервые целовал женщину там, в землянке, и она целовала его с исступленной решимостью, готовая отдать ему себя.

Он пошел по траншее. Около огневой позиции вполголоса окликнул часового. Никто не отозвался. Перешагнул через бруствер, увидел часового — Ремешкова — и весь расчет: сидели на расстеленном между станинами брезенте, разговаривали шепотом, курили. Спал один Горбачев. Лежал на снарядных ящиках, накрыв голову плащ-палаткой, шумно посапывал, ворочался неспокойно во сне, двигал кирзовыми сапогами, из голенищ забыто торчали автоматные магазины.

Заслышав Новикова, солдаты разом повернули головы, пристально, выжидающе посмотрели на него. Ремешков растерянно сморгнул, крепкие молодые скулы отсвечивали на зареве розовым.

— Почему не спите? — спросил Новиков.— Бой начнется, носом клевать будете?

И сел на бруствер. Порохонько вдавил окурок в землю, мрачно, с перерывами вздохнул. Потом охватил худые колени, уперся в них черным, небритым подбородком, узкий рот передернулся вспоминающей усмешкой.

— Эх, товарищ капитан...

— Танки спать не дают,— пробормотал наводчик Степанов.

Застенчиво, тихонько он поерзал на станине, короткий, толстоватый в теле, расставив ноги, туго обвитые обмотками. И оробело кашлянул, потер, потеребил широкое, как блин, лицо свое, точно очищая его, зачем-то глянул на руку — пальцы дрожали.

— На окраину танки вышли. Лупят по высоте прямой наводкой,— проговорил он виновато.— Видать, сильно жиманули наших в городе? Драпанули там... Может, наш фланг один и стоит?

— Жиманули? — переспросил Новиков.

— Может, этой ночью и в живых нас не будет, товарищ капитан,— робко проговорил Степанов, опять потирая, теребя свои круглые мягкие щеки.

— Еще на вашей свадьбе после войны водку будем пить,— сказал убежденно Новиков.— Невеста есть у вас? Ждет, наверно.

Степанов натужно улыбнулся.

— Да женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышло.

— Терпежу, значит, ниякого,— ядовито вставил Порохонько, по-прежнему вжимаясь подбородком в колени.— Будь ты, малец, в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штанишки да налатать по вопросительному знаку, щоб знал, яка она, алгебра жизни. С жинкой спать — нехитрое дело.— И с обычной независимостью обратился к Новикову: — Правильно чи неправильно, товарищ капитан?

Однако то, что Степанов, парень неповоротливый, добрый, застенчивый, был женат, вызвало в Новикове странное чувство, похожее на удивление и любопытство к нему,— оказывается, этот парень испытал то, что не суждено было испытать самому Новикову.

— Это вы, Степанов, хорошо сделали,— заметил Новиков.— И дети есть?

— Не успели мы,— пробормотал Степанов.

— А это плохо,— сказал Новиков, как будто сам имел семью.— После войны солдата должны ждать дети.

Близкий выстрел выделился из звуков боя, раскатисто ударил по высоте со стороны города, разрыв вырос шагах в тридцати правее орудия. Опадала земля. Осколки, прерывисто фырча, прошли над огневой, увесисто зашлепали у бруствера. И сейчас же за высотой отчетливо простучал пулемет — пули пронеслись левее орудия.

Все смотрели на город.

— Здоровая жаба плюхнула, всамделе танки прорвались к окраинам,— произнес Ремешков, покосившись туда, где упали осколки, но голову не пригнул, только слегка подался книзу.

— Товарищ капитан, видели? Где они, фрицы? — встрепенувшись, с задышкой заговорил Степанов.— Под нос зашли. Не выдержали там, а мы стоим...

Теперь все вопросительно глядели на Новикова. Солдаты вроде бы ждали от него подтверждения, что немцы действительно прорвались к окраинам города, что на пространстве между окраиной и высотой, по-видимому, мало пехоты или вовсе нет ее.

Новиков знал: могло быть то и другое, но что бы ни говорил он сейчас успокоительное, обнадеживающее, лживо-бодрое, это не рассеяло бы тупой тревоги, и понимал, что успокаивать солдат не имело смысла. И Новиков сказал резко:

— Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, что кровь здесь проливали мы даром. Хотите этого? Я — нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Спокойно уйдут, подавят восстание словаков, чтобы воевать потом. Вы поняли? На какой черт тогда положили здесь половину батареи? Да и не только мы!.. Что молчите, Степанов?

— Да что вы, товарищ капитан? Да я же просто...— забормотал тот в замешательстве, по-прежнему щупая, дергая мясистые щеки.

— Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было,— уже дружески сказал Новиков и чуть-чуть

улыбнулся.— Ремешков, что вы это тут рассказывали? Не секрет — послушаю, секрет — уйду.

— Тоже чушь плел про якусь старушку,— насмешливо проговорил Порохонько и отмахнулся.— Лягалов был, тот рассказывал про мирную жизнь. Як писал. А это так — баланда, рвет с нее... Брешет лучше, чем конь бегает!

Ремешков помялся, заморгал белыми ресницами.

— Нет, серьезно, не врал я, честное слово, товарищ капитан,— заговорил он с запинкой, неловко оправдываясь.— Пошла у нас одна старушка в лес за ежевикой. Нет, ты, Порохонько, рукой не махай, это правда, ей-богу. Ну вот, пошла... и упала. А у нас много колодцев высохших в лесу, и змей там всяких по-олно. Ну, в общем, нашли эту старушку соседние колхозники дней через пять. Всю в змеях — мертвая...

И Ремешков таинственно, вприщур последил за полетом реактивных мин среди зарева. Он, похоже было, ждал, что его будут просить рассказать дальше и подробнее, но солдаты молчали.

— Змеи? — скрипучим баритоном спросил старшина Горбачев, завозившись под плащ-палаткой: видимо, проснулся, озябнув на холодке.

Ремешков взглянул в сторону ящиков, подтвердил:

— Ну да, гадюки и всякие там...

— Ни одна бы не ушла! — заспанно рокотнул из-под плащ-палатки Горбачев и, сладко зевнув, крякнул.

— Как это так? Кто? — не понял Ремешков.

— Всех бы передушил! — сказал Горбачев, поворачиваясь на ящиках.— Нашел чем пугать.

— Так же змей много. Ну, уж брось ты!

— А-а! Чепуха гороховая! Всех бы передавил! Чего бросать? Ни одной не осталось бы. А ты бы нет?

— О себе не думал,— ответил Ремешков обиженно.

— Это кто ж тебя так учил? В каких школах?

Горбачев, сонно крякая, нажимом ног немного стянул сапоги, потом, не дождавшись ответа, затих на боку, задышал ровно — так мог спать лишь физически несокрушимый человек.

— Странная история,— сказал Новиков, скрывая улыбку; он помнил, как прорывался вместе с Ремешковым к орудиям Овчинникова, и ему не хотелось обижать

его.— Очень странная, но довольно интересная.— И поднялся, добавил: — Будет связь — вызвать. Я — ко второму орудию.

Справа ударил танк по высоте.

Только наедине с самим собой, шагая к орудию Алешина, он тщательно взвесил всю серьезность создавшегося положения. Было ясно: бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно малого перевеса сил немцев — и судьба города будет решена: его сдадут. И этот перевес был у немцев. Это была та прорвавшаяся из Ривн группировка, что после утреннего боя отошла в лес, сохраняя танки, и прекратила атаки перед высотой. То, что видел Новиков в котловине, когда шли к орудиям Овчинникова, убеждало: немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе вблизи высоты. Но медлительность их была загадочна, до конца непонятна ему. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью через минуту, через час или к утру, и, так или иначе, не верил, что наши сдадут этот город и немцы уйдут за границу, в Чехословакию. В этом была бо́льшая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат.

Второе орудие стояло на правом краю высоты.

— Стой! Кто топает?

— Капитан Новиков.

Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия; лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления:

— Кто это — Алешин? Что за новость? Ты часовой?

— Я, товарищ капитан,— возбужденно ответил Алешин.— Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоятся.

Новиков невольно усмехнулся:

— Сегодня, Витя, сами солдаты решают — спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата, не трепи им нервы.

— Слушаюсь,— охотно ответил Алешин, сдвинул козырек со лба, сбросил плащ-палатку, будто жарко было, заговорил с оживлением: — Что они молчат? Надоело ждать! Скорей бы, товарищ капитан!..

Впереди, над пехотными траншеями, встала ракета. Повисла в тихом синем воздухе, потухая, скатилась в минное поле. Новиков и Алешин присели на станины. Но немецкие и наши пулеметы молчали. В розовом сумраке зарева Новиков видел, что Алешин смотрит на него прямо, не мигая, увеличенными, возбужденными глазами — резких веснушек на лице не было видно. И пахло от него не шинелью, не табаком, а каким-то приятным запахом: то ли шоколадом, то ли мятными галетами, то ли сладковатым мальчишеским потом. Этот запах был мягок, домашен, тепел, никак не вязался он ни с чем, о чем думал Новиков, идя сюда, и лишь до ясной ощутимости вдруг приблизил, напомнил Лену, недавнее тепло ее вздрагивающих пальцев.

Алешин произнес с горячей досадой:

— Без конца ракеты кидают, а надоело ждать! Даю слово, начнется бой, еще пять танков на мой счет запишете! Верите?

— Верю, верю...

Смешанное чувство любви и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не хотел осознать, но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не смог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.

— Вот что, Витя, шоколад я твой передал,— сказал Новиков.— Тебе — спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.

— Да? Мне спасибо? От Лены? — переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко, обрадованно засмеялся.— Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказалась в медсанбат? Молодец!

— Да. Но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью. В зависимости от обстановки.

Наступило короткое молчание. Снова взошла ракета над минным полем, источая бледный свет. Медленно угасла, и тень скользнула по щеке, по напряженным губам Алешина.

— Не отправляйте, товарищ капитан! Если легкое ранение, не отправляйте! Она же сама почти врач, в медицинском институте училась, понимает: перевязку там и... все,— захлебываясь, заговорил Алешин и умо-

ляюще подался к Новикову.— Уедет она — и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом... или как там? Я за вас посылал. Она мне сказала о вас, что может или возненавидеть, или уйти из батареи. Честное слово! Возненавидеть — это ерунда, конечно. Это так, со зла, вы тогда с ней не разговаривали.

— Поставь часового и иди в землянку,— с прежней строгостью сказал Новиков, выпрямляясь, заученным жестом поправляя кобуру.— Часовые пусть меняются через два часа.

— Слушаюсь, все ясно,— опадающим голосом ответил Алешин.

И тоже поспешно встал, поправляя пистолет тем же жестом, как делал это Новиков. И Новиков заметил это, как раньше иногда замечал даже свою интонацию команд в голосе Алешина. И, невольно чувствуя неудобство, подумал, что он, Витя, по-мальчишески влюблен в него, видя в Новикове то внешнее, бросающееся в глаза, что почему-то всегда притягивает к себе людей и что притягивало прежде Новикова в других. Но ведь все это годами вырабатывалось независимо от его воли,— просто он слишком рано стал командовать людьми, рано носить оружие, в то время как Витя Алешин не знал ничего этого.

«Он подражает мне как старшему по годам и опыту, видит во мне идеал офицера,— подумал Новиков почти с нежностью.— Но он не знает, что мы с ним едва ли не одногодки. Не знает, что мы иногда думаем об одном и том же, что у меня никакого опыта, кроме военного, что мне тоже хочется жрать шоколад, стоять часовым, откровенно хвастаться подбитыми танками. Но я не могу, не имею права. Наверно, и моя храбрость кажется ему какой-то храбростью высшего порядка. Эх, Витька, Витька, когда-нибудь после войны, если живы будем, расскажу я тебе все, и ты наверняка удивишься, скажешь: «Не может быть». А оказывается, может быть. Ты просто остался моложе меня, а я ведь за людей отвечаю».

— Спокойной ночи, Витя,— сказал Новиков и против обыкновения сильно пожал руку Алешина.— Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет — посмотрим.

— Черт с ним, товарищ капитан! — ответил Алешин, улыбаясь, и щелкнул пальцами по сдвинутому со лба козырьку.— Оборона хуже всего! Леночке привет!

Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Солдаты не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станинами и слушали приказ. Оранжевые полосы все шире расползались из города, освещали высоту, лица, орудие, снарядные ящики. В тылу рокотал бой, сотрясая брустверы позиции. Разноцветные сигнальные ракеты, подавая неизвестные знаки, появлялись в глубине зарева. А перед фронтом батареи, за минным полем, немцы молчали, и чудилось: высота тесно сжата — сзади заревом, спереди — выжидательной тишиной. Там были немцы, танки, и кто-то думал, рассчитывал, определял время удара, время, о котором не мог знать Новиков.

— Пойду отдохну,— буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову: — Изменится что-нибудь — разбудите.

— Слушаюсь,— вскриком ответил Ремешков и сморгнул, привставая.— Да разве тут заснешь?

Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась вокруг, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца, потом позвал негромко:

— Лена, ты спишь?

— Я жду тебя... Иди сюда. Что там, наверху?

Едва слышный мягкий шепот повеял на него из непроницаемой глубины блиндажа, и он шагнул навстречу ей, как в теплый, качающий его ветерок.

— Окружение, да? Только лампу не зажигай...

— Лена, тебе находиться здесь нельзя,— сказал Новиков.— Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Около высоты. Я сам тебя отнесу. Оставаться здесь нет смысла.

— Ну вот, по голосу чувствую — нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.

— Но мне — наоборот.

— Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я знаю, что мы как на вокзальном положении. Ну и что же? Пусть... Сними шинель, ты ведь устал, так

будет лучше. Когда ты ушел, я подумала: вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.

Она тихо засмеялась счастливым, теплым смехом, который так по-новому чувствовал теперь Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке окружающей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота. И то, что, дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно,— не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, серые, улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей...

Все оставшееся от того, прежнего, детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки — четыре письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение свое, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает далекое, прежнее, детское, это настоящее было важнее, нужнее ему, дороже и взрослее — он испытал это впервые.

— Никогда я... такого не чувствовал, как к тебе,— сказал он глухо и сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.— Ты веришь?.. Никогда!..

Он обнял ее. Она не поднялась, снизу руками обвила его шею, притянула к себе, и с замирающим стуком сердца он ощутил под гимнастеркой округлость ее груди, гибкий шепот дыханием коснулся его подбородка, тонкие пальцы ласкали его волосы на затылке, гладили его шею, скользили по плечам...

— Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь, что завтра меня не будет с тобой!..

— Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь... Что бы ни было — ты мой!..

Она лежала вся теплая, расслабленная, утомленно

обнимая его, целовала легкими прикосновениями. Тихий, обволакивающий шепот будто черными шерстинками стоял перед глазами Новикова, был бесплотен и беззвучен; и в том, как она прижималась к нему, губами проводила по лбу, по волосам его, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что могло еще случиться с ними. Но после того, что впервые почувствовал он,— это короткое, казалось, неповторимое бредовое счастье обладания женщиной,— он не хотел верить в ее слова о госпитале и не верил в то, что завтра или сегодня ночью Лены не будет с ним. Была ошеломляющая его, непонятная, страшная ненужность в ее ранении, в их запоздалом сближении, в этой кажущейся случайности их близости.

В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее тающий шепот и молчал,— он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро:

— Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале.

— Жена...— повторила Лена медленно.— Как это ты хорошо сказал: жена...— Помолчала и договорила со злой горечью: — Но здесь не может быть ни жены, ни мужа.

— Я не хочу ждать. Я с трудом находил людей, которые уезжали из батареи. Даже своих офицеров. Из тех, кто шел из Сталинграда, ни одного не осталось.

Лена не ответила, уткнувшись лицом ему в грудь, нагревая дыханием, вдыхая запах его здорового, молодого тела: так пахло от него тогда в блиндаже с ранеными — терпкий знакомый запах пороха, он был еще весь пропитан им после утреннего боя. Долго лежала не шевелясь, и он понимал по ее молчанию, что она не хотела, не могла сказать ему то, что он бы отверг, не принял. И он сказал отрывистым голосом:

— Ты молчишь? А мне все ясно.

— Все может измениться, пойми меня! — ответила она серьезно и страстно.— Все... Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Ты послушай меня, я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так: когда очень хорошо — начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?

Он не выдержал, обнял ее.

— Ты действительно чепуху говоришь, Лена,— сказал Новиков спокойно.— Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.

Она осторожно гладила его шею, его грудь.

— Обними меня крепче. Очень крепко,— неожиданно попросила она шепотом.— Чтоб больно было.

Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий невнятный крик, топот бегущих ног в траншее заставили Новикова вскочить, в темноте одеться с привычной поспешностью. Затягивая на шинели ремень, услышал он, как после беглых разрывов на высоте заструилась по стенам земля, застучала по плечам дробным, усиливающимся ливнем.

Потом сдавленный голос — не то Ремешкова, не то Степанова — толкнулся в дверь блиндажа:

— Товарищ капитан!.. Немцы!

И, услышав это «немцы», он мгновенно понял все.

Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал тихо:

— Ну вот, началось...

И вышел из блиндажа.

Побледневшее к утру зарево, холодно тлеющий над туманными изгибами Карпат лиловый восток, пронизывающая ранняя свежесть земли, влажные от росы погоны и желтое, круглое, заспанное лицо Степанова, месяц, прозрачной льдинкой тающий среди позеленевшего неба,— ничто детально и точно не было сразу замечено и выделено сознанием Новикова. Все это уже не могло интересовать его, выделиться, остановить внимание, кроме одного, что в ту минуту реально увидел он.

Вся мрачно-теневая, еще темно покрытая остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем,— черные тела танков, тяжело переваливая лесной кювет, уверенно расползались в две стороны: в направлении свинцово поблес-

кивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова, и через минное поле — в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. Все, что мог увидеть он в первое мгновение, удивило его не тем, что запоздало началась атака, а тем, что незнакомое и новое что-то было в атаке немцев, в продвижении их.

Ночь, непрочно тронутая зарей, заливала темнотой низину, услужливо скрывала начавшееся движение танков к высоте. Однако по железному гулу, по длинно вырывавшимся искрам из выхлопных труб, по красным оскалам огня, по скрежету точно гигантски сжатой, а теперь разворачиваемой, упруго вибрирующей от напряжения стальной пружины Новиков отчетливо и безошибочно определил это новое направление на высоту.

Пышно и ярко встала над разными концами леса россыпь двух сигнальных ракет. Как отсвет их, ответно взмыли две высокие ракеты на окраине горящего города, в том месте, откуда ночью с тыла высоты стреляли по орудиям ворвавшиеся в Касно танки, и Новиков, заметив эти сигналы, понял их: «Мы идем на прорыв, соединимся в городе».

Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, траками жадно, хищно пожирая их, уже вползали в район минного поля перед высотой,— и тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины.

— Что стоите, Степанов? К орудию!..— скомандовал Новиков, вдруг увидев, как нервно мял, тискал свои мясистые щеки Степанов.

Стоял он в ходе сообщения, грузно приседая, оглядываясь на кипящую разрывами высоту, крупные губы прыгали, растягивались, он медлил с желанием выдавить из себя какие-то слова, но слов Новиков не разобрал.

— Бегом!

«Что это с ним? Спокойный всегда был парень! Нервы сдали, что ли?» — подумал Новиков досадливо и удивленно, глядя на побежавшего к орудию толстоватого в пояснице Степанова, который при разрывах нырял большой головой, так что уши оттопыривались воротником шинели.

Новиков два раза пригнулся, когда бежал следом за Степановым к орудию. Осколки рваными даже на слух краями резали воздух над бруствером, звенели тонко и

нежно, и этот противоестественно ласкающий звук смерти по-новому, до отвращения ощущал Новиков.

На огневой позиции, неистово торопясь вокруг орудия, солдаты с помятыми, серо-землистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники. Порохонько сидел на земле без шинели, сильно и жестко обрубал топором края канавки в конце станин; нетерпеливо перекашивая злой рот, кричал что-то Ремешкову, вталкивающему брус под сошники. У мигом повернувшего лицо Порохонько острые глаза налиты жгучей радостью мстительного облегчения; взгляд его острием метнулся навстречу Новикову — точно он, Порохонько, ждал своего часа и дождался. Вмиг стало горячо Новикову от этого взгляда, и, рывком сбрасывая, кинув на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул:

— По места-ам! Заряжа-ай!

Заметил у бросившегося к казеннику Ремешкова следы снарядной смазки на небритом подбородке, а в полуоткрытых губах выражение слепой торопливости, скользкий снаряд колыхнулся в руках его, сочно вщелкнулся в казенник, мгновенно закрытый затвором. И снова волчком метнулся Ремешков к спасительному ящику, выхватил оттуда и родственно прижал к груди снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его.

«С этим парнем кончено,— удовлетворенно мелькнуло у Новикова.— Кажется, солдат родился». И не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову.

— Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, Порохонько?.. Товарищ капитан!..— не говорил, а просяще выкрикивал Степанов, боком пятясь к панораме.

Досиня бледный, весь огрузший, потеряв прежнюю деловитую аккуратность, был он, похоже, смят, подавлен, разбит, неприятно отталкивали Новикова его опустошенно светлые дергавшиеся глаза — в них исчезло внимание, появилась бессмысленная рыскающая быстрота. И Новиков понял: это была подавленность страхом, рожденная после нестерпимого ожидания ночью тем чувством самосохранения, что, как болезнь, возникала у некоторых солдат в конце войны.

— Вы что раскисли? — Новиков взял за плечо Степанова, повернул к себе.— Выбросьте блажь из головы!

Забьете чушь в голову — убьет первым же снарядом! К панораме!

И уже с непрекословной силой подтолкнул наводчика к щиту орудия.

Степанов присел к панораме, потянулся судорожно-поспешно к маховикам механизмов, а они, чудилось, ускользали из рук его. Схватил их, широкая ссутуленная спина напружилась, и по этой спине чувствовал Новиков дрожащее в наводчике напряжение, неточные сдвиги прицела.

— Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите? — выплыл из-за спины голос Порохонько и исчез, стертый, раздробленный вздыбившими высоту позади орудия танковыми разрывами.

Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, левый край дуги накатывался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова — в направлении котловины, по которой ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными и где встретил немцев. Орудия Овчинникова не задерживали теперь танки на нейтральной полосе. Центр дуги, приближаясь, вытягивался к высоте, а правый край дуги пересекал прямую линию шоссе,— было видно, как танки угрюмо-черными тенями переползали через дорогу, двигались фланговым обходом на город.

Перемигиваясь, вспыхивали и затухали ракеты на разных концах дуги.

Низипа наливалась катящимся гулом, но мутно различимые квадраты танков еще не вели массированный огонь — стреляли по флангам, как бы еще выжидательно нащупывая цели, и это тоже мнилось необычным Новикову.

— К телефону Алешина! Быстро! — приказал он телефонисту и спрыгнул в ровик,— белое лицо связиста засновало у аппарата.

«Если бы целы были орудия Овчинникова, если бы...— подумал Новиков, в эту минуту ничего не прощая своему командиру взвода.— У озера свободный, не прикрытый ничем проход...»

— Алешин, ты? — Он подул в трубку.— Алешин!..

Ответа не расслышал — тотчас ворвался в ровик гром артиллерийской стрельбы: выстрелы — разрывы, разрывы — выстрелы. На миг поднял голову: справа от высоты взлетало и падало рваное зарево. С неуловимой частотой

сплетались там багровые выплески — открыли огонь по танкам соседние батареи. Рядом бегло гремели врытые в землю тяжелые самоходки. У Новикова не было связи с соседями, он не знал об их потерях в утреннем бою, и неожиданная радость оттого, что соседние орудия жили, зажглась в нем пьянящим азартом. Он улыбнулся жаркой улыбкой, испугавшей связиста, крикнул в трубку, прикрывая ее ладонью:

— Видишь, Алешин, справа огонь? Соседи живут! По правым танкам не стреляй! Огонь по левым. Не подпускай к озеру! Снаряды не жалей! Всё!

И, бросив трубку, повернулся к орудиям, высоким, звонким голосом подал команду:

— Внимание!.. Наводить по левым танкам... по головному!

Ракеты уже не сигналили больше, танки подтянулись из леса, атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги, и Новиков видел это без бинокля.

Левая оконечность дуги резко закруглилась — три крайних танка, набирая скорость, с вибрирующим воем моторов вырвались вперед, катились по возвышенности, где низкими буграми лиловели бывшие позиции Овчинникова. Передний танк взрыл широкими гусеницами бруствер, смело вполз на огневую, железно взревев мотором, развернулся там, давя остатки орудия, и, когда кроваво мелькнул его бок, тронутый зарей, Новиков успел выкрикнуть первую команду:

— По левому... огонь!

Но как только, взорвав воздух на высоте, ударило орудие и вслед, почти слитно, ударило орудие Алешина, что-то высокое и огненное взвилось перед глазами Новикова, земля упала под ногами, острой болью кольнуло в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе, душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Не подымая фуражки (едва заметил: как будто иззябшими руками потянулся к ней на дне окопа связист с мертвенно-стылым лицом), Новиков тряхнул заболевшей головой и встал. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах, частые рывки огня скачуще сверкали в глаза Новикову над приближающейся танковой дугой,— непрерывно били танки.

А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сровнял ее. Смутные очертания орудия проступали и исчезали, тонули во мгле. И не

увидел Новиков ни фигур снующих солдат, ни Степанова у прицела — ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.

— Степанов! — позвал Новиков так нетерпеливо и громко, что болью отдалось в висках, но ответа не было.

Когда подбежал он к орудию, то увидел расширенные, мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом, одной рукой объятым на груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, ссутулившегося на коленях подле щита, а его тормошил, дергал за хлястик, кричал что-то яростно весь закопченный дымом Порохонько.

— Почему прекратили огонь? — крикнул Новиков.— Степанов!..

Но никто не ответил. Он наклонился, и кинулось в глаза: Степанов стоял на коленях, ткнувшись лбом в щит орудия, съеженным плечом упираясь в казенник. Пилотка держалась на его большой голове, прижатая ко лбу щитом, складка шеи с еще не исчезнувшим загаром, как у живого, лежала на воротнике, но то липкое, густое на вид, что выползало из-под разорванной пилотки, объяснило Новикову это странное несоответствие позы с тем, что случилось. Воронки зияли слева и позади Степанова — следы снарядов на бруствере, убивших его.

— Отнесите в нишу, похороним потом,— сказал Новиков, почти не слыша своего голоса, и, задохнувшись, вспомнил, что как-то не так говорил он со Степановым в его последние часы. Но не было времени, душевных сил возобновить в памяти, где был прав и виноват он: Новиков чувствовал темное кружение в голове, позывало на тошноту,— видимо, контузило его в ровике.

— Отнесите в нишу, похороним потом,— повторил Новиков глухо и сейчас же поднял голос до командных, отрезвляющих нот: — По места-ам!..

И сразу ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он стал на колени к прицелу, припал к резиновой наглазнице панорамы — резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.

Он увидел в панораме не целую, а разжатую и разбившуюся на две части дугу атаки: тяжелые танки с ходу вели огонь, сползались с центра к левому и правому краям поля, скапливались черными косяками. Три

первых танка миновали позицию Овчинникова, неуклюже и круто ныряя, катились в котловину.

— А-а,— только и произнес Новиков, машинально тиснув ладонью ручной спуск. Его била внутренняя дрожь нетерпения, азарта и злобы, и то, что делали его руки, глаза, будто бы отделилось от его сознания, а оно говорило ему: «Не торопись, не торопись, ты никогда не торопился!» И все мигом исчезло: на перекрестие прицела в упор надвинулся широкий, подымающийся из котловины покатый лоб танка, качнулся, дрогнул его длинный ствол, слепя, заслонил огнем прицел и выпал из перекрестия — с громом рвануло землю слева от Новикова. И в то же мгновение, чувствуя солоноватый привкус крови на закушенной губе, Новиков поймал его вновь, выстрелил и уже не смотрел, куда впилась трасса. Лишь синяя точка спичкой чиркнула по выпуклой груди танка.

— Товарищ капитан! Быстрей! Быстрей!.. «Мессера» идут! Товарищ капитан, миленький!.. Быстрей!..

«Чей это голос, Ремешкова? Где он кричит? Спокойно, Ремешков! Ни одного звука. Я не тороплюсь потому, что так надо, так вернее...»

Сколько он сделал выстрелов? Шесть? Десять? Двадцать?.. Но дуга все распрямлялась — где следы выстрелов? Танки шли... Снова крик разбух за спиной его, накаленный опасностью, а может быть, бешеной радостью, животный крик, он никогда не слышал такой дикий, такой неестественный голос Ремешкова:

— Тринадцать штук горят! Горят! Нет, четырнадцать! Алешин три смазал! Мы — шесть!..— И крик этот точно скосило: — Пикируют! Сюда!.. Вот они! Товарищ капитан!..

Тонкий, режущий свист возник в небе; в грохоте, в треске разрывов он начал увеличиваться, расти над самой головой — наклонно к земле скользили в дыму узкие, как бритвенные лезвия, вытянутые тела «мессершмиттов». Они пикировали прямо на высоту, выбрасывая колючее пламя пулеметных очередей. Взрывы бомб ударили в землю, вскинулось косматое и высокое там, где были пехотные траншеи, толчки передались к высоте, сдвинули орудие. С пронзительным звоном истребители вынырнули из дыма, выходя из пике, стремительным полукругом взмыли ввысь, серебристо засверкали в утреннем небе, а оттуда косо стали падать на высоту, вы-

тянув черные жала пулеметов. Отчетливо и низко мелькнули кресты на узких плоскостях, прямо в глаза забились пулеметные вспышки. По лицу Новикова пронесся металлический ветер, фонтанчики очередей зацокали по брустверам, зазвенела пробитая пустая гильза. Знойным ветром толкнуло в спину, в затылок — разрывы бомб вздыбились вокруг орудия. Новиков, ощутив эти жаркие удары волн в спину, не почувствовал большой опасности, не лег, а лишь инстинктивно прикрыл рукой головку панорамы; как во сне, просочился захлебывающийся голос Ремешкова:

— Товарищ капитан, ложитесь... ложитесь, разве не видите? Осатанели они! По головам ходят!.. Убьют вас... Пропадем без вас, товарищ капитан!..

Но слова эти не задели Новикова, прошли стороной дуновением ветра, неточным ударом бомбовой волны. Он верил в прочность земли и не верил в прямое попадание. Выжидая, смотрел, как осиные тела истребителей пикировали в дыму над высотой на орудия.

А непрерывный писк, едва различимый сквозь окруживший огневую грохот, назойливо, требовательно звучал за спиной: кажется, зуммерил телефон.

— Аппарат! — крикнул Новиков, ничего не видя в дыму, и тут же к нему пробился прыгающий от волнения голос связиста:

— Товарищ капитан! Алешин у телефона! Докладывает! Справа танки через минное поле прошли!

— Где прошли? Где?

Новиков, опираясь на казенник, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди высоты, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. Несколько человек, отстреливаясь из автоматов, зигзагами бежали оттуда по полю к высоте перед ползущими танками, падали, вскакивали, тонули в полосах мглы.

В эту секунду понял Новиков, что боевое охранение смято.

— Связист! Ясно видит Алешин эти танки? Ясно видит? Передайте мой приказ Алешину!..— скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клекот пулеметов.— Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда! Туда! Сначала несколько фугасных!

И, скомандовав, с ощущением нависшей беды посмотрел туда, где разбросанно бежали к чехословацким

траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок, земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули назад, к траншеям боевого охранения.

— Товарищ капитан! Да что вы! Ложитесь! — снова раздались дикие, умоляющие вскрики Ремешкова.— Пикируют!

Новикова резко дернули за рукав гимнастерки: Ремешков, засыпанный землей, не в силах передохнуть, сидел против, вскинув серое лицо, в застывших от надвигающейся опасности глазах светилась, вспыхивала зеркальная точка. А эта точка падала с неба. Металлический рев оглушил Новикова, пули звеняще прошлись по огневой, запылили, зыбко задвигались брустверы. Низкая тень пронеслась над ними — и хвост истребителя вертикально взмыл за высотой, врезаясь в небо.

— Не ранило, товарищ капитан? Не ранило? — говорил лихорадочно и сипло Ремешков, размазывая пот по лицу.— Что же вы так? Что же вы так?.. Товарищ капитан!..

Совсем не слыша его, Новиков стоял у щита, отчетливо видел, как впереди, мимо занявшихся дымом машин, медленно вползали в котловину танки — выходили они к берегу озера, и самолеты прикрывали их атаку. Странно, напряженно стискивались губы Новикова, и Ремешков, который не видел эти танки, не мог знать, что чувствовал он, Новиков; судорожно кашляя, вытягивал молодое обескровленное лицо к нему.

— Худо вам, товарищ капитан? Ранило, а?

— К орудию! — сквозь зубы подал команду Новиков.— Заряжай, Ремешков! Где Порохонько? Заряжай! — И, садясь к прицелу, обернулся: — Порохонько, жив?

Порохонько лежал на спине меж станин, со злым любопытством следил за разворотом истребителей и смеялся беззвучно, захлебываясь этим жутким, душащим его смехом.

— Огонь! — скомандовал Новиков.

Сгущенный дым, закрывая котловину, как и вчера утром, кипел, слоился перед высотой. И теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера.

Пронзительный свист истребителей носился над высотой, пулеметы пороли воздух, а он, нажимая спуск,

чувствовал: горло жгло сухой, горячей краской орудия — раскаленный ствол покрылся искристой синевой,— но ничего как будто уже не существовало, кроме того, что, обходя высоту, танки шли по берегу озера, никакая мысль не была логичной, кроме одной: они прорывались в город.

— Уходят! — возник крик за спиной, и он смутно ощутил: случилось что-то в воздухе.

Сверкающий на солнце клубок вьющихся в выси самолетов уносился за озеро, к вершинам Карпат, трассы перекрестились от самолета к самолету, наискось — к земле и в зенит утреннего неба, клубок мчался на запад все ниже и ниже. И тогда по этому сверканию, по извилистому ручью дыма, вытекавшего из тонкого тела «мессера», стремительно уходившего от другого истребителя, догадался Новиков, что там воздушный бой, как всегда непонятный с земли.

— Заряжай!

И он опять нащупывал прицелом шевелящуюся массу танков на краю котловины, выстрелил два раза подряд, обессиленно и машинально вытер с глаз разъедающий пот, и в эту минуту низкий гул моторов повис над землей, давя на голову, раздражающе заполнил уши. Но этот новый гул был другой, бомбардировочный, тяжелый, ровно и туго катящийся по небу. И прежде чем Новиков, готовый выругаться, увидел самолеты, крик Ремешкова захлестнул все:

— ИЛы! Товарищ капитан! Наши штурмовички! Раз, два... Гляньте-ка! Вон выровнялись! Миленькие!

Ремешков, насквозь промокший от пота, бегал между станинами по кучам пустых гильз, забыто обнимая на груди снаряд, смеялся радостным, всхлипывающим смехом, задрав голову, пот тек по крепкой шее его. Порохонько, без пилотки, со спутанными волосами, глядел в небо, прищурясь, шарил вокруг по земле, ища что-то, запекшийся в гари рот усмехался ядовито, недоверчиво.

Большая партия ИЛов низко шла на запад, выстраивалась в боевой порядок.

И слева из пехотных траншей, предупреждающе сигналя, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг, и сразу бой неестественно затих, замер на земле.

«Это передышка, вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет! — подумал Новиков, видя, как

первый штурмовик клюнул в воздухе, стал пикировать над немецкими танками.— Лена в десяти шагах отсюда... Я успею снести ее в тихое место, в особняк...»

— Останьтесь за меня,— хрипло крикнул он Порохонько.— Я сейчас вернусь.

Он пошел к блиндажу по осколкам, шагал, пошатываясь, как в знойном тумане. Он совсем не замечал, что прежней огневой позиции, хода сообщения, ровиков почти не было,— все чернело, изрытое танковыми снарядами, зияло уродливыми оспинами воронок, глубоко взрыхленной, вывернутой землей, брустверы наполовину стесаны, словно бы огромные лопаты, железные метлы сровняли их.

Он распахнул дверь в блиндаж.

Он вошел, весь разгоряченный, потный, и на пороге не мог сказать ни слова — удушье сжимало его горло.

Лена сидела на нарах одетая, даже ремень узко стягивал ее в поясе, свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать. Но сидела сдержанная, тихая, наклонившись слегка; светлые волосы заслоняли щеку.

— Лена... Я пришел за тобой,— глухо выговорил он и шагнул к ней.— Лена, тебе пора...

Не вздрогнула она, а подняла, задержала взгляд на его лице, долго снизу вверх разглядывала, улыбаясь, лаская теплой глубиной глаз, нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы, сказала шепотом:

— Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат — куда лучше и быстрей. Подожди. Ты потный весь. Жарко было?

Достала из санитарной сумки кусочек ваты и, как делала это раненым, промокнула ему лоб, подбородок, шею, чуть касаясь, вытерла то место выше правой брови, где вчера играючи царапнула пуля. А он, чувствуя эти легкие, родственные прикосновения, ее взгляд, близость ее дыхания, ничего не мог ответить, боялся — слова остановятся, застрянут в горле, он знал: голос его был сдавлен, хрипл, неузнаваемо чужой после команд, и было странно, чудовищно странно для самого себя — он не смог бы объяснить этим голосом все, что сейчас испытывал к ней.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхо̀м послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груде смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты.

Они оба молчали; сюда доносились нарастающие звуки бомбежки, накаленные очереди пулеметов за высотой; штурмовики, боком выворачивая на солнце плоскости, повторно заходили на круг, поочередно снижались над парком, наполняя его, сотрясая гулом усыпанные листьями аллеи.

Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия, где оставались солдаты; мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его за шею. Он тогда почувствовал удивленно-понимающее внимание во фразе Ремешкова: «Выздоравливайте, сестренка, мы вас очень уважали»,— и в словах Порохонько, добавленных без усмешки: «Живы будем — побачимось». Никто не имел права осудить его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь правду. И это была доброта, та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Порохонько, к людям, верившим и подчинявшимся ему. Он часто не признавал ничего нарочито ласкового: был слишком молод и слишком много видел тяжкого на войне, человеческих страданий, отпущенных судьбой его поколению. Он никогда не задумывался, любили ли его солдаты и за что, и порой был недобр к ним и недобр к себе: все, что могло быть прекрасным в мирной человеческой жизни — чистая доброта, любовь, нежность — он оставлял на после войны, на будущее, которое должно было быть,— и то, что сейчас он не в силах был найти другого выхода, не мог не отправить Лену в медсанбат, не потерять ее, как будто случайно найденную, казалось ему жестокостью, которой не было оправдания. Он знал, что у нее нетяжелое ранение, но понимал также, что нельзя было задерживать Лену даже на несколько часов вблизи орудий,— неизвестно было, чем кончится этот бой.

— Я найду тебя,— твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит.— Я найду тебя во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. В госпитале, в тылу, но я тебя

найду. Ты веришь? Ты должна верить, что мы прощаемся с тобой на время.

— Нет,— сказала Лена и улыбнулась грустно, потянулась к нему, волосами скользнула по его щеке.— Нет... ты меня не найдешь, Дима.

— Я найду тебя... И я люблю тебя. Я поздно это понял...

Она с осторожностью, взглядом запоминая, погладила его брови, его лоб и, вдруг клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри, но тут же, сдерживая рыдания, сотрясавшие ее плечи, сказала тихо:

— У тебя еще много будет женщин...

— Но ты уже есть! Какие женщины, когда есть ты? — заговорил он, сильно обнимая ее, прощально и горько целуя ее слабо отвечающий рот.— Мне пора. Ты слышишь? — И легонько потряс ее за плечи.— Прощай! Мне пора. Ты слышишь? Я тебя найду... Я тебя найду...

Он встал. Она смотрела на него как бы сквозными невидящими глазами, безмолвно кусая губы. И он не сумел уйти сразу. Ее шея, окаймленная воротом гимнастерки, ее волосы, ее погоны на узких плечах, край щеки — все было неспокойно-розовым в свете сочившейся в парк зари, и все, что было рядом и позади ее беспомощно сжатой фигуры, стыло в полном и тревожном наливе свежего утра осени. И показалось на миг: никогда на этом кусочке земли не было войны, а была осень, утро и розовый холодный воздух без выстрелов, без гудения танков за высотой.

А в мокрых коридорах аллей столетних лип косо лежали красные полосы, отсвечивали влажные кучи листьев, золотом горели уцелевшие стекла в особняке, а над безмятежной утренней гладью бассейна поднимался зыбкий пар. И здесь были покой, осенняя сырость, запах обмытых росой листьев, студеная и чистая крепость зари — все говорило о мире вечном, естественном.

— Лена, я пойду, Лена, я должен...— глухо повторял Новиков, уже зная, что надо уходить немедленно, но не веря, что она останется одна тут, в этом страшно отделившемся от него мире.

— Сейчас, — окрепшим голосом проговорила Лена.— Вот сейчас. У тебя рукав порванный... Сейчас... Что это, осколком, пулей? Не видел? Дай я зашью. Сними... Это одна минута. Я быстро...— И вдруг испуганно расшири-

ла глаза, посмотрела на высоту.— Это за тобой. За тобой... Я зашью, Дима, а ездовой тебе передаст. Я зашью... Дима. Я зашью...

Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой пилоткой, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик; дым оползал по скату, застилая орудия.

— Это за мной!

Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом с собой. Ясно помнил одно: не в силах был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее — этого невозможно было сделать в последнюю минуту.

Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся и побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщясь, стараясь проглотить горячий комок в горле — и не мог.

Тот человек, кричавший Новикову с высоты, был младший лейтенант Алешин. Когда Новиков, задыхаясь, взбежал по скату, то вроде бы не узнал его: возбужденный, потный, с мелово-прозрачным лицом, на котором нестерпимой синью светились глаза, в грязной, прожженной на полах шинели, Алешин, бросившись навстречу, закричал надорванным тенором:

— Прицел разбило! Товарищ капитан! У меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались... Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела? Товарищ капитан!.. Как назло, разбило... Ну что делать?.. И прицелы Овчинникова раскокошило!

И, перекосив по-мальчишески лицо, скрипнув зубами, едва не зарыдал в бессилии и резко мазнул рукавом шинели по глазам, закачался на тонких ногах, обтянутых хромовыми сапожками.

— Через ствол, Витя! Наводи через ствол! Без прицела! К орудию! Ну, Витенька, давай! — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо.— Давай, Витя, милый!..

Автоматные очереди хлестали по высоте, сплетаясь в сеть.

Он прыжком перескочил навал бруствера, в дыму мелькнула перед глазами прочно стоящая на коленях между станинами длинная фигура Порохонько со снарядом в руках, мелькнул страшный оскал зубов Ремешкова, лежащего на бруствере за ручным пулеметом. Стреляя,

он крутил головой, тряслась спина, колыхалась пилотка, сползшая на шею, и не то плакал он в голос от злобы, не то смеялся:

— Не-ет!.. Не-ет!..

Все горело там, перед высотой, и густо чадило сплошной мутью, располосованной трассами снарядов. Впереди группа тяжелых танков сгрудилась на краю котловины; застигнутые бомбежкой,— видимо, уже подожженные,— они столкнулись вслепую, сцепившись гусеницами, и так пылали. Дуга распалась, ее не было, были смерчи пожаров, скопища мазутного дыма, лишь справа несколько танков шли толчками, обтекая высоту; слева же в котловину скатывались тупорылые пятнистые бронетранспортеры, фигурки немцев в рост бежали к кустам, не останавливаясь, не падая, расплескивая струи автоматных очередей. Нет, они хотели жить, эти немцы, что сидели и стреляли в бронетранспортерах и танках, и те, что бежали по полю, хотели убить тех, кто сдерживал их, хотели любой ценой прорваться в город, перешагнуть, миновать невозможное, что не должно было случиться. И Новиков почему-то подумал, что это невозможное было он, Новиков, и его люди на высоте.

— Не-ет! Не-ет! Не-ет!

По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым, учащенным ударам орудий на высоте, по сплошной стене разрывов, выраставших вокруг позиций Новикова, по наискось в небе летящим пулям Лена точно ощутила, что бой вовсе не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, прочность земли.

«Дима, Дима, Дима... Его не убьют... Я знаю. Он умеет стрелять, как не умеют другие... Что же это? Опять?»

Иголка прыгала в ее пальцах, она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно пристально смотрела туда, на высоту, жадно искала орудие, тонувшее во мгле, в фонтанах земли: что-то белое то появлялось, то пропадало в дыму. Или это чудилось ей?

«Это он возле орудия. Он... Я вижу его... Скорей, скорей, пусть скорей конец боя!.. Только скорее конец боя. Это же должно кончиться!.. Должно когда-нибудь кончиться... Скорее, скорее!»

Черное, огромное, железное с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота словно бы расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, бешено кипя клубами, сдвигаясь, стекал по скатам, опадал в котловину, разнесенный утренним ветром, и, дрожа в мгновенном ознобе, стиснувшем дыхание, неясно увидела она что-то белое, ничком лежащее на бруствере.

«Что это? Что это?» — удивленно задержалось в сознании Лены, и в ту минуту она еще не могла определить все, почувствовать, она не только не могла осознать, что это он мог быть ранен или убит, а, наоборот, подумала, что это был не он.

Возникли новые звуки, скрипящие, воющие, нарастая, распространились слева, со стороны города, над вершинами лип, оглушая ревом, сверкнули раскаленные хвосты, широкими молниями сотрясли, впились в высоту, закрутились раскаленные змеи на всем протяжении ее, и опять дым загородил небо и высоту и то белое на бруствере.

«Зачем они это? Наши «катюши»? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Что они делают? Стреляют по нему! Сюда не прошли танки. Он жив!.. А как же я? Одна? Нет, он не погиб... А как же я?»

Дым снова разодрало ветром, а что-то белое, неподвижное по-прежнему ничком лежало на бруствере. И тогда, переводя взгляд на гимнастерку, пусто лежавшую у ее ног, разглаженную ее пальцами в том месте, где был разорван, не зашит рукав, она вдруг поняла все. И, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, зарыдала жаркими, обжигающими слезами, вся вздрагивая, беззвучно крича, умоляя о защите и справедливости.

Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень, с нежарким блеском солнца на каменных мостовых, потертых гусеницами танков, усыпанных битым стеклом, за железными оградами тихо дымили, догорали дома, чернели обугленные сады, летели над ними, таяли пронизанные солнцем неосенние облака. И то, что Гулько сидел на КП в шлепанцах и без гимнастерки, и то, что спали у телефонов

связисты,— подчеркнуто говорило о жизни будничной, а младшему лейтенанту Алешину хотелось плакать.

Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько, худой, осунувшийся, бледный — резко проступили веснушки его,— и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова. И вытирал рукавом щеки. И странно было видеть его чистый подворотничок, детские веснушки на ошеломленном недетском лице и видеть его слезы и этот мальчишеский жест, которым он вытирал их.

— Капитан Новиков?.. Тот мальчик? Не верю! Не верю! Не может быть! — почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными, воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух, майор сглотнул, потер горло, пробормотал хрипло: — Идите и принимайте батарею. Идите... Через полчаса мы снимемся. Наши танки уже в Марице. Слышите — в Марице, черт возьми!..

Младший лейтенант Алешин вышел и двинулся по городу к медсанбату.

Была властная тишина в городе. И «катюши» в чехлах под уцелевшими домами, и санитарные машины, замаскированные под кленами улиц, спокойно залитых солнцем, и кухня, дымившая в соседнем дворе, и голоса солдат, столпившихся вокруг повара,— все настойчиво говорило о жизни успокоенной, будничной. Но младшему лейтенанту Алешину никогда не было так одиноко, так пусто в этом огромном, чудовищно тихом мире.

В медсанбат Лену привезли ездовые. Войдя во двор, а потом в сад, уставленный санитарными повозками, носилками, Алешин не сразу увидел ее. Она лежала на носилках, тоненькая, прозрачная, как осенний луч, прижавшись щекой к подмятой под голову шинели, ровные брови, страдальчески сдвинутые, оттеняли белизну лба, иногда они вздрагивали, словно по лицу проходили отблески того, что было в ней. Она смутно услышала голос Алешина — очень близким, знакомым повеяло на нее,— открыла глаза, но не ответила ни голосом, ни взглядом, только прощально пошевелила рукой — одними пальцами.

— Леночка... прощай... Леночка, мы тебя не забудем... Леночка, прощай...

Она не слышала, как ушел он, лежала тихо, в тяжелом забытьи, будто погружаясь в теплую воду, с единственным желанием, чтобы никто не прикасался к ней.

Слабо доносились звуки из внешнего мира: шаги в саду, шорох шинелей, мимо тенями проходили санитары, перешагивая через нее; шелестела трава; сухие листья, слетая с яблонь, невесомо падали на грудь ей, путались в волосах, и кто-то рядом протяжно стонал, просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом.

«Кто это стонет? Неужели он не может сдерживать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль?» — думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали, и, кусая губы, вся сжимаясь, она старалась найти в своей памяти то, что было до его смерти,— его голос, его привычку поправлять пистолет, его взгляд, его улыбку.

Раз открыла глаза. Голые ветви яблонь уходили в низкое, кипевшее облаками небо, там выгнутыми фиолетовыми полосами сиял непонятный мягкий свет, плыл, переливаясь, под холодным осенним солнцем. «Откуда этот свет? И зачем он? — думала она.— Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет... Зачем все это?..»

— Ишь ты, солнце разыгралось. Красота какая! Экая тишина в мире — не поверишь! — донесся до нее крутой прокуренный баритон, и это земное жестоким рывком вытолкнуло ее из полузабытья, она краем сознания поняла, о чем так красиво говорил этот неизвестный, почему-то окрашенный в серый цвет голос, и, повернув голову, почти с ненавистью увидела на крыльце дома седого человека в белом халате, с темными пятнами крови на рукавах. Прислонясь спиной к косяку двери, он медленно, утомленно курил, глядел в небо над садом.

Лена отвернулась, как бы защищаясь, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышала стоны. Молоденький белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди, капельки пота выступили над верхней губой, покрытой светлым пушком, чех шептал, торопясь, какие-то непонятные отрывистые слова, и она с трудом разобрала:

— Вóду... вóду...

Она нащупала фляжку, приподнялась, долго, обессиленно отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами, а когда, сдерживая рыдания, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, всхлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала:

— Боль пройдет, боль пройдет...

И легла на левую сторону груди, где была тоска, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.

1959

ГОРЯЧИЙ СНЕГ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кузнецову не спалось. Все сильнее стучало, гремело по крыше вагона, вьюжно ударяли пахлесты ветра, все плотнее забивало снегом едва угадываемое оконце над нарами.

Паровоз с диким, раздирающим метель ревом гнал эшелон в ночных полях, в белой, несущейся со всех сторон мути, и в гремучей темноте вагона, сквозь мерзлый визг колес, сквозь тревожные всхлипы, бормотание во сне солдат был слышен этот непрерывно предупреждающий кого-то рев паровоза, и чудилось Кузнецову, что там, впереди, за метелью, уже мутно проступало зарево горящего города.

После стоянки в Саратове всем стало ясно, что дивизию срочно перебрасывают под Сталинград, а не на Западный фронт, как предполагалось вначале; и теперь Кузнецов знал, что ехать оставалось несколько часов. И, натягивая на щеку жесткий, неприятно влажный воротник шинели, он никак не мог согреться, набрать тепло, чтобы уснуть: пронзительно дуло в невидимые щели заметенного оконца, ледяные сквозняки гуляли по нарам.

«Значит, я долго не увижу мать,— съеживаясь от холода, подумал Кузнецов,— нас провезли мимо...»

То, что было прошлой жизнью,— летние месяцы в училище в жарком, пыльном Актюбинске, с раскаленными ветрами из степи, с задыхающимися в закатной тишине криками ишаков па окраинах, такими ежевечерне точными по времени, что командиры взводов на такти-

ческих занятиях, изнывая от жажды, не без облегчения сверяли по ним часы, марши в одуряющем зное, пропотевшие и выжженные на солнце добела гимнастерки, скрип песка на зубах; воскресное патрулирование города, в городском саду, где по вечерам мирно играл на танцплощадке военный духовой оркестр; затем выпуск в училище, погрузка по тревоге осенней ночью в вагоны, угрюмый, в диких снегах лес, сугробы, землянки формировочного лагеря под Тамбовом, потом опять по тревоге на морозно розовеющем декабрьском рассвете спешная погрузка в эшелон и, наконец, отъезд — вся эта зыбкая, временная, кем-то управляемая жизнь потускнела сейчас, оставалась далеко позади, в прошлом. И не было надежды увидеть мать, а он совсем недавно почти не сомневался, что их повезут на запад через Москву.

«Я напишу ей,— с внезапно обострившимся чувством одиночества подумал Кузнецов,— и все объясню. Ведь мы не виделись девять месяцев...»

А весь вагон спал под скрежет, визг, под чугунный гул разбежавшихся колес, стены туго качались, верхние нары мотало бешеной скоростью эшелона, и Кузнецов, вздрагивая, окончательно прозябнув на сквозняках возле оконца, отогнул воротник, с завистью посмотрел на спящего рядом командира второго взвода лейтенанта Давлатяна — в темноте нар лица его не было видно.

«Нет, здесь, возле окна, я не усну, замерзну до передовой»,— с досадой на себя подумал Кузнецов и задвигался, пошевелился, слыша, как хрустит иней на досках вагона.

Он высвободился из холодной, колючей тесноты своего места, спрыгнул с нар, чувствуя, что надо обогреться у печки: спина вконец окоченела.

В железной печке сбоку закрытой двери, мерцающей толстым инеем, давно погас огонь, только неподвижным зрачком краснело поддувало. Но здесь, внизу, казалось, было немного теплее. В вагонном сумраке этот багровый отсвет угля слабо озарял разнообразно торчащие в проходе новые валенки, котелки, вещмешки под головами. Дневальный Чибисов неудобно спал на нижних нарах, прямо на ногах солдат; голова его до верха шапки была упрятана в воротник, руки засунуты в рукава.

— Чибисов! — позвал Кузнецов и открыл дверцу печки, повеявшей изнутри еле уловимым теплом.— Все погасло, Чибисов!

Ответа не было.

— Дневальный, слышите?

Чибисов испуганно вскинулся, заспанный, помятый, шапка-ушанка низко надвинута, стянута тесемками у подбородка. Еще не очнувшись ото сна, он пытался оттолкнуть ушанку со лба, развязать тесемки, непонимающе и робко вскрикивая:

— Что это я? Никак, заснул? Ровно оглушило меня беспамятством. Извиняюсь я, товарищ лейтенант! Ух, до косточек пробрало меня в дремоте-то!..

— Заснули и весь вагон выстудили,— сказал с упреком Кузнецов.

— Да не хотел я, товарищ лейтенант, невзначай, без умыслу,— забормотал Чибисов.— Повалило меня...

Затем, не дожидаясь приказаний Кузнецова, с излишней бодростью засуетился, схватил с пола доску, разломал ее о колено и стал заталкивать обломки в печку. При этом бестолково, будто бока чесались, двигал локтями и плечами, часто нагибаясь, деловито заглядывал в поддувало, где ленивыми отблесками запо́лзал огонь; ожившее, запачканное сажей лицо Чибисова выражало заговорщицкую подобострастность.

— Я теперича, товарищ лейтенант, тепло нагоню! Накалим, ровно в баньке будет. Иззябся я сам за войну-то! Ох как иззябся, кажную косточку ломит — слов нет!..

Кузнецов сел против раскрытой дверцы печки. Ему неприятна была преувеличенно нарочитая суетливость дневального, этот явный намек на свое прошлое. Чибисов был из его взвода. И то, что он, со своим неумеренным старанием, всегда безотказный, прожил несколько месяцев в немецком плену, а с первого дня появления во взводе постоянно готов был услужить каждому, вызывало к нему настороженную жалость.

Чибисов мягко, по-бабьи опустился на нары, непроспанные глаза его моргали.

— В Сталинград, значит, едем, товарищ лейтенант? По сводкам-то ка-кая мясорубка там! Не боязно вам, товарищ лейтенант? Ничего?

— Приедем — увидим, что́ за мясорубка,— вяло отозвался Кузнецов, всматриваясь в огонь.— А вы что, боитесь? Почему спросили?

— Да, можно сказать, того страху нету, что раньше-то,— фальшиво весело ответил Чибисов и, вздохнув,

положил маленькие руки на колени, заговорил доверительным тоном, как бы желая убедить Кузнецова: — После, как наши из плена-то меня освободили, поверили мне, товарищ лейтенант. А я цельных три месяца, ровно щенок в дерьме, у немцев просидел. Поверили... Война вон какая огромная, разный народ воюет. Как же сразу верить-то? — Чибисов скосился осторожно на Кузнецова; тот молчал, делая вид, что занят печкой, обогреваясь ее живым теплом: сосредоточенно сжимал и разжимал пальцы над открытой дверцей.— Знаете, как в плен-то я попал, товарищ лейтенант?.. Не говорил я вам, а сказать хочу. В овраг нас немцы загнали. Под Вязьмой. И когда танки ихние вплотную подошли, окружили, а у нас и снарядов уж нет, комиссар полка на верх своей «эмки» выскочил с пистолетом, кричит: «Лучше смерть, чем в плен к фашистским гадам!» — и выстрелил себе в висок. От головы брызнуло даже. А немцы со всех сторон бегут к нам. Танки их живьем людей душат. Тут и... полковник и еще кто-то...

— А потом что? — спросил Кузнецов.

— Я в себя выстрелить не мог. Сгрудили нас в кучу, орут «хенде хох». И повели...

— Понятно,— сказал Кузнецов с той серьезной интонацией, которая ясно говорила, что на месте Чибисова он поступил бы совершенно иначе.— Так что, Чибисов, они закричали «хенде хох» — и вы сдали оружие? Оружие-то было у вас?

Чибисов ответил, робко защищаясь натянутой полуулыбкой:

— Молодой вы очень, товарищ лейтенант, детей, семьи у вас нет, можно сказать. Родители небось...

— При чем здесь дети? — проговорил со смущением Кузнецов, заметив на лице Чибисова тихое, виноватое выражение, и прибавил: — Это не имеет никакого значения.

— Как же не имеет, товарищ лейтенант?

— Ну, я, может быть, не так выразился... Конечно, у меня нет детей.

Чибисов был старше его лет на двадцать — «отец», «папаша», самый пожилой во взводе. Он полностью подчинялся Кузнецову по долгу службы, но Кузнецов, теперь поминутно помня о двух лейтенантских кубиках в петлицах, сразу обременивших его после училища новой ответственностью, все-таки каждый раз чувствовал

неуверенность, разговаривая с прожившим жизнь Чибисовым.

— Ты, что ли, не спишь, лейтенант, или померещилось? Печка горит? — раздался сонный голос над головой.

Послышалась возня на верхних нарах, затем грузно, по-медвежьи спрыгнул к печке старший сержант Уханов, командир первого орудия из взвода Кузнецова.

— Замерз, как цуцик! Греетесь, славяне? — спросил, протяжно зевнув, Уханов.— Или сказки рассказываете?

Вздрагивая тяжелыми плечами, откинув полу шинели, он пошел к двери по качающемуся полу. С силой оттолкнул одной рукой загремевшую громоздкую дверь, прислонился к щели, глядя в метель. В вагоне вьюжно завихрился снег, подул холодный воздух, паром понесло по ногам; вместе с грохотом, морозным взвизгиванием колес ворвался дикий, угрожающий рев паровоза.

— Эх, и волчья ночь — ни огня, ни Сталинграда! — подергивая плечами, выговорил Уханов и с треском задвинул обитую по углам железом дверь.

Потом, постукав валенками, громко и удивленно крякнув, подошел к уже накалившейся печке; насмешливые, светлые глаза его были еще налиты дремой, снежинки белели на бровях. Присел рядом с Кузнецовым, потер руки, достал кисет и, вспоминая что-то, засмеялся, сверкнул передним стальным зубом.

— Опять жратва снилась. Не то спал, не то не спал: будто какой-то город пустой, а я один... вошел в какой-то разбомбленный магазин — хлеб, консервы, вино, колбаса на прилавках... Вот, думаю, сейчас рубану! Но замерз, как бродяга под сетью, и проснулся. Обидно... Магазин целый! Представляешь, Чибисов!

Он обратился не к Кузнецову, а к Чибисову, явно намекая, что лейтенант не чета остальным.

— Не спорю я с вашим сном, товарищ старший сержант,— ответил Чибисов и втянул ноздрями теплый воздух, точно шел от печки ароматный запах хлеба, кротко поглядев на ухановский кисет.— А ежели ночью совсем не курить, экономия обратно же. Сокруток десять.

— О-огромный дипломат ты, папаша! — сказал Уханов, сунув кисет ему в руки.— Свертывай хоть толщиной в кулак. На кой дьявол экономить? Смысл? — Он прикурил и, выдохнув дым, поковырял доской в огне.— А уверен я, братцы, на передовой с жратвой будет получше. Да

и трофеи пойдут! Где есть фрицы, там трофеи, и тогда уж, Чибисов, не придется всем колхозом подметать доппаек лейтенанта.— Он подул на цигарку, сощурился: — Как, Кузнецов, не тяжелы обязанности отца-командира, а? Солдатам легче — за себя отвечай. Не жалеешь, что слишком много гавриков на твоей шее?

— Не понимаю, Уханов, почему тебе не присвоили звания? — сказал несколько задетый его насмешливым тоном Кузнецов.— Может, объяснишь?

Со старшим сержантом Ухановым он вместе заканчивал военное артиллерийское училище, но в силу непонятных причин Уханова не допустили к экзаменам, и он прибыл в полк в звании старшего сержанта, зачислен был в первый взвод командиром орудия, что чрезвычайно стесняло Кузнецова.

— Всю жизнь мечтал,— добродушно усмехнулся Уханов.— Не в ту сторону меня понял, лейтенант... Ладно, вздремнуть бы минуток шестьсот. Может, опять магазин приснится? А? Ну, братцы, если что, считайте не вернувшимся из атаки...

Уханов швырнул окурок в печку, потянулся, встав, косолапо пошел к нарам, тяжеловесно вспрыгнул на зашуршавшую солому; расталкивая спящих, приговаривал: «А ну-ка, братцы, освободи жизненное пространство». И скоро затих наверху.

— Вам бы тоже лечь, товарищ лейтенант,— вздохнув, посоветовал Чибисов.— Ночь-то короткая, видать, будет. Не беспокойтесь, за-ради бога.

Кузнецов с пылающим у печного жара лицом тоже поднялся, выработанным строевым жестом оправил кобуру пистолета, приказывающим тоном сказал Чибисову:

— Исполняли бы лучше обязанности дневального!

Но, сказав это, Кузнецов заметил оробелый, ставший пришибленным взгляд Чибисова, ощутил неоправданность начальственной резкости — к командному тону его шесть месяцев приучали в училище — и неожиданно поправился вполголоса:

— Только чтоб печка, пожалуйста, не погасла. Слышите?

— Ясненько, товарищ лейтенант. Не сумлевайтесь, можно сказать. Спокойного сна...

Кузнецов влез на свои нары, в темноту, несогретую, ледяную, скрипящую, дрожащую от неистового бега поезда, и здесь почувствовал, что опять замерзнет на

сквозняке. А с разных концов вагона доносились храп, сопение солдат. Слегка потеснив спящего рядом лейтенанта Давлатяна, сонно всхлипнувшего, по-детски зачмокавшего губами, Кузнецов, дыша в поднятый воротник, прижимаясь щекой к влажному, колкому ворсу, зябко стягиваясь, коснулся коленями крупного, как соль, инея на стене — и от этого стало еще холоднее.

С влажным шорохом под ним скользила слежавшаяся солома. Железисто пахли промерзшие стены, и все несло и несло в лицо тонкой и острой струей холода из забитого метельным снегом сереющего оконца над головой.

А паровоз, настойчивым и грозным ревом раздирая ночь, мчал эшелон без остановок в непроглядных полях — ближе и ближе к фронту.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кузнецов проснулся от тишины, от состояния внезапного и непривычного покоя, и в его полусонном сознании мелькнула мысль: «Это выгрузка! Мы стоим! Почему меня не разбудили?..»

Он спрыгнул с нар. Было тихое морозное утро. В широко раскрытую дверь вагона дуло холодом; после успокоившейся к утру метели вокруг неподвижно, зеркально до самого горизонта выгибались волны нескончаемых сугробов; низкое без лучей солнце грузным малиновым шаром висело над ними, и остро сверкала, искрилась размельченная изморозь в воздухе.

В насквозь выстуженном вагоне никого не было. На нарах — смятая солома, красновато светились карабины в пирамиде, валялись на досках развязанные вещмешки. А возле вагона кто-то пушечно хлопал рукавицами, крепко, свежо в тугой морозной тишине звенел снег под валенками, звучали голоса:

— Где же, братцы славяне, Сталинград?

— Не выгружаемся вроде? Команды никакой не было. Успеем пожрать. Должно, не доехали. Наши уже вон с котелками идут.

И еще кто-то проговорил хрипловато и весело:

— Ох и ясное небо, налетят они!.. В самый раз!

Кузнецов, мгновенно стряхнув остатки сна, подошел к двери и от жгучего сияния пустынных под солнцем снегов зажмурился даже, охваченный режущим морозным воздухом.

Эшелон стоял в степи. Около вагона, на прибитом метелью снегу, группами толпились солдаты; возбужденно толкались плечами, согреваясь, хлопали рукавицами по бокам, то и дело оборачивались — все в одном направлении.

Там, в середине эшелона, в леденцовой розовости утра дымили на платформе кухни, напротив них нежно краснела из сугробов крыша одинокого здания разъезда. К кухням, к домику разъезда бежали солдаты с котелками, и снег вокруг кухонь, вокруг журавля-колодца по-муравьиному кишел шинелями, ватниками — весь эшелон, казалось, набирал воду, готовился к завтраку.

У вагона шли разговоры:

— Ну и пробирает, кореши, от подметок! Градусов тридцать, наверно? Сейчас бы избенку потеплей да бабенку посмелей, и — «В парке Чаир распускаются розы...»

— Нечаеву все одна ария. Кому что, а ему про баб! Во флоте-то тебя небось шоколадами кормили — вот и кобелировал, палкой не отгонишь!

— Не так грубо, кореш! Что ты можешь в этом понимать! «В парке Чаир наступает весна...» Деревенщина, брат, ты.

— Тьфу, жеребец! Опять то же!

— Давно стоим? — спросил Кузнецов, не обращаясь ни к кому в отдельности, и спрыгнул на заскрипевший снег.

Увидев лейтенанта, солдаты, не переставая толкаться, притопывать валенками, не вытянулись в уставном приветствии («Привыкли, черти!» — подумал Кузнецов), лишь прекратили на минуту разговор; у всех иней колюче серебрился на бровях, на мехе ушанок, на поднятых воротниках шинелей. Наводчик первого орудия сержант Нечаев, высокий, поджарый, из дальневосточных моряков, заметный бархатными родинками, косыми бачками на скулах и темными усиками, сказал:

— Приказано было не будить вас, товарищ лейтенант. Уханов сказал: ночь дежурили. Пока аврала не наблюдается.

— А где Дроздовский? — Кузнецов нахмурился, взглянул на блещущие иглы солнца.

— Туалет, товарищ лейтенант,— подмигнул Нечаев.

Метрах в двадцати, за сугробами, Кузнецов увидел командира батареи лейтенанта Дроздовского. Еще в учи-

лище он выделялся подчеркнутой, будто врожденной своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица — лучший курсант в дивизионе, любимец командиров-строевиков. Сейчас он, голый по пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат и, наклоняясь, молча и энергично растирался снегом. Легкий пар шел от его гибкого, юношеского торса, от плеч, от чистой, безволосой груди; и в том, как он умывался и растирался пригоршнями снега, было что-то демонстративно упорное.

— Что ж, правильно делает,— сказал серьезно Кузнецов.

Но, зная, что сам не сделает этого, он снял шапку, сунул ее в карман шинели, расстегнул ворот, подхватил пригоршню жесткого, шершавого снега и, до боли надирая кожу, потер щеки и подбородок.

— Какой сюрприз! Вы к нам? — услышал он преувеличенно обрадованный голос Нечаева.— Как мы рады вас видеть! Мы вас всей батареей приветствуем, Зоечка!

Умываясь, Кузнецов задохнулся от холода, от пресно-горького вкуса снега и, выпрямившись, переводя дыхание, уже достав вместо полотенца носовой платок — не хотелось возвращаться в вагон,— опять услышал позади смех, громкий говор солдат. Потом свежий женский голос сказал за спиной:

— Не понимаю, первая батарея, что у вас здесь происходит?

Кузнецов обернулся. Вблизи вагона среди улыбающихся солдат стояла санинструктор батареи Зоя Елагина в кокетливом белом полушубке, в аккуратных белых валенках, в белых вышитых рукавичках, не военная, вся, мнилось, празднично чистая, зимняя, пришедшая из другого, спокойного, далекого мира. Зоя строгими, сдерживающими смех глазами смотрела на Дроздовского. А он, не замечая ее, тренированными движениями, сгибаясь и разгибаясь, быстро растирал сильное порозовевшее тело, бил ладонями по плечам, по животу, делая выдохи, несколько театрально подымая грудную клетку вдохами. Все теперь смотрели на него с тем же выражением, какое было в глазах Зои.

— Лейтенант! — окликнула Зоя звонким голосом.— Можно спросить: когда вы окончите процедуру? Я хотела бы к вам обратиться.

Лейтенант Дроздовский стряхнул с груди снег и с неодобрительным видом человека, которому помешали, развязал полотенце на талии, разрешил без охоты:

— Обращайтесь.

— Доброе утро, товарищ комбат! — сказала она, и Кузнецов, вытираясь платком, увидел, как чуть подрожали кончики ее ресниц, мохнато опушенных инеем.— Вы мне нужны. Ваша батарея может уделить мне внимание?

Не спеша Дроздовский перекинул полотенце через шею, двинулся к вагону; поблескивали, лоснились омытые снегом плечи; короткие волосы влажны; он шел, властно глядя на толпившихся у вагона солдат своими синими, почти прозрачными глазами. На ходу уронил небрежно:

— Догадываюсь, санинструктор. Пришли в батарею произвести осмотр по форме номер восемь? Вшей нет.

— Дорогая Зоечка! — подхватил сержант Нечаев, скользя размягченным взглядом по опрятно-чистенькому полушубку Зои, по санитарной сумке на ее бедре.— В нашей батарее абсолютный порядок. Паразитических насекомых днем с огнем не найдете. Не тот адрес... Как сегодня спали? Никто не мешал?

— Много болтаете, Нечаев! — отсек Дроздовский и, пройдя мимо Зои, взбежал по железной лесенке в вагон, наполненный говором вернувшихся от кухни, взбудораженных перед завтраком солдат, с дымящимся супом в котелках, с тремя набитыми сухарями и буханками хлеба вещмешками. Солдаты с обычной для такого дела толкотней расстилали на нижних нарах чью-то шинель, приготавливаясь на ней резать хлеб, нажженные холодом лица озабочены хозяйственной занятостью. И Дроздовский, надевая гимнастерку, одергивая ее, скомандовал:

— Тихо! Нельзя ли без базара? Командиры орудий, наведите порядок! Нечаев, что вы там стоите? Займитесь-ка продуктами. Вы, кажется, мастер делить! С санинструктором займутся без вас.

Сержант Нечаев извинительно кивнул Зое, взобрался в вагон, подал оттуда голос:

— В чем причина, кореши, прекратить аврал! Чего расшумелись, как танки?

И Кузнецов, испытывая неудобство оттого, что Зоя видела эту шумную суету занятых дележкой продуктов солдат, уже не обращавших на нее внимания, хотел сказать с какой-то ужасающей его самого лихой интонацией:

«Вам в самом деле нет смысла проводить в наших взводах осмотр. Но просто хорошо, что вы к нам пришли».

Он до конца не объяснил бы самому себе, почему почти каждый раз при появлении Зои в батарее всех толкало на этот отвратительный, пошлый тон, на который подмывало сейчас и его, беспечный тон заигрывания, скрытого намека, будто ее приход ревниво раскрывал что-то каждому, будто на ее слегка заспанном лице, порой в тенях под глазами, в ее губах читалось нечто обещающее, порочное, тайное, что могло быть у нее с медсанбатскими молодыми врачами в санитарном вагоне, где находилась она бо́льшую часть пути. Но Кузнецов догадывался, что на каждой остановке она приходила в батарею не только для санитарного осмотра. Ему казалось, что она искала общения с Дроздовским.

— В батарее все в порядке, Зоя,— проговорил Кузнецов.— Не нужно никаких осмотров. Тем более — завтрак.

Зоя дернула плечами.

— Ка-акой особый вагон! И никаких жалоб. Не делайте наивный вид, вам уж это не идет! — сказала она, измеряя взмахом ресниц Кузнецова, насмешливо улыбаясь.— А ваш любимый лейтенант Дроздовский после своих сомнительных процедур, думаю, окажется не на передовой, а в госпитале!

— Во-первых, он не мой любимый,— ответил Кузнецов.— Во-вторых...

— Благодарю, Кузнецов, за откровенность. А во-вторых? Что вы думаете обо мне, во-вторых?

Лейтенант Дроздовский, одетый уже, стягивая шинель ремнем с мотающейся новенькой кобурой, легко спрыгнул на снег, взглянул на Кузнецова, на Зою, медлительно договорил:

— Хотите сказать, санинструктор, что я похож на самострела?

Зоя откинула голову с вызовом:

— Может быть, и так... По крайней мере, возможность не исключена.

— Вот что,— решительно объявил Дроздовский,— вы не классный руководитель, а я не школьник. Прошу вас отправиться в санитарный вагон. Ясно?.. Лейтенант Кузнецов, остаетесь за меня. Я — к командиру дивизиона.

Дроздовский с непроницаемым лицом вскинул руку к виску и гибкой, упругой походкой прекрасного строевика, как корсетом затянутый ремнем и новой портупеей,

зашагал мимо оживленно снующих по рельсам солдат. Перед ним расступались, замолкали от одного вида его, а он шел, словно раздвигая солдат взглядом, в то же время отвечая на приветствия коротким и небрежным взмахом руки. Солнце в радужных морозных кольцах стояло над сияющей белизной степи. Вокруг колодца по-прежнему собиралась и сейчас же рассеивалась густая толпа; тут набирали воду и умывались, сняв шапки, охая, фыркая, ежась; потом бежали к призывно дымившим в середине эшелона кухням, на всякий случай огибая группу дивизионных командиров возле заиндевелого пассажирского вагона.

К этой группе шел Дроздовский.

И Кузнецов видел, как с непонятным беспомощным выражением Зоя следила за ним вопросительными, с легкой косинкой глазами. Он предложил:

— Может, хотите позавтракать с нами?

— Что?—спросила она невнимательно.

— Вместе с нами. Вы ведь не завтракали еще, наверное.

— Товарищ лейтенант, все стынет! Ждем вас! — крикнул Нечаев из двери вагона.— Супец-пюре гороховый,— добавил он, черпая ложкой из котелка и облизывая усики.— Не подавишься — жив будешь!

За его спиной шумели солдаты, разбирали с разостланной шинели свои порции, иные с довольным смешком, иные ворчливо рассаживаясь на нарах, погружая ложки в котелки, впиваясь зубами в черные, промерзшие ломти хлеба. И теперь уж никто не обращал внимания на Зою.

— Чибисов! — позвал Кузнецов.— А ну-ка мой котелок санинструктору!

— Сестренка!.. Чего ж вы? — певуче отозвался из вагона Чибисов.— Кумпания у нас, можно сказать, веселая.

— Да... хорошо,— рассеянно сказала она.— Может быть... Конечно, лейтенант Кузнецов. Я не завтракала. Но... мне ваш котелок? А вы?

— Я потом. Голодный не останусь,— ответил Кузнецов.

Торопливо прожевывая, Чибисов подошел к дверям, чересчур охотно выставил из поднятого воротника заросшее личико; как в детской игре, закивал Зое с приятным участием, худой, маленький, в куцей, нелепо сидевшей на нем широкой шинели.

— Залезайте, сестренка. А чего ж!..

— Я немного поем из вашего котелка,— сказала Зоя Кузнецову.— Только вместе с вами. Иначе не буду...

Солдаты завтракали с сопением, кряканьем; и после первых ложек теплого супа, после первых глотков кипятка опять стали поглядывать на Зою любопытно. Расстегнув ворот нового полушубка так, что видно было белое горло, она осторожно ела из котелка Кузнецова, поставив котелок на колени, опустив глаза под взглядами, обращенными на нее.

Кузнецов ел с ней вместе, старался не смотреть, как она опрятно подносила ложку к губам, как ее горло двигалось при глотании; опущенные ресницы были влажны, в растаявшем инее, слиплись, чернели, прикрывая блеск глаз, выдававших ее волнение. Ей было жарко возле раскаленной печи. Она сняла шапку, каштановые волосы рассыпались по белому меху воротника, и без шапки вдруг выявилась незащищенно жалкой, скуластенькой, большеротой, с напряженно детским, даже робким лицом, странно выделявшимся среди распаренных, побагровевших от еды лиц артиллеристов, и впервые заметил Кузнецов: она была некрасива. Он никогда раньше не видел ее без шапки.

— «В парке Чаир распускаются ро-озы, в парке Чаир наступает весна...»

Сержант Нечаев, расставив ноги, стоял в проходе, тихонько напевал, оглядывая Зою с ласковой усмешкой, а Чибисов особенно услужливо налил полную кружку чаю и протянул ей. Она взяла горячую кружку кончиками пальцев, смущенно сказала:

— Спасибо, Чибисов.— Подняла влажно светящиеся глаза на Нечаева.— Скажите, сержант, что это за парки и розы? Не понимаю, почему вы все время о них поете?

Солдаты зашевелились, поощрительно подбадривая Нечаева:

— Давай-давай, сержант, вопрос есть. Откуда такие песенки?

— Владивосток,— мечтательно ответил Нечаев.— Увольнительная на берег, танцплощадка, и — «В парке Чаир...». Три года прослужил под это танго. Убиться можно, Зоя, какие были девушки во Владивостоке — королевы, балерины! Всю жизнь буду помнить!

Он поправил морскую пряжку, сделал руками жест, обозначая объятие в танце, сделал шаг, вильнул бедрами, напевая:

— «В парке Чаир наступает весна... Снятся твои золотистые косы...» Трам-па-па-пи-па-пи...

Зоя напряженно засмеялась.

— Золотистые косы... Розы. Довольно пошлые слова, сержант... Королевы и балерины. А разве вы когда-нибудь видели королев?

— В вашем лице, честное слово. У вас фигурка королевы,— смело сказал Нечаев и подмигнул солдатам.

«Зачем он смеется над ней? — подумал Кузнецов.— Почему я раньше не замечал, что она некрасива?»

— Если б не война,— ох, Зоя, вы меня недооцениваете,— украл бы я вас темной ночью, увез бы на такси куда-нибудь, сидел бы в каком-нибудь загородном ресторане у ваших ног с бутылкой шампанского, как перед королевой... И тогда — чихать на белый свет! Согласились бы, а?

— На такси? В ресторан? Это романтично,— сказала Зоя, переждав смех солдат.— Никогда не испытывала.

— Со мной всё испытали бы.

Сержант Нечаев сказал это, обволакивая Зою карими глазами, и Кузнецов, почувствовав обнаженную скользкость в его словах, прервал строго:

— Хватит, Нечаев, чепуху молоть! Наговорили с три короба! При чем здесь ресторан, черт возьми! Какое это имеет отношение!.. Зоя, пейте, пожалуйста, чай.

— Смешные вы,— сказала Зоя, и будто отражение боли появилось в тонкой морщинке на ее белом лбу.

Она все держала кончиками пальцев горячую кружку перед губами, но не отпивала, как прежде, маленькими глотками чай; и эта скорбная морщинка, казавшаяся случайной на белой коже, не распрямлялась, не разглаживалась на ее лбу. Зоя поставила кружку на печь и спросила Кузнецова с нарочитой дерзостью:

— Вы что на меня так смотрите? Что вы ищете на моем лице? Сажу от печки? Или тоже, как Нечаев, вспомнили каких-то там королев?

— О королевах я читал только в детских сказках,— ответил Кузнецов и нахмурился, чтобы скрыть неловкость.

— Смешные вы все,— повторила она.

— А сколько вам лет, Зоя, восемнадцать? — угадывающе поинтересовался Нечаев.— То есть, как говорят на флоте, сошли со стапелей в двадцать четвертом? Я на четыре года старше вас, Зоечка. Существенная разница.

— Не угадали,— улыбаясь, сказала она.— Мне тридцать лет, товарищ стапель. Тридцать лет и три месяца.

Сержант Нечаев, изобразив крайнее удивление на смуглом лице, произнес тоном игривого намека:

— Неужели так хотите, чтоб было тридцать? Тогда сколько лет вашей маме? Она похожа на вас? Разрешите ее адресок.— Тонкие усики поднялись в улыбке, разъехались над белыми зубами.— Буду вести фронтовую переписку. Обменяемся фото.

Зоя брезгливо обвела взглядом поджарую фигуру Нечаева, сказала с дрожью в голосе:

— Как вас напичкали пошлостью танцплощадки! Адрес? Пожалуйста. Город Перемышль, второе городское кладбище. Запишете или запомните? После сорок первого года у меня нет родителей,— ожесточенно договорила она.— Но знайте, Нечаев, у меня есть муж... Это правда, миленькие, правда! У меня есть муж...

Стало тихо. Солдаты, слушавшие разговор без сочувственного поощрения этой шалой, затеянной Нечаевым игре, перестали есть — все разом повернулись к ней. Сержант Нечаев, с ревнивой недоверчивостью вглядываясь в лицо Зои, сидевшей с опущенными глазами, спросил:

— Кто он, ваш муж, если не секрет? Командир полка, возможно? Или слухи ходят, что вам нравится наш лейтенант Дроздовский?

«Это, конечно, неправда,— тоже без доверия к словам ее подумал Кузнецов.— Она это сейчас выдумала. У нее нет мужа. И не может быть».

— Ну, хватит, Нечаев! — сказал Кузнецов.— Перестаньте задавать вопросы! Вы как испорченная патефонная пластинка. Не замечаете?

И он встал, оглянул вагон, пирамиду с оружием, ручной пулемет ДП внизу пирамиды; заметив на нарах нетронутый котелок с супом, порцию хлеба, беленькую кучку сахара на газете, спросил:

— А старший сержант Уханов где?

— У старшины, товарищ лейтенант,— ответил с верхних нар, сидя на поджатых ногах, молоденький казах Касымов.— Сказал: чашка бери, хлеб бери, сам придет...

В короткой телогрейке, в ватных брюках, Касымов бесшумно спрыгнул с нар; криво расставив ноги в валенках, замерцал узкими щелками глаз.

— Поискать можно, товарищ лейтенант?

— Не надо. Завтракайте, Касымов.

Чибисов же, вздохнув, заговорил ободряюще, певуче:

— Муж-то ваш, сестренка, сердитый или как? Сурьезный, верно, человек?

— Спасибо за гостеприимство, первая батарея! — Зоя тряхнула волосами и улыбнулась, разомкнув над переносицей брови, надела свою новую с заячьим мехом шапку, заправила под шапку волосы.— Вот, кажется, и паровоз подают. Слышите?

— Последний прогон до передовой — и здрасте, фрицы, я ваша тетя! — крикнул кто-то с верхних нар и нехорошо засмеялся.

— Зоечка, не уходите от нас, ей-богу! — сказал Нечаев.— Оставайтесь в нашем вагоне. Для чего вам муж? Зачем он вам на войне?

— Должно, два паровоза подают,— сообщил с нар прокуренный голос.— Сейчас нас быстро. Последняя остановка. И — Сталинград.

— А может, не последняя? Может, здесь?..

— Что ж, скорей бы! — сказал Кузнецов.

— Кто сказал — паровоз? Очумели? — громко выговорил наводчик Евстигнеев, сержант в годах, с обстоятельной деловитостью пивший чай из кружки, и рывком вскочил, выглянул из двери вагона.

— Что там, Евстигнеев? — окликнул Кузнецов.— Команда?

И, повернувшись, увидел его задранную большую голову, в тревоге рыскающие по небу глаза, но не услышал ответа. С двух концов эшелона забили зенитки.

— Кажись, братцы, дождались! — крикнул кто-то, прыгая с нар.— Прилетели!

— Вот тебе и паровоз! С бомбами...

В лихорадочный лай зениток сейчас же врезался приближающийся тонкий звон, затем спаренный бой пулеметов пропорол воздух над эшелоном — и в вагон из степи ворвался крик предупреждающих голосов: «Воздух! «Мессера»!» Наводчик Евстигнеев, швырнув на нары кружку, бросился к пирамиде с оружием, на ходу толкнув Зою к двери, а вокруг солдаты в суматохе прыгали с нар, хватая карабины из пирамиды. На короткий миг в голове Кузнецова скользнула мысль: «Только спокойно. Я выйду последним!» И он скомандовал:

— Все из вагона!

Две эшелонные зенитки забили так оглушительно близко, что частые удары их толчками звона отдавались в ушах. Стремительно настигающий звук моторов, клекот пулеметных очередей дробным цоканьем рассыпался над головой, прошел по крыше вагона.

Бросаясь к раскрытой двери, Кузнецов увидел прыгающих на снег солдат с карабинами, разбегающихся по солнечно-белой степи. И, испытывая холодную легкость в животе, выпрыгнул из вагона сам, в несколько прыжков достиг огромного, отливающего синью по скату сугроба, с разбега упал с кем-то рядом, затылком чувствуя пронзительно сверлящий воздух свист. С трудом преодолевая эту гнущую к земле тяжесть в затылке, он все-таки поднял голову.

В огромном холодно-голубом сиянии зимнего неба, алюминиево сверкая тонкими плоскостями, вспыхивая на солнце плексигласом колпаков, пикировала на эшелон тройка «мессершмиттов».

Обесцвеченные солнцем трассы зенитных снарядов непрерывно вылетали им навстречу с конца и спереди эшелона, рассыпались пунктиром, а вытянутые осиные тела истребителей падали все отвеснее, все круче, неслись вниз, дрожа острым пламенем пулеметов, скорострельных пушек. Густая радуга трасс неслась сверху сбоку вагонов, от которых бежали люди.

Над самыми крышами вагонов первый истребитель выровнялся и пронесся горизонтально вдоль эшелона, остальные два мелькнули за ним.

Впереди паровоза, колыхнув воздух, вырос бомбовый разрыв, взвились смерчи снега — и, круто набрав высоту, сделав разворот в сторону солнца, истребители, снижаясь, вновь понеслись к эшелону.

«Они нас всех хорошо видят,— возникло у Кузнецова. — Надо что-то делать!»

— Огонь!.. Огонь из карабинов по самолетам! — Он встал на колени, подав команду, и тотчас по другую сторону сугроба увидел поднятую голову Зои — брови ее удивленно скошены, замершие глаза расширены. Крикнул ей: — Зоя, в степь! Отползайте дальше от вагонов!

Но она, молча кусая губы, смотрела на эшелон. Туда прыжками бежал лейтенант Дроздовский в своей, как облитой по телу, узкой шинели и что-то кричал — понять было нельзя. Дроздовский вскочил в раскрытые двери вагона и выпрыгнул оттуда с ручным пулеметом

в руках. Потом, отбежав в степь, упал вблизи Кузнецова, с бешеной спешкой втискивая сошки ДП в гребень сугроба. И, вщелкнув в зажимы диск, полоснул очередью по истребителям, которые пикировали из сияющей синевы неба, пульсируя рваными вспышками.

Прямой огненный коридор трасс, нацеленных к земле, стремительно приближался. В голову Кузнецова ударило оглушительным треском очередей, пронизывающим звоном мотора, радужно, как в калейдоскопе, засверкало в глаза. В лицо брызнуло ледяной пылью, сбитой пулеметными очередями с сугроба. И в ревущей черноте, на секунду закрывшей небо, кувыркались, прыгали в снегу стреляные крупнокалиберные гильзы. Но непостижимее всего было то, что Кузнецов успел заметить в несущемся вниз плексигласовом колпаке «мессершмитта» яйцевидную, обтянутую шлемом голову летчика.

Обдав железным звоном моторов, самолеты вышли из пике в нескольких метрах от земли, выровнялись, быстро набирая высоту над степью.

— Володя!.. Не вставай! Подожди!..— услышал он вскрик и тут же увидел, как Дроздовский отбросил пустой диск, пытаясь встать, а Зоя, цепко обняв, прижималась грудью к нему, не отпускала его.— Володя! Прошу тебя!..

— Не видишь — диск кончился! — кричал Дроздовский, перекосив лицо, отталкивая Зою.— Не мешай! Не мешай, говорят!

Он расцепил ее руки, побежал к вагону, а она, растерянная, лежала в снегу, и тогда Кузнецов подполз к ней вплотную.

— Что с пулеметом?

Она взглянула — выражение ее лица мгновенно изменилось, стало вызывающим, неприятным.

— А, лейтенант Кузнецов? Что же вы по самолетам не стреляете? Трусите? Один Дроздовский?..

— Из чего, из пистолета стрелять?.. Так считаете?

Она не ответила ему.

Истребители пикировали впереди эшелона, крутились над паровозом, и густо задымились два первых пульмановских вагона. Лоскутья пламени выскальзывали из раскрытых дверей, ползли по крыше. И этот возникший пожар, занявшиеся пламенем крыши, упорное пикирование «мессершмиттов» вдруг вызвали у Кузнецова чувство тошнотного бессилия, и показалось ему, что эти

три самолета не улетят до тех пор, пока не разгромят весь эшелон.

«Нет, сейчас у них кончатся патроны,— стал внушать себе Кузнецов.— Сейчас кончатся...»

Но истребители сделали разворот и снова на бреющем пошли вдоль эшелона.

— Санита-ар! Сестра-а! — донесся крик со стороны горящих вагонов, и фигурки хаотично заметались там, волоча кого-то по снегу.

— Меня,— сказала Зоя и вскочила, оглядываясь на раскрытые двери вагона, на воткнутый в сугроб пулемет.— Кузнецов, где же Дроздовский? Я иду. Скажите ему, что я туда...

Он не имел права ее остановить, а она, придерживая сумку, быстрыми шагами пошла, потом побежала по степи в направлении пожара, исчезла за сугробами.

— Кузнецов!.. Ты?

Лейтенант Дроздовский прыжками подбежал от вагона, упал возле пулемета, вставил в зажимы новый диск. Тонкое бледное его лицо было зло заострено.

— Что делают, сволочи! Где Зоя?

— Кого-то ранило впереди,— ответил Кузнецов, плотнее вжимая пулеметные сошки в твердый наст снега.— Опять сюда идут...

— Подлюки... Где Зоя, я спрашиваю? — крикнул Дроздовский, плечом припадая к пулемету, и, по мере того как один за другим пикировали «мессершмитты», глаза его суживались, зрачки черными точками леденели в прозрачной синеве.

Зенитное орудие в конце эшелона смолкло.

Дроздовский ударил длинной очередью по засверкавшему над головами вытянутому металлическому корпусу первого истребителя и не отпускал палец со спускового крючка до той секунды, пока слепящим лезвием бритвы не мелькнул фюзеляж последнего самолета.

— Попал ведь! — выкрикнул Дроздовский сдавленно.— Видел, Кузнецов? Попал ведь я!.. Не мог я не попасть!..

А истребители уже неслись над степью, пропарывая воздух крупнокалиберными пулеметами, и огненные пики трасс будто поддевали остриями распростертые на снегу тела людей, переворачивали их в винтообразных белых завертях. Несколько солдат из соседних батарей, не выдержав расстрела с воздуха, вскочили, заметались

под истребителями, бросаясь в разные стороны. Потом один упал, пополз и замер, вытянув вперед руки. Другой бежал зигзагообразно, дико оглядываясь то вправо, то влево, а трассы с пикирующего «мессершмитта» настигали его наискосок сверху и раскаленной проволокой прошли сквозь него, солдат покатился по снегу, крестообразно взмахивая руками, и тоже замер; ватник дымился на нем.

— Глупо! Глупо! Перед самым фронтом!..— кричал Дроздовский, вырывая из зажимов пустой диск.

Кузнецов, встав на колени, скомандовал в сторону ползающих по степи солдат:

— Не бегать! Никому не бегать, лежать!..

И тут же услышал свою команду, в полную силу ворвавшуюся в оглушительную тишину. Не стучали пулеметы. Не давил на голову рев входящих в пике самолетов. Он понял — все кончилось...

Вонзаясь в синее морозное небо, истребители с тонким свистом уходили на юго-запад, а из-за сугробов неуверенно вставали солдаты, отряхивая снег с шинелей, глядя на пылающие вагоны, медленно шли к эшелону, счищали снег с оружия. Сержант Нечаев со сбитой набок морской пряжкой отряхивал шапку о колено (глянцевито-черные волосы растрепались), смеялся насильственным смешком, скашивая с красными прожилками белки на лейтенанта Давлатяна, командира второго взвода, угловатого, щуплого, большеглазого мальчика. Давлатян сконфуженно улыбался, но его брови неумело пытались хмуриться.

— И вы со снегом целовались, а, товарищ лейтенант? — ненатурально бодро говорил Нечаев.— Ныряли в сугроб, как японский пловец! Дали они нам прикурить! Побрили они нас, братишки. Покопали мы мордами степь! — И, завидев стоящего с пулеметом лейтенанта Дроздовского, ядовито добавил: — Поползали, ха-ха!

— Чего в-вы так... хохочете, Нечаев? Я н-не понимаю,— чуть запинаясь, проговорил Давлатян.— Что такое с вами?

— А вы с жизнью, никак, простились, товарищ лейтенант? — залился булькающим смешком Нечаев.— Конец, думали?

Командир взвода управления старшина Голованов, гигантского роста, нелюдимого вида парень с автоматом

на покатой груди, шедший за Нечаевым, мрачновато одернул его:

— Говоришь несуразно, морячок.

Потом Кузнецов увидел робко и разбито ковыляющего Чибисова и рядом виноватого Касымова, обтиравшего круглые потные скулы рукавом шинели, замкнутое, смятое стыдом лицо пожилого наводчика Евстигнеева, который весь был выварян в снегу. И в душе Кузнецова подымалось что-то душное, горькое, похожее на злость за унизительные минуты всеобщей беспомощности, за то, что сейчас их всех заставили пережить отвратительный страх смерти.

— Проверить наличие людей! — донеслось издали.— Батареям произвести поверку!

И Дроздовский подал команду:

— Командиры взводов, построить расчеты!

— Взвод управления, становись! — рокотнул старшина Голованов.

— Первый взвод, станови-ись! — подхватил Кузнецов.

— В-второй взво-од...— по-училищному запел лейтенант Давлатян.— Строиться-а!..

Солдаты, не остывшие после опасности, возбужденные, отряхиваясь, подтягивая сползшие ремни, занимали свои места без обычных разговоров: все глядели в южную сторону неба, а там было уже неправдоподобно светло и чисто.

Едва взвод был построен, Кузнецов, обежав глазами орудийные расчеты, наткнулся взглядом на наводчика Нечаева, нервно мявшегося на правом фланге, где должен был стоять командир первого орудия. Старшего сержанта Уханова в строю не было.

— Где Уханов? — обеспокоенно спросил Кузнецов.— Во время налета вы его видели, Нечаев?

— Сам кумекаю, товарищ лейтенант, где бы ему быть,— шепотом ответил Нечаев.— На завтрак к старшине ходил. Может, там еще отирается...

— До сих пор у старшины? — усомнился Кузнецов и прошел перед взводом.— Кто видел Уханова во время налета? Кто-нибудь видел?

Солдаты, поеживаясь на холоде, молчаливо переглядывались.

— Товарищ лейтенант,— опять шепотом позвал Нечаев, делая страдальческое лицо.— Посмотрите-ка! Может, там он...

Над огненным эшелоном, над снегами, над утонувшим в сугробах зданьицем разъезда покойно, как и до налета, сыпалась под солнцем мельчайшая изморозь. А впереди около уцелевших вагонов продолжалось суматошное движение,— везде выстраивались батареи, и мимо них от горящих пульманов двое солдат несли на шинели кого-то — раненого или убитого.

— Нет,— сказал Кузнецов.— Это не Уханов, он в ватнике.

— Первый взвод! — раздался чеканный голос Дроздовского.— Лейтенант Кузнецов! Почему не докладываете?

Кузнецов соображал, как он должен объяснить отсутствие Уханова, сделал пять шагов к Дроздовскому, но не успел доложить — тот произнес требовательно:

— Где командир орудия Уханов? Не вижу его в строю! Я вас спрашиваю, командир первого взвода!

— Сначала надо выяснить... жив ли он,— ответил Кузнецов и приблизился к Дроздовскому, ожидавшему его доклада с готовностью к действию. «У него такое лицо, будто не намерен верить мне»,— подумал Кузнецов и отчего-то вспомнил его решительность во время налета, его бледное, заостренное лицо, когда он отталкивал Зою, выпустив по «мессершмитту» первый пулеметный диск.

— Лейтенант Кузнецов, вы куда-нибудь отпускали Уханова? — произнес Дроздовский.— Если бы он был ранен, санинструктор Елагина давно сообщила бы. Я так думаю!

— А я думаю, что Уханов задержался у старшины,— возразил Кузнецов.— Больше ему негде быть.

— Немедленно пошлите кого-нибудь в хозвзвод! Что он на кухне может делать до сих пор? Кашу, что ли, варят с поваром вместе?

— Я схожу сам.

И Кузнецов, повернувшись, зашагал по сугробам к дивизионным кухням.

Когда он подошел к хозвзводу, на платформе еще не погасли кухонные топки, а внизу, изображая внимание, стояли ездовые, писаря и повар. Старшина батареи Скорик, в длиннополой комсоставской шинели, узколицый, с хищными, близко посаженными к крючковатому носу зелеными глазами, по-кошачьи мягко прохаживался перед строем, заложив руки за спину, то и дело погля-

дывая на спальный вагон, у которого тесно сгрудились старшие командиры, военные железнодорожники, разговаривая с кем-то из начальства, недавно прибывшего к эшелону на длинной трофейной машине.

— Смир-рно! — затылком почуяв подошедшего Кузнецова, выкрикнул Скорик и по-балетному кругообразно скользнул на одной точке, артистическим жестом выкинул кулак к виску, распрямил пальцы.— Товарищ лейтенант, хозяйственный взвод...

— Вольно! — Кузнецов хмуро взглянул на Скорика, который голосом своим в меру выявлял соответствующее невысокому лейтенантскому званию подчинение.— Старший сержант Уханов у вас?

— Почему, товарищ лейтенант? — насторожился Скорик.— Как так он может быть здесь? Я не дозволяю... А в чем дело, товарищ лейтенант? Никак, исчез? Скажи пож-жалуйста! Где ж он, голова два уха?

— Уханов был у вас в завтрак? — строго переспросил Кузнецов.— Вы его видели?

Узкое многоопытное лицо старшины выразило работу мысли, предполагаемую степень ответственности и личной причастности к случившемуся в батарее.

— Так, товарищ лейтенант,— заговорил Скорик с солидным достоинством.— Прекрасно помню. Командир орудия Уханов получал для расчета завтрак. Ругался с поваром неприлично. По причине порций. Лично вынужден был сделать ему замечание. Разболтанный, как в гражданке. Очень правильно, товарищ лейтенант, что звания ему не присвоили. Разгильдяй. Не обтесался... Может, в хутор мотанул. Вон за станцией в балке хутор! — И тотчас, солидно приосаниваясь, зашептал: — Товарищ лейтенант, генералы, никак, сюда... Батареи обходят? Вы докладывайте, по уставу уж...

От спального вагона мимо построенных у эшелона батарей двигалась довольно многочисленная группа, и Кузнецов издали узнал командира дивизии полковника Деева, высокого роста, в бурках, грудь перекрещена портупеями. Рядом с ним, опираясь на палочку, шел сухощавый, слегка неровный в походке незнакомый генерал — его черный полушубок (такого никто не носил в дивизии) выделялся меж других полушубков и шинелей.

Это был командующий армией генерал-лейтенант Бессонов.

Обгоняя полковника Деева, он шагал, чуть хромая, останавливался возле каждой батареи, выслушивал доклад, затем, переложив тонкую бамбуковую палочку из правой руки в левую, подносил ладонь к виску, продолжал обход. В тот момент, когда командующий армией и сопровождавшие его командиры задержались близ соседнего вагона, Кузнецов услышал высокий и резкий голос генерала:

— Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать вам одно: четыре месяца они осаждали Сталинград, но не взяли его. Теперь мы начали наступление. Враг должен почувствовать нашу силу и ненависть полной мерой. Запомните и другое: немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России. Не стану лгать, не обещаю вам легкие бои — немцы будут драться до последнего. Поэтому я требую от вас мужества и сознания своей силы!

Генерал выговорил последние слова возбужденным голосом, какой не мог не возбудить других; и Кузнецов колюче ощутил убеждающую власть этого худого, в черном полушубке, человека с болезненным, некрасивым лицом, который, пройдя соседнюю батарею, приближался к хозвзводу. И, еще не зная, что́ будет докладывать генералу, оказавшись здесь, около кухонь, он подал команду:

— Смир-рно! Равнение направо! Товарищ генерал, хозвзвод первой батареи второго дивизиона...

Он не закончил доклад; вонзив палочку в снег, генерал-лейтенант остановился против замершего хозвзвода, вопросительно перевел жесткие глаза на командира дивизии Деева. Тот с высоты своего роста ответил ему успокаивающим кивком, улыбнулся яркими губами, сказав крепким молодым баритоном:

— Потерь здесь, товарищ генерал, нет. Все целы. Так, старшина?

— Нимая ни одного хлопця, товарищ полковник! — преданно и бодро выкрикнул Скорик, непонятно почему вставляя в речь украинские слова.— Старшина батареи Скорик!

И, по-бравому развернув грудь, застыл с тем же выражением полного послушания.

Бессонов стоял в четырех шагах от Кузнецова, были видны заиндевевшие от дыхания уголки каракулевого воротника; худощавые, гладко выбритые сизые щеки,

глубокие складки властно сжатого рта; из-под приспущенных век что-то знающий, усталый взор много пережившего пятидесятилетнего человека колюче ощупывал нескладные фигуры ездовых, каменную фигуру старшины. Старшина Скорик, круто выпятив грудь, сдвинув ноги, подался вперед.

— Зачем так по-фельдфебельски? — произнес генерал скрипучим голосом — Вольно.

Бессонов выпустил из поля зрения старшину, его хозвзвод и утомленно обратился к Кузнецову.

— А вы, товарищ лейтенант, какое имеете отношение к хозяйственному взводу?

Кузнецов вытянулся молча.

— Вас застал здесь налет? — как бы подсказывая, проговорил полковник Деев, но соучастливым был его голос, брови же полковника раздраженно соединились на переносице.— Почему молчите? Отвечайте. Вас спрашивают, лейтенант.

Кузнецов почувствовал нетерпеливо-торопящее ожидание полковника Деева, заметил, как старшина Скорик и его разношерстный хозвзвод одновременно повернули к нему головы, увидел, как переминались сопровождающие командиры, и выговорил наконец:

— Нет, товарищ генерал...

Полковник Деев прижмурил на Кузнецова рыжие ресницы.

— Что «нет», лейтенант?

— Нет,— повторил Кузнецов.— Меня здесь не застал налет. Я ищу своего командира орудия. Его не оказалось на поверке. Но я думаю...

— Никаких командиров орудий в хозвзводе нет, товарищ генерал! — выкрикнул старшина, захлебнув в грудь воздух и выкатив глаза на Бессонова.

Но Бессонов не обратил на него внимания, спросил:

— Вы, лейтенант, прямо из училища? Или воевали?

— Я воевал... Три месяца в сорок первом,— проговорил Кузнецов не очень твердо.— А теперь окончил артиллерийское училище...

— Училище,— повторил Бессонов.— Значит, вы ищете своего командира орудия? Смотрели среди раненых?

— В батарее нет ни раненых, ни убитых,— ответил Кузнецов, чувствуя, что вопрос генерала об училище вызван, конечно, впечатлением о его беспомощности и неопытности.

— А в тылу, как вы понимаете, лейтенант, не бывает пропавших без вести,— поправил Бессонов сухо.— В тылу пропавшие без вести имеют одно название — дезертиры. Надеюсь, это не тот случай, полковник Деев?

Командир дивизии несколько подождал с ответом. Стало тихо. Отдаленно донеслись неразборчивые голоса, свистящее шипение паровоза. Там залязгали, загремели буфера: от состава отцепляли два пылающих пульмана.

— Не слышу ответа.

Полковник Деев заговорил с преувеличенной уверенностью:

— Командир артполка — человек новый. Но подобных случаев не было, товарищ генерал. И, надеюсь, не будет. Убежден, товарищ генерал.

У Бессонова чуть дернулся край жесткого рта.

— Что ж... Спасибо за уверенность, полковник.

Хозвзвод стоял, так же не шевелясь, старшина Скорик, окаменев впереди строя, делал бровями страшные подсказывающие знаки Кузнецову, но тот не замечал. Он чувствовал сдержанное недовольство генерала при разговоре с командиром дивизии, неспокойное внимание штабных командиров и, с трудом преодолевая скованность, спросил:

— Разрешите идти... товарищ генерал?

Бессонов молчал, недвижно всматриваясь в бледное лицо Кузнецова; озябшие штабные командиры украдкой терли уши, переступали с ноги на ногу. Они не вполне понимали, почему командующий армией так ненужно долго задерживается здесь, в каком-то хозвзводе. Никто из них, ни полковник Деев, ни Кузнецов, не знал, о чем думал сейчас Бессонов, а он, как это бывало часто в последнее время, подумал в ту минуту о своем восемнадцатилетнем сыне, пропавшем без вести в июне на Волховском фронте. Пропавшем по косвенной его вине, представлялось ему, хотя умом понимал, что на войне порой ничто не может спасти ни от пули, ни от судьбы.

— Идите, лейтенант,— проговорил тяжелым голосом Бессонов, видя неловкие усилия лейтенанта побороть растерянность.— Идите.

И он с сумрачным видом поднес руку к папахе и, окруженный группой штабных командиров, зашагал вдоль эшелона, намеренно нажимая на болевшую ногу. Она замерзала.

Боль обострялась, как только замерзала нога, а Бессонов знал, что ощущение боли в задетом осколком нерве останется надолго, к ней нужно привыкнуть. Но то, что ему постоянно приходилось испытывать мешающую боль в голени, отчего немели пальцы на правой ступне и нередко появлялось нечто похожее на страх перед бессмысленным лежанием в госпитале, куда опасался попасть вторично, если откроется рана, и то, что после назначения в армию он все время думал о судьбе сына, рождало в нем тревожные толчки душевной неполновесности, непривычной зыбкости, чего терпеть не мог ни в себе, ни в других.

Неожиданности в жизни случались с ним не так часто. Однако назначение на новую должность — командующего армией — свалилось как снег на голову. Он принял армию новенькую, свежесформированную в глубоком тылу, уже в дни погрузки ее в вагоны (ежесуточно отправлялось на фронт до восемнадцати эшелонов), и сегодняшнее знакомство с одной из ее дивизий, разгружавшейся на нескольких станциях северо-западнее Сталинграда, не совсем удовлетворило его. Это неудовлетворение было вызвано непредвиденным налетом «мессершмиттов» и необеспечением прикрытия с воздуха района выгрузки. Выслушав же оправдательные объяснения представителя ВОСО: «Десять минут назад улетели наши истребители, товарищ командующий»,— он взорвался: «Что значит — улетели? Наши улетели, а немцы вовремя прилетели! Грош цена такому обеспечению!» И, сказав так, теперь жалел о своей невоздержанности, ибо не комендант станции отвечал за прикрытие с воздуха; этот подполковник ВОСО просто первым попался ему на глаза.

Уже отойдя вместе со штабными командирами от хозвзвода, Бессонов услышал за спиной негромкий голос задержавшегося у строя Деева:

— Что вы за чертовщину наговорили, лейтенант? А ну — пулей искать! Поняли? Полчаса... Даю полчаса вам!

Но Бессонов сделал вид, что ничего не услышал, когда полковник Деев догнал его возле платформы с орудиями, говоря как ни в чем не бывало:

— Я знаю эту батарею, товарищ командующий, полностью уверен в ней. Помню ее по учениям на форми-

ровке. Правда, командиры взводов очень уж молоденькие. Не оперились пока...

— В чем оправдываетесь, полковник? — перебил Бессонов.— Конкретней прошу. Яснее.

— Простите, товарищ генерал, я не хотел...

— Что не хотели? Именно? — с усталым выражением заговорил Бессонов.— Неужели вы меня тоже за мальчика принимаете? Так вот, звенеть передо мной шпорами нет смысла. Абсолютно глух к этому.

— Товарищ командующий...

— Что касается вашей дивизии, полковник, составлю о ней полное представление только после первого боя. Это запомните. Если обиделись, переживу как-нибудь.

Полковник Деев, пожав плечами, ответил обескураженно:

— Я не имею права обижаться на вас, товарищ командующий.

— Имеете! Но ясно было бы — за что!

И, вонзая палочку в снег, Бессонов повел глазами по нагнавшим их и притихшим штабным командирам, которых он тоже еще недостаточно знал. Они, потупясь, молчали, не участвуя в разговоре.

— С-смирно! Равнение-е направо! — рванулась громкая команда спереди от темнеющего против вагонов строя.

— Третья гаубичная батарея ста двадцати двух, товарищ генерал,— сказал полковник Деев.

— Посмотрим гаубичную,— вскользь произнес Бессонов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В каменном зданьице разъезда, куда на всякий случай Кузнецов зашел, Уханова не было. Два низких зала одичало пусты, холодны, деревянные лавки грязно обшарпаны, на полу темное месиво нанесенного сюда ногами снега; железная печь с трубой, выведенной в окно, заделанное фанерой, не топилась, и пахло удушливой кислотой шинелей: тут побывали солдаты со всех проходящих эшелонов.

Когда Кузнецов вышел на свежий воздух, на морозное солнце, эшелон по-прежнему стоял посреди сверкающей до горизонта глади снегов, и там наискось тянулся в безветренном небе черный дымовой конус: догорали вагоны, загнанные в тупик. Паровоз пронзительно звенел паром на путях перед опущенным семафором. Вдоль

вагонов неподвижными рядами проступали построения батарей. В полукилометре за станцией подымались над степью прямые дымки́ невидимого в балке хутора.

«Где его искать? Неужели в этом проклятом хуторе, о котором сказал старшина?» — подумал Кузнецов и уже со злой отчаянностью побежал в ту сторону по санной дороге, по вылуженной полозьями колее.

Впереди, в балке, засияли, заискрились под солнцем крыши, зеркалами вспыхивали приваленные пышными сугробами низкие оконца — везде утренний покой, полная тишина, безлюдность. Похоже было, в теплых избах спали или не торопясь завтракали, будто и не было налета «мессершмиттов»,— наверно, к этому привыкли в хуторе.

Вдыхая горьковатый дымок кизяка, напоминавший запах свежего хлеба, Кузнецов спустился в балку, зашагал по единственной протоптанной меж сугробов тропке с вмерзшим конским навозом, мимо обсахаренных инеем корявых ветел, мимо изб с резными наличниками и, не зная, в какую избу зайти, где искать, добравшись до конца улочки, в замешательстве остановился.

Все здесь, в этом хуторке, было безмятежно мирным, давно и прочно устоявшимся, по-деревенски уютным. И может быть, оттого, что отсюда, из балки, не было видно ни эшелона, ни разъезда, внезапно появилось у Кузнецова чувство отъединенности от всех, кто оставался там, в вагонах: войны, чудилось, не было, а было это солнечное морозное утро, безмолвие, лиловые тени дымов над снежными крышами.

— Дяденька, а дяденька! Вы чего? — послышался писклявый голосок.

За плетнем маленькая, закутанная в тулуп фигурка, нагнувшись над облитым наледью срубом, опускала на жерди ведро в колодец.

— Есть тут где-нибудь боец? — спросил Кузнецов, подойдя к колодцу и произнося заранее приготовленную фразу.— Боец не проходил?

— Чего?

Из глубины воротника, из щелочки меха чернели, с любопытством выглядывали глаза. Это был мальчик лет десяти, голосок нежно пищал, его детские пальцы в цыпках перебирали обледенелую жердь колодезного журавля.

— Я спрашиваю, нет ли бойца у вас? — повторил Кузнецов.— Ищу товарища.

— Сейчас никого нету,— бойко ответил мальчик из меховых недр огромного тулупа, обвисшего на нем до пят.— А бойцов у нас много бувает. С эшелонов. Меняют. Ежели и у вас, дяденька, гимнастерка или куфайка, мамка враз выменяет. Иль мыло... Нету? А то мамка хлебы пекла...

— Нет,— ответил Кузнецов.— Я не менять. Я ищу товарища.

— А исподнее?

— Что?

— Исподнее для себя мамка хотела. Ежели теплое... Разговор был.

— Нет.

С поскрипыванием жерди мальчик вытащил ведро, полное тяжелой, как свинец, зимней колодезной воды; расплескивая воду, поставил на толстый от наростов льда край сруба, подхватил ведро, волоча полы тулупа по снегу, изогнувшись, понес к избе, сказал:

— Прощевайте пока.— И, красными пальцами отогнув бараний мех воротника, стрельнул черными глазами вбок.— Не энтот ли товарищ ваш, дяденька! У Кайдалика был, у безногого.

— Что? У какого Кайдалика? — спросил Кузнецов и тут же увидел за плетнем крайней хаты старшего сержанта Уханова.

Уханов спускался по ступенькам крылечка к тропке, надевая шапку, лицо распарено, спокойно, сыто. Весь вид его говорил о том, что был он сейчас в уюте, в тепле и вот теперь на улицу прогуляться вышел.

— А, лейтенант, боевой привет! — крикнул Уханов с добродушной приветливостью и заулыбался.— Каким образом здесь? Не меня ли ищещь? А я в окошко глянул, смотрю — свой!

Он подошел косолапой развалкой деревенского парня, лузгая тыквенные зерна, сплевывая шелуху, затем полез в карман ватника, протянул Кузнецову пригоршню крупных желтоватых семечек, сказал миролюбиво:

— Поджаренные. Попробуй. Четыре кармана нагрузил. До Сталинграда хватит всем щелкать.— И, взглянув в осерженные глаза Кузнецова, спросил вполусерьез: — Ты чего? Давай говори, лейтенант: в чем суть? Семечки-то держи...

— Убери семечки! — проговорил, бледнея, Кузнецов.— Значит, сидел здесь в теплой хате и семечки грыз, когда «мессера» эшелон обстреливали? Кто разрешил тебе уйти из взвода? Знаешь, после этого кем тебя можно считать?

С лица Уханова смыло довольное выражение, лицо мгновенно утратило сытый вид деревенского парня, стало насмешливо-невозмутимым.

— Ах, вон оно что-о?.. Так знай, лейтенант, во время налета я был там... Ползал на карачках возле колодца. В деревню забрел, потому что железнодорожник с разъезда, который со мной рядом ползал, сказал, что эшелон пока постоит... Давай не будем выяснять права! — Уханов, усмехнувшись, разгрыз тыквенное семечко, выплюнул шелуху.— Если вопросов нет, согласен на все. Считай: поймал дезертира. Но упаси боже: подвести тебя не хотел, лейтенант!..

— А ну пошли к эшелону! И брось свои семечки знаешь куда? — обрезал Кузнецов.— Пошли!

— Пошли так пошли. Не будем ссориться, лейтенант.

То, что он не сдержал себя при виде невозмутимого спокойствия Уханова, которому, должно быть, на все было наплевать, и то, что не мог понять этого спокойствия к тому, что не было безразлично ему, особенно злило Кузнецова, и, сбиваясь на неприятный самому тон, он договорил:

— Надо думать в конце концов, черт подери! В батареях поверка личного состава, на следующей станции, наверно, выгружаться будем, а командира орудия нет!.. Как это приказываешь расценивать?..

— Если что, лейтенант, вину беру на себя: в деревне мыло на семечки менял. Ни хрена. Обойдется. Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут,— ответил Уханов и, шагая, на подъеме из балки поглядел назад — на блистающие верхи крыш, на леденцовые окна под опущенными ветлами, на синие тени дымов над сугробами, сказал: — Просто чудо деревушка! И девки до дьявола красивые — не то украинки, не то казачки. Одна вошла, брови стрелочки, глаза голубые, не ходит, а пишет... Что это, лейтенант, никак, наши «ястребки» появились? — добавил Уханов, задрав голову и сощуривая светлые нестеснительные глаза.— Нет, наверняка здесь выгружаться будем. Смотри ты, как охраняют!

Низкое зимнее солнце белым диском висело в степи над длинно растянутым на путях воинским эшелоном с отцепленным паровозом, над серыми построениями солдат. А высоко над степью, над догорающими в тупике пульманами, купаясь в морозной синеве, то ввинчивалась в зенит неба, то падала на тонкие серебристые плоскости пара наших «ястребков», патрулируя эшелон.

— Бегом к вагону! — скомандовал Кузнецов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Бат-тарея-а! Выгружайсь! Орудия с платформы! Лошадей выводи!

— Повезло же нам, кореши: цельный артполк на машинах, а наша батарея на лошадях.

— Лошадку танк плохо видит. Понял мысль этого дела?

— Что, славяне, пешочком топать? Или фрицы рядом?

— Не торопись, на тот свет успеешь. На передовой знаешь как? Гармошку не успел растянуть — песня кончилась.

— Чего шарманку закрутил? Ты мне лучше скажи: табаку выдадут перед боем? Или зажмет старшина? Ну и скупердяй, пробы негде ставить! Сказали — на марше кормить будут.

— Не старшина — саратовские страдания...

— Наши в Сталинграде немцев зажали в колечке... Туда идем, стало быть... Эх, в сорок первом бы немца окружить. Сейчас бы где были!

— Ветер-то к холоду. К вечеру еще крепче мороз вдарит!

— К вечеру сами по немцу вдарим! Не замерзнешь небось.

— А тебе чего? Главное, личный предмет береги. А то на передовую сосульку донесешь! Тогда к жене не возвращайся без доку́мента.

— Братцы, в какой стороне Сталинград? Где он?

Когда четыре часа назад выгружались из эшелона на том, последнем перед фронтом степном разъезде, дружно — взводами — скатывали по бревнам орудия с заваленных снегом платформ, выводили из вагонов застоявшихся, спотыкающихся лошадей, которые, фыркая,

взбудораженно кося глазами, стали жадно хватать губами снег, когда всей батареей грузили, кидали на повозки ящики со снарядами, выносили оружие, последнее снаряжение, вещмешки, котелки из брошенных, опостылевших вагонов, а потом строились в походную колонну,— лихорадочное возбуждение, обычно возникающее при изменении обстановки, владело людьми. Независимо от того, что ждало каждого впереди, люди испытывали прилив неуемного веселья, излишне охотно отзывались смехом на шутки, на беззлобную ругань. Разогретые работой, толкались в строю, преданно глядя на командиров взводов с одинаковым угадыванием нового, неизвестного поворота в своей судьбе.

В те минуты лейтенант Кузнецов вдруг почувствовал эту всеобщую объединенность десятков, сотен, тысяч людей в ожидании еще неизведанного скорого боя и не без волнения подумал, что теперь, именно с этих минут начала движения к передовой он сам связан со всеми ними надолго и прочно. Даже всегда бледное лицо Дроздовского, командовавшего разгрузкой батареи, казалось ему не таким холодно-непроницаемым, а то, что испытывал он во время и после налета «мессершмиттов», представлялось ушедшим, забытым. И недавний разговор с Дроздовским тоже отдалился и забылся уже. Вопреки предположениям, Дроздовский не стал слушать доклада Кузнецова о полном наличии людей во взводе (Уханов нашелся), перебил его с явным нетерпением человека, занятого неотложным делом: «Приступайте к выгрузке взвода. И чтоб комар носа не подточил! Ясно?» — «Да, ясно»,— ответил Кузнецов и направился к вагону, где, окруженный толпой солдат, стоял как ни в чем не бывало командир первого орудия. В предчувствии близкого боя все эшелонное прошлое понемногу потускнело, стерлось, сравнялось, вспоминалось случайным, мелким — и Кузнецову и, видимо, Дроздовскому, как и всем в батарее, охваченной нервным порывом движения в это неиспытанное, новое, будто до отказа спрессованное в одном металлическом слове — Сталинград.

Однако после четырех часов марша по ледяной степи, среди пустынных до горизонта снегов, без хуторов, без коротких привалов, без обещанных кухонь, постепенно смолкли голоса и смех. Возбуждение прошло — люди двигались мокрые от пота, слезились, болели глаза от

бесконечно жесткого сверкания солнечных сугробов. Изредка где-то слева и сзади стало погромыхивать отдаленным громом. Потом стихло, и непонятно было, почему не приближалась передовая, которая должна бы приблизиться, почему погромыхивало за спиной,— и невозможно было определить, где сейчас фронт, в каком направлении идет колонна. Шли, вслушиваясь, хватали с обочин пригоршнями черствый снег, жевали его, корябая губы, но снег не утолял жажды.

Разрозненная усталостью, огромная колонна нестройно растягивалась, солдаты шагали все медленнее, все безразличнее, кое-кто уже держался за щиты орудий, за передки, за борта повозок с боеприпасами, что тянули и тянули, механически мотая головами, маленькие, лохматые монгольские лошади с мокрыми мордами, обросшими колючками инея. Дымились в артиллерийских упряжках важно лоснящиеся на солнце бока коренников, на крутых их спинах оцепенело покачивались в седлах ездовые. Взвизгивали колеса орудий, глухо стучали вальки, где-то позади то и дело завывали моторы ЗИСов, буксующих на подъемах из балок. Раздробленный хруст снега под множеством ног, ритмичные удары копыт взмокших лошадей, натруженное стрекотание тракторов с тяжелыми гаубицами на прицепах — все сливалось в единообразный дремотный звук, и над дорогой, над орудиями, над машинами и людьми тяжко нависала из ледяной синевы белесая пелена с радужными иглами солнца, и вытянутая через степь колонна заведенно двигалась под ней как в полусне.

Кузнецов давно не шел впереди своего взвода, а тянулся за вторым орудием, в обильном поту, гимнастерка под ватником и шинелью прилипла к груди, горячие струйки скатывались из-под шапки от пылающих висков и тут же замерзали на ветру, стягивая кожу. Взвод в полном молчании двигался отдельными группками, давно потеряв первоначальную, обрадовавшую его стройность, когда с шутками, с беспричинным смехом выходили в степь, оставляя позади место выгрузки. Теперь перед глазами Кузнецова неравномерно колыхались спины с уродливо торчащими буграми вещмешков; у всех сбились на шинелях ремни, оттянутые гранатами. Несколько вещмешков, сброшенных кем-то с плеч, лежали на передках.

Кузнецов шагал в усталом безразличии, ожидая только одного — команды на привал, и, изредка оглядываясь, видел, как понуро ковылял, прихрамывая, за повозками Чибисов, как еще совсем недавно такой аккуратный морячок, наводчик Нечаев, плелся с неузнаваемо дурным выражением лица, с толсто заиндевелыми, мокрыми усиками, на которые он поминутно дул и неопрятно при этом облизывал.

«Когда же наконец привал?»

— Когда привал? Забыли? — услышал он за спиной звучный и негодующий голос лейтенанта Давлатяна; его голос всегда удивлял Кузнецова своей наивной чистотой, почему-то рождал приятные, как отошедшее прошлое, воспоминания о том, что было когда-то милое, беспечное школьное время, в котором, вероятно, жил еще сейчас Давлатян, но которое смутным и далеким вспоминалось Кузнецову.

Он с усилием обернулся: шею сдавливал, холодил влажный целлулоидный подворотничок, выданный старшиной в училище.

Давлатян с худеньким большеглазым лицом, в отличие от остальных без подшлемника, догонял Кузнецова и на ходу аппетитно грыз комок снега.

— Послушай, Кузнецов! — сказал Давлатян стеклянно звонким, школьным голосом.—Я, знаешь, как комсорг батареи хочу с тобой посоветоваться. Давай, если можешь.

— А что, Гога? — спросил Кузнецов, называя его по имени, как называл и в училище.

— Не читал роскошное немецкое сочинение? — Посасывая снег, Давлатян вынул из кармана шинели вчетверо сложенную желтую листовку и насупился.— Касымов в кювете нашел. Ночью с самолета бросали.

— Покажи, Гога.

Кузнецов взял листовку, развернул, пробежал глазами по крупным буквам текста:

«Сталинградские бандиты!

Вам временно удалось окружить часть немецких войск под вашим Сталинградом, который превращен нашим воздушным флотом в развалины. Не радуйтесь! Не надейтесь, что теперь вы будете наступать! Мы вам еще устроим веселый праздник на вашей улице, загоним за Волгу и дальше кормить сибирских вшей. Перед слав-

ной победоносной армией вы слабы. Берегите свои дырявые шкуры, советские головорезы!»

— Прямо бешеные! — сказал Давлатян, увидев усмешку Кузнецова, дочитавшего листовку до конца.— Не думали, наверно, что в Сталинграде им жизни дадут. Как смотришь на эту пропаганду?

— Прав, Гога. Сочинение на вольную тему,— ответил Кузнецов, отдавая листовку.— А вообще такую ругань еще не читал. В сорок первом писали другое: «Сдавайтесь и не забудьте взять ложку и котелок!» Забрасывали такими листовками каждую ночь.

— Знаешь, как я эту пропаганду понимаю? — сказал Давлатян.— Чует собака палку. Вот и все.

Он смял листовку, бросил ее за обочину, засмеялся легким смехом, снова напомнившим Кузнецову нечто далекое, знакомое, солнечное,— весенний день в окнах школы, испещренную теплыми бликами листву лип.

— Ничего не замечаешь? — заговорил Давлатян, подстраиваясь к шагу Кузнецова.— Сначала мы шли на запад, а потом повернули на юг. Куда мы идем?

— На передовую.

— Сам знаю, что на передовую, вот уж, понимаешь, угадал! — Давлатян фыркнул, но его длинные, сливовые глаза были внимательны.— Сталинград сзади теперь. Скажи, вот ты воевал... Почему нам не объявили пункт назначения? Куда мы можем прийти? Это тайна, нет? Ты что-нибудь знаешь? Неужели не в Сталинград?

— Все равно на передовую, Гога,— ответил Кузнецов.— Только на передовую, и больше никуда.

Давлатян обиженно повел острым носом.

— Это что, афоризм, да? Я что, должен засмеяться? Сам знаю. Но где здесь может быть фронт? Мы идем куда-то на юго-запад. Хочешь посмотреть по компасу?

— Я знаю, что на юго-запад.

— Слушай, если мы идем не в Сталинград,— это ужасно. Там колошматят немцев, а нас куда-то к бесу на кулички?

Лейтенант Давлятан очень хотел серьезного разговора с Кузнецовым, но этот разговор не мог ничего прояснить. Оба ничего не знали о точном маршруте дивизии, заметно измененном на марше, и оба уже догадывались, что конечный пункт движения не Сталинград: он оставался теперь за спиной, где изредка раскатывалась отдаленная канонада.

— Подтяни-ись!..— донеслась команда спереди, нехотя передаваемая по колонне голосами.— Шире ша-аг!..

— Ничего пока не ясно,— ответил Кузнецов, взглянув на беспредельно растянутую по степи колонну.— Куда-то идем. И все время подгоняют. Может быть, Гога, вдоль кольца идем. По вчерашней сводке, там опять бои.

— А, тогда бы прекрасно!.. Подтяни-ись, ребята! — подал в свою очередь команду Давлатян с неким училищным строевым переливом, но поперхнулся, сказал весело: — Вот, знаешь, эскимо помешало, в горле застряло! А ты тоже пожуй. Утоляет жажду, а то весь мокрый как мышь! — И, будто сахар, с наслаждением пососал комок снега.

— Ты что, любил эскимо? Брось, Гога, попадешь в медсанбат. По-моему, охрип уже,— невольно улыбнулся Кузнецов.

— В медсанбат? Никогда! — воскликнул Давлатян.— Какой там медсанбат! К черту, к черту!

И он, наверное, как в школьные экзамены, суеверно сплюнул трижды через плечо, посерьезнев, швырнул комок снега в сугроб.

— Я знаю, что такое медсанбат. Ужас в квадрате. Провалялся все лето, хоть вешайся! Лежишь как дурак и отовсюду слышишь: «Сестра, судно, сестра, утку!» Да, идиотская ерунда какая-то, знаешь... Только на фронт под Воронеж прибыл и на второй день глупость какую-то подхватил. Глупейшая болезнь. Повоевал, называется! Со стыда чуть с ума не сошел!

Давлатян опять презрительно фыркнул, но тут же быстро посмотрел на Кузнецова, словно предупреждая, что никому смеяться над собой не позволит, потому что в той болезни был не виноват.

— Какая же болезнь, Гога?

— Глупейшая, я говорю.

— Дурная болезнь? А, лейтенант? — послышался насмешливый голос Нечаева.— Как угораздило, по неопытности?

Подняв воротник, руки в карманах, он отупело шагал за орудием и, заслышав разговор, несколько взбодрился, сбоку глянул на Давлатяна; посиневшие губы выдавливали скованную холодом полуусмешку.

— Не надо, лейтенант, стесняться. Неужто схлопотали? Бывает...

— В-вы, донжуан! — вскрикнул Давлатян, и остренький нос его с возмущением нацелился в сторону Нечаева.— Что за глупую ерунду говорите, слушать невозможно! У меня была дезинтерия... инфекционная!

— Хрен редьки не слаще,— не стал спорить Нечаев и похлопал рукавицей о рукавицу.— А что вы так уж, товарищ лейтенант?

— Пре-екратите глупости! Сейчас же! — сорвавшимся на фальцет голосом приказал Давлатян и заморгал, как филин днем.— Вас всегда тянет говорить непонятно что!

У Нечаева смешливо дрогнули заиндевелые усики, под ними — синий блеск ровных, молодых зубов.

— Я говорю, товарищ лейтенант, все под богом ходим..

— Это вы, а не я... вы под богом ходите, а не я! — с совершенно нелепым негодованием выкрикнул Давлатян.— Вас послушать — просто уши вянут... будто всю жизнь глупостями этими и занимаетесь, будто султан какой! От вашей пошлости женщины плачут, наверно!

— Они от другого плачут, лейтенант, в разные моменты.— Под усиками Нечаева скользнула улыбка.— Если в загс не затащила — слезы и истерика. Женщинки, они как — одной ручкой к себе прижимают: тю-тю-тю, гуль-гуль-гуль, другой отталкивают: прочь, ненавижу, гадость, оставьте меня в покое, как вам не стыдно... И всякое подобное. Психология ловушки и ехидного коварства. У вас-то с практикой негусто было, лейтенант, учитесь, пока жив сержант Нечаев. Передаю опыт наблюдений.

— Какое право вы имеете... так говорить о женщинах? — окончательно возмутился Давлатян и стал похожим на взъерошенного воробья.— Что вы такое подразумеваете под практикой? С вашими мыслями на базар ходить!..

Лейтенант Давлатян начал даже заикаться в негодовании, щеки его зацвели темно-алыми пятнами. Он не разучился краснеть при грубой ругани солдат или цинично обнаженном разговоре о женщинах, и это тоже было то далекое, школьное, что осталось в нем и чего почти не было в Кузнецове: привык ко многому в летнее крещение под Рославлем.

— Идите к орудию, Нечаев,— вмешался Кузнецов.— Не заметили, что влезли в чужой разговор?

— Е-есть, товарищ лейтенант,— протянул Нечаев и, сделав небрежный жест, напоминающий козыряние, отошел к орудию.

— Все-таки ты лейтенант, Гога, и привыкай,— сказал Кузнецов, сдерживаясь, чтобы не засмеяться, увидев, как Давлатян с воинственной неприступностью вздернул свой лиловый на холоде нос.

— А я не хочу привыкать! Это к чему? С какими-то намеками полез! Мы что, животные какие?

— Подтянись! Ближе к орудиям! Приготовиться одерживать!..

От головы колонны навстречу батарее выехал Дроздовский. В седле сидел прямо, как влитой, непроницаемое лицо под слегка сдвинутой со лба шапкой строго; перешел с рыси на шаг, остановил крепконогую, длинношерстную, с влажной мордой монгольскую лошадь обочь колонны, придирчивым взглядом осматривая растянутые взводы, цепочкой и вразброд шагающих солдат. У всех затягивали подбородки потолстевшие от инея подшлемники, воротники подняты, вещмешки неравномерно покачивались на сгорбленных спинах. Ни одна команда, кроме команды «привал», уже не могла подтянуть, подчинить этих людей, отупевших в усталости. И Дроздовского раздражала полусонная нестройность батареи, равнодушие, безразличие ко всему людей; но особенно раздражало то, что на передках были сложены солдатские вещмешки и чей-то карабин палкой торчал из груды вещмешков на первом орудии.

— Подтяни-ись! — Дроздовский упруго привстал в седле.— Держать нормальную дистанцию! Чьи вещмешки на передке? Чей карабин? Взять с передка!..

Но никто не двинулся к передку, никто не побежал, только шагавшие ближе к нему чуть ускорили шаги, вернее, сделали вид, что понята команда. Дроздовский, все выше привставая на стременах, пропустил мимо себя батарею, затем решительно щелкнул плеткой по голенищу валенка:

— Командиры огневых взводов, ко мне!

Кузнецов и Давлатян подошли вместе. Слегка перегнувшись с седла, ожигая обоих прозрачными, покрасневшими на ветру глазами, Дроздовский заговорил с резкостью:

— То, что нет привала, не дает права распускать на марше батарею! Даже карабины на передках! Что, может, люди уже вам не подчиняются?

— Все устали, комбат, до предела,— негромко сказал Кузнецов.— Это же ясно.

— Даже лошадь вон как дышит!..— поддержал Давлатян и погладил влажную, в иглистых сосульках морду комбатовой лошади, паром дыхания обдавшей его рукавицу.

Дроздовский дернул повод, лошадь вскинула голову.

— Командиры взводов у меня, оказывается, лирики! — ядовито заговорил он.— «Люди устали», «лошадь еле дышит». В гости чай пить идем или на передовую? Добренькими хотите быть? У добреньких на фронте люди, как мухи, гибнут! Как воевать будем — со словами «простите, пожалуйста»? Так вот... если через пять минут карабины и вещмешки будут лежать на передках, вы, командиры взводов, сами понесете их на своих плечах! Ясно поняли?

— Ясно.

Чувствуя злую правоту Дроздовского, Кузнецов поднес руку к виску, повернулся и зашагал к передкам. Давлатян побежал к орудиям своего взвода.

— Чьи шмотки? — крикнул Кузнецов, стаскивая с передка загремевший котелком вещмешок.— Чей карабин?

Солдаты, оборачиваясь, машинально поправляли за плечами вещмешки; кто-то сказал угрюмо:

— Кто барахло оставил? Чибисов, никак?

— Чибисо-ов! — с сержантской интонацией заорал Нечаев, напрягая горло,— К лейтенанту!

Маленький Чибисов, в не по росту широкой, короткой, словно толстая юбка, шинели, хромая, натыкаясь на солдат, спешил к передкам от повозок боепитания, издали выказывая всем выжидательную, застывшую улыбку.

— Ваш вещмешок? И карабин? — спросил Кузнецов, испытывая неловкость оттого, что Чибисов засуетился у передка, взглядом и движениями выражая свою ошибку.

— Мой, товарищ лейтенант, мой...— Пар оседал на инистую шерсть подшлемника, голос его был глух.— Виноват я, товарищ лейтенант... Ногу натер до крови. Думал, разгружусь — малость ноге полегче будет.

— Устали? — неожиданно тихо спросил Кузнецов и посмотрел на Дроздовского. Тот, выпрямившись в седле,

ехал вдоль колонны и наблюдал за ними сбоку. Кузнецов вполголоса приказал: — Не отставать, Чибисов. Идти за передками.

— Слушаюсь я, слушаюсь...

Рыхло и пьяно припадая на натертую ногу, Чибисов заковылял рысцой за орудием.

— А этот сидор чей? — спросил Кузнецов, взяв второй вещмешок.

В это время сзади послышался смех. Кузнецов подумал, что смеются над ним, над его старшинской распорядительностью или над Чибисовым, и оглянулся.

Слева от орудия шел по обочине медвежьей развалкой Уханов с Зоей, посмеиваясь, говорил ей что-то, а она, будто переломленная ремнем в талии, рассеянно слушала, кивала ему потным, усталым лицом. Санитарной сумки на ее боку не было,— наверно, положила на повозку санроты.

Они давно, по-видимому, шли вместе за батарейными тылами и сейчас оба догнали орудия. Утомленные солдаты недоброжелательно косились на них, как бы отыскивая в наигранной веселости Уханова тайный, раздражающий смысл.

— И чего конюшенным жеребцом заливается? — заметил пожилой ездовой Рубин, покачиваясь в седле квадратным телом, то и дело корябая рукавицей зябнущий подбородок.— Ровно показать перед девкой хочет героическое состояние нервов: живой, мол, я! Ты глядика, сосед,— обратился он к Чибисову,— как наша зелень батарейная вокруг девки-то городские амуры разводит. Ровно и воевать не думают!

— А? — отозвался Чибисов, старательно поспешая за передком, и, высморкавшись, вытер пальцы о полу шинели.— Прости за-ради бога, не слышал я...

— Глухарь аль притворяешься, пленный? Щенки, говорю! — крикнул Рубин.— Нам с тобой бабу хоть в полной готовности давай — отказались бы... А им хоть бы хны!

— А? Да-да-да,— забормотал Чибисов.— Хоть бы хны... верно говоришь.

— Чего «верно»? Блажь городская в башках — вот что! Всё хи-хи да ха-ха вокруг юбки. Легкомыслие!

— Не болтайте глупости, Рубин! — сказал сердито Кузнецов, отстав от передка и глядя в направлении белого полушубка Зои.

Вперевалку ступая, Уханов продолжал рассказывать ей что-то, но Зоя теперь не слушала его, не кивала ему. Подняв голову, она в каком-то ожидании смотрела на Дроздовского, тоже, как и все, обернувшегося в их сторону, и потом, как по приказу, пошла к нему, мгновенно забыв про Уханова. С незнакомым, покорным выражением приблизясь к Дроздовскому, она неровным голосом окликнула:

— Товарищ лейтенант...— и, шагая рядом с лошадью, подняла к нему лицо.

Дроздовский в ответ не то поморщился, не то улыбнулся, украдкой тыльной стороной перчатки погладил ее по щеке, проговорил:

— Вам-то советую, санинструктор, сесть на повозку санроты. В батарее вам делать нечего.

И пришпорил коня в рысь, исчез впереди, в голове колонны, откуда неслась команда: «Спуск, одерживай!», а солдаты затеснились вокруг упряжек, около передков, облепили орудия, замедлившие движение перед спуском.

— Так что, мне в санроту? — сказала Зоя грустно.— Хорошо. Я пойду. До свидания, мальчики. Не скучайте.

— Зачем в санроту? — сказал Уханов, совершенно не обиженный кратким ее невниманием.— Садитесь на орудийный передок. Куда это он вас гонит? Лейтенант, найдется место для санинструктора?

Ватник Уханова распахнут на груди до ремня, подшлемник снят, шапка с незавязанными болтающимися ушами оттиснута на затылок, открывая до красноты нажженный ветром лоб, светлые, как бы не знающие стыда глаза сощурены.

— Для санинструктора может быть исключение,— ответил Кузнецов.— Если вы устали, Зоя, садитесь на передок второго орудия.

— Спасибо, родненькие,— оживилась Зоя.— Я совсем не устала. Кто вам сказал, что я устала? Шапку даже хочется снять: до чего жарко! И пить немного хочется... Пробовала снег — от него какой-то железный вкус во рту!

— Хотите глоток для бодрости?

Уханов отстегнул фляжку от ремня, намекающе потряс ее над ухом, во фляжке забулькало.

— Неужели?.. А что здесь, Уханов? — спросила Зоя, и заиндевевшие стрелочки бровей поднялись.— Вода? У вас осталось?

— Попробуйте.— Уханов отвинтил металлическую пробку на фляжке.— Если не поможет — убьете меня. Вот из этого карабина. Стрелять умеете?

— Как-нибудь сумею нажать спусковой крючок. Не беспокойтесь!

Кузнецову неприятна была эта ее неестественная оживленность после мимолетного разговора с Дроздовским, это необъяснимое ее расположение и доверчивость к Уханову, и он сказал строго:

— Уберите фляжку. Что вы предлагаете? Воду или водку?

— Нет уж! А может быть, я хочу! — Зоя тряхнула головой с вызывающей решимостью.— Почему вы меня, лейтенант, так опекаете? Родненький... вы что, ревнуете? — Она погладила его по рукаву шинели.— Этого совсем не надо, Кузнецов, прошу вас, честное слово. Я одинаково отношусь к вам обоим.

— Я не могу вас ревновать к вашему мужу,— сказал Кузнецов полуиронически, и это, почудилось, прозвучало вымученной пошлостью.

— К моему мужу? — Она расширила глаза.— Кто вам сказал, что у меня муж?

— Вы сами сказали. Разве не помните? А впрочем, простите, Зоя, это не мое дело, хотя я был бы рад, если бы у вас был муж.

— Ах да, сказала тогда Нечаеву... Какая чепуха! — Она рассмеялась.— Я хочу быть вольным перышком. Если муж — значит, дети, а это совершенно невозможно на войне, как преступление. Понимаете вы? Я хочу, чтобы вы знали это, Кузнецов, и вы, Уханов... Просто я вам верю, вам обоим! Но пусть у меня будет какой-то серьезный и грозный муж, если вам хочется, Кузнецов! Ладно?

— Мы запомнили,— ответил Уханов.— Но это не играет роли.

— Тогда спасибо вам, братики. Вы все-таки хорошие. С вами можно воевать.

И, закрыв глаза, как перед ощущением боли, преодолевая себя, отпила глоток из фляжки, закашлялась, тотчас засмеялась, помахав варежкой перед вытянутыми, дующими губами. С отвращением, как заметил Кузнецов, она отдала фляжку, посмотрела сквозь влажные ресницы на Уханова, невозмутимо завинчивающего пробку, но сказала не без веселого изумления:

— Какая гадость! Но как все же хорошо! У меня сразу лампочка в животе зажглась!

— Может, повторить? — спросил добродушно Уханов.— Вы разве в первый раз? Это самое...

Зоя качнула головой.

— Нет, я пробовала...

— Уберите фляжку, и чтоб я не видел! — резко сказал Кузнецов.— И проводите Зою в санроту. Там ей будет лучше!

— Ну, зачем вы хотите мной командовать, лейтенант? — шутливо спросила Зоя.— Вы, по-моему, подражаете Дроздовскому, но не очень умело. Он бы железным голосом приказал: «В санроту!», и Уханов ответил бы: «Есть».

— Я бы подумал,— сказал Уханов.

— Ничего не думали бы. «Есть» — и все!

— Од-держивай!.. Спуск! — донеслась спереди угрожающая команда.— Тормоз! Расчеты к орудиям!

Кузнецов повторил команду и пошел вперед, в голову батареи, где вокруг упряжки первого орудия густо столпились солдаты, руками придерживая станины и колеса, упираясь плечами в щит, в передок, а ездовые с руганью и криками натягивали поводья, сдерживали лоснящихся от пота лошадей, приседающих на задние ноги перед крутым спуском в глубокую балку.

Передняя батарея миновала накатанный, натоптанный, стеклом вспыхивающий ледяной спуск, благополучно прошла по дну балки, и орудия и передки, по-муравьиному облепленные кишащими солдатами, подталкиваемые ими снизу, подымались на противоположный скат, за которым извивами текла и текла в степи нескончаемая колонна. А далеко внизу, на дороге, поджидающе стоял командир взвода управления старшина Голованов и кричал надсадным голосом:

— Давай... давай на меня!.

— Осторожней! Ноги лошадям не переломать! Расчеты од-держивай! — скомандовал Дроздовский, подъезжая на лошади к краю спуска.— Командиры взводов!.. Погубим лошадей — на себе орудия покатим! Одерживай! Медленней! Медленней!..

«Да, если переломаем ноги лошадям, на себе придется тащить орудия!» — подумал в возбуждении Кузнецов, вдруг сознавая, что и он, и все остальные полностью подчинены чьей-то воле, которой никто не имеет права

сопротивляться в неистово-неудержимом, огромном потоке, где уже не было отдельного человека с его бессилием и усталостью. И, упиваясь этой поглощающей растворенностью во всех, он повторил команду:

— Держать, держать!.. Все к орудиям! — и бросился к колесам первого передка, в гущу солдатских тел, а расчет с озверелыми лицами, с хрипом навалился на передок, на колеса заскользившего по крутому скату орудия.

— Стой, зараза! Ос-сади! — вразброд закричали на лошадей ездовые. Они будто очнулись и, крича, страшно раскрывали рты в ледяной бахроме на подшлемниках.

Колеса передка и орудия не вращались, стянутые цепями тормоза, но цепь не врезалась в накатанную до полированной гладкости, набитую дорогу, и валенки солдат разъезжались, скользили по скату, не находя точек опоры. А тяжесть нагруженного снарядами передка и тяжесть орудия неудержимо наваливались сверху. Деревянные вальки изредка ударяли по задним натруженным ногам присевших коренников с задранными мордами; ездовые дико закричали, оглядываясь на расчет, ненавидя и умоляя взглядом,— и весь клубок трудно дышащих, нависших на колеса тел покатился вниз, убыстряя и убыстряя движение.

— Одерживай! — выдохнул Кузнецов, чувствуя необоримую тяжесть орудия, видя рядом налитое кровью лицо Уханова, широкой своей спиной упершегося в передок; а справа — выкаченные напряжением круглые глаза Нечаева, его белые усики, и неожиданно в разгоряченной голове мелькнула мысль о том, что он знает их давно, может быть, с тех страшных месяцев отступления под Смоленском, когда он не был лейтенантом, но когда вот так же вытягивали орудия при отступлении. Однако он не знал их тогда и удивился этой мысли.— Ноги, ноги берегите...— выдавил Кузнецов шепотом.

Орудие с передком скатывалось по откосу в балку, визжала по снегу цепь, оскальзывались на спуске потные коренники, с резким звоном выбивая копытами острые брызги льда; ездовые, отваливаясь назад, еле удерживаясь в седлах, натягивали поводья, но правая лошадь переднего уноса внезапно упала брюхом на дорогу и, пытаясь встать, натужно дергая головой, покатилась вниз, потянув за собой коренников.

Ездовой на левой уносной удержался в седле, с испуганно-сумасшедшим видом отшатнулся вбок, не в силах

поднять истошным криком правую, а она билась о дорогу, скользила на боку, рвала, тянула постромки. С отчаянием Кузнецов ощутил, как орудие неслось по скату, настигая упавшую лошадь, увидел, как внизу старшина Голованов бросился к ней навстречу, потом отскочил в сторону и опять кинулся с попыткой схватить за повод.

— Одерживай!..— крикнул Кузнецов.

И, ощутив невесомую легкость в плече, не сразу понял, что передок вместе с орудием, скатившись вниз, затормозил на дне балки. С крутой руганью солдаты утомленно распрямляли спины, потирая плечи, смотрели вперед, на упряжку.

— Что с уносной? — едва выговорил Кузнецов, пошатываясь на одеревеневших ногах, и побежал к лошадям.

Здесь уже стояли Голованов с разведчиками, ездовой Сергуненков, его напарник с коренников Рубин. Все глядели на лошадь, лежавшую на боку посреди дороги. Сергуненков, худенький, бледный, с испуганным лицом подростка, с длинными руками, озираясь беспомощно, вдруг взялся за повод, а молодая уносная, будто поняв, что он хотел сделать, замотала головой, вырываясь, умоляюще кося влажными кроваво-зеркальными, возбужденными глазами. Сергуненков отдернул руку и, оглянувшись в молчаливом отчаянии, присел перед уносной на корточки. Поводя мокрыми потными боками, лошадь заскребла по льду задними копытами, в горячке стараясь подняться, но не поднялась, и по тому, как были неестественно подогнуты ее передние ноги, Кузнецов понял, что она не подымется.

— Да вжарь ты ей разá, Сергуненков! Чего раскорячился? Не знаешь норова этой сволочи-симулянтки? — в сердцах выругался ездовой с коренников Рубин, солдат с обветренным, грубым лицом, и хлестнул кнутом по своему наножнику.

— Сам ты сволочь! — тонким, протяжным голосом крикнул Сергуненков.— Не видишь разве?

— А чё видеть-то? Знаю ее: все взбрыкивает! Играться бы только. Кнута ей — враз очухается!

— Заткнись, Рубин, надоел! — Уханов предупреждающе толкнул его плечом.— Сказать хочешь — подумай.

— И до фронта не дошла лошаденка-то,— вздохнул с жалостью Чибисов.— Беда какая...

— Да, кажется, передние ноги,— сказал Кузнецов, обходя уносную.— Ну, что вы наделали, ездовые, черт вас возьми! Держали поводья, называется!

— А что делать, лейтенант? — проговорил Уханов.— Конец лошадке. На трех остались. Запасных нет.

— На горбу, значит, потащим орудие? — спросил Нечаев, покусывая усики.— Давно мечтал. С детства.

— Вот комбат сюда...— робко сказал Чибисов.— Разберется он.

— Что у вас, первый взвод? Почему задержка?

Дроздовский спустился на своей монгольской лошади в балку, подъехал к толпе солдат, расступившихся впереди, быстро взглянул на уносную, тяжело носившую боками, перед которой сидел на корточках, ссутулясь, Сергуненков. Тонкое лицо Дроздовского казалось спокойно-застывшим, но в зрачках плескалась сдерживаемая ярость.

— Я... вас... предупреждал, первый взвод! — разделяя слова, заговорил он и указал плеткой на ссутуленную спину Сергуненкова.— Какого дьявола растерялись? Куда смотрели? Ездовой, вы что, молитесь? Что с лошадью?

— Вы же видите, товарищ лейтенант,— сказал Кузнецов.

Сергуненков, как слепой, обратил глаза к Дроздовскому, по детским щекам его из-под обмерзших ресниц катились слезы. Он молчал, слизывая языком эти светлые капельки, и, сняв рукавицу, с осторожной нежностью гладил морду лошади. Уносная не билась, не пыталась встать, а, раздувая живот, лежала тихо, понимающе, по-собачьи вытянув шею, положив голову на дорогу, со свистом дыша Сергуненкову в пальцы, щупая их мягкими губами. Что-то невероятно тоскливое, предсмертное было в ее влажных, косящих на солдат глазах. И Кузнецов заметил, что на ладони Сергуненкова был овес, вероятно, давно припрятанный в кармане. Но голодная лошадь не ела, лишь, вздрагивая влажными ноздрями, обнюхивала ладонь ездового, слабо хватая губами и роняя на дорогу мокрые зерна. Она улавливала, видимо, давно забытый в этих снежных степях запах, но вместе с тем чувствовала и другое, то неотвратимое, что отражалось в глазах и позе Сергуненкова.

— Ноги, товарищ лейтенант,— заговорил слабым голосом Сергуненков, все слизывая языком капельки слез

с уголков рта.— Вон... как человек, мучается... И надо же ей было вправо пойти... Испугалась чего-то... Я ведь ее сдерживал... молодая она кобылка. Неопытная под орудием...

— Держать надо было, ежова голова! А не о девках мечтать! — злобно выговорил ездовой Рубин.— Чего развесил нюни-то?.. Тьфу, щенок!.. Людей тут скоро без разбору, а он над лошаденкой... Смотреть тошно! Пристрелить надо, чтоб не мучилась,— и дело с концом!

Весь квадратный, неповоротливый, толсто одетый — в ватнике, в шинели, в стеганых штанах,— с наножником на правой ноге, с карабином за спиной, этот ездовой неожиданно вызвал у Кузнецова неприязнь своей злобной решительностью. Слово «пристрелить» прозвучало приговором на казнь невиновного.

— Придется, видать,— проговорил кто-то.— А жаль кобылку...

При отступлении под Рославлем Кузнецов видел раз, как солдаты из жалости пристреливают раненых лошадей, переставших быть тягловой силой. Но и тогда это походило на противоестественный, неоправданно жестокий расстрел ослабевшего.

— Не дам! — тонким голосом вскрикнул Сергуненков и, вскочив, шагнул к Рубину.— Что предлагаешь, живодер? Что предлагаешь? Не дам лошадь! В чем она виновата?

— Прекратите истерику, Сергуненков! Раньше надо было думать. Никто, кроме вас, не виноват. Возьмите себя в руки! — оборвал Дроздовский и указал плеткой на кювет.— Оттащите лошадь с дороги, чтоб не мешала. Продолжать спуск! По местам!

Кузнецов сказал:

— Второе орудие стоило бы отцепить от передка и спускать на руках. Так будет вернее.

— Как угодно, хоть на плечах спускайте! — ответил Дроздовский, глядя поверх головы Кузнецова на солдат, неловко волочивших лошадь к обочине, и покривился.— Немедленно пристрелить! Рубин!..

А уносная будто поняла смысл отданного распоряжения. Прерывистое, визгливое ее ржание прорезало морозный воздух. Как крик о боли, о защите, этот вибрирующий визг вонзился в уши Кузнецова. Он знал, что лошади причиняли страдания, сталкивая ее, живую, с переломанными ногами, к кювету, и, готовый зажмуриться,

увидел ее последнее усилие подняться, как бы в доказательство, что она еще жива, что убивать ее не нужно. Ездовой Рубин, ощерив крепкие зубы, с торопливой озлобленностью на багровом лице, спеша, отводил затвор винтовки, а ствол неприцельно колебался, направленный в поднятую лошадиную голову, мокрую, потную, с трясущимися от последнего умоляющего ржания губами.

Сухо треснул выстрел. Рубин выругался и, взглянув на лошадь, дослал в ствольную коробку второй патрон. Лошадь уже не ржала, а тихо из стороны в сторону поводила головой, теперь не защищаясь, и, дрожа ноздрями, фыркала только.

— Раззява, стрелять не умеешь! — с бешенством выкрикнул Уханов, стоявший возле замершего в оцепенении Сергуненкова, и рванулся к ездовому.— На мясокомбинате тебе работать!

Он выхватил винтовку из рук Рубина и, тщательно прицелясь, в упор выстрелил в голову лошади, ткнувшейся мордой в снег. Сразу побелев лицом, он выщелкнул патрон, вонзившийся донышком в гребень сугроба, швырнул винтовку Рубину.

— Возьми свою палку, мясник! Чего дурындасом ухмыляешься? В носу чешется?

— Вот ты-то мясник, видать, хоть и городской, шибко грамотный,— пробормотал Рубин обиженно и, туго перегнув толстое, квадратное тело, поднял винтовку, рукавом смахнул с нее снег.

— Морду береги, я шибко грамотный, запомни! — проговорил Уханов и повернулся к Сергуненкову, грубовато похлопал его по плечу.— Ладно. Еще не все потеряно. Достанем, брат, трофейных лошадей в Сталинграде. Я обещаю.

— Паршерон у немцев называется,— заметил старшина Голованов.— Добудем!

— Не паршерон, а першерон,— поправил Уханов.— Пора знать! Что, первый год воюешь?

— А кто их разберет?

— Разбирайся!

— Спускать второе! — приказал Дроздовский и, отъезжая ко второму орудию, добавил: — Все правильно, Уханов.

— А вы меня не хвалите, товарищ лейтенант! — с наглой насмешливостью ответил Уханов. В его светлых глазах не остывал горячий блеск, как бы вызывающий

на ссору.— Рано еще... Ошибаетесь! Я не убийца лошадей.

Кузнецов подал команду отцеплять передок от второго орудия.

Привал был объявлен на заходе солнца, когда колонна втянулась в какую-то сожженную станицу. И тут всех удивили первые пепелища по бокам дороги, одинокие остовы обугленных печей под остро торчащими ветлами по берегам замерзшей реки, где туманом подымался ядовито-красный пар из прорубей. На земле и по западному горизонту горел кроваво-багровый свет декабрьского заката, такого накаленно-морозного, пронзительного, как боль, что лица солдат, обледенелые орудия, крупы лошадей, остановившиеся по обочине машины,— все было заковано им, цепенело в его металлической яркости, в его холодном огне на сугробах.

— Братцы, куда мы идем? Немец где?

— Деревня здесь какая-то была. Гляди, ни одной хаты. Что такое? Шел к Федьке на свадьбу, а к Сидору на похороны пришел!

— С какой стати про похороны запел? Дойдем еще до Сталинграда. Начальству видней...

— Когда ж бой тут был?..

— Давно, стало быть.

— Согреться бы где-нибудь, а? Закоченеем до передовой.

— А ты мне скажи, где она, передовая?

Еще километра за три до станицы, на перекрестке степных дорог, когда большая группа танков — свежепокрашенных белым «тридцатьчетверок» — на несколько минут остановила колонну, двигаясь наперерез ей в сторону заката, пристрелочный бризантный с хрустом разломился, кометой сверкнул в воздухе над танками, черной пылью припорошил снег сбоку дороги. Никто не лег сначала, не зная, откуда по-шальному прилетел он, солдаты глядели на танки, преградившие колонне путь. Но едва прошли «тридцатьчетверки»,— где-то сзади послышались тупые удары выстрелов отдаленных батарей, и дальнобойные снаряды с долгим сопением засверлили воздушное пространство, с бомбовым грохотом разорвались на перекрестке. Все подумали, что немцы просматривают этот перекресток с тыла, и в изнеможе-

нии легли прямо на обочине — ни у кого не было сил бежать далеко от дороги. Обстрел скоро кончился. Потерь не было, колонна потянулась дальше. Люди шагали, еле волоча ноги, мимо огромных свежих воронок, луковый запах немецкого тола рассеивался в воздухе. Этот запах возможной смерти напоминал уже не об опасности, а о недосягаемом теперь Сталинграде, о невидимых немцах на таинственных, далеких огневых, откуда сейчас стреляли они.

И Кузнецов, то впадая в короткое забытье, то слыша соединенные шаги и слитное движение колонны, думал об одном: «Когда скомандуют привал? Когда привал?»

Но когда наконец после многочасового марша вошли в сожженную станицу, когда спереди колонны долгожданным призывом запорхала команда «привал», никто не ощутил физического облегчения. Закоченевшие ездовые сползли с дымящихся лошадей; спотыкаясь, непрочно переступая на одеревеневших ногах, отошли к обочинам, вздрагивая, справляя тут же малую нужду. А артиллеристы в бессилии повалились на снег, за повозками и близ орудий, тесно прижимаясь друг к другу боками, спинами, тоскливо оглядывали то, что было недавно станицей: угрюмые тени печей, как памятники на кладбище, дальние, резко очерченные контуры двух уцелевших амбаров — черные печати среди морозно пылавшего по западу неба.

Это огненно-подожженное закатом пространство было заставлено автомашинами, тракторами, «катюшами», гаубицами, повозками, густо скопившимися здесь. Однако привал на улицах несуществующей станицы, без тепла, без кухонь, без ощущения близкой передовой, походил на ложь, на несправедливость, которую чувствовал каждый. С запада дул ветер, нес ледяные иголочки снега, приторно, печально пахло пеплом пожарищ.

Еле пересиливая себя, чтобы не упасть, Кузнецов подошел к ездовым первого орудия. Рубин, еще более побагровев, с угрюмой замкнутостью ощупывал постромки коренников, потно-скользкие бока лошадей парились. Молоденький Сергуненков, непрощающе сомкнув белесые брови, стоял возле своей единственной уносной, подставлял к жадно хватающим губам усталой лошади горстку овса на ладони, другой рукой гладил, трепал ее влажную нагнутую шею. Кузнецов посмотрел на ездовых, не замечающих один другого, хотел сказать нечто

примирительное им обоим, но не сказал и пошел к расчетам с желанием лечь в середину солдатских тел, прислониться к чьей-нибудь спине и, загородив от жгучего ветра лицо воротником, лежать, дышать в него, согреваясь так.

— ...Подъем! Кончай привал! — потянулось по колонне.— Приготовиться к движению!

— Моргнуть не успели, кончай ночевать? — переговаривались в темноте раздраженные голоса.— Все гоняют.

— Пожевать бы чего надо, а старшины с кухней нету на горизонтах. Воюет небось в тылах!

«Ну вот опять,— подумал Кузнецов, подсознательно ожидавший эту команду и чувствуя до дрожи в ногах свинцовую усталость.— Так где же фронт? Куда движение?..»

Он не знал, а только догадывался, что Сталинград оставался где-то за спиной, похоже было, в тылу, не знал, что вся армия, и, следовательно, их дивизия, в состав которой входили артполк и его батарея, его взвод, форсированно двигались в одном направлении — на юго-запад, навстречу начавшим наступление немецким танковым дивизиям с целью деблокировать окруженную в районе Сталинграда многотысячную армию Паулюса. Он не знал и того, что его собственная судьба и судьба всех, кто был рядом с ним,— тех, кому суждено было умереть, и тех, кому предстояло жить,— теперь стала общей судьбой независимо от того, что ждало каждого...

— Приготовиться к движению! Командиры взводов, к командиру батареи!

В сгустившихся сумерках без особой охоты, с вялой неповоротливостью подымались солдаты. Отовсюду доносились кашель, кряхтенье, порой ругань. Расчеты, недовольно вставая к орудиям, разбирали положенные на станины винтовки и карабины, поминая богом кухню и старшину. А ездовые зло снимали торбы с морд жующих лошадей, локтями замахиваясь на них: «Но, дармоеды, все бы вам жрать!» Впереди начали постреливать выхлопами, загудели моторы — по улице медленно вытягивались для движения гаубичные батареи.

Лейтенант Дроздовский в группе разведчиков и связистов стоял на середине дороги, вблизи потушенного костра, чадящего по ногам белым дымом. Когда подошел Кузнецов, он светил карманным фонариком на карту

под целлулоидом планшетки, которую держал в руках огромный старшина Голованов; тоном, не терпящим возражений, Дроздовский говорил:

— Вопросы излишни. Конечный пункт маршрута неизвестен. Направление вот по этой дороге, на юго-запад. Вы со взводом впереди батареи. Батарея по-прежнему двигается в арьергарде полка.

— Ясно-понятно,— утробно пророкотал Голованов и в окружении разведчиков и связистов пошел по дороге вперед, мимо темнеющих повозок.

— Лейтенант Кузнецов? — Дроздовский приподнял фонарик. От его жестковатого света стало больно глазам.

Слегка отстраняясь, Кузнецов сказал:

— Можно без освещения? Я и так вижу. Что нового, комбат?

— Во взводе все в порядке? Отставших нет? Больных нет? Готовы к движению?

Дроздовский задавал вопросы механически, думая, видно, о другом, и Кузнецова вдруг обозлило это.

— Люди не успели отдохнуть. Хотел бы спросить: где кухня, комбат? Почему отстал старшина? Ведь все голодные как черти! А к движению готовы, что спрашивать? Никто не заболел, не отстал. Дезертиров тоже нет...

— Что это за доклад, Кузнецов? — оборвал Дроздовский.— Недовольны? Может быть, будем сидеть сложа ручки и ждать жратву? Вы кто: командир взвода или какой-нибудь ездовой?

— Насколько мне известно, я командир взвода.

— Незаметно! Плететесь на поводу у всяких Ухановых!.. Что это у вас за настроение? Немедленно во взвод! — ледяным тоном приказал Дроздовский.— И готовьте личный состав не к мыслям о жратве, а к бою! Вы меня, лейтенант Кузнецов, удивляете! То люди у вас отстают, то лошади ноги ломают... Не знаю, как мы воевать вместе будем!

— Вы меня тоже удивляете, комбат! Можно разговаривать и иначе. Лучше пойму,— ответил Кузнецов неприязненно и зашагал в потемки, наполненные гудением моторов, ржанием лошадей.

— Лейтенант Кузнецов! — окликнул Дроздовский.— Назад!..

— Что еще?

Луч фонарика приблизился сзади, дымясь в морозном тумане, уперся в щеку защекотавшим светом.

— Лейтенант Кузнецов!..— Узкое лезвие света резануло по глазам; Дроздовский зашел вперед, преградив путь, весь натянувшись струной.— Стой, я приказал!

— Убери фонарь, комбат,— тихо проговорил Кузнецов, чувствуя, что́ может произойти между ними в эту минуту, но именно сейчас каждое слово Дроздовского, его непрекословно чекапящий голос поднимали в Кузнецове такое необоримое, глухое сопротивление, как будто то, что делал, говорил, приказывал ему Дроздовский, было упрямой и рассчитанной попыткой напомнить о своей власти и унизить его.

«Да, он хочет этого»,— подумал Кузнецов, и, подумав так, ощутил передвинутый вплотную луч фонарика и в слепящих оранжевых кругах света услышал шепот Дроздовского:

— Кузнецов... Запомни, в батарее я командую. Я!.. Только я! Здесь не училище! Кончилось панибратство! Будешь шебаршиться — плохо для тебя кончится! Церемониться не стану, не намерен! Все ясно? Бегом во́ взвод! — Дроздовский отпихнул его фонарем в грудь.— Во взвод! Бегом!..

Ослепленный прямым светом, он не видел глаз Дроздовского, только уперлось в грудь что-то холодное и твердое, как тупое острие. И тогда, резко отведя в сторону его руку с фонариком и несколько придержав ее, Кузнецов выговорил:

— Фонарь ты все-таки уберешь... А насчет угрозы... смешно слушать, комбат!

И пошел по невидимой дороге, плохо различая в темноте контуры машин, передков, орудий, фигуры ездовых, крупы лошадей,— после света фонаря впереди шли круги, похожие на искрящиеся пятна погашенных костров в потемках. Возле своего взвода он натолкнулся на лейтенанта Давлатяна. Тот на бегу дохнул мягким приятным хлебным запахом, быстро спросил:

— Ты от Дроздовского? Что там?

— Иди, Гога. Интересуется настроением во взводе, есть ли больные, есть ли дезертиры,— сказал Кузнецов не без злой иронии.— У тебя, по-моему, есть, а?

— Жуткая глупистика! — школьным своим голосом отозвался Давлатян и, грызя сухарь, пренебрежительно добавил: — Чушь в квадрате!

Он исчез в темноте, унося с собой этот успокоительный, домашний запах хлеба.

«Именно глупистика и истерика,— подумал Кузнецов, вспомнив предупреждающие слова Дроздовского и чувствуя в них противоестественную оголенность.— Он что? Мстит мне за Уханова, за сломавшую ноги лошадь?»

Издали, передаваемая по колонне, как восходящая по ступеням, приближалась знакомая команда «шагом марш». И Кузнецов, подойдя к упряжке первого орудия, с проступающими на лошадях силуэтами ездовых, повторил ее:

— Взвод, шагом ма-арш!..

Колонна разом двинулась, заколыхалась, застучали вальки, слитно завизжал под примерзшими колесами орудий снег. Вразнобой застучали шаги множества ног.

А когда взвод стал вытягиваться по дороге, кто-то сунул в руку Кузнецова жесткий колючий сухарь.

— Как зверь голодный, да? — расслышал он голос Давлатяна.— Возьми. Веселее будет.

Разгрызая сухарь, испытывая тягуче-сладкое утоление голода, Кузнецов сказал растроганно:

— Спасибо, Гога. Как же он у тебя сохранился?

— А ну тебя! Чепуху говоришь. К передовой идем, да?

— Наверно, Гога.

— Скорей бы, знаешь, честное слово...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В то время как в высших немецких штабах все, казалось, было предопределено, разработано, утверждено и танковые дивизии Манштейна начали бои на прорыв из района Котельниково в истерзанный четырехмесячной битвой Сталинград, к замкнутой нашими фронтами в снегах и руинах более чем трехсоттысячной группировке генерал-полковника Паулюса, напряженно ждущей исхода,— в это время еще одна наша свежесформированная в тылу армия по приказу Ставки была брошена на юг через беспредельные степи навстречу армейской ударной группе «Гот», в состав которой входили тринадцать дивизий. Действия и той и другой сторон напоминали как бы чаши весов, на которые были теперь положены последние возможности в сложившихся обстоятельствах.

...То обгоняя колонну, то отставая, трофейный «хорьх» мчался, трясясь по обочине. Генерал Бессонов,

втянув голову в воротник, сидел неподвижно, глядя сквозь ветровое стекло, молчал с момента выезда из штаба армии. Это долгое молчание командующего воспринималось в машине, как его нелюдимость, как препятствие, которое никто не решался преодолеть первым. Молчал член Военного совета дивизионный комиссар Веснин. И, откинувшись в угол заднего сиденья, притворялся спящим адъютант Бессонова, молодой, общительного нрава майор Божичко, которого с самого начала поездки занимала мысль рассказать последний штабной анекдот, но ловкого случая не было — не рисковал нарушить прочного безмолвия начальства.

Но Бессонов не думал о том, что эта его замкнутость может быть воспринята как нежелание общаться, как самоуверенное равнодушие к окружающим. Давно по опыту знал, что разговорчивость или молчание ничего не могли изменить в его взаимоотношениях с людьми. Он не хотел нравиться всем, не хотел казаться приятным для всех собеседников. Подобная мелкая тщеславная игра с целью завоевания симпатий всегда претила ему, раздражала его в других, отталкивала, словно пустопорожняя легковесность, душевная слабость неуверенного в себе человека. Бессонов давно усвоил, что на войне лишние слова — это пыль, заволакивающая порой истинное положение вещей. Поэтому, приняв армию, он мало расспрашивал о достоинствах и недостатках командиров корпусов и дивизий, объехал их, сухо познакомился, близко взглянул на каждого, не совсем удовлетворенный, однако не совсем и разочарованный.

То, что Бессонов видел через стекло «хорьха» при изредка вспыхивающем в морозном тумане свете фар,— по-бабьи затянутые в заиндевелые подшлемники лица солдат и командиров, нескончаемое движение волочащихся по дороге валенок,— говорило ему не о пугающем падении «боевого духа», а о предельной, опустошающей усталости, отделенной от его власти. В бой же этим затянутым в подшлемники солдатам вступить предстояло, и, может быть, каждому пятому из них предстояло умереть скорее, чем они думали. Они не знали и не могли знать о том, где начнется бой, не знали, что многие из них совершают первый и последний марш в своей жизни. А Бессонов ясно и трезво определял меру приближающейся опасности. Ему известно было, что на Котельниковском направлении фронт едва держится, что

немецкие танки за трое суток продвинулись на сорок километров в направлении Сталинграда, что теперь перед ними одна-единственная преграда — река Мышкова, а за нею ровная степь до самой Волги. Бессонов отдавал себе отчет и в том, что в эти минуты, когда, сидя в машине, он думал об известной ему обстановке, его армия и танковые дивизии Манштейна с одинаковым упорством двигались к этому естественному рубежу, и от того, кто первым выйдет к Мышковой, зависело многое, если не все.

Он хотел взглянуть на часы, но не взглянул, не пошевелился, подумав, что этот жест нарушит молчание, послужит поводом для разговора, чего ему не хотелось. Он по-прежнему молчал, каменно-неподвижно опираясь на палочку, надолго найдя удобное положение, вытянув к теплу мотора раненую ногу. Пожилой шофер, изредка косясь, смутно видел при слабом свечении приборов край хмурого свинцового глаза генерала, его сухую щеку, жестко сжатые губы. Возивший разных командующих, многоопытный шофер понимал молчание в машине по-своему — как следствие ссоры накануне поездки либо разноса со стороны фронтового начальства. Сзади иногда маленьким заревом вспыхивала спичка, краснел в потемках огонек комиссаровой папиросы, поскрипывала кожа портупеи; по-прежнему притворно посапывал там, в углу сиденья, всегда развеселый в общении Божичко.

«Чего-то ему не понравилось или характером нелюдим,— соображал шофер, в то же время при каждой вспышке папиросы за спиной мучаясь желанием сделать хоть одну затяжку.— И не курит, видать, с лица больной, зеленый. Или попросить разрешения: дозвольте, мол, одну цигарку, товарищ командующий, аж уши поопухали не куримши...»

— Включите фары,— сказал вдруг Бессонов.

Шофер вздрогнул от его голоса, включил фары. Мощная просека света вырубилась впереди, в морозном туманце. Мгла, рассеянная над дорогой под сильными фарами, клубясь, волнами ударила в стекла, запуталась в махающих «дворниках», обтекая машину синеватым дымом. На миг показалось — машина двигается по дну океана, ровный рокот мотора был само̀й звучащей материей в его глубинах под толщей воды.

Потом резко приблизилась, появилась справа, выросла, зачернела, хаотично засверкала под ярким светом

обледенелыми котелками, автоматами, винтовками колонна. Она сгрудилась кишащей толпой перед огромными, как занесенные снегом стога, танками, загородившими дорогу. Солдаты оборачивались на непривычно разящий свет машины — недовольные, усталые, точно белым пластырем залепленные подшлемниками лица — и одновременно кричали что-то, махали руками.

— К танкам,— приказал Бессонов шоферу.

— Видимо, ребята из механизированного корпуса,— сказал, оживляясь, член Военного совета Веснин.— Что же они, подлецы эдакие, столпотворение устроили! Пехоту обидели? — Он, однако, испытывая слабость к танкистам, произнес «подлецы» ласково и добавил с осторожным восхищением: — Вот орлы!

— Но ползающие, товарищ комиссар,— смешливо вставил сразу очнувшийся Божичко.

— Это не машины корпуса,— твердо поправил Бессонов.— Корпус Мамина движется вдоль железной дороги. Слева от нас. Здесь их сейчас не может быть. Ни при каких обстоятельствах.

— Разрешите выяснить, товарищ командующий? — бодрым голосом отозвался Божичко, вроде и не дремал вовсе. Он засиделся без дела, без разговоров и явно был рад возможности любого проявления энергии.

Бессонов приказал шоферу:

— Остановите машину.

Мощный мотор «хорьха» смолк, опал в тишине свет фар, щупальцами втянулся в радиатор. Разом сомкнулась ночь, исчезли колонна, танки. Бессонов подождал в машине, привыкая к потемкам, потом открыл дверцу, для упора выставив наружу палочку. Вылезая, он задел ногой за край дверцы и, уколотый болью в голени, постоял немного, досадуя на себя за то, что, вылезая, подумал, не задеть бы ногу, и вот таки задел.

Все было мутно-сине, морозно, звездно. Бессонов неясно различил среди этой снежной темноты извивной лентой вытянутую под звезды в степь, запруженную квадратными громадами танков колонну: длинные силуэты машин с зашторенными подфарниками, повозки, столпившихся солдат. Он слышал на дороге гул работающих на холостом ходу автомобильных и тракторных моторов; хриплые, насквозь промерзшие голоса кричали впереди вперемежку с матом:

— Эй, танкисты, техника ваша мать, чего окопались в тылу?

— Мать честная, они же лыка не вяжут!

— Убирай свое железо с дороги — растопырились, ровно на свадьбе! Небось водки нажрались — глаза-то залили!

— Освободи путь. Дай проехать!

— Братцы, сюда начальство какое-то... Две машины!..

Бессонов пошел на эти разноголосые крики, зная, что в войсках еще мало видели его, на полушубке не было петлиц и генеральских знаков различия, но при виде высокой папахи в толпе постепенно угасала ругань, и чей-то спохватившийся тенорок вблизи произнес:

— Никак генерал...

— Кто командир танкового подразделения? — спросил Бессонов не громким, а утомленным, скрипучим голосом.— Прошу доложить.

Стало тихо. От машины, переговариваясь, подошли член Военного совета Веснин и Божичко. Остановившись, тоже замолчали. Со второй машины прыгали на дорогу автоматчики — охрана.

Бессонов ждал. Никто не отозвался.

От темной громады крайнего танка с искрящимися на броне сизоватыми островками снега несло ледяным запахом накаленного морозом металла, прогорклой остылой соляркой. В машине, чудилось, никого не было, не горел свет, танк будто мертво потух. Только в башенном люке зачернело что-то, чуть заворошилось, заслоняя звезды, но оттуда — ни звука.

— Я говорю, пусть подойдет ко мне командир танкового подразделения,— повторил Бессонов тем же тоном.— Жду.

— Кого нужно? Ты, пехота, мной не командуй! Лучше объезжай танки стороной, от греха подальше! — отозвался сверху злой голос, и это смутно-черное, выступавшее из башни, заметнее задвигалось по звездам.

— Ну-ка, слезай к генералу, птичья голова в танкистском шлеме! Чего диалог устраиваешь? — сказал с едкой развеселостью Божичко и, схватившись за железные поручни, вскарабкался на броню, заторопил: — Мигом, мигом! К генералу!

— К какому еще генералу? Меня на пушку не бери! Не первый день... Генерал с пехотой топает, что ли? А в штабах кто?

— Давай, давай, милый, рассуждаешь длинно. Прыгай с неба на землю!

Наверху вспыхнул ручной фонарик, зеленоватым маскировочным светом выхватил из возникшей пустоты неба широкого и огромного, казалось снизу, человека в комбинезоне, надетом, по-видимому, на ватник. Человек медленно вылез из люка на броню, спрыгнул на дорогу.

— Божичко, посветите ему,— приказал Бессонов.— И подведите его.

— Давай, давай, парень, поближе, не робей,— сказал Божичко.

Танкист остановился перед Бессоновым, заметно уменьшившись на земле, но все-таки ростом на голову выше его, неуклюже мешковатый в своей полной форме, возбужденное лицо в разводах копоти, опущенные под светом фонарика глаза подведены чернотой гари, тоже черные подрагивающие губы запеклись. Он тяжело дышал, и почувствовался запах винного перегара.

— Пьяны? — спросил Бессонов.— Посмотрите на меня, танкист!

— Нет... товарищ генерал. Норму я... норму...— выдавил танкист, не подымая траурно-черных век, ноздри его раздувались.

— Номер части и звание? Откуда вы?

Запекшиеся губы танкиста лихорадочно зашевелились:

— Отдельный сорок пятый танковый полк, первый батальон; командир третьей роты лейтенант Ажермачев...

Бессонов пристально смотрел на него, еще не веря в точность ответа.

— Как это сорок пятый? Каким образом вы здесь оказались, командир роты? — очень внятно спросил он.— Сорок пятый полк придан другой армии и, как известно, держит оборону впереди! Отвечайте яснее.

Танкист вдруг вскинул голову, веки его разом открыли в каком-то клоунском, страшном обводе глаза, налитые хмельной мутью. Он глухо выговорил:

— Обороны там нет... Немцы заняли станицу. С тыла обошли. От моей роты осталось вот три машины... В двух — пробоины... Неполные экипажи... Я с остатками роты... вырвался...

— Вырвались? — переспросил Бессонов и, лишь в эту минуту все предельно ясно понимая, повторил это острое, с колючими лапками слово, так знакомое по

сорок первому году: — Вырвались? А остальные тоже, лейтенант, вырвались? Кто еще вырвался? — опять повторил недобро Бессонов, выделяя «вырвались» и «вырвался».

— Ах, шкура! — выругался кто-то в толпе солдат.

Танкист заговорил рыдающим голосом:

— Я не знаю... не знаю, кто вырвался. Я прорывался вот с этими танками... Связи не было, товарищ генерал... Рация не работала. Я не мог...

— Что можете добавить?

Бессонов, сдерживая гнев, ожженный болью в голени, уже не видел никого в отдельности, но слышал разрозненные звуки команд, гул моторов за спиной своей огромной, тяжко дышащей, остановленной, как живое тело, колонны, точно сломленной на пути туда, откуда вырвались в слепом отчаянии этот нетрезвый лейтенант-танкист и эти три танка, преградившие сейчас дорогу, и почувствовал нечто ядовитое, словно сама паника черной тенью витала в воздухе. Солдаты вокруг танкиста замерли.

Бессонов повторил:

— Ничего не можете добавить, лейтенант?

Танкист втягивал воздух через ноздри, будто плакал беззвучно.

— Майор Титков! — приказал Бессонов в темноту отчетливо жестким, беспощадным голосом, в котором звучала неотвратимость вынесенного приговора.— Арестуйте его!.. И как труса — в трибунал!

Он знал непререкаемую значимость своих приказов, знал, что приказ его мгновенно выполнят, и, когда увидел низкорослого, железнокрепкого, с фигурой борца майора Титкова из охраны и двух молодых атлетически сложенных автоматчиков, подошедших к танкисту, поморщась, невольно отвернулся, бросил отрывисто майору Божичко:

— Проверьте, как там чувствуют себя остальные танкисты в машинах!

— Есть проверить, товарищ командующий! — ответил Божичко слабым криком изумления и покорности, словно в эту минуту исходила от командующего какая-то смертельная волна, краем коснувшаяся и его, адъютанта. И это было Бессонову неприятно. Он пошел вперед по дороге.

— Кто командир здесь? Почему грузовик загородил дорогу? — произнес Бессонов с холодной сдержанностью,

шагнув на мост; палочка его вонзилась в деревянный настил. Он шел быстро, стараясь не хромать.

Солдаты, толпившиеся на мосту, уважительно расступились перед Бессоновым; кто-то сказал:

— С мотором у них беда.

Впереди, посредине проступающей под звездами синеватой полосы моста, несколько боком, должно быть, после буксовки, тускло вырисовывалась высоким кузовом грузовая машина с поднятым капотом, под которым желто горела лампочка. Свет ее почти заслоняли озабоченно склонившиеся над мотором головы.

— Командир, подойдите ко мне! Чья машина?

И тотчас хрупкая фигурка — вроде мальчишка, одетый в длинную шинель,— быстренько выпрямилась возле капота. Сдвинутая на оттопыренное ухо ушанка, узкие плечи, вычерченные сзади светом лампочки, лица не видно — только пар дыхания и звонкий вскрик молодого петушка на высокой ноте:

— Младший лейтенант Беленький! Машина оэрэсбэ, приданная артснабжению... Внезапная остановка по неисправности... Везем снаряды...

«Экий голосок... как будто в училище рапортует»,— подумал Бессонов и перебил не без усмешки:

— Что значит оэр... и как дальше?

— Эсбэ,— договорил младший лейтенант.— Отдельный ремонтно-строительный батальон... Шесть машин временно приданы артснабжению!

— Ну и ну, оэрэсбэ... не произнесешь,— сказал Бессонов.— Язык узлом завяжешь...— И спросил: — Есть надежда через пять минут починить машину?

— Н-нет, товарищ генерал...

Бессонов не дослушал:

— Пять минут на разгрузку снарядов — и очистить мост. Сбросить с проезжей части машину, если не успеете! Ни секунды промедления!

Младший лейтенант стоял, застыв, странно торчало его оттопыренное шапкой ухо.

— Товарищ генерал! Товарищ командующий! — взвился в стороне танков дикий умоляющий вскрик, похожий на рыдания.— Я прошу выслушать... я прошу!.. Пустите меня к генералу! К генералу пустите! Потом вы меня...

Этот крик снова толчком боли отдался в раненой ноге. Бессонов повернулся и, внезапно почувствовав, что

может упасть, оступившись при неверном шаге, пошел назад, как под болью пытки, а когда увидел подле громады танков людей из своей охраны, с силой отрывавших цепляющегося двумя руками за гусеницы, раскорякой сидевшего на снегу лейтенанта-танкиста, непроизвольно остановился. Тут же к нему подошел от машины член Военного совета Веснин, заговорил с убеждающей горячностью:

— Петр Александрович, прошу тебя... Молодой, в общем, парень. Был, видимо, в состоянии прострации, когда навалились немцы. Но он понимает, что совершил преступление, осознает... Я только что говорил с ним. Прошу тебя, не так резко!

«Вот вроде бы и первые разногласия у меня с комиссаром,— подумал Бессонов.— Быстро усмотрел в моих действиях жестокость».

Боль в ноге не отпускала, стискивала голень раскаленными клешнями, Бессонов, как сквозь синее стекло, видел сбоку длинный овал лица Веснина, его поблескивающие очки и, готовый сесть в машину, сказал сухо:

— Видимо, ты забыл, что такое паника, Виталий Исаевич? Забыл, какова эта зараза? Или так, в этом состоянии прострации, до Сталинграда докатимся? А ну-ка, пусть подведут танкиста. Хочу еще раз взглянуть на него,— добавил он.

— Майор Титков, подведите лейтенанта! — распорядился Веснин.

Майор и автоматчики подвели танкиста, тот хрипло и часто дышал, мелко стучали зубы, как будто его голого ледяной водой окатили. Он не мог выговорить ни слова, а когда наконец попробовал заговорить, послышались лишь сдавленные звуки крутых глотков, и Веснин тронул его за плечо:

— Возьмите себя в руки, лейтенант. Говорите!

Танкист сделал шаг к Бессонову, прохрипел:

— Товарищ командующий... всей жизнью, кровью... кровью искуплю...— Он потер руками грудь, чтобы протолкнуть в легкие воздух.— В первый и последний раз... А не оправдаю... расстреляйте. Только поверьте. Сам в лоб пулю пущу!..

Бессонов, не дослушав, взмахом руки остановил его:

— Достаточно! Немедленно в танк — и вперед! Откуда сумели вырваться! А если еще раз подумаете об

этом «вырваться», пойдете под суд как трус и паникер! Немедленно вперед!

Бессонов захромал к машине, и ему показалось, что в возникшем движении за спиной послышались истерически задавленный всхлип смеха, задохнувшееся «спасибо», нелепое, бессмысленное, неприятное, как и этот животный смех, словно он, Бессонов, в силу какой-то извращенной прихоти имел право отнимать и дарить жизнь, а даря, приносил неудержимое счастье другим.

«Что-то не так во мне, не так, как хотел бы... Этого не должно быть,— подумал Бессонов уже в машине, вытягивая к мотору ногу.— Я хотел бы, чтобы было иначе. Но как? Я вызвал страх, покорность перед страхом? Или этот танкист раскаивался искренне?»

Шофер, впопыхах докуривая, так затягивался толстой самокруткой, что трещала махорка, разлетались искры, жаром подсвечивали усы, виновато сказал Бессонову:

— Извините, товарищ генерал, надымил я...

Он включил мотор. Веснин молча влезал в машину.

— Курите,— брезгливо разрешил Бессонов,— если терпеть не можете. Майора Божичко захватим на мосту. Поехали.

— Что у вас за махорка, Игнатьев? Дайте-ка мне попробовать. «Вырви глаз» небось? Продирает до печенок? — подал голос Веснин, устраиваясь на заднем сиденье.

— Да ежели не побрезгуете, продерет, товарищ член Военного совета,— с охотой ответил шофер.— Возьмите кисетик.

Впереди мощно взревели танки, выбрасывая из выхлопных труб снопы искр; скрежеща траками, зашевелились, по-звериному блеснули глаза фар. В поднятой гусеницами вьюге машины разворачивались сбоку отхлынувшей с дороги колонны. Передний стал вползать на барабанно загудевший под ним мост. Снизив обороты мотора, танк остановился перед наискось заслонившим проезд грузовиком, вокруг которого работали, суетились солдаты, выгружая последние снаряды. Фары высветили на мосту фигуру майора Божичко. Он командовал разгрузкой. Потом, приложив ко рту рупором ладони, майор что-то крикнул танкисту, стоявшему в верхнем люке. Солдаты отбежали от грузовика. Передний танк за-

стрелял выхлопами, рванулся вперед, ударил гусеницами в борт автомашины, с игрушечной легкостью поволок ее по настилу. Ломая перила моста, грузовик ринулся вниз, с хрястом ударился о лед реки.

— Какое же война чудовищное разрушение! Ничто не имеет цены,— огорченно сказал Веснин, глядя сквозь стекло вниз.

Бессонов не ответил, сидел сутулясь.

С включенными фарами, светом торопя танки, «хорьх» затормозил. Майор Божичко, взбудораженный, крепко пахнущий остролекарственным морозным воздухом, не влез, а ввалился в машину и, захлопнув дверцу, отдуваясь после энергичных действий на мосту, доложил не без удовольствия:

— Можно двигаться, товарищ командующий.

— Спасибо, майор.

В свете фар Бессонов увидел на краю моста, близ сломанных перил, выпрямленную, в длинной шинели фигурку младшего лейтенанта с высоким, петушиным голоском, с неловко оттопыренным шапкой ухом. Младший лейтенант то растерянно смотрел вниз, то оглядывался на «хорьх», как бы впервые ничего не понимая, прося защиты у кого-то.

Бессонов приказал:

— Включите фары, Игнатьев,— и, найдя возле теплого мотора удобное положение для ноги, с закрытыми глазами глубже вобрал голову в воротник.

«Виктор,— подумал он.— Да, Витя...»

В последнее время все молодые лица, которые случайно встречались Бессонову, вызывали у него приступы болезненного одиночества, своей неизъяснимой отцовской вины перед сыном, и чем чаще теперь он думал о нем, тем больше казалось, что вся жизнь сына чудовищно незаметно прошла, скользнула мимо него.

Бессонов не мог точно вспомнить подробности его детства, не мог представить, что́ любил он, какие были у него игрушки, когда пошел в школу. Особенно ясно помнил только, как однажды ночью сын проснулся, вероятно, от страшного сна и заплакал, а он, услышав, зажег свет. Сын сидел в кроватке, худенький, вцепившись в сетку тонкими, дрожащими ручками. Тогда Бессонов подхватил его и волосатой своей грудью ощущал прижавшееся слабое тельце, ребрышки, чувствуя воробьиный запах влажных на темени светлых волос, носил по ком-

нате, бормотал нелепые слова выдуманной колыбельной, ошеломленный нежностью отцовского инстинкта. «Что ж ты, сынок, я ж тебя никому не отдам, мы с тобой, брат, вместе...»

Но ярче помнилось другое, то, что особенно казнило потом: жена с испуганным лицом вырывала из рук ремень, а он хлестал им по обтянутым дешевым, вывоженным в чердачной пыли брючишкам двенадцатилетнего сына, не издавшего при том ни звука. А когда бросил ремень, сын выбежал, кусая губы, оглянулся в дверях — в серых его, материнских глазах дрожали непролитые слезы мальчишеского потрясения.

Раз в жизни он причинил сыну боль. Тогда Виктор украл из письменного стола деньги на покупку голубей... О том, что он водил на чердаке голубей, было узнано позднее.

Бессонова перебрасывали из части в часть — из Средней Азии на Дальний Восток, с Дальнего Востока в Белоруссию,— везде казенная квартира, казенная чужая мебель; переезжали с двумя чемоданами; с этим давно свыклась жена, вечно готовая к перемене мест, к новому его назначению. Она безропотно несла его и свой нелегкий крест.

Пожалуй, так было надо. Но долго спустя, пройдя через бои под Москвой, лежа в госпитале, он думал ночами о жене и сыне и понимал, что многое было не так, как могло бы быть, что он жил, как по рабочему черновику, все время в глубине сознания надеясь через год, через два переписать свою жизнь набело — после тридцати, после сорока лет. Но счастливое изменение так и не наступило. Наоборот, повышались звания, должности, вместе с тем наступали войны — в Испании, в Финляндии, затем Прибалтика, Западная Украина, наконец — сорок первый год. Теперь он не ставил себе юбилейных сроков, лишь думал, что уж эта-то война непременно изменит многое.

А в госпитале впервые пришла мысль, что его жизнь, жизнь военного, наверно, может быть только в единственном варианте, который он сам выбрал раз и навсегда. Даром в его жизни ничего не прошло. Набело ее не перепишешь, и этого и не нужно делать. Это как судьба: или — или. Среднего нет. Что ж, если снова пришлось бы выбирать, он не изменил бы своей судьбы. Но, поняв это, Бессонов осознавал непростительное: то,

что было самым близким в данном ему, единственном варианте выбранной им жизни, скользнуло, скоротечно мелькнуло мимо, словно в дыму, и он не находил оправдания ни перед сыном, ни перед женой.

Последняя встреча с Виктором произошла как раз там, в подмосковном госпитале, в чистенькой и беленькой палате для генералов. Сын, получив назначение после окончания пехотного училища, приехал к нему с матерью за три часа до отхода поезда на фронт с Ленинградского вокзала. Сияя малиновыми кубиками, щегольски скрипя новым командирским ремнем, портупеей, весь праздничный, счастливый, парадный, но, казалось, несколько игрушечный в военном блеске, новоиспеченный младший лейтенант, на которого, видимо, оглядывались на улицах девушки, сидел на соседней койке (ходячий сосед-генерал деликатно вышел) и ломким живым баском рассказывал о назначении в действующую армию. О том, как чертовски «обрыдли» в училище эти бесконечные «становись, равняйсь, смирно!». А теперь, слава богу, на фронт, дадут роту или взвод — всем выпускникам дают,— и начнется настоящая жизнь.

В разговоре он небрежно называл Бессонова «отец», как не называл раньше, к чему нужно было привыкнуть. И Бессонов смотрел на его живое лицо с серыми веселыми глазами, с нежным пушком на щеках, на тонкую руку способного мальчика, которой он несколько озабоченно похлопывал по карману диагоналевых галифе, и думал почему-то о других мальчиках — младших лейтенантах и лейтенантах, командирах взводов и рот, которых почти всегда приходилось видеть однажды: в очередной бой приходили другие...

— Ты ему разреши, пожалуйста, закурить, Петя,— перебила жена, наблюдая за сыном с обеспокоенностью.— Он ведь курить стал, ты не знаешь?

— Значит, куришь, Виктор? — спросил Бессонов, неприятно удивленный внутренне, но пододвинул на тумбочке папиросы и спички соседа-генерала.— Вот тут возьми...

— Мне восемнадцать, отец. В училище все курили. Я не могу быть белой вороной.

— И пьешь, видимо? Уже попробовал? Ну, откровенно, ты ведь младший лейтенант, самостоятельный человек.

— Да, пробовал... Нет, не надо, у меня свои. «Пушки». Можно? Тебе ничего? — быстро сказал сын и, краснея, подул в папиросу; спичку зажег по-особенному, по-фронтовому, в ладонях, как научился, должно быть, у кого-то в училище.— Представляю,— заговорил он живо, чтобы скрыть смущение,— что было бы, если бы ты раньше узнал. Выпорол бы?

Сын курил неумело, выпуская дым вниз, под койку, точно курил в казарме училища, опасаясь появления дежурного командира. Бессонов и жена переглядывались молча.

— Нет,— глухо ответил Бессонов.— После того случая никогда. Ты разве считаешь меня... суровым отцом?

— А все-таки правильно тогда сделал,— сказал сын.— Надо было выпороть. Вот дурак был!

Он, смеясь, говорил это, вспомнив то, что теперь особенно мучило Бессонова,— причиненная когда-то сыну физическая боль.

— Милые мои мужчины... Теперь у меня двое взрослых мужчин! — тихонько воскликнула мать и сжала пальцами на одеяле кисть Бессонова.— Петя, происходит странное, будто без твоего участия. Виктор уезжает на Волховский, в неизвестную армию... Неужели ты не можешь ничего сделать, взять его к себе... в какую-нибудь свою дивизию? Хоть был бы на глазах. Ты понимаешь?

Он все понимал, больше, чем она, знал мотыльково-короткие судьбы командиров стрелковых взводов и рот. Он не раз думал об этом и жестом успокоения хотел погладить маленькую теплую руку жены, но сдержался в присутствии сына.

— Сейчас я, Оля, как видишь, генерал без войска,— сказал Бессонов, внимательно глядя на сына, но обращаясь при этом к жене.— Когда будет реально ясно положение, я отзову Виктора, если, конечно...

Сын не дал ему договорить, поперхнулся дымом, замотал головой отрицательно.

— Ну, нет уж, отец! Под крылышко к папе-генералу? Нет уж! И не заводи об этом разговор, мать! Может, еще в адъютанты к отцу? Ордена начнет давать?

— В адъютанты я тебя не назначу, а роту дам,— сказал Бессонов.— А насчет орденов — без заслуг давать не буду. Хотя знаю, что получают их по-разному.

— Нет уж! В училище ребята только и спрашивали, с такими, знаешь, улыбочками: «Ну, теперь к папе?» Не хочу, отец! Какая разница, где ротой командовать? Да у меня назначение в кармане. Мы четверо из училища туда — вместе хотим. Вместе учились, вместе и в атаки будем ходить! А если уж что—судьба! Двух судеб не бывает, отец! — повторил он чьи-то, видимо, слышанные им слова.— Честное слово, мать, не бывает!

Бессонов лишь шевельнул пальцами под ставшей влажной ладонью жены, она тоже молчала. То, что сыну казалось сейчас ясным, простым, то, что так возбуждало его ожиданием новой самостоятельной жизни, боевого товарищества, решительных и, конечно, победных атак, Бессонову рисовалось в несколько ином свете. Он хорошо знал, что такое поле боя, как некрасива бывает порой смерть на войне.

Но он не имел права говорить сыну все, опытно и приземленно разрушать в нем наивную иллюзию молодости. Да тот сейчас и не воспринял бы ничего. Виктор явственно чувствовал одно: как пленительно похрустывало в кармане новой его гимнастерки предписание о выезде на фронт. Да, сама война была вправе внести реальные поправки.

— Судьба,— повторил Бессонов.— Ты говоришь, Виктор, судьба. Но судьба на войне все-таки не индейка. А это, как тебе ни покажется странным, каждый день ежеминутно... преодоление самого себя. Нечеловеческое преодоление, если хочешь знать. Однако не в этом дело...

— Да, не в этом дело, не будем лезть в дебри философии! — беспечно согласился сын и спросил, указывая на забинтованную под одеялом ногу отца: — А ты как, ничего теперь? Скоро отсюда? Представляю, какая скучища лежать здесь! Сочувствую, отец! Не болит?.. О, ч-черт, время!.. Меня ребята ждут. Мне пора на вокзал! — и взглянул на часы; по этому его движению можно было понять, что он еще не представляет, что такое боль, не может даже представить саму возможность боли.

— Надеюсь, выберусь отсюда,— сказал Бессонов.— А ты вот что: матери пиши. Хоть раз в месяц.

— Четыре раза в месяц, даю слово! — Виктор встал, почти счастливый при мысли, что скоро наконец сядет в вагон со своими училищными друзьями.

— Нет, два раза, Витя,— поправила мать.— И больше не надо. Я буду хоть знать...

— Обещаю, мама, обещаю. Пора, поедем!

И было еще — запомнившееся.

Перед уходом сын постоял, улыбаясь, в нерешительности, не зная, поцеловать ли отца (в семье не было это принято). И не решился, не поцеловал, а по-взрослому протянул руку.

— До свидания, отец!

Однако Бессонов, стиснув хрупкую кисть сына, притянул его и, подставив худую, выбритую, как всегда, щеку, хмурясь, сказал:

— Ладно. Не знаю, когда еще увидимся,— война, сын.

Он впервые за весь разговор назвал его «сын», но не с той интонацией, какую вкладывал Виктор в слово «отец».

Виктор неловко ткнулся губами в край его рта, и Бессонов поцеловал его в горячую щеку, ощутив сладковатый запах чистого мальчишеского пота от его гимнастерки. Сказал:

— Поезжай! Только помни: стариками осколки и пули брезгуют. Они таких, как ты, ищут... А надумаешь — пиши, роту тебе найду. Ну, ни пуха тебе, ни пера, младший лейтенант!

— Кажется, говорят, «к черту», отец?.. Выздоравливай. Я после первого боя напишу!

Он засмеялся, провел рукой по ремню портупеи, расправил складки аккуратной комсоставской гимнастерки и, с удовольствием оправив сияющую желтой кожей кобуру пистолета, подхватил со спинки кровати новенький, хрустящий плащ, проворно перекинул через руку. В тот же момент что-то с дробным стуком посыпалось на солнечный пол палаты. Это были свежие, золотистого блеска патроны для пистолета ТТ. Ими были набиты карманы Викторова плаща. После окончания училища патронов выдавалось только по две обоймы, а он каким-то образом сумел увеличить их запас, которого хватило бы ему на многие месяцы войны.

Отвернувшись к окну, Бессонов ничего не сказал. А мать проговорила жалким голосом:

— Что это? Зачем тебе столько? Я помогу... сейчас. Вам столько выдали?

— Мама, я сам... Подожди. Это так, на всякий случай.

Сын, немного смущенный, стал быстро собирать с пола патроны, а когда выпрямился, заталкивая их в карманы, увидел еще один, откатившийся, и, оглянувшись на отца (тот смотрел в окно), носком своего хромового сапожка легким ударом послал патрон куда-то в угол, со счастливым лицом вышел, как на прогулку, весь праздничный, весь игрушечный, младший лейтенант, в хрустящих ремнях, с новеньким плащом, перекинутым через руку.

Этот зеркально отполированный патрон Бессонов потом нашел под батареей парового отопления и долго держал на ладони, чувствуя его странную невесомость.

... — Комиссар, сколько ему лет? Девятнадцать, двадцать? — скрипуче спросил Бессонов, нарушая молчание в машине.

— Танкисту?

— И другой там был. На мосту.

— В общем, мальчишки, Петр Александрович.

«Хорьх», мягко покачиваясь на ухабах, мчался с выключенными фарами. Танки давно исчезли в синеватой мгле морозной ночи. Справа черным пунктиром шли без огней грузовики с прицепленными тяжелыми орудиями. Доносился изредка всплеск буксующих по наледи колес, ветром пролетали за мерзлыми стеклами обрывки команд — и Бессонов, все время чувствуя непрерывное это движение, думал: «Да, скорей, скорей!..»

Мягкое тепло от нагретого мотора обволакивало снизу ногу, успокаивая боль, обкладывало ее, как горячей ватой; механически постукивая, равномерно махали «дворники», счищая изморозь со стекол. Вся степь впереди мутно синела под раскаленными холодом звездами.

Сзади фосфорически пыхнул огонек спички, и в машине распространился запах папиросного дымка.

— Да, двадцать, он так мне сказал,— ответил Веснин и сейчас же спросил с доверительной осторожностью: — Скажи, Петр Александрович, а что все-таки с твоим сыном? Так ничего и не слышно?

Бессонов насторожился, крепко сдавил палочку, поставленную между коленями.

— Откуда известно о моем сыне, Виталий Исаевич? — спросил он сдержанно, не поворачивая головы.— Ты хотел спросить: жив ли мой сын?

Веснин сказал негромко:

— Прости, Петр Александрович, не хотел, разумеется, как-то... Конечно, я кое-что знаю. Знаю, что у тебя сын, младший лейтенант... Воевал на Волховском, во Второй ударной, которая... В общем, судьба ее тебе известна.

Веснин замолчал.

— Все верно,— холодно сказал Бессонов.— Вторая ударная, в которой служил мой сын, в июне потерпела поражение. Командующий сдался в плен. Член Военного совета застрелился. Начальник связи вывел остатки армии из окружения. Среди тех, кто вышел, сына не было. Знавшие его утверждают, что он погиб.— Бессонов нахмурился.— Надеюсь, все, что я сказал, умрет в этой машине. Не хотел бы, чтобы о событиях на Волховском шептались досужие ловцы сенсаций. Не ко времени.

Было слышно, как Веснин опустил заскрипевшее стекло, выбросил недокуренную папиросу, как шофер поерзал на сиденье, точно предупреждение это относилось лишь к нему, пробормотал:

— Обижаете, товарищ командующий. Сто раз проверенный я...

— Обижайтесь, если не поняли,— сказал Бессонов.— Это относится и к майору Божичко. Рядом с собой не потерплю ни слишком разговорчивых шоферов, ни чересчур болтливых адъютантов.

— Все понял, товарищ командующий! — не обижаясь, бодро откликнулся Божичко.— Учту, если ошибки есть.

— Они у всех есть,— сказал Бессонов.

«Крут и не прост,— подумал Веснин.— Ясно дал понять — подстраиваться ни под кого не будет. В общем, закрыт на все замочки, не расположен к откровенности. Что он думает обо мне? Я для него, наверно, только штатский очкарик, хоть и в форме дивизионного комиссара...»

— Прости, Петр Александрович, за еще один вопрос,— проговорил Веснин с желанием растопить ледок некой официальности между ними.— Знаю, что ты был в Ставке. Как он? Представь, в жизни я его видел несколько раз, но только на трибунах. Вблизи — никогда.

— Что тебе ответить, Виталий Исаевич? — сказал Бессонов.— Одним словом на это не ответишь.

Так же как и Веснин, ощупью угадывая нового командующего, невольно сдерживал себя, так и Бессонов не был расположен открывать душу, говорить о том, что касалось в какой-то степени и сына, о котором Веснин спрашивал минуту назад. Он все острее чувствовал, что судьба сына становилась его отцовским крестом, непроходящей болью, и, как это часто бывает, внимание, сочувствие и любопытство окружающих еще больше задевали кровоточащую рану. Даже в Ставке, куда пригласили Бессонова перед назначением на армию, в ходе разговора возник вопрос и о его сыне.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вызов в Ставку был для него неожиданным. Бессонов находился в тот момент не в своей московской квартире, а в академии, где два года перед войной преподавал историю военного искусства. Уже прослышав, что должен быть подписан приказ о новом его назначении, он зашел к начальнику академии генералу Волубову, старому другу, однокашнику по финской кампании, трезвому, тонкому знатоку современной тактики, человеку скромному, негромкому в военных кругах, но весьма опытному, чьи советы Бессонов всегда ценил. Неторопливую, перемешанную воспоминаниями их беседу за питьем чая в служебном кабинете генерала прервал телефонный звонок. Начальник академии, сказав свое обычное: «генерал-лейтенант Волубов», с переменившимся лицом поднял на Бессонова глаза, добавил шепотом:

— Тебя, Петр Александрович... Помощник товарища Сталина. Возьми, пожалуйста, трубку.

Бессонов, озадаченный, взял трубку: незнакомый голос, ровный и тихий, выученно спокойный, без какого-либо оттенка распоряжения, поздоровался, называя Бессонова не по званию, а «товарищ Бессонов», затем вежливо спросил, сможет ли он приехать сегодня в два часа дня к товарищу Сталину и куда прислать машину.

— Если не затруднит, к подъезду академии,— ответил Бессонов и, закончив разговор, долго молчал под спрашивающим взглядом генерала Волубова, пытаясь не показать внезапно охватившего его волнения, внешние

признаки которого всегда были ему неприятны в людях. Потом, взглянув на часы, проговорил обыденным голосом: — Через полтора часа... к Верховному. Вот как, оказывается.

— Только прошу тебя, Петр Александрович,— предупредил начальник академии, подержав Бессонова за локоть, — о чем бы там ни спрашивали тебя, не спеши с ответом. Все, кто бывал у него, говорят: не любит шустрых. И ради бога, не забудь — не называй по имени и отчеству, называй официально — товарищ Сталин. Имени и отчества в обращении не терпит... Вечером заеду к тебе — подробно обо всем расскажешь.

...В приемной Сталина, отделанной дубовыми панелями, тускло освещенной в окна серовато-мглистым холодным днем поздней осени, на крепких, с жесткой обивкой стульях сидели, поджав ноги, в молчаливом ожидании двое незнакомых Бессонову генералов, и когда немолодой, седоватый полковник, сопровождавший Бессонова в машине, ввел его, из-за широкого письменного стола, уставленного телефонами, поднялся маленького роста лысый человек с ничего не выражающей улыбкой, в скромном штатском костюме, с неприметным, серым, переутомленным лицом. Глядя Бессонову в самые зрачки, пожав руку несильной бескостной рукой, он сказал, что придется подождать, не уточняя при этом, сколько ждать, и сам проводил Бессонова к свободному стулу возле двух генералов.

— Прошу вас здесь...

Бессонов сел, а лысый усталый человек в штатском — это именно он звонил в академию — улыбнулся ему и с привычной вежливостью легонько притронулся кончиками желтых пальцев к его палочке.

— Разрешите, Петр Александрович, я поставлю ее в угол. Так вам будет удобней.

Он аккуратно отнес палочку Бессонова, потихоньку поставил ее в углу за столом и так же бесшумно сел к своим бумагам и телефонам.

Было тихо, пахло чуть-чуть деревом, теплыми батареями. Дневной шум осенней, но уже заснеженной Москвы не проникал сюда даже легким шорохом сквозь древнюю толщу каменных стен; не слышно было ни человеческих голосов, ни шагов в коридоре.

В приемной тоже ни звука, ни движения, ни скрипа стульев; молчал за столом человек в штатском; молчали

два незнакомых генерала. Молчал и Бессонов, все более испытывая странное, властно подчиняющее его ощущение собственной растворенности в непроницаемой тишине, своей неподготовленности к разговору при мысли, что где-то рядом, за стеной может быть Сталин, что сейчас раскроется дверь и сюда, в приемную, войдет тот, чей облик врезался в сознание прочнее, неизгладимее лиц покойных отца и матери. Наверно, то же самое испытывали и незнакомые генералы, и усталый человек за столом.

Все говорило здесь о каждодневном присутствии человека, вершащего судьбами войны и судьбами миллионов людей, готовых с убежденностью умереть за него; готовых голодать, страдать, терпеть; готовых смеяться от счастья и кричать в неудержимом восторге узнавания при слабой его улыбке, при слабом взмахе его руки на трибуне. Напряженность ожидания, испытываемая Бессоновым, ощущалась так еще и потому, что имя Сталина, привычное, твердое и звучное, уже как бы не принадлежало одному человеку; вместе с тем это имя было связано с одним-единственным человеком, способным делать то, что было всеобщим, что было надеждой всех.

В приемной никто не решался заговорить: звук нормального человеческого голоса, казалось, мог привести ожидающих в иное состояние, которое разрушило бы что-то священное. Грузный, пожилой генерал-полковник, расставив толстые колени, тихонько меняя положение тела, вдруг скрипнул сапогами под стулом и, вроде бы испуганный этим звуком, багровея, покосился на соседа — молодого, подтянутого артиллерийского генерал-лейтенанта. Сплошь увешанный орденами, начищенный, без единой морщинки на выглаженном кителе, тот сидел, выпрямив грудь, уставясь на маленького человека в штатском, листающего бумаги за столом.

Было 14 часов 10 минут, когда усталый лысый человек в штатском по одному ему известным признакам определил присутствие рядом Сталина.

Неслышным движением он встал, без вызова направился в кабинет и, вернувшись, оставил дверь приоткрытой, вымолвил:

— Пожалуйста, товарищ Бессонов.

Стараясь не хромать, Бессонов вошел.

В первое мгновение он не увидел подробно этот просторный, как зал, кабинет с портретами Суворова и Кутузова на стенах, с длинным столом для заседаний, офи-

циально зеленеющим полосой сукна, с топографической картой на огромном другом столе, с телефонными аппаратами и шнуром, кольцами свернутым на ковровой дорожке. В тот момент Бессонов, весь напряженно собранный, видел только самого Сталина — маленького роста, с первого взгляда не похожий на свои портреты, он шел навстречу ему чуть развалистой, мягкой походкой в мягких, без скрипа сапогах; на нем был армейского образца китель, покато облегавший на конус срезанные плечи. Его толстые усы, густые брови еле уловимо отливали сединой, узкие, желтоватые глаза смотрели спокойно, и Бессонов подумал: «О чем он спросит сейчас?»

Без рукопожатия поздоровавшись, не пригласив Бессонова сесть, не садясь сам, Сталин размеренно заходил по ковровой дорожке около стола с картой, держа перед животом левую, будто не полностью разгибающуюся руку.

После довольно продолжительного молчания, пройдя к письменному столу в конце кабинета и задержавшись там, спиной к Бессонову, спросил с неопределенной интонацией:

— Что вы думаете о последних событиях, товарищ Бессонов?

Не совсем поняв вопрос, Бессонов хотел уточнить: «О каких именно событиях, товарищ Сталин?» — но ответил через силу сдержанным голосом:

— Если говорить о последних событиях под Сталинградом, товарищ Сталин, то они могут положить начало большому наступлению и, как мне кажется, новому периоду войны, если мы не позволим немцам разомкнуть внутренний и внешний фронт кольца...

— Кажется или убеждены, товарищ Бессонов?

— Убежден, товарищ Сталин. Думаю, многое будет зависеть от того, насколько последовательно мы сумеем расчленить и уничтожить противника в окружении.

Бессонов замолчал, ему показалось: неширокая, округлая спина Сталина пошевелилась, как бы останавливая его и соглашаясь с ним.

Было прохладно в кабинете и тихо. Сталин взял трубку из пепельницы, повернулся от письменного стола, зажег спичку, раскуривая трубку, и, цепко глядя поверх огня спички на Бессонова, проговорил настойчиво, словно не расслышал его ответа:

Если мы вас назначим командовать армией под Сталинградом, возражений с вашей стороны не будет, то-

варищ Бессонов? Мы хорошо знаем о действиях вашего корпуса под Москвой и посоветовались с Рокоссовским...

«Значит, слухи о моем назначении верны. Ответить, что я так или иначе не совсем понимаю причину моего назначения, или ответить, что это назначение для меня неожиданно,— глуповатая искренность. Что ж, значит, мою кандидатуру выдвинул Рокоссовский. Не думал, что будет именно так».

— Товарищ Сталин, я солдат, и назначение на любой пост для меня — приказ.

— Вы, полагаю, подлечились в госпитале, и пора воевать, товарищ Бессонов. По-моему, здесь тоже возражений нет.— Сталин вяло помахал рукой, гася спичку.— Подойдите к карте.

Бессонов без палочки преодолел, как препятствие, короткое расстояние до стола. Теперь он стоял так близко к Сталину, что чувствовал сладковатый, табачно-пряный запах его одежды, а сбоку видел широкую, пробитую сединой бровь, серую, шершавую кожу щеки, тронутую выемками оспинок; и когда Сталин, помолчав над картой, медленно поднял желтоватые глаза, в них был какой-то размягченный блеск внутренней довольной усмешки.

— Не возражаю против ваших рассуждений, товарищ Бессонов,— тихо заговорил Сталин.— Под Москвой, как известно, мы тоже думали об окружении противника. Но не хватило сил. И в том числе вашему корпусу. Канны снятся каждому генералу, товарищ Бессонов. Но мы, коммунисты, верим в объективные обстоятельства. Гитлеру, как говорят, не хватило под Москвой какой-нибудь одной свежей танковой дивизии и длинного лета. Некоторые утверждают: появилась некая закономерность — они наступают летом, мы их бьем зимой. Нет, в войне не может быть такой закономерности. Старые песни... Так Канны, говорите, товарищ Бессонов? — повторил Сталин, хотя Бессонов не употребил этого слова, и пососал трубку, она погасла; он, однако, не стал зажигать ее, кончиком трубки плавно обвел над картой район Сталинграда.— Здесь гитлеровские разбойники оказались в котле — и это первые наши Канны, товарищ Бессонов. Согласны?

— Да, товарищ Сталин. Я полностью с вами согласен.

— Поэтому ваша хорошо оснащенная армия,— продолжал Сталин после длительной паузы,— которую мы вам даем из резерва Ставки, посылается на усиление

трех фронтов, завершать разгром немцев в окружении. Вы будете добивать Паулюса, завершать операцию «Кольцо». Какие у вас соображения по этому поводу, товарищ Бессонов?

— Товарищ Сталин...— проговорил Бессонов, понимая, почему Сталин остановился на прошлогодней обстановке под Москвой и так настойчиво повторил три раза слово «Канны», говоря об обстановке под Сталинградом, сложившейся в результате ноябрьского контрнаступления наших фронтов.— Я хотел бы сказать, товарищ Сталин, что все сейчас зависит от быстроты ликвидации этой огромной немецкой группировки. Не исключена возможность попытки прорыва немцев изнутри кольца или их деблокирующего удара к окруженной группировке сквозь внешний фронт. Мне сказали, что действия наших войск по ликвидации окруженной группировки в последние дни замедлились, а немцы ожесточенно сопротивляются и даже контратакуют...

«Это он знает лучше меня, и, наверно, говорю я некстати»,— подумал Бессонов, едва лишь произнес последнюю фразу, но Сталин, поднеся зажженную спичку к трубке, слегка кивнул.

— Попытка прорыва, говорите? Не ошибаетесь, товарищ Бессонов. Данные о переброске немецких сил из Западной Европы на Сталинградское направление есть... Продолжайте.

— Поэтому я хотел бы как можно более быстрой переброски армии к фронту, товарищ Сталин.

Сталин молчал, думая о чем-то своем, потрогал мундштуком трубки толстые волосы рыжеватых усов; минуту спустя заговорил с особенно заметным акцентом:

— Операцию «Кольцо» по расчленению и ликвидации окруженной немецкой группировки мы должны провести силами фронта Рокоссовского и в основном войсками вашей армии, товарищ Бессонов. Не позже двадцать третьего декабря. Дело еще в том, что до Сталинграда наши солдаты, даже командиры не привыкли как следует окружать и насмерть бить окруженного врага. Слово «немец» долго звучало как очень активная сила. Это психологический фактор. Его переломить надо в сознании. Навсегда. Так ведь это, товарищ Бессонов? Или не так?

— Думаю, товарищ Сталин,— проговорил Бессонов,— что полностью из сознания солдата еще не ушло отступление сорок первого года. И лето сорок второго. Но пере-

лом происходит или произошел... Солдаты стали понимать, что война пошла другая, что не немцы, а мы стали окружать.

Желтовато-серое, бесстрастное лицо Сталина ни одним мускулом не выразило ни согласия, ни возражения, и, не то покашливая, не то перхая саднящим горлом, он начал расхаживать по кабинету, по толстой, глушащей шаги дорожке; левая, согнутая в локте, негибкая его рука была выставлена немного вперед, перед животом, узкие, покатые плечи немного ссутулены; но Бессонову показалось, что в этот момент Сталин был чем-то недоволен, озабочен, вследствие, может быть, напоминания о сорок первом годе или замечания о том, что замедлились действия наших войск против окруженной группировки Паулюса,— и пойманный им взгляд Сталина, когда приблизился он, был холодно сосредоточен, со спокойной твердостью не выпуская Бессонова.

— В чем задача и цель полководца,— заговорил Сталин, обращаясь уже не к Бессонову, а к самому себе, в раздумье, как на точных весах взвешивая слова:— Главная задача полководца — узнать в лицо и изучить противника. Подготовить и выждать момент. Натренировать мускулы. Внезапно нанести удар. И одержать победу.

Он жестом подчеркнул — «одержать победу», его шершавое, все в мельчайших оспинках лицо на миг стало удовлетворенным.

— И всякие маловеры будут повержены,— договорил Сталин, вторично жестом подчеркнув слова.— Трусы и малодушные скептики, товарищ Бессонов. А такие еще есть, к сожалению.

И Сталин с нахмуренным лицом человека, не расположенного вести дальше разговор, подошел к письменному столу в конце кабинета, снял телефонную трубку, но, поперхав, покашляв, замедленно опустил ее на рычаг. Потом минуты две равнодушно стоял к Бессонову боком, точно забыв о его присутствии; затем темно-смуглая, покрытая золотистыми волосами, небольшая его рука со стуком выбила пепел из погасшей трубки; он раскрыл на столе коробку с папиросами, нажимами пальцев стал ломать папиросы над пепельницей, крошить в трубку табак.

«Дал знать, что я должен уйти. Как видно, вызвал меня, чтобы только взглянуть на нового командующего,

и остался не очень доволен мной,— подумал Бессонов.— Что ж, значит, мое назначение на армию по совету Рокоссовского было случайным...»

Сталин продолжал крошить табак в трубку, приминать его и после затянувшейся паузы заговорил очень тихо:

— Скажите, товарищ Бессонов, вы учились, а потом преподавали в академии... Это известный факт. Знакомы вы были с неким генералом Власовым?

«Почему он спросил о Власове? — мелькнуло в сознании Бессонова.— В связи с чем он вспомнил об этом?»

— Был знаком,— ответил с забившимся сердцем Бессонов, слышавший уже от работников Генштаба об июньских событиях на Волховском фронте, о трагедии 2-й ударной армии, в которой служил его сын, пропавший без вести.— Был знаком,— повторил Бессонов.— Учились в академии в одно время...

— Какое же ваше личное мнение о Власове тех лет? Говорят, был самолюбив и чересчур обидчив?

— Это не бросалось в глаза, товарищ Сталин, в те годы он особенно тесно ни с кем не общался, как я помню.

— Говорят, что этот самолюбивый генерал, сдавшийся немцам, был трусом, очень застенчивым в бою, как тот ермоловский генерал. Это так?

— Ничего не могу сказать об этих его качествах, товарищ Сталин. Не приходилось встречаться с Власовым на фронте,— ответил вполголоса Бессонов.— Одно знаю твердо: в академии он ничем особенным не выделялся — был человеком средних способностей.

— Стало известно, что этот политический авантюрист средних способностей,— с раздражением проговорил Сталин,— пошел в услужение к немцам. По вине этого застенчивого генерала шесть тысяч из его армии погибло, восемь тысяч пропало без вести. По-моему, товарищ Бессонов, в плен часто попадают политически и морально нестойкие элементы. В какой-то мере недовольные нашим строем... За некоторым исключением. Согласны?

«Не может быть, чтобы Виктор в числе этих восьми тысяч, пропавших без вести, попал в плен!.. Почему Сталин заговорил об этом?» — опять подумал Бессонов, ощущая толкнувшуюся ожогом боль в ноге и испытывая непреоборимое желание вытереть жаркий пот с висков.

В Москве, после госпиталя, еще не получив назначения, постоянно думая о сыне, о его жизни или возмож-

ной смерти, Бессонов навел справки о 2-й ударной армии, о вышедших из окружения, но избегал затрагивать этот вопрос даже в разговоре с женой, не теряя надежду. Смерть или плен Виктора, его кончившиеся со смертью либо начавшиеся в плену страдания измерялись в сознании Бессонова иными категориями — смыслом его, Бессонова, жизни, смыслом его запоздалой любви к сыну, смыслом жизни жены, верой в то, во что он верил и хотел верить. И та краткая встреча в подмосковном госпитале перед отъездом Виктора на фронт, приблизившая к нему сына до пронзительной нежности, и те патроны, посыпавшиеся из кармана новенького комсоставского плаща, и его неумелое курение, и смех, и его стремление воевать вместе с друзьями по училищу — все помнил Бессонов, как в одном и том же повторяющемся сне.

В первые месяцы сорок первого года Бессонов не раз испытал на самом себе состояние бессилия, знал, что такое общая подавленность в окружении, которая возникает подобно эпидемии ветряной оспы, но знал и видел также, как лейтенанты, недавние мальчишки, ни разу не брившиеся командиры рот и батальонов, в силу многих причин потерявшие нити управления, сколачивали в обстоятельствах безвыходных группки солдат и с последней отчаянной яростью прорывались из сжатого кольца или же гибли перед заслонами танков, и он представлял это ясно, и он не сомневался, что тот, по-новому увиденный им Виктор должен был в положении разгрома армии прорываться так...

— Что вы молчите, товарищ Бессонов? Не согласны?

Бессонов очнулся, на сухощавом лице его старчески прорезались морщины, губы невозможно было разжать, а эта неопределенная боль в замлевшей от долгого стояния ноге расползалась все упорнее, все сильнее к бедру, надавливала там раскаленными скребущими лапками; он вспомнил о палочке, оставленной тем вежливым лысым человеком в приемной, почувствовал желание сесть, но в то же время знал, что не сделает этого. И выговорил наконец:

— Мой сын командовал ротой во Второй ударной армии. Не знаю его судьбы, но у меня, как у отца, нет оснований, товарищ Сталин, подозревать его в предательстве, если он и попал в плен.

Сухо покашляв, Сталин со стуком положил трубку на стол и, как живое, надоевшее ему существо, от-

толкнул ее далеко в сторону — это было признаком подавляемого неудовольствия, чего не мог знать Бессонов,— и прошелся по кабинету; матово-смуглые его веки сузились.

— Не имел в виду судьбу вашего сына. Как мне известно, он очень молод. Не думал о том, о чем вы подумали, товарищ Бессонов. Имел в виду совсем другую фигуру. Думаю, что корни предательства всегда уходят в прошлое. У молодых прошлого нет,— сказал Сталин.

Бессонов почувствовал: огненное и нестерпимое распространялось уколами тока от голени к бедру, горячие струйки пота поползли под мышками; и он подумал некстати: «На палочку бы сейчас опереться».

— Этот Власов одно время даже был на хорошем счету. Никто не раскусил его гнилую сущность. Ни в академии, ни в армии...— проговорил Сталин, и режущий холодок его взгляда коснулся лица Бессонова так, что хотелось провести по щекам рукой, чтобы снять с кожи этот металлический холод.— Разве не верно, товарищ Бессонов?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, товарищ Сталин. Насколько я мог представить обстоятельства, при которых Власов попал в плен, я это объяснял животной стороной человеческого падения. Но сближение с немцами... Это считаю уже шагом политическим...

В ту секунду, стараясь последовательно логически понять значение слов Сталина о военнопленных, Бессонов отвергал, не соглашался со всем тем, что могло лечь тенью на судьбу сына, не веря в его слабость, в его малодушие. В списках шестнадцати тысяч, вышедших из окружения, Виктор не значился. Опыт Бессонова, однако, отрицал розовую наивность, бездоказательную уверенность в том, что трагедия целой армии обошла сына стороной. Он по-прежнему допускал, что в сложившихся обстоятельствах Виктор не избежал плена вместе с другими, но, как это ни было тяжело, все больше утверждался в мысли, что сын погиб в дни попытки прорыва из окружения 2-й ударной армии. Это больше походило на правду.

Но Бессонов не мог знать, что привело к данному разговору, что было толчком, вызвавшим вдруг любопытство Сталина к генералу Власову.

Во всех войнах случались предательства, трусость, измены армий, выдачи секретных документов. Измена

Власова в июне сорок второго года не являлась изменой армии, до последнего сражавшейся под деревней Спасская Полисть,— остатки дивизий с боями вырвались из кольца. Измена Власова была трусливым предательством одного генерала, ночью тайно бросившего штаб и пришедшего в занятую немцами деревню Пятница со словами страха и унижения: «Не стреляйте, я генерал Власов». Он спасал свою жизнь, которая с той минуты стала смертью, ибо всякое предательство — это духовная смерть. Но предательство Власова и неудача окруженной армии не на главном направлении не меняли, конечно, положения на всем советско-германском фронте. В то время серьезнейшая опасность была на юге, и Сталин, занятый южными фронтами, где немцы готовились нанести главный удар, не хотел сосредоточивать внимание на событиях под Волховом. Когда же в дни начавшегося большого успеха трех фронтов под Сталинградом, в дни нашего ноябрьского контрнаступления снова мелькнула в разведсводках фамилия генерала Власова, Сталин пережил прежний гнев и, неуспокоенный, представлял, что мог чувствовать теперь Власов там, в тылу у немцев, при сообщении об успехе Красной Армии. И, вернувшись к прошлому по ходу навязчивых воспоминаний, Сталин ждал, чтобы Бессонов, когда-то знавший бывшего командующего 2-й ударной армией по учебе в академии, этот немолодой, отдавший военной службе много лет генерал, определил то заметное в душевных проявлениях изменника, чуть пробивавшиеся в давние годы корешки, которые объяснили бы настоящее Власова. А это Сталин хотел знать твердо.

Услышав ответ Бессонова, он по выработанной годами привычке не выказал прямого неудовлетворения; с вялой неспешностью прошел по ковровой дорожке из конца в конец кабинета и оттуда сказал еле разборчивым голосом:

— Шагом политическим? Да, это политика... Говорят, товарищ Бессонов, что вы иногда высказываете свою... особую точку зрения на разные события. Как насчет этих военнопленных, например. Соответствует действительности это мнение о вас?

Ожидая продолжения разговора о Власове, Бессонов не предполагал этого вопроса, и, чуть-чуть передвинув по ковровой дорожке замлевшую ногу, он ощутил вдруг прошедший в груди ветерок и с чувством непривычного

для себя состояния начатого крутого, разрушительного падения с высоты, точно сам уже осознанно готовый к роковому исходу, с трудом произнес:

— Товарищ Сталин, наверно, обо мне говорят и худшее. Мне известно мнение о том, что у меня плохой характер. И не сомневаюсь, что были жалобы на меня.

Сталин разомкнул тяжелые веки, посмотрел с пристальным удивлением и медленно опустил веки.

— Почему прямо не отвечаете на вопрос? — спросил Сталин, внезапно засмеялся беззвучным смехом и, поглаживая большим пальцем зажатую в руке трубку, валко пошевеливая плечами, опять зашагал к письменному столу в конце кабинета.— Вы коммунист, товарищ Бессонов, и ответьте мне как коммунист. Всегда имели свою личную точку зрения на разные события?

— Старался иметь, товарищ Сталин. Но не всегда удавалось отстаивать ее до конца.

Сталин, сощурясь, глядел от стола. Давно привыкнув к бесспорному согласию окружающих со своим мнением, как к норме, он иногда позволял очень немногим из приближенных людей высказывать личное, особое мнение, и ответ Бессонова напомнил ему одного из представителей Ставки, который подчас и раздражал его, и вместе необходим был своей настойчивой безбоязненной прямотой при решении оперативных вопросов. Но опытная проницательность, изумлявшая всех твердой точностью в оценке обстановки, приучила Сталина верить в безошибочность собственных суждений; и он высказывал их без колебаний.

— Понимаю, товарищ Бессонов... Ваши сомнения, по-видимому, относились к судьбам некоторых военачальников, которых мы в свое время наказали?

— Это только моя точка зрения, товарищ Сталин,— ответил Бессонов, еще ближе придвигаясь к ледяному ветру, губительно подувшему по лицу, по ногам; и, ответив так, поняв, что Сталин заставил его сказать о том, о чем не думал говорить, добавил с поразившим его самого спокойствием: — Эта точка зрения сложилась потому, что мне пришлось служить с некоторыми военачальниками, впоследствии ставшими жертвой клеветы. Я в этом уверен, товарищ Сталин...

Сталин положил и оттолкнул в сторону трубку на столе как нечто постороннее, мешающее ему, заговорил бесстрастно:

— Мне известны такого рода сомнения. Борьба — суровая вещь. Но многие из тех, в ком мы тогда сомневались,— люди с потенциальной душонкой Власова. Перегибы и ошибки давно исправили. Рокоссовский и Толбухин успешно воюют под Сталинградом...

«А как же остальные?» — подумал Бессонов.

— ...но если бы этот сумасшедший Власов поумнел, порвал с немцами, мы бы его никогда не простили!..

Разговор этот, видимо, настраивал Сталина на раздражающие, неприятные воспоминания, и, покашляв, он своей мягкой походкой в лишенных малейшего скрипа сапогах подошел к карте, долго смотрел на подробно нанесенную утреннюю обстановку трех фронтов и, пытаясь переключить мысли в ином направлении, думая об успехе этих трех фронтов под Сталинградом, сказал, сделав отмахивающийся жест:

— Все это к слову! А что касается вашего сына, товарищ Бессонов, не будем зачислять его в списки пленных. Будем считать его пропавшим без вести. В дальнейшем наведем подробные справки. И сообщим вам. Мой старший сын, Яков, тоже в начале войны пропал без вести. Так что мы в одинаковом положении, товарищ Бессонов.

Сталин хотел добавить еще что-то о своем старшем сыне, но, медля, передвинул лупу на карте, проговорил совсем другое:

— Без задержек вводите в дело свою армию. Желаю вам, товарищ Бессонов, в составе фронта Рокоссовского успешно сжимать и уничтожать группировку Паулюса. Я вам верю после активных действий вашего корпуса под Москвой, товарищ Бессонов. Я это помню.

— Не пожалею сил, товарищ Сталин. Разрешите идти?

— Как раз силу-то экономьте. Думал, богатырь вы.— Сталин развел руками, показал предполагаемый размер плеч Бессонова, при этом неожиданно улыбнулся, усы дрогнули, и в этот миг (Сталин сам это чувствовал) исчез, растаял латунно-жесткий холодок в глазах — его лицо, испещренное мелкими оспинками, стало мягким, домашним, добрым, каким его привык видеть Бессонов на портретах.— Худой вы, товарищ Бессонов. Это потому, что имеете свою точку зрения?.. Не язва? Мало, наверно, едите. И вот солдат будете плохо кормить. А это уж

непозволительно, хоть со снабжением и неважно под Сталинградом.

— Я из госпиталя, товарищ Сталин. Но худой был всегда,— ответил Бессонов, увидев эту улыбку Сталина, которая как бы приглашала его забыть в этом разговоре все постороннее, прямо не относящееся к делу.

Через три часа с военного аэродрома он вылетел на связном самолете в район Сталинграда. Но и в самолете не мог до конца разобраться в сложном впечатлении от сорокаминутного разговора с Верховным.

На третий день после прибытия Бессонова на место, в район развертывания армии, обстановка на юго-западе от Сталинграда решительно изменилась.

С 24 по 29 ноября соединения Донского и Сталинградского фронтов вели непрерывные наступательные бои против замкнутой в клещи многотысячной немецкой группировки, ожесточенно сопротивлявшейся, не раз на отдельных участках переходившей в контратаки. Но к первым числам декабря территория, занятая окруженными войсками, сократилась вдвое, не превышала семидесяти — восьмидесяти километров с запада на восток и тридцати — сорока километров с севера на юг. Командующий 6-й полевой армией генерал-полковник Паулюс послал срочную радиограмму в ставку Гитлера, требуя разрешения на прорыв из «котла» при перегруппировке сил на юго-запад; и, рассчитывая на согласие Гитлера, отдал приказ своей армии, а также подчиненной ему 4-й танковой армии приготовиться к отходу от берегов Волги в направлении Ростова. В течение нескольких дней две эти армии в спешке сжигали все, что невозможно было использовать при прорыве,— запасы летнего офицерского обмундирования, тягачи, автомашины, оставшиеся без горючего, подрывали склады с обременявшим войска имуществом, уничтожали штабные бумаги.

В деталях осведомленный о положении войск через личных представителей, Гитлер колебался, пребывая в состоянии нерешительности, но, учитывая обещание Геринга навести посредством авиации «воздушный мост» в Сталинград с доставкой по нему до пятисот тонн грузов ежедневно, он послал ответную радиограмму Паулюсу, приказывая не оставлять Сталинград, держать круговую оборону, сражаться до последнего солдата. Затем в штаб

6-й полевой армии последовал приказ об операции под кодовым названием «Зимняя гроза» — о готовящемся деблокировании, о прорыве к замкнутой группировке Паулюса со стороны Котельникова и Тормосина группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Манштейна, которому были теперь подчинены соединения, развернутые к югу от среднего течения Дона до астраханских степей, то есть до тридцати дивизий, в том числе шесть танковых и одна моторизованная, переброшенных из Германии, Франции, Польши и с других участков фронта.

Это решение Гитлера удерживать Сталинград во что бы то ни стало преследовало одновременно и стратегическую цель — обеспечить отход на Ростов северокавказской группировки немцев, находившейся под угрозой охвата с флангов.

Одиннадцатого декабря, еще раз обсуждая положение в районе Сталинграда, Гитлер приказал Манштейну нанести деблокирующий удар.

На рассвете 12 декабря, создав трехкратный перевес на узком участке вдоль железной дороги Тихорецк — Котельниково — Сталинград, командующий ударной группой деблокирования генерал-полковник Гот двумя танковыми дивизиями при массированной поддержке авиации нанес удар в стык двух армий Сталинградского фронта. Танки устремились в прорыв, к 15 декабря вышли на берег реки Аксай и, форсировав ее, за три дня беспрерывных атак продвинулись на сорок пять километров в направлении к Сталинграду. Нашей разведкой были перехвачены незашифрованные радиограммы Гота в штаб Паулюса: «Держитесь. Освобождение близко. Мы придем!» Положение на юго-западе крайне осложнилось. Ослабленные прежними оборонительными и наступательными боями, наши войска отходили, истекая кровью, с жестоким упорством цепляясь за каждую высоту. На главном направлении были введены все резервы, однако это не смогло существенно изменить сложившегося положения: армейская группа генерал-полковника Гота, усиленная подошедшей 17-й танковой дивизией, продолжала быстро продвигаться к Сталинграду, к окруженной 6-й армии Паулюса, от часа к часу ожидавшей сигнала на прорыв из кольца навстречу танковым дивизиям, деблокирующим ее.

В тот момент, когда свежесформированная армия Бессонова начала выгружаться северо-западнее Сталин-

града, уже поступили подробные сообщения о начавшемся немецком контрнаступлении на Котельниковском направлении, о кровопролитных боях на рубеже реки Аксай. Вместе с начальником штаба армии генерал-майором Яценко Бессонова срочно вызвали на Военный совет фронта, где в то время находился и представитель Ставки. После подробных докладов командующего фронтом и командующих армиями с бесспорной очевидностью стало ясно, что войска Сталинградского фронта, по которому наносился главный удар, не имели достаточных сил противостоять натиску Манштейна, располагавшему на участке прорыва большим численным перевесом.

Слушая эти доклады, Бессонов молчал и думал о том, что вводить сейчас его армию в полосе Донского фронта с задачей добивать стиснутую в кольце группировку Паулюса было бы нерассчитанным действием, рискованным шагом в момент нависшей угрозы на юге. И когда представитель Ставки обратился к нему с предложением взять его хорошо оснащенную армию с Донского фронта и перегруппировать на юго-запад против ударной группы Манштейна, где решалась судьба операции, он, мысленно готовый к этому, помедлив, ответил, что другого решения пока не видит.

Но, ответив так, Бессонов тотчас же попросил усилить свою армию, еще не обстрелянную, не побывавшую в боях, танковым или механизированным корпусом. Генерал-майор Яценко опасливо посмотрел на него, и Бессонов про себя отметил, что начальник штаба (его он пока мало знал) весьма встревожен по-новому скорректированной задачей армии, которую так легко и, казалось, почти безоговорочно взял на себя только что прибывший командующий.

Представитель Ставки заявил, что немедленно будет звонить Сталину, что надеется получить согласие на предложение Военного совета взять армию Бессонова у Донского фронта и перебросить ее на чрезвычайное Котельниковское направление с целью остановить и разгромить Манштейна на пути к Сталинграду.

Бессонов услышал торопящее слово «разгромить» и подумал, что на первом этапе даже реализованная возможность «остановить» уже равносильна выигранной операции.

Ставка без промедления дала согласие, и армия Бессонова форсированным маршем, без остановок, без при-

валов, без отдыха двинулась с севера на юг, на рубеж реки Мышкова — последний естественный рубеж, за которым перед немецкими танками открывалась гладко-ровная степь до самого Сталинграда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В третьем часу ночи после утомительной езды по заледенелым степным дорогам, забитым колоннами войск, машина Бессонова въехала в полуразрушенную (нигде ни единого огонька) станицу в глубокой балке, где расположился новый командный пункт армии.

За околицей, на перекрестке, сразу мигнул красный лучик ручного фонарика, три затемневшие впереди фигуры вышли на середину дороги. Это был патруль.

Майор Божичко вылез и, кратко переговорив со старшим из патруля, доложил чрезмерно бодро:

— Четвертый дом направо. Уже устроились. Все службы здесь, товарищ генерал.

Возле крыльца штаба Бессонов, разминая затекшие ноги, немного походил, вдыхая крепкий морозный воздух, смешанный с тепловатым горьким ароматом кизячного дымка, поглядел в небо. Вызвездило крупно. Дрожали, разгораясь, яркие созвездия в черных декабрьских высотах. Завивающимися змейками сносило с крыши колкую снежную пыль. Ветер звенел в сиротливо-голых кукурузных стеблях, темными островками торчавших в огородах из сугробов. А где-то слева, на юге, глухо погромыхивало, приближаясь и стихая, как будто земля покачивалась на воздушных весах.

Потом Бессонов услышал завывание автомашин на улочках станицы, отголоски команд, переклички связистов на дороге, протягивающих провод, скрип повозок в темноте. Донесся простуженный, распекающий говорок от соседнего дома: видимо, старшина из хозяйственной роты отчитывал нерадивого, полусонного повара. Все было знакомо, внешне все выглядело так, как бывает при размещении любого крупного штаба. Но в то же время Бессонов ловил себя на мысли, что сейчас многие из этих людей, отдававших распоряжения по службе, делавших свою обычную работу, озабоченных лишь удобством размещения, совсем не предполагали степени опасности, надвигающейся со стороны этого погромыхивания на юге.

— Слышите, Петр Александрович? — сказал Веснин, покрякивая на холоде, протирая носовым платком стекла очков.— И ночью жмут. Очень торопятся! По-моему, на юге небо светлей — все там горит, наверно...

— Именно торопятся,— ответил Бессонов и мимо часового взошел на забеленное снежком крыльцо.

В доме, где разместился начальник штаба, было до жаркой духоты натоплено, пахло овчинами, деревом и почему-то теплым конопляным маслом. В большой комнате с тщательно занавешенными окнами ярким белым накалом горели аккумуляторные лампочки. Под ними возле карты и за столом сидели на деревянных лавках вызванные генералом Яценко начальники отделов и служб. И Бессонова удивило, что были они в полушубках, в шапках, словно подчеркивая тем некую нервозность, которую он не хотел видеть на своем КП. Было накурено, синие пласты дыма плавали над столом — совещание шло к концу. Грузный генерал-майор Яценко, с гладко выбритой, несмотря на зиму, крупной головой, очень заметный внушительной физической прочностью, басовито подал команду при виде Бессонова. Все встали, вытянулись, пряча поспешно папиросы: знали, что новый командующий не курит, не выносит табачного дыма.

Бессонов, никому не пожимая руки, поздоровался; снимая полушубок, недовольно проговорил:

— В этой комнате попросил бы не курить. Не дурманить головы. И хотел бы, чтобы, входя в штаб, командиры снимали шинели и полушубки. Не сомневаюсь, что так будет удобней... Если не помешал совещанию, прошу всех незамедлительно приступить к своим обязанностям.

— Прямо паровозы! — сказал Веснин, потирая руки, покачиваясь на длинных своих ногах.— Дым коромыслом!..

— Что с ними сделаешь, дымят и дымят, чертяки! Может, проветрить помещение, Петр Александрович? — забасил Яценко, когда несколько командиров вышли, и повернул выбритую голову к занавешенным окнам. Он сам не курил, обладал завидным, несокрушимым здоровьем и, всегда погруженный в бесконечные штабные заботы, к подчиненным был настроен снисходительно, в быту многое отечески прощал им, как нашалившим детям.

— Не сейчас,— остановил Бессонов и, ладонью пригладив редкие седеющие, зачесанные набок волосы, кивнул.— Прошу к карте. Думаю, лучше сесть.

Все, кто остался в комнате, сели поближе к карте. Бессонов прислонил палочку к краю стола; все глядели не на Яценко, со значительным видом готового докладывать, и не на карту с последними данными, а на лицо Бессонова, болезненное, сухое, невольно сравнивая его с лицом Веснина, приятно розовым, моложавым,— командующий армией и член Военного совета внешне разительно отличались друг от друга.

— Прошу,— сказал Бессонов.

— Из-за запрета пользоваться рациями связь с корпусами оставляет желать лучшего. Донесения — только через офицеров связи, товарищ командующий,— заговорил Яценко, и в маленьких умных глазах его Бессонов не отметил прежнего вопроса и удивления, какое было тогда на Военном совете фронта. Теперь в них как бы отразилось лишь то, что было связано с организационными усилиями, с лихорадочной переброской четырех полных корпусов на двести километров с севера на юг.— Два часа назад армия занимала следующее положение...

Генерал Яценко положил большую руку на карту — плоские, широкие ногти аккуратно острижены, чисты, и весь он был аккуратен, умыт, выбрит с педантичной чистоплотностью кадрового военного. Доклад его тоже был педантично четок, голос густо звучал, вроде бы со вкусом называя номера корпусов и дивизий:

— Третий гвардейский стрелковый корпус вышел в район развертывания на рубеж реки Мышкова и занимает оборону. Седьмой корпус на марше, с наступлением темноты, надеюсь, без осложнений прибудет в район сосредоточения. Крайне тяжелое положение сложилось в механизированном корпусе, товарищ командующий.— И Яценко стал медленно багроветь, как если бы он, любивший четкость исполнения, вновь пережил неприятное, бедственное донесение из мехкорпуса.— Кончилось горючее на марше, тягачи и машины с боеприпасами застряли на сороковом километре... Мною даны две телеграммы командующему фронтом...

Яценко без запинки, но со значительным нажимом, по памяти воспроизвел текст этих двух телеграмм, затем исподлобья бросил на Бессонова уже знакомый тому выжидательно-испытующий взгляд. Однако Бессонов не

счел нужным ничего уточнять, не изменил выражения неподвижного худого лица, не выказал удивления по поводу тревожно-решительного тона телеграмм. Он рассеянно рассматривал карту на столе. Веснин же вдруг блеснул стеклами очков и подсказал:

— И насчет бы продовольствия, Семен Иванович. На этом адском морозе без горячего варева и положенной солдату водки в сосульку превратишься, пальцем не пошевелишь.

— Об этом пе говорю,— ответил с досадой Яценко.— В дивизиях есть случаи обморожения...

— Ясно,— сказал Бессонов.

Все, о чем докладывал начальник штаба, совпадало с тем, что сам он видел утром и днем на дорогах движения армии. Но не эти осложнения волновали сейчас Бессонова. Он по опыту верил в так называемое второе дыхание войск при форсированных перебросках на большие расстояния. Гораздо больше беспокоило его осложненное положение одной из дивизий соседней армии, ожесточенно оборонявшейся несколько суток и вконец измотанной немецкими танковыми атаками. Обстановка там была известна ему не только по несвязным ответам того контуженного страхом танкиста. От стойкости или гибели этой дивизии, из последних сил сдерживающей исступленно-неистовый натиск немцев, в прямой зависимости было так нужное Бессонову время для подхода и развертывания всей армии на рубеже реки Мышкова — последней преграды на пути немцев к окруженной группировке в районе Сталинграда.

Прервав доклад Яценко лаконичным «ясно», Бессонов взглянул на начальника разведотдела полковника Дергачева, довольно молодого, с тонкими, сросшимися на переносице бровями, что придавало ему не по годам суровый, независимый вид, и спросил с интонацией ожидания неудовлетворительных новостей:

— Что нового может сказать разведка?

— Положение к вечеру, товарищ командующий,— заговорил полковник Дергачев тоном, который действительно не обещал ничего обнадеживающего.— На правом фланге соседней армии немцы ввели в бой свежую танковую дивизию, в составе которой до батальона тяжелых танков новой модели «тигр». По показаниям пленного офицера, захваченного вчера, и по другим данным в деблокирующем ударе действует более десятка диви-

зий, в том числе две танковые. Соседняя армия не в силах сдержать этого натиска...

— Не в силах,— повторил Бессонов.

— У правого соседа положение не лучше, если не хуже, Петр Александрович,— засопев, добавил Яценко в наступившей тишине.— Кавалерийский корпус понес огромные потери и отошел. Создается впечатление, товарищ командующий, что немцы будут наносить главный удар по правому крылу нашей армии. Здесь кратчайшее расстояние до Сталинграда.

Бессонов со скрытым интересом поглядел на Яценко, сосредоточив внимание на его старомодно выбритой наголо голове (распространено было среди командиров до войны). Этот грузный, опрятный генерал на первый взгляд совсем не производил впечатления толкового и грамотного начштаба, может быть, из-за своей грубоватой внешности, густого старшинского баса. Кроме того, Бессонова раздражал исходивший от Яценко резкий запах тройного одеколона.

«Правильно,— подавляя настороженность к начальнику штаба, подумал Бессонов.— Именно по правому флангу наиболее вероятен удар».

— Да, отсюда Манштейну едва ли сорок километров до окруженной группировки,— подтвердил вслух свою мысль Бессонов и подумал затем: «Если прорвутся здесь, пробьют коридор к окруженной группировке, два-три дня боев — и обстановка в районе Сталинграда изменится в пользу немцев. Что же тогда?»

Но эту мысль он не высказал вслух. Последний вопрос даже самому себе он задал, пожалуй, впервые.

Все ждали за столом в том напряженном угадывании какого-то действия Бессонова, как почти всегда бывает, когда в крупном штабе появляется новый, наделенный полнотой власти человек, еще раскованный в своих решениях, не связанный еще ни с чьим мнением. А Бессонов с выражением глубокой усталости глядел на карту, испещренную знаками обстановки, ярко и уютно освещенную аккумуляторными лампочками, и, выслушав доклад начальника штаба, молчал, продолжая думать о возможном соотношении сил на направлении предполагаемого удара. «Если три-четыре немецкие танковые дивизии прорвут оборону на Мышковой раньше, чем мы успеем подойти и развернуть свою армию на правом берегу, они сомнут и нас. Это тоже очевидно».

Но вслух он не сказал и этого, ибо бессмысленно было говорить о том, что понимали, вероятно, в ту минуту все за столом.

Бессонов поднял голову.

В просторной комнате по-прежнему было тихо. Тоненько дребезжали стекла от проходивших под занавешенными окнами штабных машин. Ветер с вольным степным гулом проносился по крыше, маскировочные занавеси окон едва заметно шевелились на сквознячках.

В углу над лавками поблескивал закопченный и древний лик иконы, как скорбная, от века, память о человеческих ошибках, войнах, поисках истины и страданиях. Этот лик какого-то святого, темнеющий над любовно вышитыми кем-то и повешенными крест-накрест белыми холщовыми рушниками, искоса печально глядел в свет аккумуляторных ламп. И Бессонов, чуть усмехнувшись, неожиданно подумал: «А ты-то что знаешь, святой? Где она, истина? В добре? Ах, в добре... В благости прощения и любви? К кому? Что ты знаешь обо мне, о моем сыне? О Манштейне что знаешь? О его танковых дивизиях? Если бы я веровал, я помолился бы, конечно. На коленях попросил совета и помощи. Но я не верую в бога и в чудеса не верю. Четыреста немецких танков — вот тебе истина! И эта истина положена на чашу весов — опасная тяжесть на весах добра и зла. От этого теперь зависит многое: четырехмесячная оборона Сталинграда, наше контрнаступление, окружение немецких армий. И это истина, как и то, что немцы извне начали контрнаступление. Но чашу весов еще нужно тронуть. Хватит ли у меня на это сил?..»

Молчание за столом гнетуще затягивалось. Никто первым не решался нарушить его. Начальник штаба Яценко вопрошающе поглядывал на дверь во вторую половину дома, где гудели зуммеры, то и дело отвечали по телефонам голоса адъютантов. Генерал Яценко не вставал, сидел грузно, прямо; потом носовым платком обтер бритую голову и снова озабоченно скосился на дверь. Веснин в задумчивости играл на столе коробкой папирос и, поймав на иконе, странный текучий взгляд Бессонова, который становился все неприязненнее, все жестче, подумал, мучаясь любопытством, что не пожалел бы ничего, чтобы узнать, о чем думает сейчас командующий. Бессонов в свою очередь, перехватив внимание Веснина, подумал, что этот довольно молодой, при-

ятный на вид член Военного совета чересчур уж заинтересованно-откровенно наблюдает за ним. И спросил не о том, о чем хотел спросить в первую очередь:

— Готова связь со штабом фронта?

— Будет готова через полтора часа. Я имею в виду проводную связь,— заверил Яценко и притронулся ладонью к ручным часам.— Все будет точно, товарищ командующий. Начальник связи у нас человек пунктуальный.

— Мне нужна эта точность, начальник штаба.— Бессонов встал.— Только точность. Только...

Опираясь на палочку, он сделал несколько шагов по комнате, и в эти секунды ему вспомнились хозяйски медленные, развалистые шаги Сталина по красной ковровой дорожке около огромного стола в огромном кабинете, его еле слышное перханье, покашливание и весь тот сорокаминутный разговор в Ставке. С испариной на висках Бессонов остановился в углу комнаты. «Что это? Как гипноз, не могу никак отойти от этого»,— подумал он, раздражаясь на себя, и некоторое время стоял спиной ко всем, упорно разглядывая вышитые холщовые рушники, висящие под иконой.

— Вот что,— поворачиваясь, произнес Бессонов оттуда, из угла, нащупывая встречный взгляд Яценко и стараясь говорить спокойно.— Немедленно передайте распоряжение командиру механизированного корпуса: ни минуты не ждать горючего, загружать боеприпасами способные двигаться машины и танки. Все наши свободные машины — из штаба, из тылов — в корпус. Передать начальнику артснабжения и командиру корпуса: если через два часа бригады с полным боекомплектом не выйдут на заданный рубеж, буду расценивать это как неспособность справляться со своими обязанностями!

«Да, я так и предполагал. Начинает брать армию в руки,— подумал Веснин, вслушиваясь в скрипучий голос Бессонова.— Так вот он сразу как...»

— Второе...— продолжал Бессонов и подошел к столу, глядя на командующего артиллерией генерала Ломидзе, намереваясь произнести фразу: «К сожалению, перевеса ни в авиации, ни в танках на нашем участке пока нет, будем рады довольствоваться тем, что артиллерии, слава богу, достаточно»,— назойливую фразу, не выходившую из головы, но вслух высказал другое: — Думаю, стоит изменить первоначальный план артиллерийской обороны. Всю артиллерию, за исключением корпусной,

желательно поставить на прямую наводку. В боевые порядки пехоты. И выбивать танки. Главное — выбивать у них танки. Свои танки введем в бой лишь в кризисный момент. А до этого будем беречь их как зеницу ока.

— Понял, товарищ командующий,— сказал Яценко.

— А вы как... генерал?

Командующий артиллерией, сорокалетний черноволосый красавец генерал-майор Ломидзе, украдкой рисовавший в блокноте женские профили с полуоткрытыми губками и вздернутыми носиками, захлоппул блокнот, поднял на Бессонова быстрые горячие глаза, сказал:

— Товарищ командующий... не останемся ли таким образом без артиллерии? После первого боя. Хочу напомнить: гаубицы против танков недостаточно эффективны. По скорострельности, конечно, уступают противотанковым пушкам. Был приказ поставить на прямую наводку семидесятишестимиллиметровые батареи.

Бессонов посмотрел на Ломидзе внимательно, чуть удивленный его возражением.

— Знаю, чем мы рискуем. Но лучше остаться без единого орудия, генерал Ломидзе, чем драпать! — Он намеренно употребил это жаргонное, особо яркое солдатское слово.— Чем драпать вместе с артиллерией до Сталинграда. Поэтому повторяю: выбивать всеми средствами, уничтожать танки, основную ударную силу немцев! Не дать ни одному прорваться к Сталинграду. Не дать им поднять головы! Известно ли вам ликование немцев в «котле» после того, как Манштейн перешел в контрнаступление? Там ждут... ждут с часу на час прорыва кольца. Нам же ежеминутно помнить надо, что это не новичок, а весьма многоопытный генерал. Прошу всех усвоить: в уничтожении танков вижу главную задачу армии на первом этапе боев. Вопросы?

Вопросов не было.

— Все ясно, Петр Александрович,— сказал Веснин, несколько смягчая накал бессоновского объяснения.

— Немцы не те,— пробормотал Ломидзе.— Не прорвутся, товарищ командующий.

— Немцы еще те,— возразил Бессонов и поморщился.— Прошу вас, генерал, забыть про квасное шапкозакидательство. С позволения сказать, теория эта давно устарела.

Ломидзе снова раскрыл блокнот, мрачно зачеркал в нем остро отточенным карандашом. Сидевший рядом Вес-

нин, повеселев, увидел: к женскому профилю командующий артиллерией пририсовал пышные усы, затем бороду, в ней длинную папиросу с курчавым дымком, потом крупно написал под рисунком: «Знаю, что он прав, но очень уж... Скажите, товарищ член Военного совета, чего он нас мучает? Сам не курит, другим не разрешает. Женский монастырь, что ли?»

Веснин улыбнулся, подтянул ближе блокнот Ломидзе, на краю листа прямым мелким почерком написал: «Будем отвыкать. Сам до потери сознания хочу курить». И тотчас же в ответ из-под острого грифеля Ломидзе поползли косые буквы и сложились короткие слова: «Нет уж! К богу!»

Бессонов, слегка прихрамывая, шагал по комнате, сделав вид, что не заметил этой переписки. «Хотел бы знать, поймем ли мы друг друга до конца?» — спросил он себя и, уперев палочку в пол, задержался подле тихо и скромно сидевшего не за столом, а в углу комнаты начальника контрразведки армии полковника Осина, широкого в кости, белокурого, курчавого, с серьезным, почтительным лицом. Закинув ногу на ногу, Осин тоже что-то записывал в блокноте, положенном на обтянутое бриджами колено. Он ни разу не оторвался от блокнота, не произнес ни единого слова, не изменил позы, и Бессонов подумал: «А этот полковник каков?»

— Майор Божичко! — позвал командующий.

Дверь во вторую половину дома, где зуммерили телефоны, раскрылась, и Божичко вошел энергично; в глазах его еще таял смех после только что рассказанного в той комнате анекдота. Майор стукнул на пороге валенком о валенок.

— Слушаю, товарищ командующий.

— Машину.

— Товарищ генерал,— заговорил Божичко не без настойчивости, имея неотъемлемое право адъютанта заботиться о командующем.— Обед готов! Пельмени вы заказывали. Это десять минут.

— А майор неплохо придумал,— сказал Веснин и проворно поднялся, обратив свое приятное розовое подвижное лицо к Божичко.— Я «за». Пожалуй, не отказался бы от рюмки с мороза! Прекрасная идея, Петр Александрович!

Бессонов с сухой вежливостью отклонил предложение:

— Благодарю. Буду голоден — не постеснялось пообедать и в дивизии Деева.

Перекладывая палочку из руки в руку, он надел поданный адъютантом полушубок и, застегиваясь, обратился к Яценко:

— Согласен с вами, что главный удар они нанесут на правом фланге. Это не вызывает сомнения. Я на энпэ Деева. Туда прошу и докладывать обо всем существенном.

Все проводили командующего до двери, а генерал Яценко переступил порог темных холодных сеней. Здесь не было видно лица его, лишь в холодке ощутимо запахло тройным одеколоном, и Бессонову почудилось, что начальник штаба, прощаясь, хочет пожать ему руку в знак солидарности, но не решается.

— Будем надеяться,— сказал Бессонов и, коротко обменявшись с Яценко рукопожатием, вышел на улицу.

Ветреная декабрьская ночь чернела над степью с рассыпанными по чистому небу созвездиями. Уже подходя к темневшей на дороге машине, Бессонов услышал хлопанье двери за спиной, похрупывание снега и полуобернулся, надеясь увидеть начальника штаба, не досказавшего что-то. Но это был Веснин. Вышагивая цапельно-длинными ногами, он подошел к Бессонову, сказал с некоторым замешательством:

— Петр Александрович, шут с ними, с пельменями! Разреши присоединиться? Не возражаешь, если я с тобой на энпэ?

— Не понимаю. Член Военного совета не обязан, как я знаю, спрашивать разрешения у командующего, где находиться. Сам волен решать.

Веснин рассмеялся.

— Петр Александрович, ты огорошиваешь меня своей, прости, прямотой. Что я должен ответить?..

— А вот что...— Бессонов отвел Веснина от машины в сторону.— Хочу задать еще один очень прямой вопрос. Как коммунист коммунисту... Если тебе, Виталий Исаевич, кто-то посоветовал присматривать за новым командующим, как за малым дитятею, особенно при вступлении в должность, то отношения наши грозят осложнениями. С трудом будем терпеть друг друга.— Он помолчал, и Веснин не перебивал его.— Если же это не так, готов немедленно извиниться за вышесказанное.

— Петр Александрович.— Веснин даже сдернул очки, с грустным вниманием глядя близорукими глазами.—

Спасибо за откровенность. Но заявляю тоже совершенно искренне: если бы кто-то попытался насторожить мое внимание в твою сторону, я послал бы этого дурака к чертовой матери, если не дальше! Больше добавить ничего не могу.

— Благодарю,— усмехнулся Бессонов.— Извини за этот разговор.

— Напротив,— сказал Веснин,— я хотел бы, чтобы у нас нашлось время поговорить более обстоятельно. Только не в машине, конечно.

— В дивизии поговорим,— пообещал Бессонов. И суховато добавил: — Разумеется, если немцы позволят...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В третьем часу ночи дивизия полковника Деева, завершив двухсоткилометровый марш, вышла в заданный район — на северный берег реки Мышкова — и без отдыха стала занимать оборону, вгрызаться в мерзлую землю, твердую, как железо. Теперь все уже знали, с какой целью занимался этот рубеж, представлявшийся в воображении последним барьером перед Сталинградом.

Тяжкое погромыхивание отдаленного боя, доносившееся спереди, накалилось в четвертом часу ночи. Небо на юге посветлело — розовый сегмент, прижатый темнотой к горизонту. И в коротких затишьях в той стороне, откуда приближалось невидимое, неизвестное, слышны были на занимаемом рубеже скрежет лопат в звонком каменном грунте, тупые удары кирок, команды, фырканье лошадей. Два стрелковых батальона, три батареи артполка и отдельный противотанковый дивизион были выдвинуты, переброшены через реку по единственному мосту, соединявшему станицу, и закреплялись впереди главных сил дивизии, окапывались здесь. В охватившем всех возбуждении люди, то и дело матерясь, глядели на зарево, потом на северный берег, на пятна домов по бугру, на деревянный мост, по которому шли запоздалые орудия артполка.

А река Мышкова, разделявшая станицу, лежала внизу, синея под звездами. Снег густым дымом сдувало с высоких ее берегов, поземка жгутами скользила, неслась по льду, обвивая впаянные в лед сваи моста.

Батарея лейтенанта Дроздовского, поставленная на прямую наводку позади боевого охранения, зарывалась

в землю на самом берегу реки, и спустя три часа изнурительной работы орудия были вкопаны на полтора лопатных штыка.

Лейтенант Кузнецов, горячий, мокрый от пота, сначала испытывал азартное чувство какой-то одержимой поспешности, как испытывали это и все, слушая заглушенные расстоянием обвальные раскаты в стороне светлого сегмента неба. Каждый понимал, что бой приближается, неумолимо идет оттуда и, не успев окопаться, без защиты земли, останешься на заснеженном берегу раздетым. А лопаты не брали прокаленную холодами почву, сильные удары кирок выдалбливали лунки, клевали землю, брызгая крепкими, как кремень, осколками.

По берегу дул низовой ветер, шевелились в мутно-белой мгле фигуры солдат-артиллеристов и соседей-пехотинцев; между ними темнели щиты орудий.

Мороз, усилившийся к ночи, затруднял дыхание, не было возможности разговаривать; дышали с хрипом; иней мгновенно садился плотным налетом на потные лица, ледком залеплял веки, едва лишь кто-нибудь прекращал на минуту работу. Неутолимо хотелось пить — сгребали с брустверов пригоршнями уплотненный осколками земли снег, жевали его; пресная влага леденила горло; скрипело на зубах. Обливаясь потом, лейтенант Кузнецов безостановочно бил киркой в землю, он никак не мог остановиться. По мокрому телу под прилипшей к спине гимнастеркой шершавыми змейками полз озноб. Кузнецов с жадностью глотал снег, но пересыхало во рту, и мучила непрерывная мысль о чистой, пахучей, колодезной воде, которую хотелось, задохнувшись, пить из железного ведра, окунув подбородок в холод.

— Много вы больно снега-то глотаете, товарищ лейтенант,— робко заметил Чибисов, неуклюже подгребая совковой лопатой за киркой Кузнецова.— Грудь бы не застудить. Снег — обман один. Видимость одна!..

— Ни черта! — выдохнул Кузнецов и позвал: — Уханов!

Старший сержант Уханов, без шинели, в одном ватнике, с горловым хеканьем долбивший вместе с наводчиком Нечаевым ровики, откинул кирку, спрыгнул на еще мелкую огневую позицию.

— Как идет, товарищ лейтенант? Влезаем в земной шар полегоньку?

Он дышал убыстренно, разгоряченный работой, пахло от него крепким здоровым потом, поблескивало влажное лицо.

— Неплохо было бы,— выговорил Кузнецов,— послать кого-нибудь к реке... Прорубь найти. И пару котелков с водой сюда.

— Придумано законно,— согласился Уханов, рукавом размазывая по щекам пот.— А то весь снег вокруг огневых сожрут, дьяволы. Маскировать нечем будет... Ну, кто тут деревенский мастер по прорубям? Ты, Чибисов? Давай вниз, ломик возьми!

— Смогу я, смогу... Что ж, возле реки да без воды? Сейчас я, товарищ лейтенант, все напьемся,— зачастил певуче Чибисов, и это охотливое его согласие было замечено всеми на огневой.

— А почемуй-то Чибисов? Этот не в ту сторону еще лупанет! — сказал кто-то, сомнительно хохотнув.— Ориентиры знает?

— Замолол Емеля! Соображай!

— Нет, я и говорю: прямо ловит команду в тыл!

Однако Чибисов взял ломик, вскарабкался на бруствер, молча заковылял к орудию за котелками.

— Хитер мужик, аж пробы негде ставить,— опять хохотнул кто-то.— Работать — волос не ворохнется, жрать — вся голова трясется!

— Чего напали? Сами пить не хотите? Что, Чибисов жену у вас увел, никак? Он мужик старательный, мухи не обидит! Зашумели!

— Ша, славяне! — прикрикнул Уханов.— Не трогать мне Чибисова! А ты лучше про лошадей, Рубин, соображай, это для тебя поинтересней! Перекура не было! Долби, иначе он нас тут, как клопов, передавит! Или повторить?

Все вновь заработали на огневой — заскрежетали лопатами, с тупой однообразностью забили кирками в звеневший грунт. Кузнецов поднял с земли свою кирку, но тут же выпустил ее и вышел на бруствер, глядя на свет зарева левее редких и темных домов пустой станицы, вмерзшей в синеватость ночи.

— Подойди, Уханов,— сказал Кузнецов.— Слышишь что-нибудь?

— А что, лейтенант?

— Послушай...

Тишина странная, почти мертвенная, широкими волнами распространялась от зарева — ни гула, ни единого орудийного раската не доносилось оттуда. В этом непонятном наступившем безмолвии громче и четче стали выделяться звуки лопат, кирок, отдаленные голоса пехотинцев, окапывающихся в степи, и подвывание артиллерийских машин на высотах сзади — на том берегу, где занимала оборону дивизия.

— Кажется, затихло,— проговорил Кузнецов.— Или остановили, или немцы прорвали...

— А справа? — спросил Уханов.— Тоже что-то...

Далеко по горизонту, правее зарева, прямо над крышами южнобережной части станицы, прорезалось второе сегментное свечение в небе и беззвучно вспыхивали круглыми зарницами, снизу упираясь в низкие облака, скользящие красноватые светы. Но и там стояло тяжелое безмолвие.

— Похоже на ракеты,— сказал Кузнецов.

— Похоже,— согласился Уханов.— Вроде прорвали. Правее. Прямо перед нами. Вовсю жмут к Сталинграду, лейтенант. Вот что ясно. Хотят своих из колечка вырвать. И снова крылышки расправить.

— Пожалуй.

Кто-то сказал за спиной с веселым удивлением:

— Братцы, а чего так тихо стало? Отошел, никак, немец? Небо осветил, а тихо! Стало, передумал прорываться? Понимаешь, нет?

— Ну, прямо, «отошел»...

— Криво! Может, пораскидали генералы у Гитлера мозгами, решили: отменить пока!

— Вот он те даст «пораскидали мозгами», пуговиц не соберешь! — заключил въедливо-злой голос.— На ширинке ни одной не останется!

— Р-работай, кореши, долби, зубами вгрызайся!.. Дав-вай!..

Кузнецов и Уханов помолчали, слыша на берегу переговоры людей, участившееся дыхание: острия кирок с наковальным звоном тюкали в железную землю, на которую наступала эта пугающе огромная тишина, раздвинувшаяся по всему небу на юге. Уханов спросил не без раздумчивого угадывания:

— Далеко они? Как, лейтенант? Час? Два? А?

— А кто это знает! — ответил Кузнецов и опустил корябнувший мокрую шею воротник шинели: озноб не

проходил, морозящей ледяной паутиной облеплывал спину, во рту по-прежнему было сухо и горячо.— Окапываться нужно как бешеным. Все равно! Час или два — все равно!

Снова помолчали. А безмолвие горизонта охватывало, заполняло степь, зловеще ползло и ползло на батарею от двух зарев, зажженных в черноте ночи. И постепенно начали сникать, обрываться, притухать голоса солдат на огневых; тишина эта стала угнетать всех...

— Одно бы еще...— Уханов поглядел на Кузнецова, запахнул ватник.— Одно бы еще сделал. Из нашего старшины и повара душу бы с дерьмом вытряс своими руками. Где жратва? Попробуй кто-нибудь из расчета на сутки отстать — отдали бы под суд как дезертира! А поварам и старшинам ни хрена! — И Уханов, переваливаясь косолапо, сошел на орудийную площадку, где с хрипом, с выдохами вгрызались кирками в грунт солдаты, выбрасывали отколотые земляные комья на бруствер.

— Работа солдата — как колесо, братцы, без начала, без конца! — послышался снизу голос Уханова.— Крути колесо, славяне, в рай попадем!

— Где Чибисов? Пришел с водой Чибисов? — спросил Кузнецов, томимый непроходящей сухостью во рту, думая с отвращением, что придется глотать этот неприятно пресный, леденящий горло снег.

— А может, пленный-то в тыл рванул? — язвительно загудел из ровика ездовой Рубин.— Чешет назад, и котелки в кюветы побросал. А чё ему? Ты чё задышал, Сергуненков? Может, обратно слезу пустишь?

— Глупый ты человек; напраслину мелешь! — вскрикнул в сердцах ездовой Сергуненков, видно не забывший и не простивший той злобы, с какой Рубин вызвался пристрелить упавшую на марше уносную.

— Рубин,— строго проговорил Кузнецов,— прежде чем сказать, подумайте. Много чепухи говорите!

— Ох, Рубин, надоел ты! — с недобрым обещанием произнес Уханов.— Предупреждаю: очень надоел!

Кузнецов стянул рукавицу, подхватил влажной рукой пригоршню острого, как битое стекло, снега и с заломившими зубами, давясь, начал глотать его, утоляя жажду.

— Ну! — сказал он.— Еще на штык...

И спрыгнул с бруствера на орудийную площадку, взял кирку, изо всей силы вонзил острие в почву. Этот

удар отдался в висках толчком крови. Кузнецов ударил киркой еще раз и еще, расставив ноги, чтобы не пошатываться от усталости. Через пять минут прежняя жажда, обманутая снегом, иссушающе жгла его, и он думал: «Чибисов... Скорей бы Чибисов... Где он там? Воды бы сейчас... Не заболеть бы мне».

Сквозь скрежет лопат он слышал обрывки разговоров о старшине, о кухне, но мысль о еде, об одном запахе пшенной каши была противна ему.

Кухня прибыла в пятом часу ночи, когда вся батарея, вымотавшись вконец на орудийных площадках, уже отрывала землянки в крутом обрыве берега. Кухня остановилась возле огневых второго взвода. Темным пятном проступала она на снегу, пахуче дымила, рдея жарком поддувала. Не слезая с козел, старшина Скорик прокричал наугад: «Кто есть живой?» — но, не получив ответа, соскочил на землю и первым из командиров встретил на огневых лейтенанта Давлатяна. Искоса поглядывая на два мохнатых, разросшихся по горизонту зарева, старшина спросил начальственной скороговоркой:

— Где комбат, товарищ лейтенант?.. Дроздовский нужен. Где он?

— Слушайте, вы... старшина! — заговорил Давлатян, заикаясь в негодовании.— Как вам не стыдно? Вы что, с ума сошли? Где вы были до сих пор? Почему так безобразно запоздали?

— Какой там еще стыд? — огрызнулся Скорик с атакующей надменностью, давно усвоив, что прочность его положения не зависит от командиров взводов, несмотря на их лейтенантские звания.— Чего стыдите-то? Склады у дьявола на рогах, отстали... Пока ездили, пайки, водку получали... Стыдите, ровно один воюете, товарищ лейтенант! Смешно мне это очень слушать. Ровно я пешка какая и фитюлька!

Скорик, бывший командир орудия, единственный в батарее обладатель ценнейшей солдатской медали «За отвагу», полученной в прошлогодних боях под Москвой, и вследствие награды, а также внушительной внешности выдвинутый на формировке в старшины, занял эту должность весьма охотно. Он полагал, что создан для старшинской должности, и в душе считал себя куда выше командиров взводов, в особенности этого щуплого,

остроносого Давлатяна, еще не понюхавшего в коротенькой жизни своей пороха, лейтенантика, которого чихом перешибить надвое можно. Лейтенантик этот был ничем не интересен, а тоже петушился, будто вся куриная грудь в орденах, будто на возмущение большое право имел... Да и никто в батарее не имел никакого права попрекнуть чем-либо Скорика, ибо он мог невзначай распахнуть шинель, напоминающе открыть взорам медаль, доставая зажигалку из нагрудного кармана гимнастерки. Только к Дроздовскому, командиру батареи, старшина Скорик относился с неким опасливым уважением.

— Неужели не стыдно, старшина! — повторил Давлатян, растерянный от нагловатого тона Скорика.— Чего вы улыбаетесь, как клоун в балагане? Можете целые сутки торчать где-то в тылу и еще улыбаетесь?

Здесь, на огневых Давлатяна, сейчас никого не было из орудийных расчетов, кроме часового — наводчика Касымова. В темноте несколько раз, словно проверяя, Касымов обошел вокруг нежданно-негаданно появившейся на огневых, пахнущей теплым ароматом варева кухни с затаившимся по-виноватому на козлах поваром — и вдруг, безумно взвизгнув, щелкнув затвором, вскинул на повара карабин:

— Уезжай! Прочь!.. Не наша кухня! Не может наша кухня быть! Ты шайтан! И старшина — шайтан! Уходи! Немец ты! Не советский человек! Люди без крошки хлеба!.. Где, проклятый, спал? Батарея голодный!.. Убью!..

— Касымов! — фальцетом закричал Давлатян.— Что вы делаете?

— Стрелять буду шкуру!..

Лейтенант Кузнецов, заслышав вблизи крики, подбежал к огневой Давлатяна, к стоявшей в синеватой снежной мгле кухне. Тотчас увидел, как лошадь при взмахе карабина Касымова испуганно рванула в степь, поволокла задребезжавший котел, низкорослая фигурка повара мешком скатилась с козел, ткнулась в сугроб; повар жалобно заголосил защищающимся тенорком:

— А?.. Зачем? Умом тронулся?..— И, вскочив, кинулся к лошади, схватил за повод, приговаривая: — Тпру, дуреха, чтоб тебя!..

— Что произошло, Давлатян? — крикнул Кузнецов.— С какой стати шум подняли? Касымов!..

— Вон видел... приехать изволили,— ответил Давлатян, запинаясь возбужденно.— Понимаешь, Кузнецов, сутки его не было, сутки! Тыловая простокваша!

А Касымов опустился на бруствер и, положив карабин на колени, раскачиваясь из стороны в сторону, говорил нараспев:

— Плохо, лейтенант, плохо... Не люди они... Такой люди плохо Родину защищать будут. Сознательность нет. Других не любят...

— А-а, ясно, тыловые аристократы прибыли,— насмешливо сказал Кузнецов.— Ну, как в тылах? Обстреливают? Что же стоите, старшина? Рассказывайте, как там — оборону копали для кухни? Давно вас не видели! С самого марша, кажется?

Скорик, улыбаясь одной щекой, с надменным и хищным выражением сверкнул на Кузнецова узко поставленными к переносице глазами.

— Бойцов неполитично настраиваете, товарищ лейтенант, не по уставу это. Чтоб бойцов против старшин? Комбату Дроздовскому жаловаться буду. Касымов вон оружием угрожал.

— Жалуйтесь кому угодно, хоть черту! — проговорил Кузнецов, уже не удерживаясь на прежнем тоне.— Сейчас же вниз, к расчетам! Быстро кормить батарею!

— Мною, товарищ лейтенант, не больно командуйте. Я не боец из вашего взвода... Дроздовскому я подчиняюсь. Комбату, а не вам. Доппаек свой — пожалуйста, можете получить, я не возражаю, а чтобы обзывать и шуметь — я тоже гордый и устав знаю. Семенухин! — по-строевому зычно позвал Скорик повара.— Выдать доппаек лейтенанту!

— Я сказал — вниз, кормить батарею! Поняли? Или нет? — вскипел Кузнецов.— Быстро, вы... знаток устава!

— Вы на меня не очень чтобы шумите! Комбата я обязан сперва накормить. Энпэ где?

— Вниз, я сказал! Там всё узнаете! И кухню вниз. Спуск возле моста. Лейтенант Давлатян! Покажите ему, где батарея. А то опять на сутки заблудится!

И, увидев, как старшина, исполненный непоколебимого достоинства, последовал за Давлатяном к обрыву берега, Кузнецов вернулся к орудиям, сел на разведенную станину, пытаясь успокоиться. После многочасовой работы на огневых зудяще ныли мускулы плеч и рук, ломило шею, горели мозоли на ладонях; ознобным покалыванием

пробегали мурашки по отделявшейся, мнилось, коже спины, и не хотелось двигаться.

«Заболеваю я, что ли?» — подумал Кузнецов и, найдя под станиной котелок с водой, принесенной Чибисовым из проруби, вожделенно поднял его к губам.

В пахнущей железом речной воде плавали невидимые льдинки, тоненькими иголочками позванивали о край котелка, смутно напоминая далекое, детское, новогоднее: ласковейший звон серебряных игрушек, нежное шуршание мишуры на елке, самый лучший зимний праздник в запахе хвои и мандаринов, среди зажженных свечей в теплой комнате... Кузнецов пил долго, и когда ледяная вода ожгла грудь холодом, он, внушая себе, подумал: сейчас эта вялость пройдет, и все станет ясным, реальным.

По-прежнему широко высвечивали небо зарева впереди над степью. Черным по красному виднелись низкие крыши, встывшие в этот свет ветлы затаенно-тихой станицы. Забеляя наваленные комья земли, вилась по брустверу поземка.

— Товарищ лейтенант!..— прозвучал рядом голос Касымова.

Он оторвал взгляд от зарева, посмотрел на подошедшего Касымова; тот присел на станину, карабин поставил меж ног. Его безусое, отполированное природной смуглотой лицо было сумрачным в зловещем разливе далекого огня.

— Не знаю, как сделал... Зачем людей так обижает? Не любит он батарея. Чужой совсем. Равнодушный.

— Правильно сделали,— сказал Кузнецов.— И не думайте об этом. Идите к кухне, поужинайте. Я посижу здесь.

— Нет.— Касымов покачал головой.— Два часа пост стою. Терпеть можно. Южный Казахстан тоже снег бывает. Большой снег на горах. Не замерз.

— Наверно, там — другой снег? — почему-то спросил Кузнецов, которому захотелось вдруг представить солнечную, покойную, счастливую жизнь в таком далеком, сказочном, как по ту сторону мира, Южном Казахстане, где не могло быть этого жестокого, цепенящего мороза, неустанно шелестящей поземки по брустверу, этой сцементированной холодами земли, этих огромных полыхающих зарев по горизонту.— Тепло у вас? Солнце? — опять спросил он, зная, что Касымов подтвердит эту далекую, но существующую где-то в мире радость.

— Совсем тепло. Солнце. Степь. Горы,— заговорил

Касымов, застенчиво улыбаясь.— Трава весной много. Цветов. Океан зеленый. Утром, как вода, воздух...Дышать хорошо. Горные реки. Прозрачные... Рыба руками лови...

Он умолк, в задумчивости покачиваясь на станине: наверно, явственно вообразил и перенесся туда, в ту существующую на земле утреннюю душистую степь между горными хребтами, где целый день горячее солнце над зеленеющими сочными травами, буйные, горные стеклянно-прозрачные реки, кишащие рыбой в заводях.

— Солнце и горные реки,— повторил, представив то же, Кузнецов.— Хотел бы посмотреть.

— Назад не вернулся бы, влюбился бы в горы,— сказал Касымов.— Богатый природа. Народ добрый... За свой природа умереть могу. Думал в начале война — неужели немец придет? В армию очень спешил. В военкомат говорю: записывай, воевать буду... А ты Москва жил?

— Да, в Замоскворечье,— ответил Кузнецов и при этом слове так ярко представил себе тихие с тупичками переулки, разросшиеся столетние липы во дворах под окнами, голубые апрельские сумерки с первыми нежнейшими звездами над антеннами посреди теплого городского заката, с запоздалым стуком волейбольного мяча из-за заборов, с прыгающим светом велосипедных фонариков по мостовым,— так четко увидел все это, что задохнулся от приливших воспоминаний, вслух сказал: — Наш весь класс ушел в сорок первом...

— Дома кто остался?

— Мама и сестра.

— Отец нет?

— Отец простудился на строительстве в Магнитогорске и умер. Он инженером был.

— Ай, плохо, когда отец нет! А у меня отец, мать, четыре сестры. Большой семья был. Кушать садились — целый взвод. Война кончим — в гости приглашаю тебя, лейтенант. Понравится наша природа. У нас совсем останешься.

— Нет, ни на что я свое Замоскворечье не променяю, Касымов,— возразил Кузнецов.— Знаешь, сидишь зимним вечером, в комнате тепло, голландка топится, снег падает за окном, а ты читаешь под лампой, а мама на кухне что-то делает...

— Хорошо,— покачал головой Касымов мечтательно.— Хорошо, когда семья добрый.

Замолчали. Впереди и справа орудий приглушенно скрипели, скоблили по-мышиному лопаты зарывающейся пехоты. Там уже никто не ходил по степи, и не доносилось ни единого звука соседних батарей.

Только снизу, из впадины реки, где в береговом откосе первая батарея отрывала для расчетов землянки, долетали порой скомканные голоса солдат и еле уловимое слухом позвякивание котелков. А за рекой на той стороне, где-то в глубине северобережной части станицы, одиноко буксовала машина, и все это как бы впитывалось, поглощалось огромно разросшимся безмолвием, идущим с юга по степи.

— Тишина странная...— сказал Кузнецов.— С сорок первого года не люблю такую тишину.

— Почему не стреляют? Тихо идет сюда немец?

— Да, не стреляют.

Кузнецов встал, разогнув натруженную спину, и тотчас вспомнил о котелке с водой. Пить ему больше не хотелось, хотя по-прежнему сохло во рту; он сильно прозяб на обдуваемой береговой высоте, остыло насквозь влажное белье, и началась мелкая внутренняя дрожь. «Обессилел я так? Или промерз? Водкой бы согреться!» — подумал Кузнецов и по мерзло-хрустящим комьям земли пошел к откосу, где вырублены были ступени вниз.

Распространяя теплый запах горохового концентрата, кухня стояла прямо на льду реки; и тлел пунцово и мирно жарок под раскрытым котлом, который обволакивался паром. Гремел черпак о котелки. Сливаясь в темную массу, толпились вокруг кухни расчеты, обступив работающего повара; переговаривались недовольные и подобревшие, разогретые водкой голоса солдат:

— Опять суп-пюре гороховый, конь полосатый! Другого не придумал!

— Ну, подсыпь, подсыпь — о жене задумался! Почему, братцы, все повара жадные?

— Задушил горохом! Не знаешь, какие случаи от гороху бывают?

— На вредном производстве молоком поить надо.

— Не балабоньте, язык без костей... Еще по-умному сообразил — молоком,— на все стороны огрызался повар.— Зачем упрекаете? Я, что ль, вам корова?

Кузнецов вдохнул вместе с чистой морозной свежестью речного льда запах подгорелого супа — и его замутило. Он свернул — мимо кухни — в темень высокого откоса, натыкаясь на разбросанные по берегу лопаты и кирки. Вскоре впереди проблеснула вертикальная щель света — оттуда пробивались говор, смех. Он нащупал рукой, отбросил брезентовый полог, вошел в запах сырой глины и опять же еды.

В землянке, вырытой на полный рост, с шипеньем брызгая белым пламенем, светила поставленная на дно ведра снарядная гильза, заправленная бензином; на разостланном брезенте дымились котелки с супом, расставлены рядком кружки с водкой. Головами к огню лежали здесь лейтенант Давлатян, сержант Нечаев и, подобрав колени под полушубок, немного боком сидела Зоя, грызла сухарь, осторожно рассматривала какой-то альбомчик, аккуратно маленький, обтянутый черной замшей, с круглой золотистой кнопочкой, альбомчик-портмоне.

— Кузнецов!.. Наконец-то!..— воскликнул раскрасневшийся от еды Давлатян; он словно бы похудел лицом за ночные часы утомительной земляной работы, а глаза и острый носик его блестели, как у мышки, глядевшей на огонь.— Где ты пропадал? Садись с нами! Вот твой котелок. Твой заботливый Чибисов принес!

— Спасибо,— ответил Кузнецов и, поправив воротник шинели, полулег возле подвинувшегося Давлатяна; после темноты на брызжущее пламя бензина больно было смотреть.— Где свободная кружка?

— Из любой,— сказал Нечаев и подмигнул карим глазом Зое.— Все в полном здравии, как штыки.

— Вот моя, Кузнецов,— предложил Давлатян и, тоже глянув на Зою, подал тоненькими, измазанными в земле пальцами кружку, наполненную водкой.— Мне сейчас не хочется что-то, знаешь. Потом наверняка разбавленная водка, какой-то ерундой пахнет. Даже керосином, кажется.

— Точно,— сказал Нечаев с шевельнувшейся ухмылкой под усиками.— Смесь. Вода с разбавленным одеколоном. Только для девушек.

Стараясь сдержать дрожь в руке, Кузнецов пригубил кружку, почувствовал ее запах, но, перебарывая себя, подумал, что сейчас озноб пройдет, зажжется в теле облегчающее тепло, и натянуто сказал:

— Ну что ж... Смерть немецким оккупантам!

Уже насилуя себя, выпил отдающую сивухой, ржавым железом жгучую жидкость и закашлялся. Он ненавидел водку, никак не мог привыкнуть к ней, к этой каждодневной фронтовой порции.

— Ужасная бурда! — воскликнул Давлатян.— Невозможно пить. Самоубийство! Я же говорил...

— Суп-пюре для закуски, товарищ лейтенант.— Нечаев усмехнулся, пододвинул котелок.— Бывает. Не в то горло пошло.

— Видимо,— почти неслышно ответил Кузнецов, но к котелку не притронулся, взял с брезента осколочек ржаного сухаря и, прислонясь к стене спиной, стал жевать.

— Скажите, Нечаев,— не подымая головы, сказала Зоя.— Где вы взяли этот альбом? Зачем он вам? Ужасный альбом...

«Почему она здесь, а не с Дроздовским? — подумал Кузнецов, как бы отдаленно вслушиваясь в голос Зои, чувствуя разлившееся в животе тепло.— Непонятно все это».

— Не верите вы мне никак, Зоечка, хоть вешайся от недоверия. Думаете, я бульварный пижон. Клешник-трепач? — с веселой убедительностью произнес Нечаев.— Разрешите данные представить. Выменял на формировке за пачку табаку у одного фронтовика. Тот говорил: у убитой немки под Воронежем в штабной машине взял. Любопытно все-таки. Для интереса сохранил. Не немка, а царь-баба была. Вы посмотрите дальше.

— Странно,— сказала она, задумчиво листая альбомчик.— Очень странно...

— Что же странно, Зоечка? — Нечаев придвинулся на локтях ближе к Зое.— Любопытно очень.

— Какая красивая немка! Лицо, фигура... Вот здесь, в купальнике. У нее был какой-то чин? — проговорила Зоя, разглядывая фотографии.— Смотрите, как она гордо носила форму. Как в корсет затягивалась.

— Эсэсовка,— подтвердил Нечаев.— Выправка — грудь вперед! Вот это грудь, Зоечка.

— Вам что, нравится?

— Не так чтоб очень. Но ничего. Экземпляр.

Лейтенант Давлатян с выступившими яркими пятнами на щеках, выгибая шею, скашивал сливовые свои глаза в альбом. Кузнецов же, отклонясь к стене, из тени смотрел на Зою, на ее освещенное пламенем бензина

наклоненное лицо и с необъяснимым напряжением памяти отыскивал в длинных полосках ее бровей,в ее опущенных глазах, в этом обтянутом замшей альбомчике что-то неуловимо знакомое, бывшее когда-то, где он видел ее, Зою, в неправдоподобно теплой тишине, в часы вечернего снегопада за окном, в уютно натопленном на ночь доме, за столом, покрытым к празднику чистой белой скатертью; раскрытый семейный альбом на скатерти, и чьито милые лица освещены настольной лампой, а позади, за светом — бархатный полумрак комнаты, пахнущий вымытым полом, с темным прямоугольником старого трюмо, с поблескивающими в таинственной глубине его никелированными шарами на высокой спинке старомодной кровати. Но никелированная кровать и это старинное трюмо были в московской квартире на Пятницкой, и он мог видеть так близко, так покойно и родственно только мать или сестру и никогда не мог видеть в той комнате наклоненное лицо Зои за столом рядом с сестрой и матерью, рядом с тем роскошным и смешным, пожелтевшим от времени столетним трюмо, единственной гордостью матери и памятью об отце — это трюмо в день свадьбы купил он, кажется, у какого-то нэпмана, чрезвычайно довольный своим роскошным подарком...

— Видно, она из богатой семьи. Как вы думаете, Кузнецов? Что вы притихли?

— Нет, я не притих.— Кузнецов стряхнул мягкую дремоту оцепенения; Зоя смотрела на него с вопросительной улыбкой.— Вы... о немке?..— спросил он.

— Да.

Эти фотографии убитой немки он видел раньше: в эшелоне альбомчик ходил по рукам; от нечего делать Нечаев показывал его всему взводу. И сейчас, услышав вопрос Зои, Кузнецов без особого интереса взглянул на фотографии. Молодая белокурая немка в облитом по талии мундире смеялась в объектив, вызывающе счастливая в окружении улыбающейся семьи, полукругом рассевшейся в плетеных креслах за низким столиком, среди сказочно яркой зеленой лужайки перед чистым, аккуратным дачным домиком. На другой фотографии — золотистый пляж, слепяще-снежные в морской сини паруса яхт, на берегу белые тенты, и шоколадно-загорелая немка в купальнике стоит картинно и гордо, обняв за плечи свою подругу с кукольно-нежным личиком, в накинутом на голое тело цветном халатике, с распущенными по плечам

пышными волосами. Потом множество напряженных и строгих женских лиц, множество обтянутых по выпирающим грудям мундиров на фоне казарменного здания. Затем еще одна фотография на море: надутый парус накренившейся яхты, влажные от брызг сильные бедра этой белокурой немки, мужественно подтягивающей снасть над головой пышноволосой подруги, испуганно обнявшей ее полные ноги под брызгами вздыбленной волны.

— Эта беленькая... наверно, нравилась мужчинам,— сказала Зоя, не подымая глаз.— Все-таки красива... А вам нравится она, Давлатян?

Лейтенант Давлатян, занятый супом, не ожидая вопроса, сделал торопливый глоток и проговорил сердито:

— Ужасно недосаливает суп наш уважаемый повар. В горло не лезет. Подавиться можно... Отвратительное лицо! — заявил он, скользнув краешком глаза по фотографии.— Что здесь может нравиться? Эсэсовка и дурища наверняка. Улыбается, как кошка. Ненавижу эти фашистские морды! Как она может улыбаться?

«Да, он прав,— подумал Кузнецов.— Почему у меня тоже, когда вижу что-нибудь из Германии, сразу подкатывает что-то к горлу?»

— Насчет вкусов не спорят, Зоечка! — сказал, захохотав, Нечаев.— Тут я выдрал в конце. Посмотрели бы, что у нее за картинки были — умереть можно! Разный разврат. Особенно женский. Знаете, такая поэтесса Сафо была? В Риме...

— Ну и что? — Зоя удивленно повела на него длинными бровями.— Только не в Риме, а в Греции. И что же?

— Вы опять начинаете? О каком таком разврате вы говорите Зое, Нечаев? — краснея, одернул Давлатян.— У вас бзик какой-то! Или вы лишних сто граммов выпили?

— Сто свои, товарищ лейтенант. Трезв, как молодая монашка.

— Давлатян, вы меня защищаете? — сказала Зоя ласково и положила ладонь ему на плечо, тихонько погладила.— Какой вы чудесный мальчик! Ни о чем не знаете?.. А я уже видела эту гадость в одном немецком блиндаже под Харьковом... Когда вырывались из окружения. Оклеен был весь блиндаж.

Давлатян в растерянности вывернул плечо из-под ее снисходительно и нежно гладящих пальцев и, взъерошенный, проговорил:

— Оставьте, пожалуйста, товарищ санинструктор, свои неуместные замечания! Я не мальчик. И не гладьте меня, пожалуйста. Я не люблю...

— Ну, хорошо, хорошо. Не буду.

«Нет, он действительно прекрасный парень, этот Давлатян,— подумал Кузнецов, чувствуя благостно разлившееся по всему телу тепло выпитой водки и не вступая в разговор.— Он всегда мне нравился».

— Зоечка! — сказал Нечаев и, играя улыбкой, снял шапку, наклонил ладную, красивую черноволосую голову.— У лейтенанта Давлатяна невеста, а я один как перст. И мама во Владивостоке. Холостяк. Погладьте, буду терпеть. Я люблю это терпеть.

— Бессмысленно, Нечаев,— шутливо ответила Зоя, пожимая плечами.— Ну, что это вам даст? Вы всё не так поймете. Потом во Владивостоке вы были в окружении королев-балерин... Нет, неужели, Давлатян, у вас невеста? — спросила она ласково.— А я не знала...

— Милая Зоечка, я буду тише травы,— взмолился наполовину серьезно, однако с навязчивой страстностью Нечаев, еще ниже склоняя голову.— Прикоснитесь пальчиками... Или брезгаете? Вот убьют завтра — и не испытаю, какие у вас нежные пальчики!

— При чем здесь невеста?.. Глупистика какая-то! — возмутился Давлатян и часто заморгал на Нечаева.— Прекратите эти неуместные бульварные пошлости, сержант! На месте Зои я сплошные пощечины вам отвешивал бы! Да, да!

— Спасибо, лейтенант...

Зоя засмеялась, в то же время сдерживая смех, ее суженные глаза лучисто светились, устремленные на смущенного Давлатяна.

А Нечаев, надев шапку, явно раздосадованный тем, что ему помешали в приятной, развлекающей его игре, изобразил обиду на фатоватом, с бархатными родинками лице, сказал:

— Напрасно, товарищ лейтенант. Испытать Зоечку хотел, а вы уж!.. Играет она: и вроде замужем была, и вроде ей тридцать лет, и все знает, а сама... одуванчик!..

Но тотчас умолк, попав в луч ее взгляда.

— То, что испытала я, еще не испытали вы, Нечаев! — смело заговорила Зоя.— Полейте мне на руки мою водку,— приказала она таким тоном, словно имела право приказывать Нечаеву.— Пальцы стали отвратительно липкими после вашего альбома. Спрячьте его. И когда захотите себя испытать в трудную минуту, смотрите на эту обнаженную немочку!

Нечаев, защитно похохатывая, приподнялся на локте, нашел ее кружку и с мстительной щедростью вылил всю до капли водку на ковшиком сложенные ладони Зои.

— Жаль, конечно, водку, но ради вас, Зоечка...

— Ради меня ничего не надо. Спасибо.— Зоя сдвинула колени, на которые кругло натянута была пола полушубка, поднесла руки к шипящему пламени гильзы, взглянула на Кузнецова: — Вы что, спите, товарищ лейтенант? Странно, когда один человек молчит. Как трезвый среди пьяных. У вас что, аппетита нет?

— Я не сплю,— отозвался Кузнецов, неподвижно сидя в тени.— Просто согреваюсь...

Он действительно наслаждался благодатным теплом землянки, ее влажной духотой, живым светом самодельной лампы, звуками голосов, угловатыми тенями по стенам; внутренняя зябкая дрожь прошла; потный, он все же основательно промерз на ветреном берегу, мокрые ремешки холодка еще прислонялись к лопаткам, но ему не хотелось менять положения, не было сил пошевелиться. «Она была в окружении под Харьковом? Она воевала? Какое у нее удивительное лицо,— смутно думал он, глядя на Зою.— В общем некрасива. Только глаза. И выражение лица меняется. Но она нравится и Нечаеву, и Уханову, и мне... Что у нее с Дроздовским? Непонятно как-то все...»

— Послушай, Кузнецов! — перебил спокойное течение его мыслей Давлатян.— Почему не ешь? Суп остыл!

— Кто говорит, что суп остыл? — раздался за пологом землянки начальственный басок.— Суп как огонь! Можно к вам?

— Давай, давай, старшина, всовывайся! — проговорил снаружи голос Уханова.— Всовывайся!

Тяжелые ноги завозились у входа, с шорохом скатывая вниз комья земли, кто-то шарил по занавеси и, найдя край, оттолкнул ее в сторону. И высунулось из-за брезента узкое, набрякшее, ошпаренное морозом лицо

Скорика, несколько хищно, по-птичьи посаженные глаза замерцали.

— Вы не заблудились, старшина? — спросил Кузнецов, по одному виду надвинутой на брови новенькой шапки вспомнив запоздалый его приезд.— Что хотите?

— Очень вы строги, товарищ лейтенант. Строже, можно сказать, чем сам комбат! — заговорил старшина с достойной его неуязвимого положения колкостью и прибавил: — Вот! Доппаек положенный получите. И приказ вам и лейтенанту Давлатяну — к комбату... И санинструктору. От комбата я...

— Оставьте доппаек здесь. И идите.

— Вещмешок не могу оставить. Потом никаких следов не найдешь. А другой на земле не валяется.

— Входите быстро — и освобождайте мешок!

Старшина втиснулся в землянку, внеся холод, поставил вещмешок с продуктами на брезент, подчеркнуто солидно вынимая галеты, масло, сахар, табак в пачках — целое богатство, к которому Кузнецов был сейчас равнодушен: обманчивую какую-то сытость чувствовал он после выпитой водки и съеденного сухаря.

— На двоих! — напомнил старшина.— На лейтенанта Давлатяна и вас.

— Идите,— приказал Кузнецов.— Как-нибудь разберемся. Или вы еще хотите что сказать?

— Ясно-понятно...

Старшина свернул вещмешок, крепко прижимая его к груди, задом выдвинулся из землянки, напружив шею, неодобрительным птичьим взором окинул напоследок примолкнувшую в минуту его появления Зою, полог задернул яростно, тщательно, недвусмысленно намекая этим на нежелательность Зоиного присутствия здесь. Затем возле входа снова послышался голос Уханова:

— Ох, и люблю я тебя, старшина! Не знаю почему, души в тебе не чаю, родной наш отец и каптенармус. За аккуратность тебя уважаю, за ласку к батарее.

— Что ба-алтаете, старший сержант? — раскатил за брезентом командирский басок старшина.— Как разговариваете? Чего улыбаетесь? Встать как положено!

— Тихо, тихо, старшина! — засмеялся Уханов.— Зачем так громко! Где встать как положено?

— Р-разболтали командиры взводов младших командиров, нету никакого порядка! Доберусь я до вас, старший сержант!— отчитывающе гремел за брезентом стар-

шина, и похоже было — выговаривал это не одному Уханову, но заодно и обоим лейтенантам, которые должны были слышать его в землянке.— По струнке ходить будете!.. Не таким рога обламывал! Разболтанной разгильдяйщины в батарее не допущу!..

— Давай только не на басах, пока я тебя случайно, старшина, богом и мамой не приласкал! — посоветовал превесело Уханов.— За отеческую заботу, старшина... Ты, золотой наш, строевой подготовкой с поварами позанимайся. Они поймут в момент. Все сказано.

Через минуту, зашуршав брезентом, Уханов вошел в землянку, с виду невозмутимо спокойный. Стянул замазанные землей рукавицы, начал тереть над огнем руки, оглядывая всех дерзкими, как бы все время сопротивляющимися глазами. Это выражение дерзости особенно придавал ему стальной передний зуб, холодно сверкавший, когда старший сержант говорил или улыбался.

— Работы к концу, лейтенант, осталось часа на два,— доложил он между прочим Кузнецову.— Что, завтрак, обед и ужин — вместе? Великое дело! Если думаете, что я сыт,— глубокое заблуждение. Где мой огромный котелок, Нечаев?

Сразу стало в землянке теснее от большого, сильного тела Уханова, от его голоса, от его тени, затемнившей половину стены, от горьковатого запаха инея, которым пропитана была каждая ворсинка его шинели: с начала работы он не был в тепле.

— Главное, старший сержант, фронтовые остыли.— Нечаев щедро налил водку из котелка в кружку.— Долго ждали.

— Я пойду, родненькие мальчики,— сказала Зоя, застегивая крючки полушубка.

— Знаете, Зоя...— Уханов сел около нее, расположился поудобнее перед продуктами на брезенте.— Плюньте на все и переходите в мой расчет. Лично обещаю — в обиду никому не дадим. У нас терпимые ребята. Выроем вам отдельную землянку.

— Я не против,— сказал Кузнецов и тут же поднялся. Он не знал, почему сказал так, почему эта фраза вырвалась у него, и, чтобы замять неловкость, принялся одергивать отвисшую кобуру на ремне, спросил: — Вы к комбату идете, Зоя?

Она изумленно посмотрела на обоих.

— От кого вы меня хотите защищать? От немцев? Я сама могу. Даже без оружия. Вот какие у меня острые ногти! — И принужденно заулыбалась, поцарапала ногтями руку Уханова.

Он не отстранил руку, весело поблестел стальным зубом.

— Ноготки для маникюра! Что вы ими сделаете?

— Ну, это еще как сказать!

— Ах, Зоечка, храбрая вы очень,— не без вкрадчивости вставил Нечаев, как-то заметно потускневший с приходом Уханова.— Что ваши ноготки, если кто черное дело задумает? Будете царапаться? Кусаться? Смешно будет выглядеть!

— Опять? — насторожился Давлатян с выражением человека, потерявшего всякое терпение.— Опять ерунду дурацкую говорите! Зоя, пожалуйста...

Он придержал брезент над входом в землянку, пропуская Зою вперед.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Они вышли в ночь, заполненную стуком лопат, кирок, сыпучим шорохом отбрасываемой земли. Кухня еще темнела на льду под обрывом берега, но жарок забыто потух в ней, не гремел черпак повара: вокруг не было никого; продрогшая лошадь переступала ногами, отфыркиваясь, жевала из торбы.

Небо над откосом горело заревом. Белый отблеск лежал на кромке бугров. И опять Кузнецову стало не по себе от этой глубоко распространенной в ночи тишины, от этой безмолвной затаенности в стороне немцев. Он молчал. Молчали Давлатян и Зоя. Слышно было, как похрустывал, ломался ледок под валенками.

«Значит, Зое тоже приказано к комбату»,— думал Кузнецов. Он знал независимые санинструкторские обязанности Зои в батарее, ее свободное положение, позволяющее находиться в любом взводе, и досадовал, что она покорно шла сейчас в землянку Дроздовского, который, казалось, имел на нее особое подчиняющее право...

— Зоя... вы, конечно, пошутили тогда? — не вытерпел Кузнецов.— Насчет мужа?

Они поднялись по льду в потемки обрыва, голубеющего отливом снега, шли теперь близко друг к другу по

натоптанной солдатами тропе вдоль основания откоса.

— Нет, серьезно! — Голос ее дрогнул, точно она оступилась на скользком уступе берега.— Я не пошутила...

— Зачем вы нас обманываете? Совершенно не так! — заявил Давлатян и, задержавшись позади Зои, воскликнул: — Смотри, Кузнецов, здесь река как противотанковый ров. Прекрасно! Если танки прорвутся, здесь застрянут. А по льду не пойдут — не выдержит! В каком направлении сейчас Сталинград? На север?

— Километров сорок пять на северо-восток,— сказал Кузнецов.— Если они на тот берег прорвутся, то это слишком далеко... не хотел бы!

Зоя остановилась. Белый ее полушубок, ее лицо сливались в тени с глубокой синевой снега на крутом откосе, и очень темными были глаза, поднятые к светлеющей полосе зарева над берегом.

— Если прорвутся...— повторила она и, подождав Давлатяна, спросила без всякой видимой связи: — А вы, Давлатян, совсем не боитесь умереть?

— Почему я должен бояться умереть?

— У вас невеста. И вы, наверное, похожи на свою невесту. Она такая же милая, как вы? Милая кошечка? Правда?

— Это не имеет значения! — насупился Давлатян.— Совершенно не имеет... Для чего вы говорите, что я милый? Я вовсе не милый... и при чем здесь кошечка? Я не люблю кошек. У нас не было дома кошек. Никогда.

— А вы где жили — в Армении? Там учились в школе?

— В Свердловске. У меня отец армянин, мама — русская. Ни разу, к сожалению, не был в Армении. Язык даже не знаю.

— А скажите, Давлатян, если это можно, как же звать вашу невесту? Наверно, Наташа или Зина? Я не угадала?

— Мурка. Кошка Мурка. Кыс, кыс, кыс. Вот и все.

— Зачем вы сердитесь, Давлатян? Честное слово, я не хотела вас обидеть.— Она грустно улыбнулась.— Мне просто приятно говорить с вами. Вот Кузнецов тоже как-то странно смотрит на меня. Зачем вы на меня сентябрем смотрите, мальчики? Неужели я это заслужила?

— Это ваша фантазия, Зоя,— смягчившись, сказал Давлатян.— Мы сентябрем не смотрим!

— Кажется, пришли,— прервал разговор Кузнецов.— Чувствуете, дымом пахнет. Печка у них, кажется. Откуда у них печка?

— Стой, кто идет? — лениво окликнули впереди, из-за навалов грунта; и там, размытая темнотой, завиднелась в трех шагах фигура часового.— Санинструктор, никак?

— Командиры взводов и санинструктор,— ответил Кузнецов.— Комбат здесь?

— Ждет. Вот сюда проходите.

Блиндаж был уже полностью отрыт, в бугры грунта воткнуты лопаты, валялись кирки; сбоку деревянной двери торчало из стены изогнутое колено жестяной трубы, развеивая по откосу пахучий, домашний, теплый на морозе дымок. Весь этот комфорт был, по-видимому, раздобыт разведчиками и связистами в станице.

«Да, даже печка»,— подумал удивленно Кузнецов.

Маленькая дверь по-деревенски скрипнула, и они вошли в просторное, в рост, убежище, наполненное душной сыростью, запахом горячего железа (печка в углу была накалена до малинового свечения), с большой керосиновой лампой, с земляными нарами, уютно застланными соломой, с земляным столом, покрытым брезентом,— все выглядело чисто, опрятно, не по-фронтовому удобно. В углу, рядом с печкой, связист устанавливал на снарядном ящике аппарат, продувал трубку.

За столом в окружении трех разведчиков сидел над картой лейтенант Дроздовский в незастегнутой шинели. Светлые, соломенного оттенка волосы причесаны, как после умывания; близко освещенное лампой красивое лицо строго, тени от его не по-мужски длинных густых ресниц темно лежали под глазами, устремленными на карту.

— Командир первого взвода по вашему приказанию прибыл,— доложил Кузнецов, выдерживая уставный тон, каким решил на марше разговаривать с Дроздовским: так было яснее и проще для обоих.

— Командир второго взвода по вашему приказанию явился! — произнес радостным вскриком Давлатян и, изумленный роскошной обстановкой землянки, засмеялся: — Просто дворец у вас, товарищ лейтенант, целая батарея поместится!

— Карьер тут был, вроде пещеры... малость расширили,— сказал один из разведчиков.— Не надо теряться.

— Во-первых,— заговорил Дроздовский и вскинул от карты прозрачно-холодный, как чистый ледок, взор,—

является только черт с того света, лейтенант Давлатян. Командиры же прибывают по приказанию. Во-вторых,— он с ног до головы обвел глазами Кузнецова,— полчаса назад я обошел огневые. Небрежно оборудовали ходы сообщения между орудиями. Почему всех людей перебросили на землянки? Из землянок танков не увидишь. Уханов, может быть, взводом командует, а не вы?

— Землянки тоже нужны,— возразил Кузнецов.— Кстати, Уханов мог бы командовать и взводом, если уж так. Не хуже других. Закончил, как и мы, военное училище. А то, что он звания не получил, так это...

— К счастью, не получил,— перебил Дроздовский.— Знаю, Кузнецов. Знаю ваши панибратские отношения со старшим сержантом Ухановым!

— В каком смысле?

Зоя присела к печке, пышущей по железу искрами, сняла шапку, тряхнула волосами — они рассыпались по белому воротнику полушубка,— молча улыбнулась посматривающему на нее связисту, и тот незамедлительно широко заулыбался ей. Дроздовский, не изменяя строгого выражения лица, на секунду остановил внимание на Зое, повторил:

— Все знаю, лейтенант Кузнецов.

— При чем здесь панибратство? — поднял плечи Давлатян, и остренький нос его воинственно нацелился в Дроздовского.— Я, например, был бы рад, если бы у меня во взводе был такой командир орудия. Потом мы все из одного училища все-таки.

Дроздовский наморщил лоб, выказывая этим нежелание выслушивать Давлатяна, и, не дав ему закончить, сказал:

— Об Уханове поговорим как-нибудь потом. Прошу подойти к столу и вынуть карты!

«Значит, что-то новое,— подумал Кузнецов.— Значит, ему что-то известно».

Они вынули из полевых сумок карты, развернули их на столе под неровным керосиновым светом. Наступила тишина. Кузнецов, глядя на карту, почувствовал виском жарок горячего стекла и так необычно подробно увидел вблизи Дроздовского, как не видел, пожалуй, ни разу,— самолюбиво-упрямую складку губ, красивые маленькие уши, твердые зрачки его никогда не улыбающихся глаз, в озерную прозрачность которых неодолимо тянуло смотреть.

— Час назад мне позвонили с капэ полка,— заговорил Дроздовский четко.— Как известно, положение впереди нас неустойчивое. Немцы, вероятно, прорвались, как я понял, в районе шоссе. Вот здесь — правее станицы — на Сталинград.— Он показал на карте, его нервные руки были не совсем чисто вымыты, на узких ногтях — мальчишеские заусеницы.— Но точных данных пока нет. Четыре часа назад из стрелковой дивизии выслана разведка. Это ясно?

— Почти,— ответил Кузнецов, не отрывая взгляда от заусениц на пальцах Дроздовского.

— Почти — это, знаете, лейтенант, мишура и поэзия Тютчева или как там еще... Фета,— сказал Дроздовский.— Слушать далее. В конце ночи, если все будет в порядке, разведка вернется. Ее выход на ориентир — мост. Вот по этой балке, восточнее станицы. Это в районе нашей батареи. Предупреждаю: наблюдать и не открывать огня по этому району, даже если начнут немцы. Теперь все понятно?

— Да,— полушепотом проговорил Давлатян.

— Все,— ответил Кузнецов.— Один вопрос: каким образом немцы могут открыть огонь, когда их впереди в станице еще нет?

Глаза Дроздовского окатили его холодком.

— Сейчас нет, а через пять минут не исключено,— произнес он с подозрительностью, точно хотел оценить, был ли этот вопрос Кузнецова сопротивлением его приказу или же вполне естественным уточнением.— Ясно, Кузнецов? Или еще не ясно?

— Теперь — да.— Кузнецов свернул карту.

— Вам, Давлатян?

— Абсолютно, товарищ комбат.

— Можете идти.— Дроздовский выпрямился за столом.— Через час буду на батарее, проверю все.

Командиры взводов вышли. Трое разведчиков из взвода управления, стоявшие около стола, переглядывались, затылками ощущая присутствие здесь Зои, понимали, что в блиндаже они сейчас лишние, пора идти на НП. Но, против обыкновения, Дроздовский не торопил их, молча всматривался в незримую точку перед собой.

— Разрешите идти на энпэ, товарищ лейтенант?

— Идите. И вы.— Он кивнул связисту.— Передайте Голованову — ровики копать в полный профиль. Ступай-

те. Пока я здесь, дежурить у аппарата нет смысла. Когда потребуетесь — вызову.

Распахнутая в темноту, проскрипела, закрылась дверь, протопали по берегу шаги разведчиков и связиста, отдаляясь, канули в безмолвную пустынность ночи.

— Как тихо стало! — сказала Зоя и вздохнула.— Слышишь, фитиль трещит?..

Теперь они были вдвоем в этой блиндажной тишине, сдавленной толщей земли, в теплых волнах нагретого печкой воздуха, с звенящим потрескиванием фитиля в накаленной лампе. Не отвечая, Дроздовский все всматривался в незримую точку перед собой, и бледное тонкое лицо его становилось внимательным и злым. Он вдруг проговорил, неприязненно отсекая слова:

— Чем же это кончится, хотел бы я знать!

— Ты о чем? — спросила она осторожно.— Что, Володя?

Зоя сидела боком к нему на пустом снарядном ящике, держала руки над раскаленной до багровости железа печкой, прислоняла обогретые ладони к щекам, из полутьмы блиндажа улыбаясь ему предупреждающе-ласково.

— Интересно, где ты так долго была? — спросил Дроздовский ревнивым и одновременно требовательным тоном человека, который имел право спрашивать ее так.— Да, я хочу,— проговорил он, когда она в ответ слабо пожала плечами,— хочу, чтобы ты не очень уж подчеркивала на батарее нашу близость, но ты это делаешь слишком! Я тебя нисколько не ревную, но мне не нравятся твои отношения со взводом этого Кузнецова. Могла бы выбрать, по крайне мере, Давлатяна!

— Володя...

— Представляю, что было бы, если бы не я, а Кузнецов командовал батареей! Очень хорошо представляю!..

Он быстро и гибко встал, подошел к ней, весь спортивно подобранный, прямой, золотисто-соломенные волосы зачесаны надо лбом, открытым, чистым, даже нежным от цвета волос, и, засунув руки в карманы, искал в ее напрягшемся, поднятом лице, в ее виноватой улыбке то, что подозрительно настораживало его. Она поняла и, сбросив с плеч накинутый полушубок, поднялась навстречу, качнулась к нему и обняла его под расстегнутой шинелью, щекой потерлась о прохладные металлические пуговицы на гимнастерке. Он стоял, не вынимая рук из карманов, и она, прижимаясь щекой, слышала,

как ударяло его сердце и сладковато-терпко пахла по́том его гимнастерка.

— Мы с тобой равны,— сказала Зоя.— Ты не видел меня три часа? И я тебя... Но мы не равны в другом, Володя. И это ты знаешь.

Она говорила не сопротивляясь, не осуждая, смотрела мягкими, отдающимися его воле глазами в непорочную, без единой морщинки белизну его лба под светлыми волосами; эта юношеская чистота лба казалась ей по-детски беззащитной.

— В чем же? А, понимаю!.. Не я придумал войну. И я ничего не могу с этим поделать. Я не могу с тобой обниматься на глазах у всей батареи!

Дроздовский расцепил ее руки, с нерассчитанной силой дернул книзу и, брезгливо запахивая шинель, отступил на шаг с поджатым ртом. Она сказала удивленно:

— Какое у тебя брезгливое лицо! Тебе что — так нехорошо? Зачем ты так больно сжал мне руки?

— Перестань! Ты все прекрасно понимаешь,— заговорил он и нервно заходил по землянке; тень его заскользила, изламываясь на стене.— Никто в полку не должен знать о наших с тобой отношениях. Может быть, это тебе неприятно, но я не хочу и не могу! Я командир батареи и не хочу, чтобы обо мне ходили всякие глупейшие разговоры и сплетни! Некоторые только злорадствовать будут, если я покачнусь, только ждут! Почему эти сопляки крутятся вокруг тебя?

— Ты боишься? — спросила Зоя.— Почему ты боишься, что о тебе не так подумают? Почему же я не боюсь?

— Перестань! Ничего я не боюсь! Но здесь все это выглядит знаешь как! Думаешь, в батарее мало наушников, которые с радостью сообщат в полк или в дивизию о наших с тобой... Отлично! — Он неприятно засмеялся.— Война — а они там на нарах валяются! Голубки! Фронтовые любовники!..

— Я не хочу с тобой валяться на нарах, как ты сказал,— умиротворяюще проговорила Зоя и накинула на плечи полушубок, будто ей зябко стало.— Но мне не стыдно, и я не побоюсь, если это так кого-нибудь интересует, сказать и командиру полка, и командиру дивизии о наших с тобой...— Она, стремясь не раздражать его, повторила его слова.— Не это главное, Володя. Просто ты меня мало любишь и... странно. Не знаю, почему тебе нравится меня мучить какой-то подозрительностью. Ты не

замечаешь, но ты даже целуешь меня как-то со злостью. За что ты мне мстишь?

Дроздовский перестал ходить, остановился подле нее; пахнуло ветерком, сырым запахом шинели; губы его покривились.

— Тоже нашла мучение! — проговорил он непримиримо.— Что ты называешь мучением? Не смеши меня! За что я могу тебе мстить? Целую не так? Значит, не научился, не научили иначе!

— Я не могу научить тебя, правда? — примирительно сказала Зоя и улыбнулась ему.— Я сама, наверно, не умею. Но разве это главное? Прости меня, пожалуйста, Володя.

— Чепуха! — Он отошел к столу и оттуда заговорил с насмешливой ожесточенностью: — Первым поцелуям, если хочешь знать, меня учила глупая и сумасшедшая баба в тринадцать лет! До сих пор тошнит, как вспомню жирные телеса этой бабищи!

— Какая баба? — угасающим шепотом спросила Зоя и опустила голову, чтобы он не видел ее лица.— Зачем ты это сказал? Кто она?

— Это не важно! Дальняя родственница, у которой я жил два года в Ташкенте, когда отец погиб в Испании... Я не пошел в детдом, а жил у знакомых и пять лет, как щенок, спал на сундуках — до самого окончания школы! Этого я никогда не забуду!

— Отец погиб в Испании, а мать тогда уже умерла, Володя?

Она с замирающим лицом, с острой жутью любви и жалости глядела на его белый лоб, не решаясь взглянуть в пронзительно заблестевшие глаза.

— Да.— Его глаза промелькнули по Зое.— Да, они умерли! И я любил их. А они меня — как предали... Ты понимаешь это? Сразу остался один в пустой московской квартире, пока из Ташкента за мной не приехали! Боюсь, что и ты предашь когда-нибудь!.. С каким-нибудь сопляком!..

— Дурак ты какой, Володя. Я тебя никогда не предам. Ты меня уже знаешь больше месяца. Правда?

Зоя не очень понимала его в минуты необъяснимой подозрительности, жестокой ревности к ней, когда они бывали вместе, когда не было смысла и малого повода говорить об этом, хотя она ежедневно, ежеминутно ощущала, видела знаки внимания всей батареи и отвечала

на них той мерой выбранной ею игры, которую считала формой самозащиты. И может быть, он сознавал это, но все равно в приступах его подозрительности было что-то от бессилия, постоянного неверия в нее, точно она готова была изменить ему с каждым в батарее.

— Нет! Это неправда! — проговорил он, не соглашаясь.— Я не верю тебе!..

И Зоя со страхом подумала, что сейчас не сможет ничего доказать, ничем оправдаться. Она не хотела, у нее не было сил, желания оправдываться, и, предупреждая упрямые его возражения, она ласково смотрела на его гладко-чистый, беззащитный своей открытостью лоб, который ей хотелось погладить.

— Нет, я люблю тебя,— сказала она.— Ты не представляешь даже как. Почему ты не веришь мне?

Он шагнул к ней, вынимая руки из карманов.

— Докажи, докажи, что ты меня любишь! Ты не хочешь этого доказать! — сказал он и с исступленной нежной злостью рванул Зою за плечи к себе.— Это должно быть! Уже полтора месяца!.. Докажи, что ты меня любишь!

Он охватил ее подавшуюся спину, притиснул сильно, жестко, стал целовать ее рот торопливыми, душащими поцелуями. Она, застонав, зажмурясь, как от боли, послушно обняла его под расстегнутой шинелью, прижалась коленями, в то же время пытаясь освободить губы из его душащего рта.

Он оторвался от нее.

— Я сейчас потушу лампу,— хрипло проговорил он.— Сюда никто не войдет. Не бойся! Ты слышишь, никто не войдет. Мы будем одни...

— Нет, нет, я не хочу... Прости, пожалуйста, меня,— выговорила она, закрыв глаза и задыхаясь.— Нам не надо этого делать...

— Я не могу так!.. Понимаешь, не могу!

— Но я люблю тебя,— сопротивляясь, стуча зубами, шептала она ему в грудь.— Только не надо... Иначе мы возненавидим друг друга. Я не хочу, чтобы мы возненавидели друг друга.

Он опять коротким рывком притянул ее за плечи.

— Почему? Почему?

— Я тебе говорила. У нас же было раз... Мы потом не сможем смотреть в глаза, Володя... Пойми же меня, этого не надо, Володя. Я прошу тебя. Сейчас

не могу, мне нельзя, понимаешь? Ну, прости, прости меня...

И, умоляя глазами, голосом, она заплакала и, будто прося прощения у него, виновато, быстро целовала его подбородок, шею холодными дрожащими прикосновениями.

— Идиотство!.. Я тебя возненавижу! Мне надоело так! Надоело!..

Он со злым лицом отстранил ее и, надев шапку, выбежал из блиндажа, так ударив дверью, что мигнул огонь лампы под закопченным стеклом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он поднялся по вырубленным в откосе ступеням и на высоте берега, немного охлажденный хлынувшим навстречу морозным ветром, выговорил вслух сквозь зубы:

— Дура, дура! Идиотство!

Вызывая в самом себе брезгливость и ненависть к своему бессилию, к ее глупой боязни, к ее несогласию быть до конца близкой, как тогда, в дни формировки на медпункте, где дежурила она одна, он испытывал к ней почти оскорбительную злость, желание вернуться, мстительно ударить ее. И, презирая себя, он мучился тем, что не в состоянии был подавить в душе недавнее: его руки, его тело имели свою, самостоятельную память — после тех ее прикосновений на медпункте, ее закрытых глаз, дрожащих коленей, робких движений ее гибкого тела эта память почему-то соглашалась сейчас на любую унижающую его нежность, лишь бы только была она...

«Нет, с этим все, все! — зло решал Дроздовский, вспоминая то, что особенно могло возбудить, непрощающе усилить отвращение к ней,—ее большой рот, испуганное выражение лица, слишком маленькую грудь и слишком полные икры, будто плотно вбитые в узкие голенища валенок; он хотел найти в ней то, что оттолкнуло бы его и невозможно было бы примирение.— Да что я нашел в ней? Была бы уж красивой — и этого нет... Ничего нет! Что у нас за идиотские отношения? Все надо прекратить раз и навсегда!» И, разгоряченный, он глубоко дышал; ожигало холодом, пар оседал инеем на ворсе шинели.

Между тем воздух и снег посветлели, приобрели морозную сухость, декабрьские созвездия по вечному

своему кругу перестроились, семействами горели царственно ярко, пульсируя в ледяных высотах. А на земле придвинулись ближе крыши станицы, черно выделились; два зарева над ними побледнели, срослись полукругом, заполнили за станицей южную часть неба.

И показалось — на концах этого полукружия ходили по горизонту за балкой, за высотами какие-то свѐты, какие-то легкие зарницы, похожие на отблески далеких фар. Затем почудилось ему, что ветер принес оттуда смешанные звуки моторов, танковых выхлопов, буксующих колес,— неужели это было движение вошедшей в прорыв немецкой армии?..

Он жадно закурил, сделал глубокую затяжку, вслушиваясь. Ветер гнал, катил поземку по берегу на позиции батареи; вверху колючей проволокой корябались друг о друга ветви голых ветел, тенями мотающиеся на краю речного обрыва. И звуки моторов, невидимого движения исчезли.

«Психоз»,— подумал Дроздовский и пошел к наблюдательному пункту — к высотке, видной в редеющем воздухе, где дятлами долбили землю кирки, и лицо его приняло холодное выражение решимости.

На высотке командир взвода управления старшина Голованов, широкогрудый, рослый, устанавливал у бруствера стереотрубу. Первым заприметив в траншее Дроздовского, он с завидной легкостью подбежал к нему, доложил:

— Товарищ лейтенант, только что звонил вам. Санинструктор сказала: вышли! Пять минут назад в район моста прибыл «виллис» командира дивизии. Неспокойно что-то... Дивизионная разведка не прошла еще...

— Почему докладываете так поздно? — произнес Дроздовский гневно.— Почему не позвонили пять минут назад?

— Я звонил,— зарокотал Голованов.— Как раз я звонил. Ваша жена, товарищ лейтенант... то есть санинструктор, ответила...

— Замолчать, Голованов! Спятили, нет? Какая жена?..— оборвал Дроздовский, отлично поняв прямолинейность Голованова, поняв, почему сейчас трое разведчиков, как глухие, заведенно кидали через бруствер лопатами в соседнем ровике.— Кто это распространяет обо мне слухи? — понизив голос, заговорил Дроздовский.—

Вы, Голованов? Или кто? Нет, я все-таки узнаю, старшина!.. Кто приехал из дивизии?

— Три «виллиса», товарищ лейтенант. Один узнал — полковника Деева.

— Все надо знать, разведчик мне тоже!

Размашистым шагом Дроздовский двинулся в направлении орудий, мимо прижавшихся к стенкам траншеи разведчиков с лопатами, а из головы не выходило: «Ваша жена...» — и он, покривясь, подумал, что, вероятно, вся батарея открыто говорит об этом.

Уже спустившись с высоты и побежав к орудиям, врытым левее НП по гребню берега, Дроздовский еще издали в рассветной голубоватости воздуха увидел три «виллиса» и метрах в двухстах от них — группу людей, скопленную на огневой позиции крайнего орудия. Солдаты, долбящие кирками ходы сообщения между огневыми, поглядывали туда, и один из них — маленький, в кургузой шинели — Чибисов, с мокрым подшлемником под носом, обратив к пробегавшему Дроздовскому треугольное щетинистое личико заморенного зверька, сообщил:

— Товарищ лейтенант, полковник и главный генерал тамочки, с палочкой... Чего-то ждут. Кажись, начинается!

— Подшлемник у вас... весь мокрый! Приведите себя в порядок... Стыдно смотреть. Как курица моченая! — проговорил Дроздовский.— Где Кузнецов? Где Давлатян?

— Тамочки все,— хлюпая носом, пробормотал Чибисов.

Привычным скольжением пальцев проверив пуговицы на шинели, Дроздовский подбежал к первому орудию и, выискивая в этой группе командиров старшего по званию, вздернул руку к виску, узнав среди незнакомых людей полковника Деева и командующего армией генерала Бессонова. Выговорил, сдавливая дыхание:

— Товарищ генерал, командир первой батареи лейтенант Дроздовский!..

Бессонов, в полушубке без знаков различия, обернулся, невысокий, сухощавый, неприметной фигурой своей совсем не похожий на генерала; колючие, жесткие глаза его с чуть припухлыми веками вопросительно впились в застывшее бледное лицо Дроздовского. Полковник Деев, в солдатской шапке, в ремнях, краснолицый, по-молодому пышущий здоровьем, приподнял досадливо рыжие брови, проговорил сочным баритоном:

— Где пропадаете, комбат?

— Был на энпэ, товарищ полковник,— ответил Дроздовский, чеканя слова.— Заканчиваются последние работы по оборудованию ровиков.

«По какой причине они приехали? — с тревогой подумал он.— Ждут разведку? Или проверяют батарею? Но это — сам командующий армией».

— Дроздовский? — скрипучим голосом повторил Бессонов.— Знакомая фамилия... Как будто встречалась эта фамилия.

С рассеянным выражением он смотрел сквозь Дроздовского с усилием восстановить, поймать давнюю веху чего-то ускользающего, но вспомнил, видимо, не то, что хотел,— и, нахмурясь, выпустил из поля зрения Дроздовского, обратился к Дееву:

— Так где же наконец запропала ваша разведка, полковник?

Все, кто был здесь с Бессоновым — усталый подполковник, начальник разведки дивизии с развернутой картой на планшете, и длинноногий, в очках, член Военного совета Веснин, и смешно конопатый, курносый майор Черепанов, командир стрелкового полка, чьи батальоны занимали по берегу оборону,— все поглядели на Дроздовского, когда заговорил с ним Бессонов, и все мигом выпустили его из поля зрения, как только командующий заговорил о разведке. Все смотрели в направлении зарева, где волнами то возникал, то опадал неопределенный гул, приносимый порывами ветра.

— Кое-что ясно и без разведки,— сказал Бессонов.— Как думаете, Виталий Исаевич?

— По-моему, тоже,— ответил Веснин.— Более или менее ясно.

— Трудно поверить, товарищ командующий, в неудачу,— негромко проговорил полковник Деев.— В поиск пошли очень опытные ребята.

Дроздовский стоял выжидательно, так стиснув зубы, что заболели челюсти. Он был уверен, что генералу, служившему и до войны в кадровой армии, не может быть незнакома его фамилия, но он, как видно, не нашел нужным спрашивать, имеет ли Дроздовский отношение к известной в прошлом военной фамилии. А лейтенанты Кузнецов и Давлатян, оба вытянувшись, объединенные общей ответственностью командиров одной батареи, солидарно поглядывали на Дроздовского,— предчувствие надвигающегося боя уравнивало, сближало их невольно.

Дроздовский же в те секунды, предполагая и взвешивая все, что привело командующего армией и командира дивизии на его батарею, не замечал ни Кузнецова, ни Давлатяна, вместе с тем мысленно говорил себе то, о чем думали и они: «Да, скоро начнется, может быть, сейчас...»

— Товарищ генерал! — громко заговорил Дроздовский тем особо чеканным голосом, в котором была непоколебимая готовность выполнить любой приказ.— Разрешите доложить?

Бессонов с прежним вспоминающим выражением оглянулся на стройную, по-уставному подтянутую, напряженную к действию фигуру молоденького и бледного лейтенанта, безразлично разрешил:

— Слушаю вас.

— Батарея готова к бою, товарищ генерал!

— К бою? — переспросил Бессонов, не спуская внимательных глаз с Дроздовского.— В счастливую судьбу верите, лейтенант?

— Я не верю в судьбу, товарищ генерал.

— Вот как? — проговорил Бессонов, вкладывая в эти слова свой смысл, испугавший Дроздовского непонятным значением.— В ваши годы я верил и в бессмертие... Отдаете себе отчет, лейтенант, что ваша батарея стоит на танкоопасном направлении, а позади Сталинград?

— Мы будем здесь до последнего, товарищ генерал! — произнес Дроздовский убежденно.— Хочу заверить вас, что артиллеристы первой батареи не пожалеют жизни и оправдают оказанное нам доверие! Мы готовы умереть, товарищ генерал, на этом рубеже!..

— Почему же умереть? — нахмурился Бессонов.— Вместо слова «умереть» лучше употребить слово «выстоять». Не стоит так решительно готовиться к жертвенности, лейтенант.

Дроздовский отвечал Бессонову чересчур решительным тоном; слушая его, глядел в глаза прямо и преданно, как глядят при докладе влюбленные в старшего командира курсанты в училище. И в то же время он чутко ощутил, что генералу не понравилось что-то в этой его решительной приготовленности к бою, словно бы не до конца естественной. Однако полковник Деев довольно-таки поощрительно подмигнул ему, смеживая рыжие ресницы, член Военного совета Веснин разглядывал Дроздовского с интересом.

— С какой стати вы собрались умирать, товарищ лейтенант?— спросил Веснин, не очень точно отгадывая причину чрезмерной решимости этого с курсантской выправкой командира батареи.— Жизнь-то одна, и второй не будет. Верно? Так лучше настроиться сохраниться, а? По-моему, товарищ лейтенант, смысл каждого боя — это не стать добычей шести пород могильных червей, что и без борьбы возможно. Бой-то идет против смерти, как это ни парадоксально. Разве не это истина?

Но лейтенант Дроздовский не лгал и не притворялся. Он давно и прочно внушил себе, что первый бой много будет значить в его судьбе или станет для него последним. В возможность своей смерти он не верил, как не верит в нее никто, не побывав на краю жизни, не осознав чужую смерть, как собственную, отраженную в другом. И Дроздовский ответил:

— Товарищ дивизионный комиссар, лично я умереть не задумаюсь...

— Вы комсомолец? — спросил Веснин.— Наверно, не ошибаюсь...

— Не один я, товарищ дивизионный комиссар. Все командиры взводов и больше половины расчетов. Комсорг батареи — лейтенант Давлатян...

— Тем более,— сказал Веснин, с улыбкой кивнув Давлатяну, по-детски засиявшему ответной улыбкой.— Вся жизнь у вас впереди. Позавидовать вам искренне можно. Не вечность война продлится.— И отошел к брустверу, где стояли в молчании начальник разведки и командир дивизии.

Теперь никто не обращал внимания на Дроздовского. Полковник Деев, теряя терпение, пошевелив могучими плечами, глянул на ручные часы, затем на южную часть станицы, повел настороженными глазами в сторону Бессонова.

Бессонов сидел на снарядных ящиках, положив руки на палочку, глаза были устало полуприкрыты. Он прислушивался к этому неровному, то далекому, то близкому гудению, которое носил над светлеющей степью рассветный ветер, и на лбу его прорезались две продольные складки, пугающие Деева выражением недовольства.

— Так где ваша разведка, полковник? — спросил Бессонов.— Где она?

— Думаю, что надо возвращаться на энпэ,— ответил Деев, насколько возможно снижая свой звучный бари-

тон.— С разведкой явно что-то неладное, товарищ командующий. Затрудняюсь объяснить...

— Как вы сказали?

По тону командующего можно было безошибочно определить, что вопрос его не обещал ничего хорошего, но Деев договорил:

— Пожалуй, нет смысла, товарищ командующий, ждать здесь разведку.

— Я и не жду ее,— желчно произнес Бессонов.— За такую разведку несут ответственность, полковник, да будет вам известно!

— Рассветает,— сказал Веснин.

Взяв бинокль у пожилого начальника разведки дивизии подполковника Курышева, он с любопытством водил им по зареву, по хорошо видной сейчас станице впереди. Но и без бинокля предметы приобретали объемную очерченность. На батарее — в отдалении и вблизи — проступали лики людей, плоские, серые от бессонной ночи, как маски, и орудия, и бугры земли на бруствере, и кусты над снегом, трещавшие на ветру оголенными сучьями. Была зыбкая пора переломного декабрьского рассвета, переходившего в раннее утро, слабо налитое розовостью на востоке.

И вдруг отчетливо задрожал, начал нарастать вибрирующий по всему горизонту гул, как будто катился по степи гигантский чугунный шар. В тот же миг из зарева взмыли над станицей серии двухцветных ракет — одна за другой, по полукругу — каскад красных и синих светов.

«Вот чего мы ждали!..— подумал возбужденно Дроздовский.— Это — сигналы немцев... Разве они так близко? И почему они так близко? И что это за гул?..»

А этот новый гул прочно врастал и врастал в пространство между небом и землей. Он уже не напоминал раскатившийся чугунный шар, а гремел издали то слитными обвалами грома, то распадался мощными отзвуками в глубоком русле реки, все надвигаясь и надвигаясь спереди неминуемо и страшно.

Казалось, стала подрагивать живым телом земля. И, точно подавая знаки этому гулу, без конца сполахивались полукругом над станицей серии красных и синих ракет.

«Что это — танки или самолеты? Сейчас начнется?.. Уже началось? Надо подавать команду «к бою»? Я должен действовать немедленно!..»

Усилием воли еще сохраняя спокойствие, не подавая команды, Дроздовский видел, как хмуро провел по небу глазами генерал Бессонов, как сдвинул брови полковник Деев, как остановился в руках Веснина бинокль, наведенный на зарево. Потом Веснин отдал бинокль начальнику разведки, снял неизвестно для чего очки, и, когда обернулся к Бессонову, лицо его, обезоруженное без очков, имело торопливое, веселое выражение человека, сообщавшего неотвратимую новость:

— Идут, Петр Александрович. Черт-те сколько...

Там, среди зарева, что-то засверкало розово и густо, какая-то туча в небе. Она приближалась, шла прямо сюда, на станицу, накатываясь соединенным в сплошной гул звуком моторов, и в туче этой начали выделяться очертания тяжело нагруженных «юнкерсов». Они шли с юга, заслонив зарево, огромными вытянутыми косяками; их было столько, что Дроздовский не смог бы сразу сосчитать. И чем яснее, определеннее видно было, что эти самолеты идут именно сюда, в направлении станицы, на батарею, чем заметнее приближались они, тем жестче, беспощаднее становилось лицо Бессонова — оно почти окаменело. Близорукие глаза члена Военного совета Веснина пристально и угадывающе смотрели не на небо, а на командующего, и его голые пальцы (забыл надеть перчатки, они торчали из кармана полушубка) ненужно терли и гладили о мех воротника очки.

И Дроздовский подумал: «Почему они стоят и не подают команду? Что я должен делать при них?»

Тут в орудийный дворик соскользнул, как на коньках, по брустверу майор Божичко в длинной щегольской новой шинели и крикнул Бессонову с энергичной настойчивостью адъютанта, которому по неписаному уставу позволено было напоминать, а подчас и требовать:

— Товарищ командующий! Нужно ехать, товарищ командующий!

— Может, стоило бы переждать бомбежку здесь, товарищ генерал,— произнес Деев, следя из-под рыжих бровей за косяками самолетов.— Сомневаюсь, чтобы мы успели на энпэ до начала...

— Убежден: успеем, товарищ командующий! — заверил Божичко и объяснил Дееву: — Три километра по спидометру. Проскочим...

— Разумеется, проскочим! — Веснин, загораясь, надел очки, соизмеряя расстояние от затмивших зарево

косяков самолетов до кругло проступавшей высоты за рекой, где был НП дивизии.— Да, четыре километра, Божичко,— уточнил он и обратился взволнованно к Дееву: — Вы уверены, полковник, что они будут бомбить здесь? Не исключена возможность, что они идут на Сталинград.

— Не уверен, товарищ член Военного совета...

Бессонов усмехнулся, сказал без сомнения:

— Они будут бомбить здесь. Именно здесь. Передний край. Это абсолютно. Немцы не любят рисковать. Не наступают без авиации. Ну, поехали. Три километра или четыре — все равно.— И он, похоже было, случайно вспомнил про Дроздовского, стоявшего в позе выжидания.— Что ж... Всем в укрытие, лейтенант. Как говорят, пережить бомбежку! А потом — самое главное: пойдут танки. Так, значит, лейтенант, ваша фамилия Дроздовский? — спросил он, восстанавливая что-то в памяти.— Знакомая фамилия. Запомню. И надеюсь еще услышать о вас, лейтенант Дроздовский! Ни шагу назад! И выбивать танки. Стоять — и о смерти забыть! Не думать о ней ни при каких обстоятельствах! Ваша батарея многое тут может сделать, лейтенант. Надеюсь на лучшее.

И, поднявшись на бруствер, хромая, Бессонов пошел к «виллисам»; за ним — адъютант Божичко и полковник Деев. Начальник разведки дивизии задержался на огневой. Он медлил и не убирал планшет с картой, не выпускал бинокль из рук, ощаривая линзами пустое пространство перед станицей. Он не хотел так просто, так свободно уходить отсюда, не дождавшись возвращения разведки. Тогда Веснин легонько коснулся его плеча, и молчаливый подполковник поплелся понуро к ходу сообщения. А метрах в пяти от орудия, взбираясь на бугор берега, Веснин приостановился, сказал Дроздовскому не без задора в голосе, заглушаемом нависающим гулом самолетов:

— Ну, комбат, жаркое время начинается! Не страшно в первый раз?

— Нет, товарищ дивизионный комиссар!

— Тогда командуй, комбат!..

Дроздовский выдержал несколько секунд бездействия, застыв, ослепленный, посмотрел в почерневшее и сверкающее небо, в котором все неслось, ревело, двигалось, и срывающимся криком подал команду:

— Бат-тарея, в укрытие!..

И побежал к наблюдательному пункту мимо замелькавших белых лиц у орудий, мимо согнутых спин солдат, под гремящим небом.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мощный рев моторов нависал над головой, давил все звуки на земле, дрожал, колотился в ушах.

Первый косяк самолетов начал заметно менять конфигурацию, растягиваться, перестраиваться в круг, и Кузнецов видел, как фонтанами красных и синих светов вставали немецкие ракеты за домами станицы. Ответная ракета, прорисовав дымную нить, красной вспышкой отделилась от головного «юнкерса» и, обесцвеченная сверканием множества плоскостей, быстро спала, угасла в розовеющем воздухе. Немцы сигналили с земли и воздуха, уточняя район бомбежки, но Кузнецов уже не пытался сейчас определить, рассчитать, где они будут бомбить: это было ясно. «Юнкерсы» один за другим выстраивались в огромный круг, очерчивая, захватывая в него станицу, северный берег, пехотные траншеи, соседние батареи,— вся передовая замкнулась этим плотным воздушным кольцом, из которого теперь, казалось, невозможно было никуда вырваться, хотя на том берегу засветилась перед восходом солнца свободная степь, по-утреннему покойно пламенели высоты.

— Воздух! Воздух!..— бессмысленно и надрывно кричали на батарее и где-то внизу, под берегом.

Кузнецов стоял слева от орудия, в ровике, вместе с Ухановым и Чибисовым,— ровик был тесен для троих. Они ощущали ногами дрожание земли; осыпались твердые комья с бруствера от слитного рева моторов, сотрясающего воздух. Совсем близко видел Кузнецов разверстые ужасом черные, как влажный графит, глаза Чибисова на поднятом к небу треугольном лице с придавленным, ошеломленным выражением, видел рядом задранный подбородок, светлые, в движении, упорно, зло считающие глаза Уханова,— и все тело туго сжималось, подбиралось, точно в тяжком сне, когда не можешь сдвинуться с места, а тебя настигает неотвратимое, огромное. Он почему-то вспомнил о том котелке пахучей, ломящей зубы воды, принесенной Чибисовым из проруби, и вновь почувствовал жгущую жажду, сухость во рту.

— Сорок восемь,— сосчитал наконец Уханов с каким-то облегчением и перевел точки зрачков на Чибисова, толкнул плечом в его съеженное плечо.— Ты что, папаша, дрожишь как лист осиновый? Страшнее смерти ничего не будет. Дрожи не дрожи — не поможет...

— Да разве не сознаю я...— сделал судорожную попытку улыбнуться Чибисов.— Да вот... само собой лезет... Кабы мог я... не могу совладать, горло давит...— И показал на горло.

— А ты думай о том, что ни хрена не будет. А если будет, то ничего не будет. Даже боли,— сказал Уханов и, уже не глядя на небо, зубами стянул рукавицу, достал кисет.— Насыпай. Успокаивает. Сам успокоюсь. Давай и ты, лейтенант. Легче станет.

— Не хочу.— Кузнецов отстранил кисет.— Котелок бы воды... пить хочу.

— Сюда они! На нас!..

Этот возглас и рыскающие, опустошенные глаза Чибисова заставили Кузнецова на миг поднять голову. И будто широко пахнуло в лицо огненным запахом несущейся с неба судьбы. Что-то сверкающее, огромное, с ярко видимыми черно-белыми крестами — неужели это головной «юнкерс»? — на секунду остановилось, споткнулось в воздухе и, хищно вытягивая черные когти, оглушая визжащим звуком зазубренного железа по железу, стало отвесно падать на батарею, ослепляя блеском мчавшегося вниз многотонного металла, под кровавыми лучами еще не поднявшегося над горизонтом солнца. Из-под этого сверкания и рева выпали, отделились черные продолговатые предметы и тяжело, освобожденно пошли к земле, врастая пронзительным визгом в рев «юнкерса».

Бомбы неслись неумолимо, шли на батарею, к земле, ежесекундно увеличиваясь на глазах, тяжко покачиваясь в небе полированными бревнами. А следом за первым и второй «юнкерс» из сомкнутого кольца вошел в пике над берегом. С холодной дрожью в подтянутом животе Кузнецов опустился в окоп, увидев, как толчками пригибает голову Уханов, неохотно оседая по земляной стене.

— Ложи-ись! — Кузнецов не услышал в настигающем визге своего голоса, одними пальцами почувствовал изо всей силы дернутую вниз полу ухановской шинели.

Уханов, упав на него, загородил небо, и тотчас черным ураганом накрыло ровик, ударило жаром сверху; ровик тряхнуло, подкинуло, сдвинуло в сторону, почудилось,

он вставал на дыбы, и почему-то рядом оказался не Уханов (тяжесть его тела сбросило с Кузнецова), а серое, землистое, с застывшими глазами лицо Чибисова, его хрипящий рот: «Хоть бы не сюда, не сюда, господи!..» — и до отдельных волосков видимая, вроде отставшая от серой кожи щетина на щеках. Навалясь, он обеими руками упирался в грудь Кузнецова и, вжимаясь плечом, спиной в некое узкое несуществующее пространство между Кузнецовым и ускользающей стеной ровика, вскрикивал молитвенно:

— Дети!.. Дети ведь... Нету мне права умирать. Нету!.. Дети!..

Кузнецов, задохнувшись чесночной гарью, под давящими руками Чибисова, хотел освободиться, глотнуть свежего воздуха, крикнуть: «Замолчите!» — но от химического толового яда закашлялся с режущей болью в горле. Он с трудом отцепил руки Чибисова, сбросил их с груди. Ровик забило удушающим густым дымом — и не стало видно неба. Оно кипело чернотой и грохотом, смутно и нереально просверкивали в нем наклоненные плоскости пикирующих «юнкерсов» — нацеленно падали из дыма черные кривые когти, и в обвалах разрывов ровик изгибало, корежило, и везде разнотонными, и ласковыми, и грубыми голосами смерти прореза́ли воздух осколки, обрушивалась пластами земля, перемешанная со снегом.

«Сейчас это кончится,— внушал себе Кузнецов, ощущая хруст земли на зубах, закрыв глаза: так, ему казалось, быстрее пройдет время.— Еще несколько минут... Но орудия... как же орудия? Они приведены к бою... Осколками разобьет прицелы?..»

Он знал, что нужно немедленно подняться, посмотреть на орудия, что-то сделать сейчас, но отяжелевшее тело было вжато, втиснуто в окоп, болело в груди, в ушах, а пикирующий вой, горячие удары воздуха со свистом осколков все сильнее придавливали его к зыбкому дну ровика. С той же бьющейся в голове мыслью, что нужно что-то сделать, он открыл глаза и увидел на откосе бруствера бритвенно срезанный осколком край земли. И какие-то живые серые комочки падали по земляной стене, рассыпая из узких нор пшеничные зерна, сбегали в ровик, сновали, метались по горбом выгнутой спине лежавшего ничком Чибисова.

Кузнецов знал, что́ это за серые комочки, но никак не мог вспомнить их названия, вспомнить, где он их еще

так ясно когда-то видел,— и тут же прорвался сквозь грохот крик Уханова: он тоже смотрел на спину Чибисова с изумленно-пристальным выражением.

— Смотри, лейтенант, мышей к дьяволу разбомбило! А ну давай спасайся! Дав-вай!

Большая рука Уханова в заскорузлой рукавице стала ловить, хватать эти серые, вдруг злобно оскалившие зубы комочки со спины Чибисова, выбрасывать их из ровика в дым.

— Чибисов, шевелись, мыши сожрут! Чуешь, папаша?

— Панорамы, Уханов! Слышишь, прицелы! — не обращая внимания на Чибисова, крикнул Кузнецов и мгновенно подумал, что хотел и мог приказать Уханову — имел на это право — снять панорамы, то есть властью командира взвода заставить выскочить его сейчас под бомбежкой к орудиям из спасительной земли, сам оставаясь в ровике, но не смог этого приказать.

«Я имею и не имею права,— мелькнуло в голове Кузнецова.— Потом никогда не прощу себе...»

Сейчас все между ними сравнялось и все измерялось одним — огромным, окончательным, случайным, простым: несколькими метрами ближе или дальше, зоркостью пикирующих со своего смертельного круга «юнкерсов» в этой беззащитной и чудовищной пустынности целого мира, без солнца, без людей, без доброты, без жалости, до невыносимого предела суженного в одном ровике, подталкиваемого разрывами от края жизни к краю смерти.

«Я не имею права так! Это отвратительное бессилие... Надо снять панорамы! Почему я боюсь умереть? Я боюсь осколка в голову?.. Где Дроздовский?.. Уханов знает, что я готов приказать... Черт с ними, с прицелами! У меня не хватает сил выскочить из ровика... Готов приказать, а сам сидеть здесь. Если выскочу из ровика, ничто не будет защищать. И — раскаленный осколок в висок?.. Что это, бред?»

Железный треск, разваливающийся над головой, круто сдвинул вбок ровик, толкнул клубящуюся наволочь черного дыма в лицо, и Кузнецов закашлялся — его душило ядовитостью тола.

Когда дым рассеялся, Уханов, вытирая рукавом землю с губ, потряс головой — с шапки ссыпались комки грязного снега,— странно посмотрел на надсадно

кашляющего Кузнецова и, блеснув стальным зубом, прокричал, как будто оба были глухие:

— Лейтенант!.. Дыши в платок — легче будет!

«Да, я наглотался толовой гари. Я забыл и вдохнул ее ртом. Запах горелого чеснока и железа. Впервые я почувствовал этот запах в сорок первом. И запомнил на всю жизнь... Какие могут быть еще платки? Только вот грудь выворачивает, болит от кашля. Воды бы, воды бы холодной глотнуть...»

— А-а!.. Ерунда! — крикнул, глотая кашель, Кузнецов.— Уханов!.. Слушай... Нужно снять прицелы! Раскокошит ко всем чертям! Непонятно, когда это кончится?

— Сам думаю, лейтенант! Без прицелов останемся как голые!..

Уханов, сидя в окопе, подтянув ноги, ударил рукавицей по шапке, надвигая ее плотнее на лоб, уперся рукой в дно ровика, чтобы встать, но сейчас же Кузнецов остановил его:

— Стой! Подожди! Как только они отбомбят по кругу, выскочим к орудиям. Ты — к первому, я — ко второму! Снимем прицелы!.. Ты — к первому, я — ко второму! Ясно, Уханов? По моей команде, ясно? — И, насилу сдерживая кашель, тоже подтянул ноги, чтобы легче было встать.

— Надо сейчас, лейтенант.— Светлые глаза Уханова из-под надвинутой на лоб шапки смотрели, сощурясь, в небо.— Сейчас...

По звукам выходящих из пике самолетов они оба одновременно почувствовали: завершился очередной круг бомбежки. Метельные круговороты жаркого дыма несло из-за бруствера. «Юнкерсы», поочередно выходя из пике над берегом, выстраивались в круг, в эту непрерывную небесную карусель, заходя над степью выше клубящейся черноты. Впереди и сзади за рекой горела огромным пожаром станица, бегущее по улицам пламя сталкивалось, перекручивалось; обрушивались кровли, выбрасывая в небо раскаленные тучи пепла и искр, лопались, выстреливали стекла: на околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, не успевших уйти в укрытие. Узкими ручейками стекал по откосу к реке и горел бензин. Над батареей, над берегом, над пехотными траншеями траурной завесой переваливался сгущенный дым.

Кузнецов, выглянув из ровика, увидел все это, слыша выровненный звук моторов вновь заходивших за дымом на бомбежку «юнкерсов», скомандовал:

— Уханов!.. Успеем! Пошли!.. Ты — к первому. Я — ко второму...

И с зыбкой невесомостью во всем теле выскочил из ровика, перепрыгнул через бруствер огневой позиции первого орудия, побежал по черному от гари снегу, по радиально разбрызганной от воронок земле ко второму орудию, откуда донесся чей-то крик:

— Лейтенант! Сюда! К нам!

Вся огневая позиция, ниши, ровики были закрыты тяжелой стеной стоячего дыма, везде комья подпаленного, выброшенного разрывами грунта, везде темный снег и земля: на брезентовом чехле орудия, на казеннике, на снарядных ящиках. Но панорама была цела, и Кузнецов, кашляя, задыхаясь, лихорадочными пальцами стал отсоединять ее, оглядываясь на ровики, откуда поднялась и пропала чья-то голова круглой тенью в дыму.

— Кто там? Вы, Чубариков? Все живы?

— Товарищ лейтенант, к нам!.. К нам прыгайте!

Из левого ровика за нишей со снарядами высовывалась голова в косо державшейся на одном ухе засыпанной землей шапке. Голова покачивалась на длинной шее, выпуклые глаза мерцали возбуждением, призывом — это был командир второго орудия младший сержант Чубариков.

— Товарищ лейтенант, к нам! Разведчик у нас!..

— Что? — крикнул Кузнецов.— Почему прицелы не сняли? Без прицелов думали стрелять?

— Товарищ лейтенант, раненый он. Разведчик тут в ровике! Оттуда пришел... Раненый он...

— Какой разведчик? Вы что, контужены, Чубариков?

— Нет... Чуток ухо свербит. Оглушило вроде... А так — ничего... Разведчик к нам прибежал!

— А-а! Разведчик? Из дивизии? Где разведчик?

Кузнецов глянул на небо — гигантская карусель «юнкерсов» сомкнулась кольцами над степью — и, перескочив нишу, спрыгнул в ровик, сунул панораму в грудь Чубарикову. Тот схватил ее, заморгав как тушью нарисованными ресницами, и стал заталкивать панораму за пазуху.

— Забыли, Чубариков, про панораму? Где разведчик?

В длинном ровике, насколько можно вжимаясь в стены, сидели, с торопливой ненасытностью куря толстые цигарки, пожилой, с седыми висками, наводчик Евстигнеев и два человека из расчета в извоженных глиной шинелях. Здесь же были не успевшие уйти к лошадям ездовые Рубин и Сергуненков. Оба молчаливо-угрюмые, оба напряженные, смотрели в одном направлении. Там, куда смотрели они, в конце ровика полулежал мелово-бледный парень в маскхалате, с откинутым капюшоном, без шапки; в цыганских курчавых волосах забился вперемешку с землей снег, в округленных глазах — боль, узкие скулы стянуты желваками. Левый набухший кровью рукав маскхалата и телогрейки был располосован до плеча финкой, воткнутой в землю возле ног. Парень, перекосив рот, мертвенно-синими, перепачканными в крови пальцами неловко перетягивал бинтом индивидуального пакета предплечье, скрипел зубами:

— Ах, гады, гады!.. Командира дивизии мне!.. Полковника мне!..

— Помогите ему, быстро! — крикнул Кузнецов Чубарикову, голова которого все моталась из стороны в сторону на длинной шее, будто он вытряхивал из ушей попавшую туда воду.— Что стоите? Сделайте превязку!

— Не дается,— мрачно отозвался ездовой Рубин, плюнул на заскорузлую ладонь, в плевке погасил цигарку, а окурок сунул за отворот шапки.— Разве-едчик, вишь ты, сам с усам! Куда там — гонор! Не подступись! Орет на всех, как психовой!.. Разве-едчик!..

— Тут гремит все, огонь по степу... света не видать, товарищ лейтенант,— ломким голосом заговорил Сергуненков, с выражением изумления и доказательности возводя на Кузнецова детские голубые глаза,— а он... ну, ровно бешеный какой... идет, качается, кричит что-то..., ввалился потом... весь в крови. Командир дивизии ему нужен. Из разведки он...

— Верим все на слово, лопухи! Куды там, «из разведки»! — передразнивая Сергуненкова, выговорил Рубин, обратив свое квадратное коричневое лицо к разведчику, который, вероятно, ни слова не слышал из разговора, все упорнее натягивая на предплечье соскальзывающий бинт.— Документы у него надо строго проверить!.. А что? Может, из совсем другой разведки...

— Глупость! Чушь мелете, Рубин,— оборвал Кузнецов и протиснулся между солдатами к разведчику, резко

сказал: — Дайте бинт, помогу!.. Откуда? Один вернулись?

Разведчик, пытавшийся зубами затянуть бинт, яростно сорвал его с предплечья, угольно-черные бешеные глаза всверлились в пространство над ровиком, в уголках губ закипела пена, и сейчас, вблизи, заметил Кузнецов тонкие струйки крови, засохшие на мочках его ушей. Он был, видимо, контужен.

— Не трожь! Отойди, лейтенант! — застонав, выкрикнул разведчик и, оскалясь, заговорил взахлеб: — К командиру дивизии меня надо, понял? К полковнику меня... Чего, как па бабу, уставился? Из поиска я, из дивизионной разведки, понял? К полковнику... звони, лейтенант! Чего глядите, сволочи? Потеряю сознание — и хана!.. Сознание потеряю!.. Понял, лейтенант? — И из злых глаз его покатились слезы боли.

Запрокинув голову, он здоровой рукой обезумело рванул под маскхалатом пуговицы телогрейки, пуговицы гимнастерки, окровавленными пальцами зацарапал ключицы, выступавшие над застиранным морским тельником.

— Быстрей, давай быстрей! Пока в сознании я, понял?.. Звони полковнику, Георгиев — моя фамилия. Звони, сказать я ему должен!..

— Отправить бы его надо, товарищ лейтенант,— рассудительно вставил пожилой наводчик Евстигнеев.

А Кузнецов все смотрел на пальцы разведчика, царапающие ключицы, теперь хорошо понимая, что этот морячок — один из той разведки, которую ожидали на рассвете и не дождались.

— В голову он контуженный, видать, и кровью изошел,— сказал младший сержант Чубариков.— Как же его... в дивизию-то, товарищ лейтенант? Кончиться по дороге может...

— На себе не поволокешь! А чего он в разведке узнал-то!..— вставил Рубин прокуренным злобным голосом.— После драки кулаками... Моряк! На кораблях плавал, небось один шоколад жрал и белой булкой закусывал. А мы лаптем щи... Раз-ве-едчик!..

— А может, Рубин, и поволокешь! — обрезал Кузнецов, видя близко широкое и багровое лицо Рубина.— Кто здесь будет командовать? Вы, Рубин?

— С умом надо, товарищ лейтенант...

— С вашим? Или с чьим? — крикнул Кузнецов и повернулся к Чубарикову: — Связь с Дроздовским есть? Работает телефон?

Чубариков только повел головой в сторону задней стенки ровика: связь, мол, должна быть.

— Перебинтуйте его, Чубариков, не давайте ему бинт срывать! Я сейчас соединюсь!..

— Товарищ лейтенант, подождите! На нас идут! Опять!..— предупреждающим голосом вскрикнул Сергуненков и зажал уши.

А Кузнецов посмотрел в небо, уже выбежав на огневую площадку. Огромная карусель «юнкерсов» вращалась над берегом, и опять, сваливаясь из круга, подставляя засверкавшие плоскости невидимому солнцу, скользнул в пике над дальними пехотными траншеями головной «юнкерс», круто пошел к земле.

Когда Кузнецов спрыгнул в неприютно мелкий, узкий окопчик связи, телефонист Святов сидел, пригнув голову к аппарату, придерживая одной рукой трубку, привязанную тесемочкой к голове. И, втиснувшись в тесный ровик, вынужденный прижаться своими коленями к коленям Святова, Кузнецов на миг испугался этого случайного прикосновения: он не сразу понял, чьи колени дрожали — его или связиста,— и попытался отодвинуться как можно дальше к стенке.

— Связь есть с энпэ? Не перебило? Дайте трубку, Святов!

— Есть, товарищ лейтенант, есть. Только никто...

Святов, прижав колено к колену, чтобы не дрожали, закивал остреньким, белесым, до пупырышек замерзшим деревенским личиком, потянулся к тесемке, однако не развязал, отдернул пальцы, клюнул личиком в аппарат.

— Танки!..— крикнул кто-то на батарее, но крик этот задавило, смяло оглушительным громом самолетов.

Вместе с этим звуком, стремительно приближаясь к батарее по берегу, с обложным бомбовым землетрясением, с хрястом стало взрываться, вздыбливаться все; окопчик подкинуло — и, вытолкнутый из земли, увидел Кузнецов, как над вставшими вдоль берега разрывами неслись крестообразные туловища «юнкерсов», слепя зазубренным пламенем пулеметов. Скрученные толстые трассы, впиваясь в берег, шли по пехотным траншеям прямо на батарею — и в следующее мгновение появились перед глазами шепчущие что-то губы, трясущиеся колени Свя-

това, его развязавшаяся обмотка, кончик которой подрагивал и змейкой полз по дну окопа.

— Танки! Танки! — шептали лиловые губы связиста.— Слышали? Команда была...

Кузнецову хотелось крикнуть: «Замотайте сейчас же обмотку!» — и отвернуться, чтобы не видеть эти его колени, этого необоримого его страха, который вдруг остро вонзился и в него при этом возникшем где-то слове «танки», и, пытаясь не поддаваться и сопротивляясь этому страху, он подумал: «Не может быть! Кто-то ошибся, вообразил... Где танки? Кто это крикнул?.. Я сейчас, сейчас вылезу из окопа!..»

Но он не смог вылезти из ровика: над головой косо и низко, перечеркивая узенькую полоску неба огненно-кромешной тьмой, с неубирающимися кривыми шасси, обдавая горячим железом захлебывающихся крупнокалиберных пулеметов, один за другим проносились «юнкерсы».

— Святов! — крикнул сквозь треск пулеметных очередей Кузнецов и потряс за плечо спрятавшего лицо в колени связиста.— С энпэ свяжитесь!.. С Дроздовским! Что там? Быстро!

Вскинув окоченевшее личико с раскосившимися глазами, суетливо задвигался Святов, завозился над телефонным аппаратом, дуя в трубку, крича: «Энпэ, энпэ! Да почему же?..» Но до предела накаленный звук пикирующего самолета пригнул их обоих к земле — огромное и темное наклонно неслось сверху на окопчик. Грубо ударил бой очереди над самой головой, градом застучали комья по стенам, по телефонному аппарату. И в то же время почти злорадная мысль мелькнула у Кузнецова, ожидавшего удара в спину, в голову: «Мимо, мимо!»

Рука Святова мелкими толчками стряхивала с аппарата разбитые комочки земли, а губы приоткрывались, прерывисто обдавая паром дыхания трубку: «Энпэ... энпэ... Не побило вас?» И вдруг его глаза опять раскосились и замерли.

— Танки-и! — пронесся надрывный крик над бруствером.

Губы Святова вышептывали, мяли обрывистые слова:

— Товарищ лейтенант... подошли к аппарату. Связь есть... Дроздовский на проводе. Команда: танки, танки идут. К бою!.. Вас, вас!.. Комбат! — И смахнул помятую шапку, сорвал бечевку с белесой мальчишеской головы,

протянул вместе с этой мотавшейся петелечкой трубку Кузнецову.

— Слушаю. Лейтенант Кузнецов у аппарата!

В трубке — дыхание Дроздовского, как после длительного бега; оно вырывалось из мембраны, горячо покалывало ухо:

— Кузнецов!.. Танки прямо! Орудия к бою! Потери есть? Кузнецов!.. Люди, орудия?

— Пока еще точно не могу сказать.

— Где вы там сидите?.. Знаете, что у Давлатяна?

— Сижу там, товарищ комбат, где положено,— возле орудий,— ответил Кузнецов, прерывая свистящее в мембране дыхание.— С Давлатяном пока не связывался. «Юнкерсы» ходят по головам.

— У Давлатяна прямым попаданием вывело из строя орудие,— засвистел голос Дроздовского.— Двое убито. Пятеро ранено. Весь четвертый расчет.

«Вот оно... уже началось! — жарко ударило в голове Кузнецова.— Значит, у Давлатяна уже потери, семь человек. И одно орудие. Уже!»

— Кто убит? — спросил Кузнецов, хотя знал только по лицам и фамилиям этот четвертый расчет и не знал жизни ни одного из них.

— Танки...— задышал в трубку Дроздовский.— К бою, Кузнецов! Танки идут!

— Понял,— проговорил Кузнецов.— Хочу доложить вот о чем. К моим орудиям вышел раненый разведчик.

— Какой разведчик?

— Из тех, кого ждали. Требует, чтобы отправили в штаб дивизии.

— Немедленно! — крикнул Дроздовский.— Ко мне его на энпэ!

Кузнецов вскочил в окопчике, глядя вправо, где были орудия Давлатяна. Там горела машина, нагруженная снарядами, дым сваливался над берегом, накрывал позиции, стекая к реке, мешаясь с огнем пожаров окраинных домов станицы. В машине трещали, рвались боеприпасы, фейерверком взметались в небо параболы бронебойных снарядов.

Карусель самолетов сдвинулась, крутилась теперь в тылу, за рекой, «юнкерсы» ныряли над степными дорогами за высотами. Отбомбив, часть самолетов с усталым, булькающим звуком уходила в латунном небе на юг над горящей станицей.

И несмотря на то что «юнкерсы» еще бомбили тылы и там кто-то умирал, Кузнецов почувствовал короткое облегчение, точно вырвался на свободу из противоестественного состояния подавленности, бессилия и унижения, что называют на войне ожиданием смерти.

Но в ту же минуту он увидел ракеты — красную и синюю, поднявшиеся впереди над степью и дугами упавшие в близкие пожары.

Весь широкий гребень и пологий скат возвышенности перед балкой слева от станицы, затянутые сизой дымной пеленой, смещались, двигались, заметно меняли свои очертания от какого-то густого и медленного шевеления там серых и желтоватых квадратов, как бы совсем не опасных, слитых в огромную тень на снегу, освещенном мутным во мгле солнцем, вставшим над горизонтом утренней степи.

Кузнецов понял, что это танки, однако еще со всей остротой не ощущая новой опасности после только что пережитого налета «юнкерсов» и не веря в эту опасность.

Острота опасности пришла в следующую секунду: сквозь обволакивающую пепельную мглу в затемненных низинах внезапно глухо накатило дрожащим низким гулом, вибрацией множества моторов, и яснее выступили очертания этих квадратов, этой огромной, плотно слитой тени, соединенной в косо вытянутый треугольник, основание которого уходило за станицу, за гребень высоты.

Кузнецов увидел, как тяжко и тупо покачивались передние машины, как лохматые вихри снега стремительно обматывались, крутились вокруг гусениц боковых машин, выбрасывающих искры из выхлопных труб.

— К орудиям! — крикнул Кузнецов тем голосом отчаянно звенящей команды, который ему самому показался непреклонно страшным, чужим, неумолимым для себя и других.— К бою!..

Везде из ровиков вынырнули, зашевелились над брустверами головы. Выхватывая панораму из-за пазухи, первым выкарабкался на огневую позицию младший сержант Чубариков; длинная шея вытянута, выпуклые глаза с опасением оглядывали небо за рекой, где оставшиеся «юнкерсы» еще обстреливали из пулеметов тыловые дороги в степи.

— К бою!..

И, выталкиваемые этой командой из ровиков, стали бросаться к орудиям солдаты, механически срывали чехлы с казенников, раскрывали в нишах ящики со снарядами; спотыкаясь о комья земли, заброшенные на огневые бомбежкой, тащили ящики поближе к раздвинутым станинам.

Младший сержант Чубариков, сдернув рукавицы, быстрыми пальцами вставлял в гнездо панораму, торопя взглядом возившийся со снарядами расчет, и старательно-торопливо начал протирать наводчик Евстигнеев резиновый наглазник прицела, хотя в этом сейчас никакой не было надобности.

— Товарищ лейтенант, фугасные готовить? — крикнул кто-то из ниши запыхавшимся голосом.— Пригодятся? А? Фугасные?

— Быстрей, быстрей! — торопил Кузнецов, незаметно для себя ударяя перчаткой о перчатку так, что больно было ладоням.— Отставить фугасные! Готовить бронебойные! Только бронебойные!..

И тут краем зрения поймал две головы, надоедливым препятствием торчавшие из ровика. Это ездовые Сергуненков и Рубин стояли в рост, не вылезая, смотрели на расчет: Сергуненков — с нерешительностью, облачко рвущегося дыхания выдавало волнение; Рубин — исподлобья, чугунно-тяжелым взглядом.

— Что? — Кузнецов поспешно шагнул к ровику.— Как с разведчиком?

— Перевязали его... Кровью он, видать, истек,— сказал Сергуненков.— Умрет. Затих...

— Не умрет! Чего ему умирать? — загудел Рубин с равнодушием человека, которому это надоело.— Все бредил, вроде там перед немцами еще семь человек осталось. Ерои!.. Сходили, называется, в разведку. Смехи!

Разведчик по-прежнему полулежал в ровике, запрокинув голову, с закрытыми глазами; весь маскхалат был в темных пятнах; предплечье уже забинтовано.

— А ну-ка оба — взять разведчика! И на энпэ к Дроздовскому! — приказал Кузнецов.— Немедленно!

— А как же кони, товарищ лейтенант? — вскрикнул Сергуненков.— К коням мы должны... Не разбомбило бы их. Одни кони...

— Танки, значит, прут? — поинтересовался Рубин.— Дадут теперь дрозда! Вот те и разведка! — И грубо толкнул Сергуненкова квадратным плечом.— Кони! Мол-

чи в тряпочку. Заладил, пупырь! На том свете тебе кони потребуются, в раю, у бога!..

Кузнецов не успел ответить Рубину: то, что он успел и мог подумать о судьбе разведчиков, о злобе Рубина, мгновенно вытолкнуло из сознания какое-то незнакомое, с надеждой обращенное к нему, ищущее что-то лицо Чубарикова. Потом увидел облепивший станины расчет, казенник орудия, крепко притиснутые к коленям снаряды, согнутые под щитом спины и паром дыхания согреваемые на механизмах пальцы пожилого наводчика Евстигнеева. Во всем этом была и жалкая незащищенность до первого выстрела, и вместе сжатая до предела готовность к первой команде, как к судьбе, которая одинаково и равно надвигалась на них вместе с катящимся по степи танковым гулом.

— Товарищ лейтенант! Чего они не стреляют?.. Почему молчат? Идут на нас!..

И повышенный звук моторов, ищущее лицо Чубарикова, его голос, придавленность в позах солдат и готовая вырваться из пересохшего горла команда открыть огонь (только не ждать, только не ждать!), морозный озноб, неотступно навязчивая мысль о воде — все это будто сдавило Кузнецову грудь, и через силу он крикнул Чубарикову:

— Не торопиться!.. Начинать огонь только на постоянном прицеле! Слышите, на постоянном!.. Ждать! Ждать!..

А уже густо заполненное дымом пространство слева от горящей станицы было затемнено таранно вытянутым острием вперед огромным треугольником танков, появлялись и пропадали во мгле их желто-серые квадраты, покачивались над полосой дыма башни. Метель, поднятая гусеницами, вставала над степью, вихри, разносимые скоростью, пронизывались соединенными выхлопами искр. Железный лязг и скрежет, накаляясь, приближались, и теперь заметнее было медленное покачивание танковых орудий, пятна снега на броне.

Но там, в приближающихся танках, у прицелов, терпеливо выжидали, не открывали огня, зная наверное силу своей начатой атаки, заставляя наши батареи первыми обнаружить себя. Над этой катящейся с гулом массой машин неожиданно вырвалась в небо, сигналя, красная ракета, и треугольник начал распадаться на танковые

зигзаги. Пронизывая пелену мглы, по-волчьи стали вспыхивать и гаснуть фары.

— Зачем фары зажгли? — крикнул, обернув ошеломленное лицо, Чубариков.— Огонь вызывают? Зачем, а?..

— Волки,— с придыханием выговорил наводчик Евстигнеев, стоя на коленях перед прицелом.— Чисто звери окружают!..

Кузнецов видел в бинокль: дым пожаров, растянутый из станицы по степи, странно шевелился, дико мерцал красноватыми зрачками; вибрировал рев моторов; зрачки тухли и зажигались, в прорехах скопленной мглы мелькали низкие и широкие тени, придвигаясь под прикрытием дыма к траншеям боевого охранения. И все до окаменения мускулов напряглось, торопилось в Кузнецове: скорей, скорей огонь, лишь бы не ждать, не считать смертельные секунды, лишь бы что-нибудь делать!

— Товарищ лейтенант!..— Чубариков, не выдержав, отодвигаясь на животе по брустверу от наползающих огненных зрачков, обернул молодое озябшее лицо, голова задвигалась на тонком стебле шеи.— Девятьсот метров... товарищ лейтенант... Что же это мы!..

— Мне танков не видно, младший сержант! Мне дым застит!..— крикнул Евстигнеев, отклоняясь от прицела.

— Еще, еще двести метров,— ответил с хрипотцой Кузнецов, убеждая и себя, что нужно во что бы то ни стало вытерпеть эти двести метров, не открывать огня, и в то же время удивляясь точности глазомера Чубарикова.

— Товарищ лейтенант! Комбат вас... Спрашивает: «Почему не открываете огонь? Что случилось? Почему не открываете?»

Связист Святов, привстав, возник из окопчика; шапка еле держалась на белесой голове, сдвинутая тесемкой от трубки; зажимая ее рукавицей, он словно бы ртом хватал команды по телефону, речитативом повторял:

— Приказ открыть огонь! Приказ открыть огонь!

«Нет, подождать. Еще бы подождать! Что он там — не видит? не знает, что такое первые выстрелы?.. Сразу откроем себя — и всё!»

— Дайте-ка, дайте, Святов! — Кузнецов кинулся к ровику, оторвал трубку от розового уха связиста и, улавливая горячо толкнувшуюся из мембраны команду, крикнул: — Куда стрелять? В дым? Заранее обнаружить батарею?

— Видите танки, лейтенант Кузнецов? Или не видите? — взорвался в трубке голос Дроздовского.— Открыть огонь! Приказываю: огонь!..

— Я лучше вижу отсюда! — ответил шепотом Кузнецов и бросил трубку в руки Святова.

Но едва он бросил трубку с прежней, решенной, мыслью — «если мы не выдержим и заранее откроем батарею, нас разобьют здесь»,— едва он подумал это, справа на батарее зарницей и грохотом рванул воздух. Трасса снаряда скользнула над степью и вошла, угаснув, в волчье мерцание впереди. Это открыло огонь одно орудие Давлатяна. И тотчас справа, где стреляло орудие, трескучим эхом лопнул ответный танковый разрыв; за ним текучую мглу раскололо красными скачками огня — несколько танков тяжелыми силуэтами стали выдвигаться из дыма; фары их, хищно мигая, повернулись в сторону огневых позиций Давлатяна, и крайнее его орудие исчезло, утонуло в огненно-черном кипении разрывов.

— Товарищ лейтенант!.. Никак, второй взвод накрыло!..— донесся чей-то крик из ровика.

«Зачем он так рано открыл огонь?» — зло подумал Кузнецов, видя эти танки, решительно пошедшие в стык его орудий и взвода Давлатяна, и все-таки не поверил, что так быстро накрыло там всех. И он увидел лежащий под бруствером расчет, прижатый к земле огнем, секущими над головой осколками, и неожиданно услышал пронзительно отдавшийся в ушах собственный голос:

— По танкам справа... наводить в головной! Прицел двенадцать, бронебойным...— В ту же краткость секунды, с невыносимым чувством своей открытости перед тем, как выкрикнуть «огонь», он понимал уже, что не выдержал дистанции, которую хотел выдержать, что сейчас заранее обнаружит танкам орудия, но ему теперь не дано было права ждать. И Кузнецов выдохнул последнее слово команды: — Ог-гонь!..

В уши жаркой болью рванулась волна выстрела.

Он не уловил точного следа трассы первого снаряда. Трасса, сверкнув фиолетовой искрой, погасла в серой шевелящейся, как сцепленные скорпионы, массе танков. По ней невозможно было скорректировать, и он торопливо подал новую команду, зная, что промедление подобно гибели. А когда вторая трасса ушла, раскаленно ввинчиваясь в дым, все там, впереди, одновременно и

неистово замерцало, засветилось, спутанно замельтешило вспышками других трасс. Со всего берега почти вместе и вслед за Кузнецовым ударили соседние батареи, воздух гремел, разбиваясь, скручиваясь и дробясь. Бронебойные трассы выносились и исчезали в красных встречных рывках огня: ответно били танки.

И с охватившим его сумасшедшим восторгом разрушенного одиночества, с клокотавшим в горле криком команд Кузнецов слышал только выстрелы своих орудий и не услышал близких разрывов за бруствером. Горячий ветер хлестнул в лицо. Вместе с опаляющими толчками свист осколков взвился над головой. Он едва успел пригнуться: две воронки, чернея, дымились в двух метрах от щита орудия, а весь расчет упал на огневой, уткнувшись лицами в землю, при каждом разрыве за бруствером вздрагивая спинами. Один наводчик Евстигнеев, не имевший права оставить прицел, стоял на коленях перед щитом, странно потираясь седым виском о наглазник панорамы, а его руки, точно окаменев, сжимали механизмы наводки. Он сбоку воспаленным глазом озирал лежащий расчет, немо крича, спрашивая о чем-то взглядом.

— Младший сержант...

Младший сержант Чубариков, вынырнув головой из командирского ровика, выскочил оттуда, сгибаясь, осыпанный землей,— бинокль мотался на груди,— упал на колени возле орудия, подполз к Евстигнееву, затормошил его за плечо, точно разбудить хотел.

— Евстигнеев, Евстигнеев!..

— Оглушило? — крикнул Кузнецов, тоже подползая к наводчику.— Что, Евстигнеев? Наводить можете?

— Могу я, могу...— выдавил Евстигнеев, тряся головой.— В ушах заложило... Громче мне команду давайте, громче!..

И рукавом вытер алую струйку крови, выползающую из уха, и, не посмотрев на нее, приник к панораме.

— Встать! Все к орудию! — подал команду Кузнецов с злым нетерпением, готовый руками подталкивать солдат к орудию, чувствуя что-то удушающе острое в горле.— Встать всем! Встать!.. К орудию!.. Все к орудию!.. Заряжай!..

Гигантский зигзаг танков выходил, выкатывался по всему фронту к переднему краю обороны, обтекая справа окраину горящей станицы, охватывая ее. По-прежнему

мигали среди дыма фары. Огни трассирующих снарядов перекрещивались, сходились и расходились радиальными конусами, сталкиваясь с резкими и частыми взблесками танковых выстрелов.

В сплошной орудийный грохот стали деревянно-сухо вкрапливаться слабые щелчки противотанковых ружей в пехотных траншеях. Слева танки миновали балку, выходили к берегу, ползли на траншею боевого охранения. Соседние батареи и те батареи, что стояли за рекой, били навстречу им подвижным заградительным огнем, и еще видно было: впереди, за станицей, беззвучно проходили в дымном небе группы наших штурмовиков, атакуя с воздуха пока невидимую вторую волну танков. Но то, что было не перед батареей, отражалось сейчас в сознании лишь как отдаленная опасность. Первая волна танков зигзагообразным движением охватывала полукольцом береговую оборону, и свет их фар бил теперь направленно в глаза, в упор шел на орудия. И Кузнецов совсем ясно различил в дыму серые туловища двух передних машин прямо перед огневыми позициями взвода и, выкрикнув команду кинувшемуся к орудию расчету, тотчас после выстрела поймал в объективе бинокля мгновенный пунктир трассы ниже выдвинувшихся из мглистого кипения квадратов.

— Выше! Под срез, под срез!.. Быстрей!.. Евстигнеев! Под срез! Огонь!..

Однако уже не нужно было торопить людей. Он видел, как мелькали над казенником снаряды, чьи-то руки рвали назад рукоятку затвора, чьи-то тела с мычаньем, со стоном наваливались на станины в секунды отката. Младший сержант Чубариков, ловя команды, повторял их, стоя на коленях возле Евстигнеева, не отрывавшегося от наглазника прицела.

— Три снаряда... беглый огонь!..— выкрикивал Кузнецов в злом упоении, в азартном и неистовом единстве с расчетом, будто в мире не существовало ничего, что могло бы еще так родственно объединить их.

В ту же минуту ему показалось: передний танк, рассекая башней дым, вдруг с ходу неуклюже натолкнувшись на что-то своей покатой грудью, с яростным воем мотора стал разворачиваться на месте, вроде бы тупым гигантским сверлом ввинчивался в землю.

— Гусеницы!..—с изумлением, с радостью вскрикнул Чубариков, мотая головой на длинной шее, и

по-бабьи хлопнул себя рукавицей по боку.— Товарищ лейтенант!

— Четыре снаряда, беглый огонь! — хрипло скомандовал Кузнецов, слыша и не слыша его и только видя, как вылетали из казенника дымящиеся гильзы, как расчет при каждом выстреле и откате наваливался на прыгающие станины.

А танк все вращался на месте, распуская плоскую ленту гусеницы. Башня его тоже вращалась, рывками поводя длинным стволом орудия, нацеливая его в направлении огневой. Ствол плеснул косым огнем, и вместе с разрывом, с раскаленным взвизгом осколков магнием забрызгало слепящее свечение на броне танка. Потом проворными ящерицами заскользили на нем извивы пламени. И с тем же исступленным азартом восторга и ненависти Кузнецов крикнул:

— Евстигнеев!.. Молодец! Так!.. Молодец!..

Танк сделал слепой рывок вперед и в сторону, по-живому вздрагивая от жалившего его внутренность огня, дергаясь, встал перед орудием наискось, белея крестом на желтой броне. В тот момент поле боя, на всем своем пространстве заполненное лавиной танковой атаки, стрельба соседних батарей — все исчезло, отодвинулось, все соединилось, сошлось на этом одном головном танке, и орудие безостановочно било по подставленному еще живому боку с белым крестом, по этому смертельно опасному, чудилось, огромному пауку, пришедшему с другой планеты.

Кузнецов остановил огонь только тогда, когда второй танк, ныряюще выдвигаясь из дыма, в течение нескольких секунд вырос, погасив фары, позади задымившейся головной машины, сделал поворот вправо, влево, этим маневром ускользая от орудийного прицела, и Кузнецов успел опередить его первый выстрел:

— По второму, бронебойным!..

Ответный танковый выстрел громом рванул землю перед бруствером. С мыслью, что танк вблизи засек орудие, Кузнецов упал на огневой, подполз к расчету в угарно текшей с бруствера пороховой мути, не сразу разглядел повернутые к нему измазанные копотью аспидно-черные лица, застывшие в страшном ожидании следующего выстрела, увидел Евстигнеева, отшатнувшегося от прицела, выдохнул с хрипом:

— Наводить! Не ждать!.. Евстигнеев! Чубариков!..

Младший сержант Чубариков лежал боком на бруствере, двумя руками тер веки, повторяя растерянно:

— Что-то не вижу я... Песком глаза забило... Сейчас я...

Следующий танковый разрыв окатил раздробленными комьями земли, чиркнул осколками по щиту, и Кузнецов задохнулся в навалившемся тошнотном клубе толовой гари, никак не мог передохнуть, выполз на бруствер, чтобы увидеть танк, но лишь выглянул — жгучим током пронзила мысль: «Конец! Все сейчас будет кончено... Неужели сейчас?»

— Евстигнеев, огонь! Огонь!..

Расчет, светясь маслено-черными лицами, копошился в дыму, заряжая лежа, наваливаясь на станины; показалось: даже перестали двигаться, замерли на маховиках огромные красные руки Евстигнеева, приросшего одним глазом к прицелу. Ему мешала шапка. Он все сдвигал и наконец сдвинул ее резиновым наглазником прицела. Шапка упала, скользнув по спине, с его потной головы. Евстигнеев посунулся на коленях, от его напруженного широкого затылка, от слипшихся волос шел пар. Потом задвигалось плечо. Правая рука плыла в воздухе, гладящими рывками нащупывала спуск. Она двигалась неправдоподобно замедленно. Она искала спуск с неторопливой нежностью, как если бы не было ни боя, ни танков, а только надо было тихонько пощупать его, удостовериться, погладить.

— Евстигнеев!.. Два снаряда!.. Огонь!..

Пулеметные очереди резали по брустверу, сбивая землю на щит. С выхлопами над самой головой оглушающий рев мотора, лязг, скрежет вползали в грудь, в уши, в глаза, придавливали к земле, головы невозможно было поднять. И на миг представилось Кузнецову: вот сейчас танк с неумолимой беспощадностью громадой вырастет над орудием, железными лапами гусениц сомнет навал бруствера, и никто не успеет отползти, отбежать, крикнуть... «Что это я? Встать, встать, встать!..»

— Евстигнеев, два снаряда, огонь!..

Два подряд выстрела орудия, сильные удары в барабанные перепонки, со звоном, с паром вылетевшие из казенника гильзы в груду стреляных, уже остывающих гильз — и тогда, отталкиваясь от земли, Кузнецов выполз на кромку бруствера, чтобы успеть засечь свои трассы, скорректировать.

В лицо его опаляюще надвигалось что-то острое, огненное, брызжущее, и мнилось: огромный точильный камень вращался перед глазами. Крупные искры жигали, высекались из брони танка — чужие трассы неслись к нему сбоку и слева, оттуда, где стояло орудие Уханова, и взрыв сотряс, толкнул танк назад, пышный фонтан нефтяного дыма встал над ним.

И Кузнецов с какой-то пронзительной верой в свое легкое счастье, в свое везение и узнанное в то мгновение братство вдруг, как слезы, почувствовал горячую и сладкую сдавленность в горле. Он увидел и понял: это слева орудие Уханова добивало прорвавшийся танк после двух точных снарядов, в упор выпущенных Евстигнеевым.

Все впереди пульсировало темно-кроваво-красным, весь левый берег охватывало очагами пожаров, непрекращающаяся стрельба батарей выбивала в этом огне черные бреши — беглые разрывы, дымы́ полыхающей станицы мешались с тяжелыми жирными дымами, встававшими среди огромного танкового полукруга, соединялись над степью густым навесом, а из-под этого навеса, подсвеченного огнями горевших машин, не приостановленные, упорно выползали и выползали танки, суживая полукольцо вокруг обороны южного берега. Танковая атака не захлебнулась, не ослабла под непрерывным огнем артиллерии, она лишь несколько замедлилась на вершине полукольца и усилила, сконцентрировала одновременные удары по флангам. Там одна за другой стремительно взвивались сигнальные ракеты, и машины вытянутыми косяками поворачивали вправо, за высоту, где был батарейный НП, и влево — к мосту, перед которым стояли соседние батареи.

— Танки справа! Прорвались!..

Этот крик вонзился в сознание Кузнецова, и он, не веря еще, увидел то, чего не ожидал.

— Танки на батарее!.. — опять крикнул кто-то.

Дым над степью заволок небо, задавливая, заслонил солнце, ставшее тусклым медным пятачком, везде впереди раздирался выстрелами, кипел огненными валами, словно по-адски освещенными из-под земли, полз на батарею, подступал к брустверам, и из этого кипящего месива появились неожиданно огромные тени трех танков — справа перед позицией Давлатяна. А орудие Давлатяна молчало.

«Там никого нет? Живы там?» — едва подумал Кузнецов, и следующая мысль была совершенно ясной: если танки выйдут в тыл батареи, то раздавят орудия по одному.

— По танкам справа!..— Он передохнул, захлебываясь криком, понимая, что ничего не сумеет сделать, если Давлатян сейчас не откроет огонь.— Разворачивай орудие!.. Вправо, вправо! Быстрей! Евстигнеев! Чубариков!..

Он бросился к расчету, который, наваливаясь плечами на колеса, на щит, выдыхая ругательства, изо всех сил дергал, передвигал станины: пытались развернуть орудие на сорок пять градусов вправо, тоже увидев там танки. Суетливо двигались руки, переступали, елозили, скользили валенки по грунту; промелькнули налитые напряжением чьи-то выкаченные глаза, возникло набрякшее, в каплях пота лицо Евстигнеева; упираясь ногами в бруствер, он всем телом толкал колесо орудия, а ниточка крови по-прежнему непрерывно стекала из его уха на воротник шинели. Видимо, у него была повреждена барабанная перепонка.

— Еще!..— сипел Евстигнеев.— Ну, ну! Дав-вай!

— Вправо орудие!.. Быстрей!

— Еще!.. Ну, ну!

Танки, прорвавшиеся к батарее, надвигались из красного тумана пожаров, шли на огневую Давлатяна, дым с их брони смывало движением.

— Неужто все убиты там? Чего не стреляют? — крикнул кто-то злобно.— Где они?

— Да быстрей же! Навались! Все разом!

— Еще вправо!.. Еще! — осипло повторил Евстигнеев.

Уже орудие было повернуто вправо, уже подбивались бревна под сошники, и ствол быстро пополз над бруствером, движимый механизмами, маховики которых поспешно вращал Евстигнеев; набухли желваки на его облитых потом, грязных скулах. Но сейчас, казалось, невозможно было выдержать бесконечные, как вечность, секунды наводки. В те убегавшие секунды Кузнецов слышал одну свою команду: «Огонь! Огонь! Огонь!» — и эта команда, оглушавшая его самого, толкала расчет в спины, в затылки, в плечи, в их судорожно работающие руки, которые не успевали опередить продвижение танков.

«Неужели сейчас мы все должны умереть? — возникла мысль у Кузнецова.— Танки прорвутся на батарею и

начнут давить расчеты и орудия!.. Что с Давлатяном? Почему не стреляют? Живы там?.. Нет, нет, я должен что-то сделать!.. А что такое будет смертью? Нет, нужно только думать, что меня не убьют,— и тогда меня не убьют! Я должен принять решение, что-то сделать!..»

— Доворота... доворота не хватает, товарищ лейтенант! — толкнулся в сознание вскрик Чубарикова. Он, словно плача красными слезами, тер веки пальцами и мотал головой, глядя на Кузнецова.

— Огонь! Огонь! Огонь по танкам! — выкрикнул Кузнецов и внезапно, словно что-то выпрямило его, вскочил, кинулся к мелкому, недорытому ходу сообщения.— Я туда!.. Во второй взвод! Чубариков, остаетесь за меня! Я к Давлатяну!..

Он бежал по недорытому ходу сообщения к молчавшим орудиям второго взвода, продираясь меж тесных земляных стен, еще не зная, что́ на позициях Давлатяна сделает, и что может сделать, и что сумеет сделать. Ход сообщения был ему по пояс — и перед глазами дрожала огненная сплетенность боя: выстрелы, трассы, разрывы, крутые дымы среди скопищ танков, пожар в станице. А справа, покачиваясь, три танка шли в пробитую брешь, свободно шли в так называемом «мертвом пространстве» — вне зоны действенного огня соседних батарей; они были в двухстах метрах от позиции Давлатяна, песочно-желтые, широкие, неуязвимо-опасные. Потом длинные стволы их сверкнули пламенем. Разрывы на бруствере отбросили рев моторов — и тотчас над самой головой Кузнецова спаренными трассами забили пулеметы.

И в отчаянии оттого, что теперь он не может, не имеет права вернуться назад, а бежит навстречу танкам, к своей гибели, Кузнецов, чувствуя мороз на щеках, закричал призывно и страшно:

— Давлатя-ан!.. К орудию!..— И, весь потный, черный, в измазанной глиной шинели, выбежал из кончившегося хода сообщения, упал на огневой, хрипя: — К орудию! К орудию!

То, что сразу увидел он на огневой Давлатяна и что сразу почувствовал, было ужасно. Две глубокие свежие воронки, бугры тел между станинами, среди стреляных гильз, возле брустверов; расчет лежал в неестественных, придавленных позах — меловые лица, чудилось, с наклеенной чернотой щетины уткнуты в землю, в растопырен-

ные грязные пальцы; ноги поджаты под животы, плечи съежены, словно так хотели сохранить последнее тепло жизни; от этих скрюченных тел, от этих застывших лиц исходил холодный запах смерти. Но здесь были, видимо, еще и живые. Он услышал стоны, всхлипы из ровика, однако не успел заглянуть туда.

Он смотрел за посеченное осколками колесо орудия: там под бруствером копошились двое. Медленно поднималось от земли окровавленное широкоскулое лицо наводчика Касымова с почти белыми незрячими глазами, одна рука в судороге цеплялась за колесо, впивалась черными ногтями в резину. По-видимому, Касымов пытался встать, подтянуть к орудию свое тело и не мог — его пальцы скребли по разорванной резине, срывались; но, выгибая грудь, он вновь хватался за колесо, приподымаясь, бессвязно выкрикивал:

— Уйди, сестра, уйди! Стрелять надо... Зачем меня хоронишь? Молодой я! Уйди... Живой я еще... Жить буду!

Сильное его тело было как бы переломлено в пояснице, что-то красное текло из-под бока, затянутого бинтами, а он был в той горячке раненого, в том состоянии беспамятства, которое обманчиво отдаляло его от смерти.

— Зоя!..— крикнул Кузнецов.— Где Давлатян?

Рядом с Касымовым лежала под бруствером Зоя и, удерживая его, раздирая в стороны полы ватника, спеша накладывала чистый бинт прямо на гимнастерку, промокшую на животе красными пятнами. Лицо было бледно, заострено, с темными полосками гари, губы прикушены, волосы выбились из-под шапки — чужое, лишенное легкости, некрасивое лицо с незнакомым выражением.

Услышав крик Кузнецова, она быстро вскинула глаза, полные зова о помощи, зашевелила потерявшими жизнь губами, но Кузнецов не расслышал ни звука.

— Уйди, уйди, сестра! Жить буду!..— выкрикнул в бессознании Касымов.— Зачем хоронишь? Стрелять надо!..

И оттого, что Кузнецов не услышал ее голоса, а слышал крик Касымова, метавшегося в горячке, оттого, что ни она, ни Касымов не видели, не знали, что прорвавшиеся танки идут прямо на их позицию, Кузнецов снова испытал ощущение нереальности, когда надо было сделать над собой усилие, тряхнуть головой — и он вынырнет из бредового сна в летнее, спокойное утро, с

солнцем за окном, с обоями на стене и вздохнет с облегчением оттого, что виденное им — ушедший сон.

Но это не было сном.

Он слышал над головой оглушающе-близкие выхлопы танковых моторов, и там, впереди, перед орудием, распарывал воздух такой пронзительный треск пулеметных очередей, будто стреляли с расстояния пяти метров из-за бруствера. И только он один осознавал, что эти звуки были звуками приближающейся гибели.

— Зоя, Зоя! Сюда, сюда! Заряжай! Я — к панораме, ты — заряжай! Прошу тебя!.. Зоя...

Валики прицела были жирно-скользкими, влажно прилип к надбровью резиновый наглазник панорамы, скользили в руках маховики механизмов — на всем была разбрызгана кровь Касымова, но Кузнецов лишь мельком подумал об этом — черные ниточки перекрестия сдвинулись вверх, вниз, вбок; и в резкой яркости прицела он поймал вращающуюся гусеницу, такую неправдоподобно огромную, с плотно прилипающим и сейчас же отлетающим снегом на ребрах траков, такую отчетливо близкую, такую беспощадно-неуклонную, что, казалось, затемнив все, она наползла уже на самый прицел, задевала, корябала зрачок. Горячий пот застилал глаза — и гусеница стала дрожать в прицеле, как в тумане.

— Зоя, заряжай!..

— Я не могу... Я сейчас. Я только... оттащу...

— Заряжай, я тебе говорю! Снаряд!.. Снаряд!..

И он обернулся от прицела в бессилии: она оттаскивала от колеса орудия напрягшееся тело Касымова, положила его вплотную под бруствер и тогда выпрямилась, как бы еще ничего не понимая, глядя в перекошенное нетерпением лицо Кузнецова.

— Заряжай, я тебе говорю! Слышишь ты? Снаряд, снаряд!.. Из ящика! Снаряд!..

— Да, да, лейтенант!..

Она, покачиваясь, шагнула к раскрытому ящику возле станин, цепкими пальцами выдернула снаряд и, когда неловко толкнула его в открытый казенник и затвор защелкнулся, упала на колени, зажмурилась.

А он не видел всего этого — огромная, вращающаяся чернота гусеницы лезла в прицел, копошилась в самом зрачке, высокий рев танковых моторов, давя, прижимал его к орудию, горячо и душно входил в грудь, чугунно гудела, дрожала земля. Ему чудилось, что это дрожали

колени, упершиеся в бугристую землю, может быть, дрожала рука, готовая нажать спуск, и дрожали капли пота на глазах, видевших в эту секунду то, что не могла увидеть она, зажмурясь в ожидании выстрела. Она, быть может, не видела и не хотела видеть эти прорвавшиеся танки в пятидесяти метрах от орудия.

А перекрестие прицела уже не могло поймать одну точку — неумолимое, огромное и лязгающее заслоняло весь мир.

Он нажал на спуск и не услышал танковых выстрелов в упор.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Со страшной силой Кузнецова ударило грудью обо что-то железное, и с замутненным сознанием, со звоном в голове он почему-то увидел себя под темными ветвями разросшейся около крыльца липы, по которой шумел дождь, и хотел понять, что так больно ударило его в грудь и что это так знойными волнами опалило ему волосы на затылке. Его тянуло на тошноту, но не вытаншивало — и от этого ощущения мутным отблеском прошла в сознании мысль, что он еще жив, и тогда он почувствовал, что рот наполняется соленым и теплым, и увидел, как в пелене, красные пятна на своей измазанной землей кисти, поджатой к самому лицу. «Это кровь? Моя? Я ранен?»

— Лейтенант!.. Миленький! Лейтенант!.. Что с тобой?..

Выплевывая кровь, он поднял голову, стараясь понять, что с ним.

«Почему шел дождь и я стоял под липой? — подумал он, вспоминая.— Какая липа? Где это было? В Москве? В детстве?.. Что мне померещилось?»

Он лежал грудью на открытом снарядном ящике между станинами, на два метра откинутый взрывной волной от щита орудия. Правая сторона щита разорванно торчала, с неимоверной силой исковерканная осколками. Правую часть бруствера начисто смело, углубило воронкой, коряво обуглило, а за ним в двадцати метрах было объято тихим, но набиравшим силу пожаром то лязгавшее, огромное, железное, что недавно неумолимо катилось на орудие, заслоняя весь мир.

Второй танк стоял вплотную к этому пожару, развернув влево, в сторону моста, опущенный ствол орудия;

мазутный дым длинными, извивающимися щупальцами вытекал из него на снег.

В первом танке с визжащими толчками рвались снаряды, сотрясало башню, гусеницы, скрежеща, подрагивали, и отвратительный, сладковатый запах жареного мяса, смешанный с запахом горевшего масла, распространялся в воздухе.

«Это я подбил два танка? — тупо подумал Кузнецов, задыхаясь от этого тошнотворного запаха и соображая, как все было.— Когда меня ранило? Куда меня ранило? Где Зоя? Она была рядом...»

— Зоя! — позвал он, и его опять затошнило.

— Лейтенант... миленький!

Она сидела под бруствером, обеими руками рвала, расстегивала пуговицы на груди, видимо оглушенная, с закрытыми глазами. Аккуратной белой шапки не было, волосы, забитые снегом, рассыпались по плечам, по лицу, и она ловила их зубами, прикусывала их, а зубы белели.

— Зоя! — повторил он шепотом и сделал попытку подняться, оторвать непослушное тело от снарядного ящика, от стальных головок бронебойных гранат, давивших ему в грудь, и не мог этого сделать.

Движением головы она откинула волосы, снизу вверх посмотрела на него с преодолением страдания и боли и отвернулась. Сквозь тягучий звон в ушах он не расслышал звук ее голоса, только заметил, что взгляд ее был направлен на тихо скребущую ногтями землю руку Касымова, вытянутую из-за колеса орудия.

И он увидел темный бугор неподвижного тела, ткнувшегося головой в край бруствера. Касымов уже лежал лицом вниз, ватник его был посечен осколками, кучки выброшенной разрывом земли, порохового снега чернели на его спине, валенки подвернуты носками внутрь. Но жила еще одна рука. И Кузнецов видел эти скребущие пальцы.

Глотая солоноватую влагу, заполнявшую рот, он хотел крикнуть Зое, что снаряд разорвался на бруствере, их обоих контузило, оглушило, а Касымов умирает и надо отнести его в нишу позади орудия, немедленно отнести, скорее отнести. Он не понимал, почему им нужно сделать это скорее и почему Зоя медлит, когда нельзя медлить ни секунды, потому что их двое осталось здесь...

— Зоя,— шепотом позвал он и, сплюнув кровь, отдышавшись, сполз со снарядного ящика под бруствер, взял ее двумя руками за плечи с надеждой и бессилием.— Зоя! Тебя оглушило? Зоя, слышишь? Ты ранена?.. Зоя!..

Ее плечи не сопротивлялись под его руками, сопротивлялись ее глаза, ее сомкнутые губы под прядями волос; она вдруг обратной стороной рукавицы вытерла ему подбородок, и он различил кровь на этой рукавице.

— Это ерунда... меня оглушило, ударило о ящик! — крикнул он ей в лицо.— Зоя, посмотри, что с Касымовым! Слышишь? Быстро! Мне — к орудию!.. Кажется, Касымова...

Он с трудом встал, шатаясь от мутного головокружения, и шагнул к станинам, готовый броситься к ящику со снарядами, к прицелу, но тут увидел, как Зоя вдоль бруствера поползла к колесу орудия, и дошел ее голос:

— Лейтенант, миленький, помоги!..

Они вдвоем оттащили Касымова в нишу для снарядов, и Зоя, стоя на коленях, наклонясь, стала ощупывать руками его иссеченную на груди телогрейку, грязные повязки на животе, набухшие бурой влагой, разорванные осколками.

Опустив руки, наконец выпрямила спину, глядя на Касымова все понявшими глазами. И Кузнецов понял: Касымов был убит осколками в грудь, видимо, в тот момент, когда он еще хотел подняться, когда последний снаряд разорвался на бруствере...

Сейчас под головой Касымова лежал снарядный ящик, и юношеское, безусое лицо его, недавно живое, смуглое, ставшее мертвенно-белым, истонченным жуткой красотой смерти, удивленно смотрело влажно-вишневыми полуоткрытыми глазами на свою грудь, на разорванную в клочья, иссеченную телогрейку, точно и после смерти не постиг, как же это убило его и почему он так и не смог встать к прицелу. В этом невидящем прищуре Касымова было тихое любопытство к непрожитой своей жизни на этой земле и вместе спокойная тайна смерти, в которую его опрокинула раскаленная боль осколков, ударившая ему в грудь в тот самый момент, когда он пытался подняться к прицелу.

«Природа у нас хороший»,— вспомнил Кузнецов и в дохнувшем ледяном запахе смерти испытал какое-то необъяснимое чувство неподчиненности самому себе. Мысль

о том, что его тоже могло сейчас убить и он потерял бы способность двигаться, а только лежал бы в беспомощности, в неподвижности, ничего не видя, ничего не слыша уже, вызывала в нем ненависть к возможному этому бессилию. И вид двух горящих танков за бруствером, перекрещенные по всей степи косяки огня, сплошная, подвижная, кипящая масса дыма, где возникали и пропадали скорпионно-желтые бока танков перед балкой, горячие толчки накаленного воздуха, которые он чувствовал лицом, гром боя в заложенных ушах — все разжигало в нем не подчиненную разуму неистовую злость, одержимость разрушения, нетерпеливую, отчаянную, похожую на бред, незнакомую ему раньше.

«Стрелять, стрелять! Я могу стрелять! В этот дым, по танкам. В эти кресты! В эту степь! Только бы орудие было цело, только бы прицел не задет...» — кружилось в его голове, когда он, как пьяный, встал и шагнул к орудию. Он осмотрел, поспешно ощупал панораму, заранее боясь найти на ней следы повреждения, и то, что она была цела, нигде не задета осколками, заставило его бешено заторопиться: его руки задрожали от нетерпения.

Он скомандовал без голоса: «Снаряд, снаряд!» — и, зарядив, так вожделенно, так жадно припал к прицелу и так впился пальцами в маховики поворотного и подъемного механизма, что слился с поползшим в хаос дыма стволом орудия, которое по-живому послушно было ему и по-живому послушно и родственно понимало его.

— Огонь!..

«Я с ума схожу»,— подумал Кузнецов, ощутив эту ненависть к возможной смерти, эту слитость с орудием, эту лихорадку бредового бешенства и лишь краем сознания понимая, что он делает.

Его глаза с нетерпением ловили в перекрестии черные разводы дыма, встречные всплески огня, желтые бока танков, железными стадами ползущих вправо и влево перед балкой. Его вздрагивающие руки бросали снаряды в дымящееся горло казенника, пальцы нервной, спешащей ощупью надавливали на спуск. Резиновый, влажный от пота наглазник панорамы бил в надбровье, и он не успевал поймать каждую бронебойную трассу, вонзавшуюся в дым, в движение огненных смерчей и танков, не мог твердо уловить попадания. Но он уже не в силах был подумать, рассчитать, остановиться и, стре-

ляя, уверял себя, что хоть один бронебойный найдет цель. В то же время он готов был засмеяться, как от счастья, когда, бросаясь к казеннику и заряжая, видел ящики со снарядами, радуясь тому, что их хватит надолго.

— Сволочи! Сволочи! Ненавижу! — кричал он сквозь грохот орудия.

В какой-то промежуток между выстрелами, вскочив от панорамы, он в упор наткнулся на останавливающие его, схватившие его взгляд глаза Зои, широкие, изумленные на незнакомо подсеченном лице. И он даже не понял в первую секунду, зачем она здесь, зачем она сейчас с ним.

— Ты что? Уходи в землянку! Слышишь? Немедленно! Приказываю!..— И он выругался внезапно, как не ругался никогда в ее присутствии.— Уходи, я говорю!

— Я помогу... Я с тобой, лейтенант...

Она придвигалась к нему на коленях, она пристально смотрела, не узнавая его, всегда сдержанного, городского лейтенанта, а обе руки ее держали снаряд, прижав к груди. И она насильно усмехнулась.

— Не надо... Не надо тебе ругаться, лейтенант!

— Уходи в землянку! Тебе нечего здесь делать! Уходи, говорю!

А она все смотрела на него удивленно, и ее взгляд, ее лицо, ее голос отбирали у него часть злобы, часть ненависти, такой необходимой, такой понятой им, нужной ему, чтобы чувствовать свою разрушительную силу, которую он никогда в жизни столь сильно не ощущал.

— В землянку!.. Слышишь? — крикнул Кузнецов.— Я не хочу видеть, как тебя убьют!

И опять в чудовищно приближенном к глазу калейдоскопе ринулись в перекрестие прицела сгущенные дымы, пылающие костры машин, тупые лбы танков в разодранных разрывами прорехах... Но когда он нажал ручной спуск, посылая снаряд туда, в это видимое им движение неостановленных танков, резкий блеск молнии сплошь рассек небо, полыхнул в прицел вместе с бьющим жаром сгоревшего тола. Ударом сбоку Кузнецова отбросило от панорамы, прижало к земле, комья земли обрушились на спину. А когда он уже лежал, в голове мелькнула злорадно-счастливая мысль, что и сейчас его не убило, и другая мысль — вспышкой в мозгу:

— Зоя! В ровик! В ровик!

И он поднялся, чтобы увидеть, где она, но его ослепило вторично разорвавшейся молнией.

Зоя упала около него на бок, цепко, двумя руками схватила за борта шинели, дыша в потное его лицо, прижимаясь к нему так тесно и плотно, что он почувствовал боль и увидел ее прижмуренные глаза, ее веки, черные, в какой-то траурной гари, ищущее защиты ее тело замерло, вжавшись в его тело.

— Только бы не в живот, не в грудь. Я не боюсь... если сразу. Только бы не это!..

А он едва слышал, что говорит она, губами почти касаясь его губ, слабо улавливая этот заклинающий шепот под вращающимися жерновами грохота. При каждом разрыве ее тело вдавливалось еще плотнее в его тело — и тогда он, стиснув зубы, обнял ее с инстинктивной последней защитой перед равной судьбой, соединившей их, простившей все, с последней помощью, как взрослый ребенка, притиснул ее голову к своей потной шее. И так, накрепко обняв, ждал крайней секунды, чувствуя, как взрывной волной кидало ему в лицо Зоины волосы, удушая горячим запахом сгоравшего тола, и перед этим обрывом секунды, ощущая ее грудь, ее круглые колени, ее холодные губы на своей шее, он с ужасом думал, как внезапно обмякнет в руках Зоино тело от удара осколка в спину. «Сюда, к колесу орудия... прижать ее спиной к колесу! Оно защитит от осколка, если...»

И он хотел пошевелиться, придвинуть ее к колесу орудия, но тут поплыл в ушах звон, вползая из грохота; прижавшая их к орудию молниями рвущаяся грозовая туча уходила за бруствер, оседала за огневой. И хотя разогретый толом воздух, земля с гулом колыхались, потрясаемые боем, звенящая и острая щелочка тишины свежим воздухом прорезала огневую, вошла в эту сжатую тесноту между их телами.

Это была не тишина, а облегчение. Зоя откинула голову, открыла поразившие его своей темной глубиной глаза в черных, очерненных гарью ресницах. Затем медленно высвободилась из его рук, прислонилась спиной к станине орудия.

И так же медленно, одергивая полушубок на коленях, темных от налипшей глины, тыльной стороной грязных пальцев откинула волосы, которые секунду назад бросало разрывами ему в лицо. Он еле выговорил:

— Все...

— Лейтенант, лейтенант,— прошептала она между мелким вдохом и выдохом.— Ты, наверное, обо мне не так подумал... Послушай... Если меня ранят в грудь или в живот, вот сюда,— она показала рукой на офицерский ремень, так стягивающий талию, что Кузнецову показалось, ее можно было измерить двумя ладонями,— то я прошу тебя, если сама не смогу... вот здесь, в сумке, немецкий «вальтер». Мне подарили его давно. Ты понимаешь? Если сюда... не нужно делать перевязку...

А он, еще мгновение назад в страхе представляя, как осколок в спину мог ранить, убить ее, молчал, не понимая, зачем она так откровенно говорит ему о том неестественном, что могло случиться и не случилось. Ее пугала рана в грудь или в живот, она боялась слабости, унижения, стыда перед смертью, боялась, что на нее будут смотреть, трогать руками обнаженное тело, накладывать бинты мужские руки.

— Ясно,— шепотом проговорил Кузнецов.— О чем ты меня просишь? Ты ошиблась: я не похоронная команда! Кто приказал тебе быть возле орудия? Ты не должна находиться здесь! Бой еще не кончился, а ты...

Он не успел договорить: обманчивая щелочка минутной тишины взорвалась за бруствером — разрывы черно́ встали левее орудия. Кузнецов подполз на коленях к панораме, расплавленной иглой толкнулся в зрачок огонь выстрела, казалось в центр перекрестия прицела, и Зоя, ее волосы на щеке, ее «вальтер», ее странная просьба — все исчезло, сразу вытеснилось из его головы, и мир опять стал предельно реальным, жестоким, без доброты, без надежды на доброту, без сомнений.

«Самоходка,— думал он, хватаясь за маховики,— стреляла где-то рядом... Нащупать бы ее... Где она?»

Но, вращая маховики, он почувствовал тупое сопротивление механизма, какое-то несоответствие между прицелом и стволом орудия и оторвался от наглазника панорамы. Ствол орудия всей массой сползал назад. Коричневая жидкость из накатного устройства пульсирующей струей выбрызгивалась на исковерканный щит, на раскаленный ствол орудия.

— Сволочь!.. Это самоходка из укрытия! Как назло!..— крикнул Кузнецов, готовый заплакать в бессилии,

и ударил кулаком по сползавшему казеннику: накатник был пробит осколком.

Два танка горели перед орудием, спаренный бойкий огонь облизывал их башни; справа, на самом краю балки, вываливал боковой дым из третьего танка. И из-за этого жирного чада выскакивало треугольное пламя выстрелов, влево по фронту батареи — туда, где стояли орудия Чубарикова и Уханова. Прикрываясь дымовой завесой, самоходка стреляла сбоку по орудиям с расстояния двухсот метров.

Там, дальше, в полутора километрах слева, на подступах к переправе, танки подымались из балки, переваливаясь в дыму, шли мимо неохотно горевших, как мокрые стога, машин, и соседние батареи в районе моста, и два орудия его взвода, и противотанковые ружья из пехотных траншей вели одновременный огонь: трассы бронебойных снарядов, разрывы тяжелых гаубиц, фосфорические росчерки танковых болванок, огненные струи игравших с того берега «катюш» слились, скрестились над переправой, смешались там.

А самоходка, в укрытии за танком, выбирая цели, спокойно и методично била сбоку, во фланг, и Кузнецов видел это.

— Лейтенант!..— услышал он крик Зои.— Что ты стоишь? Видишь?..

Но Кузнецов ничего не мог сделать теперь.

Самоходка била беглым огнем по орудию Чубарикова. Орудие перестало стрелять, исчезло в багрово взлетающей мгле, а на эти взлеты мглы надвигался, шел, скоростью сбрасывая с брони низкие языки пламени, вырвавшийся откуда-то слева танк. Он, по-видимому, был зажжен бронебойным снарядом Чубарикова до того момента, пока самоходка не засекла и не накрыла позицию. И сейчас у орудия, как забором окруженного разрывами, никто не видел его. А танк, все увеличивая скорость, все сильнее охватываемый широко мотающимся по броне огнем, тараном вонзился, вошел в эту тьму, сомкнувшую орудие, стал поворачиваться вправо и влево на одном месте, как бы уминая, уравнивая что-то своей многотонной тяжестью. Затем взрыв сдвинул воздух. Черный гриб дыма вместе с огнем вырвался из башни, и танк замер, косо встав на раздавленном орудии. Во вспыхнувший костер сбоку вонзались одна за другой трассы, мелькая вдоль фронта батареи,— это

вело огонь по танку орудие Уханова, стоявшее крайним.

Кузнецов был потрясен, подавлен бешеным тараном горящего танка, и его сознание уже не воспринимало ничего, кроме отчетливо-пронзительной ясности, что немцы атакуют насмерть на левом фланге, во что бы то ни стало пытаясь прорваться к берегу, к мосту, что расчет Чубарикова погиб, раздавленный,— ни один человек не отбежал от огневой — и что там, слева, осталось единственное орудие из батареи — Уханова.

— Зоя... приказываю — в землянку! Уходи отсюда, слышишь? Я туда, к Уханову! — прохрипел Кузнецов и в ту же минуту увидел: Зоя, прикусив вспухшие губы, отбросив санитарную сумку на бедро, боком пошла, потом кинулась к недорытому ходу сообщения, соединяющему орудия.

— Мне к Чубарикову, к Чубарикову! Может быть, кто еще жив! Не верю, что все...— И она, мотнув волосами, канула в ходе сообщения, не расслышав приказа Кузнецова.

И он в отчаянии выбежал из огневой площадки, оглядываясь на горящие по краю балки танки, на шевелившуюся за ними самоходку, против которой был бессилен.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Сто-ой! Куда? Назад, Кузнецов!

К орудию по высоте берега скачками бежал Дроздовский; густо осыпанные снегом валенки его летели меж сугробов; на белом лице зиял раскрытый криком рот:

— Наза-ад!..

За ним, прыгая через воронки, бежали ездовые Рубин и Сергуненков; оба они с суетливой торопливостью озирались на горящие перед батареей танки, на пожар в станице, и Сергуненков то и дело нырял к земле при близких разрывах на берегу.

— Куда?.. Назад! Назад, Кузнецов! Драпать? Орудие бросил? — накаленно взвился крик Дроздовского.— Почему прекратили огонь? Отходить? Сто-ой!

Вскидывая пистолет над головой, Дроздовский подбежал, глаза с мутным, безумным блеском, ноздри раздувались, злая бледность разительно выделяла его щетинку, отросшую на щеках за эти сутки.

— К орудию! — скомандовал Дроздовский, и левая его рука клещами вцепилась в плечо Кузнецова, рванула его к себе.— Ни шагу назад!.. Поч-чему бросил орудие? Ку-уда?

— Ты — ослеп?..— Кузнецов с силой стряхнул руку Дроздовского с плеча, быстро взглянул на пистолет, подрагивающий в его правой руке, выговорил: — Спрячь пистолет! Спятил? Посмотри туда! — и указал в сторону орудия Чубарикова, где на огневой позиции, разбрасывая снопы искр, пылал прорвавшийся танк.— Не видишь, что там?..

Блеснувшим веером низкая очередь прошла по сугробам: из самоходки, укрывшейся за подбитыми танками, заметили, видимо, людей на бугре, оттуда забил по берегу прицельным огнем ручной пулемет.

— Не стоять!.. Ложись! — предупредил Кузнецов, не ложась, однако, сам, и с удовлетворенной мстительностью увидел, как Дроздовский пригнулся, а ездовой Рубин, оборотив грубое свое лицо в сторону пулемета, грузно присел на крепких коротких ногах; худенький же, длинношеий Сергуненков по этой команде бросился под сугроб и по-пластунски пополз к огневой позиции, под укрытие бруствера, загребая карабином снег.

— Что ползаешь, как щенок? — выругался Дроздовский и, выпрямясь, ударил его ногой по валенку.— Встать! Все к орудию! Стрелять!.. Где Зоя? Где санинструктор?

И, сделав шаг к орудию, снова рванул за плечо Кузнецова, недоверчиво впился прозрачными, показалось даже, белыми глазами в его лицо.

— Куда послал? Здесь она только что была!

— Побегла она,— откашливался густо Рубин.— Черти унесли!..

— К орудию, Кузнецов! Стрелять!..

Они вбежали на огневую, оба упали на колени у орудия с пробитым накатником и щитом, с уродливо отползшим назад, разверстым черной пастью казенником, и Кузнецов выговорил в порыве неостывающей злости:

— Теперь смотри! Как стрелять? Видишь накатник? А самоходка из-за танков бьет! Все понятно? Зоя пошла к Чубарикову! Может, там остался кто...

С поспешностью вталкивая пистолет в кобуру — длинные ресницы трепетали от возбуждения,— Дроздовский громко спросил:

— Кто стрелял по танкам? Где Касымов?
— Убит. Там, в нише. И трое из расчета.
— Ты стрелял по танкам? Ты подбил?
— Может быть...

Кузнецов отвечал и видел Дроздовского будто через холодное толстое стекло, с ощущением невозможности это преодолеть.

— Если бы не самоходка... Укрылась в дыму за подбитыми танками. Бьет по Уханову с фланга... Надо к Уханову, ему плохо видно ее! Здесь нам нечего делать!

— Подожди? Что в панику бросился?

Упираясь локтем, Дроздовский быстро выглянул из-за изрытого, раскромсанного снарядами бруствера с вколотыми в обожженную землю отполированными осколками — и опять, прорезая звуки боя, пулеметные очереди прозвенели над огневой.

Синие искры разрывных просверкали позади орудия в гребнях сугробов. Дроздовский, садясь под бруствер, обводил поле боя сощуренными, торопящими глазами, все лицо его мигом сузилось, подобралось, спросил прерывисто:

— Где гранаты? Где противотанковые гранаты? На каждое орудие было выдано по три гранаты! Где они, Кузнецов?

— На кой черт сейчас гранаты! Самоходка в ста пятидесяти метрах отсюда — достанешь ее? Пулемет тоже не видишь?

— А ты что думал, так ждать будем? Быстро гранаты сюда! Сюда их!.. На войне везде пулеметы, Кузнецов!..

На бескровном, обезображенном судорогой нетерпения лице Дроздовского появилось выражение действия, готовности на все, и голос его стал до пронзительности звенящим:

— Сергуненков, гранаты сюда!
— Вот, в нише они. Товарищ лейтенант...
— Гранаты сюда!..

И когда ездовой Сергуненков отполз к ровику, вынул там из ниши две облепленные землей противотанковые гранаты и, тут же полой шинели очистив их, протерев, положил эти две гранаты перед Дроздовским, тот скомандовал, привставая над бруствером:

— Ну!.. Сергуненков! Тебе это сделать! Или грудь в крестах, или... Понял меня, Сергуненков?..

Сергуненков, подняв голову, смотрел на Дроздовского немигающим, остановленным взглядом, потом спросил неверяще:

— Как мне... товарищ лейтенант? За танками стоит. Мне... туда?..

— Ползком вперед — и две гранаты под гусеницы! Уничтожить самоходку! Две гранаты — и конец гадине!..

Дроздовский говорил это непререкаемо; вздрагивающими руками он неожиданно резким движением поднял с земли гранаты, подал их Сергуненкову, а тот машинально подставил ладони и, беря гранаты, едва не выронил их, как раскаленные утюги.

Он, видимо, еще ни разу в жизни не брился, на юношеских щеках, над верхней пухлой губой золотился пушок, показавшийся тогда темным, колючим от меловой бледности, и Кузнецов особенно близко увидел нездешнюю голубизну его глаз, мальчишески нежный подбородок, тонкую и тоже нежную, вытянутую из просторного воротника шею. Затем услышал шепот его:

— За танками ведь она, товарищ лейтенант... Далеко стоит...

— Взять гранаты!.. Не медлить!

— Понял я...

Сергуненков искательно-слепыми тычками засовывал гранаты за пазуху, а эта ясная голубизна глаз его скользила по решительному, изменившемуся лицу Дроздовского, по лицу Кузнецова, по круглой, равнодушной спине Рубина, который, полулежа между станинами, тяжко сопел, с замкнутой сосредоточенностью уставясь в бруствер.

— Слушай, комбат! — не выдержал Кузнецов.— Ты что — не видишь? Сто метров по открытому ползти надо! Не понимаешь это?..

— А ты думал как?! — произнес тем же звенящим голосом Дроздовский и стукнул кулаком по своему колену.— Будем сидеть? Сложа руки!.. А они нас давить? — И обернулся круто и властно к Сергуненкову: — Задача ясна? Ползком и перебежками к самоходке! Вперед! — ударила выстрелом команда Дроздовского.— Вперед!..

То, что происходило сейчас, казалось Кузнецову не только безвыходным отчаянием, но чудовищным, нелепым, без надежды шагом, и его должен был сделать Сергуненков по этому приказанию «вперед», которое в силу железных законов, вступавших в действие во время боя,

никто — ни Сергуненков, ни Кузнецов — не имел права не выполнить или отменить, и он почему-то внезапно подумал: «Вот если бы целое орудие и один бы лишь снаряд — и ничего бы не было, да, ничего бы не было».

— Сергуненков, слушай... только ползком, прижимаясь к земле... Вот там много кустиков, в ложбинке, вправо ползи. В полосу дыма, слышишь? Осторожней только. Головы не подымать!..

Кузнецов подполз к Сергуненкову, полуприказывая, сдерживающе сжимая его локоть, глядел ему в зрачки, утонувшие в светло-небесной глубине и не воспринимающие ничего. А Сергуненков кивал, улыбаясь слабой, согласной, застывшей улыбкой, и неизвестно зачем все похлопывал рукавицами по оттопыренной гранатами шинели на груди, как будто гранаты жгли ему грудь и он хотел охладить это жжение.

— Товарищ лейтенант, вас очень прошу,— прошептал он одними губами,— ежели со мной что... мамаше сообщите: без вести, мол, я... У ней боле никого...

— Из головы выкинь! — крикнул Кузнецов.— Слышишь, Сергуненков? Только ползком, ползком! В снег зарывайся!

— Давай, Сергуненков! — Дроздовский махнул рукой от бруствера.— Не медлить! Вперед!..

— Готов я, товарищ комбат, сейчас я...

Сергуненков облизнул пересыхающие губы, заглотнул воздух, осторожно зачем-то ощупал гранаты под шинелью и выполз на бруствер, осыпая валенками на огневую обугленную недавними разрывами землю. Вытянувшись на бруствере, словно забыв у орудия что-то, оглянулся из-за плеча, отыскал своими нездешними глазами поднятое к нему замершее в угрюмой неподвижности лицо Рубина, с усмешкой сказал очень просто и даже спокойно:

— А ежели ты, Рубин, коней мучить будешь, на том свете найду. Прощайте пока...

Кузнецов прижался грудью к брустверу. Сергуненков прополз метров пять в сторону кустиков в черные созвездия воронок впереди орудия, зарываясь в снег, перемешанный с выброшенной разрывами землей. Видно было, как двигалось его извивающееся худенькое тело среди оголенных кустиков, наполовину срезанных осколками, — и все в Кузнецове ждало опережающего сверкания пулеметных очередей, пущенных по Сергуненкову

из-за танков. Самоходка вела огонь вправо, в направлении моста, в сторону орудия Уханова, где темно и багрово буйствовало пламя, обволакивая атакующие танки, и тот, кто стрелял из пулемета, не видел сейчас Сергуненкова. А он полз меж воронок и кустиков, исчезал за сугробами, нырял и выныривал, расталкивая локтями, головой снег, и уже заметно сокращалось расстояние между ним и двумя дымившими громадами танков, за которыми стояла самоходка.

«Поскорее бы войти ему в полосу дыма,— думал с надеждой Кузнецов, лежа стучащим сердцем на бруствере, отсчитывая метры пространства до невидимой за танками самоходки,— поскорее бы в дым...»

— Что медлит? Бегом! Броском! — обрывисто говорил Дроздовский, хватая обтянутыми перчаткой пальцами зачерствевшие комья земли, кроша их на бруствере, в ожидании этого последнего броска к самоходке.

— Ка-акой «бегом»! Сердце небось зашлось, как у воробья,— выцедил ездовой Рубин, и слова его расплылись, увязли в горячем тумане.

— Замолчите, Рубин! Слышите?

И Кузнецов почти с ненавистью увидел сбоку ждущий трепет длинных ресниц Дроздовского и рядом с ним тяжелый профиль Рубина, плашмя легшего своим широким телом на бруствер, так что вся толстая, бурая его шея ушла в воротник, вспомнил его попытку пристрелить сломавшую ногу лошадь тогда на марше и, вспомнив, увидел еще, как Рубин в ожесточении сплюнул через бруствер; маленькие сверлящие его глаза, обращенные к Дроздовскому, стали мрачны, нелюдимы.

— Мне б приказ отдали, товарищ лейтенант. Все одно мне. За жизню не держусь! Мне, вишь ты, некого вспоминать... По мне никто не заплачет!

И опять слова его сгорели, увязли в горячем тумане.

А Кузнецов наблюдал, уже ничего не слыша, за пространством перед горевшими танками, за этой самоходкой позади них. Серый извивающийся червячок полз все медленнее, все осторожнее и потом затих, плоско приник к земле в десяти метрах от танков. Было не очень ясно видно, что делал там Сергуненков; затем показалось: он чуть приподнялся, глядя снизу, с земли, на самоходку, а одно плечо его задвигалось, и задвигалась рука; заторопившись, она дергала, вырывала из-за пазухи гранату.

Но издали это, вероятно, представлялось только воображением, и Кузнецов не поймал зрением тот момент, когда он выдернул чеку и бросил первую гранату.

В общем грохоте боя граната треснула со слабым, задавленным звуком расколотого грецкого ореха. Оранжевый грязный клубок оттолкнулся от земли, впитался нависшим чадом танков, откуда по-прежнему стреляла самоходка в сторону моста.

— Мимо!..— выдохнул Рубин и опять сплюнул через бруствер, кулаком вытер губы, а красные веки его сошлись в щелки.

— Что он? Что? Что медлит?..— Пальцы Дроздовского все давили комья земли, все искали какой-то опоры в бруствере.— Вперед, к самоходке... Вторую бросай!..

Самоходка перестала стрелять. Потом из-за дымивших танков прояснилось прямоугольное и широкое, выдвигаясь, тяжело повернулось в жирном чаду. И сейчас же серый червячок прополз несколько метров вперед меж чернеющих впадин воронок, тотчас сжался на снегу в пружинку, весь подобрался — и в следующий миг ничтожно маленькая серая фигурка вскочила с земли и, взмахнув рукой, бросилась, не пригибаясь, к неуклюжему и громоздкому шевелению в дыму, возникшему за подбитыми танками.

В ту же секунду короткие молнии вылетели навстречу, стремительно и косо сверкнули, остановив эту фигурку, на бегу вытянутую вперед, с поднятой рукой, и фигурка споткнулась, круто запрокинув голову, упираясь грудью в раскаленные копья молний, и исчезла, соединилась с землей...

Граната клочковатым облачком лопнула около неподвижного серого бугорка на снегу. Дым снесло в сторону. И вновь ручной пулемет заработал сверху; и долгими очередями разрывных Сергуненкова, уже, вероятно, мертвого, подталкивало, передвигало по земле; и видно было: задымилась шинель на его спине.

— Эх, малец, малец, ядрена мать! На рожон попер!.. Убило, а?

Кузнецов, глотая спазму, не мог выговорить ни слова, с судорожной неистовостью рвал крючок на воротнике шинели, чтобы освободиться от жаркой тесноты. «Кто это сказал — убило? Рубин, кажется?» Кузнецов не знал, что сейчас сделает, не совсем еще поверив, но увидев эту чудовищно-обнаженную смерть Сергуненкова возле

самоходки. Он, задыхаясь, взглянул на Дроздовского, на его болезненно искривленный рот, еле выдавливавший: «Не выдержал, не смог, зачем он встал?..» — и дрожа, как в ознобе, проговорил ссохшимся, чужим голосом, поражаясь тому, что говорит:

— Не смог? Значит, ты сможешь, комбат? Там, в нише, еще одна граната, слышишь? Последняя. На твоем месте я бы взял гранату — и к самоходке. Сергуненков не смог, ты сможешь! Слышишь?..

«Он послал Сергуненкова, имея право приказывать... А я был свидетелем — и на всю жизнь прокляну себя за это!..» — мелькнуло туманно и отдаленно в голове Кузнецова, не до конца осознающего то, что говорит; он уже не понимал меру разумности своих действий.

— Что? Что ты сказал? — Дроздовский схватился одной рукой за щит орудия, другой за бровку окопа и стал подыматься, вскинув белое, без кровинки лицо с раздувающимися тонкими ноздрями.— Я что, хотел его смерти? — Голос Дроздовского сорвался на визг, и в нем зазвучали слезы.— Зачем он встал?.. Ты видел, как он встал?..

В тот миг, глядя в глаза Дроздовского, растерянные, ошеломленные, Кузнецов словно оглох и не слышал ни выстрелов батареи, ни низкого гудения атакующих слева танков, ни разрывов на берегу, лишь не выходили из памяти задымившаяся шинель на Сергуненкове, его тело, мешком переворачиваемое на снегу пулеметными очередями: то, что произошло с Сергуненковым, не было похоже на смерть Касымова, даже на гибель расчета Чубарикова, раздавленного танком у орудия.

— Видеть тебя не могу, Дроздовский!..

Как в горячей темноте, Кузнецов двинулся к ходу сообщения, пошел в ту сторону, где должно было стоять крайним слева орудие Уханова; его била нервная дрожь, и он шел, опираясь на края брустверов, потом побежал, заглатывая морозный воздух, и появилась толкающая его всего безумная и спасительная отрешенность.

Он не определял для себя, что с ним произошло. Но после того как он снова, как тогда, когда стрелял по танкам, ощутил в себе неудержимую злость, ненависть боя, он вроде бы осознал особую и единственную ценность своей жизни, значительность которой теперь даже не тайно от других мог бы взвесить с надеждой на случайное и счастливое везение. Он потерял чувство обостренной опасности и инстинктивного страха перед танками,

перед всем этим стреляющим и убивающим миром, как будто судьбой была неосторожно дана ему вечная жизнь и вечная ненависть в этой страшной степи...

Когда он выбежал из полузаваленного хода сообщения и выскочил на огневую позицию Уханова, орудие бегло стреляло, откатываясь и выбрасывая из казенника гильзы, люди сновали, ползали вокруг станин, и, не разобрав в дыму лиц расчета, Кузнецов упал на бруствер, затрудненно дыша:

— Уханов! Все живы?..

Со звоном и паром выскакивали стреляные гильзы меж станин.

— Лейтенант! Снаряды!.. Пять штук бронебойных осталось!.. Где снаряды? Снаряды, лейтенант!..

Это кричал Уханов, но, слыша его голос, Кузнецов едва узнал командира орудия. Уханов, в одном ватнике, лежал на бруствере, смотрел на него; сощуренные глаза горели на черном, потном лице, ватник расстегнут на груди, раздернут ворот гимнастерки; на грязной шее веревкой надулась жила от крика; на веках и на бровях — лохмотья толовой гари.

— Снаряды, лейтенант! Снаряды, мать их так!.. Танки обходят! Снаряды!..

Он не спросил у Кузнецова, как у тех орудий, живы ли там: видно, догадывался, представлял случившееся на батарее, потому что несколько минут назад, стреляя по танкам, прорвавшимся к тем орудиям, сам видел все и потому кричал только о снарядах, без которых и он и люди с ним были беспомощны.

— Слушай, Уханов! Весь расчет... весь расчет за снарядами! К тем орудиям... там остались. Все снаряды сюда! Все до одного! Рад, что ты жив, Уханов!..

— Пуля для меня еще не отлита! — И Уханов, приподнявшись на бруствере, на секунду опять глянул острыми зрачками в глаза Кузнецова, жила на шее, исполосованной струйками пота, набрякла туже.— Значит, там... все? Мы одни остались, лейтенант?

— За снарядами, я сказал! Всех живых за снарядами!..

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

К концу дня по неослабевающему упорству и накалу боя, по донесениям, поступавшим из корпусов и дивизий, со всей очевидностью стало ясно, что главный танковый

удар немцев направлен в стык бессоновской армии с правым соседом, не выдерживающим натиска, и в полосе правофланговой дивизии полковника Деева к исходу дня положение складывалось тяжелое. В полдень, после беспрерывных атак, немцы захватили южнобережную часть станицы, и здесь танки пытались форсировать реку в двух местах с целью выйти на северный берег Мышковой, двумя клиньями врезаться в глубину, расчленить и окружить наши войска, обороняющиеся на этом рубеже.

Бессонов сидел в жарко натопленном блиндаже НП армии, глядя на карту, разложенную на столе, и выслушивал по телефону очередной доклад генерала Яценко, когда вошел явно взволнованный член Военного совета Веснин, шагнул длинными ногами через порог; лицо покрыто красными пятнами, глаз не видно — в стеклах очков отсвет заката, багровевшего за оконцем блиндажа. Веснин быстро снял перчатки, раздумчиво пожевал губу, подошел к железной печи.

«Странное дело, в нем есть что-то мальчишеское...— подумал Бессонов и, почти поняв то, что Веснин готов был сказать, прервал разговор с Яценко.— С чем он приехал на энпэ?»

— Я вас слушаю, Виталий Исаевич.

— Танки прорвались на северный берег, Петр Александрович! Захватили несколько улиц в северобережной части станицы. Это хорошо видно с энпэ Деева. Бой начался на этой стороне,— стоя около печки, сказал Веснин.— Собственно, юго-западнее нас, километрах в десяти. Деев решил контратаковать, ввел в дело отдельный танковый полк Хохлова. Но пока никаких положительных результатов...

— Как только танковый и механизированный корпуса прибудут в район сосредоточения, немедленно жду сообщения, Семен Иванович.— Бессонов опустил трубку на аппарат и добавил: — Представитель Ставки встревожен положением у нас. Кроме танкового, нам придан еще и механизированный корпус. Из резерва Ставки.

— Есть о чем встревожиться,— сказал Веснин.— Положение в высшей степени... Жмут с бешеной силой.

Веснин потер руки, подергал сутуловатыми плечами, побил ногу о ногу; верно, не согревшись в машине, он так оттаивал в тепле после морозного ветра на НП дивизии Деева, где пробыл часа два.

— Значит, прорвались на северный берег? — повторил Бессонов.

В соседней половине блиндажа гудели голоса операторов, бесперебойно зуммерили телефоны — все еще было, казалось, по-прежнему, а в этом маленьком отсеке НП стало мгновенно тихо. Пышноусый старшина-связист с осторожностью покрутил ручку аппарата, давая отбой после разговора командующего со штабом армии. Радист, подававший в эфир позывные правофлангового корпуса, кашлянул и перешел на шепот; майор Божичко, рассеянно протиравший тряпочкой кассету ТТ, устроясь в углу на топчане, оценивающим взором взглянул на Веснина, на Бессонова, вщелкнул до блеска отполированный магазин с патронами в рукоятку пистолета, вбросил ТТ в кобуру. Энергично застегнул ее, всем своим видом показывая Бессонову: готов к выполнению приказаний. Но Бессонов не обратил внимания на Божичко, непроницаемо молчал.

— Совсем ясно,— проговорил он наконец, не отводя усталых глаз от покрытого пятнами лица Веснина. Затем спросил: — Хотите сказать, Виталий Исаевич, что Деев не очень рассчитывает на успешную контратаку Хохлова? Полагаю, об этом был разговор с Деевым?

— Пожалуй, и об этом, Петр Александрович,— ответил, чуть улыбнувшись, Веснин, дуя в ладони, шевеля пальцами перед вытянутыми губами; веселость его была, несомненно, наигранной, но стало понятно и другое: полковник Деев был более доверителен и откровенен с Весниным, чем с ним, Бессоновым, опасаясь выявлять тревогу перед новым командующим, и высказал ее Веснину.

— Пока вы были на энпэ, Виталий Исаевич,— сказал скрипучим голосом Бессонов,— из штаба фронта сообщили, что немецкая авиация участила полеты в окруженную группировку, сбрасывает боеприпасы. Похоже, что активно готовятся к прорыву навстречу Манштейну. Что думаете по этому поводу, Виталий Исаевич?

— Наверно, все будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства здесь,— сказал Веснин.— От переднего края нашей обороны до Сталинграда сорок километров. Один переход в случае прорыва.

— Для подвижных соединений,— уточнил Бессонов.— Если они войдут в прорыв. В этом случае — да.

— Разрешите войти, товарищ командующий?

Плащ-палатка, закрывавшая вход в соседнюю половину, отдернулась, там горели аккумуляторные лампочки — и из этого яркого света, ударившего в проем, вошел заместитель начальника оперативного отдела Гладилин, серьезный, лет сорока майор; белый, высокий лоб его был потен. В то время как Гладилина по-человечески порывало сказать с тревогой: «Танки противника уже в станице, товарищ командующий!» — он заговорил с подчеркнутой штабной выдержанностью опытного человека, отлично понимавшего, кому и что докладывает:

— Товарищ командующий... из только что полученных устных донесений семьдесят второго и триста тридцать шестого полков стало известно, что немецкие танки полчаса назад форсировали реку, вклинились...

— Знаю, майор,— прервал Бессонов, несколько сейчас раздраженный и этим запоздалым сообщением оперативного отдела, и этим бесцветным голосом майора, его фальшивым, безжизненным спокойствием, как будто он, командующий армией, вынуждал людей к осторожности и неестественности одним личным своим присутствием здесь. Всякий раз он раздражался, когда чувствовал в общении эту форму самозащиты вышколенных и осторожных штабных командиров и свое незримое другим одиночество, вызванное его властью над людьми, его особым, подчиняющим людей положением. Барабаня пальцами по карте, он отвернулся к оконцу в блиндаже — неподвижной каленой стеной пылали пожары по всему юго-западу, от приблизившегося боя стол ощутимо подрагивал под рукой; отточенный карандаш подскакивал на карте.

«Так... прорвались на северный берег,— подумал Бессонов и прикрыл ладонью карандаш.— Значит, вышли?»

Веснин сунул отогретые руки в карманы полушубка и, подняв узкие плечи, слегка покачиваясь взад-вперед, задумчиво смотрел на заместителя начальника оперативного отдела. Майор Гладилин, прерванный на полуфразе, стоял тихо, выжидательно около стола, и Бессонов оторвал глаза от оконца.

— Дальше, майор. То, что танки прорвались на северный берег,— это, кажется, ясно. Что можете еще добавить? Не слышал, а хотел бы услышать главное, майор.

— Час назад вступил в дело отдельный полк Хохлова, товарищ командующий, танки начали бои, но про-

тивник не приостановлен, вгрызается в нашу оборону,— проговорил майор Гладилин, и капельки пота заметнее обозначились на его высоком, бледном лбу.

— Вгрызается, вгрызается... Экие красивые слова! — недовольно сказал Бессонов.— Я спрашиваю, сколько танков? Рота, батальон? Или два танка? Сколько же?

— Есть предположение, товарищ командующий,— ответил Гладилин,— что немцы ввели в бой во второй половине дня свежую танковую дивизию. По-моему, прорвалось до двух батальонов, судя...

— Немедленно уточните ваши предположения! — передвинув карандаш на карте, опять прервал Бессонов, хотя замечание Гладилина о введении немцами свежей танковой дивизии совпадало с его собственным предположением.— Прошу впредь не торопиться с докладами, не уточнив все. Слишком часто поддаемся эмоциям. Идите, майор.

Майор тихонько вышел на негнущихся ногах; его седовато-белый затылок и спина выражали беспрекословную подчиненность; задергивая плащ-палатку, он аккуратно оправил ее край, взглянув при этом на Бессонова мерклым взором робеющего в его присутствии человека. И Бессонов подумал, что этот заместитель начальника оперативного отдела Гладилин, немолодой майор, слишком долго задержался в своем звании, не соответствующем его ответственной штабной должности, что он весьма не глуп, с чутьем, но мягкость манер и робость майора невольно вызывали чувство досады.

Помолчав, Бессонов ощупью потянулся к палочке, прислоненной к краю лавки, оперся на нее, встал. И мигом вскочил Божичко, секунду назад безмятежно рассматривавший свои ногти, снял с гвоздя возле двери в блиндаж полушубок Бессонова. Веснин, натягивая перчатки, пошутил среди общего молчания:

— Я давно в боевой готовности, Петр Александрович.

И посмотрел на Бессонова, на то, как он с кряхтеньем всовывал руки в рукава полушубка, поданного адъютантом.

Сильнее подрагивал от разрывов земляной пол блиндажа, красный карандаш от сотрясений стола перемещался, скользил по карте.

— На энпэ к Дееву.— И Бессонов едва заметно кивнул Веснину: — В моей машине поедете, Виталий Исаевич?

— Пожалуй... В одной машине удобней.

— Разрешите сказать Титкову, товарищ командующий? — Божичко взял со скамьи автомат.

— Охрану не брать. Пусть остается здесь. Нечего ей там делать.

Бессонов пошел к двери блиндажа.

Десять километров до НП Деева проехали быстро. В минуты, когда вышли из машины, пересекли улочку станицы, вытянутую по берегу, и начали подыматься по ходу сообщения на крутую высоту, где находился НП дивизии, Бессонов не увидел в подробностях поле боя на том берегу, но и то, что он охватил взглядом справа в станице по этому берегу, объяснило ему серьезность создавшегося положения. На западе ярко, жгуче пламенела щель морозного заката, северобережная часть станицы пылала, дымилась в этом пронизывающем свете, разрозненными очагами колыхались над улочками пожары, возникшие от зажигательных пуль; ядовито алел снег, ало набухали между домами частые разрывы; внизу ревели невидимые танки, по всей окраине звонко хлопали противотанковые орудия.

Видно стало: справа, на берегу, обволакиваясь розовеющим дымом, горели подожженные четыре наших «тридцатьчетверки», но Бессонов сначала не разглядел, откуда атаковали немецкие танки. Потом он увидел и это. Выплевывая огонь, машины поочередно выползали из-за обрыва берега, подставляя броню пронзительным лучам заката, обходили горящие «тридцатьчетверки», исчезали меж домов станицы.

— Смотрите, товарищ генерал! — крикнул шагавший впереди Божичко с азартом и возбуждением от этой начавшейся везде заварухи, от этой зримой опасности.— «Катюши» видите, товарищ генерал? За домами...— и указал вниз на улочку, справа от высоты, извивами растянутую вдоль северного берега.

Бессонов промолчал, а Веснин спросил:

— Что вы там увидели, Божичко?

Они уже были на середине ската высоты, отсюда сверху открывалась вся станица, бегло стреляющие орудия противотанковых батарей на перекрестках дорог, полосы траншей с искрами выстрелов, наши «тридцатьчетверки», стоявшие за углами домов, из окон которых

шили по берегу пулеметы, площадь с дивизионом «катюш», приведенных к бою. В это время две крайние машины тронулись, выехали на перекресток улочек позади пехоты и залпом с режущим, прерывистым скрипом вытолкнули в небо круглые тучи оранжевого дыма. Не было видно, по ком они стреляли. Только в пролете улочки заклубилось, поднялось пламя над крышами.

Столб ответного танкового разрыва вырос неподалеку от одной из «катюш». Блеснул огонь. Вторая «катюша» дала задний ход, развернулась, помчалась на площадь. Вихри разрывов взвились по дороге, настигая ее; но первая «катюша» недвижимо, как-то сиротливо-мертво осталась стоять на перекрестке. Расчет отбегал от нее мимо плетней.

— Неужто подбили? — произнес Божичко с досадливым непониманием.— Ах, бабушку твою мотать!..

— Не останавливайтесь, Божичко,— поторопил сзади Бессонов,— идите вперед.

— Есть, товарищ генерал!

И Божичко зашагал вперед по ходу сообщения, придерживая ремень автомата, и по его легкой и устремленной фигуре заметно было, что он еще раз хотел оглянуться в сторону немецких танков и этой подбитой «катюши» у пехотных окопов.

«Что ж, Деев прав,— думал между тем Бессонов, мучаясь одышкой от крутого подъема,— у Хохлова двадцать одна машина — отдельный танковый полк... Вряд ли он сумеет сдержать натиск, переломить обстановку. Хотя бы сковать их на час, на два! Все равно легче не станет, когда подойдут танковый и механизированный корпуса. Что бы ни было, держать их до последнего предела. В резерве держать. Для контрудара держать. Беречь как зеницу ока. Только бы не раздергать по бригадам, затыкая бреши! А Хохлову контратаковать, если даже у него останется одна машина...»

— Петр Александрович!

Веснин шел впереди, споро вышагивая журавлиными ногами в узком ходе сообщения, и, когда остановился, Бессонов едва не натолкнулся на него. Молодое встревоженное лицо Веснина выразило желание сказать что-то, он будто вынырнул из состояния беспокойства, и Бессонов своим въедливым опытом почти точно оценил его состояние: да, член Военного совета ясно сознавал реаль-

ную угрозу, нависшую над дивизией Деева в северобережной части станицы. И Веснин заговорил:

— Петр Александрович! Хочется быть оптимистом! Но кто знает, как оно все сложится! Если они, паче чаяния, прорвут на всю глубину и соединятся со сталинградской группировкой, ведь это значит свести на нет успех ноябрьского контрнаступления, и к черту надежды на поворот в войне, как мы уже стали говорить после ноября! Опять все сначала? Представить не могу... и не хочу! Как вы на все это смотрите?

— Пока большого оптимизма не испытываю — не хочу быть провидцем. В танках и авиации у Манштейна явный перевес,— ответил Бессонов.— И все-таки думаю, что Сталинград имеет для немцев первостепенное значение только потому, что на Кавказе дела у них неважны стали. Опасаются быть отрезанными. Поэтому вот эта операция для них — камень преткновения.

— Петр Александрович, я толкую о нашей армии! — с жаром сказал Веснин.— Простите, не думал сейчас о Кавказе почему-то! А вот, кроме полка Хохлова, стоило бы пустить в контратаку хотя бы одну бригаду из нашего мехкорпуса? Как вы полагаете? Ведь это очень существенно!

— Не уверен, не могу распылять танки. Немцы должны увязнуть, а чем, скажите, воевать дальше будем? — твердо возразил Бессонов, хотя и понимал, что́ подталкивало Веснина на это предложение.

Он также понимал, что ни командиры дивизий, ни командиры корпусов, а только он, командующий армией, и, в силу своей должности, Веснин должны будут равно ответить полной мерой в случае роковой неудачи, в случае провала операции, независимо ни от чего и ни от кого. И это странно соединяло их одной судьбой, несколько смягчало Бессонова и вместе с тем вызывало подозрение: смог ли бы этот молодой член Военного совета в самом безвыходном положении оставаться с ним и нести ответственность одинаково с ним? Бессонов сказал:

— Не чересчур ли уж внимательно вы вникаете в оперативные вопросы, Виталий Исаевич?

— Не понимаю,— пробормотал Веснин и поправил дужку очков на переносице.— Почему чересчур?

— Полагаю, что вас в большей степени должны беспокоить вопросы, так сказать, морального порядка.

— Странные у нас отношения, Петр Александрович,—

тихо и с сожалением проговорил Веснин.— Вы меня не подпускаете к себе ни на миллиметр. Почему? Какой же смысл? Понимаю, можно разбить головой стеклянную стену, пораниться, но ватную... Ватная стена между нами, Петр Александрович, да, да! Сначала мы с вами были на «ты», потом перешли на «вы»... И как-то незаметно вы это сделали.

— Не совсем согласен. Но, может быть, так удобней, Виталий Исаевич. И вам и мне... Не пробивать головой стену. Тем более голова-то у каждого одна. Ложись, комиссар!..— И Бессонов, пригнувшись, сильно дернул за рукав Веснина.

С животным, задыхающимся мычаньем где-то справа за высотой «сыграли» шестиствольные немецкие минометы, заблистали по горизонту хвосты реактивных мин, рассекая огненно-дымный закат. Разрывы раскаленными спиралями закрутились на вершине высоты. Высота хрястнула, тяжко вздрогнула. Навстречу ударило визжащим ветром осколков.

Бессонов и Веснин упали на дно хода сообщения и лежали так несколько секунд, защищенные землей и одновременно не защищенные перед судьбой и случайностью. Кто знал, на сколько делений мог изменить прицел немецкий наводчик? Бессонов чувствовал, что лежит неудобно, придавив больную ногу, и с отвращением к самому себе, к своему телу, которое испытывало боль и страх перед вторичной возможностью боли, он заворочался на земле под чужим взглядом. Веснин, сдернув очки, близоруко смотрел на него с тем изумленно-вопросительным выражением, которое говорило: «А вы тоже боитесь умереть, генерал? Оказывается, все одинаково слабы перед смертью». Морщась от боли в ноге, от унижения, которое испытывал каждый раз, «целуясь с землей», Бессонов закряхтел со стиснутым ртом, хотел сказать в ответ на этот взгляд Веснина: «Нет, милый комиссар, умереть я не боюсь, к жизни меня, дорогой мой, привязывают тоненькие ниточки. Боюсь только бессмысленных страданий, с меня их хватит после осколка, перебившего кость в ноге». Но он знал, что ничего подобного не скажет члену Военного совета: эта откровенность была бы тоже бессмысленной, как ранение или смерть в этом ходе сообщения.

— Теперь не с юга, а с запада бьют, Петр Александ-

рович,— проговорил Веснин и подышал на стекла очков, протер их перчаткой.— Обходят все-таки.

— С запада, с запада,— ответил Бессонов. С шапки его ссыпалась земля.— Встать! Пошли,— сказал он сам себе и тряхнул головой.

Дым разрывов желтой мутью стлался по скатам высоты, спереди донесся тревожный зов Божичко:

— Товарищ командующий! Товарищ дивизионный комиссар! Никого не задело?

Майор Божичко бежал к ним по ходу сообщения.

— Живы, живы,— ответил брюзгливо Бессонов с недовольством на самого себя, взял палочку, поднялся и, не дожидаясь Веснина, решительно захромал навстречу подбегавшему Божичко.— Не кричите, майор, так громко. В этом нет надобности.

— Слава богу, думал, накрыло вас, товарищ командующий,— сказал облегченно Божичко.— Больно густо кидал! И вроде с тыла ударил!..

Полковник Деев был на НП, на самой вершине высоты, стоял с группой командиров возле стереотрубы, смотрел на поле боя за рекой, все багровое, залитое меркнущим закатом, все раздробленное, разнообразно расцвеченное вспышками разрывов, огнями выстрелов. Но как только Бессонов вошел в глубокую траншею наблюдательного пункта и командиры вытянулись перед ним, а связисты, сидя над телефонами, подняли головы, Деев по чьему-то предупреждению за спиной: «Командующий»,— быстро оторвался от стереотрубы, на полный вдох развел грудь под портупеей на полушубке, чтобы докладывать.

Жесткий ветер гудел по высоте, рвал, разносил звуки стрельбы. Все лица, красные от заката, нахлестанные ветром, выражали тревожное ожидание и одновременно еле уловимую вину за сложившуюся обстановку в полосе дивизии. Вскользь пробежав взглядом по лицам, Бессонов задержал глаза на Дееве.

— Товарищ командующий! — молодым баритоном стал докладывать Деев (его крепкая медная шея выпирала из мехового воротника полушубка, и Бессонов про себя отметил, что этот высокий рыжеватый полковник, с налитой шеей, с плечами атлета, по-молодому здоров, никогда еще не был ранен, вероятно, ни разу в жизни не болел).— Час назад немцы подавили выдвинутые вперед

батареи на том берегу, прорвали первую траншею, силою до двух танковых батальонов форсировали реку восточнее и западнее высоты, появились на северобережной окраине станицы... Против них задействована истребительная противотанковая бригада. Введен танковый полк...— Деев внезапно замялся.— Создалось серьезное положение на флангах дивизии, товарищ командующий.

— Знаю, полковник,— сказал Бессонов.— Только договаривайте до конца. Создается опасное положение охвата или обхода с тыла? Так, по-видимому? Фланги подрезают? Такой, кажется, терминологии учили в академии?

— Не кончал академии, товарищ командующий.

— Не кончали? Напрасно. А впрочем...— Бессонов по неожиданной ассоциации вспомнил, казалось сейчас, очень давний разговор в Ставке о своих годах учебы в академии, вопросы о генерале Власове и, воткнув палочку в землю, шагнул к стереотрубе.— Впрочем, это сейчас не так важно, полковник.— И он обернулся к молча стекавшимся из разных концов траншеи командирам.— Что ж... решение принято, Деев. Танковому полку Хохлова контратаковать, сбивать с плацдарма танки. Вызвать сюда же весь полк реактивных минометов. И доведите мой личный приказ до командиров стрелковых полков.— Бессонов опять поглядел на Деева, словно свинцово вбивая взглядом каждое слово.— Полкам драться в любых обстоятельствах. До последнего снаряда. До последнего патрона. Главное — сковать немцев и уничтожать танки. Всеми средствами! Без моего личного приказа ни шагу назад! Отходить права не даю! Это прошу помнить ежесекундно! Ясно, полковник Деев?

Он не хотел успокаивать, оправдывать, обманывать самого себя — он шел на высоту с этим обдуманным, готовым приказом, уже весь полагаясь на сознательную беспощадность его как единственно возможного решения в сложившейся на сейчас обстановке, заранее представляя потери в полках, хотя можно, казалось, было бы, рискуя следующим часом, отдать другой приказ — ввести в бой силы второго эшелона корпуса или армейский резерв. Но ни Бессонов, ни кто другой не способен был предвидеть, как сложится переменчивое положение через час, через два, то есть то положение для всей армии, когда уже представлялось бы невозможным исправить что-либо.

Подобно тому как человек под ударами жизни тратит последние оставшиеся деньги, зная, что запасов больше нет, так и Бессонов, вводя в дело резерв, каждый раз испытывал какую-то незащищенность будущего, беспомощно открывшееся пространство за спиной. Все тогда казалось зыбким, в руках оставалась пустота. И поэтому со странной жадностью он берег резервы до последней, предельной возможности, до того невыносимо рискованного положения, которое напоминало натянутую струну, готовую вот-вот гибельно и непоправимо оборваться. Раньше ему это удавалось. Раньше ему везло. И Бессонов договорил:

— Это пока все, полковник. До конца боя буду у вас на энпэ. Стоять на занимаемых рубежах до последнего. Для всех без исключения объективная причина ухода с позиций может быть одна — смерть...

Он произнес это тем своим голосом, который был знаком Веснину, слышан им на марше при встрече с танкистами, тем непреклонным и несильным даже голосом, от которого словно бы исходила смертельная волна приказов, и при этой его интонации хотелось Веснину отвести глаза, не видеть, жесткого его лица, болезненно-серого, с колючим ртом.

«Так вон он как! Значит, я не ошибся. Вот почему еще до его приезда в армию распространились слухи о его жесткости»,— подумал Веснин, поглядев на Деева, покорно откозырявшего после приказа Бессонова. И в оправдание подумалось еще: «Нет, возможно, он и не должен вдаваться в подробности. Да, он хочет заявить, что будет беспощаден ко всем, в том числе и к самому себе...»

И тогда Веснин, смягчая этот отдающий железным холодом приказ Бессонова, чуть улыбнулся Дееву.

— Идите, товарищ полковник. И исполняйте свои обязанности, если все ясно.

— Все понял, товарищ член Военного совета,— грудным баритоном ответил Деев, коснувшись кончиком перчатки рыжеватого виска под примятой набок шапкой.

Потом разошлись, рассосались по своим местам и другие командиры. Траншея опустела.

— Наверное, нужно было как-то поделикатнее, Петр Александрович...— с укоризной сказал Веснин, когда они остались один на один.

— Не нахожу нужным искать другую форму, ибо содержание одно. А иным быть не могу, Виталий Исаевич!

Считаю, что от нас с вами зависит не только исход этой операции, как вы правильно сказали, а гораздо большее. Тут не до леденцов!

Бессонов стал у стереотрубы, и Веснин снова увидел его отчужденное, холодное, не подпускающее к себе лицо.

Майор Божичко — в двух шагах от него — следил за командующим с видом покорной готовности к сиюминутному выполнению любого приказа — по малейшему жесту Бессонова, по его кивку или слову; он еще на марше почувствовал твердую силу хозяина и тогда же усвоил соответствующую манеру поведения. И от этого тоже было не по себе Веснину, знавшему Божичко не первый день и выделявшего его среди адъютантов за легкий, общительный нрав.

Бессонов между тем, вобрав голову в воротник, долго смотрел вниз на поле боя перед высотой. Все пространство за розоватыми извивами реки с оспенной чернотой льда, искромсанного бомбами и снарядами, высокий берег, откуда непрерывно вели огонь наши батареи, пологие скаты высот за широкой балкой слева от станицы, где в растянутом по фронту дыму взблескивали выстрелы танков,— все было в кровавом свечении заката, все смещалось, двигалось, сплеталось малыми и большими огнями, затягивалось траурными косыми шлейфами горевшего железа, горевшего масла, бензина на земле, и чудилось, от пожаров и от заката пылал снег.

Этот хаос, эта путаница трассирующих снарядов вблизи берега и неподалеку перед высотой НП дивизии — вся видимая обстановка боя и в дыму плохо различимая позади высоты, в северной части станицы, куда прорвались немецкие танки, по которым недавно стреляли «катюши», представилась Веснину настолько определенно-ясной, не вызывающей никаких сомнений, что было просто непонятно, почему вот сейчас Бессонов молчал, а худощавое, лиловое от заката лицо его выражало странную брезгливость. И Веснин тоже не говорил ничего, взволнованный не опасностью окружения, а тем, что, мнилось, ни Бессонов, ни Божичко не чувствовали и не видели в эту минуту того, что видел и чувствовал он.

А Веснин видел, как за рекой, охватывая слева и справа степь перед высотой, немецкие танки продвигались к берегу, переправлялись слева, ползли во тьме

дыма все дальше и дальше в глубь обороны дивизии, как стреляла по ним с северного берега противотанковая артиллерия и на южном берегу несколько орудий, обойденных с тыла, развернувшись на сто восемьдесят градусов, били по ним сзади. Танки продвигались, малиново-серыми тенями выползали из освещенной мглы, переправлялись на северный берег через полуразрушенный мост левее высоты. Потом закраснел, расползся огонь на мосту — немецкий танк загорелся на середине пролета, но тотчас другой танк, следом вползший на мост, с ходу ударил лобовой частью подожженную машину, и та стальной тяжестью обрушилась с пролета на лед реки, погружаясь в огромную продавленную полынью, чернея башней, а другие танки шли и шли по освобожденному мосту.

Тогда Веснин, полуобернувшись и увидев опять освещенную закатом, выбритую до гладкой синевы щеку Бессонова, молча стоявшего у стереотрубы, сказал с нескрываемым беспокойством:

— Петр Александрович, посмотрите на мост! Не понимаю — саперы не успели взорвать? Или немцы восстановили?

В сторону моста скользнул обламывающий свинцовый взгляд Бессонова, который, как только пришли на НП, подавлял и будто отталкивал всех от себя; голос же его прозвучал утомленно:

— Вот тоже стою и думаю: почему все-таки не взорвали мост? Можно это было сделать? Бога войны прошу ко мне!

— Командующего артиллерией к генералу,— передали по траншее.

Командующий артиллерией дивизии, скромного роста полковник с дородным, интеллигентным лицом, приблизился к Бессонову, прижал руки к бокам, сторожко поглядел на Веснина, с которым знаком был с формировки, и Веснин на этот вопросительный взгляд произнес скороговоркой, избегая подробных объяснений:

— На вас сейчас вся надежда, бог войны! Дайте же огонь по мосту! Уничтожьте, сожгите этот мост! Вы видите, что там происходит?

— К сожалению, пресловутые авось и небось — еще не окончательно повергнутые столпы. С чем распрощаться надо было еще в сорок первом,— проговорил Бессонов так же утомленно, обращаясь к командующему ар-

тиллерией.— Все-таки можно было раньше разрушить переправу артиллерией, если саперы не успели? Как думаете, полковник? Или это — за гранью вашей фантазии?

— Товарищ генерал,— заговорил командующий артиллерией, стараясь с достоинством знающего свое дело человека ответить Бессонову,— мост все время под нашим огнем, но немцы его восстанавливают. Посмотрите, пожалуйста, на переправу. Наша стопятидесятидвухмиллиметровая ведет огонь. И надеюсь...

Но Бессонов прервал его:

— Если танки продвигаются, полковник, значит, мост абсолютно цел. Верю тому, что вижу.— Он палочкой ткнул в направлении затянутого дымом моста.— Закон рассеивания? Малая вероятность попадания? Почему же у немцев закон рассеивания...

Он не закончил фразу. Воющие, скрежещущие звуки шестиствольных минометов задавили, смяли все человеческие звуки на высоте. Кометные хвосты мин зажгли, загородили закатное небо на западе. Высоту раскололо землетрясение, стремительно завращало по скатам махающие жаром огненные карусели. И в тот же миг кто-то тяжело и защищающе притиснул Бессонова к затрясшейся стене траншеи: это был майор Божичко.

— Товарищ генерал, ложитесь!..

И тотчас Бессонов заметил мимолетное внимание всех, кто был здесь, в траншее, их взгляды, обращенные на него, спрашивали: «Ляжет или не ляжет? Если ляжет, мы тоже. При высоком начальстве поспешное целование с землей может обернуться невыгодно».

А командующий артиллерией ни на шаг не отодвинулся от бруствера, упорно глядел в сторону моста, даже не присев и головы не пригнув; потом пошел по траншее к телефонам с полным внешним безразличием к гремевшим на высоте разрывам.

— Полковник! — с укором крикнул Веснин.— Как мальчишка из училища, под огнем ходите! — И нагнулся к бровке траншеи.

Досадуя в эти секунды на себя и еще больше — на выжидающих командиров, на командующего артиллерией, при мысли о том, что они не решались спешить укрыться в его присутствии, Бессонов легким толчком отстранил Божичко, морщась, с кряхтеньем присел на дно траншеи, устало полуприкрыл глаза, приказал:

— Не стоять! Всем в укрытие!

Он не знал, была ли услышана его команда в ломающемся грохоте над высотой, но все легли. Бессонов смотрел из-под век в одну точку перед собой — на валенок Божичко, привалившегося у его ног, и странная, раздражающая мысль не выходила из головы: «Почему мы подчас в такие вот моменты боимся искренности чувств? Почему нередко хотим выглядеть в неестественном свете глупого бесстрашия, пускаем пыль в глаза? Почему скрываем нормальное, человеческое? Что они думают обо мне? Машина власти без сердца и нервов? От моего мнения зависит военное счастье каждого и даже опасность смерти не может нас уравнять? Так они думают обо мне?»

Но, задавая себе эти вопросы, он сознавал, что сам никогда и никому не позволил бы излишней суеты на НП и этого излишнего ныряния в землю во время огневых налетов и не простил бы этого, как и непозволительной нерасторопности в бою, на которую не способен был смотреть сквозь пальцы,— он не сумел бы быть другим.

Валенок Божичко, вымазанный землей, двигался при каждом разрыве по дну траншеи, лез в глаза, зачем-то устраиваясь поудобнее. И, вновь подумав о неразрушенном мосте, Бессонов не смог подавить приступ досады, похожий на раздражение, проговорил негромко:

— Полковника Деева ко мне.

Этот его голос заставил Божичко вскочить — валенок, выволенный в глине, мгновенно исчез из поля зрения. Затем Божичко опять сел на дно окопа, доложил поспешно: «Все в порядке, товарищ командующий»,— и сейчас же полковник Деев, сгибаясь, подбежал из отвилки траншеи к Бессонову, опустился на землю — примятая шапка обсыпана землей, красная, тугая шея выпирает из воротника полушубка, рыжие брови сдвинуты. Деев не поспешил сказать: «Слушаю, по вашему приказанию прибыл, товарищ генерал»,— что было бы нелепым в полулежачем положении, и Бессонов опередил его.

— Вот приходит мысль, полковник,— заговорил он, едва разжимая губы, чтобы не слышали рядом,— немцам почему-то не мешают законы рассеивания довольно точно накрывать высоту. Не думаете ли вы, что если бы немцы сидели на этом энпэ, а наши танки шли бы там, внизу, то мост они как-нибудь разрушили бы? Вы не думали об этом?

— Мелькала мысль, товарищ командующий, но дело в том...

Рвущиеся кольца закручивались по скатам высоты, чугунным звоном наливало голову, сверху обрушивалась на траншею раздробленная земля, колотила камешками по плечам Бессонова, и грязные струйки текли по бараньему воротнику Деева, по его груди, и он хмуро стряхивал с полушубка комья темного снега.

— Продолжайте.

— Товарищ командующий,— выговорил наконец Деев,— дело в том, что немцы на танках саперов подвезли. И переправа восстанавливается ими, как только наша артиллерия накрывает мост.— Он сделал паузу.— Остается одно, товарищ командующий: вызвать на прямую пару «катюш», если, конечно, их в станице не разобьют по дороге прорвавшиеся танки.

— А если «катюши» сейчас не смогут подойти? — спросил Веснин, старательно протирая стекла очков, на которые налипала сгустками летевшая в траншею горячая грязь.— Как тогда?

— Да, мы можем потерять их, товарищ член Военного совета. Рискуем «катюшами»...

— Рискуйте,— оборвал, не повышая голоса, Бессонов.— Даю вам одну минуту на обдумывание этого риска! Вы свободны.

Однако и одной минуты было много полковнику Дееву. Он отполз от Бессонова к ближнему телефону, и оттуда послышался его густой баритон:

— Запоминай, бог войны! Плохому донжуану, простите меня, всегда пуговицы мешают! Вызывайте к мосту на прямую наводку пару «катюш». Будем рисковать! Им там виднее, как проехать под носом у танков! Вы меня поняли? Чтоб через двадцать минут и в помине этого моста не было! И духу чтоб от него не осталось! Ясно? Слышать о нем больше не хочу,— уточнил азартно и грозно Деев, а Бессонов отвернулся, чтобы не видеть его надувшейся от крика сильной, молодой шеи, его рыжего затылка, и с неприятным ощущением оттого, что, позволяя резкость себе, никак не терпел ее у других, подумал: «Неужели Деев подделывается под меня?»

— Ну и голосок у нашего Деева, легко перекричит сотню граммофонов и любой артналет,— заметил Веснин с шутливым удивлением и стал изучающе разглядывать

северную стенку траншеи, по которой скатывались струйки грунта.

И Бессонов увидел на его лице острое прислушивающееся выражение, точно Веснин улавливал или хотел уловить то, чего не слышал Бессонов в раскалывающемся над траншеей визге и грохоте играющих за рекой шестиствольных минометов.

— Хохлов! — крикнул Веснин, показывая своими близорукими глазами на северную стенку окопа.— Наши «тридцатьчетверки» в станице хлопают. По звуку слышу! Ох, трудненько сейчас им приходится!..

«Да, двадцать один танк»,— подумал Бессонов, представив контратаку полка среди улочек станицы, и не ответил. То, что танковый полк Хохлова вступил в бой, не могло, конечно, существенно изменить обстановку, отстранить, ликвидировать реальную угрозу нависшего окружения дивизии, опасность на правом фланге армии. И он не хотел самоуспокоительно лгать себе: контратака Хохлова была в силах только на какое-то время сковать прорвавшиеся на северный берег немецкие танки, заставить их увязнуть в уличных боях — не больше. Но и это было облегчением. И от этого уже зависело многое. Как в игре с немногими данными, Бессонова неотступно мучила неизвестность — точно ли ввели немцы во второй половине дня свежую танковую дивизию из резерва, и если ввели, то чем они еще располагали, чего еще можно ожидать от них, чем они собираются козырнуть? «Что там решают сейчас у этого Манштейна?» — подумал Бессонов, глядя на Божичко, выковыривающего землю из-за голенищ валенок, и, вспомнив с сожалением о невернувшейся дивизионной разведке, поднял отяжелевшие веки на задумчивое лицо Веснина, который с полным вниманием и как бы доверием ловил новые звуки боя в станице, где полк Хохлова пытался приостановить, сдержать продвижение вышедших на северный берег танков.

«Сколько длится этот налет? Пять минут? Десять минут? Совсем не жалеют мин...»

— Командующего к аппарату! — пронеслись голоса по траншее, мгновенно подхваченные Божичко.— Товарищ командующий, вас!..

«Яценко! — сообразил Бессонов и с тревогой пошевелился.— Долго не было связи. Что скажет сейчас Яценко?»

Стараясь не надавливать на замлевшую раненую по-

гу, он встал, а майор Божичко при этом как-то сверхзаботливо поддержал его под локоть, и Бессонов сказал, усмехнувшись:

— Хотел бы предупредить вас, Божичко, не ухаживайте за мной чересчур, как за старой дамой, и не принимайте меня за дряхлеющего старика.

— Да что вы, товарищ командующий! — отозвался бодрым голосом Божичко, и ясно было: адъютант солгал: по движениям Бессонова, по морщинам усталости, по скрипучему голосу, по сухости болезненного лица двадцатисемилетний майор, конечно же, считал его стариком — и с этим ничего нельзя было поделать: между ними разделяюще пролегла не одна только разница лет.

Подойдя к блиндажу связи, Бессонов остановился и пристально посмотрел через бруствер, надеясь поймать изменения на поле боя. Над степью схлестывались пожары, мешались с неостывающим по горизонту заревом заката. И там, далеко, в этом зареве и над ним, возбужденной стаей комариков падал вниз и возносился в небо, переплетаясь очередями, посверкивающий клубок наших и немецких истребителей. Протягивались черными перекрестиями дыма́ — шел всегда малопонятный с земли воздушный бой. А ниже боя группами и попарно проходили наши штурмовики, ныряли, казалось, над краем света.

Вблизи же, перед высотой и по скатам балок, медленным широким полукольцом танки все теснее охватывали берег. Слева моста не было видно в сплошном частоколе разрывов, в закипях аспидного тумана. Перед подожженным мостом уже скопилось около десятка танков. На окраине станицы горели две наши «катюши», те, наверно, которые вызваны были... Танки расползлись и снова сползались к месту переправы под прямым огнем с северного берега выдвинутых сюда противотанковых дивизионов, а с южного берега, с самого его гребня, бегло стреляло одно орудие, развернутое от фронта на сто восемьдесят градусов, и ответные разрывы застилали его. Оно исчезало, это орудие, оно растворялось в черноте и вновь оживало там, откуда вспыхивали выстрелы.

И Бессонов подумал, что он ведь был в конце ночи именно на той батарее, откуда стреляло единственное орудие, и хотел вспомнить такую знакомую фамилию командира батареи.

Но не вспомнил, не стал напрягать память. Другая

мысль охватывала его целиком: чувствуя успех, немцы до наступления темноты торопились углубить и расширить прорыв. И подумал еще, что, по-видимому, наступило то почти критическое положение, то состояние наивысшей точки боя, когда натянутая стрела напряглась до предела, готовая вот-вот оборваться.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В блиндаже под тремя накатами было все приглушено — звуки боя проникали сюда сквозь толщу бревен и земли заметно ослабленными. Здесь нормально звучала человеческая речь, по-ночному горели две «летучие мыши». Подобно маятникам, фонари однообразно раскачивались под толстыми накатами, желто освещая небритые лица, карты, телефонные аппараты на двух столах.

Командующий артиллерией, разговаривавший с командиром полка реактивных минометов, опустив трубку на карту, сделал полуоборот от стола, намеренный доложить. Но Бессонов кивком остановил его — знал, что он будет докладывать о подожженном «катюшами» мосте,— и под следящими взглядами операторов прошел в дальний отсек, где были телефоны и рация, державшие связь со штабом армии.

Божичко, по воспитанности опытного адъютанта, не вошел в отсек, закрыл за Бессоновым дверь и, исполняя роль охраны, встал у входа. С развеселым видом свойского парня он подмигнул молоденькому младшему лейтенанту-связисту, глядевшему на него с нескрываемым любопытством. Энергично потер ладонь о ладонь, затем извлек из кармана шинели роскошную пачку «Пушек», выщелкнул папиросу.

— Младший лейтенант, закуривай,— сказал Божичко с дружелюбной и вместе с заговорщической интонацией, переходя на панибратское «ты».— Как живешь-то?

— Ничего, товарищ майор. А что? — Младший лейтенант взял не очень ловко папиросу, еще не понимая причину начатого разговора: — Спасибо, товарищ майор.

— Брось своего майора. Что значит «майор»? — шепотом сказал Божичко.— Всю жизнь, думаешь, был майором? Человеческое имя мое — Геннадий... В цирк ходил когда-нибудь? Видел, нет? Смотри сюда.

Божичко, загадочно улыбаясь, сделал плавный взмах рукой и растопырил пальцы вблизи лица растерянно за-

моргавшего младшего лейтенанта — пачка папирос исчезла, потом вторичный ловящий взмах в воздухе — пачка папирос возникла на ладони. Младший лейтенант не знал, что Божичко истомился, изнемог в бездействии и рад был развлечься. Связист почему-то сконфузился.

— Вы артист, товарищ майор? Вы, наверно, фокусником были?

— Пустяки. Дилетантство. Все в прошлом,— небрежно сказал Божичко и, подкинув в воздух зажигалку, чиркнул ею, подставил огонек под папиросу.— Слушай, младший лейтенант, у вас есть новые анекдоты? Или все столетней свежести? Последний, про Еву Браун и Геббельса в раю, дошел до вас?

— Н-нет,— снова сконфузился младший лейтенант.— Про какую Еву? Та, что... Та, что в Библии, товарищ майор?

— Чудачок ты! Библия!.. Прозябаете тут, мальчики, в необразованности. Ну вот, слушай. Рай, кущи, солнышко, фиговые листочки...— начал шепотом, развлекаясь в бездействии, Божичко, довольный тем, что нашел нежданного и непросвещенного собеседника. Внезапно он смолк, поймав слухом из-за двери голос Бессонова, после этого подмигнул дружески младшему лейтенанту, похлопал его по плечу: «Потом, потом»,— и, поправив портупею, сложил руки на груди, стал перед дверью с папиросой в зубах.

...Бессонов не ошибся: звонил начальник штаба генерал-майор Яценко. Здесь, в отсеке блиндажа, где была установлена рация и линейная связь со штабом армии и корпусами, находился начальник разведки дивизии подполковник Курышев. Начальник разведки стоял возле столика, темное от забот и переутомления умное лицо его было серьезно. Он разговаривал по телефону с Яценко, повторяя однотонно: «Да, товарищ пятый. Понял, товарищ пятый»,— и желтыми, прокуренными пальцами перекатывал карандаш по карте. Радист, незаметный в тени, сидел в углу тихонько, склонившись над рацией, казалось, спиной, затылком вслушивался в этот разговор с командным пунктом армии.

— Вас, товарищ командующий,— сказал подполковник Курышев и протянул трубку.

— Благодарю.

Строевой бас Яценко звучал, как обычно, отчетливо, и хотя в целях принятых в телефонных разговорах пре-

досторожности он докладывал сложившуюся к исходу дня обстановку на замысловатом армейском арго, Бессонов легко переводил его доклад на обычный язык. Немцы по-прежнему атакуют на южном и северном крыле армии при массированной поддержке с воздуха. Атаки не прекратились, но ослабли к вечеру, и сильным ударом более шестидесяти танков им удалось несколько потеснить левофланговую дивизию; идут ожесточенные бои в глубине первой полосы обороны, немцы вклинились в нее на полтора-два километра. Пришлось ввести в дело одну мотострелковую и одну танковую бригады 17-го механизированного корпуса, прикрывающего левый фланг, но положение пока не восстановлено. В центре обороны армии положение можно считать устойчивым. Резерв Ставки — 1-й танковый и 5-й механизированный корпуса — еще не прибыл в районы сосредоточения. Несколько часов назад разведкой фронта перехвачена радиограмма из немецкой группы армии «Дон», штаб которой, надо полагать, уже в Новочеркасске; незашифрованный текст за подписью самого Манштейна, посланный в штаб Паулюса: «Держитесь, победа близка, мы идем на помощь. Будьте готовы к рождественскому сигналу о погоде». Что означает последняя фраза, сказать пока трудно, возможно, речь идет о встречном ударе окруженной группировки Паулюса для соединения с танками Манштейна. Очень заметно активизировалась немецкая транспортная авиация — сбрасывает Паулюсу горючее и боеприпасы, несмотря на то что наша авиация энергично блокирует немецкие аэродромы. В окруженной группировке заметно передвижение танков к юго-западной части «котла», в район Мариновки.

Бессонов ни разу не перебил этот педантично подробный доклад генерала Яценко — прислонив палочку к краю стола, стоял молча, опершись рукой на аппарат. Только когда в голосе начальника штаба появились заключительные интонации, Бессонов расстегнул крючок воротника, присел к столу, помедлив, спросил:

— У вас все?

И, спросив, представил себе грузного, бритоголового Яценко сидящим под ярчайшими аккумуляторными лампочками на КП над картой в окружении работников оперативного отдела,— до блеска кожи побрит, чистый подворотничок, тщательно вымытые крупные руки. И, заранее угадывая ответ его, Бессонов сказал:

— Яснее ясного, что главный удар они наносят здесь, а левее — вспомогательный.

— Я тоже убежден, что хотят пробить коридор к Паулюсу через боевые порядки Деева. Думаю, что Манштейн не изменит своей тактики — будет таранить нашу оборону на одном узком участке и там, где поближе к цели.

— Согласен.

— Постараюсь выяснить подробнее, что сейчас у Паулюса. Каково положение его подвижных войск? Способен ли он все-таки к прорыву навстречу Манштейну? Это немаловажно сейчас, Петр Александрович.

— Это более чем важно,— подтвердил Бессонов и добавил: — Меня интересует также, когда прибудут наконец первый и пятый. Поторопите!

— Все время тороплю, Петр Александрович,— забасил Яценко с одышкой, выдававшей его волнение и досаду оттого, что приданные армии танковый и механизированный корпуса еще не прибыли в назначенный им район сосредоточения.— Когда вас ждать у нас?

— Пока не ждать. Здесь, как говорят, точка преткновения, Семен Иванович.

Яценко выдержал паузу.

— Но, судя по обстановке, вам не следовало бы особенно задерживаться у Деева, подвергать себя...— Яценко шумно задышал в трубку.— Не имею права в данном случае советовать, но, может быть, благоразумнее было бы переехать вам на энпэ армии.

— Вот что, Семен Иванович,— перебил Бессонов, не слушая и морщась.— Прошу вас полностью озаботиться левым флангом, уж коли я здесь. Контратаковать без передышек!

Он провел пальцами левой руки по лбу, пальцы были влажны, дрожали от усталости, чувствовалось подергивание и боль в немеющей ноге, которую он неудобно подвернул, упав на дно хода сообщения во время налета шестиствольных минометов.

Положив трубку, Бессонов долго сидел в задумчивой рассеянности, осторожно распрямляя под столом ногу,— ожидал, когда боль пройдет и он сможет встать, но боль не проходила.

— Тот разведчик, который сумел выйти, нового ничего не сообщил? Он в сознании? Где он? — спросил

Бессонов Курышева, пытаясь отвлечься от горячего подергивания в голени.

Глядя на испещренную пометками карту, подполковник Курышев заговорил, не выражая голосом чрезмерного утомления издерганного длительным беспокойством человека:

— Когда его принесли с батареи, был в полусознании, товарищ командующий. Из его слов можно было понять, что остальные разведчики при возращении из поиска были обнаружены немцами, приняли бой и застряли вместе со взятым «языком» где-то перед окопами боевого охранения. Вернувшийся отправлен в медсанбат, но вряд ли он покажет что-либо новое... Да, я несу за разведку всю полноту ответственности.

— Прекратите.— Бессонов легонько хлопнул ладонью по столу.— Прекратите самобичевание, это бессмысленно и совершенно некстати, подполковник. Это не поможет ни вам, ни мне. Пленных нет — и сейчас быть не может,— немцы наступают, а мне нужен серьезный, порядочный и хорошо осведомленный немец. Ну, что будем делать, подполковник?

— Разрешите подумать, товарищ командующий?

Бессонов видел, как подполковник Курышев неспешно и аккуратно, точно крошки хлеба, сгребал с карты комочки земли, текущей из-под накатов. Это представлялось Бессонову неестественным, ненужным, как неудавшаяся разведка, как горячая, ломящая боль в ноге, и он вдруг подумал: «Водки бы выпить, голова стала бы ясной, отпустила бы боль, легче стало бы!» Но тотчас удивился такому неожиданному желанию, этой мысли об облегчении, пережидая раскаленную боль в голени, мешавшую ему сосредоточиться и злившую его.

Шестиствольные минометы прекратили обстрел НП, но блиндаж, как плот в темноте, плыл среди качавших его орудийных выстрелов и разрывов, среди пулеметных волн, бесперебойно хлещущих впереди по этой темноте. И в приглушенных накатами звуках Бессонов почему-то особенно выделял гудение танков и разгоряченно-частую дробь автоматов, на слух с севера и юга охватывающих высоту, казалось, уже отрезанную от армии, от корпусов, от дивизии — от всего окружающего мира.

— А я тебе сказал,— хоть сам из пистолета стреляй, дошло? Пропускай через себя танки, а стой, ясно?

Бессонов поднял голову, и лицо его передернулось, выразило страдание. Во второй половине блиндажа зуммерили, звенели, перебивая друг друга, телефоны, прорывались надсадные голоса, и явственно покрывал этот шум баритон Деева, выкрикивающий команды вперемежку с руганью и угрозами:

— Отойдешь на миллиметр — лучше сам себе семь граммов пусти в лоб, Черепанов! Дошло? Вся артиллерия у тебя там, все противотанкисты — плюнуть негде! Знаю, что окружают, так что — «караул» кричать? Стоять, как... хоть душа из тебя вон!.. Откуда еще танки, когда переправа разрушена? Бредишь?..

Бессонов слышал это и понимал, что командир стрелкового полка Черепанов докладывал о том, что обойден с флангов танками, дерется в полуокружении, просил поддержки, но Деев, не обещая помощи, отвечал на это словами гнева и в обстановке смерти советовал избавление смертью, если не выдержит... А Бессонов сидел здесь, в отдельном отсеке, и не имел права вмешаться. Деев выполнял приказ, который он отдал,— стоять до последнего, и было бы нечеловечески трудно посмотреть ему в глаза, тоже ожидающие помощи, хотя полковник и знал бесповоротную значимость приказа своей дивизии, принявшей страшный танковый удар, положенный судьбой, как это бывает на войне, где нет выбора.

— Ты мне, Черепанов, лазаря не пой! — кричал в нервной взвинченности Деев, срываясь на отчаянные нотки.— Я что — не понимаю? Сказано — все! Завяжи пупок тремя узлами — и стой! Артиллерия тебя на полный дых поддерживает! Не видишь, а я вижу! Что плачешься — терпи! Стой, как девица невинная, кусайся, царапайся, а держись! Больше не звони с этим! Слышать не хочу!..

«Деев выполняет мой приказ, но что он все-таки думает, отдавая эти команды?» — опять мелькнуло в голове Бессонова.

На секунду он встретился глазами со взглядом начальника разведки. Тот уже не стряхивал с карты крошки земли. Но тихое, невысказанное осуждение и вместе просьба о помощи были в умном и утомленном взгляде подполковника Курышева. Он отлично понимал обстановку, сложившуюся в дивизии, понимал по этим звукам боя, по этим командам Деева в другом отсеке

блиндажа. И Бессонов потер ладонью лоб, сказал не то, что хотел сказать, и не то, что думал:

— Говорите, подполковник. Я вас слушаю.

— Товарищ командующий,— ровно начал Курышев,— кажется, обозначилось окружение дивизии...

— Уверены?

— Да, по-моему, и энпэ обходят танки, товарищ командующий.

Бессонов посидел с минуту и, как бы очнувшись, устало посмотрел на начальника разведки, затем встал, проговорил с жестким любопытством:

— Не договаривайте. Хотели сказать, что мы сами можем превратиться в «языков»? Так, по-видимому, подполковник?

— Я говорю об объективной обстановке, товарищ командующий,— прежним ровным голосом объяснил подполковник.— Через некоторое время немцы могут перерезать связь. И тогда мы потеряем нити управления.

— Благодарю за объективность, подполковник. Но пока нити управления еще существуют,— сказал Бессонов.— И приказа об «языке» я не отменял. Даже если нас с вами возьмут в плен. Что весьма неприятно.

Он снял телефонную трубку.

— Командующего артиллерией... Работает связь? Ну, вот и отлично. Дайте Ломидзе.

Потом, узнав в трубке несколько гортанный голос генерала Ломидзе, заговорившего с акцентом: «Совсем взбесились у вас фрицы, товарищ первый...» — перебил его вопросом:

— Есть возможность использовать сорок второй полк реактивных минометов на направлении Деева?

— Отдаю приказ, Петр Александрович. Использовать против танков? Так я понял вас?

— Вы правильно поняли.

В другой половине блиндажа, прокуренной до сизого тумана, в котором передвигались фигуры офицеров, трещали телефоны, Бессонов не задержался. Лишь заметил среди работников оперативного отделения высокую фигуру полковника Деева, не сказал ни слова и, палочкой толкнув дверь, вышел из блиндажа. Майор Божичко последовал за ним.

— Товарищ командующий! — из беспрерывного звона телефонов за спиной прозвучал охриплый баритон Деева.

Бессонов вышагнул в траншею.

Еще не стемнело совсем, а мороз к вечеру неистово окреп. Колюче ошпаривающим ветром дуло со стороны темно-малиновой, придавленной к земле щели заката, и ветер из стороны в сторону мотал над высотой гремящую пальбу боя. Сильно несло сметаемой с брустверов ледяной крошкой; как битое стекло, кололо в губы. И от сигнальных ракет, круто сносимых ветром вокруг НП, появилось ощущение, что высота сдвигалась куда-то над огнями и пожарами, разверзшимися внизу.

Мощными кострами горела станица на берегу, а везде по багровому снегу, будто по окрашенной скатерти, рассыпанно ползли, останавливаясь, ощупывали что-то хоботами орудий черные с белыми крестами ядовитые, огрузшие пауки, разбрасывая впереди себя огненную паутину. Огненная паутина зигзагами оплетала, стягивала кольцом далеко видимый сверху берег, а в этом кольце — красные оскалы наших батарей; автоматные трассы взметались веером над высотой.

Майор Божичко, навалясь на бруствер, с недоверием вглядывался в низину перед рекой, явно стремясь убедиться, как близко бой подошел к НП. Задушенные ветром ракеты падали на скатах высоты, пули птичьими голосами цвикали над бруствером — автоматчики уже были на этом берегу реки.

— Товарищ командующий, разрешите обратиться?

Бессонова физической болью коснулся сорванный, хриплый голос полковника Деева, заставил его обернуться. Несколько секунд он стоял, не торопя доклад Деева, догадывался, о чем тот скажет.

Силуэт Деева казался неподвижно огромным, загородившим проход в траншее; при взлете ракет возникало его лицо, молодое, с горячечными в отчаянии глазами, ищущими что-то в лице Бессонова — помощи, облегчения для своей дивизии, надежды, и едва свет ракет опадал и темнота омывала это невыносимое выражение, Бессонов испытывал такое чувство, точно чьи-то пальцы на горле отпускали его.

— Все вижу, полковник Деев,— сказал Бессонов.— Что хотите добавить?

— Товарищ командующий,— заговорил Деев неестественно низким голосом,— полк Черепанова, два артдивизиона и танковый полк Хохлова дерутся в полном окружении, на исходе боеприпасы... в ротах большие потери... подошла немецкая пехота в бронетранспортерах.— Взмывший каскад ракет снова проявил это ждущее от Бессонова облегчения лицо Деева, и он, с хрипом выдохнув воздух из выпуклой груди, договорил: — В полку майора Черепанова танки атаковали капэ. Майор Черепанов, кажется, ранен. Связь оборвалась только что.— Передохнув, Деев тяжело шагнул к Бессонову.— Товарищ командующий, в сложившейся обстановке... очень опасаюсь, что полк Черепанова не выстоит и часа, сомнут... Простите, товарищ командующий, прошу лично вашего разрешения...

— На что именно? — уточнил Бессонов.

Деев проговорил вздрагивающим упрямым голосом:

— Прошу вашего разрешения оставить на час энпэ дивизии, наведаться в полк Черепанова, самому выяснить все в полку и принять решение на месте, товарищ командующий.

Быстрые малиновые огоньки — отблески трассирующих пуль — светились в глазах Деева, на красном его лице. Бессонов посмотрел внимательно.

— Каким образом вы это сделаете? Прорветесь в окруженный полк? Так, по-видимому?

— До батальонов Черепанова от высоты километра два, товарищ командующий.— Деев показал вниз.— Прорвусь с автоматчиками. Три броска — и там. Это полдела, товарищ генерал.

И, испытывая вдруг незнакомый укол нежности к Дееву, такой внезапный, что опять спазмой сдавило горло, Бессонов не мог отказать ему сразу. «Что ж, вот судьба подарила мне командира дивизии»,— подумал Бессонов и, снизу вверх глядя на мелькание отсветов в отчаянных глазах Деева, повторил:

— Значит, прорветесь с автоматчиками?

— Я еще недавно командовал батальоном, товарищ генерал. В сорок первом. На Брянском. Еще не отвык.

— Сколько вам лет? — глухо спросил Бессонов.

— Двадцать девять, товарищ командующий.

— Хочу, чтобы вам исполнилось тридцать,— сказал Бессонов и сделал отсекающий жест.— Идите и испол-

няйте обязанности командира дивизии, а не командира батальона!

— Товарищ командующий...— почти просяще выговорил Деев,— прошу вас мне разрешить...

Но Бессонов прервал его тихо и непререкаемо:

— Вы меня не поняли? Я сказал: идите и исполняйте обязанности командира дивизии. Послать немедленно людей на связь с Черепановым. И передайте от меня лично: надеюсь на его терпение. Выстоять, вытерпеть этот натиск, Деев. Нельзя думать, что у них резервы неисчерпаемы.

— Товарищ командующий, я хотел бы...

— Идите, полковник. Заставляете повторять.

— Слушаюсь, товарищ командующий,— упавшим, обреченным голосом произнес Деев, и огромная фигура его, загородившая проход траншеи, повернулась чересчур медленно, и Деев зашагал в потемки траншеи, исчез в блиндаже.

— Вот ведь как, товарищ генерал! — восторженно воскликнул Божичко, с завистью глядя в сторону блиндажа.— Деев — это все-таки полковник не зря! Расстроился ведь... А действительно, три броска — и там!

Бессонов не посмотрел вслед Дееву, ибо знал, что не отменит своего решения. Однако он тоже подумал, что этот, в сущности, очень молодой командир дивизии подавлен, обескуражен сейчас, ибо не сомневался, что получит разрешение командующего прорваться немедля к окруженному полку, с надеждой, как ему представлялось, спасти сжатый в танковых тисках полк от разгрома или позора.

— А действительно не так далеко до Черепанова, — сказал Божичко.— Рискнуть бы!

Бессонов молчал, наблюдая за спутанными выплесками встречного огня батарей по северному берегу, куда были выдвинуты истребительно-противотанковые дивизионы и где проходил рубеж обороны двух полков — стрелкового и танкового, за неясным шевелением розоватых квадратов наших и немецких танков на улочках северобережной части станицы. Черепановские батальоны и отдельный танковый полк Хохлова упорно и отчаянно вели бой, но все-таки не сумели сдержать натиск прорвавшихся немцев. «Что ж, значит, пора вводить второй эшелон — триста пятую дивизию. Вводить, пока не поздно».

А над головой свистело, хлестало, загоралось небо трассами, косматыми искрами сносимых на скаты высоты ракет, и было похоже, что немецкие автоматчики обошли НП с запада, просочились из станицы к подножию высоты.

— Ползают они где-то под носом!..— сказал Божичко с раздумчивой подозрительностью.— Прочесать бы высоту, что ли, товарищ генерал? Обнаглели, гады, вконец!

— Если бы, конечно, три броска — и разомкнуть кольцо вокруг полка Черепанова,— послышался рядом голос Веснина, и, обернувшись, Бессонов увидел его в двух шагах.— Эх, Петр Александрович, я печенками понимаю Деева! Никак невозможно видеть, как на глазах гибнет полк Черепанова.

Тоже высокий, но по сравнению с глыбообразным Деевым легкий, в белеющем полушубке, крест-накрест стянутый портупеями, Веснин крутил в пальцах очки, и, показалось, сине блестели его зубы, прикусившие нижнюю губу.

— Положение Черепанова действительно катастрофическое,— продолжал Веснин, подходя к Бессонову ближе.— Потери в батальонах огромные. И незаметно, чтобы немцы скоро выдохлись... Наседают и наседают. Не пора ли привлечь на помощь Дееву триста пятую? Честное слово, пора!

— Наденьте очки, Виталий Исаевич,— сказал вдруг Бессонов и чугунной ношей почувствовал всю тяжесть своего сдерживающего опыта и эту завидную молодую легкость эмоционального Веснина. И прибавил: — По высоте автоматчики ползают. Так и случайную смерть можно не увидеть... А насчет триста пятой вы не ошибаетесь — пора. Да, пора. И будем надеяться, Виталий Исаевич...

— Живу надеждой, Петр Александрович, — сказал Веснин и повторил: — Нет, не скоро они здесь выдохнутся. Для них тут: или — или...

— Для нас также,— медлительно проговорил Бессонов.

А высота гудела под нахлестами ветра, под накатами боя, то будто взлетала к освещенному небу, пышно иллюминированная рассыпчатым ливнем ракет, то опадала в темноту; быстрые светы и тени ходили по ней, шевелились в траншее, озаряя лица, гасли, бросая черноту в глаза.

— Товарищ генерал! Прошу вас в блиндаж! Прошу в блиндаж! — крикнул Божичко и сорвался с места, бросился к ходу сообщения, предупреждая кого-то свирепым окликом: — Сто-ой! Кто такие?

Там, внизу, в ходе сообщения, явственно возник шум движения, донеслись тревожные оклики часовых, потом сгрудились тени в узком проходе, и Божичко, подбежав к повороту траншеи, с автоматом наизготове, опять окликнул с неистовостью угрозы:

— Сто-ой! Стрелять буду! Кто такие?

Все смолкло внизу, тени перестали двигаться, одиночный голос часового сообщил:

— Из штаба армии. К командующему. Пропустить?

— Подожди! — остановил Божичко и, сбежав вниз, вгляделся.

— Кто это еще командует? Что это еще за «подожди»? — откликнулся другой голос в ходе сообщения.— Вы это, майор Божичко? Чего на своих орете, как с гвоздя сорвались? Где командующий?

— А, товарищ полковник! — протяжно сказал Божичко и засмеялся.— А я-то думал, фрицы ползают! Что это вы к нам, товарищ полковник? Соскучились?

— Давно по вас скучаю, майор Божичко. С вашим зверским голосом не в адъютантах бы вам ходить, а в командирах стрелкового взвода. Генерал здесь? Член Военного совета?

— Каким мать родила, товарищ полковник. Можно и взвод — не пропаду... Здесь они. Проходите.

Из хода сообщения, небрежно отряхиваясь, вышел в траншею начальник контрразведки армии полковник Осин, быстро стал оправлять ремень, кобуру пистолета, полевую сумку. Все сбилось на нем, будто бежал и падал, долго ползал по сугробам; и адъютант его, вооруженный автоматом, с головы до ног вывалянный в снегу, маленький, пухлый, отпыхиваясь, наклоняя голову при взвизгах очередей, стоял сзади и осторожно помогал ему — очищал налипшие белые пласты со спины, с боков Осина. Божичко не без заинтересованности оглядывал их и слегка улыбался. Позади в траншее, тоже отдуваясь, топтались еще трое: коренастый, с железной фигурой борца майор Титков и двое рослых, дюжих автоматчиков — из охраны Бессонова, оставленной им на НП армии.

— И вы туточки, ребята? — спросил с удивлением Божичко.— Вас вызывали?

— Что за любопытство? Много лишнего хотите знать, Божичко! — прекратил расспросы Осин и, справившись наконец с дыханием, оттолкнул услужливо скребущую по полушубку руку адъютанта.— Все, Касьянкин, все! Лоб от старания расшибешь! Со мной не ходить, ждать здесь! Находиться с охраной.— И кивком показал в глубину траншеи.— Майор Божичко, проводите-ка меня к члену Военного совета. Где его блиндаж?

— Он вместе с командующим, товарищ полковник. На энпэ.

— Ведите, майор! — приказывающе уронил Осин и двинулся вслед за Божичко с твердостью в крупной походке, с достоинством знающего себе цену человека, несуетливо и серьезно выполняющего долг. Незнакомые командиры из дивизии, встречаясь в траншее, провожали его взглядами, стараясь угадать, кто он и с каким приказом прибыл в этот час.

Когда подошли к Бессонову, ссутуленному возле окуляров стереотрубы, и Божичко почему-то с веселым полуудивлением доложил о прибытии начальника контрразведки, неширокая спина Бессонова зашевелилась лопатками, он повернулся, опершись на палочку, внимательно посмотрел в крепкощекое, лоснящееся пóтом лицо Осина, подождав несколько, произнес недоверчиво:

— Н-не понимаю... Собственно, вы зачем здесь, полковник?

— Хотелось посмотреть, что у вас тут, товарищ командующий! — ответил Осин текучим говорком, смягченным приятным северным оканьем, и заулыбался простодушно и широко, ладонью стер пот со щек.— Все об обстановке у Деева говорят — и я не вытерпел. Сначала на машине, а тут в станице — ползком, перебежками... С приключениями добрался. Стреляют со всех сторон, но обошлось!

— Вы прямо из штаба армии? — спросил Бессонов.

— Из штаба заезжал на энпэ армии. Оттуда прямо сюда.— Осин проследил за россыпью трасс над высотой, улыбка истаивала на крупно очерченных губах его. — Немцы-то что делают! Неужто надеются прорваться к Паулюсу, товарищ командующий?

Бессонов, не расположенный к объяснениям, все еще не понимая причину приезда малознакомого ему полков-

ника Осина, который совершенно не нужен был здесь, ответил коротко:

— Не ошиблись, полковник.

— Это вы, товарищ Осин? — спросил Веснин, также озадаченный нежданным появлением начальника контрразведки, и вышел к нему из темноты траншеи, потрогал пальцем дужку очков, поднял брови.— У вас какие-то дела на энпэ? Что-нибудь важное?

— Товарищ член Военного совета...

Осин не закончил фразу, его здоровое круглое лицо выразило серьезность, и, предупредительно глянув через плечо назад, на командиров в траншее, на Божичко, который, опираясь одним локтем на бровку, с независимым видом играл, пощелкивал ремнем автомата, он произнес, не договаривая мысль до конца:

— Товарищ член Военного совета, понимаю, что я редкий гость на энпэ, но все-таки... Не хочу мешать командующему, разрешите поговорить с вами? Разговор буквально на три минуты.

Бессонов поморщился: служебные дела полковника Осина мало интересовали его, гораздо важнее было выяснить другое — каким образом он добрался сюда через станицу, в которой везде шел бой.

— Как ехали, полковник?

— Через северо-западную окраину станицы, — ответил Осин.— Единственная дорога, по которой еще можно проехать, товарищ командующий. Проверил на себе.

— Совсем напрасно рисковали, полковник,— безразлично и холодно проговорил Бессонов и, прислонив палочку к стене траншеи, склонился к стереотрубе, показывая этим, что разговор окончен, а про себя усмехнулся: «Не из робкого десятка оказался этот Осин».

Божичко поднес руку к губам и прикрыл ею улыбку. Полковник Осин стоял навытяжку, глядя в спину Бессонова.

— Пойдемте, товарищ Осин, прошу вас за мной,— поторопил Веснин, не выражая удовольствия, но тоном своим смягчая обижающую холодную безразличность Бессонова.— Тут блиндаж.

Он потянул за локоть Осина, изумленно оглянувшегося назад, в сторону Бессонова, неподвижная фигура которого темнела подле стереотрубы, сливаясь со стеной траншеи.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Здесь, в маленьком блиндаже, вырытом наскоро артиллеристами в тупике траншеи, было пусто, пахло стылой землей, светила «летучая мышь», прицепленная крючком к наголовнику. Крошки земли, стекая из-под накатов, позванивали о стекло лампы, легонько покачивали ее.

Веснин сел за стол, сделанный из орудийных ящиков, бросил на доски пачку папирос и, доставая папиросу, сказал:

— Слушаю вас, товарищ Осин. Объяснить конкретнее прошу, если можно.

Полковник Осин мельком оглядел блиндаж, его темные углы, рукой потрогал на нарах кучей брошенный возле чехлов от буссоли и стереотрубы брезент, затем задернул плащ-палатку над входом; лишь тогда сел к столу, снял шапку, освободил верхний крючок полушубка — ему было жарко, он был потен после перебежек и ползания в снегу,— заговорил, снизив голос:

— Товарищ член Военного совета, простите за вопрос: как вы лично оцениваете положение дивизии в данный момент?

— Разве не ясно? — Веснин размял папиросу, зажег спичку, прикурил.— Вы сами, вероятно, убедились, как сложилась обстановка в дивизии к вечеру. А в связи с чем этот вопрос?

Полковник Осин выпрямился за столом.

— Самолично убедился, товарищ член Военного совета...

— Я вас слушаю, слушаю.— Веснин затянулся папиросой и не то чтобы прервал Осина, но поторопил его и, выпуская дым к огню «летучей мыши», кивнул ему, на самом деле по-прежнему не понимая причину приезда начальника контрразведки: присутствие на НП во время боя не входило в его прямые обязанности.— Да, продолжайте. Зачем, собственно, вы приехали? Это меня интересует. Сами понимаете, что это выглядит не очень привычно.

Полковник Осин, раздумывая, провел кулаком по влажному лбу, его светлые кудрявые волосы слиплись; выступающие, хорошо выбритые скулы казались кирпичными. Он втянул носом воздух, проговорил окрепшим голосом:

— Наверное, мой приезд выглядит странно, товарищ член Военного совета. Но не только я встревожен положением в дивизии Деева в данный момент. Я слышал мнение и генерала Яценко, и члена Военного совета фронта Голубкова.

— Так в чем же дело? — Веснин поднял брови.— Что вы сказали о Голубкове? Он — в штабе армии? Вы виделись с ним?

— Да, он приехал... И тоже высказал опасение насчет относительно сложного положения дивизии. Голубков находится сейчас не в штабе, а на энпэ армии. Хотел вас видеть, товарищ член Военного совета, но вы здесь...

Полковник Осин погладил вправо и влево шершавые доски стола, извинительно улыбнулся Веснину голубоватыми, неуловимо цепляющимися за его глаза глазами. В них не было того выражения защитного деревенского простодушия, какое было, когда разговаривал с Бессоновым; в них просвечивало желание деликатно не обидеть, желание не переступать определенных субординацией граней.

— Разговор шел о том, что вам и командующему армией удобнее было бы для руководства боем сейчас находиться там, где нет все-таки такой угрозы вашей базопасности. На энпэ армии, например.

— То есть? Переехать с энпэ дивизии на энпэ армии? Сейчас?

— На энпэ армии еще возможно проехать через северо-западную окраину станицы. Я проехал именно этим путем. Там еще сравнительно спокойно. Другой дороги уже нет. Своими глазами видел немецкие танки на улицах. Но и эту дорогу с часу на час могут перерезать...

— Переехать на энпэ армии, вы сказали? Разве эта забота входит в ваши обязанности? — спросил Веснин и пожал плечами.

— Товарищ член Военного совета,— с некоторой обидой и упреком, удивляясь наивной прямоте дивизионного комиссара, ответил Осин,— в данном случае, как я сказал, это не мое личное мнение. Но нередко некоторые превратности боя заставляют проявлять беспокойство и меня.

— Ах да, да-а,— протянул Веснин.—Да, да, беспокойство... Но я тоже обеспокоен, товарищ Осин.

И командующий — не менее меня. Это же естественно. Думаю, что и ему известно, что пехота — это руки, танки — ноги, а полководец — голова... Потеряешь голову — потеряешь все. Бессонов не из тех, кто теряет голову, рискует без надобности.

Намеренно сказав это, он несколько секунд с пытливым интересом разглядывал кудрявые, слегка примятые шапкой белокурые, еще влажные волосы Осина, его широкий лоб, немного крючковатый нос, его округлое здоровой полнотой лицо от природы сильного, с крепким током крови и крепкими нервами человека и вроде бы впервые разглядел прямые белые ресницы и льдистые искорки упорства в голубоватых глазах полковника, который в то же время был мягок в каждом своем слове. И щеки Веснина начали гореть, покрываться пятнами, и что-то неприязненное, как разочарование, подымалось в нем против Осина — против его спокойного и прочного здоровья, покатого просторного лба, белых ресниц, против этих его, казалось безобидных, полусоветов и этой сдержанности и вежливости, за которой была скрыта осторожная и деликатная принадлежность к особой охранительной власти, что в силу многих обстоятельств нужна была, существовала рядом, в одной армии с Весниным, выполняя необходимые функции, никогда не вмешиваясь в обстановку боя, и Веснин, подавляя раздражение, поднялся от стола.

— Значит, товарищ Осин,— сказал Веснин и с пятнами на щеках, засунув руки в карманы полушубка, прошелся по блиндажу,— значит, в связи с обстановкой в дивизии генералу Бессонову и мне нужно оставить этот энпэ? Но в конце концов вы же знаете, что на войне никто, нигде и никогда не гарантирован ни от осколков, ни от пули. Ни на энпэ армии, ни на энпэ дивизии. — Веснин вдруг увидел белокурый затылок Осина, его круглую подбритую шею, плоские уши, внимательные и чуткие, и продолжал с прорвавшимся в голосе раздражением: — Что за вздор? О чем вы мне говорите? Не могу понять этого. Кто вам посоветовал это — Голубков? Не верю, чтобы он мог посоветовать подобное! Никак не верю!

— Товарищ дивизионный комиссар, простите, пожалуйста, но мистификации не в моих правилах. И потом, кроме поручения Голубкова, у меня есть еще одно дело к вам. Несколько другого порядка...

Этот внушительно-тихий голос полковника Осина задержал Веснина перед столом; поднятый навстречу выверяющий взгляд и засветившаяся под огнем «летучей мыши» льдистая голубизна в глазах начальника контрразведки охладили его на миг. И тогда он, подойдя к столу, оперся пальцами о доски, спросил требовательно:

— Что еще у вас?

Из поднятых к огню лампы глаз выматывалась какая-то стеклянная паутинка, толкалась в лицо Веснина, но Осин молчал, точно бы взглядом этим одновременно настороженно вымерял что-то в самом себе и в Веснине, пока не решаясь сказать, переступить нечто останавливающее его.

— Говорите же! — потребовал Веснин.

Осин встал, подошел к входу в блиндаж, постоял там с минуту, потом снова сел к столу; скрипнули доски под его плотным телом. И опять стеклянная паутинка коснулась Веснина, обволакивая его сниженным голосом Осина.

— Поймите меня правильно, товарищ член Военного совета. Зачем забывать вам и командующему армией об осторожности, если можно не забывать? Я знаю характер командующего, который бы и слушать меня не захотел, поэтому говорю с вами, авторитетным представителем партии, совершенно откровенно.

— Так. Продолжайте,— сказал и ниже наклонился над столом Веснин, глядя в зрачки Осина и все-таки не вполне угадывая нечто недосказанное начальником контрразведки из привычной, должно быть, сдержанности или из опасения перед ним, членом Военного совета, наделенным несравненно большей властью.

— Товарищ дивизионный комиссар.— Выверяющее выражение глаз не исчезло, а светлые брови Осина чуть изогнулись.— Для вас нет секретных данных, вы знаете отлично, какие роковые события произошли на Волховском фронте в июне этого года. Вы помните, конечно?

— То есть? — И Веснин порывисто оттолкнулся пальцами от стола, засунув руки в карманы полушубка, сделал несколько шагов по блиндажу, сразу озябнув и не вынимая рук из карманов. — Не очень, в конце концов, понимаю! Вы хотите сказать о Второй ударной армии?

— Да, о событиях во Второй ударной армии. Забыть этого невозможно. Именно...— значительно подтвердил

Осин и посмотрел на накаты блиндажа: они хрустнули от близких разрывов на высоте, заскрипела, закачалась над головой «летучая мышь».— Смотрите как! Танки по энпэ бьют...

Веснин резким движением сел к столу, резким движением вытащил руки из карманов и потянулся к пачке папирос, на которую струилась с потолка земля, но тут же оттолкнул папиросы, потер виски, утишая головную боль, и взглянул на Осина изумленно и прямо. В Веснине дернулось что-то, он почувствовал, что вспылит, ударит сейчас кулаком по столу, и он выговорил гневно:

— Так какое отношение к нам имеет все это?.. Вы что же, товарищ Осин, беспокоитесь... боитесь, что если возникнет полное окружение дивизии, то с Бессоновым и со мной черт-те что произойдет? Откуда у вас появилась такая осторожность?

— Зачем вы так, товарищ член Военного совета?

Осин опустил белые ресницы, заговорил искренне и обиженно:

— Зачем это вы так? Я знаю мужество генерала Бессонова и знаю вас и не могу себе объяснить, почему вы, простите, считаете меня за совершенного глупца, товарищ член Военного совета? Я не хотел быть неправильно понятым.

— То есть как понятым?

— Я говорю о случайностях. Вам еще неизвестно о трагической судьбе сына командующего — младшего лейтенанта Бессонова?

Разрывы снарядов толкнули блиндаж, опять замоталась лампа под затрещавшими накатами, застучали мелкие крошки земли по доскам стола. Кто-то тяжело топая, крича команды, пробежал по траншее мимо блиндажа, послышались невнятные ответные голоса, но Веснин не обращал внимания на возникший в траншее шум.

— Нет,— ответил он.— Впрочем, знаю, что сын командующего пропал без вести на Волховском фронте. А вы что знаете?

Осин, повернув голову к входу в блиндаж, прислушался к разрывам на высоте, к голосам в траншее, потом не совсем решительно положил на стол пухлую свою полевую сумку, новенькую, непокорябанную, расстегнул ее. Под его перебирающими пальцами зашуршали бумаги.

— Познакомьтесь, товарищ дивизионный комиссар, с последним фактом. Эту листовку я только что получил и решил немедленно вас проинформировать. Познакомьтесь...

По-мышиному зашуршавшая маленькая листовка, аккуратно вынутая Осиным из пачки бумаг в сумке и через стол протянутая Веснину, легла желтым прямоугольником на неструганые доски перед ним. Пятном бросилась в глаза, зачернела плохо вышедшая на дешевой газетной бумаге фотография и жирные буквы под ней: «Сын известного большевистского военачальника на излечении в немецком госпитале». На фотографии — худой, словно перенесший изнурительную болезнь мальчик, остриженный наголо, в гимнастерке с кубиком младшего лейтенанта, почему-то с расстегнутым воротом — виден свежий, криво подшитый подворотничок, — сидит в кресле за столиком в окружении двух немецких офицеров, с фальшивой улыбкой обернувших к нему лица. Мальчик тоже странно, вымученно улыбается, глядит на высокие рюмки посреди столика, возле подлокотника кресла виден прислоненный костылек.

— Это что, не фальшивка? Это действительно сын генерала Бессонова? — проговорил Веснин, сопротивляясь, не веря, не соглашаясь с тем, что этот изможденный, остриженный мальчик может быть сыном Бессонова, и, спросив, перевел глаза на Осина, уже молча предупреждая его, что ошибки не простит.

— Все сверено, товарищ дивизионный комиссар,— ответил Осин с серьезным и строгим выражением человека, знающего, за что он несет ответственность.— В смысле фотографии ошибка абсолютно исключена. Познакомьтесь и с текстом, товарищ член Военного совета.

И Осин отклонился назад, заскрипев ящиком, выпустил воздух носом.

Веснин пробежал глазами по короткому тексту под фотографией, с трудом и не сразу понимая смысл, по нескольку раз перечитывая фразы, знакомо ядовитые, источающие чужой запах, острую въедливую ложь обычной листовочной фашистской пропаганды, а внимание все время отрывалось от текста, не могло сосредоточиться, и, переставая читать, он смотрел на эту выступающую пятном фотографию, на вымученную улыбку остриженного мальчика, на костылек, прислоненный к

подлокотнику кресла, на чистый, косо подшитый подворотничок расстегнутого ворота и эту жалкую, исхудавшую юношескую шею сына генерала Бессонова. Внимание Веснина задержалось на первых фразах: «Сын видного советского военачальника Бессонова, который, как известно, командует одной из групп соединений с начала войны, заявил представителям немецкого командования, что его малообученную, плохо вооруженную роту, которой он командовал, бросили на убой. Последний бой был невыносим... Младший лейтенант Бессонов, получивший тяжелое ранение, храбро, почти фанатично сражавшийся, заявил также: «Я был очень удивлен, что меня поместили в госпиталь и вылечили. В госпитале я увидел много советских пленных. Им оказывается полное лечение. Советско-комиссарская пропаганда распространяет слухи о каких-то зверствах немцев, что не соответствует действительности. Здесь, в госпитале, у меня было время, чтобы понять: немцы — это высокоцивилизованная, гуманная нация, которая хочет установить свободу в России после свержения большевизма...»

— Познакомились, товарищ член Военного совета? — прозвучал серьезный голос Осина, который следил за долгим чтением Веснина.— Разрешите, я возьму листовку?

«Значит, это сын Бессонова, он жив, и это теперь очевидно,— подумал Веснин, не в силах оторваться от нечеткой, серой фотографии этого истощенного мальчика с кубиками младшего лейтенанта.— Бессонов не знает об этом. Может быть, догадывается, но не знает. Что же это такое? Текст явно фальсифицирован. Несомненная фальшивка, каких было немало. Кто-нибудь из мерзавцев, попавших в плен вместе с ним, указал немцам: вот, мол, комроты — сын генерала. Да, так, наверное. Скорее всего так. Не может быть иначе. И после этого был помещен в госпиталь. На первом же допросе сфотографировали, придумали текст. Иначе быть не может! Ведь школьник, мальчишка, воспитанный комсомолом, Советской властью! Нет, другому я не верю, не могу поверить!»

— Товарищ член Военного совета, листовка, вы сами понимаете, не для оглашения. То есть... Очень не хотел бы, чтобы это стало известно командующему.

— Подождите.

«Да, Бессонов, Бессонов... Он сказал, что ему сообщили только, что сын пропал без вести. В списках убитых и раненых нет... А каким числом датирована листовка? 14 октября 1942 года. Около двух месяцев назад».

— Товарищ член Военного совета, простите. Листовку верните мне. Случаем войдет сюда командующий. Мы не имеем права травмировать его морально...

«Знали об этом в Москве или не знали, когда был там Бессонов? «Листовка, вы сами понимаете, не для оглашения...» «Не имеем права травмировать». Значит, кто-то так или иначе ограждает командующего от истинной трагедии, постигшей его сына. Но зачем? Какой смысл?»

— Скажите, товарищ Осин, вы верите этой листовке? — спросил Веснин вполголоса.— Верите, что этот мальчик... предал, изменил?..

— Не думаю,— ответил Осин и пренебрежительно махнул рукой. Затем поправился: — Но... на войне все возможно. Абсолютно все, это я тоже знаю.

— Тоже знаете? — повторил Веснин и, стараясь не выказывать дрожь пальцев, сложил листовку вчетверо и, расстегнув полушубок, засунул ее в нагрудный карман.— Листовка останется у меня, как вы сказали — «не для оглашения».— Веснин положил сжатые кулаки на стол.— Теперь вот вам мой совет: немедленно уезжайте отсюда! Уезжайте с энпэ сию минуту. Так будет лучше.— И, упершись кулаками в стол, Веснин поднялся.

Осин тоже встал, но излишне порывисто, качнув стол коленями; мгновенная белизна согнала здоровый ток крови с его полноватого лица, кожа на щеках натянулась.

— А если уж что произойдет в окружении, полковник Осин...— договорил Веснин с расстановками,— если что произойдет, то безопасность... вот она.— И он провел рукой по ремню, похлопал по кобуре пистолета на боку.— Вот она...

Некоторое время они стояли молча, у разных концов стола. Танковые разрывы долбили высоту, казалось, сдвигали куда-то в сторону блиндаж; ручейки земли бежали из-под накатов по стенам, шуршали на нарах, от качки под потолком «летучей мыши» потемнело, закоптилось стекло. И, уже готовый выйти из блиндажа в

траншею, где были люди, раздавались команды, живые голоса, на морозный воздух после этого разговора, Веснин видел, как еле улыбались крупные губы Осина и совсем не улыбались его голубые глаза, и проговорил с отвращением к самому себе за свою резкость:

— Бессонов не узнает об этом разговоре ни слова!

Осин вежливо молчал. Он ни на минуту не забывал о высокой власти Веснина, о его хороших отношениях с членом Военного совета фронта Голубковым, не забывал о его праве, непосредственной связи с Москвой и думал в то же время о Веснине как о человеке слишком горячем, недальновидном, неосторожном, даже мягкотелом,— такие не внушали веры в прочность их положения. Осин знал о нем все: знал, что Веснин не из кадровых, а из штатских, из преподавателей Высшей партийной школы и Политакадемии; хорошо помнил, что у него вторая жена — преподавательница, армянка по национальности, и десятилетняя дочь Нина от первой жены, родной брат которой был осужден в конце тридцатых годов, вследствие чего Веснину был вписан строгий выговор и снят лишь перед войной; знал, что в сорок первом году, будучи комиссаром дивизии, он вырвался из окружения под Ельней и вывел почти целый полк; знал и помнил многое, о чем сам Веснин, по всей вероятности, давно забыл. Но, как бы взвешивая все это в своей цепкой и емкой памяти, Осин по привычке прикрывался ничего не выражающей улыбкой. И с такою же неопределенностью ответил Веснину:

— Я лично ни на чем не настаивал, товарищ дивизионный комиссар. Я только выполнял свой долг... Служебный и партийный.

— А поскольку ваш долг выполнен,— проговорил Веснин сумрачно, — делать вам больше здесь нечего. Повторяю еще раз: уезжайте с энпэ немедленно и не опасайтесь случайностей! Бессмысленнее вашей осторожности ничего нельзя придумать! Неужели одно понятие «окружение» вызывает мистические страхи?

Веснин подошел к столу, блеснул очками на полковника Осина, схватил со стола обсыпанную землей пачку папирос и, согнувшись в дверях блиндажа, вышагнул в мерцающую ракетами темноту, в гул автоматных очередей, в выстрелы, разносимые ветром над бруствером траншеи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Выйдя из блиндажа, Веснин не сразу нашел в траншее Бессонова, ослепленный красно-зелеными вспышками ракет, оглушенный звонко, над ухом стучащими очередями. В изгибе хода сообщения он заметил на брустверах нескольких человек, они стреляли из автоматов куда-то вниз, и Веснин на ходу поинтересовался машинально:

— Что обнаружили? Куда стреляете?

— Ползают гады по скатам! — ответил ему кто-то с бруствера.— Просачиваются, б...! — И, прострочив длинной очередью, крикнул весело:— Виноват, товарищ дивизионный комиссар!

Веснин узнал майора Божичко; шапка едва держалась на затылке, открывая его ранние залысины, лицо светилось веселым азартом.

— Не красная девица. Вины не вижу,— сказал Веснин и усмехнулся.— Наоборот, благодарю, как говорят, за бодрость духа. Где командующий?

— Дальше чуть. По траншее. С Деевым,— ответил Божичко и, любопытствуя, спросил: — А Осин-то! Он-то где? Ну, прямо герой — на энпэ, можно сказать, с боем прорвался! Только зачем он? Орден, что ли, собирается схлопотать на грудь за участие в боях? Касьянкин вот тоже не знает, военную тайну не выдает! Молодец!

Божичко, разгоряченный стрельбой, говорил нестеснительно, не скрывая свою обычную доверительность в общении с Весниным, и, сказав о Касьянкине, толкнул кого-то, темным бугром лежащего рядом на бруствере, и засмеялся:

— Вот убеждаю Касьянкина, как нужно согласно стихам хоть одного оккупанта убить, чтобы после войны рассказывать, товарищ дивизионный комиссар, а он мне — стихи, мол, не уважаю. Ничего, я тебя воспитаю, Касьянкин, не все тебе штаны в тылу протирать. Извините за грубость, товарищ дивизионный комиссар... Учись, Касьянкин, пока я жив! Давай туда короткими!

— Оставьте меня в покое, товарищ майор! — огрызнулся растерянным голосом Касьянкин.— Товарищ член Военного совета, майор Божичко не имеет права мною командовать и упрекать тылом...

— Вы еще здесь, Касьянкин? — проговорил Веснин.— Почему именно здесь?

Всегда расположенный к простоте и легкой иронии общительного Божичко, он не остановил внимания на его ерничестве, а после разговора с Осиным, после мучительной новости, внезапно и резко оголившей судьбу сына Бессонова, увидев Касьянкина, подумал только о том, что Осин еще не уехал с НП. И когда Касьянкин сполз на животе с бруствера, обиженно поддергивая ремень, отряхиваясь, Веснин сказал непривычным тоном приказа:

— Слушайте внимательно, Касьянкин. Немедленно — к полковнику. Он ждет вас в артиллерийском блиндаже. В конце траншеи. И немедленно назад, в штаб армии. Идите. Бегом!

— Есть бегом, товарищ дивизионный комиссар! — явно обрадованный, воскликнул Касьянкин. Он воспринял этот приказ как спасительное облегчение и, козырнув, неуклюже бросился в озаренный ракетами ход траншеи.

— Что в самом деле стряслось, товарищ дивизионный комиссар? — посерьезнев, произнес Божичко.— Или секрет?

Веснин сказал:

— Ваш юмор, Божичко, могу понять я, потому что знаю вас. Но не очень надейтесь, что поймут все. Известно ли вам, что есть люди, которые воспринимают шутки слишком серьезно?

— Спасибо, товарищ дивизионный комиссар. Но мне чихать на этих серьезных, простите! Моя анкета чиста, как стеклышко! — бедово сказал Божичко.— Один на белом свете как гвоздь. И прекрасно. Терять абсолютно нечего, кроме шпал в петлице. А Касьянкин — лапоть и лопух, работает как колун, даже смех берет. Рассчитывает на родственность адъютантских душ.

— То есть? — не понял и нахмурился Веснин.— Именно?

— Ба-альшой сундук, товарищ дивизионный комиссар,— засмеялся Божичко.— Но с любопытством... Он мне: «Как живете с командующим, ничего генерал-то, сапоги не заставляет снимать? Водку втихаря не глушит?» А я ему: «Ты стихи про «Убей немца» знаешь? Автомат умеешь держать? Как оружие приспособляют — под мышкой или ниже поясницы?» Он опять: «Мрачноват очень генерал-то, как с комиссаром-то, дружки или в контрах?» Прелестно и откровенно поговорили, товарищ дивизионный комиссар!

— Бессонов там? — спросил Веснин, глядя в ту сторону траншеи, где возникали и истаивали при опадающем свете ракет фигуры людей, и пошел по траншее, но, против воли, он замедлял шаги и вдруг остановился в нише для буссоли, потому что не в силах был сказать Бессонову то, что знали полковник Осин и он, член Военного совета, то, о чем Бессонов никак не подозревал: о противоестественно страшной судьбе того остриженного, с вымученной улыбкой мальчика, его сына, который не был убит, а жил в плену уже несколько месяцев.

«Он может спросить о причине приезда Осина. Что я отвечу? Подойти сейчас и в глаза ему лгать? — думал Веснин.— Каковы же будут тогда наши отношения дальше? Нет, не могу подойти к нему и делать вид, что ничего не произошло. Между нами должна быть абсолютная искренность и честность... Но язык не повернется сказать ему сейчас о сыне, не могу...»

Веснин чувствовал, что именно непроходящие непростота и натянутость в отношениях с Бессоновым не давали ему никакого права дипломатично изворачиваться, он не должен был что-либо смягчать, уходить от главного — и, так стоя в нише для буссоли, он испытывал отвратительно жгучий стыд в душе.

— Петр Александрович! — Веснин неожиданно для себя вышагнул из ниши, быстро подошел к Бессонову, окруженному возле стереотрубы офицерами.— Петр Александрович...

— Вот вы мне и нужны, Виталий Исаевич,— сказал Бессонов и выпрямился у стереотрубы, носовым платком вытер исколотое снежной крошкой лицо.— Триста пятая вступила в бой. Посмотрим теперь, как сложится. Но главное вот что...— Он все обтирал лицо носовым платком с видом рассеянной раздумчивости.— Главное теперь — танковый и механизированный корпуса. Поторопить их, всеми силами поторопить! Попросил бы вас, Виталий Исаевич, поехать навстречу танковому корпусу в район сосредоточения и, если не возражаете, пока оставаться там для более успешной координации действий. Считаю это необходимым. Вы, кажется, любите танкистов, насколько я помню?

И Веснин, с подкатившим к горлу клубком, еле сумел ответить:

— Я все сделаю, Петр Александрович... Выеду немедленно...

— Поезжайте. Только почаще оглядывайтесь в станице: положение на северном берегу не восстановлено.

...Когда Веснин подошел к тому месту в траншее, где только что встретил майора Божичко, тот, по-прежнему лежа на бруствере, стрелял; от автоматных очередей ходило его плечо, съезжала на затылок шапка.

— Майор Божичко, вы мне нужны!

Божичко обернулся на оклик, примял на затылке шапку ударом руки, выкрикнул с радостным азартом:

— Плотненько окружают фрицы! Подъезжают на бронетранспортерах и расползаются, как клещи! Слушаю, товарищ дивизионный комиссар!

Веснин стоял в траншее, наклонив голову.

— Послушайте меня, Божичко, я сию минуту должен ехать в танковый корпус. Не забывайте об одном: как зеницу ока берегите командующего. Советую быть поближе к нему.

— Ясно, товарищ дивизионный комиссар.— И Божичко, опустив автомат, переспросил: — Сейчас едете? Простите, но не очень ли будет сейчас!.. По высоте-то вроде отовсюду лупят.

— Со мной поедет полковник Осин и охрана.— Веснин легонько потряс Божичко за плечо.— Пустяки. Тем же путем, которым Осин проехал. Все будет как надо, Божичко. Похуже бывало...

— Ни пуха ни пера, товарищ дивизионный комиссар!

Тогда Веснин улыбнулся, махнул рукой.

— К черту, к черту, ко всем чертям, Божичко!

Полковник Осин и Касьянкин сидели в артиллерийском блиндаже за столом и оба, вслушиваясь в стрельбу, ждали чего-то в хмуром молчании. Веснин, переступив порог и не выказывая спешки, с изучающей неторопливостью оглядел мгновенно вскочившего Осина, сказал незнакомо властным тоном:

— Мне с вами по дороге, полковник Осин. В станицу Григорьевскую. Где стоит машина? Возьмите охрану!

— Я рад, товарищ дивизионный комиссар... очень рад. Спасибо. Машины замаскированные, стоят в сарае, под высотой, спасибо...— заговорил удовлетворенно Осин, взял со стола кожаную полевую сумку, спросил не без осторожности: — А как... генерал Бессонов? Он как же? Остается здесь?

Веснин не выдержал:

— Вы что, так и убеждены, что я еду с вами в целях личной безопасности? Неужели вы в этом уверены?

— Товарищ дивизионный комиссар,— Осин обиженно смежил белые ресницы,— напрасно вы на меня сердитесь. Думаю, вы застанете члена Военного совета фронта на энпэ армии. И он сам выскажет вам свое беспокойство.

— Не медлите, Осин. Ведите к машине!

— Поедем через северо-западную окраину, на проселок,— сказал Осин.— Там пока свободно.

Только внизу, под высотой, когда машины по команде Осина развернулись по улочке станицы и разом набрали скорость, помчались к северо-западной окраине. Веснин подумал, насколько все-таки непрочно и зыбко было положение дивизии Деева. Сверху, с НП, обстановка на этом берегу представлялась несколько иной, не такой серьезной, не такой предельно обостренной. Тугие удары вплотную приближенного боя беспрерывными толчками врывались в уши. Северобережная часть станицы была охвачена увеличившимися вблизи пожарами — все корежилось, рушилось, изгибалось, двигалось в огне, вздымаемом среди дымов разрывами снарядов; пулеметные очереди выбивали из пылающих чердаков рассыпчатые космы искр; горький и едкий жар раскаленного воздуха чувствовался и в машине. Этот жар, смешанный с дымом, слезил, разъедал глаза. Запершило и стало саднить в горле. Шофер то и дело кашлял, наваливаясь при этом грудью на баранку. В дальнем конце улочки Веснин увидел неясно танки, они скользнули красным отблеском за домами. Мелькнули и исчезли, удаляясь от машины, вернее, машина удалялась от них, и невозможно было различить, чьи это были танки.

— Жми на всю железку! За Титковым, он знает дорогу! На окраине сразу направо! — крикнул Осин с возбуждением человека, принявшего на себя всю ответственность, и обернул к Веснину круглое, крепкое лицо.— Проскочим, товарищ дивизионный комиссар!

— Не сомневаюсь.

— Проскочим в полном порядке,— подтвердил Осин и прерывисто втянул воздух через ноздри.— Километра три опасных...

Ему хотелось общения, но Веснину этого никак не хотелось.

Он сидел сзади, рядом с Касьянкиным, безмолвно вжавшимся в спинку сиденья; на коленях адъютанта трясся, на ухабах толкал в бок Веснина автомат, взгляд блуждающе перебегал с сотрясаемого кашлем затылка шофера на снежпую дорогу, сплошь озаренную пылающими домами. При словах Осина Касьянкин вздрогнул, вообразив эти три километра, повел испуганно глазами вправо и влево, и Веснин подумал: «Экий несуразный парень. Трусит не в меру, что ли?»

— Держите автомат покрепче, Касьянкин. Или дайте его мне,— сказал Веснин.— Божичко так и не научил вас обращаться с оружием, к сожалению.

— Я держу... держу, товарищ дивизионный комиссар, — прыгающим голосом ответил Касьянкин и искательно закивал: — Простите меня, пожалуйста.

— Ух, Касьянкин! Учу уму-разуму, учу...— с мягкой досадой произнес Осин и, поиграв желваками, скосился на адъютанта, заговорил примирительно, обращаясь к Веснину: — Спасибо вам, товарищ дивизионный комиссар, что правильно меня поняли... Зачем так безрассудно рисковать? Сами прекрасно видите, осталась относительно свободной единственная дорога. Единственная, которую держат...

— Я вас правильно понял, товарищ Осин, — ответил Веснин намеренно спокойно.— Настолько правильно, что разговаривать нам сейчас не о чем. Оставим разговор на потом.

— Ясно, товарищ дивизионный комиссар,— тотчас согласился Осин с притворным и вроде бы тоже успокоенным пониманием и нарочито неспешно отвернулся, прочно устроился на сиденье.

Справа проблескивали поредевшие пожары, впереди улочка станицы, кажется, кончилась. Машина неслась вдоль берега, круглая высота с НП дивизии маячила уже сзади, а слева, над крышами домиков, за рекой, широко и багряно хлынуло и встало горячее зарево боя, расцвеченное сполохами ракет, космато брызгающими в раскаленном небе разрывами бризантных — с той стороны накатило разнозвучным и плотным гулом.

Машина, залитая багровым светом, уходила вправо от этого зарева, от боя за рекой, подымалась в гору за околицу станицы мимо последних домиков, и Веснин, невольно испытывая облегчение, некую освобожденность, теперь видел впереди машину охраны, на всей скорости

выскочившую по зеркальному наезженному подъему на возвышенность за околицей, где кончалась граница огня. Там мягко краснела темнота ночи. Даже по утробному реву мотора, по тряске от скорости машины, по этой свободной мгле впереди над степью, где стояла ничем не тронутая ночь, Веснин ощущал, что лишь сейчас миновала опасность, лишь сейчас осталась позади зона боя, немецкие танки в станице, река, НП дивизии над берегом; и вдруг с особой реальной ясностью представил холодное, усталое лицо Бессонова, выслушивающего доклады командиров там, на высоте. И, не без встревоженности подумав об этом, опять увидел облитое заревом переднее стекло, прочную спину Осина, над мехом воротника его красное, маленькое, наполовину прижатое шапкой ухо и совсем четко — край напряженного глаза, зорко и вопросительно устремленного на шофера. А шофер нервно кашлял, наваливаясь на баранку, судорожно, припадочно сотрясаясь, хотя запаха гари в машине не было.

— Ты очумел? Почему сбавил скорость? — крикнул внезапно Осин и притиснулся телом к шоферу.— Что? Что?.. В чем дело?

— Товарищ полковник!.. Смотрите! — с трудом сквозь безостановочный кашель выдавил из себя шофер.— Смотрите, смотрите туда!..

— Титков... Титков, кажется, разворачивается...— тоненько сообщил Касьянкин, вытянув к шоферу шею, привстав, вцепившись двумя руками в спинку переднего сиденья; автомат его сполз, упал с коленей на трясущийся пол машины, запрыгал на ногах Веснина.

— Танки!..— прохрипел шофер, сумасшедше озираясь.— Немцы впереди!..

— Где? Какие немцы? — закричал Осин.— Откуда? Наши «тридцатьчетверки»! Вперед!.. Ты, чудак, спятил? Дай газу!..

Автомат все убыстренней колотил по ногам Веснина.

«Держите автомат в конце концов!» — хотел сказать Касьянкину Веснин, но не сказал ни слова, потому что увидел то, что происходило впереди.

Машина, завывая на подъеме, вынеслась на возвышенность за околицей. Раскрылась и стеной встала розоватая мгла степи до черного горизонта, и среди этой разжиженной заревом темноты, превращенной в сумерки, там, на возвышенности, поспешно, хаотичными толчками

взад и вперед, разворачивалась перед какими-то огромными силуэтами, похожими на стога сена, передняя машина с охраной; она наконец развернулась и, подскакивая на ухабах, помчалась навстречу по берегу. Дверца справа от шофера была открыта, из нее по пояс высунулась фигура майора Титкова, он, похоже было, кричал что-то, вскидывая вверх автомат. Потом выпустил в небо очередь.

— И сейчас уверены, что это «тридцатьчетверки», Осин? — выговорил Веснин так неожиданно для этого момента спокойно, что сам почти не различил своего голоса.

В ту же минуту силой резкого торможения его больно ткнуло грудью в спинку переднего сиденья, но он успел уловить, как черные силуэты на мутно-лиловом зареве неба сыпали искры на снег, донесся оттуда слитный гул танковых моторов. И тотчас красной зарницей вылетело впереди пламя, рванулось громом. Широкий огненный конус встал перед машиной с охраной, отбросил ее в сторону, поставил боком на возвышенности. Из машины выскочил только один человек и, петляя и падая, побежал вниз по дороге. Он, чудилось, кричал что-то, вскидывая над головой автомат.

— Назад!..— бешено скомандовал Осин и, отбросившись на сиденье, ударил по плечу шофера.— Разворачивай! Быстро! Вниз! В станицу!

— Немцы! Немцы!.. Да как же это!..— вскрикивал Касьянкин, заваливаясь в угол машины, зачем-то пытаясь подтянуть колени к животу, и от этих нелепых движений, от его перехваченного ужасом голоса что-то колючеострое, как страх, передалось, толкнулось в душе Веснина.

— За-мол-чите, Касьянкин! — Он с гневом и отвращением оттолкнул его поднятое трясущееся колено, повторил: — Замолчите вы! Держите себя в руках!

— Рядом ведь они, рядом! Напоролись мы!..— рыдающе выкрикивал Касьянкин.— Что же это?..

— Замолчите, я вам сказал!

Веснин слышал команды Осина — «Назад, быстрей! Разворачивай! Жми на всю скорость!» — слышал судорожно-припадочный кашель, бьющий шофера, видел, как он резкими рывками рук и плеч крутил руль и как Осин, весь по-звериному подавшись вперед, в нетерпении бил кулаком по железу над щитком приборов. Веснин сквозь

боковое стекло хотел увидеть танки и в следующий миг с ощущением, что машина наконец развернулась и как-то косо, визжа шинами, скатывается, скользит вниз, точно ослеп от опаляющего огня второй зарницы, вылетевшей в упор. В глазах вздыбилась гремящая тьма, зазвенело стекло, пахну́ло удушающим жаром раскаленной печи. Страшным толчком Веснина подкинуло в машине, бросило в сторону на нечто живое, мягкое, пронзительно закричавшее и завозившееся под ним. С неистовой попыткой высвободиться из роковой неожиданности, случившейся с ним, он подумал еще четко: «Только бы сознание сейчас не потерять! Кто так кричит, Касьянкин? Его ранило? Почему он так кричит?»

Но от сильного вторичного удара головой о металлическое и жесткое он, наверно, на минуту потерял сознание. Очнулся же Веснин в сером туманце, от крика, оттого, что кто-то дергался под ним, и не сразу понял, что неестественно придавленным лежит на ком-то, дверца машины не справа, а над головой; смутно догадался: машина, опрокинутая, лежала на боку под бугром. Все расплывалось в обморочной пелене: очков не было. И тут, не совсем соображая, обеими руками шаря очки, Веснин неясно увидел приникшую щекой к вжатой в сугроб нижней дверце неподвижную голову шофера, без шапки; переднее стекло выбито, загнуто торчала часть капота — морозный воздух с непонятным близким грохотом врывался в машину, а этот грохот заглушал стоны, глухие вскрики Касьянкина, к которому притиснуло Веснина, и это окончательно вернуло память.

— Касьянкин, ранило вас? Что вы так кричите? — выговорил, слабо слыша себя, Веснин.

— Нога... Нога! — бился в ушах голос Касьянкина.

— Товарищ дивизионный комиссар, не ранило? Быстрей вылазьте, быстрей! Товарищ дивизионный комиссар!..

Кто-то, затемнив широким телом свет зарева, с торопливой силой рвал, дергал, пытался открыть дверцу над головой, и, когда открылась она, две руки втиснулись, схватили за плечи Веснина, с решительным упорством потянули вверх — перед глазами появлялось и пропадало белое лицо Осина, он командовал сдавленным голосом:

— Быстрей, быстрей, товарищ дивизионный комиссар, уходить надо, уходить!.. Прошу быстрей! Не ранило? Двигаться можете?

— Осин... Помогите лучше Касьянкину, кажется, ранен, — проговорил шепотом Веснин и вылез из дверцы, спрыгнул на снег, потом схватился за машину из-за легкого головокружения.

— Касьянкин! — яростно закричал Осин, перевешиваясь в дверцу.— Ранен? Ранен или симулируешь? Вылазь мгновенно! Понял? Вылазь, хоть полуживой! Где автомат? Где автомат?

В этот момент кто-то подскочил к Веснину, жарко, со свистом задышал рядом: «Товарищ дивизионный комиссар!» — и, не договорив, железными пальцами схватил, нажал на плечи, скомандовал задохнувшимся криком:

— Ложитесь за машину, сюда! Ради бога, не стойте в рост, товарищ дивизионный комиссар!.. Напоролись! Непонятно, откуда здесь танки? Откуда они здесь? Не было их!..

Это был майор Титков, начальник охраны, и Веснин вспомнил, что ведь он бежал к ним от подбитой машины, когда разорвался первый снаряд после его предупреждения очередью. И когда сейчас Титков, защищающе толкнув Веснина к машине, грудью и локтями упал на капот, выбросил автомат на левую подставленную под диск руку, вглядываясь в кромку бугра, откуда распространялся, зависал над головой рокот моторов, Веснин остановил его:

— Не открывать огонь, Титков! Ждать, пока пройдут танки! Не горячитесь! Что вы против танков из автомата!.. Ждать!..

— Виноват перед вами, товарищ дивизионный комиссар,— заговорил взахлеб Титков.— За жизнь вашу отвечаю...

— Прошу прекратить оправдываться! — оборвал Веснин.— Я сам за свою жизнь отвечаю.

— Вон, вон они... Станицу слева обходят! — выговорил Титков.— Если бы не заметили... Штук двенадцать. С бронетранспортерами.

А Веснин без очков не мог подробно разобрать всего, что видел по-кошачьи Титков. Расплывчато-огромные силуэты танков, заглушая бой ревом моторов, выталкивая из выхлопных труб завивающиеся искры, медленно двигались по темному среди зарева очертанию бугра в малиновую мглу степи, шли в ста метрах от низины, где лежала перевернутая машина. И Веснин с каким-то острым

бессилием подумал, что там, на НП, Бессонов и Деев, вероятно, еще не знают об этих танках, прорвавшихся здесь, на северо-западной окраине станицы.

Но когда он подумал об этом, трассирующая пулеметная очередь молниеносным скачком пролетела над верхом машины, и майор Титков первый увидел то, чего не мог видеть близорукий Веснин. Человек десять немцев спускались с бугра по направлению к дороге: очевидно, разведка, посланная проверить, не остался ли кто цел в машине.

Немцы с опаской сходили по скату; двое из них задержались с ручным пулеметом на бугре — стреляли стоя: один пригнулся, другой положил сзади ствол пулемета ему на спину, как на подставку. Титков, который секунду назад еще надеялся, что немцы пройдут мимо, почти с отчаянием оглянулся на Веснина с ненужным желанием крикнуть: «Сюда идут, сюда!» Но Веснин молча, сдернув перчатки, вырвал пистолет из кобуры; догадался уже, что не миновало — немцы приближались к машине.

— Уходить, уходить! Товарищ дивизионный комиссар, бегите к домикам! Бегите отсюда! Мы прикроем! Касьянкин, уводи комиссара! Касьянкин, встать!.. Встать, приказываю!..

Полковник Осин, вытащивший Касьянкина из машины, сильным толчком правой руки пытался прислонить своего адъютанта спиной к капоту, в левой сжимал его автомат. А Касьянкин, сползая по капоту, корчась, старался сесть на снег, вскрикивал просяще и тонко:

— Товарищ полковник... миленький... ногу, ногу мне вывихнуло... Не могу я, не могу! — и барахтался, отталкивал руку Осина, мотал из стороны в сторону искаженным плачем лицом.

Веснина передернуло.

— Оставьте его! — сказал Веснин, чувствуя холод на спине от этого полного ужаса крика, от этой мольбы, в которой звучала сама смерть.

Тогда Осин с злобной брезгливостью отпустил обмякшее мешком тело Касьянкина и весь вскинулся, дернулся к Титкову, к Веснину, с осиплой задышкой скомандовал:

— Товарищ дивизионный комиссар, немедленно уходите к домикам! Бегом, ползком к домикам! Там укроетесь! Двести метров до домиков! Титков! Мы с тобой тут! На Касьянкина надежды нет...

А предсмертный вопль Касьянкина все еще звенел в ушах Веснина, хотя тот лишь стонал, всхлипывая, темным комом забиваясь под днище машины.

— Нет, Осин,— ответил Веснин, стоя за машиной, и отвел предохранитель пистолета.— Никуда я отсюда не побегу. Это не выход, Осин.

— Вы понимаете, товарищ дивизионный комиссар! — крикнул Осин.— Понимаете, что это?..— И белое лицо его приблизилось к лицу Веснина.

— Понимаю... Примем бой здесь, Осин.

Веснин все понимал с той оголенной трезвостью, в которой уже не было никакой надежды, понимал, что он не добежит до домиков — двести метров по освещенной заревом низине,— понимал, что нет выхода, что случилось в его жизни невероятное, неожиданное, раньше случавшееся с другими, то, во что было трудно поверить, как в бредовом сне, когда перед тобой одна за другой захлопываются намертво двери. Понимал, что немцы идут, спускаются по бугру к машине и что этот бой без надежды, который он в силу безвыходности решил принять, не будет долгим. Но он все-таки не представлял, что может умереть через полчаса, через час, что мир сразу и навсегда исчезнет и его не станет.

Близоруко щурясь, он стоял, положив руку с пистолетом на крыло машины, чувствовал мертвенный холод железа не в руке, а в груди и вместе ощущал жестко стиснувшие его с двух сторон плечи майора Титкова и Осина.

Сотрясая землю, танки со скрежетом, с грохотом обходили со степи станицу, рассыпанные по бугру тени автоматчиков спускались по скату к машине, ручной пулемет теперь не стрелял. По-видимому, немцы только попытались прощупать начальными выстрелами, есть ли кто живой здесь, и поэтому шли в рост, успокоенно перекликаясь меж собой невнятными голосами.

— Ог-гонь! — с ожесточением выругавшись, скомандовал Осин и, животом лежа на крыле машины, выпустил первую, страшную в своей открытости очередь по этим силуэтам; в клокочущих выбросах огня вспыхивала его каменно-твердая скула с выпуклым бугорком желвака.— Ог-гонь, Титков! Бить сволочей, не подпускать!.. В бога, в душу мать!..

И Титков полоснул длинной очередью слева от Веснина.

Веснин, рассчитывая патроны, выстрелил два раза по расплывчатым силуэтам на фоне красноватого бугра — силуэты слились с землей. В следующую секунду, режуще взвизгнув, огненные струи густо засверкали из снега, ударили по верху машины; брызнули по дороге синие огоньки разрывных. Немецкий пулемет пока молчал, а автоматы били так близко, что чудилось, ветер зашевелил шапку на голове. Потом чужой голос, ломающий слова, донесся откуда-то, напряженно выкрикнул речитативом: «Рус, не стреляй, не стреляй!» — и на размытую точку прицельной мушки, которую искал Веснин, поднялся из сугроба силуэт, плеснул краткой предупредительной очередью в воздух, затем твердо дошло до сознания: «Рус, капут, сдавайся!» Но Веснин опять дважды выстрелил в этот ломаный, чужой, этот ненавистный, обещающий пощаду голос, выстрелил, сдерживая дыхание, целясь тщательно, а в ушах, из туманной отдаленности, взвивался, сверлил крик Осина:

— Хрен тебе в сумку, «капут»! Не выйдет, фашистская сволочь, не выйдет!

Когда ручной пулемет забил прямыми очередями, в двадцати метрах от машины, по ту сторону дороги, сознание Веснина еще не соглашалось с тем, что немцы приблизились вплотную. Его сознание тогда сопротивлялось, отвергало надвигающуюся неизбежность, и, ощущая в руке отдачу пистолета, он тогда верил, убеждал себя, что эта неизбежность надвинется не сейчас, нет, не сейчас, а через несколько минут, когда кончатся все патроны у Осина и Титкова и когда у него останется последний... «Сколько же у меня осталось? Сколько?..— подсознательно задерживая нажим пальца на спусковом крючке, подумал он.— Нет, надо бы спокойно, не торопиться, только бы рассчитать... У Титкова должны быть запасные патроны, должны быть...»

— Майор Титков, у вас...

И вдруг он задохнулся — горячий, жесткий удар в грудь оттолкнул его, резко качнул назад, и то, что успел уловить Веснин, подавившись от этого удара невыговоренными словами, были повернутые к нему, немо кричащие о каком-то невозможном несчастье глаза майора Титкова. И толкнулся со стороны другой голос:

— Товарищ комиссар!.. Товарищ комиссар!

«Что он увидел на моем лице? — мелькнуло у Веснина, и, удивленный этим выражением отчаяния и

изумления в глазах Титкова, он той рукой, в которой был зажат пистолет, прикоснулся к груди, обессиленно отстраняя то неизбежное, что случилось с ним.— Неужели? Неужели это?.. Неужели так быстро настигло это?» — подумал Веснин и с облегчением от внезапной, непоправимой и уже пришедшей понятости случившегося сейчас с ним хотел посмотреть на руку, чтобы увидеть, различить на ней кровь... Но не увидел крови.

— Товарищ дивизионный комиссар!.. Вас ранило? Куда ранило? Куда?..— звучал знакомый и совершенно незнакомый голос, потухая и потухая, отдаляясь в глухую пустоту, а багровые волны шли перед глазами, накатывали на что-то необъятно-огромное, мерцающе-черное, похожее не то на горячую выгоревшую пустыню, не то на южное, низкое, ночное небо. И мучительно стараясь понять, что́ это, он до пронзительной ясности увидел себя и дочь Нину в черной тьме южной ночи на берегу моря под Сочи, куда увез ее, разведясь с женой, в тридцать восьмом году. Он почему-то в белых брюках, в черном траурном пиджаке стоял на песке пустынного пляжа с темными пятнами влажных и одиноких лежаков, стоял с горьким и душным комом вины в горле, зная, что здесь же, на этом пляже, он после дневных прогулок с дочерью встречался с той женщиной, которая должна была стать его второй женой. А Нина, догадываясь о чем-то, плакала, теребила его, хватала за белые брюки и, подняв к нему мокрое от слез лицо, просилась в Москву, к матери, умоляла отвезти ее: «Папочка, я здесь не хочу, папочка, я хочу домой, я хочу к маме, отвези меня, пожалуйста...»

И, ощущая дрожащие, цепляющиеся руки дочери, ее слабенькое тельце, толкавшееся ему в ноги, он хотел сказать ей, что ничего не случилось, что все будет хорошо, но ничего не мог ни сказать, ни сделать — прочность земли уходила из-под ног...

Пулеметная очередь, убившая его, смертельной силой заставила сделать два шага назад — и в те секунды когда зажатым в пальцах пистолетом Веснин прикрыл место острого и неожиданного удара в грудь, он лежал на спине в снегу, кровь шла у него горлом.

— Титков!.. Что с комиссаром? Что?!

Веснин не слышал и не видел, как Осин прекратил стрелять и, сгибаясь, огромными прыжками подскочил к нему, когда уже майор Титков, упав на колени в снег, с ужасом на лице пытался ощупать его, тыкался руками

в разорванную клочками темно-вязкую шинель на его груди; не слышал и короткого ответа Титкова, и того, как Осин прохрипел яростно и дико:

— В душу фрицев мать!.. Майор Титков! Хоть мертвым комиссара вынести! Хоть мертвым!.. Ясно? Тащи! К домикам! По кювету! Я догоню тебя!..

И Титков, кусая в кровь губы, взвалил растерзанное пулеметной очередью тело Веснина на свою железную спину, потащил его на себе. Осин несколько минут лежал возле машины и стрелял длинными очередями по немцам, выкрикивая страшные ругательства, а когда немецкий пулемет смолк, он вскочил, ударил прикладом по крылу машины и в бешенстве закричал под темное днище, откуда пробивались, в обморочном беспамятстве, глухие, стонущие звуки:

— Касьянкин, трусливая сволочь, людей убивают, а ты еще жив? Перед немцами на коленях думаешь поползать? Жизнь сохранить? Нога тебе стрелять помешала? Вылезай, подлец! Вылезай!

— Товарищ полковник, миленький, товарищ полковник!.. Не надо! Не виноват я!..— зашелся взвизгивающими рыданиями Касьянкин, не вылезая из-под машины.— Миленький, убейте меня! Убейте!..

— Замолчи-и! — крикнул Осин, не разжимая зубов.— Пулю на тебя жалко! Вылезай, трус! Беги за Титковым!.. Ну! Пока не передумал!..

И рывком выволок из-под днища машины нечто бесформенное, расплывшееся, трясущееся, с окостенелыми глазами, что повторяло одно и то же голосом Касьянкина:

— Товарищ полковник, товарищ полковник...

— Замолчать, мразь! Беги!..

Потом, пригибаясь, скачками бросился в сторону от машины, к кювету, догоняя Титкова, который бежал и полз — все тащил на себе уже остывающее тело комиссара Веснина.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Единственное и, казалось, чудом уцелевшее орудие Уханова стояло в полутора километрах от обгоревшего, изуродованного снарядами моста и прекратило свою жизнь в поздний час вечера, когда были израсходованы

все боеприпасы, принесенные от трех разбитых орудий.

Ни Кузнецов, ни Уханов не могли определенно знать, что танки армейской группы генерал-полковника Гота в двух местах успешно форсировали реку Мышкова на правом крыле армии и, не ослабляя натиска, к ночи углубились в оборону дивизии Деева, рассекли ее, сжали в тиски полк Черепанова в северобережной части станицы. Но они хорошо знали, что часть танков — трудно было подсчитать сколько — в конце дня подавила соседние батареи, смяла впереди и слева оборону стрелковых батальонов и, выйдя на артпозиции, в том числе на батарею Дроздовского, переправилась через мост на тот берег, после чего мост этот был полуразрушен и подожжен «катюшами».

Непонятнее всего было то, что с наступлением темноты бой стал отдаляться, постепенно стихать за спиной, там поднялось зарево, набухло краснотой на протяжении всего северного берега, который еще недавно целиком являлся тылом. Здесь же, на южном берегу, перед страшной, изрытой танками первой пехотной траншеей, раздавленными огневыми позициями батарей — непостижимо умом — бой тоже затихал, прекратились атаки, хотя земля оставалась подвижно-огненной — везде островами пылал синтетический бензин, горели и догорали одинокие и толпой сгрудившиеся на буграх танки, чернела прожженная, развороченная снарядами броня транспортеров, пламя облизывало железные скелеты грузовых «оппелей», которых не видел в бою Кузнецов, а они шли за танками.

Ветер ворошил на краю балки, раздувал у машин снопы искр, удушаемых в низине поземкой, до слез жгло глаза и этой колючей снежной крошкой, и этими тихими и зловещими огнями в степи. Три танка дымили перед самой огневой позицией батареи, по обугленной броне жирный дым сваливало к земле, и отовсюду угарно пахло раскаленным железом, сладковатой резиной, горелым человеческим мясом.

Кузнецов очнулся, когда его затошнило от забившего ноздри приторного запаха. Его мутило долго, и он, лежа, перегнувшись через бруствер, давился, кашлял, но желудок был пуст, не было облегчения, от позывных судорог саднило грудь и горло. Потом он вытер губы, сполз с бруствера, совершенно не стесняясь того, что Уханов

и расчет могли видеть его слабость: это не имело сейчас никакого значения.

Все, что теперь думал, чувствовал и делал Кузнецов, вроде бы думал и делал не он, а некто другой, потерявший прежнюю меру вещей, — все изменилось, перевернулось за день, измерялось иными категориями, чем сутки назад. Было ощущение какой-то пронзительной обнаженности.

— Не могу,— наконец шепотом выговорил Кузнецов.— Всего выворачивает...

Еще не воспринимая расползавшуюся вокруг батареи тишину, он растирал надсаженную напрасными потугами грудь, оглядывался на расчет, почти оглохнув в бою.

Старший сержант Уханов сидел на огневой позиции, в безмерном изнеможении откинув голову на бровку бруствера, недвижные глаза приоткрыты, он, похоже было, спал, не смыкая век. Полчаса назад, после того как Нечаев крикнул, что кончились снаряды, он, странно засмеявшись, опустился на землю около орудия и так сидел с бессмысленной усмешкой, с биноклем на распахнутом ватнике, отупело уставясь на запылавшее зарево, на редкие трассы по ту сторону реки, куда передвинулся бой.

Ствол орудия, раскаленный стрельбой, светился в темноте синеватыми искорками, снежная крошка позванивала по щиту.

— Уханов!.. Слышишь? — не в полный голос позвал Кузнецов.

Плохо расслышав окрик — тоже потерял слух в бою,— Уханов оторвал от зарева равнодушный взгляд, долго глядел на Кузнецова, затем вяло поднял одну руку, обвел в воздухе кольцо — и Кузнецов кивнул пьяно гудевшей головой.

— Возможно,— ответил он. И медленно покосился на расчет, намереваясь узнать по лицам, понимают ли они, чем все-таки кончится бой.

А весь расчет — остались из семи человек лишь двое, Нечаев и Чибисов, обессиленные вконец, утратившие в многочасовом бою чувство реальности, в состоянии крайней физической опустошенности, не спрашивали ничего, не слышали их. Наводчик Нечаев, так и не встав от прицела, стоял перед ним на коленях, уткнувшись лбом в согнутую в локте руку, неуемная нервная зевота раздирала его рот. «Ах-ах-ах-а...» — выдыхал он. По другую

сторону казенника полулежал замковый Чибисов, скорчась, уйдя с головой в шинель, из-под воротника и подшлемника видна была часть сизой, покрытой грязной щетиной щеки, однотонно и стонуще вырывались у него усталые всхлипывания, он не мог отдышаться.

— О, господи, господи, силов моих нет...

Кузнецов смотрел на Чибисова, повторявшего это невнятное, как молитву в беспамятстве, и почувствовал, что начал замерзать: мокрое от долгого возбуждения тело со слипшимся бельем и гимнастеркой быстро теряло тепло, ветер продувал шинель насквозь. И стало сводить челюсти от задушливой зевоты Нечаева, от порывов пронизывающего холода, смешанного с неисчезающим сладковатым запахом горелого мяса. С отвращением сглотнув слюну, он подошел к Чибисову, спросил шепотом:

— Вы, Чибисов, не заболели? Как вы? — и отогнул воротник шинели на его лице.

Округленный во внезапном испуге глаз затравленно глянул вверх, но затем моргнул, узнал, принял осмысленное выражение, и донеслись насильно ободряющие самого себя выкрики Чибисова:

— Здоров я, здоров, товарищ лейтенант! Я на ногах. Не сумлевайтесь, за-ради бога! Встать мне? Встать? Стрелять я могу...

— Нечем стрелять,— проговорил Кузнецов, затуманенно вспомнив Чибисова в бою — движения его рук, рвущих назад рукоятку затвора, оторопелое, как в последнем жизненном свершении, лицо в обводе подшлемника, который он не снимал с марша, и вместе с тем спину его, съеженную, по виду обреченную, приготовленную к страшному. Он был, пожалуй, не хуже и не лучше других заряжающих, но эта спина его, попадая на глаза Кузнецову, высекала в душе вспышку ядовитой жалости, и подмывало закричать: «Что ежитесь, зачем?» — но память не выпускала того, что Чибисов в два раза старше, что у него пятеро детей...

— Пока кончилось, Чибисов, отдыхайте,— сказал Кузнецов и отвернулся, мучительно замер в глухой пустоте...

Нет, это одно-единственное уцелевшее орудие, что осталось от батареи, без снарядов, и их четверо, в том числе и он, были награждены улыбнувшейся судьбой случайным счастьем пережить день и вечер нескончаемого боя, прожить дольше других. Но радости жизни не

было. Так очевидно стало, что немцы прорвали оборону, что бой идет в тылу, за спиной; впереди — тоже немецкие танки, прекратившие к вечеру атаки, а у них ни одного снаряда. После всего, что надо было пережить за эти сутки, он, как в болезни, перешагнул через что-то — и это новое, почти подсознательное, толкало его к тому разрушительному, опьяненному состоянию ненависти, наслаждения своей силой, какое испытывал он, когда стрелял по танкам.

«Это — бред. Что-то случилось со мной,— подумал удивленно Кузнецов.— Я вроде жалею, что кончился бой. Если я уже не думаю, что меня могут убить, вероятно, меня действительно убьют! Сегодня или завтра...»

И он усмехнулся, еще не в силах справиться с этим новым чувством.

— Лейтенант... А лейтенант! Жить будем, лейтенат, или окоченевать, как цуцики? Жрать хочется,— как из пушки! Умираю от голода. Что затихли, заснули все? Ты чего умолк, лейтенант?

Это окликнул старший сержант Уханов. Он сорвал, сдернул с шеи ненужный бинокль, кинул его на бруствер и, запахивая ватник, поднялся, косолапо переваливаясь, постучал валенком о валенок. Потом бесцеремонно пнул ногой в валенок Нечаева, который по-прежнему заходился в судорогах зевоты, сидя у прицела, уткнув лоб в согнутую на казеннике руку.

— Чего раззевался, морячок? Кончай бесполезное занятие!

Но Нечаев не оторвал лба от руки, не ответил, не перестал зевать: он пребывал в глубоком забытьи, в ушах его настойчиво гудели двигатели танков, кроваво-знойные вылеты пламени, опаляя зрачок, достигали из темноты перекрестия прицела, плохо видимого сквозь пот на веках, и при каждом выстреле, вызывая на себя смерть, руки его торопились, охватывая, лаская, ненавидя маховики наводки. За много часов, проведенных возле прицела, он наглотался пороховых газов — и теперь ему не хватало воздуха.

— Рассказать бы ему сейчас, хрену дальневосточному, про баб что-нибудь, сразу бы во все стороны усики растараканил,— беззлобно выговорил Уханов и сильнее пнул его в валенок.— Чуешь меня, Нечаев, нет? Подъем. Бабы вокруг табунами ходят!

— Не тронь его, Уханов,— проговорил Кузнецов устало.— Пусть. Никого не тронь. Побудь здесь.— И он машинально передвинул на боку кобуру с пистолетом.— Я сейчас. Пройду по батарее. Если там немцы не ползают. Хочу посмотреть.

Уханов похлопал рукавицами, подергал вислыми плечами.

— Хочешь посмотреть, что осталось? Ноль целых ноль десятых. Мы дырка. А вокруг бублик. Из немецких танков. Мы здесь, а они вон где. Справа и слева прорвались. Дела, лейтенант: немцы под Сталинградом в окружении, нас тут в колечко зажали. Веселый денек был, как? Говорят, что ада нет. Брешут! А в общем, лейтенант, нам крупно повезло! — сказал Уханов, вроде бы веселея от этого везения.— Молиться надо.

— Кому молиться? — Кузнецов устало оглядел застывшие за разными концами станин фигуры Нечаева и Чибисова, добавил: — Если танки двинут ночью, передавят нас тут без снарядов за пять минут. А отходить куда? Молись судьбе, чтобы не двинули...

— Именно,— хохотнул Уханов и спросил быстро:— Что предлагаешь, лейтенант?

— Пойду посмотрю те орудия. Потом решим.

— Решим? Со мной решать будешь? А где Дроздовский? Где комбатик наш? Где связь с энпэ?

— С тобой будем решать. С кем же еще! — подтвердил Кузнецов.— Что смотришь? Не ясно?

— Пошли к орудиям.— Уханов перекинул через плечо ремень автомата.— Побачимо. Хоть и ясно: смотри не смотри — колечко. Только вот это туманно. Впереди метров на семьсот до станицы, похоже, немцев нет.

— Заняли станицу, что им в голой степи делать? И что для танков семьсот метров! Наверно, думают, никого тут не осталось. Тем более на тот берег вышли.

— А ты все же странный парень, лейтенант, но ничего. С тобой воевать терпимо.

— Приятно слушать. Еще что-нибудь скажи! Еще комплимент — и растаю...

— Ладно. Принято. Кстати, что с нашей девкой? Где она? Жива?

— Да. В землянке с ранеными. Таскала раненых от твоего же орудия. Не заметил?

— Кроме танков, ничего не видел. И ничего не соображал...

А когда отошли от огневых позиций и зашагали по ходу сообщения, полновесная до глухоты тишина плотно стиснула их в узком проходе, тяжелая, давящая на голову, грозовая тишина. Кузнецов первый остановился, показалось, как в воде, заложило барабанные перепонки, потряс головой — противный звон плыл в ушах. Мгновенно сзади остановился и Уханов. Шорох одежды, звук шагов окончательно стихли. Потом, подчеркивая это тяжкое, неправдоподобное безмолвие, одиноко простучала, осеклась за спиной пулеметная очередь. И все онемело, омертвело в ночи. Только в зудящем звоне ошаривающий тишину голос Уханова:

— Что почуял, лейтенант? Немецкий пулеметик в тылу?

— В ушах у тебя звенит, Уханов? — Кузнецов нерешительно снял шапку, уже подумав, что оглох совсем. — Что-нибудь слышишь?

— В башке кузнечики, лейтенант. После стрельбы это...

— Больше ничего?

— Слышу, что там кончилось, на том берегу. Неужто глубже прорвали?

— Везде затихло.

— Намертво,— сказал Уханов.— Похоже, жиманули наших до Сталинграда, прорвали фронт, а мы одни тут... Глянь на северо-восток, лейтенант. Это над Сталинградом горит. Километров тридцать отсюда.

— Подожди!.. Послушай!..— Кузнецов, подавшись к брустверу, настороженно вытянулся. — Вроде впереди кто-то кричит... Или это в ушах?

Ему послышался человеческий вскрик где-то за пехотными траншеями на холмах, слабо замолкший в тишине краснеющих снегов. С затаенным дыханием, не надевая шапки, Кузнецов вслушивался сквозь тонкий звон в ушах, глядел на зарево, вспухавшее в непонятном безмолвии над тем берегом, на слабое свечение неба на северо-востоке, где был Сталинград, на разбросанные по степи смрадные костры из железа на протяжении всего этого берега и перед батареей — огонь, ветер, снежная крошка, смутно-зловещие силуэты сгоревших бронетранспортеров и танков на холмах.

— Не может быть, чтобы они прорвались к Сталинграду,— тихо сказал Кузнецов.

Ему, видимо, почудился человеческий вопль. И он передохнул наконец. Нигде ни выстрела. Ни движения. Ни звука. Как будто вся земля умерщвлена была до последнего живого дыхания — и, холодея на диких ветрах, лежала в неживом, пустынном зареве, а они двое и там те, оставшиеся у орудия за их спиной, измученные, обессиленные — всего четверо, остались в мире посреди смерти и пустоты. Стало не по себе от этой стылой неподвижности мертвенной декабрьской ночи, и Кузнецов с кривой улыбкой проговорил:

— Показалось...— И надел шапку.— Ты прав: в ушах сверчит.

Они опять зашагали по ходу сообщения. Опять звучали шаги, шуршала одежда — это были признаки жизни.

— Если нам стало мерещиться, лейтенант, — засмеялся Уханов, — дела наши неважнецкие. Впрочем, может, раненый фриц кричал. Или кто-нибудь из нашей пехоты...

— Думаю, из боевого охранения мало кто остался. Танки целый день утюжили. Сходить бы надо туда...

— Учтено, лейтенант. А тебе бы связаться с энпэ. Может, у Дроздовского какая-нибудь связь с начальством.

— Осмотрим батареи, потом сообразим, что и как,— сказал Кузнецов и, придвинувшись на несколько шагов по ходу сообщения, произнес чужим голосом: — Орудие Чубарикова... Чего не пойму: как они этот танк не заметили?

— Тоже не пойму. Я открыл по нему огонь, когда увидел его уже перед бруствером,— вслух подумал Уханов.— Ранило, похоже, тут всех — до тарана.

— Я видел, когда ты открыл огонь.

Они подошли ближе.

Это место раньше называлось огневой второго орудия, той позицией младшего сержанта Чубарикова, на которой Кузнецов, застигнутый первой танковой атакой, начал бой утром. Но сейчас ее невозможно было назвать позицией. Черно-угольная, сгоревшая широкая громада танка, подмяв, сдвинув с площадки покореженное, косо сплюснутое стальными гусеницами орудие, чуждо и страшно возвышалось здесь, среди развороченных брустверов, торчащих из земли валенок, клочков шинелей,

ватников, разломанных в щепки снарядных ящиков. Никто не успел отбежать от орудия...

Все было исковеркано, опалено, неподвижно, мертво, и густо несло горьким запахом окалины, въевшегося в землю и снег пороха, обгоревшей краски. Ветер одиноко свистел, играя, копошился в пробоинах давно выстуженного морозом, полусорванного, закрученного спиральными кольцами щита, который, прикасаясь к обмотанной какими-то грязными тряпками гусенице, осторожно скрежетал, вызывая одиноким железным дребезжанием озноб в спине.

И от накаленного морозом черного металла танка, от раздавленного орудия дохнуло жестким холодом смерти.

«Как здесь все произошло? Почему они не успели выстрелить?»

Кузнецов с перехваченным удушьем горлом, с ощущением своей вины — зачем он ушел от орудия? — хотел понять, как сложились в смерть те гибельные секунды, когда он вместе с Зоей стрелял по танкам на позиции Давлатяна, силился представить, пытались ли они стрелять в те последние секунды перед смертью, представить их лица, их движения в момент нависшей над бруствером пылающей громады танка.

А он лишь издали видел гибель расчета. И ничего не мог сделать. Те молниеносные секунды мгновенно стерли с земли всех, кто был здесь, людей его взвода, которых он по-человечески не успел узнать: младшего сержанта Чубарикова, с наивно-длинной, как стебель подсолнуха, шеей, с его детским жестом, когда он поспешно протирал глаза: «Землей вот запорошило»; и деловито точного наводчика Евстигнеева со спокойно-медлительной спиной, с извилистой струйкой крови, запекшейся возле уха, оглушенного разрывом: «Громче мне команды, товарищ лейтенант, громче!..»

Он еще помнил их взгляды, голоса, они звучали в нем, как будто гибель их обманывала его и он должен был опять услышать их, увидеть их... И это, казалось, должно было произойти потому, что он не успел сблизиться с ними, понять каждого, полюбить...

У Кузнецова замерзло лицо, замерзли руки, и с почти самоуничтожающим осуждением того, что произошло, того, что не в силах был тогда предотвратить, остановить, он хотел знать это последнее, что случилось здесь, что объяснило бы все.

Но то, что он видел на огневой,— оставшееся от его расчета, лишь угадываемое, неясное, темное, заваленное землей, то, что не нужно было уже хоронить,— окатывало его смертным молчанием. Никто не мог ответить, кроме них. А их уже не было... Только под ветром чуть слышно позванивало, дребезжало: загнутый кольцами щит орудия прикасался и отталкивался от железной гусеницы танка.

Кузнецов поднял озябшее лицо. Внезапно за спиной раздался визгливо-скребущий звук лопаты. Звук был четок, резок в тишине. Уханов, темнея фигурой среди зарева, сгибался и разгибался в нише для снарядов, ударял лопатой в землю.

Кузнецов тихо подошел, посмотрел. Уханов откапывал в навале земли ничком распростертое в нише, вдавленное человеческое тело, цепко обхватившее руками что-то под собой; шинель на спине разорвана в клочья: наверно, пулеметная очередь из танка сразила его в упор.

— Кто?— глухо спросил Кузнецов.— Кто это, Уханов?

Уханов молча взял за плечи отвердевшее тело и, оторвав его от чего-то плоского и серого, повернул лицом вверх. Лица убитого невозможно было узнать. Корка земли примерзла к нему. Плоское и серое было снарядным ящиком.

— Подносчик снарядов,— сказал Уханов и с горловым хеканьем вонзил лопату сбоку ящика.— Очередью в спину... Видно, когда снаряды брал. Одного не соображу, лейтенант: как же они его проворонили? Или до этого ранило всех? — Он мотнул головой в сторону танка.— Еще снаряды были! Снаряды ведь были у них! А Чубариков и Евстигнеев стреляли, как боги! Танк-то горел уже!..

Кузнецова поразила злость, какое-то отрицание, жестокое несогласие в тоне Уханова, словно они, кто не мог ответить ему, виноваты были в самой своей смерти, а он, Уханов, никак не хотел простить гибели целого расчета, раздавленного танком. Кузнецов сказал с хрипотцой:

— Мы не знаем, что здесь произошло. Кого винить?

— Простить себе не могу.— Уханов выдернул снарядный ящик из земли, с силой бросил его на бруствер. — Надо было мне вторым снарядом лупануть! Но на меня самого семь штук перли! А видел, видел я его как на ладошке, бок мне ясненько подставил этот чубариковский!..— Он вылез из ниши, взглянул на темное рас-

пластанное на земле тело подносчика снарядов.— Спасибо, братцы, хоть за снаряды! Где похоронить его, лейтенант?

— В нише, — ответил Кузнецов. — Я схожу к орудиям Давлатяна...

На позиции второго взвода тоже все было раздолбано, истерзано, завалено, везде воронки, зияющие чернотой ямы, вывороченные бомбами, хруст осколков под ногами — позиции уже не существовало: только распаханные брустверы двориков, разметанные гильзы и одно орудие с пробитым накатником, из которого стрелял Кузнецов, обозначали огневую, пустынно-заброшенную, безнадежно покойную. Ровик связи позади орудия, куда во время бомбежки спрыгнул Кузнецов к телефонисту Святову, был наполовину скошен разрывом снаряда. Проходя, Кузнецов задел ногой за оборванный провод и вдруг так остро, так обнаженно ощутил безвольную неупругость потянувшегося за ним, никому не нужного теперь провода, что в груди сдавило.

Самое страшное, что в эту минуту осознавал он, было не в прожитом за весь сегодняшний бой, а в этой подошедшей пустоте одиночества, чудовищной тишине на батарее, будто он ходил по раскопанному кладбищу, а в мире не осталось никого.

Он возвращался к орудию Чубарикова, убыстряя шаги — надо было скорее увидеть, услышать Уханова, надо было решить с ним, что дальше и в какой последовательности делать: перенести снаряды, попробовать связаться с НП, найти Зою, узнать, как она, что там в землянке с ранеными, как Давлатян, как остальные...

На огневой позиции, загроможденной обугленной громадой танка, и возле ниши Уханова не было. Здесь играючи посвистывал в пробоинах металла ветер, и жутким знаком одиночества наискось торчала лопата из рыхлого бугра земли в нише — из могилы подносчика снарядов чубариковского орудия.

— Уханов!..

Ответа не было. Кузнецов позвал решительней:

— Уханов, слышишь?..

Потом ответный оклик откуда-то издали:

— Лейтенант, сюда! Ко мне!

— Где ты, Уханов?

На всякий случай расстегнув кобуру, Кузнецов взобрался на бруствер, пошел на оклик меж углублений

частых воронок. Тихо было. Не взлетело ни одной ракеты. Степь перед батареей, усеянная очагами огня, уходила за балку, мнилось, к краю земли; ветер наносил прогорклым жаром каленого железа, и не верилось, что начиналось за бруствером пространство, не занятое никем. Впереди, на слабо светящемся снегу, еле заметно выступала, двигалась фигура Уханова, исчезала и вновь вырастала около силуэтов трех подбитых танков.

— Что там, Уханов?

— Погляди-ка на мертвых фрицев, лейтенант!..

Мела снежная крупа по ногам, широкие продавленности танковых гусениц были затянуты по краям белым ее налетом. И здесь, совсем недалеко от своих орудий, разглядел Кузнецов несколько трупов немцев, застигнутых смертью в разных позах, видимо, уже в те мгновения боя, когда пытались они отползти, отбежать от подожженного танка. Трупы эти розово отсвечивали в зареве, обледенелыми вмерзшими бревнами бугрились в снегу; можно было различить на них черные комбинезоны.

Кузнецов сделал еще несколько шагов и с непонятным самому себе упорным и необоримым любопытством поглядел в лицо первого убитого. Немец лежал на спине, неестественно выгнув грудь, притиснув двумя руками ремень на комбинезоне, под руками было что-то черное, глянцевито смерзшееся — как потом догадался Кузнецов, окровавленный кожаный шлем; обнаженная голова убитого откинута до предела назад так, что задран острым клином подбородок, покрытый коркой льда, длинные волосы нитями примерзли к снегу, вытянутое к небу белое юношеское лицо окостенело в гримасе удивления, точно губы готовились в непонимании вскрикнуть, а левая, не запорошенная снегом сторона этого твердо-гипсового лица была чисто-лиловой, в глубине раскрытого в последнем ужасе глаза точкой горел стеклянный огонек — отблеск зарева.

Судя по узким серебристым погонам, это был офицер. В трех шагах от него проступала на снегу воронка; осколки разорвавшегося снаряда попали ему в живот.

«Кто убил его: я или Уханов? Чей это был снаряд? Мой или его? Что он думал, на что надеялся, когда шел на таран?» — спрашивал себя Кузнецов, разглядывая застывшее в ужасе удивления лицо мальчика-немца, испытывая едкое ощущение неприступности чужой, неразгаданной тайны, почувствовав вблизи сухой, метал-

лический запах смерти. Этот немец, по-видимому, умирал мучительно, но кобура пистолета на его боку была застегнута.

Не раз в первых боях под Рославлем Кузнецов представлял себя вот так вот убитым, мысленно видел, как его тело брезгливо и грубо трогает сапогом какой-нибудь подошедший немец, и, думая об этом, желал тогда одного — удара в голову, в висок. Он больше всего боялся, что при смертельном ранении останется на лице, не исчезнет гримаса страдания, нечеловеческий оскал страха, как это часто бывало на лицах убитых, чем-то унижая их смерть. И, как в спасение, как в помощь, верил в последний патрон, который с того времени всегда берег в пистолете почти суеверно. Так было спокойней.

«После тарана он выскочил из танка,— представил Кузнецов, глядя на убитого. — Значит, он еще не поверил в смерть, надеялся выжить. Даже когда разорвался в трех шагах снаряд и осколки были в животе, он еще думал, чувствовал боль и зажал шлемом рану».

С тем же неотступным ощущением неудовлетворенного любопытства к вечной, необъяснимой загадке смерти Кузнецов не без колебания, не сняв шерстяную перчатку, нагнулся и стал расстегивать крепко-каменную черную кобуру парабеллума, отполированную снегом. Пальцы не подчинялись, неосязаемо скользили по ледяной корке. Невозможно было нащупать кнопку, а когда она поддалась наконец и с хрустнувшим звуком кожи он вынул плотно сидевший в кобуре парабеллум, — почувствовал живой запах застывшего масла, напоминавший запах человеческого пота.

«Еще утром и этот немец, и Чубариков жили... Потом немец повел танк в атаку, убил Чубарикова и весь расчет. Потом осколок моего или ухановского снаряда убил этого немца. Никто из нас утром не знал, что мы так убьем друг друга. Когда я стрелял, я ненавидел эти танки, ненавидел всех, кто сидел в них... А он, немец?»

С задержанным дыханием Кузнецов еще раз взглянул на убитого и, преодолевая брезгливость, сунул парабеллум в карман: что ж, это было оружие. Потом он мельком покосился на двух других убитых немцев, очевидно, из того же экипажа, выскочившего из танка вслед за офицером, но не стал рассматривать их.

«Что это? Опять мерещится?»

До его слуха явственно дошел завывающий звук мотора, отдаленный развалистый лязг гусениц где-то впереди батареи на холмах, затем смолкло все — и сейчас же из тишины тревожно прозвучал голос Уханова:

— Лейтенант, сюда! Быстро! Сюда!..

Кузнецов бросился вперед, к трем силуэтам подбитых танков, где был Уханов, перемахивая через выброшенную снарядами промерзлую землю, и, подбежав, увидел очерченную дальними пожарами тень Уханова возле крайнего танка. Спросил, унимая дыхание:

— Что?.. Что заметил, Уханов?

— Похоже, живые там, лейтенант...

Теперь вполне ясно можно было разглядеть Уханова, автомат, изготовленно положенный на широкие траки гусениц; у ног его стоял круглый, кожаный, непонятно откуда взявшийся чемоданчик, напоминавший немецкий ранец. Уханов, заложив рукавицы за борт ватника, дул на пальцы, отогревая их, быстро глянул на Кузнецова, сказал:

— Посмотри вперед, вон туда. И послушай... Вот туда, лейтенант, смотри — на два подбитых бронетранспортера на бугре. Ничего не видишь? Проясняется?

— Ни черта не вижу! Может, послышалось: мотор.

— Во-во... Смотри, смотри!.. Фонарик мигнул... Видел?

Фонарик ли мигнул, или блеснул огонек зажигалки — нельзя было определить, но короткая вспышка искрой мелькнула впереди, между двумя мертвыми контурами бронетранспортеров на бугре перед балкой, и там смутно зашевелилось несколько фигур, размытых в сумерках ночи, пошли по степи гуськом, неся от бронетранспортеров нечто длинное, темное; силуэты их все более прояснялись в отсветах зарева.

— Да, немцы, — шепотом сказал Уханов.

— Смотри, смотри,— выдохнул над ухом Уханов.— Что-то маракуют, стервы.

Опять тайно, скоротечно пробрезжил огонек, и в ответ на этот сигнал возник в балке рокот мотора, скрипнули гусеницы, и черным проявившимся пятном тихо выползла к двум обгорелым бронетранспортерам гусеничная машина, остановилась, мотор смолк. И сразу же несколько фигур направились к ней, неся темное и длинное, завозились возле машины, потом пошли цепочкой левее бронетранспортеров, разошлись вокруг же-

лезных остовов танков на некоторое расстояние друг от друга, то сливаясь с землей, то вновь возникая на бугре, но фонарик теперь не мигал.

— Слушай, лейтенант, что-то они маракуют, — холодком задышал Уханов в ухо Кузнецова.— Понять не могу. Что будем делать?.. У меня полный диск, целехонький. Автомат работает, как часики.— И в полутьме глаза Уханова ртутно скользнули по лицу Кузнецова.— Подпустим малость — и срежем к ядреной матери всех! Их вроде человек десять.

— Не стрелять! — Кузнецов предупреждающе отвел руку Уханова с автоматом.— Подожди! Смотри, что они делают... Или санитары, или похоронная команда. Кажется, своих собирают...

Снова слабенько посигналил в степи перед балкой загороженный чем-то огонек, приглушенно заработал мотор, и прямоугольная тень машины, поскрипывая гусеницами, поползла по вершине бугра влево, остановилась; неясные фигуры замаячили впереди бесшумно, цепочкой понесли что-то к машине, стали грузить в нее.

Облокотясь на гусеницу, Уханов смотрел в степь и одновременно дыханием согревал ладони.

— Похоже, фрицевские помощники смерти. Своих собирают,— уже без сомнения проговорил он и спросил: — Ну и что будем делать, лейтенант?

Кузнецов, хмурясь, прислушивался: ни мотора, ни голосов не стало слышно. До машины и немцев было метров триста.

— Нет, не стрелять,— не очень убежденно повторил Кузнецов и добавил: — Санитары или похоронщики — не танки. Пусть собирают. — Он помолчал, раздумывая.— Черт с ними! Не будем начинать бой раньше времени. Пошли к орудию.

— Напрасно! Не подозревают фрицы, что мы с тобой тут. Две очереди — и конец! Позиция у нас прекрасная. Как, а? Лупанем? — сказал Уханов и сощурился. — Чтоб не ползали...

— А я сказал, не будем открывать огонь по похоронщикам, ясно? Ухлопаешь двух — и что, бой выиграешь, что ли? Нам и без того патронов не хватит. Думаешь, все кончилось? Посмотри туда. Вон туда, в станицу. И еще за спину!

— Ну, не агитируй, лейтенант...

Выдернув рукавицы из-за пазухи, Уханов даже не глянул туда, куда указал Кузнецов,— ни в сторону полусожженной южнобережной части станицы впереди и справа, ни в сторону северного берега, тоже занятого немцами,— надел рукавицы, примирительно сказал:

— Ладно, принято. Трофеи видел, нет? — Он похлопал по широкому ремню с двумя парабеллумами, опоясавшему ватник, подхватил круглый чемоданчик с земли.— В разбитом транспортере взял. Раскрыл — копченой колбасой пахнет. Совсем не помешает. А это тебе, лейтенант... за храбрость. Держи подарок от командира орудия.

Уханов расстегнул ремень, сдергивая с него массивную глянцевитую кобуру с парабеллумом, но Кузнецов остановил его.

— Отдашь кому-нибудь в расчете. У меня есть. Трофеи, знаешь, тыловым писарям дарят. Ну, пошли.

Уханов усмехнулся.

— Ей-богу, до сегодня считал: мимоза ты, интеллигентик... Даже иногда краснеешь, похоже. А ты, брат, коленкор рвешь! Откуда такие дровишки? Десять кончил? И все?

— Повторяешься, Уханов. Надоело. Биографию рассказать?

— А ты ответь: десять кончил? Или из института? В училище в разных батареях были, издали тебя видел.

— Десять кончил. Но и ты, кажется...

— Не-ет, лейтенант, семь классов, остальные — коридор. Похоже, года на три я старше.

— То есть?

— Ушел из школы. Начитался Ната Пинкертона и Шерлока Холмса — и повезло, работал в уголовном розыске в Ленинграде. Родной дядя помог, он там тоже работал. В общем, веселая была жизнь. Вот этот зуб мне в одной малине при налете выбили.

— Вижу, веселая жизнь.

— Не удивляйся. Редкая профессия. Имел дело с блатниками, ворами и прочей швалью. Для тебя это темный лес. Ходил по острию ножа, но нравилось. Ты эту жизнь не знаешь.

— Не знаю. Что у тебя стряслось в училище? Почему не присвоили звания?

Уханов засмеялся.

— Хочешь — верь, хочешь — не верь, перед выпуском ушел в самоволку, а возвращался — и наткнулся на командира дивизиона. Нос к носу. Знакомо окно в первом гальюне возле проходной? Только влез в форточку, а майор передо мной, как лист перед травой, орлом на толчке сидит...

— Угораздило тебя уйти в самоволку перед выпуском!

— Это уж детский вопрос, лейтенант. Было дело — кончено. Но уразумел, в чем комедия? Всунулся я в окно и, вместо того чтобы сразу деру дать, смеху сдержать не смог при виде майора в таком откровенном положении. Вылупил он на меня глаза, а я стою перед ним дурак дураком, и смех разрывает, ничего не могу с собой поделать. Стою на подоконнике — и ржу идиотом. Потом, конечно, крик и гром, поднял из горизонтального состояния Дроздовского, образцового во всех смыслах помкомвзвода, — и шагом марш на гауптвахту. Веришь, нет?

— Нет.

— Ну это — дело хозяйское,— сказал Уханов, и передниий стальной зуб его померцал открытой улыбкой.

На северном берегу, где постепенно угасало, бледнело зарево, прогремело подряд несколько выстрелов, следом зашлась немецкая автоматная очередь — и все смолкло. В ответ с южного берега ни звука.

— Откуда еще стрельба? — насторожился Кузнецов и, помолчав, спросил: — Скажи, что ты думаешь о Дроздовском? Действительно, был образцовым помкомвзвода...

— Выправка у него, лейтенант, как у бога. Исполнительный и умный мальчик. А почему спросил? Что у тебя с ним?

Сильный ветер причесывал, трепал около ног сухие, жесткие стебли травы, дул в спину из степи от холмов, где работала похоронная команда. Кузнецов, замерзая, хмуро поднял воротник.

— Знаешь, как погиб Сергуненков? Глупо! Идиотски! Думать об этом не могу! Забыть не могу!

— А именно?

— Дроздовский прибежал к орудию, когда уже самоходка разбила накатник, и приказал ему гранатой уничтожить самоходку. Понимаешь, гранатой! А метров сто пятьдесят по открытой местности ползти надо было. Ну, и пулеметом, как мишень, скосило...

— Яс-сно! Гранатами воевать вздумал, мальчик! Хотел бы я знать, что могла сделать эта пукалка. Гусеницу чуть ущипнуть! Стой, лейтенант, прихватим снаряды...

Они задержались на бывшей огневой Чубарикова, и здесь опять густо и внятно дохнуло на них горелым металлом и повеяло тоской, гибелью, смертным одиночеством от однообразно-унылого дребезжания на ветру искореженного орудийного щита под вздыбленной лапой гусеницы, от неподвижной громады танка, от одинокой лопаты, воткнутой в бугор там, где в нише похоронен был подносчик снарядов, которого они так и не опознали по лицу. Снежная крупа намела здесь белые островки, но еще не прикрыла черную наготу земли, разверстую зияющими провалами. Из-за поднятого воротника Кузнецов смотрел на скольжение поземки по раздавленнной станине, увидел неправдоподобно четкие свежие следы, оставленные валенками Уханова вокруг этой ниши, в тех местах, где нанесло уже снег, и поразился равнодушной, беспощадной белизне.

Уханов с кряканьем вскинул на спину ящик со снарядами. Молча пошли к орудию.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Возле орудия послышался испуганный оклик из ровика:

— Стой, кто ходит? Стрелять буду!..

— Жарь, только сразу,— насмешливо отозвался Уханов и сбросил с плеч снарядный ящик между станинами орудия.— А кричать надо, Чибисов, следующим образом: «Стой, кто идет?» И покрепче рявкать, чтоб коленки замандражировали. А ну-ка, голосни еще разик!

— Не могу я... Не могу, товарищ сержант... стреляют, они стреляют,— оправдываясь, забормотал из ровика Чибисов жалким, всхлипывающим голосом.— Прикуривал давеча, зажег, а над головой — свись — и в бруствер. Ка-ак они пульнули из автомата!..

— Откуда? Где стреляют? — строго спросил Кузнецов, не видя Чибисова и подходя к ровику.

Одиноко темнело на огневой, словно бы давно брошенное расчетом, орудие, прикрытое чьей-то хлопающей на ветру плащ-палаткой, груда стреляных гильз меж раздвинутых станин, снежок в земляных морщинах брустве-

ров — все показалось одичалым, лиловатым от близкого зарева на том берегу. А этот как озябший от холода голос Чибисова выборматывал из темноты:

— Пригнулись бы вы, пригнулись... заметил он орудие, бьет...

Чибисов не вылезал из ровика, был не виден в нем, сливался с его краями, и Кузнецов проговорил с раздраженной командной интонацией:

— Что вы, как крот, зарылись в землю, Чибисов? В стереотрубу вас не увидишь! Выйдите сюда. Где Нечаев?

Но было отчего-то стыдно и неловко после своей грубоватой команды смотреть, как завозился в ровике Чибисов, как выполз он боком на огневую и ныряюще пригнулся, сев на станину, с предосторожностью озираясь на противоположный берег; кургузая шинель топорщилась колоколом, выглядывало из подшлемника треугольное, приготовленное к опасности, небритое личико; карабин держал будто палку. «Страно, каким образом перенес он этот бой? — подумал Кузнецов, припомнив Чибисова во время бомбежки, когда упал он, а мыши с писком прыгали на его спину из нор под бровкой ровика, стесанной осколком.— Что он тогда говорил? А, да... «Дети, ведь дети у меня».

— Наблюдаю я, товарищ лейтенант. А Нечаев в землянке... там они... Санинструктор туда пришла, Зоя... Рубин еще, ездовой. Чего-то они говорят. А тут с того берега стреляют... Кресалом чиркнул, а пуля — свись в бруствер. Нагнулись бы, не ровен час...

— Откуда стреляют? Из какого именно места? — спросил Кузнецов.

— С того берега, товарищ лейтенант. Близенько они в домах сидят, орудие наше видят...

Это несмелое, заискивающее объяснение Чибисова, его маленькое, в неопрятной щетине личико, оборачиваемое то к нему, то к Уханову, это его какое-то глупое или мудрое беспокойство, его предупреждение — казались чуждыми, из другой жизни, и не было прежней жалости к Чибисову.

— Снайперов заметили на том берегу, а перед носом ничего не видите,— раздраженно сказал Кузнецов. — Наблюдатель называется!

— А? — весь подался на станине, всполошился Чибисов.— О чем говорите, товарищ лейтенант?

— Наблюдайте повнимательнее за холмами — там немецкая санитарная машина. Убитых собирают. Не все время в тыл смотрите, но и вперед. Из-под носа немцы орудие утащат. Поняли?

— Насчет снайперов сейчас проверим, что тебе мерещится, Чибисов,— сказал Уханов и, подождав, неторопливо и добродушно приказал: — Пригнись за бруствер, лейтенант. Чибисов, ныряй в ровик. В момент, ну! На огонек, говоришь, с того берега стреляют? Проверим.

С шутливым видом он вынул из кармана зажигалку и, подкидывая ее на ладони, сделал знак Чибисову; тот, порывисто задышав, сорвался со станин, засуетившись, как зверек перед норой, втиснулся в ровик, затих в нем. Кузнецов стоял, едва сообразив, зачем все это нужно было Уханову.

— Пригнись, лейтенант, на всякий случай.— Уханов нажал на плечо Кузнецова, пригибая его к брустверу, после пригнулся сам, поднял руку, тотчас чиркнул зажигалкой над головой. И в тот же миг на том берегу треснул винтовочный выстрел, фосфорически-жестко сверкнул огонек. Свиста пули не было слышно, но в двух шагах справа посыпались крошки земли с бруствера.

— Оказывается, не мерещилось Чибисову,— сказал Кузнецов.

— Очень близко сидят, стервы,— ответил Уханов.— Где-то в первых домах... Ближе некуда.

— Пожалуй, Уханов, к рассвету надо бы засечь их, и два снаряда — туда,— произнес Кузнецов, выпрямляясь.— Заметили движение у орудия. Стрелять не дадут.

— Говорил вам я, говорил! — отозвался из ровика утверждающий несчастье голос Чибисова.— Как в мешке мы. Впереди они, с тылу они рядом... Отрезали нас, лейтенант!..

— Наблюдать, Чибисов! — приказал Кузнецов. — Только не дно ровика, поняли? Если что — сигнал, выстрел из карабина, и немедленно в землянку! Повторите.

— Если что, из карабина стрелять, товарищ лейтенант...

— И не спать! Пошли в землянку, Уханов.

Они стали спускаться по выдолбленным в откосе земляным ступеням — речной лед внизу гладко багровел, залитый заревом.

Вход в землянку был завешен плащ-палаткой, из-за нее пахнуло живым дыханием, донеслись неразборчивые голоса, и среди них сразу узнал Кузнецов голос Зои. И с мгновенным ознобом он вспомнил, как она с зажмуренными глазами прижалась к нему своим ищущим защиты телом — у нее были тогда грязные коленки — в те, мнилось, предсмертные секунды, когда их засекла самоходка и когда он полусознательно, почти инстинктивно прикрывал ее своим телом и готов был умереть так, защищая ее от осколков. Но и теперь он плохо сознавал, что в тот миг произошло с ним и особенно с ней. Может быть, это пришло из глубины веков; может быть, тогда мужчина в силу необоримого инстинкта так жертвенно и самозабвенно оберегал женщину для продолжения рода на земле.

Помедлив у входа, Кузнецов подумал, какое будет у нее сейчас лицо, выражение глаз, после того как войдет он с Ухановым, и, сдвинув брови, отдернул плащ-палатку.

Голоса смолкли. Кто-то кашлянул простуженно.

— Плащ-палатку аккуратней бы... Снайпера лупят!

В землянке было сыро, холодно, из артиллерийской гильзы синевато светило бензиновое пламя, озаряя мокрые стены. Здесь были трое — Зоя, Рубин и Нечаев; они, согреваясь, теснились около высокого огня потрескивающей самодельной лампы, и все повернули головы к входу. Сержант Нечаев, полулежавший возле Зои, локтем своим касаясь ее колен,— шинель расхристана на груди, так что виден тельник,— испытующе глянул на нее; вспыхнула под усиками эмалевая улыбка:

— Вот, Зоечка, и лейтенанта дождались!

А сидевший на пустом снарядном ящике ездовой Рубин вдруг заерзал, с преувеличенной занятостью стал хватать заскорузлыми большими пальцами брызжущие из гильзы языки огня. Зоя так быстро вскинула голову к Кузнецову, что блеснули, залучились тревогой зрачки, и тихо, с облегчением улыбнулась. Лицо ее ничем не напоминало то недавнее, что было подле орудия; оно сильно осунулось, похудело, в подглазьях обозначились полукруглые тени, губы почернели, казались искусанными, шершавыми. «Нет,— мелькнуло у Кузнецова,— никто бы не смог ее поцеловать в эти черные губы. Что у нее с губами? И почему так смотрит на нее Нечаев?»

— Ну вот, слава богу, что вы пришли, родненькие! — сказала Зоя, улыбаясь с откровенной радостью. —

Я очень ждала вас, мальчики. Хотела увидеть живыми. Слава богу, пришли. Где вы были?

— Недалеко. В гостях у фрицев, Зоечка. Вот с лейтенантом немецкие посты проверяли,— ответил Уханов и, стоя с нагнутой головой, бросил к огню лампы кожаный круглый саквояжик, совсем домашний, с никелированными, заиндевевшими на морозе застежками.— Принимай, братцы, трофеи. Нечаев, расстели брезент! Небось жрать все хотите, как лошади? Нашему родному старшине — боевой привет. Сидит, видать, коровья морда, в тылу где-нибудь на своем котле и медалями, старый сортир, храбро позвякивает, страдает о нас!

Нечаев засмеялся, а Зоя снизу смотрела на Кузнецова, покусывая губы, теперь уже не улыбаясь, а Рубин, суровея багровым лицом, скашивался исподлобья на Зою, громко сопел.

— Лейтенант,— позвала Зоя, скорее не голосом, а огромными глазами на исхудалом лице, и закивала ему.— Сядьте, пожалуйста, со мной. Мне нужно поговорить с вами. Нет,— покусав губы, поправилась она,— вот возьмите записку. Это от Давлатяна. Он просил меня вам ее передать. Вечером я не смогла. Невозможно было отойти от раненых. Хорошо, что Рубин мне помогал. Скажите, лейтенант, мы в окружении разве?

Он взял протянутую записку, не ответив на ее вопрос. Спросил:

— Зоя, как он? В сознании?

— То на том свете, то на этом,— мрачно прогудел Рубин.— Вас все звал. Говорит, сказать что-то надо...

Кузнецову известно было о положении лейтенанта Давлатяна, тяжело раненного еще в начале боя, известно было, что он почти обречен; бросив взгляд не на Рубина, а на Зою, Кузнецов понял, что состояние Давлятяна попрежнему безнадежно, и осторожно развернул записку, на которой было крупно накорябано химическим карандашом:

«Лично лейтенанту Кузнецову от лейтенанта Давлатяна. Коля, не оставляй меня здесь раненым. Не забудь про меня. Это моя просьба. А если больше не увидимся, в левом кармане комсомольский билет, фотокарточка с надписью и адреса. Мамы и ее. Возьмешь и напишешь. А как — сам знаешь. Только без сантиментов. Все! Ничего у меня не вышло. Я — неудачник. Обнимаю тебя. Давлатян».

Зоя встала, морщинка судороги, похожей на улыбку, тронула ее губы.

— Будьте живы, родненькие мальчики. Мне — к раненым. Я и так у вас долго.

— Зоя,— хмуро сказал Кузнецов и, сунув в карман записку, шагнул за ней к выходу.— Я с вами пойду. Проводите меня к Давлатяну.

— Как, славяне, дышите пока? — спросил Уханов.— Паники не наблюдается?

Сержант Нечаев, внимательно проследивший карими в красноватых от усталости жилках глазами за тем, как колыхнулся перед отдернутой плащ-палаткой Зоин полушубочек над ее полными, будто вбитыми в короткие, перепачканные глиной валенки ногами, вдруг лег на спину не то с выдохом, не то со стоном; весь он потерял прежнюю щеголеватую и броскую яркость, — темнел заросший подбородок, усики и косые бачки выделялись неаккуратно, — поскреб ногтями тельник на груди; сказал с шутливым сожалением:

— Эх, жизнь-индейка! Что бы я попросил, кореши, у господа бога, если судьба нам здесь?.. Хотел бы я, товарищ бог, перед смертью какую-нибудь девку до полусознания зацеловать!.. Ничего в Зойке нет, может, глаза и ноги одни, а прижаться на одну ночку бы, братцы, и потом хоть грудью на танк! Смотрю, Кузнецов не теряется. Как, Рубин? Наверно, ты в своей деревне шастал к девкам? Много девок-то перепортил?

— Рас-смотрел, бабник... ничего нет,— передразнил Рубин.— Глазами ты мастак. Зойку-то... А вот глаза и ноги ее не про тебя. Соображаю, это дело тебя в темечко стукнуло. Бесился после шоколада во флоте-то!

— Нет, Рубин, а мне по роже твоей видно, что ты через плетни тихой сапой шастал! Здоров ты, бугай! Об шею рельсу сломать можно.

— Ша, славяне! С кем Зойка, не наше дело! — прикрикнул Уханов.— Вообще, Нечаев, люблю я тебя, но кончай травить морскую баланду насчет санинструктора. Мне лично осточертело. Смени пластинку! И ты, Рубин, осади коренных! — Уханов с обозначившейся угрозой на лице обождал тишину в землянке, затем сказал, смягчаясь, добродушно: — Вот так, люблю мир в семействе. Держи, Нечаев, награду за подбитые танки! В бронетранспортере пару взял. Вместе с чемоданчиком. Один дарю!

Уханов снял с ремня большую кобуру с парабеллумом, кинул небрежно к ногам Нечаева. Нечаев, хмыкнув, не без любопытства отстегнул кнопку, вытянул массивный, вороненно отливающий полированным металлом пистолет, взвесил его на ладони.

— Офицерский, сержант? Сильная тяжесть...

Рубин покосился на чужое оружие — личное оружие убитого немца, который несколько часов назад стрелял по ним, кричал команды на своем языке, ненавидел, жил, надеялся жить,— проговорил мрачно:

— Солидная штука парабел. А вот не имеем мы права немецким воевать.

— Начхать! Этого? — мотнул головой Нечаев на саквояжик, который вертел в руках Уханов, трогая застежки.— Офицерский? Его?

— Похоже, его. Без ошибки — чемоданчик со жратвой. Поэтому и взял. Посмотрим. Не гранаты в чемоданчиках возят.

Уханов дернул никелированные застежки на аккуратном, туго набитом, мирного вида саквояжике, раздвинул края, тряхнул его над брезентом.

Из саквояжа посыпались на брезент пара нового шелкового белья, бритвенный прибор, колбаса и буханка хлеба в целлофане, пластмассовая мыльница, плоский флакончик одеколона, зубная щетка, два прозрачных пакетика с презервативами, фляжка в темном шерстяном чехле, дамские часики на цепочке. Потом упали на брезент карты в атласном футляре, на котором почему-то нарисован был знак вопроса над берегом голубого озера, где мускулистый мужчина в узких плавках догонял нагую толстую светловолосую женщину,— от всего этого запахло сладковато и пряно, вроде чужим запахом пудры.

Бросились в глаза эти странные, интимные предметы далекой и непонятной жизни неизвестного убитого немца — следы его недавней жизни, обнаженной и преданной этими вещами после его смерти.

— Зря Зоечка ушла,— сказал Нечаев, разглядывая дамские часики на своей ладони.— Разреши ей преподнести подарок, старший сержант? На ее ручке эти часики заиграют. Можно взять?

— Бери, если примет подарок.

— Смотри ты, какое дело с собой возят! — проговорил Рубин, засопев.— Гондон даже в запасе.

— А, одни шмотки! — сказал досадливо Уханов и откинул саквояж в угол землянки.— Не те трофеи. Ладно. Половину жратвы нам, половину Зое на раненых.

Брезгливым движением руки он отшвырнул в сторону все, кроме фляжки, бритвы, колбасы и хлеба в целлофане, потом сорвал целлофан, вынул финку из ножен.

— Шелковое, чтоб воши не держались, — сказал Рубин, хозяйственно щупая грубыми пальцами немецкое белье, и широкое лицо его изобразило ожесточение.— Вот оно как, а!..

— Ты о чем, Рубин? — спросил Уханов.

— Вот он как готовился — белье шелковое, все учел. А мы — все легко думали!.. По радио: разобьем врага на его территории. Территория! Держи карман...

— Дальше, дальше, Рубин,— поднял светлые глаза Уханов.— Говори, что замолчал? Давай, давай, не стесняйся!

— А ты, Рубин, видать, нытик и паникер,— вскользь заметил Нечаев и тут же прыснул смехом.— Это что еще за картинки? — Взял футляр с картами, пощелкал по футляру — атласные карты выскользнули на ладонь.— Салака ты, Рубин. Скрипкой ноешь. Что ты в своей деревне видел? Коровам хвосты крутил?

— Врешь! Не хвосты крутил, конюх я колхозный,— озлобляясь, поправил Рубин.— А в жизни я то видел, что тебе и в зад не кольнуло! Когда ты на лодках своих клешами мотал, меня до смерти об войну ударило! За один раз всю мою жизнь свихнуло. Зверем ревел, ногтями двух дочек своих махоньких после бомбежки из земли откапывал... да поздно! В петлю лез, да злоба помешала!..

Уханов вприщур взглянул на Рубина, финкой разрезая копченую колбасу. Нечаев бросил на брезент карты. Здесь были парные голые валеты и обнаженные парные дамы в черных чулках, в черных перчатках, тесно сплетенные в непристойных, противоестественных позах: бородатые, мускулистые, как борцы, короли держали на коленях прижавшихся к ним нежных мальчиков с ангельскими ликами и ангельскими улыбками. Это не могло быть картами, но это были все-таки карты, несколько захватанные, затертые по краям, тем не менее невозможно было представить, что в них играли за столом.

— Тьфу, мозги набекрень! После этого ничего не захочешь — бред бешеной медузы! Хорошо, что Зоечка

вовремя вышла. Не для женских глазок. С ума сойти, что делается!

— Все бабы у тебя в голове! — Рубин побагровел.— Кому война, а кому мать родна!

Нечаев собрал карты, кинул их в угол, вытер ладони о шинель, точно очищаясь от чего-то липкого, скользкого, потом взял парабеллум, откинулся спиной к стене землянки, сказал:

— Ты, Рубин, можешь считать меня хоть чертом, люблю баб... Но у меня тоже к себе счет есть. Братишку моего старшего в сорок первом убило. Под городом Лида. Я и тогда думал: война неделю продлится. Нажмем — и в Берлине во главе с маршалом Ворошиловым на белом коне. Оказалось... до самой Москвы шпангоуты нам на боках пересчитывали.— Нечаев поиграл парабеллумом.— Согласен — второй год потеем. Но Сталинград, Рубин, — это вещь. Пять месяцев фрицы наваливались, наверняка уже шнапс за победу пили, а мы им шпангоуты мять начали.

— Начали! — передразнил Рубин.— Начали, да не кончили! А сегодня что он сделал: у нас не прорвал, так стороной танками обошел! Значит, опять его силу не учли? И сидим тут — ровно мыши отрезанные, а он небось на танках к своим в Сталинград прет и над тобой похохатывает!

— Брось, брось, похохатывать ему не приходится,— обиделся Нечаев.— Мы тоже танков его нащелкали — зарыдаешь! Носовых платков не хватит. Кальсоны на платки придется драть.

— Сам ты кальсоны! По какой такой причине обрадовался немецкой железке?— крикнул Рубин Нечаеву.— Трофею обрадовался?

— А что? — сказал Нечаев.— Парабеллум у немцев — будь здоров!

Рубин встал, коротконогий, квадратный, обегая землянку налитыми кровью глазами, страшный в раскрытой злобе ко всему — к войне, к этому шелковому немецкому белью, к этому бою, к окружению, к Нечаеву. И, порываясь к выходу из землянки, подхватив с земли карабин, прибавил крикливо в сторону Уханова:

— Чтоб трофеи я эти ел? С голода околею — в рот не возьму!..

— А ну, Рубин, вернись и сядь!

Уханов, сказав это, прекратил отпиливать финкой

кусочки замороженной, твердой копченой колбасы с белыми точками жира, сильным ударом вонзил финку в буханку хлеба. И тотчас Нечаев перестал играть парабеллумом — по тому, как Уханов резко вонзил финку в хлеб, по тому, как переменилось выражение его взгляда, почувствовалось недоброе. Остановленный этой командой «сядь!» и этим взглядом, Рубин, не остыв, круто нагнул шею, приготавливаясь сопротивляться, но показалось — на веках его блеснули слезы.

— Запомни, Рубин, я тоже от границы топаю, знаю, почем фунт пороха. Но даже если мы все до одного поляжем здесь, истерик не допущу! — сказал Уханов внушительно и спокойно.— Немцев-то все же мы зажали возле Волги, или это не так? Война есть война — сегодня они нас, завтра мы их! Ты когда-нибудь на кула́чках дрался, приходилось? Если тебе первому в морду давали, звон в чердаке был, искры из глаз летели? Наверняка небо с овчинку казалось. Главное — суметь подняться, кровь с морды вытереть и самому ударить. И мы их ударили, Рубин! Другая драка пошла. Не обручальное колечко фрицам подарили на память. Ладно. Мне наплевать на болтовню! Будь тут какой-нибудь хмырь, он бы, гляди, припаял тебе паникерство. А я не то слышал. Сядь. Хлебни из этой фляжки. И нервишки в узду возьми. Все! Больше ни слова!

— Вот-вот... Паникерство. Слово такое больно грозное. Чуть что — паникерство! — выговорил едко Рубин. — А мне, сержант, умереть — легче воды выпить. Страшнее того, как я дочек своих ногтями выкапывал, не будет. Как хочешь обо мне думай...

— Думаю как надо. Лошадей твоих побили — пойдешь ко мне в расчет. Рядом умирать будем.— Уханов усмехнулся.— Веселее... А может, еще и попляшем!

— Куда уж!..

И, не закончив фразу, Рубин поставил карабин в темный угол землянки, сел там в тени, незаметно стряхнул злые слезы с глаз, достал кисет, стал сворачивать цигарку корявыми, скачущими пальцами.

— Зоя, как Давлатян? С ним можно поговорить?..

— Сейчас нет. Я хотела тебе сказать... Когда он приходит в сознание, все спрашивает, жив ли ты, лейтенант. Вы из одного училища?

— Из одного... Но есть надежда? Он выживет? Куда его ранило?

— Ему досталось больше всех. В голову и в бедро. Если немедленно не вывезти в медсанбат, с ним кончится плохо. И с остальными тоже. Ничем уже не могу помочь им. Обманываю, что скоро прибудут повозки. Но, по-моему, мы совсем отрезаны от тылов. Куда вывезти? Кто знает, где медсанбат?

— Скажи, на энпэ связь есть с кем-нибудь?

— Связи нет. Без конца настраивают рацию. Это знаю. Связисты там, с Дроздовским. Где ты был, лейтенант, после того, как я побежала к орудию Чубарикова? Ты видел тот танк, который раздавил орудие?

— Я не знал, что ты...

— Забудь то, лейтенант. Я ничего не помню. Было жуткое чувство, даже дрожали коленки. Ах да, кажется, я тебя просила насчет моего «вальтера». Это, конечно, смешно. Хочу жить сто лет, нарожу назло себе и всем десять детей. Ты представляешь, десять очаровательных мордочек за столом, у всех белые головки и измазанные кашей рты? Знаешь, как на коробке «Корнфлекса»?

— Не знаю... Зоя, ты, кажется, замерзла? Пойдем. Не будем стоять.

— Лейтенант, тогда под Харьковом пришлось оставить раненых. Я помню, как они кричали...

— Это не Харьков, Зоя. Мы не будем и нам некуда прорываться. У нас осталось еще семь снарядов. Никто никого не будет бросать. Даже думать об этом нечего.

Они остановились шагах в двадцати от землянки на узкой, протоптанной валенками вдоль кромки берега тропке. Острым первобытным холодом дуло с речного льда, окатывало густым паром из дымящихся внизу огромных прорубей, образованных утренней бомбежкой. Зарево над противоположным берегом ослабло, снизилось; в эти часы ночи его будто душило накалившимся до железной крепости морозом. Стояло над впадиной реки неколебимое ночное безмолвие, и обоим было трудно говорить, дышать на жестоком холоде. И Кузнецов не смог бы объяснить себе, зачем успокаивал он Зою в этой неопределенно зыбкой, не понятной никому обстановке, когда неизвестно, что может случиться через час, через два этой ночью, кто из них проживет до утра, но он не лгал ни себе, ни ей — убежден был: отходить, прорываться отсюда некуда — впереди и сзади чужие тан-

ки, а дальше за ними, за спиной тоже немцы, сжатые в котле, куда нацелено было сегодня наступление, показавшееся целым годом войны. Что в Сталинграде? Почему немцы сделали передышку на ночь? Куда они продвинулись?..

— Чертов холодище,— проговорил он.— Ты тоже, кажется, замерзла?

— Нет, это так, нервное. Я-то знаю, что никуда не уйду от них. Ты сказал — некуда?..

Сдерживая стук зубов, она подняла воротник полушубка, смотрела мимо Кузнецова на зарево, на противоположный, занятый немцами берег; белое лицо ее, суженное бараньим мехом, длинные полоски бровей, странно темные, отрекающиеся от чего-то глаза выражали усталое, углубленное в себя страдание.

— Не хочу второй раз оставлять раненых. Не хочу... Ужаснее ничего нет.

Кузнецов, чувствуя всем телом озноб, живо представил, как немцы, окружив батарею, крича на бегу друг другу команды, врываются с автоматами в землянку с ранеными, а она, не успев вынуть «вальтер», отходит в угол, прижимается спиной и руками к стене, как распятая. И он спросил, сбавляя голос:

— Скажи, ты умеешь обращаться с оружием — с пистолетом, с автоматом?

Она поглядела на него и непонятно засмеялась, уткнув губы в мех воротника, видны были вздрогнувшие черточки бровей.

— Очень плохо!.. А ты скажи, почему возле орудия, когда я струсила, ты меня как-то очень странно обнимал — защищал, да? Спасибо тебе, лейтенант. Я здорово струсила.

— Не заметил.

— Подожди!..— Она отвела воротник от губ, брови ее уже перестали вздрагивать от этого неожиданного смеха.— А что было, когда я ушла к орудию Чубарикова?

— Там погиб Сергуненков.

— Сергуненков? Это тот застенчивый мальчик — ездовой? У которого лошадь ногу сломала? Подожди, я сейчас вспомнила. Когда шли сюда, Рубин мне сказал одну жуткую фразу: «Сергуненков и на том свете свою погибель никому не простит». Что это такое?

— Никому? — переспросил Кузнецов и, отворачиваясь, ощутил инистую льдистость воротника, как влажным

наждаком окорябавшего щеку.— Только зачем он тебе это говорил?

«Да, и я виноват, и я не прощу себе этого,— возникло у Кузнецова.— Если бы у меня хватило тогда воли остановить его... Но что я скажу ей о гибели Сергуненкова? Говорить об этом — значит говорить о том, как все было. Но почему я помню *это*, когда погибло две трети батареи? Нет, не могу почему-то забыть!..»

— Я не хочу говорить о гибели Сергуненкова,— решительно ответил Кузнецов.— Нет смысла сейчас говорить.

— Господи,— шепотом сказала она,— как мне жаль вас всех, мальчиков...

А он, слушая ее голос, в котором звучали страдание и жалость ко всем, а значит, и к нему, думал между тем: «Неужели она любит Дроздовского? Неужели ее губ, неприятно искусанных, распухших, мог касаться он? И неужели она не могла заметить, что у Дроздовского холодные, безжалостные глаза, в которые неприятно смотреть?»

— Что ты так на меня смотришь, лейтенант, родненький? — мягко-волнистым, как послышалось ему, шепотом спросила она.— Смотришь и смотришь, будто ни разу меня не видел...

Он глухо ответил:

— Я зайду к Давлатяну. И не называй меня родненьким. Ты и меня жалеешь? Я еще не ранен и не убит. Тем более не хочу умирать бессмысленно и глупо.

— А разве смерть бывает умной, лейтенант? Хочу, чтобы ты, миленький, остался живым. Чтоб ты долго жил. Сто пятьдесят лет. У меня счастливое слово. Ты будешь жить сто пятьдесят лет. И у тебя будет жена и пятеро детей. Ну, прощай. Я к раненым... Нет, почему ты так смотришь на меня, лейтенант? Наверно, я тебе нравлюсь немного? Да? Вот не знала! — Она придвинулась к нему, отогнула одной рукой мех воротника от губ, взглянула с пытливым удивлением.— Ой, как все это глупо и странно, кузнечик!

— Почему «кузнечик»?

— Кузнецов, кузнечик... А ты разве не любишь кузнечиков? Когда я их слышу, становится очень легко. Представляю почему-то теплую ночь, сено в поле и такую красную луну над озером. И кузнечики везде...

Несло холодом от речного льда, и этот ледяной, низовой ветер шевелил полу ее полушубка. Ее глаза, улыбаясь, поблескивали, темнели над меховым воротником, отогнутым книзу ее рукой в белой варежке; белеющим инеем обросли полоски бровей, мохнато торчали, отвердели кончики ресниц, и Кузнецову опять показалось, что зубы ее тихонько постукивали и она чуть-чуть вздрагивала плечами, как будто замерзла вся. И совершенно явно представилось ему, что зубы так постукивали не у нее и говорила сейчас не она, а кто-то другой и другим голосом, что нет ни берега, ни зарева, ни немецких танков,— и он стоит с кем-то около подъезда в декабрьскую ночь после катка; вьюжный дым сносит с крыш, и фонари над снежными заборами переулка в сеющейся мгле... Когда это было? И было ли это? И кто был с ним?

— Хочешь поцеловать меня?.. Мне показалось, что ты хочешь... У тебя нет сестры? Нас ведь обоих могут убить, кузнечик...

— Слушай, зачем это? За мальчика меня принимаешь? Кокетничаешь?

— Разве это кокетство? — Она заглушила смех воротником, закрыв им половину лица.— Это совсем другое... Возле орудия ты меня защищал как сестру, лейтенант. У тебя ведь есть сестра?

«Возле орудия... шли танки. Мы стреляли, убило Касымова. Она была рядом, потом побежала к орудию Чубарикова, когда танк пошел на таран. Потом пулеметной очередью несколько раз перевернуло Сергуненкова перед самоходкой... Задымилась на спине шинель. И перекошенное, ошеломленное лицо Дроздовского: «Разве я хотел его смерти?..»

— Ты ошибаешься!

«Дроздовский! Не могу представить — ты и Дроздовский!» — едва не сказал он, но ее поднятое к нему, настороженно наблюдающее лицо внезапно резко озарилось красным сполохом, так разительно высветив широко раскрывшиеся глаза, губы, иней на тонких бровях, что он в первый миг не понял, что случилось.

— Лейтенант... — зашептали ее губы. — Немцы?..

В ту же секунду где-то наверху, за высотой берега, рассыпались автоматные очереди, снова встали ракеты. И он, взглянув вверх, туда, где было орудие, тотчас хотел крикнуть ей, что началось, что немцы начали, и это, наверно, последнее, завершающее, но крикнул сры-

вающимся голосом не то, что прошло в его сознании:

— Беги в землянку!.. Сейчас же! Запомни — у меня нет сестры! У меня нет сестры! И не говори глупостей! Не было и нет!..

И, почему-то мстя ей ложью и сам ненавидя себя за это, он почти оттолкнул ее, двинувшись по тропке, а она отшатнулась, сделала шаг назад с жалким, изменившимся лицом, выдавила шепотом:

— Ты меня не так понял, лейтенант! Не так, кузнечик...

А он уже бежал по кромке берега к землянке расчета, слыша ноющий, длительный звук автоматов вверху, и слева в скачках ракетного света речной лед то приближался к ногам, то стремительно соскальзывал, нырял в потемки. Потом наверху, где было орудие, хлопнул выстрел из карабина, другой; донесся сверху тонкий заячий, зовущий крик. Это был сигнал Чибисова.

«Значит, атака... Значит, сейчас!.. У нас осталось семь снарядов, только семь...»

Кузнецов подбежал к землянке, рванул вбок плащпалатку, увидел фиолетовый огонь лампы, на брезенте нарезанный хлеб, направленные на него, все понявшие глаза Уханова, Рубина, Нечаева и подал команду в голос:

— К орудию!..

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Он ждал, когда они вылезут из землянки, а над берегом расталкивали ночь, соединялись в небе частые взмахи света. Там, возле орудия, в третий раз испуганно ахнул выстрел из карабина, слитно и разгульно затрещали автоматы, стая пуль, светясь, пронеслась над берегом.

— Быстро! Быстро! — командовал нетерпеливо Кузнецов.— К орудию! Наверх!..

В землянке, как отдавшееся эхо, прогудела повторная команда Уханова, и, мигом вытолкнутые этой командой, Нечаев и Рубин выскочили на тропку, торопливо жуя. Сам Уханов, погасив лампу, появился из землянки последним, вскинул автомат за плечо, крепко выругался:

— Пожрать не дали, раскурдяи! Держи, лейтенант, колбасу, пожуешь хоть! — и сунул в руку Кузнецова

какой-то корявый комок.— К орудию! Шевелись, как молодые!

— Наверх! Бегом!

Кузнецов машинально втолкнул корявый комок в карман шинели, первый побежал по берегу к земляным ступеням, ведущим наверх, а за спиной всплыл прокуренный, густой бас Рубина:

— На том свете пожрем, сержант, у бога в гостях!

И в ответ въедливый голос Нечаева:

— А ты как думал, безмен колхозный, сто лет жить?

— Дурак-моряк, зад в ракушках! Пустозвон!

Кузнецову хотелось остановиться, крикнуть в лицо Рубину с вспыхнувшей злостью: «Прекратить идиотские разговоры!» — но на высоте берега ветер кинул в глаза колючую снежную крошку, замерцали впереди низкие трассы автоматов, из этого мерцания, сплетенного над орудийной позицией, рванулся навстречу истошный крик:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

Это был зов Чибисова. Загорающиеся в небе фонари ракет так по-дневному, выпукло освещали орудие, площадку, ровик, что Кузнецов метров за десять увидел под бровкой огневой площадки темную, склоненную к земле фигурку, а в двух шагах от нее, за бруствером, бугорком проступало распластанное на снегу человеческое тело, лежавшее животом вниз.

«Немец! Дополз сюда? Атаковали орудие?» — толкнулось в голове Кузнецова, и, еще ничего не сообразив, он, пригнувшись, подбежал к Чибисову, упал рядом у колеса орудия.

— Что? Чибисов!..

Чибисов лихорадочно дрожал, сидя под бруствером, карабина при нем не было; и, задирая голову, он выкрикнул рыдающе:

— Убил я его!.. Товарищ лейтенант!.. Бежал он сюда. Я в ровике, окоченел весь. А он сюда!.. Немцы стреляют, а он к орудию... Кричит: «Свой, русский!» А я — как поверить?.. Немцы начали огонь.

Кузнецов схватил Чибисова за плечо, тряхнул с силой.

— Спокойней! Слышите? Объясните как следует!

— Убил я его, убил! — возя рукавицами по груди, повторял Чибисов, глаза его моргали потрясенно. —

Бежал он, кричал: «Свой, русский!» А я... Как поверить? Убил я его!

— Смотри, лейтенант, наш автомат,— сказал Уханов и, встав коленями на бровку, потянул из-за бруствера автомат с круглым диском, показал его Кузнецову.— В самом деле, откуда славянин?

— Наш,— согласился Кузнецов, разглядев покрытый изморозью автомат. — Сюда его, Уханов! Только осторожно! Не выскакивай на бруствер!

— Попробуем, лейтенант.

Упершись коленями в землю, Уханов подался вперед, лег на бруствер, двумя руками схватил за плечи лежащее без движения, распростертое человеческое тело, показавшееся на вид каменным, с усилием, медленно вытянул его на орудийную площадку, а когда стал поворачивать, чтобы прислонить удобнее к брустверу, голова человека, кругло обтянутая черным танкистским шлемом, широким в висках, немецким, откинулась назад, к кромке бровки, и он, не раскрывая глаз, слабо, протяжно застонал, узкой полоской засветились сцепленные зубы. Наклоняясь к его лицу, Уханов полуутвердительно произнес:

— Живой, никак.

Все, сгрудившись вблизи орудия, с подозрительностью глядели то на застонавшего человека, то на всполохи ракет, то на всплески автоматных выстрелов впереди, Кузнецов молчал, толком не понимая, что здесь произошло, но уже уверившись, что это, конечно, не немец — можно было хорошо различить молодое курносое лицо под черным немецким шлемом, русское широкоскулое лицо, искаженное болью; обросший подбородок, кадык на вытянутой шее облеплены снегом, ватник сплошь в заледенелой корке, руки без варежек скрючены на груди, как у мертвеца, валенки по-неживому отвернуты носками в сторону. Похоже было, что он много часов пролежал на морозе в снегу.

— Как он в немецком шлеме оказался, этот танкист? — спросил Нечаев.— Ранен? Видать, вконец замерз...

— Стрелял я в него, стрелял! — всхлипывал за его спиной Чибисов.— Бежал он, кричал, а я...

— Прекратить нытье, Чибисов! — оборвал Кузнецов.— Ни одного слова!

— Откуда он появился? Откуда танкист? Впереди никого наших... Парень! — позвал Уханов и чуть-чуть

похлопал человека по щеке.— Слышь, парень? Ты чего-нибудь слышишь?

Человек скрипнул зубами, кадык сполз, сдвинулся на горле, и опять процедился сквозь зубы протяжный стон.

— Посмотри, Уханов, есть ли у него документы,— приказал Кузнецов.— Проверь карманы.

— С какой радости, дурья голова, ты в него стрелял? — осуждающе забасил Рубин, обращаясь к Чибисову.— Ежели он кричал, что русский, чего ж ты по-глупому палил. В штанах тяжело было?

— Не знал я, не знал!..

— Рубин! Мгновенно за Зоей,— принял решение Кузнецов.— Зою сюда!

— Есть,— не очень охотно откликнулся Рубин.— Приведем, ежели поможет...

— Бегом за Зоей, Рубин, слышали?

Сидя на корточках, Уханов расстегнул ватник на груди человека, обшарил, вывернул наизнанку карманы его гимнастерки, его ватных брюк, озадаченно сообщил: «Пусто!» — и не без укоряющей злости бросил Нечаеву:

— Быстро фляжку сюда с немецким ромом! У тебя на ремне. Давай.

Потом горлышком фляжки он раздвинул парню зубы, тот со стоном отклонил голову, бессознательно, как под пыткой, сопротивляясь, но, одной рукой придержав его голову, Уханов решительно и даже грубо влил ему в рот несколько глотков, говоря при этом:

— Сейчас, сейчас, братец ты мой...

Все ждали. Парень, захлебнувшись, задышал ртом, закашлялся, выгнулся всем телом и долго терся затылком о кромку бруствера. Веки его приоткрылись, мутные, провалившиеся глаза поразили неосмысленным выражением, какое бывает в полусознании у тяжелобольных; сведенные руки дернулись в сторону, где должен быть автомат. И тогда Кузнецов спросил его:

— Слушай, парень, кто ты такой? Откуда бежал? Мы русские! Ты кто?

Взгляд парня метался по лицам; вероятно, он не слышал ничего и не осознавал, где он и что с ним; наконец послышался сип:

— Шлем... шлем... сними...

— Видно, не слышит, лейтенант. Шлем немецкий откуда-то у него. Ну, славянин!

Уханов стянул с его головы шлем, подложил под затылок ему. Парень замычал, вытянул ноги, обвел глазами небо, разрезанное неспокойными светами ракет, затем посмотрел на орудие, на Кузнецова, на Уханова — и что-то осмысленное прошло по его лицу.

— Братцы... артиллеристы! — засипел он.— Батарея?.. К вам бежал!.. Георгиев где?.. Георгиев?.. Утром...

Он замолк, спрашивая одним взглядом, и Кузнецов вдруг с ожегшей его догадкой при слове «утром» вспомнил бомбежку, ровик в расчете Чубарикова, контуженного разведчика, в беспамятстве требовавшего полковника, командира дивизии: да, тот разведчик тогда сообщил об оставшихся там, впереди...

Еще минуту назад этот парень очень напоминал беглеца из плена или заблудившегося по какой-то причине пехотинца из боевого охранения, но и сейчас осенившая Кузнецова мысль о том, что это один из застрявших в поиске разведчиков, о которых говорил тот первый, утренний разведчик, тот, что сумел выйти к батарее в начале боя, казалась невероятной и невозможной. Каким образом он остался в живых? Где же он был во время боя? Там, впереди, прошли десятки танков, измяли, изрыли всю степь, целый день каждый метр земли кромсали снаряды...

— Уханов, дай ему еще рому,— сказал Кузнецов.— Ему трудно говорить.

— По-моему, он весь обморожен, лейтенант. До ногтей промерз,— ответил Уханов, вливая в рот парня еще несколько глотков рома из фляжки.

Тот, едва отдышавшись, отвалил назад голову, и тут Кузнецов раздельно и громко спросил его:

— Можешь говорить? Я буду задавать вопросы, ты отвечай. Так легче. Георгиев — разведчик? Утром вышел к нам на батарею. Ты тоже разведчик?

Парень потерся затылком о шлем, губы его разжались:

— Братцы... там двое в воронке... наши с немцем. Уже полуживой немец... Ранены. Обморожены все. Целый день мы с немцем. Взяли на рассвете. На шоссе. Из машины. Важный немец... Георгиева послали... сказать...

— Так. — Уханов переглянулся с Кузнецовым. — Ты понял, лейтенант? Тот разведчик, что утром у Чубарико-

ва? Тот самый? Бывает же! Вот, славяне, ядрена мама! Так что те ребята, из разведки?

— Те,— ответил Кузнецов и тронул за плечо парня, который сидел, безжизненно привалясь к брустверу, закрыв глаза. — Где остальные, далеко отсюда? Ты ранен? И немец, говоришь, с ними? По тебе стреляли?

Парень не открывал глаза, но до него дошел смысл вопросов. Он застонал, и Кузнецов, вглядываясь в его разлепившиеся губы, уловил:

— Метров пятьсот... впереди. Перед балкой. Я мог двигаться. Решили: мне сюда. Побежал. А там немцы везде. Две машины. Стрелять не мог. Руки обморожены, как култышки. А по мне стреляли... Взять надо их, ребята, взять! Двое наших там... Немец больно важный!..

— Метров пятьсот? Но где именно? — переспросил Кузнецов и выглянул из-за бруствера.

Давящий в лицо сухой, морозный ветер рвал утихающие очереди автоматов, бил нахлестами поземки из степи. Вся степь переменчиво обнажилась под светом ракет, змеилась, белой рябью наползала из-за черных груд сожженных танков, за которыми стеной вырастало низкое небо в моменты темноты. Ветер с поземкой усилился к этому дикому часу декабрьской ночи, разбросал, погасил последние пожары боя. И невозможно было поверить, что где-то там, в умерщвленной танками, выжженной морозом степи, еще могли быть люди, оставались двое наших разведчиков... Кузнецов хотел понять, куда стреляли немцы, хотел засечь направление трасс, но мешали угрюмые громады сгоревших танков.

— Метров пятьсот? — снова спросил он и склонился к лицу разведчика. — А точнее? Можешь сказать точнее?

Разведчик дышал, поднеся к подбородку скрюченные, сведенные, как сучья, пальцы, пытаясь отогреть их, пошевелить ими, но пальцы не разгибались. Не опуская рук от подбородка, он сделал движение ногой, чтобы встать, но мгновенно ослаб в этой попытке, откинулся на кромку бруствера, прошептал:

— Подняли бы, братцы!.. Ноги у меня тоже... Два бронетранспортера... прямо перед балкой... Скорей бы вы, артиллеристы!..

— Зоя где? — спросил Кузнецов.— Где Рубин?

— Сдается, лейтенант, останется парень без рук. Растереть бы надо снегом,— сказал Уханов и оглянулся

по сторонам.— Чибисов! Быстро в котелок снега — и ко мне! Только чистого снега, без пороха. За огневой набери. Понял?

Чибисов, затаившийся подле орудия в эти минуты разговора с разведчиком, вскинул на Уханова пришибленный взгляд зверька; потом из-под его подшлемника, заросшего сосульками на рту у подбородка, проник вместе с паром тихий, скулящий звук. И так, тоненько поскуливая, он, как раздавленный, пополз на коленях от орудия, елозя валенками, распластав по земле полы шинели — и во всем этом было нечто отвратительное, жалкое, словно он уже не воспринимал ничего, потерял способность по-человечески передвигаться, понимать что-либо.

— Чибисов, вы что? — удивился Кузнецов. — Что с вами такое? Встаньте — и бегом!

Но Чибисов со всхлипыванием, с бессвязным бормотанием дополз на коленях до ровика, канул в его темноту. Нечаев, обкусывая иголочки инея на будто обсахаренных усиках, проговорил вслед:

— Замерз он вконец. А дуриком в парня стрелял. Видно, очумел. Я схожу, старший сержант.

— Сиди! — остановил Уханов.— Пусть побегает — полезно! Потри-ка щеки, Нечаев. Тоже полезно будет — напудрился, попка.— И он легким похлопыванием рукавицы повернул лицо Нечаева к себе.— Три сильнее, а то амба щечкам!

Окрепший до предела мороз пронизывал и Кузнецова, стали неметь в перчатках руки, ноги в валенках, все жестче корябало когтями, раздирало лицо, и, глядя на разведчика, на его скрюченные возле подбородка пальцы, на их холодную костяную твердость, отчетливо вообразил, как тот бежал пятьсот метров до батареи, не стреляя,— его пальцы, наверное, не сумели стронуть, нажать спусковой крючок автомата... А волосы парня густо седели от застрявшей в них снежной крупы, густой иней налипал на ноздрях, ледком спаивал ресницы, и с клубами пара из его рта выдавливался шепот:

— Скорее бы, артиллеристы!.. Пятьсот метров отсюда!.. Двое наших. С немцем. За бронетраспортерами. Бомбовая воронка...

— Надень ему шлем, Уханов,— приказал Кузнецов, сел на станину, подождал, пока Уханов натянет на голову разведчика шлем, сказал вполголоса: — Что, Уха-

нов, будем делать? Пятьсот метров... Слева немцы, похоронная команда. А если нас пойдет четверо, с четырьмя автоматами?.. Возьмем гранаты. Нечаева оставим возле орудия, на всякий случай. Надо идти. Как считаешь?

Он знал, куда им придется идти, и в то же время понимал, что они не имеют права не пойти, не имеют права не сделать попытку прорваться к этим двум раненым разведчикам, о которых сообщил парень. Он понимал, что никому из них — ни ему, командиру взвода, ни Уханову — нельзя будет спокойно жить потом, если они оба не примут такого решения,— другого выхода не было. Он ожидал ответа Уханова, доверяя его трезвости и опыту больше, чем себе.

— Это — мое предложение. Давай решать, Уханов. Разведчики ведь на нашу батарею вышли... Попытаемся?

Уханов молча и сильно дул в снятые рукавицы, нагоняя туда тепло дыхания, затем надел их, похлопал ими по коленям и с неприязненной досадой из-под белой наледи на бровях глянул на Кузнецова.

— А что другое умное придумаешь? Ни хрена не придумаешь, лейтенант! Хотя пятьсот метров не пять метров. Главное, смазка бы в автоматах не замерзла! Послушай-ка, лейтенант. Затихли фрицы.

Все затихло, все застыло впереди, ни одной трассы, ни единого выстрела, ни одной ракеты; везде сереющие контуры сгоревших танков, извивающиеся меж ними змеи поземки, ее перекаты по брустверу.

— Чибисов! — крикнул Уханов.— Чибисов, где ты ползаешь? Молнией ко мне! Где снег? Какого дьявола!

Маленькая фигурка Чибисова в нелепой спешке выползла из-за бруствера; глаза — провалы страха в искрящемся панцире подшлемника; шмурыгая валенками, волоча по земле набитый снегом котелок, на четвереньках скатился к орудию, безголосо вскрикивая:

— Бежит кто-то, бежит!.. По берегу бежит! Сюда!..

— Кто бежит? — Уханов вырвал из его рук котелок.— Заговариваться начал? Нечаев, дай-ка ему хлебнуть из фляжки, в себя придет!

— Там бегут... сюда они, не разобрал я...— повторял шепотом Чибисов и, шепча, с робостью отползал задом от парня, который громко застонал, когда Уханов окунул его руку в котелок со снегом.

Кузнецов теперь сам услышал топот бегущих ног, приближающийся визг снега правее орудия, и с окликом: «Кто идет?» — схватил автомат разведчика, но из полутьмы выделились на свету два силуэта, ответный крик хлестнул оттуда:

— Свои! Не узнали?

И он узнал обоих. Это были Дроздовский и командир взвода управления старшина Голованов. Оба вбежали на огневую позицию, и Дроздовский, загнанно переводя дух, выговорил:

— Кто стрелял?

И остро колющий нервный ток почувствовал в себе Кузнецов при одном звуке его властного голоса и со стиснутым на груди автоматом присел на станину, сжатыми губами, молчанием давая понять, что не забыл то, что было между ними.

— Что здесь? Старший сержант Уханов, что вы тут делаете? Раненый? Откуда он?

На ходу задавая вопросы, Дроздовский порывисто прошел мимо Кузнецова, обдав запахом мерзлой шинели, и, чтобы удостовериться самому, нагнулся над Ухановым, над разведчиком, включил карманный фонарик. Свет пронзил, заклубив в плоском лучике желтый туманец, выхватил крепко сомкнутые зубы на запрокинутом к брустверу перекошенном курносом лице парня, сверкнули на скулах льдистые комочки, образовавшиеся от слез боли.

— Артиллеристы!.. Артиллеристы!.. В бомбовой воронке они... Шлем зачем надели, не слышу я...

— Гаси фонарь, комбат! С какой это радости? — Уханов, продолжая оттирать снегом руки парня, обозленно отодвинул плечом фонарик.

В тот же миг на другом берегу дважды прокатились как бы ожидавшие знака выстрелы, скользнули огоньки над бруствером, и Дроздовский, слегка наклонив голову, пряча погашенный фонарик, но нисколько не удивленный, процедил иронически:

— Весело живете, дальше некуда! — И спросил со знакомой требовательностью: — Кто этот парень? Как он попал к вам?

— Рубина хорошо за смертью посылать, ядрена бабушка! — проговорил Уханов и излишне лениво ответил Дроздовскому: — Этот парняга — разведчик, комбат. Из той разведки, что ночью ушла и не вернулась. Если помнишь, первый утром к нам во время бомбежки пришел —

Георгиев его фамилия. Это второй. А там, оказывается, еще в живых два. Двигаться не могут... Говорит: обморожены и ранены. Да еще в компании с «языком». Целые сутки. Вот какая картинка, комбат.

— Двое разведчиков? С «языком»? — повторил Дроздовский.— Это — точно?

— Кто с «языком»? По какому случаю заливаешь, Уханов? — махнул рукой, опустившись на корточки, неуклюже огромный старшина Голованов, приглядываясь к тихонько постанывающему разведчику.— Он сообщил? Он без сознания — бред у него. Там землю танки с дерьмом смешали. Где разведчики?

— Бывает, и девушка рожает. Не слыхал такого?

— Бреду, Уханов, веришь? Да откуда парень появился?

— Помолчите, Голованов, если не соображаете! — возвысил голос Дроздовский и выпрямился так резко, гибко, словно в нем пружина разогнулась.— Забыли того разведчика, которого отправили в дивизию? Забыли, что разведку ждали здесь из армии? Память девичья? Командир взвода управления называется! Вот что! Двух связистов ко мне! Кровь из носа, но вы мне свяжитесь со штабом дивизии. Уяснили, Голованов? На все даю десять минут. Повторите приказ.

Старшина Голованов с непредполагаемой легкостью вытянулся во весь неуклюжий рост, повторив приказ, проворно вспрыгнул на бруствер, по-слоновьи затопал от огневой к НП батареи.

Сжимая терявшими осязаемость пальцами приклад автомата, положенного на колени, Кузнецов сказал наконец:

— Слушай, Дроздовский, ты, как всегда, немного опоздал. Мы с Ухановым приняли решение идти. И можешь успокоиться. Настраивай рацию, сообщай...

— Где здесь раненый, родненькие?

Кузнецов недоговорил: со скрипом снега, прерывистым сопеньем на огневую позицию не вбежал, а вкатился на коротких своих ногах Рубин, следом пятном забелел, мелькнул мимо полушубок Зои. Ее голосок стеклянным речитативом прозвенел в студеном воздухе и оборвался. Потом белое пятно полушубка зашевелилось левее орудия, и вновь возник голос Зои:

— Оставьте котелок, Уханов. Он же ранен. Дайте мне финку... Вот подержите так его ногу, я разрежу

валенок. Осторожней, держите за пятку, видите, набух от крови.

«Неужели Чибисов попал в него?» — подумал, представив возможную нелепость, Кузнецов и стиснул до боли зубы. Он уже знал, что́ сейчас сделает, какую подаст команду, потому что нельзя было ждать — холод драл наждаком лицо, коченели спина, руки на автомате, — и надо было действовать, рискнуть, надо было просто двигаться, несмотря ни на что.

Он все-таки уверен был, что под прикрытием сожженных танков перед батареей они пройдут пятьсот метров до двух подбитых бронетранспортеров, за которыми где-то была бомбовая воронка с двумя разведчиками. Но живы ли они?.. Почему вдруг прекратилась впереди стрельба?

Даже не взглянув на Дроздовского, он ударил кулаком по диску автомата, поднялся и шагнул к ровику с легкой пустотой в груди, позвал негромко и хрипло:

— Уханов, Рубин, Чибисов, взять гранаты и автоматы — и ко мне!

В ответ услышал из темной щели ровика тихое, невнятное, собачье поскуливание, и почудилось: там кто-то придушенным голосом выл, затыкая себе рот. Кузнецов подошел. В углу ровика полулежал на боку Чибисов; заслышав шаги, он отпрянул в глубину укрытия, ноги его заелозили, словно опору искали, чтобы плотнее вжаться в землю.

— Чибисов, встаньте! — приказал Кузнецов.— Что с вами? Где ваш карабин? Оставьте его здесь. Возьмите автомат Нечаева.

— Товарищ лейтенант, Зоя-то сказала: валенок, мол, в крови. Я стрелял... не думал я. Неужто знал я? В парнишку-то...

— Встаньте, Чибисов!

Чибисов выкарабкался из темноты, его лицо в мокром инее выступало из подшлемника, плачуще искажалось; и, чтобы задавить голос, он кусал покрытую льдом рукавицу, а другой рукавицей ослабленно шоркал по снежной бровке, по-слепому пытался нащупать карабин на бруствере; наконец нащупал, потянул к себе, но едва не выронил: закоченевшие руки не подчинялись ему.

— Замерзли? Вы замерзли, Чибисов? — Кузнецов подхватил карабин, всунул его в колом торчащие рука-

вицы Чибисова, и тот нелепо прижал ложу к груди, так что ствол уперся в щеку.

— Закоченел я — ничем не владаю... ни рук, ни ног...

Слезы покатились из моргающих глаз Чибисова по неопрятно-грязной щетине его щек и подшлемнику, натянутому на подбородке, и Кузнецова поразило в его облике выражение какой-то собачьей тоски, незащищенности, непонимания того, что произошло и происходит, чего от него хотят. В ту минуту Кузнецов не сообразил, что это было не физическое, опустошающее душу бессилие и даже не ожидание смерти, а животное отчаяние после всего пережитого Чибисовым в течение нескончаемо долгих суток — после бомбежки, танковых атак, гибели расчетов, после прорыва немцев куда-то в тылы, что походило на окружение,— и это было отчаяние перед тем, чего никак не принимало сознание: надо куда-то идти и делать что-то... Наверно, то, что в слепом страхе он стрелял в разведчика, было последним, что окончательно сломило его.

— Не могу я!..— заплакал Чибисов, зажимая рукавицей рот и давясь.— Товарищ лейтенант!.. В голове у меня стряслось. Не понимаю я приказы...

— Возьмите себя в руки, Чибисов! Перестаньте! — крикнул Кузнецов шепотом, в сострадании глядя на Чибисова.— Лучше подвигайтесь, согрейтесь! Слышите, Чибисов? Иначе — конец!

— Товарищ лейтенант... Оставьте меня тут, за-ради бога!..

— Не могу, Чибисов! Поймите, людей нет! Кем я вас заменю, кем? Нечаев — наводчик, он должен оставаться у орудия. Вы не справитесь, если стрелять будет нужно! Понимаете?

А Уханов и Рубин, чьи фамилии он назвал, уже стояли около него в ровике, о закаменелую землю корябали, шуршали шинели — оба сосредоточенно и молча заталкивали в карманы гранаты, и Рубин, рассовав гранаты, круглые рубчатые «лимонки», перебросив ремень автомата через плечо, выговорил со злобной недоброжелательностью: «Тьфу в душу, бога мать! Пули таким мало!» — и, отхаркиваясь, сплевывая, потоптался, точно землю валенками уминал. Уханов же, дыханием согревая железо автоматного затвора, проверил его ход, поднял взгляд на жалкое, сморщенное задавленным плачем и тоской лицо Чибисова, сказал сочувственно:

— Если бы людей у нас побольше, с чистой совестью послать тебя нужно было в землянку к раненым, там помогать. А так что делать?

— Не живой, обмерз я...— И Чибисов в припадке отчаяния умоляюще подался как бы под защитную силу Уханова, повторяя: — Закоченел, всего меня трясет! Чую, случится со мной... силов никаких нет, сержант...

— Дошло,— спокойно согласился Уханов.— Давай-ка, Чибисов, вот что сделаем, если не возражаешь. Разотру я тебе снегом руки — станет теплее, будет как надо. Сначала замерзают руки, потом замерзаешь целиком. Давно известно.— Он поблестел стальным зубом, вроде улыбнулся.— Сейчас, лейтенант, пару минут. Разреши! А то сосулькой станет. Отойдем, Чибисов, чтобы глаза не мозолить.

— Подождем две минуты, Уханов,— ответил Кузнецов со смешанным чувством жалости и презрения, стараясь не глядеть, как покорно заковылял Чибисов по ходу сообщения, как тряслась его голова в беззвучном плаче.

То, что случилось с Чибисовым, было знакомо ему в других обстоятельствах, в том своем крещении под Рославлем, и с другими людьми, из которых тоской перед нескончаемыми страданиями выдергивалось, точно стержень, все сдерживающее, и это было предчувствием смерти. Таких заранее не считали живыми, на таких смотрели как на мертвецов; и он с омерзением к человеческой слабости боялся тогда, чтобы похожее когда-нибудь не коснулось и его.

— Навоюем с такой бабой мармеладной! Сопли распустил до пупа! Убить мало!

— Прекратите, Рубин,— повернулся к нему Кузнецов. — Откуда у вас эта злоба на всех? Не пойму. У вас-то руки действуют? Спусковой крючок можете нажимать? Если нет, вам-то я не поверю! Запомнили?

— Добрый вы ко мне, лейтенант. Ох, какой добрый! Не то что к Чибисову. Старое помните?

— Думайте что хотите,— сказал Кузнецов, нахмуренно посмотрел туда, где темнела за щитом орудия прямая фигура Дроздовского, и не без вызова подумал, что, в сущности, безразлично, слышал он или не слышал разговор с Чибисовым.

— Лейтенант Кузнецов! Кто здесь причитал? Чибисов? Что он? Отказывается идти?

Дроздовский быстро подошел, стал в одном шаге от него, как всегда весь натянутый струной, весь в готовности к действию, подобранный, обдающий холодом, такой же, как прежде в эшелоне и на марше; по его виду можно было судить, что он не сомневается ни в чем, спокоен, уверен, ничего с ним не случилось и не случится, и Кузнецов сухо ответил:

— У тебя слуховые галлюцинации, комбат. За Чибисова отвечаю я.

— Положим... Но вот что, Кузнецов,— заговорил Дроздовский утверждающе и решительно.— К разведчикам надо идти большой группой. Три человека не сумеют вынести троих. Я тоже пойду. С двумя связистами. Пойду вслед за вами. Правее двух сожженных бронетранспортеров.

— Можешь не беспокоиться, комбат, — с холодной отчужденностью ответил Кузнецов. — Если там кто-нибудь остался в живых, сумеем уж вынести.

— Не беспокоюсь, Кузнецов, не беспокоюсь! Но я пойду за вами! — проговорил Дроздовский и, дрогнув ноздрями, смерил его взглядом с головы до ног, потом отстранил с пути независимо молчавшего в ровике Рубина, крупными шагами пошел к орудию, где под бруствером Зоя с помощью Нечаева перебинтовывала разведчика.

«Если меня убьют сегодня, значит, так должно и быть,— стискивая приклад автомата, подумал Кузнецов, но тут же отогнал эту мысль: — Почему я подумал об этом?»

— Товарищ лейтенант, готовы!.. Всё — как на свадьбе!

Из хода сообщения в ровик вошел Уханов, а позади него маленький, тихий, виновато-понурый Чибисов, вдавивший голову в плечи; карабин был прижат к его боку ненужной мешающей палкой.

— Вот и прекрасно... Оставьте карабин Нечаеву, возьмите его автомат,— приказал Кузнецов и кивнул Уханову: — Пойдете рядом с ним. Я — с Рубиным. Ну, все. Вперед!

В это время у орудия зашевелились, замаячили фигуры на площадке, и сбоку Зоя и Нечаев на руках пронесли к берегу разведчика с немыслимо утолщенными, забинтованными ногами, и ветерком повеяло на Кузнецова еле различимым шепотом:

— Счастливо, мальчики! Возвращайтесь!.. Ни пуха вам ни пера!

Кузнецов не ответил ей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Вперед!

Это была последняя команда Кузнецова, услышанная Чибисовым, когда вскарабкались на бруствер, и здесь, за бруствером, через десять шагов все отодвинулось, ушло назад, перестало защищать — землянки под берегом, ровики, орудие, ходы сообщения,— и мгновенно охватило ощущение собственной открытости, оторванности от людей, от того, что было своим. Чибисов на подкашивающихся ногах ковылял за Ухановым, то и дело проваливаясь в глубокие воронки и в страхе вырываясь из них, с застрявшим в горле криком: «Куда мы идем?» — мотался из стороны в сторону.

А спереди ближе и ближе надвигалось что-то из затаенной неизвестности степи, в которой была дикая ночь, заставленная силуэтом недавнего боя; степь леденела в змеином шелесте поземки, в безмолвии зарева за спиной, и порой казалось: тихие, забеленные снегом тени поджидающе выползают навстречу, бесшумно извиваются меж неподвижных громад танков, еле позвякивает железо и подымаются впереди белые головы с рогатыми очертаниями квадратных касок... И Чибисов падал на землю, по-пьяному тыкаясь пальцами в спусковую скобу автомата: «Немцы! Немцы!»

Но выстрелов не было. Уханов не падал в снег, не подавал команды, шел, наклонясь к ветру, переступая через эти извивающиеся под поземкой тени. Тогда Чибисов, едва отпуская дыхание, отдирал иней на мокрых веках: вокруг виднелись вмерзшие в снег трупы, запорошенные с утра,— наверно, те немцы, которые успели выскочить из подожженных танков.

«Мертвецы это, слава богу! — билось в сознании Чибисова вместе со стучащим где-то в висках сердцем.— По мертвецам к живым идем... Господи, куда мы идем? Неужто Уханов не боится так к немцам зайти? Здесь они живые таятся!.. Неужто второй раз в плен? Окружат в одночасье, закричат...»

И, мертвея от страха, слабея до дрожи в мускулах живота, судорожно озираясь вправо, он хотел увидеть,

где идут Кузнецов и Рубин. Но не было видно их. «Не перетерплю второй раз, убью себя!.. Господи, пожалей меня и моих детей! Не злой ведь я человек, ни кошку чужую, ни собаку даже — никого в жизни не обижал!.. Пальцем ни жену, ни детей не тронул! В парнях еще тихим, смирным называли, смеялись, никаких драк не любил... С разведчиком, с парнишкой не по умыслу было! С испугу я... окоченел весь! За это наказание мне?» — мысленно шептал Чибисов, с мольбой обращаясь к кому-то, кто распоряжался его жизнью, его судьбой, и уже смутно видел, куда идет,— толчками колыхались перед закрытыми глазами очертания танков в светло-лиловой пустоте.

— Стой, Чибисов! Ложись! — прозвучала, как удар по голове, команда Уханова.— Немцы!..

Оглохнув от молотообразных ударов крови в затылке, Чибисов споткнулся двумя ногами обо что-то твердое, точно капустный лист хрустнувшее, упал лицом вниз, в поземку, суматошно приподнялся, ничего не соображая: впереди какой-то свет, расплываясь пятном, мигнул, замельтешил сквозь влагу век. А там, на бугре, над степью выросли невнятные белые фигуры и зыбко закачался темный силуэт машины.

Потом, охолонув его всего, донесся откуда-то испуганно-грозный оклик на чужом языке:

— Вер ист да? Хальт! [1]

«Вот они!» — вспышкой мелькнуло в сознании Чибисова, и, отползая, он обезумело рванул неощутимый пальцами затвор автомата, но мигом чья-то рука клещами схватила его за плечо, и в ухо — свистящий шепот:

— Стой! Не стрелять! Сюда! За танк! Куда раком пополз? Вправо, вправо, ну?

Уханов, лежа рядом, изо всей силы толкал его в плечо. Тогда он послушно пополз на животе куда-то вправо, всхлипнув горлом, опасаясь взглянуть вверх, загребая в валенки, в рукавицы снег, и тут снова пронзил слух чужой оклик:

— Хальт!

И оглушающе прогремела автоматная очередь, взвизгнула в ушах, сверкнула резкими огнями. Затем разящий, всеоголяющий свет встал беспощадно над степью. Несколько секунд пышно развернувшийся этот свет плыл

---

[1] — Кто там? Стой!

в поднебесье, и в течение нескольких секунд одно и то же повторялось в мозгу Чибисова: «Видят нас, видят!.. Сейчас подбегут — и выстрелить не успеем!»

— Лежи, тихо! Что бормочешь? Псалмы поешь, что ли? — как через толстую подушку дошел до него голос Уханова.

— Немцы!..

— Лежи, говорят! Ты что лазаря запел, папаша?

Снег нестерпимо сиял. Чибисов с тоской, обмирая, поджал ноги. Там, за ногами, упавшая ракета догорала на снегу, в десяти метрах позади танка, за которым, оказывается, вплотную лежали они. Ракета, шипя, разбрызгивалась возле ног бенгальским огнем, осыпая искрами серую броню танка, застывшую уродливую толщу гусениц, синевато освещала короткое обледенелое бревно с торчащим вверх сучком с фосфорической искоркой на нем — бревно виднелось как раз на том месте, где споткнулся и упал на хрустнувшее Чибисов: это был труп немца-танкиста.

— Смотри, Чибисов, часы у фрица,— чуть подтолкнув локтем, зашептал Уханов.— Добро пропадает. Ты что, как козлиный хвост, трясешься? Опять замерз? Пощупай спусковой крючок, чуешь? В общем, папаша, главное — не робей. Хуже смерти ничего не будет. Сколько тебе лет? А? За тридцать, похоже?

— Сорок восемь мне было. Зазяб я весь, сержант...

— Да, не мальчик. Шевели пальцами, крепче шевели. Теперь малость потерпеть осталось. Успокоятся они — и вперед. Проползем правее — и броском к двум бронетранспортерам перед балкой. Ничего. Обойдется, папаша!..

Ракета погасла, стало вокруг темнее, чем было, а из навалившейся темноты, которую не перебороло дальнее зарево, подозрительно мигнул на бугре фонарик; налетевший ветер с поземкой разорванно донес сверху чужой разговор, словно бы ободряющий смех; и опять повторной искоркой посигналил над степью среди, казалось, зазыбившихся теней.

— Сюда они!.. Сюда идут!.. Стреляй, сержант, стреляй!..— выдавил Чибисов, неудержимо вызванивая зубами, и, как в безумии, схватился за автомат, каждой клеточкой своего тела сопротивляясь ужасу того, что может произойти, с затемненным сознанием от этого ужаса и ненависти к донесшимся голосам, к смеху немцев, кото-

рые тенями шли по бугру в сотне шагов от них, нащупал и дернул спусковой крючок автомата.

И в то мгновение Уханова опалило близким пламенем, всполохнулись обрывки каких-то криков впереди, пробили ответные автоматные очереди, высекая над головой звон по броне танка; брызнуло снегом в лицо, а рядом — бредовый голос: «Бей их, сержант! Стреляй их, сержант!..» Еще не понимая, что произошло, он увидел в распадающемся свете ракеты Чибисова, лежащего на боку; тот, трясясь как в тике, одной рукой зажимал предплечье, другой тянул к себе автомат, выбитый, отброшенный в сторону какой-то силой,— и Уханов крикнул яростным шепотом:

— Не ори! Заткнись, ни звука! — и подполз к Чибисову вплотную, отнял его рукавицу от предплечья.— Почему орешь? Ранило? Что плечо зажимаешь?

— Вот... рука онемела, стрелять не могу, сержант...

— Не рука онемела, а задело малость! Не чуешь? Дай-ка посмотрю! — Уханов тщательно ощупал, осмотрел тронутый пулей край чибисовской шинели, уже слегка увлажненный кровью, выругался в сердцах: — Зачем стрелял, чертов папаша? Я подавал команду? На кой дьявол, спрашивается, стрелял?

— Сержант, прости ты меня!.. Не могу я лопотание их слышать... не вытерпел я, прости ты меня...

Некоторое время Уханов глядел на Чибисова с укоризненной жалостью, потом приподнял его с земли, скорченного, дрожащего, видно, вгорячах еще не чувствовавшего ранения, прислонил спиной к гусенице, выговорил зло:

— Плен, что ли, вспомнил? Везет тебе, папаша, как утопленнику! Сразу пулю поймал! — Он отщелкнул диск с автомата Чибисова, повесил автомат ему на шею, потом, охлаждая себя, провел закостенелой на морозе рукавицей по своему лицу, проговорил: — Давай, папаша, ползи назад! Возле кухни тебе пшенку давно варить надо, а не здесь... Прижимайся к земле, а то добавит. В тыл, папаша, Зоя перевязку сделает! Мотай назад!

Он толкнул его; и, после того как боком, нелепо подволакивая тело, Чибисов пополз, заелозил между воронками, стал отдаляться назад, Уханов упал грудью на снег, зубами хватая пресную, пропахшую порохом влагу — жажда мучила его.

— Уханов, Уханов!

Он оторвался от земли, расслышав вблизи тревожный оклик справа, где проходила траншея боевого охранения, и глянул туда — вытянутыми вперед тенями бежали к нему Кузнецов и Рубин; окатив ветром, оба с бега легли возле Уханова, удерживая рвущееся дыхание, и тогда, опережая вопросы, он выговорил сиплой скороговоркой:

— Чибисова ранило, не шибко, в руку. Назад его послал. Обойдемся, лейтенант.

— Так и знал! — Кузнецов поморщился.— Ладно. Может быть, к лучшему.— И быстро заговорил, подползая ближе: — Представь, Уханов, я ребят из боевого охранения встретил. С каким-то пулеметчиком усатым разговаривал. Собирают патроны по всей траншее. В пулеметах смазка замерзла. Отогревают. Думал, уж никого нет, а оказалось, сидят. Несколько человек. Хотя ни одного командира в живых. Сказали, что отсюда до двух подбитых бронетранспортеров метров сто пятьдесят. Подождем, пока немцы успокоятся, и двинем дальше без выстрелов.

— Легко отвоевался, хвост моржовый, скажи ты! — с угрюмым разочарованием произнес Рубин. — Небось рад-радешенек мужичонка: выжил, мол!..

— Без выстрелов, лейтенант? — переспросил Уханов, сплевывая от мерзкого толового вкуса во рту, и с невозмутимым лицом потянулся к автоматному диску Чибисова, затолкал его за пазуху.— Согласен. Эти похоронники только для острастки пуляют. Уверен, проскочим, лейтенант.

Взвывающие звуки танковых двигателей, железорежущие, с перебоями, как бывает на холостом ходу, донеслись справа, из станицы, и эхом раздробили темноту ночи, ее секундное затишье.

— Прогревают, значит, моторы,— сказал Кузнецов, прислушиваясь.— Совсем рядом. Ну что ж!..

Рубин заерзал на животе, хищно обнажил мелкие зубы, мгновенно поднятый резкой командой:

— Вперед! Проскочим!

Сто пятьдесят метров, это узкое пространство степи, оставшееся до двух бронетранспортеров на краю балки, преодолевали короткими перебежками; потом, выжидая, лежали в снегу, переползали среди множества в этом месте воронок. Похоронная команда немцев, собиравшая трупы в машину, прекратила огонь и осталась слева,

несколько позади. Однако впереди, над окраиной южнобережной станицы, где гудели прогреваемые танковые моторы, то и дело в разных ее концах стали вздыматься серии ракет, неспокойно иллюминируя степь каждые пять секунд.

Там, впереди и справа, немцы, очевидно, были потревожены стрельбой на берегу, с двух направлений наблюдая за степью, но сами огня не открывали, опасаясь вблизи задеть своих. Так, по крайней мере, представлялось Кузнецову, когда после перебежек подползли наконец к двум бронетранспортерам и, обессиленные, распластались на снегу. Рубин сапно дышал, заглатывая ртом воздух, у Кузнецова вконец одеревенело исхлестанное поземкой лицо, сердце билось, захлебываясь, сдвоенными ударами. Минуты две лежали без движения: подняться было невозможно. Уханов, первым отдышавшись, прикладом автомата уперся в землю и встал, прислонился к борту бронетранспортера, проговорил охриплым шепотом:

— Похоже, лейтенант, воронка метров пятьдесят вправо. Перед балкой. Опять ползти придется. А светят — как днем. Чуют нас они, собаки!..

Перебросив автомат через руку — пальцы покалывало иголочками,— Кузнецов встал рядом с Ухановым, глядя в ядовито и широко воспламеняющееся за бронетранспортерами пространство, где бугрились беловатые выступы предполагаемой воронки. Справа низкими полукруглыми копнами проступали первые синезаснеженные крыши станицы, на которые, взвиваясь, шрапнельно раскалов огнями небо, спадали в освещенном морозном клубящемся тумане рассеянные брызги ракет, и Кузнецову с давящим, щекотным ощущением в груди от неправдоподобной близости к немцам явно показалось, что он различает в проулках и между первыми домами темнеющие башни прогреваемых танков и слышит в треске, в гудении моторов перекликающиеся голоса.

«Не может быть! Не может быть, что разведчики в воронке, так близко от немцев! Вероятно, где-то есть другие два бронетранспортера, не эти!..»

И, подумав, что они ошиблись направлением, не туда пришли, что все сейчас, в таком упорном отчаянии сделанное ими, напрасно, бессмысленно, Кузнецов, испытывая то же неисчезающее щекотное ощущение в груди, никак не решаясь отдать команду на последний

бросок в сторону воронки, с насилием над собой приказал:

— Уханов, ползком вперед — и узнать. Эта ли воронка, черт ее знает. А то напóлзаем под носом у фрицев.

— Похоже, она, лейтенант.

— Проверь. Будем ждать здесь...

— Узнаем, лейтенант.

Уханов не сказал больше ничего, но как только пополз от бронетранспортеров и стала медленно растворяться, сливаться со снегом широкая его спина в рябящих переливах накатываемой поземки, Кузнецов наготове, с притиснутым под мышкой прикладом автомата, сдернув рукавицу, нашел почти бесчувственным пальцем спусковую скобу, нащупал твердость спускового крючка, плечо плотнее уперлось в борт бронетранспортера.

«Если мы ошиблись,— прошло в сознании Кузнецова,— оставлю Рубина и Уханова здесь, а сам найду воронку... Я их повел сюда. Не имею права рисковать ни одним человеком!..»

Эти заметные впереди выбросы забеленной земли могли оказаться бруствером первых окопов боевого охранения немцев, и Кузнецов в предельном напряжении каждого мускула не отрывал взгляда от ползущего в вихрях снега Уханова, готовый при первом выстреле из немецких окопов прикрыть его автоматным огнем. На долю минуты в темном, как ослепление, промежутке между двумя ракетами он потерял его из поля зрения и даже вздрогнул: остро ударила по нему непонятная тишина; потом новое сияние над крышами станицы — вокруг ровная, озаренная гладь снега, мотание на низовом ветру кустов по степи, без шевелящегося впереди белого бугра. Танковые моторы в станице смолкли.

— Рубин, видишь Уханова? Видишь или нет?

— Лейтенант, чего тихо стало? Нету его, нету, как провалился куда,— задышал Рубин, привставая на корточках, вытягивая к Кузнецову свое большое озябшее тревожное лицо.— Не залапали его? А? Лейтенант...

Но сейчас же спереди, из шелестящей в стеблях кустов зыби снега, из непроглядной тьмы, сомкнутой после химически окрасившего степь света, не то возглас, не то зов, обрывистый, торопящий:

— Сюда!.. Сюда!

— Рубин, вперед! — скомандовал Кузнецов и, уже не сознавая меру опасности или облегчения, с шершавым

ознобом в спине, бросился вперед, на зов Уханова в спасительной пятисекундной темноте.

Рубин вскинул автомат, рванулся за ним, тяжко сопя за плечом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Огромная бомбовая воронка, метрах в ста от балки, оказалась именно той воронкой, в которой вынуждены были укрыться дивизионные разведчики при запоздалом возвращении из поиска, врасплох застигнутые боем. Тогда, в начале боя, она, видимо, страшно и разверсто черная, дымилась после бомбежки в солнечной белизне степи, и танки, атакуя из балки, поднявшись на возвышенность, обходили ее, потом два бронетранспортера прошли мимо в нескольких метрах, а орудия батареи вели огонь по ним на дальности прямого выстрела, быстро подожгли их...

Когда же Кузнецов вместе с Рубиным броском достигли края воронки, обозначенной вывороченной, покрытой снегом землей, и сверху увидели в смутно-сизой глубине Уханова, делавшего что-то на самом дне ее, Кузнецов был озабочен одним: уцелел ли еще кто-нибудь из разведчиков, и, сбегая вниз по крутому скату, едва выдохнул:

— Живы?

— Здесь. Двое... — ответил Уханов.

Эти двое, чуть белеющие в сумраке, лежали на дне воронки, намертво сцепленные. Присев на корточки, Уханов с тщетными усилиями пытался расцепить, разодрать их тела, словно впаянные одно в другое, дергал за плечи и тормошил обоих, к удивлению, еще подававших слабые признаки жизни; у одного из них, одетого в маскхалат, из-под лохмато обведенного инеем капюшона рвался пар дыхания, и, еле угадываемые, перекатывались на Уханова в густых наростах изморози глаза, толстыми, пушистыми гусеницами сжимались и разжимались брови, из горла выталкивался нечленораздельный сип.

— Расцепи руки, расцепи, парень, руки!.. Свои мы, русские! Чуешь, нет? — говорил убеждающе Уханов.— А ну, взгляни-ка на меня, парень!..

— Ты ска-ажи на милость, наш этот, в халате-то, а тот — немец, никак? — произнес Рубин недоуменно.— Смотри, дышат ведь! Дела-а, бабушка твоя тетя!

— Второй — фриц,— сообщил Уханов.— Лейтенант, погляди!

Только теперь Кузнецов с трудом отличил одного от другого — двоих людей, лежавших сцепленно на дне воронки в окоченелом объятии. Это были наш разведчик и довольно крупный плотный немец в меховой шапке и шинели, сплошь седых от въевшейся в ворс, как крупная соль, снежной крошки. Руки немца в кожаных перчатках загнуты за спину, белое, костяное лицо наполовину скрыто меховым воротником, во рту не было кляпа, и он, почуяв около себя людей, хрипел, мычал, не разжимая крутых, бульдожьих челюстей, елозя щекой по снегу. Из раздувающихся широких поздрей его длинными, мокрыми усиками торчали иголочки.

— Эй, парень, отпусти же руки!.. Свои мы, понял? К вам пришли...

Уханов не без труда высвободил наконец немца из охвативших его обручем рук разведчика, застонавшего чуть слышно,— не один час, вероятно, он обнимал так пленного со спины, стараясь сохранить последнее тепло в себе и в нем,— и, оттянув разведчика немного в сторону, сказал Кузнецову:

— Живуч фриц! А парню — хана. Какого дьявола он не снял с этого бульдога шинель? На меху подкладка, смотри, лейтенант! Нянчился, что ли, с этой драгоценностью! Что, развязать этому лапки? Теперь никуда не убежит...

— Где третий? Не вижу третьего,— сказал, торопясь, Кузнецов.— Тот парень говорил: здесь двое разведчиков. Быстро, Рубин, наверх. Может, выполз туда? Осмотрите вокруг воронки.

Кузнецов глядел на разведчика, без звука лежавшего на спине; капюшон, надвинутый до закрытых глаз, заиндевел сахарной маской, маскхалат на груди и животе изодран в клочья, ремня не было, снег в прорехах халата пластырем намерз на ватнике. Ноги, казавшиеся бревнообразными от ватных брюк, с налипшей на валенки перемешанной со снегом землей, раздвинуты. Одна нога выделялась особенно: возле колена несколько раз замотана была чем-то, и нечто скрученное и тонкое, похожее на мерзлый ремень, языком свешивалось в снег. Действительно, это был поясной ремень, жгутом наложенный ниже колена, над неумелой перевязкой, давно и второ-

пях сделанной прямо поверх ватных брюк. Наверно, валенок он не снимал и брюк не разрезал, а так, жгутом хотел задержать кровь.

Все они, по-видимому, застигнутые ранним утром в станице, в упор напоролись на немцев и едва доползли сюда, когда началась бомбежка. Но где оружие? Сколько их всего спаслось?

Оружия разведчика здесь, в воронке, не было. Виднелась на скате воронки одна чужая, массивная кобура с ремнем, снятая, надо полагать, с немца,— ее полузасыпало, она краем торчала из наметенного сугробика. Кузнецов выдернул ее из снега. Кобура была пуста. И он отбросил ее. Потом наклонился к разведчику, попробовал слегка отвести края капюшона с лица его, но это не удалось. Все смерзлось на лице, все было в жестяном покрове, хрустело — и он отдернул руку.

— Слушай, парень,— заговорил Кузнецов с нетвердой надеждой, что разведчик услышит его.— Мы свои, русские... Вас было здесь двое. Где второй? Куда ушел второй?

Но то, что он смог угадать в натужном сипе сквозь капюшон, никак не складывалось ни в какое разумное слово, сип этот выдавливался двусложно:

— Не-ме... не-ме...

«Немец? — скользнула догадка у Кузнецова.— Он что-то хотел сказать о немце? Или принимает меня за немца?»

— Ну, начнем выносить, лейтенант? — послышался голос Уханова.— Этого дурындаса тоже придется на плечах волочь? Глянь-ка, лейтенант, что фриц делает — тронулся или озверел? Дать ему раз промеж глаз, чтоб успокоился?

Кузнецов сначала не понял, что с немцем. Развязанный Ухановым, он белым бревном катался по дну воронки, неистово колотил меховыми своими сапогами и руками по снегу, вскидывал эпилептически головой, выгибался, бился грудью о землю, издавая рыдающее, звериное подвывание; синели оскаленные в беззвучном смехе зубы, истерично были выпучены глаза. Он не то обезумел от холода, не то согревался, может быть испытывая какую-то звериную радость оттого, что кончилось это страшное лежание в воронке в закаменелых объятиях русского разведчика в ожидании смерти.

— Ферфлюхтер, ферфлюхтер!..[1] — выборматывал, хрипя, немец с закипевшей пеной в углах рта.— Рус... рус! Ферфлюхтер!..

— Похоже, немчишка — какой-то чин,— проговорил Уханов, со снисходительным любопытством наблюдая за немцем.— Ругается, лейтенант? Психует?

— Похоже,— ответил Кузнецов.

Потом немец обмяк, лег на бок, а руки его в меховых перчатках начали толкаться где-то внизу живота, откидывать полу шинели; спина напружилась, потом внезапно он закинул голову, заводя за лоб глаза, и лающе не то заплакал, не то завыл, суетливо колотя меховыми сапогами по снегу.

— Дуй в штаны, фриц, теплее будет,— насмешливо сказал, уяснив этот жест, Уханов.— Ширинки тут расстегивать некому. Потерпишь, гитлеровская зануда. Денщика с ночным горшком нет.

— Ферфлюхтер, рус, ферфлюхтер!.. Их штербе, рус...[2]

— Штейт ауф![3] — вдруг произнес команду Кузнецов, мучительно вспоминая знакомые еще по школе немецкие слова, и подошел к затихшему на дне воронки немцу.— Штейт ауф! — приказал он снова.— Встать!

Глаза немца, остекленев на костяном лице, нацелились снизу вверх в его сторону, и Кузнецов, толкнув его автоматом в плечо, повторил резче:

— Штейт ауф, шнель![4] Шнель, говорят!

Тогда немец оторопело сел, тут же попытался встать, но не удержался на ногах и неуклюже повалился на бок на скате воронки; затем с клокочущим всхлипом оперся руками, поднялся на четвереньки и с расстановками, медленно выпрямился. А выпрямившись, стоял непрочно, шатаясь,— был на голову выше Кузнецова, очень крупный, плотный в теле, чрезмерно утолщенный в своей подбитой мехом теплой шинели, и так близко виден был этот чужой взгляд немца — взгляд, ждущий удара, настороженный и в то же время через силу намеревающийся еще быть высокомерным.

— Будешь сопровождать его, Уханов. Сволочь, видно, основательная! — сказал Кузнецов с едким щекотным

[1] — Проклятый, проклятый!..
[2] — Проклятый, проклятый русский!... Я умираю...
[3] — Встать!
[4] — Встать, быстро!

чувством оттого, что перед ним стоит вблизи живой, ненавистный даже в воображении гитлеровец. Да, он их всех вот такими и представлял и поэтому сейчас ни на минуту не сомневался, что в душе этого пленного не оставалось ничего человеческого, свойственного нормальным людям.

Между ними были пропасть страданий, кровь, отчужденная и непонятная друг другу жизнь, непримиримые, враждебные друг другу понятия. Между ними была война и приготовленное к стрельбе оружие.

— И отвечаешь за него! — зло бросил Кузнецов.

— Доведу, лейтенант. Будет шагать как шелковый,— пообещал Уханов и, подойдя, грубовато и бесцеремонно похлопал по карманам немца, вынул зажигалку, вместе с ней смятую пачку сигарет, нестеснительно расстегнул шинель, достал из зазвеневшего орденами мундира портмоне, после чего отогнул рукав его затвердевшей на морозе шинели, проговорил полувопросительно:

— Смотри ты, как нянчились с ним разведчики, все оставили... Взять часы, лейтенант?

— Оставь их к черту! И зажигалку, и сигареты! И это все! — быстро и гадливо выговорил Кузнецов.— Брать у вшивой фашистской сволочи!..

— Не видно, что вшив.— Уханов с усмешкой отпустил рукав немца, раскрыл портмоне.— Глянь-ка, лейтенант, какие-то фотографии... У всех немцев на фотографиях дети как ангелы, особенно девочки, замечал, нет? И в белых чулочках.

— Не замечал. Отдай всё,— приказал Кузнецов, не выказав ни малейшего любопытства к фотографиям.

— Ответь мне, лейтенант: на кой хрен мы всегда с ними церемонимся?

А немец, видимо, что-то понял. При повторяющемся слове «лейтенант» в глазах его тотчас исчезло натужно-высокомерное выражение, переменилось на выражение неуверенной просьбы, и он качнулся в сторону Кузнецова, этого русского, насупленного, зло приказывающего мальчика, выхрипнул:

— Сигаретен... мейн сигаретен... герр лейтенант!.. Раухен, раухен. Ихь виль раухен, герр лейтенант! Раухен! [1]

---

[1] — Сигареты... мои сигареты... господин лейтенант!.. Курить, курить. Я хочу курить, господин лейтенант! Курить!

Он опять не устоял на ногах, осел задом в снег, снизу глядя на Кузнецова и подергивая шеей, судорожно глотал слюну.

— Отдай ему. Хочет курить, видишь? — сказал Кузнецов презрительно.

С нахмуренными бровями он подошел к разведчику. Разведчик все в том же неизменном положении лежал на спине, ноги раздвинуты, парок рваным облачком пульсировал над стянутым на лице капюшоном. Его сейчас нужно было выносить отсюда, и невозможно было представить, как сделать это, не задевая и не тревожа его раненую и перетянутую жгутом ногу.

«Но где может быть второй разведчик? Возможно, ошибся тот парень! Где Рубин?»

Весь верх воронки от края до края густо и вьюжно дымился в проносящихся токах поземки, сверху подсвечиваемой методичными вспышками ракет, невидимых отсюда, из глубины. Внизу, по скатам, скребущий шорох залетавшей снежной крупы, а там, вверху, вольное степное гудение низового ветра над воронкой, над ночной степью и в двухстах шагах немцы — их танки, их посты с наблюдателями на окраине станицы. Рубина не было.

«Пора идти! Невозможно ждать... Вернуть Рубина — и идти назад! Больше нельзя рисковать!» — подумал Кузнецов и в мгновенном приступе обеспокоенности хотел сказать Уханову, что надо немедленно выносить разведчика, но опоздал сказать.

Будто над ухом простучавшая пулеметная очередь заставила его инстинктивно броситься вверх по скату воронки. Он успел лишь приказывающе махнуть рукой Уханову — оставайся пока здесь,— и, когда выкарабкался наверх, в мутный и завивающийся дым снежка, первая мысль была: Рубин напоролся на немцев!

Гулко и учащенно дудукал с окраины станицы крупнокалиберный пулемет; сливаясь, трассы летели левее воронки над контурами сожженных бронетранспортеров. Все мерцало, светилось в поднятой по всей окраине метели ракет, но никого не было видно слева от воронки, куда стреляли немцы.

— Рубин! — позвал Кузнецов, поднявшись на локтях.— Рубин, ко мне!

В ту же минуту силуэты человеческих фигур неотчетливо возникли из сугробов метрах в пятидесяти левее двух бронетранспортеров, пробежали несколько шагов к

воронке, одновременно упали, зарылись в снег, и крупнокалиберные трассы сдвинулись, молниеносно засветились там, где только что бежали они.

«Дроздовский! — сообразил Кузнецов.— Но только почему он влево за бронетранспортеры зашел? Не ясно разве было?»

— Правее, правее! Ползком сюда! — крикнул Кузнецов, выше приподнимаясь на локтях, чтобы увидеть их.

Они ползли к воронке, а пулеметные очереди снижались над степью, перемещались за ними в одном узком секторе между бронетранспортерами и воронкой, не давали поднять головы. Метрах в десяти от края воронки передний, вскинувшись, откликнулся:

— Лейтенант! Мы это...

И Кузнецов различил впереди, в поземке, Рубина, его мощные, облепленные снегом плечи, потом заметил тонкой, проворной ящерицей ловко подползавшего к воронке Дроздовского с двумя связистами из взвода управления, а рядом с ними под белой шапкой странно забелело чье-то неправдоподобно знакомое и незнакомое лицо, не имеющее права быть здесь, странно оживленное преодоленной опасностью,— лицо Зои.

«Зачем ее взяли? Кому она сейчас поможет? Для чего она?» — подумал Кузнецов, скорее не удивленный, а раздосадованный необязательностью ее прихода сюда, и, увидев, как Зоя с возбужденным выражением проводила глазами трассы над головой, он скомандовал, махнув автоматом:

— Быстрей, быстрей! В воронку!

— Товарищ лейтенант! — удушливо выкрикнул Рубин, подползая.— Искал... вокруг искал, все на пузе облазил. Нету второго нигде... Каждый метр оползал! А вдруг смотрю, наши бегут. Да левее взяли, не туда. Кинулся к ним, а эти заметили, начали кутерьму!

— А вы как думали, Рубин, домой пришли, чтобы бегать тут?! — отрезал Кузнецов, с неприязненной твердостью выделяя слова «бегать тут». — Устроили концерт! Вниз! Все вниз!

На краю воронки заворочались, прерывисто задышали онеженные, торопливо подползшие тела, разом стали скатываться, сбегать вниз, послышался перехваченный волнением голос Дроздовского:

— Кузнецов, здесь разведчики?

Отвечать не было смысла, и Кузнецов, не спускаясь в воронку, раздраженный этим, своими же вызванным огнем немцев, глядел в сторону берега на радиальные прострелы очередей, сверкавших левее бронетранспортеров, мимо которых надо было возвращаться к орудию, и, зрительно запоминая, рассчитывая сектор обстрела, внезапно почувствовал: кто-то задержался на краю воронки, подполз к нему — частое близкое дыхание и шепот над ухом:

— Кузнечик, родненький!.. Ты жив? Слава богу, что это ты... Здравствуй, посмотри на меня, кузнечик!

— Мы виделись,— поворачиваясь, ответил он недоброжелательно.— В чем дело?

Зоя села возле, опустив ноги в воронку. Шапка у нее была сбита набок, волосы и тонкие брови в снегу, от колюче-отвердевшего инея на кончиках ресниц ее глаза с косинкой, отливая темным, показались неестественно вопросительными, раздвинутыми волнением — нечто мальчишеское, вызывающее было в этой ее сдвинутой набок шапке, в этих улыбающихся губах.

— Здравствуй, кузнечик! — все так же ласково повторила она, с радостным удовольствием произнося это выдуманное ею, какое-то легкое, игрушечно-детское слово, и оглядела его нарочито хмурое, не желавшее понимать лицо.— Уж и не думала увидеть тебя живым!.. Мне раненый Чибисов сказал, что вы сразу натолкнулись на немцев, я сама слышала стрельбу... И я пришла. Уханов не ранен? Ты слышишь меня, кузнечик?

— Какой я еще «кузнечик»? Уханов цел и здоров! И я цел и здоров, разве не ясно? Чибисов наговорит! Нечего тебе здесь делать! — И спросил чересчур грубо: — Ты, кажется, пришла выносить нас, раненых? Что за бессмыслица! Кто просил тебя ползти сюда пятьсот метров?

— Не кричи на меня, кузнечик.— Припухлые губы опять дрогнули в улыбке.— Я как-никак санинструктор, а не твоя нелюбимая жена. Нет, кузнечик, ты вовсе не хочешь кричать на меня, правда? А почему-то кричишь! Ты стал мною командовать, кузнечик. Я разве тебе подчиняюсь?

— Вниз! — приказал он.— Там раненый разведчик. Но перевязку сейчас делать бессмысленно! Его сначала надо вынести! Вниз — и сейчас будем уходить! — Он с неприступным видом подождал, пока Зоя спустится в воронку, и позвал: — Рубин, ко мне!

— Сейчас уходить будем, товарищ лейтенант? — подвигаясь к нему, засомневался Рубин, кашлянув густым паром.— Не обождать? Больно уж они всполошились...

— Именно подождем, когда стихнет. Поэтому наблюдайте!

Отдав этот приказ, Кузнецов сполз с края воронки, на скате стал и, перекинув на грудь автомат, сошел вниз.

Здесь все молчали. Лежа на снегу, унимая дыхание после миновавшей опасности, два связиста в завязанных на подбородках шапках то и дело неспокойно косились на раненого разведчика, на Зою, на пленного немца, который сидел подле Уханова, низко склонив к ногам голову в высокой шапке, запустив руки в перчатках за борта своей подбитой мехом шинели. Спиной к ним, опустившись на колени, Зоя бережно прикасалась к безобразно толстым раскинутым ногам разведчика, но санитарная сумка не была расстегнута, не передвинута с бедра — Зоя, видимо, не решалась делать второпях перевязку, она прислушивалась к бесперебойному стуку пулемета.

Дроздовский, оправляя портупею со сбитой назад кобурой, стоял между раненым разведчиком и немцем, в нерешительности взглядывал то на одного, то на другого; в неживом полусвете бледное, взволнованное лицо его выражало нетерпение.

При виде Кузнецова, спустившегося на дно воронки, он шагнул к нему, спросил требовательно:

— Где разведчик? Их должно быть двое с немцем, как я понял! Где второй?

— Кто может сказать — где! Искали вокруг воронки, но не нашли,— ответил Кузнецов, обращаясь не к Дроздовскому, а к Уханову, который, сидя близ немца, с углубленным старанием оттирал рукавом ватника изморозь с затвора автомата.— Думаю, к немцам не ушел! Пополз, наверное, к нам, но сил не хватило. Или застрял на полпути. Или дополз до окопов боевого охранения. Одно из двух.

— Надо искать! Обязательно искать! — с придыханием выговорил Дроздовский.— И найти его, Кузнецов! Я связался по рации с капэ дивизии и доложил, что мы идем сюда. За ними. Так вот что мне приказали: как только вынесем, не медля ни секунды доставить обоих на капэ. Вместе с «языком». К начальнику разведки! Да,

искать, Кузнецов... Во что бы то ни стало! Пока не найдем второго, мы не имеем права уходить отсюда!

— Надо не здесь искать, а всех уводить отсюда! Пока не рассвело! Пока мы всех до одного не оставили в этой ловушке! — перебил его Кузнецов.— Не ясно разве, от воронки двести метров до немцев! Все и без бинокля просматривается из станицы. Как только затихнет, всем быстро назад — к двум бронетранспортерам — и перебежками за танками — к орудию! Здесь надо было раньше искать, а не бегать дуриком по степи! Двух бронетранспортеров найти не могли!

— Согласен, лейтенант, — спокойно сказал Уханов, очищая рукавом затвор автомата.

Кузнецов намекал на ошибку Дроздовского, на то, что он со связистами запоздало пришел сюда, отклонился в сторону от бронетранспортеров и, таким образом, некстати вызван был огонь немцев, устроена никому не нужная кутерьма в тот момент, когда надо было выносить разведчика.

Дроздовский с минуту безмолвно покусывал губы, затем произнес с непрекословной убежденностью:

— Пока я жив, я отвечаю за батарею! Отвечаю я, Кузнецов. В том числе и за твою жизнь...

— Вот даже как! Нет, не за меня, комбат! Как-нибудь отвечу за себя и своих сам, если повезет!..— несдержанно ответил Кузнецов и сразу осекся. Он не хотел продолжать разговор в присутствии Зои и связистов, не хотел проявлять при них открытую свою неприязнь к Дроздовскому.— Прекратим на этом, комбат! — сказал он.— Говоришь, искать?

Крупнокалиберный пулемет на окраине станицы методичным огнем прошивал, сек пустынную степь левее воронки, и густой свист пуль не отдалялся, а будто застыл на месте, не сдвигаясь в найденном секторе.

— Значит, комбат, хочешь, чтоб мы искали? — повторил Кузнецов.

Связисты с тревогой поворачивали к нему головы, и, оторвав от коленей костяное, в сизых пятнах обморожения лицо, настороженно и исподлобья вникал в звуки его слов пленный немец, и Зоя поднялась, с беспомощным вопросом в округленных бровях глядела сплошь темными под белой шапкой глазами.

«Что она так всматривается в меня?» — подумал Кузнецов, отворачиваясь.

— Ну, так решено! — с непонятным противоестественным спокойствием проговорил Кузнецов.— Я останусь здесь с Рубиным. Еще раз осмотрим местность. А вы, как только стихнет, к черту, к черту отсюда! Уханов, поведешь их! А то опять заплутаются в трех соснах!

«Сумасшествие какое то, безумие какое-то, — подумал он, внутренне трезво сознавая непоследовательность в своих решениях.— Что со мной происходит? Я перестал владеть собой? Я знаю, что бессмысленно искать разведчика, но соглашаюсь, сам хочу сделать это?..»

— Да, искать. Отдайте, Кузнецов, приказ Рубину тщательно осмотреть местность. А мы подождем!

Дроздовский нервно подергал ремень на своей узкодевичьей талии, отошел в сторону и долго стоял на скате, прямой, непроницаемый, опасный, как бы непогрешимый в приказах, в непоколебимом упорстве. Сказал:

— Не мог второй разведчик далеко уйти. Мы не имеем права докладывать в дивизию, что оставили его, не имеем права уходить без него! Возьмите с собой еще связистов, Кузнецов!

— Лишнее,— ответил Кузнецов.— Хватит нас двоих! На кой черт вчетвером будем немцам глаза мозолить?

— Комбат...

Зоя осторожными шагами прошла так близко мимо Кузнецова, что задела полой полушубка его шинель, стала перед Дроздовским, заговорила тихим, просительным голосом:

— Надо уносить хотя бы этого разведчика, с ним очень плохо. Он обморожен, большая потеря крови. Не знаю, найдем ли мы в живых второго, но надо этого...

— Встать, сапог фрицевский! — скомандовал Уханов и сильным толчком руки поднял немца с земли, по-медвежьи встал сам, закинул автомат за плечо.— Давай потопчись, попляши, сволочь, пошевели ногами, а то окочуришься раньше времени! Двигай, двигай, как молодой!

Он резко потолкал, поводил по дну воронки немца и вдруг, отпустив его, косолапо загребая валенками, всей грузной фигурой придвинулся к Дроздовскому, слегка отстранив Зою, но при этом с добродушной ленцой заулыбался, выказывая стальной зуб.

— Ты о себе всю правду знаешь, комбат? Никогда об

этом не думал? А ну-ка, Зоя, отойди, умоляю, а то застесняюсь...

— Уханов... Уханов! — Она не отходила, а, чуть выставив грудь, почему-то с испугом заслонила Дроздовского своей тоненькой, напрягшейся фигуркой, защищающе отстраняя глазами Уханова. — Что вы хотите? Зачем?

— Отойди, Зоечка. Что я могу с ним сделать? Смысл? Не вижу. Я сержант, он лейтенант. А уставы мы с комбатом назубок еще в училище вызубрили. Так вот...

Уханов тихонько отодвинул ее и тут же, наклонясь к прямому, как у гимнаста, плечу Дроздовского, сказал ему что-то неуловимо и кратко, потом добавил отчетливее:

— ...а если тебе начхать на всех, кто остался из твоей батареи, то все равно головкой, головкой, а не задним местом соображай. И тогда докладывай в дивизию поумному.

— Что ты сказал?..— Дроздовский, некрасиво искривив лицо, порывисто, едва не упав на крутом скате, отклонился назад, повторяя пронзительным голосом: — Как ты сказа-ал?

— Тихо, тихо, комбат! — успокоил, улыбаясь одними глазами, Уханов. — Мы сейчас можем по душам поговорить. Не строевые занятия в училище. До бога — очень близко. Всевышний — свидетель. И никакого нарушения устава. Твой приказ не обсуждают. Но просто знай, что́ я думаю о тебе, комбат. На ус намотай, когда-нибудь пригодится!..

— Перестань, Уханов! Хватит! — с решимостью вмешался Кузнецов и, подойдя, дернул за ремень Уханова. — Хватит перед немцем!.. Посмотри-ка на него. Что с фрицем — с ума сходит?

Дроздовский стоял, вытянувшись, с побелевшим, истончившимся до худобы лицом. А немец, как заведенный, замедленно и тупо покачивался на одном месте, перебирая меховыми сапогами, неистово бил себя кулаками по толстым предплечьям, а его вслушивающиеся глаза, ловя звуки чужой речи, становились дикими, остекленелыми, перебегали с Уханова на Кузнецова, решив, очевидно, что речь между ними шла о нем, о его судьбе, и, как в сердечном приступе, широко разевая рот, дышал все убыстренней, но неожиданно шатнулся вбок, подкошенно повалился в снег, выхрипывая какие-то нечленораздель-

ные слова, из которых можно было понять только: «Рус, швайн, их штербе, эс ист кальт» [1].

— Симулирует, гад! — определил Уханов.— В плен не хочет. Ошалел от холода. Что он, Кузнецов, сказал — швайн?

— Встать! — приказал Кузнецов и сделал знак немцу стволом автомата.— Штейт ауф! Шевелись! Штейт ауф, ну! Двигайся!

Немец не вставал, конвульсивно поджимая к подбородку колени, он яростно хрипел из торчмя поднятого меха воротника, и тут Уханов, вроде бы удивленно примеряясь, двинулся к нему, взял его за шиворот и с такой озлобленностью дернул вверх, что затрещал воротник, а когда затряс его, приговаривая: «Я тебе покажу «швайн»!» — немец закричал мутным, предсмертным голосом. И, как тисками обхватив его, Уханов рукавицей зажал ему рот, а немец по-дурному замычал, извиваясь в его руках.

— Ах ты, гитлеровская морда! Забудешь, что такое «швайн»! Ты у меня папу-маму забудешь!

— Уханов, отпустите его! Вы же задушите его!.. Что вы делаете, мальчики? Мальчики, родненькие!..— в растерянности, едва не плача, говорила Зоя, поворачиваясь то к одному, то другому.— Почему вы такие злые? Я вас не узнаю, мальчики...— Она повернулась к Дроздовскому, умоляюще схватила его за рукав шинели.— Володя, хоть ты запрети!

— Уйди-и! Что ты вмешиваешься?..— Он сорвал ее пальцы со своего рукава и отступил на шаг, презрительным оскалом забелели его зубы.— Ненавижу, когда вмешиваются фронтовые... Вон Кузнецова лучше успокой! Он добренький, и ты добренькая!.. Оба Иисусы Христовы! Только пусть все твои мальчики знают, особенно Кузнецов, ни с кем из них спать не будешь! Не надейся, сестра милосердия! После боя уйдешь из батареи в медсанбат! Ни дня в батарее не останешься! Немедленно уйдешь!

Его лицо, измененное гадливой гримасой, стало некрасиво отталкивающим, он отступил еще на шаг и, с злой непреклонностью качнув плечами, так поспешно зашагал вверх по скату, что из-под ног его покатились комья земли.

---

[1] «Русский, свинья, я умираю, холодно».

На самом краю воронки он остановился, постоял несколько секунд и, вырывая пистолет из кобуры, срывающимся голосом прокричал команду:

— Связисты! Взять пленного немца и бегом за мной!

И, не дожидаясь никого, вскарабкался на земляные навалы, исчез за ними в темноте.

Громкая команда Дроздовского сверху прозвучала неумолимо ясно, и связисты вскочили разом, бочком обходя Кузнецова и Уханова, ткнулись неуклюже к немцу, вытянув руки, как если бы с двух сторон зайца ловили.

— Назад! — решительно остановил их Кузнецов, загородив немца.— Взять разведчика — и наверх, за Дроздовским! Немца поведет Уханов! Взять раненого разведчика! — И для убедительности подтолкнул обоих связистов к разведчику.— Вот его не донесете — ответите головой! Зоя!

Он должен был ей сказать, что она пойдет рядом с Ухановым, что именно с ним безопаснее будет идти назад к орудию, но наткнулся на ее взгляд — и замолчал. Она не замечала его, не слышала, хотя смотрела на него, теребя варежку на пальцах, а глаза были сухи, нестерпимо огромны, брови изумленно выгнуты, точно она прислушивалась к незнакомой боли в себе, еще не зная, где появилась эта боль.

— Фриц, знаешь, что такое стометровка? Посмотрю, как ты...

Уханов вывел немца на скат и пощелкивал ремнем автомата, поигрывая им, но не говорил Зое ничего, не торопил ее, ожидая.

— Зоя,— выговорил Кузнецов с хрипотцой,— тебе надо идти. Пока тихо. Надо идти. Вместе с Ухановым пойдешь! Слышишь?

— Да, я иду, я сейчас иду.— Зоя, вздрогнув, низко наклонила лицо, пряча его в воротнике полушубка, заговорила со связистами излишне бодро, присев к разведчику: — Пожалуйста, несите осторожно, левая нога ранена. Не сжимайте ее. Пожалуйста, мальчики...

Связисты подняли разведчика и щупающими движениями перехватывали его тело поудобней.

— Вперед,— сказал Кузнецов.— Я догоню вас с Рубиным, если успею...

— Ради бога, не попадись к немцам... оставайся жив. Догоняй нас, кузнечик,— попросила Зоя, как-то незащищенно и слабо улыбнувшись ему из-за плеча, и он мно-

гое отдал бы, чтобы не видеть этой ее насильственной улыбки.

— Ну, фриц, покажи геройство, под руки пойдем. Шпрехен, швайн? [1] — сказал Уханов, с угрозой притискивая к себе немца.— Покеда, лейтенант.

— Вперед, Уханов. Осторожней там.

Кузнецов проводил их до края воронки и лег рядом с Рубиным, следя за ними до тех пор, пока не исчезли они за силуэтами двух бронетранспортеров.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

— Вы все внимательно осмотрели, Рубин?

— Почему не верите, товарищ лейтенант? Все оползал на брюхе вокруг воронки. Всю шинель извозил. Замело небось его поземкой, ежели убило. Где искать?

— Ясно, Рубин. Пока молчат, осмотрим еще раз в стороне балки. Возможно, когда выполз, потерял ориентировку, двинул в обратном направлении. Хотя трудно и это представить. По ракетам мог понять, где наши.

— С балкой поосторожней бы. И немцы тут погуливать могут, коль не дрыхнут. Тьфу, напасть! Засыпаю я прямо на ходу, товарищ лейтенант. Наплывает на меня что-то. Сам в холоде, а на веках ровно гири.

— Разотрите снегом лицо. Потрите сильнее.

— Уж без удержу тру. Всю рожу как рашпилем надрал, товарищ лейтенант. Сутки не спамши. Часа два прикорнул за ночь.

Они лежали на краю опустевшей воронки, а вокруг уже поредел и побелел в степи воздух; густая тишина сломленной к утру декабрьской ночи наплывала на обоих застылой неподвижностью непреоборимого сонного часа. И, постепенно охватываемый обманчивостью растворяющего безмолвия, предрассветного покоя, сладкой тяжестью окутывающего мозг, Кузнецов почувствовал, что сознание против воли перестает сопротивляться этой успокаивающей расслабленности в измерзшем теле — и испугался темного мгновенного забытья.

— Пошли к балке, Рубин! — Он встал и, встав, понял, что не сможет сделать и пяти шагов — после всей бессонной ночи отпустившее вдруг нервное напряжение

---

[1] — Говоришь, свинья?

отстранило опасность, окунуло его в теплый туман секундной дремы. — Пошли! — повторил Кузнецов упрямее и громче и, чтобы как-нибудь вернуть недавнее ощущение реальности, подвигал в перчатках тронутыми обмороженными пальцами, поколотил ими о приклад автомата. — Пошли, пошли! — в третий раз сказал он, звуком своего голоса убеждая самого себя и Рубина в том, что идти им так или иначе придется, что они должны идти к этому краю балки.

— Сейчас я, лейтенант...— Рубин, через силу отрывая квадратное тело от земли, наконец поднявшись на ноги, заглянул в лицо Кузнецову, криво усмехаясь.— Не поимей обиду, лейтенант, на ветру ты шатаешься, а двужильный... Вроде ты завинченный. Над душой насильничаешь? Или себе доказать чего хочешь, лейтенант?..

— Пошли! Ерунду говорите, Рубин, ерунду. Пошли. Да, пошли. Надо идти, нельзя ждать. Надо идти.

— Не поимей обиду, лейтенант. Иду я...

Снег проваливался под их ногами, и Кузнецов, шагая, слышал неотступное сопение Рубина за плечом и похрустывание снежного наста под его валенками и, глядя в холодную пустынность затихшей ночи, подумал, что все, что он делает сейчас, делает не он, а кто-то другой, и он сам и Рубин выполняют эти приказы в необходимом обоим успокоении. И в длинных, волнообразных переливах поземки по степи, в покачивающейся перед глазами тихой пустынности не подсвечиваемого ракетами снега было тоже смутное успокоение, счастливое, короткое безмолвие давно свершившегося и теперь ушедшего — и теплая, вязкая пелена наплывала, обнимала его мягко. Но в эту кротость отдыха, в мягкую скорлупу забытья проклевывалось солнце, металось беспокойно в стороне и потом расплавлялось, горело золотистыми искорками, поблескивало сквозь липы в голубых лужах после летнего дождя в каком-то далеком и милом переулке,— что это был за переулок? — и чьи-то брови, похожие на выгнутые полоски, на знакомом лице, и чей-то голос звучал в солнечном утре: «Кузнечик, родненький!.. Ты знаешь, куда идем? Над душой насильничаешь?» «Какой я кузнечик? Что это за детское, игрушечное слово?.. Нет, куда мы идем? Куда мы так долго идем? Куда?»

И Кузнецов очнулся, раскрыл глаза. Вокруг — тишина, снег и хруст шагов в ушах...

Он огляделся в испуге, вблизи услышав равномерное движение Рубина, ужасаясь дремотному беспамятству, и остановился.

Рубин тоже остановился. Переглядываясь, они молчали. Рубин свистяще дышал.

— Рубин,— еле ворочая языком, проговорил Кузнецов,— идите метрах в десяти правее. Там смотрите, а то...

Он не уточнил, что значит «а то», оно означало ясное обоим: «А то придем в траншеи к немцам».

— Не соображаем мы в дреме ничего, товарищ лейтенант,— покорно произнес Рубин и, утопая ногами в сугробах, зашагал вправо от него, а Кузнецов, снова боясь забыться, стараясь не терять ощущение опасности, отрезвившее его, подумал:

«Почему он сказал, насильничаешь над душой? Да, да, Рубин, больше всего боюсь показаться слабым, больше всего перед тобой и перед другими боюсь показаться слабым, и все делаю не я, а кто-то другой, а я не знаю, кто этот другой во мне. Я не знаю его и не хочу знать, пусть будет так!.. Рубин, пойми меня, я тоже ничего сейчас не соображаю, но мы дойдем до балки и успокоимся — сделали все... Хотя я уверен, что это совсем бессмысленно! И поэтому понимаю, что виноват перед тобою, Рубин!..»

Сухие строчки просекли за спиной тишину ночи — и эти звуки качнули Кузнецова вперед. И еще в зыбком полусне, в полуяви он моментально определил, что стреляли сзади, и с первой мыслью, что незаметно прошли боевое охранение немцев, он, толчком инстинкта брошенный на землю, сдернул с шеи ремень автомата, крича:

— Рубин, назад!

Но тут же увидел: Рубин со всех ног бежал к нему от края балки.

— Лейтенант, лейтенант, наши что-то!.. Глянь! Назад погляди!..

— Рубин, туда... за мной! — скомандовал Кузнецов, уже слыша разрозненное шитье автоматов позади, звонко грохнувшие там один за другим разрывы гранат; он кинулся назад, к воронке, в направлении двух бронетранспортеров, куда ушла группа Дроздовского, на бегу соображая: «Что они? Напоролись на немцев? Неужели не смогли пройти?»

Потом из-за спины с окраины станицы гулко и грубо задудукал, всколыхнул степь крупнокалиберный пулемет — вся степь ожила огнями, торопливо расширялась и суживалась, выскакивали над самой головой светы, расталкивали, раздвигали темноту неба, и вкось скакали перед Кузнецовым и Рубиным собственные тени, на которые бежали они, наступали и которые бестелесным скольжением уходили от них.

— Рубин, к бронетранспортерам, правее! — выкрикнул Кузнецов, заметив бомбовую воронку и справа затемневшие бронетранспортеры, где пунктирно просекалась выстрелами поземка.

Опять с рассыпчатым аханьем лопнули разрывы гранат впереди, заспешил тонкий клекот смешанных очередей, и Кузнецов, задыхаясь, подбежав к бронетранспортеру, увидел отсюда все.

Какие-то люди цепочкой отбегали от подбитых немецких танков к двум гусеничным машинам на бугре, до деталей выпукло освещенным ракетами, а в пространстве за подбитыми бронетранспортерами, близ кладбища немецких танков в низине, темнели, ползали по снегу несколько человеческих фигур, и оттуда басовито частили наши автоматы по двум машинам, по отбегающим к ним немцам. Одна машина, с повисшими на бортах телами, заработала мотором, тронулась с места, начала разворачиваться, поползла с бугра; другая по-прежнему стояла, и от нее лихорадочно отделялись вспышки — немцы простреливали автоматным огнем низину.

— Рубин! По машинам!.. Бей по ним! — крикнул Кузнецов, с бешеным злорадством впиваясь онемевшим пальцем в спусковой крючок — приклад автомата отдачей заколотил в плечо, и степь ослепленно качнулась в этом огне. Неимоверным усилием он остановил себя, чтобы не выпустить целый диск одной строчкой.

— Гадюки! Змеи!..— хрипел возле плеча Рубин.— Душить вас мало, руками душить!..

— Рубин, гранаты!.. Рубин, кидай в машину!.. Быстрей!

В пламени очередей плясал сбоку багровый блеск крепких зубов Рубина, его большое, злобное лицо, опьяненное, притиснутое скулой к ложе автомата. Но в первый миг Рубин не услышал, видимо, команды, и Кузнецов, ударив его в плечо, закричал неистово и разгоря-

ченно: «Гранаты! Гранаты!» И лишь после того срезанно оборвалась автоматная очередь — правая рука Рубина стала рвать, выворачивать карман шинели, потом, отскочив на два шага от бронетранспортера, он, скособочась, выдернул чеку, с хрипящим горловым выдохом швырнул гранату в сторону бугра. И, сразу выхватив вторую гранату, с сумасшедшим замахом бросил ее следом. Два разрыва, один за другим, красным плеснули по скату бугра — гранаты не долетели до машин.

— А-а, стервы ползучие!

Рубин, крича, хватаясь за автомат, лег рядом с Кузнецовым под гусеницы бронетранспортера, хлестнул по машинам длинными очередями. Понимая, что они оба быстро расстреляют все патроны — ни одного запасного диска не было,— Кузнецов подумал тотчас: надо продвигаться туда, к низине, где под огнем лежала в снегу группа Дроздовского, хотя и ясно уже было, что он и Рубин отвлекают на себя внимание немцев. Но одновременно с сознанием этого слух его улавливал поредевшие ответные выстрелы наших автоматов из низины. И, оторвав палец от податливой упругости спускового крючка, он приподнялся на локтях, крикнул:

— Рубин! Оставайся здесь!.. Отвлекай на себя! Я туда, к ним! Понял меня? Слышишь меня? Береги патроны, рассчитывай!.. Я к ним...

— Беги, лейтенант, быстрей. Тут я буду,— выдавил ожесточенно Рубин, и нечеловеческий оскал его лица сдвинулся, изобразил подобие улыбки.— Полежу тут!.. Еще бы пару дисков, лейтенант, я бы их, гнусняков, как клопов расклевал!

— Держи парабеллум! Полностью заряженный! — Кузнецов, вспомнив и ощутив угловатую тяжесть трофейного пистолета, выхватил его из кармана, бросил Рубину.— У меня свой «тэтэ», заряженный! Рассчитывай точно патроны, слышишь, Рубин!

Сзади, с окраины станицы, громоподобно и густо покрывая захлебывающийся лай автоматов, резал по низине крупнокалиберный пулемет, из окон левых домов заработали, заторопились еще три или четыре пулемета, трассы их проносились чуть сбоку бронетранспортеров, исчезая, зарывались в сугробы.

Падая и вставая, проваливаясь в воронки, Кузнецов пробежал метров пятьдесят в сторону низины, куда под

разверзающимся светом ракет сверху стреляли от машины немцы. И вдруг все отяжелело в нем, стало свинцовым, как будто сжала дыхание непомерная настигшая тяжесть. Он несколько раз с ходу падал на колени, выпуская короткие очереди по бугру, а сердце, задохнувшись, звонкими молоточками барабанило в ушах, заглушая внешние звуки, глаза искали основания вспышек, мелькающих вокруг машины на бугре, и вместе со звонкими молоточками в ушах выстукивала в сознании одна и та же настойчивая мысль: «Почему они не уходят к танкам? Почему они не двигаются? Почему лежат под огнем? Надо вперед, вперед, за танки!»

Первый, кого увидел Кузнецов, добежав до пологого ската в низину перед сожженными немецкими танками, был Уханов. Уханов лежал за сугробом, шагах в ста пятидесяти от подножия бугра, втиснув пленного немца в снег, сверху навалясь на него грудью, бил расчетливыми очередями по одной оставшейся на бугре машине. После каждой очереди он отползал влево, к танкам, матерясь, сильными рывками подтягивал немца за собой, снова втискивал его в снег и наваливался на него.

— Уханов! К танкам, бегом! — еле смог выкрикнуть Кузнецов, вконец задохнувшись, падая с размаху на землю.— Бегом к танкам!.. Не задерживаться ни минуты! К танкам бегом!.. Уханов, слышишь?

Уханов обернул азартно-бешеное, совершенно чужое, отрешенное лицо к Кузнецову, и красно блеснул передний стальной зуб.

— Лейтенант!.. К комбату... К Зое беги! Связиста послал, да толку мало! Ранило, кажется! Давай к ним!..

— Кого ранило? Что?

— Давай к ним, лейтенант! К Зое, к Зое беги! — опять дошел до Кузнецова сорванный до неузнаваемости голос Уханова, и, вдавливая немца в снег, он припал к автомату, целясь по машине на бугре.

«Зоя? Ее ранило? Не может быть! Этого не может быть!»

С ледяным ознобом, облившим спину, не очень понимая, что делает, Кузнецов, не пригибаясь, бросился, словно на ватных ногах, к разбросанным шевелящимся телам в глубине низины. Сознавал лишь одно: там случилось то, чего он не хотел, что не имело права произойти,

не должно было случиться. И с тем же неверием, с дикой злостью, уже сбежав на дно низины, он яростно оттолкнул кого-то, сутулого, наклонившегося подле сугроба, что-то непонятное делающего руками возле рта.

Неотчетливо понял, что это связист раздирал зубами индивидуальный пакет, и тогда, под скатом сугроба, увидел, как сквозь волнистую пелену, знакомый белый полушубок, белые валенки, санитарную сумку, сплошь облепленную снегом.

— Что вы здесь возитесь, черт вас возьми!

— Ранило ее... перевязку надо бы! — испуганным вскриком отозвался связист. — Да вон видите, как ее...

Зоя лежала на боку, свернувшись калачиком, зажмурясь, подтянув ноги, будто ей было холодно, руки сомкнуты на животе, маленький «вальтер» валялся около ее неподвижно круглых поджатых колен, и что-то темное, ужасающее Кузнецова, расплывалось на снегу, под нею.

Но он сначала подумал, что это ужасное и темное на снегу не было кровью, не смог представить, что это кровь Зои, что он видит ее кровь, и сейчас же попытался впушить себе, сказать себе, что ничего непоправимого не случилось, она не может быть смертельно ранена или убита и не может так пугающе страшно прижимать руки к животу.

— Зоя... Что ты, Зоя?

— Молчит она, лейтенант... Автоматной очередью ее... В живот, видать... Сперва говорила: отойдите, мол, я сама. Не дала перевязывать... А теперь ничего уж не говорит,— просочилось точно из-за тридевяти земель бормотание связиста.— Все было тихо, а когда зашли в низину, они как дадут сверху. И началось...

— Где Дроздовский? — не слыша своего голоса, беззвучно спросил Кузнецов.— Где он?

— Да не видите где? Вон, в снегу сидит... ранило тоже его. Немцы гранаты кидали.

— Где он? — шепотом повторил Кузнецов и, повернувшись, неясно различил в пяти метрах от сугроба Дроздовского, без шапки сидевшего на снегу.

Дроздовский в левой руке держал пистолет, а правую, в перчатке, то и дело прикладывал к шее и, поднося к глазам, выговаривал что-то отрывистое, невнятное. Второй связист, изогнувшись, силился поднять Дроздовского, со

спины неловко охватывая его под мышки; чей-то раскаленный автомат лежал вблизи бугром сереющего маскхалата обмороженного разведчика.

Сопротивляясь связисту, вырываясь, Дроздовский заговорил горячечно, с одержимым упорством контуженого:

— Перевязку мне!.. Где Зоя? Перевязку!.. Ранило меня, пусть она перевязку! Уйди-и!..

Еще не зная зачем, механически расстегивая пудовую шинель, Кузнецов так же механически шагнул к нему; наклонясь, увидел сорванную, залитую кровью кожу ниже уха, ледяными губами проговорил:

— Дроздовский! Ты слышишь меня? На ногах можешь стоять? Ноги целы? Тебя царапнуло! Встать, встать, Дроздовский!

— Где Зоя? Где Зоя, Кузнецов? Где? Перевязку мне!..

— Встать, Дроздовский, встать!

Потом Кузнецов снял шинель, расстелил на снегу; вместе с Дроздовским они переложили сжавшуюся в комок Зою на эти носилки и так понесли. Но он не мог взглянуть на нее; его трясло, как в приступе малярии. Дроздовский шел впереди, обморочно и рыхло покачиваясь, его всегда прямые плечи были сгорблены, руки, вывернутые назад, держали край шинели; чужеродной белизной выделялся бинт на его ставшей короткой шее, бинт сползал на воротник. Иногда спина его напрягалась, и не то стон, не то какой-то мычащий кашель выдавливался из его горла — и этот странный, сдавленный звук оглушал Кузнецова разрывающей грудь болью.

Раз, когда вошли в полосу подбитых немецких танков, куда не долетали автоматные очереди, Дроздовский попросил шепотом:

— Отдохнем... не могу. Прошу тебя, Кузнецов...

Они опустили Зою на снег. И опять Кузнецов не нашел силы взглянуть на нее — острый комок спазмы не давал ему дышать. Он стоял, прижимаясь плечом к оплавленной броне немецкого танка, ноги подламывались, было желание сесть в снег, закрыть глаза, не двигаться, не думать ни о чем. Теперь ему было все равно, все потеряло цену, в одну секунду стало бессмысленным, не имеющим значения: и обмороженный разведчик, и пленный немец, и ночь после боя, и холод, и воронка

перед балкой — все стало чудовищной, нечеловеческой несправедливостью, нужной лишь для того, чтобы случилось *это*...

«Ее ранило в живот,— в исступлении объяснял он сам себе, с тщетной логичностью восстанавливая, как могло случиться *это*.— А сначала, когда вошли в низину, она отстреливалась из «вальтера»? А потом?.. Но почему именно ее? Почему именно она?»

— Кузнецов...

Он, как во сне, механически взялся за край шинели и пошел, так и не решаясь посмотреть туда, перед собой, вниз, где лежала она, откуда веяло тихой, холодной, смертельной пустотой: ни голоса, ни стона, ни живого дыхания. Но нет, было еще обманчиво живым ощущение в руках тяжести ее тела на шинели, и это — все, что чувствовал он в те минуты.

Когда они донесли ее до орудия, впереди задвигалось над бруствером лицо Нечаева — со спрашивающим, дурным выражением он, выскочив из орудийного дворика навстречу им, зашагал рядом, испуганно глядя на Зою, потом долго растерянным, останавливающим взглядом обводил Дроздовского и Кузнецова, ожидая, что они объяснят, как *это* произошло, как случилось. Но они не говорили ни слова.

Кузнецов по-прежнему старался не смотреть на нее. Не смотрел и когда положили Зою в нишу, не помнил, кто именно посоветовал положить ее туда, чтобы поземка не заметала лицо. Он стоял, опустив к земле автомат, и не сразу расслышал далекий бесплотный голос, похожий на голос Нечаева, шепчущий ему: «Замерзли вы, товарищ лейтенант, закоченеете вы вконец». И тут увидел на бруствере ниши свою шинель с темными пятнами на полах и подумал почему-то, что никогда уже не сможет надеть на себя эту шинель со следами ее крови, со следами ее смерти.

— Зачем вы взяли мою шинель? — шепотом выдавил Кузнецов.— Оставьте ее в нише...

— Дрожите вы ведь в ватнике, товарищ лейтенант...— тоже шепотом отозвался сбоку Нечаев.— Как же Зою, а? Как же ее?

Кузнецова била крупная дрожь, у него выстукивали дробь зубы, заледенело все тело, и не отпускало желание сесть, зажмуриться, ни о чем не думать — только так, мнилось, могло прийти облегчение.

Он бросил автомат к ногам, сел на бруствер против ниши — не было сил дойти до станин орудия — и, дрожа, зачем-то стал вытирать грязной перчаткой лицо, тискать и разглаживать горло.

«Кузнечик...— явственно и тихо послышалось ему.— Догоняй нас. Оставайся жив, кузнечик!»

Он застонал в перчатку и первый раз решился посмотреть в нишу, на нее.

Зоя лежала там на подстеленной Нечаевым плащпалатке, краем ее прикрытая по грудь, сейчас он не видел той ужаснувшей его крови. Без шапки — наверно, осталась где-то там, в низине,— она лежала на боку, по-детски туго собравшись калачиком, как будто спала, замерла во сне; ветер шевелил легкие волосы на ее лице, мраморно-белом, потерявшем милую живость, с особенно четкими бровями, чуть сжатыми тихой мгновенной мукой; и брови, и затвердевшие ресницы ее, казалось, тоже тихонько подрагивали, шевелились; их трогала, белила мелкая, сухая крупа текущей с бруствера поземки. И Кузнецов так быстро отвернулся, закрыв глаза, так стиснул пальцами подбородок и губы, что свело болью кожу под шершавой перчаткой. Он боялся, что не выдержит сейчас, сделает нечто яростно-сумасшедшее в состоянии отчаяния и немыслимой своей вины, точно кончилась жизнь и ничего не было теперь.

Эти ее легкие волосы жаркими ударами разрывов кидало ему в губы, в глаза, когда она обняла его, ища помощи, прижалась к нему на огневой Давлатяна, и он притискивал ее тогда к колесу орудия, инстинктивно защищая от осколка в спину,— тогда живой холодок ее губ, тепло дыхания касались его потной шеи, его щеки... Разве мог он знать в те секунды, что случится после? Разве мог знать, что ее ранит в низине и она вынет «вальтер» из санитарной сумки?

Кто-то накинул сзади на его плечи шинель, а он по-прежнему сидел на бруствере, не двигаясь, не отвечая на чей-то голос, кажется, опять Нечаева:

— Товарищ лейтенант, дрожите вы очень. Уйти вам... Лучше в землянку вам, к раненым. У них печка горит... Все пришли, слава богу. Посмотрите... Вы слышите меня, товарищ лейтенант? Отогреться бы вам надо. Все вернулись, говорю...

— Все?.. Пришли? — сквозь застрявший ком в горле проговорил Кузнецов, внезапно ударенный словами «все пришли, слава богу», и увидел вблизи совершенно потерянное выражение на посинелом лице, в прикушенных усиках Нечаева и прошептал едва различимо:

— Накройте Зое лицо... Поземка ведь. Накройте сейчас же...

С робостью Нечаев сошел в нишу, потянул край плащ-палатки и, осторожно накрыв Зою, отошел к брустверу.

Так было немного легче, и Кузнецов попробовал встать, а ноги не слушались, и он бессильно опустился на бровку бруствера. Шинель, накинутая Нечаевым, сползла с его плеч, свалилась за спину.

Все, что держало его эти сутки в неестественном напряжении, заставляло делать то, что невозможно было делать, вдруг расслабилось в нем. Теперь он даже не пытался подняться, а только растирал, щупал горло, перехваченное острой петлей. И если бы сейчас начали атаку немецкие танки или приблизились к орудию автоматчики, он, наверно, не пересилил бы себя, не сдвинулся с места, чтобы подать команду стрелять...

«Почему они молчат и смотрят на меня? Что они думают? Они видели, как случилось это? Где был Дроздовский? Он ведь был рядом с ней...»

По бугру мимо ниши двое связистов несли обмороженного разведчика, несли, как понял Кузнецов, в землянку с ранеными, шли молча, недоверчиво скособочив головы туда, где лежала накрытая плащ-палаткой Зоя. Потом один сказал: «Все с сестренкой»,— и они остановились в неуверенности, вроде ждали, что она сможет откинуть плащ-палатку, ответить им улыбкой, движением, ласковым, певучим голосом, знакомым всей батарее: «Мальчики, родненькие, что вы на меня так смотрите? Я жива...» Но чуда не происходило, а они стояли, сверху вопрошающе и отупело уставясь на плащ-палатку в нише, переминались, неудобно держали глухо мычавшего разведчика.

— Несите! Какого дьявола топчетесь? — послышалась раздраженная команда Уханова, и затем — негромко: — Нечаев, ты тоже чего столбом стоишь? Накинь на лейтенанта шинель. Или ты, Рубин, помоги...

— Товарищ лейтенант, шинель наденьте,— снова про-

звучал голос Нечаева, и сзади набросили на его плечи шинель.

— Встать бы вам, товарищ лейтенант, — мрачно прогудел над головой Рубин. — Закоченеете на земле-то.

— Оставьте в покое шинель. Не надо, я сказал. Пусть здесь лежит. Оставьте...

И он все-таки встал, он смутно понял по этой настойчивости Нечаева и Рубина: они что-то замечали в нем со стороны, замечали что-то новое, пугающее, необычное, чего не видели раньше. Его знобило. У него по-прежнему стучали зубы, и он делал глотательные усилия, но никак не мог преодолеть забившую дыхание спазму.

А вокруг уже предметно выявлялось утро в разреженном синем сумраке, и уже висело над огневой, над степью, над обгорелыми танками тугое предутреннее безмолвие. Уханов и Рубин, с ног до головы белые от въевшегося в одежду снега, но с черными от пороховой гари лицами, сидели на станинах, положив на колени еще горячие автоматы, грели пальцы, не снимая рукавиц, и оба неотрывно смотрели на Кузнецова.

В двух шагах от них, на орудийном дворике, лежал на боку немец, тоже весь в снегу, со связанными ремнем руками за спиной. Выгибая голову, он жалобно сипел — похоже, просил о чем-то, но его не слышали, не замечали. Его страх, его страдания не имели сейчас никакого значения, никакой цены. И Кузнецов бегло удивился, почему он жив, почему он еще сипит и живуче выгибает голову здесь, рядом с нишей, где лежала накрытая плащ-палаткой Зоя. «Его-то уберегли! — подумал он с приступом бешенства.— Если бы я знал, все было бы не так! Дроздовский видел, как ее ранило?..»

— Комбат!..— позвал Кузнецов и, нетвердо ступая, пошел к ровику.— Слышишь, комбат?

Дроздовский стоял спиной к нему в конце ровика, не подымая головы; бинт, второпях намотанный в низине связистом, чуждо белел на его шее, утолщая ее, скрадывая плечи; лопатки горбато проступали под шинелью, руки безвольно висели.

— Что ты от меня хочешь? — тихо спросил он.

— Ты шел с Зоей?

— Я шел с ней.

— Ты видел, как ее ранило?

— Нас вместе.

— А когда она вынула «вальтер»? Она стреляла, комбат?

— «Вальтер»? Какой «вальтер»? Что спрашиваешь? — Он повернулся, на белом овале лица круглились его синие влажные глаза.— Что у тебя было с ней, Кузнецов?.. Я догадывался... Я знал, чего ты хотел! Но ты напрасно надеялся, напрасно!..

У Дроздовского тряслась, прыгала челюсть, он был контужен и произносил эти обрывистые слова в каком-то безумии подавленности и ревности, такой немыслимой теперь, что Кузнецов прислонился к стенке ровика, зажмурился: невозможно было видеть стоячий, больной взгляд Дроздовского, этот сползавший бинт на его шее, эти пятна крови на воротнике. Еще секунду назад Кузнецов готов был понять, простить, забыть многое, что было между ними, но оттого, что Дроздовский, раненный вместе с ней, не видел, как погибла Зоя, и от этой его ревности, на которую никто не имел права, он передернулся, сказал хрипло:

— Лучше не отвечай, комбат! — и пошел прочь, чтобы не спрашивать, погасить в душе вспышку против него, не слышать, не видеть его, не продолжать разговор.

— Все из-за этой гадины! Все из-за него!.. Из-за этой мрази она погибла!

Тупой удар локтя с силой отстранил Кузнецова к стене ровика, и, рванувшись из ровика, Дроздовский, как в припадке искривив рот, подскочил к лежащему под бруствером немцу.

— А-а, сволочь!..

Его плечо угловато дергалось, раскачивалась спина, рука движениями поршня силилась вырвать из кобуры неподдававшийся ТТ, и Кузнецов, поняв значение этого жеста, бросился за ним.

— Стой! Назад!..— И еле успел перехватить кисть Дроздовского, оттолкнуть его, налитого дикой, одержимой силой; тот порывисто выпрямился с искаженным белым лицом.

— Отойди, Кузнецов! Отойди-и!..

С двух сторон Уханов и Рубин кинулись к Дроздовскому, прижали его к углу ровика, а он вправо и влево нырял головой, мотая развязавшимся бинтом, и, не сдерживая слез бессилия, обезумело выкрикивал:

— Из-за него!.. Из-за него она!..

— На безоружного, комбат? —внушительно встряхивая Дроздовского за плечи, говорил Уханов.— Это и дурак сможет! А ну остынь, остынь, комбат! Контужен? При чем тут фриц? Опомнись! Фриц-то при чем?

И Дроздовский сразу потух, сник и, в изнеможении сделав несколько судорожных вдохов и выдохов, проговорил:

— Да, я контужен. В голове звенит. Глотать больно, душит... — Потом добавил разбито и слабо: — Сейчас пройдет. Я на энпэ...

— Бинт у тебя развязался, комбат,— сказал Уханов.— Рубин, проводи комбата на энпэ и поправь ему как следует перевязку.

— Пойдемте, товарищ лейтенант,— пригласил Рубин и, насупленный, двинулся за Дроздовским по ходу сообщения.

Немец ерзал под бруствером, тягуче сипел.

А Нечаев, изменившийся лицом, незаметный, будто чужой, сидел в проходе ниши, прикованно глядел на аккуратные золотые часики с тоненькой змейкой цепочки, круглые, трогательно маленькие на его рукавице, и молчал непроницаемо.

— А ты что притих? — спросил сурово Уханов.— На время смотришь? К чему? Что тебе время?

— Те, из саквояжа... трофейные... помнишь, сержант,— ответил Нечаев, покусав усики, тоскливо и горько улыбнулся.— Подарить некому. Что делать с ними? Зое хотел... И вот думаю: зеленая я трава. Зачем ей всякие штуки про себя вкручивал: мол, все бабы мои были. Баланда. Баланду травил, сержант. Ни одной настоящей не было...

— Выбрось часы — и хватит! Вон туда, за бруствер! Чтоб не видел я эту трофейщину!

Отвернувшись от Нечаева, от этой тихой и горькой его улыбки, Уханов вынул смятую пачку сигарет, отобранных у немца, понюхал зачем-то пачку, брезгливо поглядел на этикетку, где по желтому песку шел мимо египетских пирамид караван верблюдов, сказал:

— Солома, видать,— и, вытолкнув сигареты, протянул Кузнецову: — Давай...

Кузнецов отрицательно покачал головой,

— Не могу. Не хочу курить. Слушай, Уханов... Немца надо отправить. В дивизию. Кого с ним пошлем?

Уханов, изгибаясь в три погибели под бруствером, загородил полой расстегнутого ватника зажигалку и, прикурив, сощурился на противоположный берег.

— Спят там или не спят фрицы? — смакуя первую затяжку, в раздумье сказал он и сплюнул. — Тьфу, дьявол, трава какая-то! Отрава!

— Кого с немцем пошлем, Уханов? — повторил Кузнецов. — Рубина или Нечаева? Или этих связистов?

Уханов глубоко затянулся, через ноздри выдохнул дым.

— Решать особенно нечего, лейтенант. Фрица в дивизию отправить надо. Тут ничего не попишешь. На кой тогда нянчились с ним? Оставайся у орудия с Нечаевым и Рубиным. Может, стрелять придется. Сам доведу как-нибудь. Ты только вот что, лейтенант...— Уханов втоптал в землю до ногтей докуренную в несколько затяжек сигарету, с медленным, страдальческим каким-то вниманием посмотрел в сторону ниши.— Ладно, все, лейтенант, сам понимаешь. Война, мать ее растак! Сегодня одного, завтра другого. Послезавтра тебя.

— Возьми с собой Рубина,— глуховато посоветовал Кузнецов.— Иди с ним. На той стороне осторожней: не напоритесь на немцев. Я зайду в землянку к раненым.

— Ну, мужских поцелуев не люблю, прощаться не будем, лейтенант! — И Уханов размашисто закинул автомат за плечо, усмехнулся одними глазами.— Будь жив, лейтенант! Рубина возьму.

Эта успокаивающая усмешка Уханова после его слов о том, что все-таки «языка» надо отправить на КП дивизии, готовность отвести, переправить немца на противоположный берег, рискуя в который раз за одни сутки, приступ мстительной ненависти, вырвавшейся у Дроздовского, потрясенность Нечаева, завороженно разглядывавшего крохотные дамские часики на своей огромной рукавице,— все было из чужой, виданной в больном жару, нереальной жизни, а настоящая жизнь, с обычным солнцем, обычными звуками, ясным и покойным светом, отдалилась в неизмеримый часами мрак этой ночи, и хо-

телось сесть на станину орудия или обессиленно лечь на снег, закрыть глаза и молчать.

«Да, мне идти к раненым. Там Давлатян... Жив ли он? Я должен сходить к раненым. Сейчас сходить!..» — стал внушать себе Кузнецов и, как непомерную тяжесть, подняв с земли автомат, держа его стволом вниз в опущенной руке, невольно посмотрел в нишу.

Поземка морщила, трогала края плащ-палатки, прикрывавшей лицо Зои, и Кузнецов испугался, что ветер внезапно сорвет плащ-палатку, вновь обнажит беспощадно ее, неживую, беззащитную, калачиком сжавшуюся в этой холодной снарядной нише. И, задевая стволом автомата за сугробы, дрожа от озноба, ссутулясь, он побрел к выбитым в обрыве берега ступеням.

На пороге блиндажа кислая, железистая духота, тяжелый воздух, пропитанный запахом пота, нечистых бинтов, нагретых шинелей, ударил ему в нос из мутно освещенного двумя чадящими керосиновыми лампами подземелья. Это был угарный запах человеческой беспомощности, но в нем пока чувствовалась жизнь и надежда на жизнь.

Весь блиндаж был заполнен: раненые лежали на земляных нарах, на полу, в разных углах — те, кого приносили сюда в течение дня, начиная с бомбежки и первой танковой атаки.

Паром от дверей потянуло понизу, холодная струя пробила спертую духоту, и в полутьме заворочались на полу тела под шинелями, послышались вздохи, стоны, голоса, тихие, раздавленные долгой борьбой с болью:

— Кто пришел-то? Сестра?.. Подойди-ка, опять у меня намокло, течет и течет... Ремнем бы затянуть ногу, плаваю, ровно в луже.

— Зоенька, а Зоенька, на батарее-то есть кто живой? Чего стреляли и тихо стало?

Кузнецов стоял в этом душном шевелении голосов, и его будто покачивало на горячих волнах: никто из лежавших здесь еще ничего не знал. И шепотом прошло по блиндажу — как легкие толчки в грудь:

— Не Зоя, братцы, лейтенант пришел.

— Какой лейтенант, наш?

— Командир первого взвода. Ранило его, ви-

дать. Еле стоит. Никак, последний остался? А Зоя где же?

Кузнецов молчал.

Лишь двое в блиндаже были на ногах — раненный в плечо связист Святов, тот самый белесый мальчик, неловко скрывавший свой первый испуг на войне, когда Кузнецов во время бомбежки спрыгнул к нему в ровик, и Чибисов с перебинтованной рукой, висевшей на грязной марлевой перевязи.

Чибисов, работая здоровой рукой, ломал снарядные ящики подле раскаленной докрасна печки, на которой бурлили котелки с растопленным снегом. Увидев Кузнецова, нетвердо стоявшего, в ватнике, с черными кругами смертельной усталости под глазами, он робко втянул голову в плечи, заморгал с ожиданием удара, окрика, прошептал несвязно и оправдательно:

— Товарищ лейтенант... не стерпел я, не совладал... Детишки у меня, товарищ лейтенант...

— Где Давлатян? — вполголоса спросил Кузнецов, бросил автомат к стене, эту чугунную обременяющую его ношу, и, дернув ворот, коснулся горла холодной перчаткой.— Лейтенант Давлатян... где?

— Здесь, товарищ лейтенант, здесь, на нарах, сюда, пожалуйста, идите,— донесся призывный шепот из полутьмы блиндажа.— Живой он... Вас он просил.

Связист Святов перевязывал на полу раненого — заулыбался Кузнецову по-мальчишески светло, точно облегчение тот принес в блиндаж. И в том, как Святов посмотрел и сказал, была нескрытая радость человека, оставшегося в живых:

— Товарищ лейтенант, вот туточки командир второго взвода.

Кузнецов, перешагивая через раненых, подошел к нарам и здесь, в тени, по неестественно горячему блеску глаз из белых бинтов, окутавших голову, узнал Давлатяна.

— Гога, жив? — проговорил Кузнецов.— Вот я пришел к тебе, Гога. Раньше не мог...

Давлатян лежал неподвижно в непривычной госпитальной белизне: кроме головы, пухло перебинтовано и бедро; ноги прикрыты шинелью, а в ногах шапка, брезентовая сумка, выданная на формировке, пустая кобура с ремнем, котелок со снеговой водой.

— Коля,— прошелестел шепот Давлатяна.— При-

шел, да? Ты не знаешь, как я рад, Коля, что ты пришел. Я Зою просил, чтобы она сказала тебе. Я даже записку писал!

Увеличенные глаза Давлатяна огромно, сухо и черно высвечивались на его лице, бледном, маленьком, детском в окантовке бинтов, утратившем смуглость, обычную жизненную подвижность; запекшиеся, искусанные до кровоподтеков губы проговаривали слова, но в новой интонации его голоса не было того чистого, трогающего воспоминаниями о чем-то мирном, солнечном, довоенном, что так поражало и удивляло раньше Кузнецова. И, не зная зачем, подсознательно желая услышать то прежнее, школьное, успокаивающее, он спросил:

— Тебе лучше, Гога?

— Да, мне лучше, лучше,— зашептал, чуть поворачивая голову и торопясь, Давлатян,— теперь я буду жить, я уверен... Теперь только боль, знаешь! Кончился дурацкий бред. Но ерунда, ерунда... Жаль, я не могу встать, будь проклят этот осколок!.. Я не могу себе простить, мне жалко своих ребят. Все началось с бомбежки... Как там наверху, Коля? Расскажи мне...

— Ничего, Гога. Бой кончился. Ночью. Не думай об этом. Все кончилось.

— Кончилось... Ты сколько подбил танков? Расскажи...

— Не знаю. Не считал. Танков шло много. Было несколько атак. Отходили в балку и снова...

— Большие потери? Да? Ты говори правду! Пожалуйста... Ты все расскажи! Если, конечно, можешь.

— Да, потери.

— Почему ты так отвечаешь? Не хочешь?

— Нет, Гога. Потом... Не могу. Устал.

Стало тихо в блиндаже — сдержаннее прорывались стоны, прекратилось, затихло беспокойное шуршание соломы на полу, раненые вслушивались в негромкий разговор лейтенантов: те, кто был еще в силах приподняться, напрягались поймать слухом слова облегчения и дуновение надежды от нежданно пришедшего с батареи лейтенанта, наделенного завидной, счастливой судьбой говорить нормальным голосом, ходить, чувствовать свое целое тело. Даже то, что этот лейтенант, командир взвода, не был ранен, рождало надежду на избавление:

значит, батарея еще жила, значит, еще там, наверху, были люди. Но никто не вмешивался в разговор, не прерывал, лишь тяжелораненые, не приходя в сознание, стонали в углах.

«Они ждут от меня чего-то,— подумал Кузнецов.— Но я сам не знаю, что будет через час. Не знаю, когда появится возможность всех их отправить в медсанбат, не знаю, где сейчас медсанбат».

А Давлатян, затянутый до глухоты в ушах бинтами, не слышал, должно быть, осторожно наступившего затишья в блиндаже, его раздвинутые на половину лица глаза с нездоровым, жарким огнем возбуждения блуждали по потолку, по лбу Кузнецова, находили его глаза и стыдливо спрашивали, что он думает о нем: осуждает, жалеет, сочувствует? И Давлатян заговорил горячо и не совсем внятно:

— Ты пойми меня, Коля, мне не повезло второй раз... Я несчастливый. Тогда, под Воронежем, заболел этой идиотской болезнью, а теперь ранило... Ну, что же это такое? Мне не повезло, не повезло! А я так мечтал попасть на передовую, я так хотел подбить хоть один танк! Я ничего не успел. Вот тебя не ранило, тебе очень повезло. А мой взвод... Начиная с бомбежки... Ты понимаешь меня, Коля? Бессмысленно, бессмысленно случилось со мной! Почему мне не везет? Почему я невезучий, Коля?

Кузнецов молчал. По завлажневшим глазам, по срывающемуся голосу Давлатяна он понял, что тот может сейчас заплакать от рокового несчастья, от невезения, от досады, и смутное чувство собственной взрослости охватывало Кузнецова. Они были объединены и вместе с тем разделены бесконечностью лет. Давлатян был где-то в мягкой, прозрачной и приятной дали, в прежнем и прошлом, в том наивном, детском — в училище, на марше, в ночи перед боем,— он остался там. Нет, он не видел ни смерти наводчика Касымова, ни смерти Сергуненкова, ни гибели расчета Чубарикова под гусеницами танка, ни пленного немца, ни разведчика в воронке, ни в той смертельной низине сжавшейся калачиком на снегу Зои, под боком которой расплывалось темное пятно и валялся маленький, игрушечный «вальтер». Одни сутки, как бесконечные двадцать лет, разделяли их, и счастье Давлатяна было несчастьем Кузнецова, потому что память его не освобождалась, держала все.

«Он сказал: бессмысленно? Бессмысленно... Но может быть, в бессмыслии того, что было, и есть смысл? Это так, и этого не знает Давлатян. Нет, нет, не может быть бессмысленно! Почему, зачем тогда все? Зачем тогда я стрелял и видел в этом смысл? Я ненавидел их, убивал, я поджигал танки, и я хотел этого смысла! И когда пошли к воронке — тоже. Да, был смысл, я знаю. Но смерть Зои — это бессмыслие, невозможное бессмыслие! Почему она? И смысл и бессмыслие?.. Да, да. Я не могу почему-то сказать об этом Давлатяну. Если бы он видел, как она лежала на снегу, в низине, сжавшись калачиком, а руки были на животе!..»

— Я завидую тебе, Гога,— с трудом выговорил Кузнецов и встал с онемелой полуулыбкой, он никогда не улыбался так.— Может, тебе и повезло... Война не кончилась, Гога. В госпитале подлечат — и все танки твои...

Зачем он говорил это и успокаивал Давлатяна?

— Ты сказал, что мне повезло? — вскрикнул петушиным фальцетом Давлатян и заворочал забинтованной головой.— Для чего ты сказал? Для чего ты это говоришь? Как назло, как назло, меня... Я выстрелил четыре раза!.. Я ничего не успел, я не хотел такого везения! Ты меня не понимаешь, я не хочу такого везения! Это судьба такая!

— Выздоравливай, Гога... Прости, мне к орудию,— сказал Кузнецов.— Я зайду еще. Надеюсь, утром всех отправят в медсанбат. Всех! — добавил он тверже, чтобы как-нибудь ответить на эти из разных углов тоскливо-терпеливые взгляды не прерывавших их разговор раненых, и, сказав, пошел к выходу, потому что других обнадеживающих слов недоставало ему в душе.

— Коля! — умоляющим голосом крикнул с нар Давлатян.— Я тебя жду, очень жду!.. Коля, пойми, так с ума сойти можно! Хоть бы в медсанбат скорей! И Зою, Зою пошли к нам. Скажи, возле орудия ранило кого-то, да?

— Я зайду, Гога. Да, я зайду. Потом... Всех отправим в медсанбат. Как только придут машины.

Около двери стояли, касаясь друг друга, как бы накрепко объединенные одной судьбой жить, Святов и Чибисов; юное, не умеющее ничего скрывать, омытое внутренней радостью лицо связиста Святова, длинная шея

его, высоко вытянутая из ворота ватника, напоминали чем-то Сергуненкова. Да, все в Святове говорило о непотаенной надежде жить, о том, что, слава богу, его легко ранило, поэтому он готов с охотой, с добротой ходить, ухаживать за всеми, перевязывать и услужливо выполнять любые распоряжения Кузнецова. Но Кузнецов никаких распоряжений не давал — шел к выходу из блиндажа; неясно видя, пошарил рукой внизу стены, нащупал автомат, раскрыл дверь и вышел.

— Товарищ лейтенант...

За спиной скрип двери, движение, шаги чьи-то, похожие на топот собачьих лап по снегу.

— Что? Вы, Чибисов?

В белесоватом воздухе рассвета Чибисов, вышедший за ним, виден был размыто, нечетко: прижав стянутую бинтами руку к груди, переваливался с ноги на ногу и страдальчески дрожал бровями, всем грязным своим маленьким личиком, точно му́ка съедала его, и, не стерпев, не вынеся, он решился тайно высказать ее Кузнецову именно здесь, а не в блиндаже.

— Что, Чибисов? Что вы хотели сказать?

— Товарищ лейтенант... извините вы меня, за-ради бога...— заговорил Чибисов с обрывающими дыхание слезами в голосе.— Не совладал я с собой, не совладал... Совестно мне... Что ж делать-то мне? Товарищ лейтенант, не хотел я. Страх был, страх, го-осподи!

И он схватил за рукав Кузнецова, ткнулся в него губами, по-собачьи мелко подергиваясь.

— Что вы? Сейчас же перестаньте! — сказал Кузнецов и вырвал руку.— Идите в блиндаж и ухаживайте за ранеными. Идите, Чибисов, идите...

— Совестно мне, совестно. Век вас буду помнить, товарищ лейтенант. Убить меня мало, убить на месте! Не совладал я...

«Что он? Скорей бы он уходил, скорей!»

— Идите в блиндаж. Идите, я сказал... что вы?

Снова шаги, хруп снега позади. Стукнула дверь. Тишина в блиндаже. Тишина на берегу. Нигде ни единого выстрела. Белой зыбью скользила, приплясывала поземка по иссиня-бледному катку стылой реки с черными впадинами огромных пробоин — в близких полыньях, пробитых снарядами, мнилось, позванивали, сталкивались, терлись друг о друга острые на слух осколки льдинок, как тогда, когда Зоя вызвала его из

землянки расчета и он провожал ее по берегу и не дошел до блиндажа.

Ах, какая тоска и пустота декабрьской ночи были в этой без единого выстрела тишине, в этом заснеженном береге, без единого солдата, в этой поземке, позванивании льдинок, в этих корявых ветвях ветел, врезанных в сумрак уже предрассветного воздуха, неживого, серого, недвижного, и было невыносимо больно дышать на этом сковавшем все холоде! Он стоял, закрыв глаза, опустив автомат к земле.

«Почему она сказала тогда: «Поцелуй меня, как сестру. У тебя ведь есть сестра?» И что ответил я? «У меня нет сестры!..» Зачем я так сказал?»

Он подумал это, и показалось ему, что Зоя где-то здесь, рядом, что она жива и ничего не было этой ночью, что вот сейчас она выйдет из сумрака, перетянутая, почти переломленная своим офицерским ремнем по талии, в полушубке, подымет глаза, чернота их блеснет из-за бахромы инея на ресницах, губы и тонкие брови дрогнут в улыбке, и она скажет шепотом: «Кузнечик, тебе и мне приснилось, что я погибла. Ты меня будешь жалеть хоть немножко?»

Но было пустынно и мертвенно-тихо вокруг.

Спотыкаясь, он поднялся по ступеням на берег, вошел в ход сообщения и, не доходя до орудия, вдруг упал грудью на бровку траншеи, в тупом отчаянии прижался лбом к холодным шершавым перчаткам, и что-то жарко и горько сдвинулось в его горле; он сморщился, стиснув зубы, и долго терся губами и лбом об эту ледяную, шершавую и жесткую шерсть перчаток, молча, с острым сладострастием глотая слезы. Он плакал так одиноко и отчаянно впервые в жизни. И когда вытирал лицо, снег на рукаве ватника был горячим от его слез.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Уже поздним вечером для Бессонова стало очевидным, что, несмотря на ввод в бой отдельного танкового полка и резервной 305-й стрелковой дивизии, несмотря на быстроту и самоотверженность действий Отдельной истребительно-противотанковой бригады, несмотря на интенсивный огонь двух вызванных полков реактивных минометов, немцев не удалось столкнуть с захвачен-

ного ими к исходу дня северобережного плацдарма, выбить их танки из северной части станицы, но тем не менее, хоть и с огромным трудом, удалось разжать клещи, намертво сжимавшие фланги деевской дивизии, пробить узкий коридор к окруженному полку майора Черепанова, истекавшему кровью в круговой обороне.

К полуночи в полосе армии бои постепенно прекратились везде.

В этот час Бессонов с недоверием к затишью, но и несколько удовлетворенный донесениями о действиях 305-й дивизии, прорубившей коридор к полку Черепанова, сидел в своем блиндаже и утомленно выслушивал доклад об обстановке заместителя начальника оперативного отдела майора Гладилина. Доклад был деловито сух; Бессонов ни разу не перебил его. От нервного перенапряжения приступами болела нога, особенно после того, как он на высоте Деева упал в траншее, неудобно подвернув ступню, при огневом налете шестиствольных минометов. От этих приступов сухое лицо Бессонова стало еще суше, осунулось, посерело; временами его бросало в знойкий пот, и он вытирал его с шеи, с висков носовым платком, избегая неотступного внимания майора Божичко, давно заметившего, что с командующим не очень ладно.

— Не ясно, майор,— выслушав доклад, сказал Бессонов и разогнул под столом ногу, находя для нее удобное положение.

Замечание «не ясно» относилось не к докладу, не к сложившейся в корпусах обстановке, но Гладилин поджарой своей фигурой, нестроевой выправкой тихого, уравновешенного, пожилого человека, привыкшего докладывать объективные данные по возможности без эмоций, выразил секундное замешательство, точно забыл отметить существенное, то, чего не имел права не отметить.

— Простите, товарищ командующий, не понял.— Высокий лоб Гладилина стал нежно-розовым, заметнее забелела сахарная седина аккуратно и гладко зачесанных назад волос.

— Вчера ночью,— договорил Бессонов своим скрипучим голосом,— они ни на час не прекращали действий. Сегодня, введя резерв, по нашим данным, и даже удоб-

ный плацдарм захватив, затихли. Не кажется ли это вам алогичным, майор? Непоследовательным, так сказать?

— Думаю, что это связано с действиями наших соседей на Среднем Дону, товарищ командующий. С действиями Юго-Западного и Воронежского фронтов. Правда, начало их наступления сегодня не было очень успешным, но так или иначе...

— Возможно,— перебил Бессонов.

После целых суток успешного натиска немцев, торопливого наращивания удара — их спешка к цели чувствовалась — немцы, конечно, приостановили атаки в полосе армии не из-за наступления ночи, не из-за перерыва на горячий кофе с галетами для проголодавшихся танкистов, не из-за насморка, подхваченного командующим ударной группой генералом Готом на своем КП (Бессонов усмехнулся, подумав об этом), а из-за причин, несомненно, других, непредопределенных, весомо-существенных, новых. И как это было ни рискованно, он склонялся к мысли, что противник, введя в действие главный резерв на правом фланге его армии и продвинувшись здесь на несколько километров, к ночи исчерпал свои возможности. От этой же новой реальности зависело время обусловленного с командующим фронтом контрудара, который наносить надо было не позже и не раньше — в тот момент, когда явными становились признаки использованности всех резервов противника, усталости наступления.

Но многое окончательно могло проясниться лишь в течение ближайших часов, возможно, ближе к утру: начнут немцы снова или не начнут? И не будет ли вторичный натиск в непоследовательной торопливости к цели направлен по левому флангу армии, где днем немецкой танковой группе удалось сбить боевое охранение, а к вечеру выйти к южному берегу и также вклиниться в нашу оборону? Однако в перемену направления главного удара Бессонов интуитивно не верил, кроме того, не поступило никаких данных о перегруппировке сил противника против левого крыла армии. Где же истина во всем этом? Где твердая истина?

— Товарищ командующий, вы просили чай. Извините, сколько ложек сахару?

— Да... Две ложки. Благодарю.

Майор Божичко налил из вскипяченного на железной печке чайника полную кружку дымящегося чая,

распространяя запах заварки; подумав, насыпал три ложки сахару, поставил кружку на стол перед Бессоновым.

А вокруг в блиндаже голоса связистов то порхали сквозняковым шорохом стрекоз, вызывая триста пятую, танковый полк Хохлова, отдельную артиллерийскую бригаду, то по-мышиному шуршали в душно-теплом, нагретом сыром воздухе, повторяя вслух последние телефонограммы из дивизий, из корпусов о потерях, о подбитых танках, о пополнении боеприпасами; и покачивалось на обгоревших фитилях пламя в четырех ярких лампах, до видимости морщин обливая светом землистые, бессонные лица офицеров-операторов, склонившихся над картой, серебристые волосы, высокий лоб Гладилина, тоже не отрывавшегося от карты на столе, округлую спину старшины-радиста в углу, стоявшего с чайником Божичко.

Но это было чуть в стороне от восприятия Бессонова, хотя он слышал и видел все, что делалось в блиндаже, рассеянно помешивая ложечкой в кружке.

«Так что же, выдохлись и затихли? — думал Бессонов, глядя перед собой в ярчайшее сияние ламповых огней.— Или еще не исчерпано у них, и снова начнут?» Нет, точного ответа не могло быть, а он знал, что если немцы не использовали весь резерв и завтра, то есть утром, начнут новое наступление против правого крыла армии, здесь, на плацдарме, в полосе дивизии Деева, то он вынужден будет ввести в дело последние средства — иначе не выстоять,— бригады танкового и механизированного корпусов, приданные для наступления из резерва Ставки, прибывавшие и уже сосредоточиваемые в десяти — пятнадцати километрах за передовой. В результате распылятся подвижные силы, предназначенные для контрудара,— распылив их, он нанесет ответный удар не тугим кулаком, но растопыренными пальцами, что никогда еще не приносило успеха, хоть делалось не раз. Так на его памяти командира корпуса было прошлой осенью под Москвой, когда под нажимом танков Гудериана суматошно раздергали по частям целый Резервный фронт, затыкая бреши, но так и не сдержав натиска.

Бессонов вынул горячую ложечку из кружки с круто заваренным чаем, спросил:

— Когда будет наконец связь со штабом фронта? Где начальник связи?

— По всей видимости, товарищ командующий,— ответил майор Гладилин,— танковый корпус при выдвижении в темноте на рубежи повалил шесты... Исправлена будет с минуты на минуту. Начальник связи давно выехал на линию.

— Меня не интересуют причины повреждения. Мне нужна связь!

Бессонов потрогал кружку — горяча ли, отпил несколько глотков (густой этот чай имел все-таки привкус жести и, кажется, пороха) и, отставив кружку, обтер носовым платком сразу выступившую испарину на висках и шее. Весь выжатый этими сутками, бесконечными сообщениями с КП армии, донесениями из корпусов, заботами о расширении узкого коридора, пробиваемого силами 305-й дивизии к окруженному полку Черепанова, Бессонов не переставал чувствовать жжение в ноге; нога отяжелела, мешающе распухла, и тогда, чтобы отвлечься от боли, забыть ее тревожные сигналы, он почему-то вспоминал, как несколько месяцев назад в таких случаях помогало ему в госпитале одно — неуемное курение. Курить же ему после операции настрого запретили, нарушение запрета было равносильно добровольной отдаче ноги под нож хирурга; да, его предупредили в госпитале, что при слабом пульсе сосудов на правой ноге многолетняя привычка становилась теперь для него гибельной. Но сейчас при воспоминании об успокаивающем и всегда так возбуждавшем его раньше никотине Бессонов вновь поглядел на голубовато-снежную пленительную пачку «Казбека»: забытые кем-то — начальником разведки или Весниным — папиросы, лежащие на столе, к которым при нем, некурящем командующем, никто не прикасался.

И как бы в раздумчивости потянулся он к коробке, раскрыл ее, взял твердую папиросу, вдохнул сухой запах табака с незабытым, вожделенным наслаждением.

«Выкурить одну... Раньше я не мог без этого. Попробовать. Одну папиросу... Тем более что здесь нет Веснина»,— сказал себе Бессонов, представляя, что это открытие приятно изумило бы члена Военного совета, заядлого курильщика, который, наверно, снял бы очки и, подняв брови, спросил: «Вы, Петр Александрович, разве курите?»

— Вы разве курите, товарищ командующий? — не без робкого недоумения спросил майор Гладилин, хватая со стола коробок спичек, чтобы дать прикурить; и Божичко, и операторы, и замолчавшие на миг связисты зорко взглянули на него.

Заметив общее внимание, Бессонов потискал мундштук папиросы, недовольный собой, раздраженный этими взглядами: вероятно, о его склонностях и привычках, о его слабостях уже было известно и в штабе армии, и здесь, в дивизии Деева: предупреждали друг друга, дабы не попасть впросак, не вызвать лишнее замечание или выражение неудовольствия.

— Так вот... мне крайне интересно было бы знать: когда будет связь со штабом фронта? — Бессонов подавил раздражение в голосе, зазвучавшем с чрезмерной вежливостью, и, покряхтев, выпрямил под столом огрузшую ногу, заговорил, обращаясь не к одному Гладилину: — Мне также крайне интересно, почему до сих пор неизвестно, прибыл ли в район сосредоточения армейских резервов член Военного совета. Где он? Запросите еще раз танковый и механизированный корпуса. Пора ему быть. Почему так долго?

Майор Гладилин ответил:

— Мне известно, товарищ командующий, что член Военного совета не заезжал в штаб армии. Возможно, что Виталий Исаевич по дороге в танковый корпус задержался где-нибудь в войсках первого эшелона.

— Запросите корпуса, триста пятую, полк Хохлова... И прошу, прошу связь с фронтом! Я жду.

Бессонов с сердцем вложил размятую папиросу в коробку, забарабанил пальцами по столу. В этом положении неопределенного затишья ему необходима была, как ток крови в жилах, прямая связь со штабом фронта, и вместе с тем, наконец, ему нужно было знать, где находится член Военного совета Веснин, в течение трех часов не сообщивший о себе; это беспокоящее его обстоятельство, не высказанное им вслух, казалось сверх меры необъяснимым.

— Я только что разговаривал с триста пятой, товарищ командующий.

Майор Гладилин, однако, взял у телефониста трубку, тихий, сдержанный, бесцветное лицо помято бессонницей, усталостью, движения бесшумны, старательны — испол-

нительный человек, привыкший к работе с картой, к штабной педантичной обязательности. Между вопросами, ответами и повторными вопросами Гладилина пробивался в паузах голос радиста, вызывающего штаб фронта, а Бессонову больше всего хотелось услышать доклад о прибытии Веснина в танковый корпус или хотя бы в 305-ю и вытеснить из сознания беспокойство о нем.

Вызывая штаб фронта, старшина-радист покорно склонился над рацией — опыт постоянного общения с начальством лишал его избыточной многоречивости, внешней заметности; он, радист, словно растворился в углу блиндажа, был незрим, отсутствовал, но жил однотонный голос:

— «Антенна», «Антенна»!.. Я — «Высота», я — «Высота»! Даю настройку: раз-два-три.

Бессонов вслушивался в позывные, испытывая даже легкую жалость к бессильным потугам радиста, мял и поглаживал под столом ногу; изнуряющая боль расползалась по голени к бедру.

— Так что с «Антенной», старшина? Что у них, радиостанция не работает?

— Непонятное в атмосфере, товарищ командующий. Ловлю, а не слышим друг друга... Немецкие и румынские рации влезают. Что-то очень разговорились. Вот послушайте...

Разряды в рации, стреляющий треск в эфире ворвались в теплый и сырой воздух блиндажа — радист перешел на прием, мягкой шерстистой змейкой вплелась в электрический треск быстрая румынская речь и пропала, наплыла и юркнула жесткая немецкая команда, произнесенная речитативом, точно диктовали радиограмму, ее заглушило атмосферными разрядами, смыло писком торопящейся морзянки — велись чужие переговоры, где-то в штабах и на командных пунктах слишком много работало в этот час немецких и румынских радиостанций, чего не бывало обычно перед серьезной подготовкой к наступлению, когда рации молчат и в эфире кажущийся мир и спокойствие.

Теперь же эфир был необычно оживлен, и, утомленно опустив веки, слушая незнакомые шифры, тщетно разгадывая причину чужих радиопереговоров, Бессонов думал:

«В связи с чем у них началась карусель? Готовятся к утру? Почему заработали румынские рации?»

Голоса, шаги, шум в соседнем отсеке блиндажа, где помещался Деев с дивизионными операторами, затем громкий стук в дверь — эти звуки выхватили Бессонова из состояния раздумья.

— Разрешите, товарищ командующий?

Вошел без шапки, согнувшись в дверях по причине своего внушительного роста, полковник Деев, массивной фигурой занял треть блиндажа; светло-рыжие брови его весело как-то круглились. В течение многих часов общаясь с ним на НП, познакомясь вблизи и не забыв ту уколовшую нежность к Дееву в минуту попытки его прорваться к окруженному Черепанову, Бессонов спросил сухо, не показывая расположенность к этому самому молодому в корпусе командиру дивизии:

— Что, полковник, новости? Слушаю вас.

— Товарищ командующий, разрешите доложить? — заговорил Деев сочным, полновесным баритоном, и нечто восхищенное, победное переливалось в голосе, в рыжевато-золотистых глазах его.— Разрешите?.. Артиллеристы из двести четвертого артполка, товарищ командующий, полтора часа назад вынесли, можно сказать, из-под носа у немцев нашего раненого разведчика и добытого прошлой ночью «языка». Пленного уже привели на энпэ. Это работа той моей разведки, что не вернулась!..— И Деев, совсем уж не сдержав удовлетворенности и восхищения, просиял, заулыбался во весь белозубый рот.— Немец, правда, здорово обморожен. Но языком шевелит и еще кое-что соображает. Оказали медицинскую помощь, вызван переводчик. Не подвели мои хлопцы, не подвели! Нет, на моих ребят можно положиться! Что прикажете, товарищ командующий?

Все в блиндаже — и телефонисты, и операторы, и тихий майор Гладилин — обернулись к Дееву; от его баритона, от сильной фигуры исходила свежая, искрящаяся волна прочной молодости; в докладе его и даже в вопросе «что прикажете?» сквозило нескрываемое довольство и дивизионной разведкой, и тем, что немец оказался живучим, и тем, что сам он, командир дивизии, не лыком шит. И Бессонову вдруг вспомнилось, как Деев на разъезде перед разгрузкой в первый раз представлял ему свою дивизию — было в нем нечто гусарское, эдакое за-

лихватское мальчишество, бесхитростно-хвастливая уверенность в людях, которыми командовал он, удачливый, везучий, молодой полковник, из недавних командиров батальона.

«У полковника Деева защитное качество молодых — преувеличенная до хвастовства честь мундира»,— подумал он мельком и, почему-то легко простив эту наивную, не лукавую слабость, уже никак не предполагавший вновь услышать о той неудачной разведке, посланной в поиск прошлой ночью, спросил не без удивления:

— Каким образом «языка» доставили сюда артиллеристы? Какие? Кто?

— Артиллеристы с южного берега, те, что на прямой наводке. Пришли на энпэ, можно сказать, из окружения.— Деев глядел поверх лампы на Бессонова пронизанными светом, торжествующими глазами в соломенных, веселых, как летние солнечные лучики, ресницах.

— Где эти артиллеристы?

— Ушли обратно на батарею. Кстати, немец подтвердил, товарищ командующий...

— Что подтвердил?

— Вчера введена в бой свежая танковая дивизия.

— Посмотрим, что за «язык»... Запоздалый, правда. Но так или иначе — «язык».

Бессонов подобрал ногу под столом, чтобы удобнее было встать, оперся на палочку, чувствуя колющие мурашки в голени. Несколько мгновений он послушал позывные радиста: «Антенна!.. Антенна!» — и, накинув на плечи поданный Божичко полушубок, захромал к двери, распахнутой полковником Деевым.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Пленный немец сидел перед столом начальника разведки; длинная, подбитая мехом, с меховыми отворотами шинель, на коленях перебинтованная кисть левой руки; костяного оттенка, отечные одутловатые щеки с сизотемными пятнами; далеко посаженные от переносицы, гноящиеся в уголках глаза; сидел в позе безразличия ко всему, на опущенной голове свалявшиеся волосы прикрывали пятачок лысины. По команде переводчика встав при

появлении в блиндаже Бессонова, найдя на его петлицах знаки различия, немец чуть вскинул тяжелый щетинистый подбородок, выжал из себя скомканные звуки, и Бессонову перевели:

— Рад, что его будет допрашивать русский генерал. Просит об одном — или госпиталь, или расстрел. После тех мучений, которые он перенес, ему ничего не страшно.

— Пусть сядет,— сказал Бессонов.— Ему ничего не угрожает. Война для него кончилась. Будет отправлен в госпиталь. Для военнопленных.

— Майор Эрих Диц, офицер связи штаба шестой танковой дивизии, пятьдесят седьмого танкового корпуса,— доложил начальник разведки дивизии подполковник Курышев.

В течение этих суток, переволновавшись за судьбу дивизионной разведки, не вернувшейся из поиска, Курышев, всегда сдержанный, припустил огня в двух керосиновых лампах, скрупулезно, как человек, знающий свою нелегкую, нервную, многоопасную на войне службу, заглянул в развернутую на столике тетрадку с пометками, по-видимому, начатого до прихода Бессонова допроса. Потом, устало и педантично читая из тетрадки, пояснил командующему, что майор Диц из Дюссельдорфа, сорока двух лет, награжден Железным крестом второй степени за бои под Москвой, член нацистской партии с тридцать девятого года, и добавил пониженным голосом, что, согласно этим данным, калач, надо думать, тертый, взят был вчера на рассвете разведчиками прямо из машины на шоссе, когда возвращался с поручением из штаба корпуса в штаб дивизии.

Подробным объяснением Курышев упреждающе подсказывал командующему, что при допросе следовало бы иметь в виду возможность дезинформации, однако Бессонов, казалось оставив без внимания со значением подчеркнутые детали из биографии пленного, в задумчивости походил, разминая ногу, по блиндажу, на ходу обратился к переводчику — розовощекому капитану:

— Он показал, что шестая дивизия вчера введена в бой?

— Нет, товарищ командующий. По его словам, вчера вступила в бой семнадцатая танковая дивизия. Из резерва группы армий «Дон».

Стало тихо. Пахло в блиндаже каким-то лекарством, холодным ворсом чужой шинели, чужим пóтом; пламя бурлило в раскрытой дверце печки, по ее накаленному железу пробегали вишневые искорки. Молоденький капитан-переводчик, кричаще выделяясь здесь выспавшимися, бойкими, ловящими глазами, сверх необходимости подтянутый, с вымытым одеколоном целлулоидным подворотничком, сверкавшим на шее при поворотах головы то в сторону Бессонова, то в сторону немца, до ушей зарделся оттого, наверно, что Бессонов томительно долго не задавал никаких вопросов, только скрипел в тишине палочкой, прихрамывая по блиндажу, в накинутом на плечи полушубке, изредка взглядывая на немца сквозь опухлые красноватые веки.

«Так что это за немец? Из кадровых? Воевал под Москвой? Начал с сорок первого...»

А немец по-прежнему не менял выбранной позы: безучастный ко всему, потухший взор мертво впаян в угол блиндажа, правая рука в неснятой меховой перчатке поддерживала свежеперебинтованную кисть левой руки; он еще стремился сохранить достойный вид обезоруженного, попавшего в плен и тем не менее совершенно равнодушного к своей судьбе немецкого офицера, каким должны были представлять его русские; но то, как он трепетно и глубоко хватал расширявшимися ноздрями воздух, безошибочно говорило Бессонову, к чему приготовил себя немец.

С сорок первого года одно и то же чувство неудовлетворенного и тайного интереса испытывал Бессонов при случайном или не случайном допросе пленных. Кроме желания узнать необходимое, что важно было ему узнать, в тех или иных деталях, о намечающихся действиях чужой армии, против которой он более года воевал, каждый раз появлялось особо острое желание уточнить и всецело познать истину, умонастроение той, враждебной стороны: кто же вы такие, немцы, захватившие почти всю Европу, ведущие бои в Африке и начавшие войну против нас? Что скажет и что думает в данную минуту этот физически сильный, плотный в теле майор с обмороженной рукой, обмороженными щеками, взятый прошлой ночью из штабной машины?

Но, удерживаясь задать вопрос, что думает немецкий майор о прошлых боях под Москвой и о нынешних боях под Сталинградом, Бессонов спросил:

— Когда шестая танковая дивизия прибыла в состав группы армий «Дон» под Сталинград? Откуда прибыла?

Краснощекий капитан бойко перевел.

Немец с неизбывным равнодушием стал отвечать, скупо роняя слова, снизу поддерживая меховой перчаткой перебинтованную кисть, а капитан-переводчик беспричинно счастливо улыбнулся Бессонову, начал переводить с видимым удовольствием от прекрасно понятого ответа пленного:

— Полторы недели назад дивизия из Франции прибыла в Котельниково. Нас не повезли через Париж, а направили кружным путем. В Берлине остановки не было. В Барановичах мы почувствовали, что близко ваши партизаны,— вагоны и локомотивы валялись под откосом. Нигде не было нормального света. Электростанции не работали. Брянск утопал в снегах. Проехали через Курск и Белгород, потом начались степи. Бескрайние дикие степи. Мы догадывались, что едем под Сталинград.

— Из Франции? — переспросил Бессонов.

— Во Франции дивизия пополнялась и перевооружалась после боев под Москвой... Бескрайние степи зимой показались нам десятками Франций. Пустые степи и беспредельные снега. И такой же холод под Сталинградом, как под Москвой.

«Да, десятки Франций,— согласился с горечью Бессонов, как на карте отмерив это мертво-оцепенелое, в снегах, лесах и степях пространство, колоссальную глубину захваченной немецкими войсками земли, и, как бывало всегда, когда сознанием возвращался к этому, подумал еще: — Но что чувствуют они? Страх перед огромностью захваченного пространства? Перед тем, что они не удержат такую территорию и им придется рано или поздно отступать? Почему этот майор так подробно вспомнил путь следования в Россию?»

— Спросите его,— походив по блиндажу, обратился к переводчику Бессонов,— что его так раздражает при воспоминании о пути из Франции.

— Сигаретен, майне сигаретен! — ознобно стуча челюстями, заговорил немец и впервые отцепился взглядом от угла блиндажа, мутные заскользившие глаза его зашарили по столу, он глотал слюну, говоря что-то возмущенно и долго. Переводчик молчал.

— Что он? — спросил Бессонов.

Краснощекий капитан, сконфуженный, пунцовый до самой полоски целлулоидного подворотничка, пожал одним плечом, стал переводить, запинаясь:

— Ваши солдаты отобрали у меня французские сигареты и зажигалку. Главное, меня лишили сигарет. Вы взяли меня в плен и можете со мною делать, что хотите. Но я прошу очень маленького милосердия: дайте мне всего одну сигарету. Во Франции даже преступнику дают перед смертью сигарету и вина. Конечно, Франция... Франция — это солнце, юг, радость... А в России горит снег. Но я не курил целые сутки в той яме, где ваши солдаты меня продержали много часов, как жалкую, связанную веревками свинью. Прошу ничтожного милосердия на пять минут. На одну сигарету...

«Милосердия... — внутренне усмехнулся Бессонов этому давнему, добропорядочному понятию, разрушенному самим этим гитлеровским майором более года назад.— Он просит милосердия? После солнечной Франции...»

— Дайте ему сигареты,— сказал Бессонов недовольным голосом.— Он просил уже, видимо? Где его сигареты? Почему не отдали, подполковник?

— Впервые попросил, товарищ командующий. Когда привели и делали перевязку, зубами только скрежетал и ругался. Немец, как видите, не из простых, товарищ командующий. Все его вещи перед ним.

И начальник разведки еще сильнее припустил огня в лампе, ненужно перекладывая с места на место занимавшие часть стола вещи и документы пленного: раскрытое портмоне с письмами и фотокарточками, медальон, миниатюрный перочинный ножичек на цепочке — то, что вручили артиллеристы, приведя пленного; сигарет не передавали. Переутомленный бессонной ночью, с пятнистой желтизной на вдавившихся висках, с мешками под глазами, Курышев сурово уставился на медальон майора, вздохнул, вид его говорил Бессонову: «Мои ребята погибли, товарищ командующий. Но если б они были живы-здоровы, наказал бы я их за неаккуратность!» Немец суровость эту и вздох Курышева оценивал, очевидно, иначе: в краях крупного обметанного синевой рта его изгибались две усмешки — злость на себя и ненависть к русским, заставившим его унижаться, целые сутки страдать от холода, мочиться под себя там, в воронке.

— Ну, быстро, быстро дайте ему,— сказал Бессонов.

— Можно мне, товарищ генерал? — спросил капитан-переводчик и с охотой извлек из кармана шинели пачку «Пушек», сначала намереваясь было протянуть ее пленному, чтобы тот сам выбрал папиросу, но передумал, вытряхнул папиросы, положил пачку на стол, улыбнулся стесненно.

Немец, клонясь вперед, звучно сглотнул слюну, толкнулся неразгибающимися пальцами к раскрытой пачке, неосязаемо тупо ухватил папиросу, произнес что-то при этом.

— Огня просит. Зажигалку у него тоже отобрали,— смущенно сказал краснощекий капитан и, не без колебания вынув свою зажигалку, тоже немецкую, вычеркнул огонь, поднес прикурить, пробормотал: «Битте зеер» [1].

— Мои ребята знали инструкцию, — сказал начальник разведки, все изучая на столе медальон пленного.— Наверняка артиллеристы посвоевольничали, товарищ командующий.

«Милосердие,— подумал, раздражаясь, Бессонов.— Нет, у нас слишком много милосердия. Мы слишком добры и отходчивы. Чрезмерно».

— Так что же, следовательно, русские солдаты оскорбили вас? Жестоко и зло отобрали сигареты у доброго немецкого офицера, прибывшего из Франции в Россию с самыми лучшими целями? К сожалению, они не знали, что право выше силы, — проговорил Бессонов с иронией, не сочтя нужным высказывать неодобрение действию своих не знавших инструкции солдат, на которых так или иначе легонько досадовал педантичный в таких делах подполковник Курышев.— Молитесь богу, вам повезло, господин майор.

Краснощекий капитан заторопился переводить, а крупное, породистое лицо майора, обволакиваясь дымом, распустилось от глубокой и жадной первой затяжки, он через ноздри долго процеживал дым; но едва молоденький капитан перевел слова Бессонова, немец внезапно смял папиросу, не докурив, и в злом исступлении бросил под ноги; полуистерический смешок забулькал в его груди.

— Нет, мне не повезло, господин генерал. Ваши солдаты, которые не убили меня в воронке, а держали, как

---

[1] «Пожалуйста».

свинью, на холоде и сами замерзали,— фанатики. Они беспощадны к самим себе! Я их просил, чтобы они убили меня. Убить меня — было бы актом добра, но они не убили. Это не загадка славянской души, это потому, что я добыча. Не так ли? Вы считаете нас злыми и жестокими, мы считаем вас исчадием ада... Война — это игра, начатая еще с детства. Люди жестоки с пеленок. Разве вы не замечали, господин генерал, как возбуждаются, как блестят глаза у подростков при виде городского пожара? При виде любого бедствия. Слабенькие люди утверждаются насилием, чувствуют себя богами, когда разрушают... Это парадокс, чудовищно, но это так. Немцы, убивая, поклоняются фюреру, русские тоже убивают во имя Сталина. Никто не считает, что делает зло. Наоборот, убийство друг друга возведено в акт добра. Где искать истину, господин генерал? Кто несет божественную истину? Вы, русский генерал, тоже командуете солдатами, чтобы они убивали!.. В любой войне нет правых, есть лишь кровавый инстинкт садизма. Не так ли?

— Хотите, чтобы я вам ответил, господин майор? — спросил сухо Бессонов, останавливаясь перед немцем.— Тогда ответьте мне: в чем смысл вашей жизни, если уж вы заговорили о добре и зле?

— Я нацист, господин генерал... особый нацист: я за объединение немецкой нации и против той части программы, которая говорит о насилии. Но я живу в своем обществе и, к сожалению, отношусь, как и многие мои соотечественники, к мазохистскому типу, то есть я подчиняюсь. Я не всадник, я конь, господин генерал. Я взнуздан...

— Очень любопытное соотношение,— усмехнулся Бессонов, устало опираясь на палочку.— Парадоксальное соотношение коня и всадника. Нацист, пришедший с насилием в Россию, против насилия, но выполняет приказания, грабит и жжет чужую землю. Действительно — парадокс, господин майор! Ну, так как вы мне задали вопрос, господин майор, я вам отвечу. Мне ненавистно утверждение личности жестокостью, но я за насилие над злом и в этом вижу смысл добра. Когда в мой дом врываются с оружием, чтобы убивать... сжигать, наслаждаться видом пожара и разрушения, как вы сказали, я должен убивать, ибо слова здесь — пустой звук. Лирические отступления, господин майор!..

Бессонов не дослушал до конца розовощекого капитана, переводившего его ответ немцу,— дверь в блиндаж с шумом распахнулась, из хода сообщения влился холод.

— Товарищ командующий, разрешите?..

В блиндаж, не дожидаясь разрешения, поспешно вошел Божичко; и по тому, как, вытянувшись, он вторично произнес сбитым голосом «товарищ командующий», по тому, как его энергичное, улыбающееся лицо было сейчас омыто бледностью, по тому, как он, пусто зыркнув в сторону немца, тотчас же вышел из блиндажа, Бессонов нырнувшим сердцем ощутил: случилось нечто необычное.

— Продолжайте по существу,— бросил Бессонов начальнику разведки, встревоженно посмотревшему на него, и захромал к выходу.— Без лукавых философий,— добавил он на пороге.

За спиной его упала тишина.

Божичко мялся в ходе сообщения, ногой нервозно разбивал невидимые комья земли, и здесь, с глазу на глаз с адъютантом, охваченный предчувствием случившейся беды, Бессонов поторопил его:

— Что молчите, Божичко, докладывайте! В чем дело?

— Веснин... товарищ командующий...

— Где? Не может быть! Объясните по-человечески! Где он?

— Товарищ командующий... только что на энпэ прибыл майор Титков, раненый... сообщил, что члена Военного совета...

— Что? Ранен? Убит?

Божичко, уронив голову, давил каблуком комья земли под ногами, и Бессонов, в горячей испарине, с жарко всполыхнувшейся пронзительной болью в ноге, в первый раз за это время поднял на него голос, перестав владеть собой:

— Я вас спрашиваю: ранен или убит? Что вы, онемели? Убит?

— Да, товарищ командующий... По дороге напоролись на немцев. Вас ждет Титков в блиндаже связи,— сказал Божичко.— Лично вам хочет доложить.

«Веснин убит? По дороге напоролись на немцев? Где? В станице? Что такое говорит Божичко? Как случилось?» — отталкивал Бессонов разумом это внезапное, непредвиденное, точно обвал, сообщение о несчастье, со-

мневаясь еще, что это действительно случилось и что вот через несколько секунд, неопровержимым доказательством гибели Веснина, он увидит майора Титкова, начальника охраны, заранее разгневанный на него и за то, что произошло, и за то, что сам Титков мог быть таким доказательством.

— Что ж, пошли, Божичко,— проговорил Бессонов.— Пошли...

Огни ламп, телефонные аппараты, рация, карта на столе, лица зыбились, смутно плыли в тихом и теплом воздухе блиндажа; все замолкли при появлении Бессонова, потом неясная, короткая, обрубленная тень человеческой фигуры колыхнулась сбоку, и, овеянный запахом свершившейся беды, слабым бестелесным звуком «товарищ генерал...», Бессонов сел к столу и, вынув носовой платок, обтер подбородок, шею, чтобы пропустить минуту, не разжаться сразу, не обрушить душивший его гнев на этот исходивший от тени безжизненно-плоский, серого, гибельного цвета голос, который должен был сообщить ему о смерти Веснина. И, обтирая испарину, спросил после долгого, выдержанного им молчания:

— Где напоролись на немцев, майор Титков?

— На северо-западной окраине станицы, товарищ командующий... машина с охраной шла впереди...

Стоило усилий повернуть голову, взглянуть в сторону этого одиноко и оправдательно, как на суде, звучащего в блиндаже голоса, ставшего теперь каким-то буро-мглистым; захотелось вдруг увидеть Титкова всего — его лицо, глаза,— проникнуть мимо слов в истину случившегося, представить те последние минуты, которым был он свидетелем и очевидцем.

Майор Титков, тенью шатаясь у двери блиндажа, был неузнаваем: круглая голова обмотана бинтом до переносицы, низкорослая, подобная железной глыбе, широкогрудая фигура его облачена в лохмотья полушубка, полы надорваны, истерзаны; разворочен, видимо разрывной пулей, левый рукав, оттуда наружу безобразно торчал клочками мех; под серой шапкой нечистого бинта — отчаявшиеся кровяные глаза; и опять тот же исполненный отчаяния голос:

— Немецкая разведка шла к машинам. Товарищ член Военного совета отказался отходить к домам. До них было метров двести. Открытое место... Приказал принять бой...

— Как погиб?..— прервал Бессонов.— Как погиб Веснин?

— Минут десять отстреливались мы. Потом обернулся я, вижу: товарищ член Военного совета на спине лежит подле машины, руку с пистолетом к груди прижал, а кровь из горла хлещет...

— Потом? — против воли поторопил Бессонов, точно главное в этой гибели хотел уяснить для себя, но оно ускользало, не определялось с полной ясностью, не постигалось сознанием: ему докладывали, что Веснин погиб, а он не видел его смерти и не представлял его мертвым, потому что ничего не было непостижимее этой неожиданности, ничего не было, казалось, невыясненнее сложившихся отношений между ними — двумя людьми в армии, равно отвечавшими за все,— тех недолгих взаимоотношений, которые по вине его, Бессонова, в силу его подозрительной нерасположенности ко второй власти рядом с собой выглядели не такими, как хотел Веснин и какими они должны были быть. Возможно, нежелание спорить, мягкость Веснина, легкие, вроде бы между прочим, советы его, нежелание подчеркнуто выказывать свое место рядом с ним, командующим армией, были той ступенькой, которую Веснин, по своему опыту, стремясь не задеть самолюбия, незаметно подкладывал под ноги Бессонову для утверждения его в новой армии, среди людей, незнакомых в деле. Так ли это было? Если и не так, то все, что могло быть между ними, сдерживал он, а не Веснин...

А откуда-то издали, из света ламп, из теплого банного воздуха звучал надтреснутый голос майора Титкова:

— ...то полковник Осин, то я на спине товарища члена Военного совета несли. Полковника Осина в станице уже в плечо ранило. Разрывной кость раздробило. Как дошли до наших танков, какую-то машину из боепитания поймали и доехали потом до медсанбата триста пятой дивизии. Ордена и документы товарища члена Военного совета... вот они... у меня они. Полковника Осина в медсанбат положили, вам, сказал, документы в целости и сохранности передать. Что мне делать теперь, товарищ генерал?.. Куда мне теперь?..

Майору Титкову, в каждом слове которого тряско зыбилась мука бессилия перед случившимся, не нужно было, вероятно, показывать ордена и документы Веснина.

Этот положенный на стол кровавый комок в слипшемся носовом платке был неумолимой и неотвратимой реальностью, как удар по глазам, утверждающий со всей жестокостью истины гибель Веснина. И Бессонов непроизвольно, одной рукой загородившись от яркого света ламп, от взглядов, обращенных на него, зачем-то дотянулся другой рукой до влажного корешка личного удостоверения Веснина, долго не в силах был раскрыть его — странички разбухли от крови, склеились, потемнели.

Но Бессонов осторожно раскрыл удостоверение, и то первое, что увидел он, была вложенная между страничками маленькая любительская фотография, тоже вся в бурых подтеках, однако разглядеть ее было можно. Веснин был снят, видимо, с дочерью. Он в белой рубашке, белых летних брюках, совсем по-довоенному молодой, улыбающийся кому-то заразительной мальчишеской улыбкой, так что нос весело наморщился, сидел за веслами шлюпки в солнечном заливе, на берегу которого виднелось среди кипарисов белое здание санатория; а на корме лодки — худенькая, загорелая до темноты девочка лет семи, белые, выгоревшие волосы спадают на щеки из-под панамки, детски слабенькие ключицы торчат из-под выреза сарафанчика, перегнулась через борт, по заказу окунула тоненькую руку в воду, а в тени панамки настороженные глаза скошены в ту же сторону, куда смотрит и улыбается далекий, незнакомый в своей молодости Веснин, и уголки губ девочки чуть капризно круглятся — не хочет улыбаться, отказывается улыбаться кому-то чужому, но тот, кто снимает, командует ей настойчиво: «Улыбнись же!»

На уголке фотокарточки белыми буквами: «Сочи, 1938 год».

«Почему он сохранял именно эту фотокарточку? Значит, девочка — его дочь? Есть ли в документах фотокарточка его жены? А что это добавит, объяснит? Нет, не могу смотреть, не могу узнавать подробности его жизни после его смерти! Почему мы всегда хотим узнать о человеке после его смерти больше, чем знали при жизни?»

— Товарищ командующий...

Он отнял руку от лба — басовито трещал в блиндаже зуммер высокочастотного аппарата, телефонист, сняв трубку, смотрел на Бессонова несмело приглашающими глазами, говоря шепотом:

— Вас, товарищ командующий, из штаба фронта.

— Да, да... Сейчас. Да, да...

Его локоть дернулся по столу, он на ощупь поискал палочку, прислоненную к краю, оперся и под взглядами находившихся в блиндаже встал в вяжущей и густой, как тина, тишине, палочка при его движении к аппарату скрипнула; трубка, нагретая ладонью телефониста, была теплой, живой, но в ней вибрировали, шуршали тихие звуки пространства, беспредельно текущей пустоты, и Бессонов с необоримым желанием разбить это молчание и в блиндаже и в трубке заговорил:

— У телефона пятый.

— Одну минуту, товарищ пятый. Передаю товарищу первому.

На том конце разделенного ночью пространства трубку быстро передали, и затем другой голос, наполненный крепостью жизненных соков здорового и занятого неотложными делами человека, произнес с возбуждением:

— Петр Александрович, здравствуй! Ну как, лапти приготовил? Бороду отрастил? Зипун кушаком подпоясал?

Это был командующий фронтом: мягкий украинский акцент, мягкое «г», южная певучесть в произношении — Бессонов узнал его. Они не были еще на «ты», и это новое, неофициальное обращение по телефону несколько стеснило Бессонова, оно простотой своей что-то отнимало у него, лишало некой независимости хотя бы в начальном общении, а командующий фронтом, легко с ним заговорив, будто с давним однокашником, вопросом своим в полушутку намекал, что армия Бессонова считалась на положении «окружаемой».

Но Бессонов, ни в коей степени не расположенный в ту минуту даже к полушутке и не сумев перейти на «ты», ответил:

— Бритву, по старой привычке, вожу с собой, товарищ первый. А лаптями и зипуном начальник тыла не обеспечил. О положении нашем имел возможность донести вам, товарищ первый, два часа назад.

— Знаю, изучил, одобряю! — засмеялся раскатисто командующий, не восприняв сухость и официальность тона Бессонова.— Так вот какие дела, Петр Александрович! Теперь, считаю, легче вздохнешь. Северо-западнее тебя соседями введены в прорыв четыре танковых кор-

пуса, успешно продвигаются с целью уничтожения оперативных резервов, выходят во фланг и тыл группы армий «Дон»... Вот как все складывается. Твои соображения одобряю. Если с лапками увязли — пришло время. Начнешь после уточнений. Приказ получишь. А за то, что выстояли, от души жму руку тебе и Виталию Исаевичу! Кстати, обрадую тебя: вечером был звонок от «гэко», интересовался положением твоей армии, удовлетворен и торопил...

В штабе фронта еще ничего не знали. В штабе фронта Веснин еще жил и был нужен. Юго-Западный и Воронежский наконец прорвали после неудачной попытки оборону немцев и ввели в прорыв танковые корпуса. В Ставке интересовались, были удовлетворены и торопили. Он предполагал, что положением армии будут интересоваться...

Бессонов держал трубку, влипшую во влажные пальцы, и, мнилось, еще вдыхал солоновато-железистый запах крови, исходивший от влажного бурого комка орденов и документов в носовом платке, от любительской фотокарточки, на которой капризно круглились губы худенькой девочки.

— Что замолчал, Петр Александрович? Чем обеспокоен? Возражай, коли другие соображения есть, послушаю. Что у тебя? Просить чего-нибудь хочешь? Твой дотошный Яценко уже все выпросил. Загребущий мужик у тебя Яценко!

— Разрешите вас прервать, товарищ первый,— сказал Бессонов ссохшимся голосом.— Не имею права не доложить вам... Член Военного совета Виталий Исаевич Веснин три часа назад убит по дороге в танковый корпус.

— Ка-ак так убит? Да ты что? Что ты мне говоришь? — всколыхнулся крик командующего на том конце провода и тотчас сполз до шепота: — Каким образом? Что ты мне докладываешь?

Бессонов повторил:

— Я докладываю, товарищ первый, что Виталий Исаевич Веснин убит в станице по дороге в танковый корпус.

— Убит? Веснин? Значит, не уберегли члена Военного совета! Разве ты не знал, что он непременно в каждое пекло лезет?.. Не знал? Сдерживать его надо было, смотреть в оба глаза! Какого золотого человека потеряли,

а!.. Вот чего уж не ожидал, никак не ожидал! Как снег на голову! Да что у тебя за охрана? Куда смотрели?

— Прошу не упрекать меня, товарищ первый. К сожалению, это уже не поможет. Ни вам, ни мне.— Бессонов помолчал.— Разрешите коротко доложить дополнительные соображения к моему донесению?

— Каким же это образом, Петр Александрович, произошло такое? Убил ты меня! Насмерть убил!..

— Разрешите, товарищ первый? Прошу меня выслушать.

— Да, говори. Докладывай. Слушаю тебя.

Бессонов жестко переключился, ушел от разговора о Веснине — недоставало душевных сил повторять подробности его гибели. И он стал докладывать, не считая нужным объяснять то, что к исходу дня в связи с обстановкой в дивизии Деева, рассеченной немецкими танками, он готов был к круговой обороне, более всего опасался этого (как и Веснин, который, в отличие от него, не скрывал опасения), но все-таки не рискнул бы и тогда решительно «пошевелить» и распылить по бригадам танковый и механизированный корпуса, предназначенные для контрудара. Он сказал только, что пришла пора подвижных соединений, вчера Гот использовал свои резервы — это подтвердил пленный немецкий майор, офицер связи,— и наносить контрудар надо сегодня же утром, до того, как они возобновят активность на северном берегу. Не упустить время, не дать им передышки и сначала внезапным контрударом танкового и механизированного корпусов без обычной артподготовки сбить немцев с плацдармов, пока не перегруппировались...

— Почему без артподготовки? Чего достигаешь? — спросил командующий.— В артиллерию, что ли, не веришь?

— Немцы хорошо знают, что артподготовка — это своего рода предупреждение о наступлении. Артиллерия скажет свое слово, когда танки уже выйдут на рубеж атаки.

— Обсудим,— сказал командующий.— Добро. Посоветуюсь с представителем Верховного. Получишь приказ... Так что же это Веснина, а? Каким образом? Вконец расстроил ты меня, Петр Александрович, своим сообщением. Вот и один теперь принимаешь решение. Без члена Военного совета. Очень верил он в тебя, знаю,

хотя и... не прост ведь ты, скажем прямо, Петр Александрович! Ох, не просто с тобой одну кашу есть!

«Да, Веснин...— думал Бессонов, прикрывая глаза отяжелевшими веками.— Да, теперь я один. Никто сейчас не заменит мне Веснина. Он верил мне. А я боялся раскрыться перед ним, замыкался. Эх, дорогой мой Виталий Исаевич, век живи, век учись, поздно мы, поздно начинаем ценить истинное! Если можешь, прости за холодность, за черствость мою. Сам страдаю от этого, но вторую натуру выбить из себя не могу».

Этого Бессонов не сказал командующему фронтом — это было его личное, чего он никому не хотел бы открывать, выносить на суд других, как и болезненно-мучительные воспоминания о сыне, о жене.

Бессонов долго стоял перед аппаратом «ВЧ», окончив разговор со штабом фронта; стоял, опустошенный, среди осторожных голосов, перезвонов по линиям связистов, среди исподтишка наблюдающих за ним лиц и сам чувствовал свое серое от усталости, постаревшее за эти сутки, не принимающее никого лицо. В то же время он хорошо понимал, о чем думают сейчас и сдержанный, исполнительный майор Гладилин, внимательно согнувшийся над картой, и остальные операторы, и связисты, и адъютант Божичко, и начальник охраны Титков, который в нечеловеческом напряжении ждал решения своей участи — вместе с ним этого ждали и все. Черной тенью маячил он близ двери; белым шаром покачивалась его перебинтованная голова. Не выдержав, Титков напомнил о себе шепотом:

— Что теперь мне... товарищ командующий? Куда мне?

— В госпиталь,— жестко проговорил Бессонов.— Отправляйтесь в госпиталь, майор Титков.

Потом в сумрачном оцепенении Бессонов лежал на топчане в натопленном блиндаже Деева, не меняя положения, глядя в накаты, влажные от испарений; временами слышал тихое и вкрадчивое покашливание Божичко, его возню с чайником на железной печи, волглый шорох его шинели, но ничем не отвечал на это. Глухо доходили сквозь землю звуки из соседнего блиндажа, а ему хотелось молчать и думать под беспечно ровный клекот пламени в печи, сохранить внешнее равновесие, то спокойствие, которое так необходимо было перед утром, но

которое начинало изменять ему после известия о гибели Веснина. С потугой забыть хотя бы на минуту о докладе майора Титкова Бессонов старался думать о предстоящем контрударе корпусов, о своем докладе командующему фронтом, но снова возвращался к мыслям о Веснине, о непростительной, как злая бессмысленность, недоговоренности между ними, о темном комке орденов и документов, в носовом платке положенных Титковым на стол, о слабой капризной улыбке девочки на любительской фотографии, вложенной в удостоверение Веснина. И, думая об этом, возвращался памятью к тому, как, едва познакомясь, они вместе ехали из штаба фронта в штаб армии, обгоняя колонны дивизий на марше, и нащупывали друг друга — по жесту, по фразе, по молчанию; а в памяти почему-то вставал тот растерявшийся нетрезвый парень-танкист из соседней армии, кажется, командир роты, обязанный жизнью Веснину. Да, в его душе, наверно, было меньше ожесточения к отчаявшимся, независимо от причин потерявшим волю к сопротивлению людям, чем в душе Бессонова, который после трагедии первых месяцев сорок первого года намеренно выжег из себя снисхождение и жалость к человеческой слабости, сделав раз и навсегда один вывод: или — или. Так это было либо не совсем так, но, подумав о танкисте, о своей замкнутости и подозрительности в первоначальном общении с Весниным, что, несомненно, было противопоказано мягкой его интеллигентности, Бессонов с предельной яркостью вспомнил непостижимые разумом слова Титкова: «Член Военного совета приказал принять бой, не захотел отходить».

«Не захотел отходить»,— вертелось в голове Бессонова, пораженного тем, что Веснин отдал такой приказ, когда в его положении члена Военного совета не обязательно было принимать заведомо обреченный бой, а надо было отходить, не подвергать жизнь риску в тех обстоятельствах; но Веснин принял бой, и случилось то, что случилось три часа назад.

— Товарищ командующий, выпейте чаю...

Запах заварки. Мягкие шаги. Еле слышное пофыркивание чайника на плите, позвякивание ложечки о кружку.

— Товарищ командующий, вам бы уснуть с полчаса... здесь никто не помешает. Выпить чаю — и уснуть.

За полчаса ничего не произойдет. Я не дам беспокоить...

— Спасибо.

Бессонов открыл глаза, но не вставал. А между тем говорил себе, что нужно встать, взять кружку с приготовленным для него чаем, выпить чай и прежним, уже привычным всем, войти в соседний блиндаж, где сейчас ждали его последних перед утром распоряжений, где был знакомый аккумуляторный свет, карты, телефоны, рация, позывные,— ибо давно знал: немилосердный удар вечности, опаляющий душу, не прекращает ни войны, ни страданий, не отстраняет живых от обязанности жить. Так было и после известия о судьбе сына. И, собирая волю, чтобы подняться, он спустил ноги с топчана, сел, поискал палочку.

— Да, я сейчас. Спасибо, майор.— И горько усмехнулся краями губ, глубоко подрезанных морщинами смертной усталости.— Что вы так смотрите, Божичко?

Божичко, шапкой сняв горячий чайник с печи, нацеливая в жестяную кружку коричневую перекрученную струю, разносившую запах крепкой заварки, смеженными ресницами спрятал скорбные, с желтыми блестками глаза. Сказал:

— Я так, товарищ командующий. Документы Виталия Исаевича... Я передам.

Он никогда в жизни не осмелился бы сказать Бессонову, что в документах Веснина, положенных им в сумку для передачи в штаб, нашел скомканную, слипшуюся в крови листовку — то самое страшное, чего нельзя было знать Бессонову.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Спустя сорок минут после того, как Бессонов приказал дать сигнал для атаки танковому и механизированному корпусам, бой в северобережной части станицы достиг переломной точки.

С НП виден был этот развернувшийся на улочках станицы, на окраине ее, танковый бой, сверху в темноте казавшийся ошеломляюще чудовищным по своей близости, смешанности, неистовому упорству и, может быть, особенно потому, что нигде не было видно людей. По

всей окраине взблескивали прямые выстрелы орудий, меж домов кучно бушевали вихревые разрывы «катюш»; сцепившись во встречном таране, пылали танки на перекрестках; по берегу среди начавшегося пожара сползались розоватые, как бы потные, лоснящиеся железные тела, с короткого расстояния били в упор, почти вонзаясь друг в друга стволами орудий, гусеницами руша дома и сараи, разворачивались во дворах, отползали и вновь шли в повторные атаки, охватывая плацдарм. Немцы сопротивлялись, вцепившись в северный берег, но бой уже сползал к реке, уже что-то изменилось на сороковой минуте, сконцентрированный гул, вой моторов расколотыми отзвуками наполняли речное русло, немцы кое-где начали отходить к переправам. И Бессонов вдруг посмотрел не на северный, а на южный берег, боясь ошибиться, поторопиться в выводах.

Там, по ту сторону реки, куда медленно оттягивались немецкие танки и где, казалось, в течение вчерашних суток все было смято, раздавлено, разбито, разворочено бомбежками, танковыми атаками, артиллерийскими налетами, где степь представлялась намертво выпаленной, совершенно пустынной, без единого живого дыхания, теперь в разных концах ее рождались снопики винтовочных выстрелов, горизонтально вылетали широкие багровые лоскуты пламени нескольких орудий и узкие, колючие языки огня противотанковых ружей. Потом из тех мест, где вчера проходили пехотные траншеи, заработали разом три пулемета, забились в степи красными бабочками, запорхали внизу, над окопами. То, что считалось мертвым, уничтоженным, начинало слабо шевелиться, подавать признаки жизни, и невозможно было вообразить, как сохранилась эта жизнь, как с начала и до конца боя теплилась она там, в этих окопах, на тех орудийных позициях, через которые прошли или которые обошли танки, отрезав их, клещами замкнув к концу вчерашнего дня южный берег.

Ветер еще темного утра острыми ударами бил по брустверу НП, сек по глазам, мешая смотреть, выдавливая слезы; Бессонов достал носовой платок, вытер лицо, глаза и потом приник к окулярам стереотрубы.

Он окончательно хотел убедиться в том, во что трудно было поверить, но что не вызывало уже никакого сомнения. Там, на южном берегу, в раздавленных танками траншеях, на разгромленных позициях батарей,

начали вести огонь, вступали в бой те оставшиеся в окружении, отрезанные от дивизии, кто, по всем расчетам, никак не должен был уцелеть и не числился в живых.

— Мои, мои хлопцы! Товарищ командующий, видите! Дышат, оказывается! Расчудесные мои ребятки! Молодцы! Оч-чень молодцы! — растроганно и взволнованно говорил где-то рядом крепкий молодой голос Деева среди ветреного гула на НП, захлестывающего брустверы, среди криков связистов, оживления вокруг.

И эта прорвавшаяся ликованием нежность Деева и вместе молодая хвастливость его теми, своими ребятками из первых траншей, казалось давно обреченными, но вот же продолжавшими бороться,— эта открытая его размягченность, слабость не раздражали Бессонова, а наоборот: услышав возгласы Деева, он, не обернувшись, с горькой судорогой в горле опять подумал, что судьба все-таки благодарно наградила его командиром дивизии.

Сумрак декабрьского утра разверзался багряными щелями танковых выстрелов, гремел перекатами эха, соединенными волнами грома над степью, все слитнее клокотал моторами, пронзался стремительными светами беспорядочно то там, то тут распарывающих небо немецких ракет. Немецкие танки, как разбуженные, поднятые облавой звери, злобно огрызаясь, в одиночку и сбитыми в отдельные стаи группами отползали от берега под натиском наших «тридцатьчетверок», с ходу захвативших две переправы, по донесению, пять минут назад полученному Бессоновым. Выбравшись на южный берег, «тридцатьчетверки» шли наискось, ускоряя движение, наперерез, охватывали справа и слева неприкрытые фланги вплотную сгрудившихся и будто тершихся друг о друга немецких танков.

Из этого скопища машин, железно и страшно ревевших затравленной стаей, приостановленной перед балкой, откуда наступали они утром, поминутно стрелявших назад по северному и южному берегу, стали отрываться, не выдержав остановки, одиночные танки, расползаясь в разные стороны. Затем над сгрудившимися на той стороне машинами стремительно и высоко взмыла сигнальная ракета, погорела в небе, зеленым дождем осыпалась в степь. И сейчас же чуть сбоку и впереди немецких танков на высотке перед балкой зачастило, заморгало пламя,

замелькали под углом к небу пулеметные трассы — малиновые пунктиры в темноту степи, в тыл немцам. Но на высотке не могли быть наши. Стрелял, оказывается, немецкий крупнокалиберный пулемет — по трассам видно было, с НП.

— Чего это они, товарищ командующий? Опупели? По своим лупасят? — сказал Божичко, переминаясь возле Бессонова в азартно-радостном возбуждении от боя, оттого, что отходили немцы, оттого, что не ослабевал натиск наших танков, и захохотал даже. — Ну дают гастроли, товарищ генерал!

Бессонов отпрянул от стереотрубы, приглядываясь к несмещающимся по горизонтали очередям пулемета на высотке над балкой, сначала озадаченный не менее Божичко. Но, различив задвигавшуюся по берегу в сторону непрерывных трасс массу танков, понял, что немецкий пулемет направлением очередей указывал в темноте танкам путь отхода по шоссе за балкой.

Он не объяснил этого Божичко, потому что всякие объяснения отвлекали от главного, были излишними, могли нарушить что-то в нем самом, так обостренное сейчас, что-то сжатое, горячее, как ощущение ошеломляющего успеха, разгаданности чужой тайны, удовлетворенности мыслью, что случилось предполагаемое, что введенные в бой корпуса, поддержанные артогнем в самом начале атаки, внезапным ударом сбили немцев с плацдармов, захватили переправы, вышли на южный берег и теперь, продвигаясь по той стороне, охватывали немцев с флангов, а немцы откатывались на юг — в направлении пулеметных трасс. Он всегда боялся легкого везения на войне, слепого счастья удачи, фатального покровительства судьбы, он отрицал и пустопорожний максимализм некоторых однокашников, сладостно-прожектерские мечтания в кулуарах штабов о Каннах в каждой намеченной операции. Бессонов был далек от безудержных иллюзий, потому что за неуспех и за успех на войне надо платить кровью, ибо другой платы нет.

«Подождать! — думал он.— Подождать из корпусов следующих донесений! И не торопиться с подробным докладом в штаб фронта...»

Но когда, после вчерашних суток немецкого натиска, поставившего всю оборону на волосок от катастрофы, после прорыва немцев на северный берег, после потерь, напряжения, рассечения дивизии Деева, когда он видел

сейчас подожженные пехотные «оппели» на дороге в степи, отходившие на юг немецкие танки, вспышки орудийных выстрелов, кинжальные язычки ПТР вслед этим отползавшим к балке танкам, все жарко, до испарины на спине сжалось в Бессонове, и он, силясь сдержать себя, выслушивая с непроницаемым лицом свежие донесения по рации, сильнее втискивал в землю палочку завлажневшими в меховой перчатке пальцами.

«Подождать, подождать еще»,— останавливал он неумеренные толчки порыва сию секунду пойти в блиндаж и, не спеша в радости, донести командующему фронтом, которому полчаса назад докладывал о начале контрудара. Донести, что немцы откатываются назад, что танковый и механизированный корпуса развивают успех и им отдан приказ полностью занять южнобережную часть станицы, продвигаться вперед, перерезать шоссе южнее станицы.

А по южному берегу занимались везде пожары, перебрасывались над крышами станичных домов лохмы огня, подымались и сталкивались заверти разрывов на улочках, где теперь шел танковый бой.

Он подождал несколько минут, внешне спокойный, принимая из корпусов доклады, окруженный знобким ветерком команд, всеобщего возбуждения на НП, громких голосов, победных улыбок, довольного смеха. И уже кое-где неприкрыто, с облегчением закуривали, то там, то тут щелкали портсигары, затлели искорки в потемках траншей, будто фронт отодвинулся на десятки километров, и командиры вдыхали вместе с папиросным дымом запах наконец-то пойманной удачи. Слыша и видя это возникшее на НП ликование, Бессонов, против воли еще сопротивляясь ему, сказал тихо и сухо:

— Прошу на энпэ не курить, а всем заниматься своими обязанностями. Бой не кончился. Далеко не кончился.

Сказал и почувствовал брюзгливую бессмысленность замечания, ненужную охладительность тона; и, нахмурившись, мысленно браня старчески трезвую, многоопытную сдержанность свою, поспешно пошел к блиндажу связи мимо штабных командиров, прячущих папиросы в рукава.

Минут через десять, доложив подробно командующему о продвижении корпусов и поговорив с начштаба Яцен-

ко, Бессонов снова вышел из покойно освещенного лампами блиндажа в траншею — ледяную, ветреную, серую — и вдруг уловил, что за эти минуты что-то заметно изменилось, перешло в новое состояние, сместилось в небе и на земле.

Раздрабливаемый боем, ревом танковых моторов, воздух прояснел, поредел, по-утреннему наливался фиолетовой, холодно-прозрачной синью вокруг высоты, прорезанной яркими кострами горевших за рекой танков, веселыми и игривыми при свете наступающего дня. Приблизилась раскрытым пожаром южнобережная часть станицы, по окраине которой со стороны степи, видимые теперь глазом, ползли и ползли, переваливаясь, вздымая вьюжные космы, «тридцатьчетверки», а следом шли и ехали на покрашенных под снег ЗИСах стрелковые подразделения. Вдали же, в запредельном краю, нежно и тихо пробивалась осторожная светлая полоса на востоке, поджигая белым пламенем по горизонту снегà, по извечным законам напоминая об иных человеческих чувствах, забытых давно и Бессоновым, и всеми остальными, кто был с ним в траншее НП.

«Да, утро».

Бессонов, выйдя на ветер, бушевавший на вершине высоты, и ощутив, что наступало утро, морозное, декабрьски ясное, обещавшее солнце, очищенное небо, подумал об открытости танков в голой степи, о немецкой и своей авиации; и, наверно, об этом также подумал прибывший на НП в конце ночи представитель воздушной армии, узколицый, с огромным планшетом, в летных унтах, компанейского нрава полковник, с плексигласовым наборным мундштуком в улыбчивых губах. На взгляд Бессонова, в котором был вопрос — где штурмовики? — он ответил тут же, что все будет в порядке, туманца, слава богу, нет, через пятнадцать минут штурмовики пройдут над энпэ, и, ответив, погрыз мундштук, обнадеживающе улыбнулся.

— Добро, коли так,— сказал Бессонов, подавив желание заметить, что для немецкой авиации тоже туманца нет.

— Смотрите, товарищ командующий, что славяне делают, ожили-таки! Никак, кухня? — сказал с грустной веселостью Божичко, не отходивший от Бессонова с начала боя ни на шаг, и указал рукавицей на полуразрушенный мост.

— Что? — спросил Бессонов, думая об авиации, и рассеянно поднял бинокль, скользкий, в изморози, поправил резкость.

За высотой, на южном берегу реки, левее станицы, на том пространстве перед балкой, вчера отрезанном немцами, где недавно ожили несколько орудий, несколько противотанковых ружей и три пулемета, тряслась по воронкам, проскочив мост, летела вдоль ходов сообщения кухня, пещадно дымя в сумраке утра, струей рассыпая за собой по снегу горошины рдяных искр. Неслась с бешенством одержимости, лавируя между минометными разрывами, алыми маками распускавшимися по высоте. Какой-то отчаянный старшина вырвался на тот берег следом за танками, спешил на передовую. Видно было, как из левофланговых пехотных траншей поднялись человек пять-шесть, призывно махали винтовками, но кухня проскакивала мимо них, прыгала по ямам воронок, неслась неудержимо к артиллерийским огневым позициям справа от моста. И там остановилась, как врытая. Мгновенно с козел спрыгнул человек, побежал к только что стрелявшему орудию, распластывая по ветру длинные полы комсоставской шинели.

— А ведь это, не иначе, та батарея. Та, где мы были,— сказал утвердительно Божичко, облокотясь на бровку бруствера.— Помните, товарищ командующий, тех ребят? У них еще комбат... такой мальчик... лейтенант, Дроздов, кажется?

— Не помню,— пробормотал Бессонов.— Дроздов?.. Точнее напомните, Божичко.

Божичко подсказал:

— Там, где вы разведку ждали. Те, что немца вынесли. Двое из них его сюда приволокли. Семидесятишестимиллиметровая батарея.

— Батарея? Вспомнил. Только нет, не Дроздов... Похожая, но другая фамилия... Кажется, Дроздовский. Да, верно! Дроздовский...

Бессонов резко опустил бинокль, подумав, как выстояла с начала боя эта 76-миллиметровая батарея, которой командовал тот удививший его вчерашним утром синеглазый, по-училищному вышколенный, весь собранный, будто на парад, мальчик, готовый не задумываясь умереть, носивший известную в среде военных генеральскую фамилию, и представил на миг, что́ выдержали люди там, около орудия, на главном направлении танкового

удара. И, с нарочитой медлительностью вытирая носовым платком исколотое снеговой крошкой лицо, чувствуя волнением и холодом стянутую кожу, выговорил наконец с усилием:

— Хочу сейчас пройтись по тем позициям, Божичко, именно сейчас... Хочу посмотреть, что там осталось... Вот что, возьмите награды, все, что есть тут. Всё, что есть,— повторил он. — И передайте Дееву: пусть следует за мной.

Божичко в каком-то изумлении посмотрел, как маленькая рука Бессонова мяла, тискала, комкала носовой платок, не попадая в карман полушубка, кивнул, сорвался с места, побежал за полковником Деевым.

Бессонов считал, что не имеет права поддаваться личным впечатлениям, во всех мельчайших деталях видеть подробности боя в самой близи, видеть своими глазами страдания, кровь, смерть, гибель на передовой позиции выполняющих его приказания людей, уверен был, что непосредственные, субъективные впечатления расслабляюще въедаются в душу, рождают жалость, сомнения в нем, занятом, по долгу своему, общим ходом операции, в иных масштабах и полной мерой отвечающем за ее судьбу. Страдание, мужество, гибель нескольких людей в одном окопе, в одной траншее, в одной батарее могли стать настолько трагически невыносимыми, что после этого оказалось бы не в человеческих силах твердо отдавать новые приказы, управлять людьми, обязанными выполнять его распоряжения и волю.

Убедился он в этом не вчера и не сегодня, а с того сложного, незапамятного сорок первого года, когда на Западном фронте приходилось самому среди крови, криков и зовов санитаров, среди стонов раненых подымать на прорыв из окопов людей с задавленным в душе состраданием к их бессилию перед большими и малыми охватами не остановленных на границе танков, перед немецкой авиацией, ходившей по головам.

Но в это морозное утро своего контрудара, в тридцати пяти километрах юго-западнее Сталинграда, при обозначившемся успехе своей армии, Бессонов изменил себе.

...Когда по льду перешли реку и поднялись на берег, зло обдуваемый пронизывающим до костей ветром,

и потом по неглубокому ходу сообщения вошли в полузаваленную траншею, когда Бессонов только воображением восстановил, что тут были первые пехотные окопы, он замедлил шаг от боя сердца, сорвавшего дыхание.

Здесь, на южном берегу, где танковые атаки не прекращались много часов и танки проходили в разных направлениях много раз — так изрыв, исполосовав, разворочав гусеницами окопы, до этого изуродованные бомбовыми воронками, что сплющенные пулеметы в гнездах, клочья, обрывки ватников, лохмотья морских тельников, перемешанных с землей, расщепленные ложи винтовок, лепешки противогазов и котелков, заваленные грудами почернелых гильз, засыпанные снегом тела — это не сразу было отчетливо увидено Бессоновым. Останки оружия и недавней человеческой жизни, как гигантским плугом, были запаханы, полураскрыты завалами, образовавшимися повсюду от бомбовых воронок, от многотонного давления танковых гусениц.

Все осторожнее пробираясь через земляные навалы в траншее, перешагивая через выступавшие под ногами кругло и плоско оснеженные бугры, Бессонов шел, стараясь не наступать, не задеть их палочкой, угадывая под этими буграми трупы убитых еще утром. И уже без надежды найти здесь кого-либо в живых, подумал с казнящей горечью, что он ошибся: ему лишь показалось с НП слабое биение жизни тут, в траншеях.

«Нет, здесь никого не осталось, ни одного человека,— говорил себе Бессонов. — Пулеметы и противотанковые ружья били из левых окопов, левее батарей. Да, идти туда, туда!..»

Но тотчас из-за поворота траншеи донесся металлический звук. И будто бы послышались голоса. Бессонов с тугими ударами сердца вышагнул из-за поворота.

Навстречу ему из пулеметного гнезда белыми привидениями подымались двое, с головы до ног косматые от снега. Обмороженные лица их были сплошь затянуты в стеклянный лед подшлемников, а из подшлемников — глаза, воспаленные морозом и ветром, в густых кругах изморози, устремлены на Бессонова, выражая одинаковую оторопелость — не ожидали, по-видимому, увидеть здесь, в омертвевшей траншее, живого генерала в сопровождении живых офицеров.

Матово поблескивали прямоугольные морские пряжки. На порванной, прожженной плащ-палатке, расстеленной по бровке окопа,— куча дисков ручного пулемета, собранных со всей позиции; рядом с пулеметом — на сошках противотанковое ружье. Везде валялись свежестреляные гильзы: на бруствере, на дне окопа. Видимо, оставшись вдвоем, пулеметчик и пэтээровец некоторое время вели огонь из одного гнезда, соединенные в последнем усилии, локоть о локоть. Судя по морским пряжкам, были эти двое из дальневосточных моряков, ставших пехотой месяц назад на формировке армии, сохранивших памятью о прошлом тельники и матросские пряжки.

Оба они оторопело встали перед Бессоновым, ничем не отличимые друг от друга, в толстых и жестяных от снега и инея шинелях; и закостенелые в твердую форму рукавицы их неуверенно ползли к шапкам. Обрывисто дышали оба, слова не выговорив, точно не верили чему-то никак, обнаруживши рядом с собой генерала и офицеров позади него.

Тогда огромный Деев, нарушая неписаные законы сдержанности в присутствии командующего, первый ступил в пулеметный окоп пехотинцев, крепким объятием притиснул к себе одного, другого; надломленно прозвучал его растроганный, напрасно отыскивающий твердость голос:

— Выстояли, ребятки? Выжили? Товарищ командующий, вторая рота...— И, не договорив фразу, посмотрел Бессонову в глаза с выражением умиления и потрясенности.

Слова, которые должен был сказать в ту минуту Бессонов, тенями скользили в сознании, не складывались в то, что чувствовал он, показались ему никчемными, мелкими, пустопорожними словами, не отвечающими безмерной сути увиденного им, и он с трудом произнес:

— Кто-нибудь из командиров жив?..

— Никого... Никого, товарищ генерал.

— Раненые где?

— Человек двадцать на тот берег переправили, товарищ генерал. Мы из роты одни...

— Спасибо вам!.. Спасибо вам от меня... Как ваши фамилии, хочу знать! — Он еле расслышал их фамилии, обернулся к Божичко, в молчании разглядывавшему двух

счастливцев с завистливым и мучительным удовольствием человека, понимающего, что такое после вчерашнего боя остаться в живых, воюя в боевом охранении; и, когда Бессонов через силу, глуховато сказал: «Дайте два ордена Красного Знамени. Вам, полковник Деев, сегодня заполнить наградные листы»,— Божичко с радостью вынул из вещмешка, подал Бессонову две коробочки, а тот, прислонив палочку к стенке траншеи, шагнул к этим двоим, окаменевшим, неочнувшимся, вложил им в несгибающиеся рукавицы ордена и, отвернувшись, вдруг скрывая нахмуренными бровями сладкую и горькую муку, сжавшую грудь, передернувшую его лицо, захромал по траншее, не оглядываясь. А ветер наваливался с севера, перебрасывал за пылающую станицу звуки боя справа, за балкой, порывами нес с берега колкой снежной пылью, выжимал слезы в уголках глаз Бессонова; и он ускорял шаги, чтобы сзади не увидели его лица. Он не умел быть чувствительным и не умел плакать, и ветер помогал ему, давал выход слезам восторга, скорби и благодарности, потому что живые люди здесь, в окопах, выполняли отданный им, Бессоновым, приказ — драться в любом положении до последнего патрона, и они дрались и умирали здесь с надеждой, не дожив лишь нескольких часов до начала контрудара.

«Все, что могу, все, что могу,— повторил он про себя.— А что я могу сделать для них, кроме этого спасибо?»

— Кухня!.. Артиллеристы, товарищ командующий. Батарея. Та самая!..— крикнул Божичко, догнав его, и запнулся, удивленный, почему-то избегая глядеть на мокрое, неузнаваемое лицо Бессонова, какого не видел ни разу, и, тотчас же отстав, зашагал сзади к обрыву берега, где, слабо дымя, стояла сиротливо-одинокая полевая кухня.

Эта кухня, появившаяся на южном берегу вслед за нашими танками, была батарейной кухней, которую привел сюда старшина Скорик.

Когда за спиной на захваченном немецком плацдарме бой достиг наивысшей точки и потом начали выползать оттуда через переправы правее и левее батареи немецкие танки, Дроздовский прекратил тщетные попытки связываться по рации с КП артполка — и без того ясно стало, что произошло. И в течение получаса Кузнецов, не дожидаясь никакой команды, выпустил по переправившим-

ся на южный берег танкам все оставшиеся семь снарядов и, выстрелив все, отдал расчету приказ — взять автоматы, уйти в ровики и встретить огнем начавшую отход пехоту. На тяжелых, крытых брезентом вездеходах и «оппелях» немецкая пехота отступала по проселку стороной, далеко слева, и там, на левом фланге, вели огонь по ней несколько одиночных орудий, оставшихся от соседних батарей, и два каким-то чудом уцелевших станковых пулемета впереди.

Они четверо — расчет Уханова, остатки взвода,— замерзшие, обессиленные, опустошенные событиями прошлой ночи, еще полно не осознавая, как это началось на северном берегу, почему так спешно оставляют свои позиции немцы, заняли места в ровиках, то и дело дыханием отогревая руки и затворы автоматов, чтобы не застыла смазка. Кузнецова знобило. Уханов постукивал по предплечьям рукавицами. Нечаев и Рубин подчищали лопатами бровку перед бруствером. Работали молча: думать, говорить не было сил. Так прошло более часа. И в тот момент, когда в фиолетовом полусвете утра следом за нашими танками, слева на бугор, как сама невозможность, выскочила галопом полевая кухня, понеслась, сумасшедше подскакивая в выемках воронок, к батарее, в те секунды, когда старшина Скорик с озверелым лицом остановил кухню в десяти шагах от орудия, матерясь на носившую боками лошадь, соскочил с козел и побежал к ним, путаясь в длинных полах комсоставской шинели, сознание еще не постигало реальную радость случившегося. Даже когда старшина зашелся криком: «Хлопцы, к вам я... продукты!..» — и прибытие, и крик его не воспринимались земной действительностью, а были слабыми отблесками другого мира, отстраненного, неощутимого почти. Никто не ответил ему.

— Люди ж где?.. Неужто четверо вас, четверо?..

Старшина забегал глазами по безлюдным позициям батареи, по обугленным подбитым немецким танкам, затоптался на огневой в щегольских комсоставских валенках, издал невнятный, мычащий звук, кинулся обратно к кухне. Взвалил на спину термос, два вещмешка, набитые, по виду, буханками хлеба и сухарями, бросился на полусогнутых ногах опять к орудию, свалил вещмешки на кучу стреляных гильз между станинами, бормоча:

— На всю батарею... и хлеб, и сухари, и водка. Да неужто вас четверо всего?.. Куда ж мне продукты, товарищ лейтенант? Дроздовский где? Комбат?

— На энпэ. Там трое. Еще в землянке — раненые. Зайдите к ним, старшина,— ответил Кузнецов неворочающимся языком и сел на станину, дрожа с ознобе, равнодушный и к этому обилию продуктов, и к этим возгласам старшины.

— Костер бы маломальский развести, лейтенант,— сказал Уханов.— Окочуримся без огня. Ты тоже вон дрожишь как лист. Ящики от снарядов есть. Слава богу, водки до хрена́ тяпнем, лейтенант! Кажется, наши даванули.

— Водки? — безразлично ответил Кузнецов.— Да, всем водки...

Без старшины, резво побежавшего в землянку к раненым, пока Нечаев и Рубин ломали ящики и разводили костер на орудийном дворике, Уханов сдвинул в сторону груду гильз, постлал брезент под казенником и распорядился термосом с водкой, невиданным богатством продуктов: налил водку в единственный котелок, найденный в ровике, развязал мешок с сухарями. Потом опустился рядом с Кузнецовым на станину, пододвинул к нему котелок.

— Согревайся, лейтенант, а то хана нам, в статуи превратимся, пей — поможет.

Кузнецов взял котелок двумя руками, почувствовал едкий сивушный запах и, не дыша, торопясь, отпил несколько глотков с жадностью, с надеждой, что водка снимет озноб, согреет, расслабит стальную пружину, стиснутую в нем. Ледяная водка ожгла его огнем, мгновенно оглушила горячим туманом, и, грызя каменный сухарь, Кузнецов вспомнил, как очень и очень давно, в той бесконечной сверкающей под солнцем степи, на марше, Уханов угощал водкой Зою, а она, закрыв глаза, с отвращением отпив из фляжки, смеялась и говорила, что у нее лампочка в животе зажглась, а ей было нехорошо от этой водки... Когда это было? Лет сто назад, так давно, что не под силу помнить человеческой памяти. Но он помнил, будто все было час назад; в лицо ему, снизу вверх, блестели влажным блеском ее глаза, и тихий ее смех звучал еще в ушах так явно, будто ничего не случилось потом... А потом все приснилось

ему, целая огромная жизнь, целых сто лет? Приснилось, чего никогда не было... Ведь ничего не произошло, она уехала в медсанбат за медикаментами и вернется сейчас на батарею в белом своем, туго перетянутом ремнем аккуратном полушубке, как тогда в эшелоне: «Мальчики, милые, вы плохо жили без меня?»

Но в то же время краем затуманенного сознания он понимал, что обманывает себя, что она ниоткуда не вернется, ни из какого медсанбата, что она здесь — рядом, за спиной, здесь — возле орудия, зарыта на исходе ночи в нише им, Ухановым, Рубиным и Нечаевым; прикрыта там плащ-палаткой, лежит там навсегда одна, вся завалена землей, а на полукруглом бугре белеет ее санитарная сумка, уже полузаметенная снежком.

То, что осталось от нее, сумку эту положил Рубин на свежий холмик, угрюмо и знающе сказав: «Потом написать надо: «Зоя, мол, Елагина, санинструктор». А с Нечаевым тогда происходило нечто необычное: в те минуты пока забрасывали нишу землей, он воткнул внезапно лопату в бруствер, согнувшись, отошел на три шага и, со злобой вырвав что-то из кармана шинели, швырнул под ноги себе, вдавил в снег валенками так, что захрустело. Никто не спрашивал, что он делает и зачем. Это были те дамские часики с золотистой цепочкой, найденные в трофейном саквояжике...

Теперь вокруг Кузнецова, родственно сближенные за эту ночь, трое оставшихся из его взвода сидели на станинах около потрескивающего костра. Горьковато-теплый дымок разносило от жидкого огня. И, уже веселея, согретые выпитой водкой и огоньком, жевали сухари и громче, возбужденнее говорили о драпе немцев, поглядывали на пожар в станице, слушая грохот боя за ней, заметнее уходивший глубже и глубже в степь, на юг.

Полновластно и решительно хозяйничая, Уханов намазывал сухари комбижиром, посыпал сверху сахаром, подливал в котелок водку из термоса, с неограниченной щедростью угощая всех не по норме; сам, не пьянея, только бледнел, оглядывая несколько оживившийся сейчас свой расчет — Рубина и Нечаева. Кузнецову водка не помогала, не распрямляла в нем стальную пружинку, озноб не проходил, хотя, захлебываясь от сивушного запаха и отвращения, он пил, по совету Уханова, большими глотками,

— Лейтенант, кажись, начальство к нам! — Уханов первый заметил движение группы людей справа на огневых батареи.— По брустверам ходят... Глянь, лейтенант!

— Никак, сюда идут,— подтвердил Рубин, захмелевший, багрово-свекольный, и на всякий случай корявой рукой задвинул котелок с водкой за колесо орудия.— Генерал вроде тот, с палочкой...

— Да, я вижу,— сказал Кузнецов неестественно спокойно.— Не надо прятать котелок, Рубин.

А Бессонов, на каждом шагу наталкиваясь на то, что вчера еще было батареей полного состава, шел вдоль огневых — мимо срезанных и начисто сметенных, как стальными косами, брустверов, мимо изъязвленных осколками разбитых орудий, земляных нагромождений, черно разъятых пастей воронок, мимо недвижного, стальной тяжестью навалившегося на развороченную огневую Чубарикова немецкого танка — и теперь ясно восстановил в памяти вчерашний приезд сюда перед началом бомбежки и краткий разговор с командиром батареи, стройно-подтянутым, словно на училищных строевых занятиях, решительным мальчиком, носившим знакомую генеральскую фамилию.

«Значит, с этих огневых стреляла по танкам батарея, та, которой командовал тот мальчик?»

И по непостижимой связи он подумал о сыне, о последней встрече с ним в госпитале, о непрощающем упреке жены после возвращения из госпиталя, упреке в том, что он, Бессонов, не настоял, ничего не предпринял, чтобы взять его служить в свою армию, что было бы обоим лучше, безопаснее, надежнее. И, на мгновение представив сына командиром роты в тех пехотных траншеях с двумя оставшимися в живых или здесь, на артиллерийской батарее, где на каждом метре земля до неузнаваемости была истерзана буйно пронесшимся железным ураганом, зашагал медленнее, чтобы немного отдышаться. Горькое теснение не отпускало в груди, и он стал отстегивать крючки на воротнике полушубка, душившие его.

«Сейчас я отдышусь... Сейчас пройдет, только не думать о сыне»,— упорно внушал себе Бессонов, все тяжелее опираясь на палочку.

— Смирно! Товарищ генерал...

Он остановился. Кинулось в глаза: четверо артиллеристов, в донельзя замурзанных, закопченных, помятых

шинелях, вытягивались перед ним около последнего орудия батареи. Костерок, угасая, тлел прямо на орудийной позиции — тут же на разостланном брезенте термос, два вещмешка; пахло водкой.

На лицах четверых — оспины въевшейся в обветренную кожу гари, темный, застывший пот, нездоровый блеск в косточках зрачков; кайма порохового налета на рукавах, на шапках. Тот, кто при виде Бессонова негромко подал команду: «Смирно!», хмуро-спокойный, невысокий лейтенант, перешагнул станину и, чуть подтянувшись, поднес руку к шапке, готовясь докладывать. И тогда Бессонов, с пытливым изумлением вглядываясь, едва припомнил, узнал. Это был не тот юный, запомнившийся по фамилии командир батареи, а другой лейтенант, тоже раньше виденный им, встречавшийся ему, кажется, командир взвода, тот самый, который искал на разъезде командира орудия во время налета «мессершмиттов», тот, который в растерянности не знал, где искать.

Прервав доклад жестом руки, узнавая его, этого мрачно-сероглазого, с запекшимися губами, обострившимся на исхудалом лице носом лейтенанта, с оторванными пуговицами на шинели, в бурых пятнах снарядной смазки на полах, с облетевшей эмалью кубиков в петлицах, покрытых слюдой инея, Бессонов проговорил:

— Не надо доклада... Все понимаю. Вас видел на станции. Помню фамилию командира батареи, а вашу забыл...

— Командир первого взвода лейтенант Кузнецов...

— Значит, ваша батарея подбила вот эти танки?

— Да, товарищ генерал. Сегодня мы стреляли по танкам, но у нас оставалось семь снарядов... Танки были подбиты вчера...

Голос его по-уставному силился набрать бесстрастную и ровную крепость; в тоне, во взгляде — сумрачная, немальчишеская серьезность, без тени робости перед генералом, точно мальчик этот, командир взвода, ценой своей жизни перешел через что-то, и теперь это понятое что-то сухо стояло в его глазах, застыв, не проливаясь. И с колючей судорогой в горле от этого голоса, взгляда лейтенанта, от этого будто повторенного, схожего выражения на трех грубых, сизо-красных лицах артиллеристов, стоявших между станинами позади своего команди-

ра взвода, Бессонов хотел спросить, жив ли командир батареи, где он, кто из них выносил разведчика и немца, но не спросил, не смог... Ожигающий ветер неистово набрасывался на огневую, загибал воротник, полы полушубка, выдавливал из его воспаленных век слезы, и Бессонов, не вытирая этих благодарных и горьких, ожигающих слез, уже не стесняясь внимания затихших вокруг командиров, тяжело оперся на палочку, повернулся к Божичко. И потом, вручая всем четверым ордена Красного Знамени от имени верховной власти, давшей ему великое и опасное право командовать и решать судьбы десятков тысяч людей, он насилу выговорил:

— Все, что лично могу... Все, что могу... Спасибо за подбитые танки. Это было главное — выбить у них танки. Это было главное...— И, надевая перчатку, быстро пошел по ходу сообщения в сторону моста.

Еще хмурясь, сжимая коробочку с орденом обмороженными пальцами, еще пораженный слезами на глазах командующего армией, новым, чего не ожидал он от генерала, вчера на станции и затем утром на батарее запомнившегося своей пронзительностью внимания, своим скрипучим, холодным голосом, Кузнецов молчал.

В это время старшина Скорик и лейтенант Дроздовский появились на высоте берега и, оттуда, заметив на позиции орудия начальство, побежали к батарее.

Не достигнув огневых, старшина Скорик сообразительно повернул назад, стал карабкаться по высоте к кухне, а Дроздовский подбежал к группе командиров, успевшей уже отойти метров сто по берегу, и, стоя перед Бессоновым навытяжку в наглухо застегнутой, перетянутой портупеей шинели, тонкий, как струна, с перебинтованной шеей, мелово-бледный, четким движением строевика бросил руку к виску. Не слышно было, что он докладывал. Но с огневой было видно, как генерал обнял его и передал поданную адъютантом такую же коробочку, какие вручил четверым у орудия и двоим в траншее.

— Всех оделили поровну!— садясь на станину, беззлобно засмеялся Уханов, но Рубин так многословно, мастерски выругался, что Уханов заинтересованно прищурился на него.— Ну и завернул, ездовой, похоже на коренника! Это по какой же причине?

— Так, с сердца сошло, сержант! Схватило в груди вот...

— Ну что ж, братцы,— сказал Уханов,— обмоем ордена, как полагается. За то, что наши фрицев жиманули! За то, что черта лысого им вышло! Хрена им! Верно, лейтенант? Как ты? Садись со мной. Рубин, давай котелок! Ладно, лейтенант... Перемелется — мука будет. Нам приказано жить.

— Мука? — тихо спросил Кузнецов, и лицо его дрогнуло.

— Что-то не так с нашим комбатом,— проговорил Нечаев, пощипывая усики, глядя на бугор.— Идет, вроде слепой...

Генерал и сопровождавшие его командиры удалялись по степи к мосту; а на высоте берега — к обрыву, к ступеням в землянку с ранеными — шел Дроздовский, совершенно непохожий на того стройного, прямого, привычно подтянутого комбата; ему, видимо, стоило огромных усилий подбежать к генералу и еще с прежней легкостью кинуть руку к виску, доложить; шел он разбито-вялой, расслабленной походкой, опустив голову, согнув плечи, ни разу не взглянув в направлении орудия, точно не было вокруг никого.

— После смерти Зои с ним действительно что-то...— сказал Уханов.— Ладно. Не будем сейчас вспоминать. А обмывают, братцы, ордена, наверно, вот так.

И он поставил котелок на середину брезента, налил в него наполовину водки из термоса, раскрыл коробочку с орденом и, вроде кусочек сахару, двумя пальцами опустил его на дно котелка, затем последовательно проделал то же самое с орденами Рубина, Нечаева и Кузнецова.

Все стали пить по очереди. Кузнецов взял котелок последним. Между тем Дроздовский, как пьяный, ослабленно покачиваясь, спустился вниз по ступеням, его непривычно согнутой, узкой фигуры не было видно на бугре. Ветер дул с русла реки, и тут послышалось Кузнецову: снежной крупой прошуршало сзади, будто по плащ-палатке в глубине ниши, когда положили туда Зою, и в его руках задрожал котелок, льдинками зазвенели на дне ордена; продолжая пить, он вопросительными глазами оглянулся назад, туда, на белеющий бугорок запорошенной поземкой санитарной сумки, поперхнулся, подавился, отбросил котелок

и встал, пошел от орудия по ходу сообщения, потирая горло.

— Лейтенант, что ты? Куда, лейтенант? — окликнул сзади Уханов.

— Так, ничего...— шепотом ответил он.— Сейчас вернусь. Только вот... пройду по батарее.

Над головой, раскатывая низкий гул, проходили группы штурмовиков, снижаясь за станицей. Они розовато сверкали плоскостями, снизу омытые холодным пожаром восхода, разворачивались по горизонту, пикировали над невидимыми целями, пропарывая утренний воздух сухими очередями. И там, впереди, за крышами пылающей станицы, небо широко и аспидно кипело черным с багровыми проблесками дымом, протянутым к западу, где истаивал в пустоте неба прозрачный ущербленный месяц.

1965—1969

СОДЕРЖАНИЕ

Бондарев Ю. В.

Б81 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 2. Последние залпы: Повесть; Горячий снег: Роман. — М.: Худож. лит., 1984. — 527 с.

В том входят повесть «Последние залпы», посвященная событиям Великой Отечественной войны на границе с Чехословакией накануне победы, а также роман «Горячий снег» — одно из высших достижений советской баталистики. Сюжет романа, необыкновенно напряженный, развертывающийся в течение одних суток, непосредственно связан со Сталинградской битвой и беспримерным героизмом выигравших ее советских воинов.

Б $\frac{4702010200\text{-}221}{028\ (01)\text{-}84}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ

Собрание сочинений
в шести томах

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор В. Борисова

Художественный редактор
Е. Енененко

Технический редактор
Л. Ковнацкая

Корректор Н. Усольцева

ИБ № 3713

Сдано в набор 30.08.83. Подписано в печать 11.03.84. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типограф. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд .л. 30,71. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1442. Заказ 753. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

